
Владислав Ходасевич

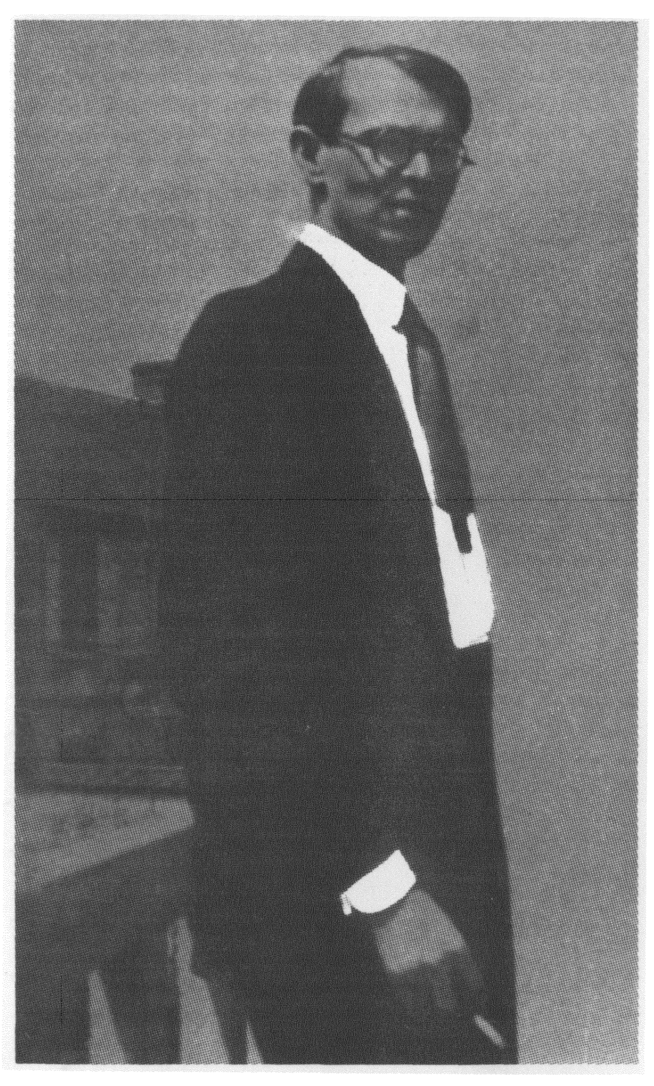
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

3

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА «СОГЛАСИЕ» 1997

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

Проза
Державин
О Пушкине

МОСКВА «СОГЛАСИЕ» 1997

ББК 83.3Р7
Х 69

Составление, подготовка текста
И. П. АНДРЕЕВОЙ, С. Г. БОЧАРОВА, А. Л. ЗОРИНА, И. З. СУРАТ

Комментарии
И. П. АНДРЕЕВОЙ, С. Г. БОЧАРОВА, А. Л. ЗОРИНА,
И. З. СУРАТ

Редактор
В. П. КОЧЕТОВ

Художественное оформление
Т. Н. РУДЕНКО, С. А. СТУЛОВА

Руководитель программы «Согласие»
В. В. МИХАЛЬСКИЙ

Федеральная программа книгоиздания России

**Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
согласно проекту № 95—06—17776**

Х $\frac{4603020101—018}{8Д1(03)—97}$
ISBN 5—86884—044—5 (Т. 3)
ISBN 5—86884—041—0



ПРОЗА

НОЧНОЙ ПРАЗДНИК

Письмо из Венеции

Бродя по извилистым, тесным, в море спадающим уличкам одного городка Италии, понял я раз навсегда, что красота — несправедливый и милый дар неба, навеки данный этой стране. Ей не уйти, не укрыться от красоты, ни за какие грехи ее не лишиться.

Вот, по изломам и срывам прибрежной скалы, лепит она несуразные домики из грубого, серого камня, а выходит прекрасно: прихотливо громоздятся крыши над крышами, выступают углы, вьются улички, повисают мосты над ручьями, бегущими с гор. Выше, там, где кипарисы колоннадой обступили тесное кладбище, высится колокольня невидимой церкви. Еще выше — виноградник от оливы к оливе перекинул плавные свои гирлянды. Под вечер желтая звезда загорается над дальней густо-зеленой пальмой. Полуголые ребятишки копошатся в дорожной пыли, кричит запоздалый мул, влача громоздкую телегу на двух колесах. А там, внизу — темно-синей равниной простерлось море.

В полдень, когда, раскалясь миллионами искр, трепещет прибрежный гравий, то же самое солнце, что в церквах и музеях сжигает картины Джотто и Тинторетто, — это же солнце яркими пятнами вспыхивает на размалеванных ставнях, на пестрых лохмотьях, вывешенных из окон, на черных кудрях рыбаков. Далекие паруса розовеют у горизонта, жемчужными кажутся горы, замкнувшие соседнюю бухту, смуглеют тела купальщиков... Каждый миг новую несет красоту взамен отцветающей старой.

Нет, не уйти, не укрыться Италии от неизбежной ее прелести! То по причудливым склонам гор, то по прибрежной скале, то на десятках крохотных островков, заброшенных в туманную лагуну, строит она свои города. В карманах ее обнищавших сынов звенят монеты всех стран. В угоду французам, англичанам, немцам, американцам, толпой хлынувшим в ее широко раскрытые двери, с лихорадочной быстротой строит она пошлые отели, проводит трамваи, буравит горы, прокладывая железные дороги. Нет ничего пошлее,

гнуснее, безличнее, чем эта международная толпа, наводнившая Италию. Ценою Хамского Ига платит несчастная страна за вечную свою красоту. Но неисповедимы пути судеб: чем ниже падает этот народ, тем его нежнее охраняет небо. И не случаен, быть может, маленький случай, которого я был свидетелем.

Вот как все было.

Времена празднеств венецианских минули безвозвратно. Нынешний венецианец забыл уже о полугодовом карнавале, которым тешились его предки. Но о том, что заезжему иностранцу нужна хоть бы тень прежних этих празднеств, он помнит. Венеция живет иностранцами. Чтобы привлечь их, мало одного Лидо с его прекрасным пляжем и немыслимо-пошлым курзалом. В Венеции, осмотрев дворец дожей, каждый толстобрюхий немец хочет быть «немного венецианцем», разрешить себе это, как дома разрешает порой лишнюю кружку пива или послеобеденную сигару. Ведь он что-то слышал о Тициане и Аретине!

Va bene![1] Устроим ночное празднество на Canal Grande! Назначим призы за иллюминацию гондол, барок, домов. Почтенному иностранцу все представление обойдется в двенадцать лир: за эти деньги со всем семейством вместится он в гондолу, все увидит, услышит, себя покажет...

Афиши расклеены. Целую неделю идут приготовления. Жгут бенгальский огонь, примеряя световые эффекты. Вешают шкалики. В вечер праздника часов с восьми весь город в движении. Пáрит, нечем дышать. Иностранцы с озабоченными, деловыми лицами спешат к своим гондолам, которые все заранее наняты.

Маленькие каналы запружены барками, разубранными дико и безвкусно: какие-то дворцы фей, дирижабли, еще разные злобы дня. На барках, вокруг столов, уставленных фиасками красного вина, захватив стариков и детей, рассаживаются венецианцы.

Толпы народа черной рекой хлынули на Риальто: отсюда тронется шествие. На ближних улицах не протолкаться. Бродячий мороженщик на campo S. Bortolomeo надрывается, вопя:

— Стойте! Мороженое!

---

[1] Хорошо! (*ит.*) Здесь и далее редакторские примечания обозначаются цифрами, примечания В.Ф.Ходасевича — звездочками.

Душно.

Вот и мы в гондоле. Желтый бумажный фонарь колышется на носу. Тронулись вдоль Большого Канала, туда же, куда и все: к мосту Риальто. Налево, озаренная белым рефлектором, тяжелым рельефом лепится церковь S. Maria della Salute. Перед ней — толпа народа на набережной. Похоже на оперу. Направо — шикарные отели растянулись пестрой, бездарно иллюминированной вереницей. Все это расцвечено дико и безвкусно, главное — дешево, во вкусе купальщика-иностранца. Только вверху — темное, низкое, беззвездное небо, да внизу — вода, такая черная и ужасная, какой бывает она лишь в Венеции, в безлунные вечера. Даже бесчисленные огни гондол и барок, кажется, не отражаются в ней.

Здесь, на воде, такой же шум, как на улицах. Бренчат мандолины, гудят гитары, с барок несется музыка. «Santa Lucia» смешалась с модной песенкой о jupe-culotte[1], «Маргарита» с «Сусанной». Парочка сантиментальных французов, обнявшись, едет в соседней гондоле. «Она» говорит:

— Я бы хотела умереть сейчас...

— О, моя кошечка, — шепчет «он».

Пáрит. Мигают зарницы. Шумно и скучно. Все вздор какой-то. Гондолы идут одна возле другой. Вот французскую парочку оттерла от нас компания молчаливых альпийцев с выцветшими усами, голыми коленками и зелеными шляпами. Дальше — американки без шляп, в шелковых ярких плащах. С другой стороны — пять русских веснушчатых девиц тормошат обывателя в чесучовом пиджаке. Он вытирает потную лысину, а девицы кричат ему в уши:

— Иван Дмитрич! глядите же, как поэтично!

Боже ты мой! И это Италия! Да здесь итальянцев-то — одни гондольеры!.. А направо и налево высятся нелепо разубранные дома, старинные дворцы, безобразно иллюминированные новыми владельцами: первый приз — 500 лир.

И вдруг словно кто длинный и грубый холст разорвал в небе: ослепительная метнулась молния, хряснул гром, крупные, грузные капли дождя, будто дробь, зашлепали по воде. Поднялась суматоха. Одни

---

[1] юбке-штанах (*ит.*).

пытаются повернуть обратно в San Marco, другие хотят выбраться в маленькие каналы, третьи спешат к берегу, в надежде укрыться. У моста Академии — морское сражение. Маленькая пристань берется с бою. Дети плачут, женщины кричат, все смешалось.

А дождь все сильнее, раскаты грома все яростнее. Уже мы промокли до нитки, размякают и гаснут бумажные фонари гондол и барок, меркнут цепи стеклянных шкаликов на берегу.

Гондольер накрывает нас какой-то огромной тряпкой, и мы едва успеваем крикнуть ему:

— К Пьяцетте!

Под тряпкой темно, глухо шумит дождь над головой, где-то кто-то кричит, где-то не унимается музыка, ухает гром, — все сливается в раскатистый, неразличимый гул. Спутница моя хохочет, хохочу и я, — и нам весело, что так скоро и просто кончился этот глупый праздник. Пристаем к Пьяцетте, бежим, насквозь мокрые, под затихающим уже дождем, потом под портиком библиотеки: в кафэ!

Кругом галдят итальянцы. Немцы и англичане, нахохлившись, просыхают в своих отелях, а здесь, на Пьяцце, веселье, веселый и милый шум. Итальянцы аплодируют дождю, и он совсем затихает под эти аплодисменты, словно сделал свое дело и удаляется за кулисы.

Пьем вкусный, горячий кофе с рюмкой неважного ликера, сохнем и радуемся, что нет кругом иностранцев, что само небо взяло да и прикончило разом это безобразное празднество.

Понемногу площадь пустеет, стихают ночные шумы: там, где осел камень под тяжестью рухнувшей кампаниллы, лоснятся лужи.

И снова идем мы под портиком библиотеки, и снова (в который раз!) читаем в углу, в неприметном месте, гордую надпись:

«Venezia dopo secoli di Libertá e potenza per LXX anni da stranieri dominata non doma...»[1]

«Покоренная, но не покорившаяся...»

Так хочет Италия быть некрасивой. Хочет — и не может. Женщины такие бывают.

[1] «После столетий свободы и могущества за LXX лет иностранного владычества Венеция не покорилась...» (*ит.*)

ГОРОД РАЗЛУК

В Венеции

I

Не внешний вид, не то, что дается впечатлениями зрительными, всего более поражает путника, впервые приехавшего в Венецию: к этому достаточно подготовлен он прочтенными книгами, виденными изображениями, рассказами знакомых. Но неизгладимо внедряется в память ее тишина.

Оглушенный грохотанием поезда, вы выходите из вагона и среди суеты вокзальной пробегаете по длинным коридорам, торопливо расплачиваетесь с носильщиком, и только усевшись в гондолу, только отъехав уже от пристани — вдруг изумляетесь: почему же так тихо?

И в самом деле: вы в большом городе, в час позднего утра, когда пора бы уже проснуться всему городскому гулу, — а вас окружает нежданная, странная тишина.

Редкие всплески весла, далекий гудок парохода, еще более отдаленный, дребезжащий голос часов, идущий словно из самого неба, — вот и все. Да еще где-то стучит молоток по камню.

Протяжно кричит гондольер, — и вы сворачиваете в маленький канал, тесный и темный. Покрытые плесенью стены резко и прямо падают в воду. Но вот какой-то перекресток — и вы видите, как от дома к дому перекинулся узкий мостик, залитый солнцем. Солнечные зайчики, отраженные ленивой водой канала, беззвучно снуют по каменным перилам. Откуда-то сбоку появляется женщина в черном платке. По невидимым ступеням взбегает она на изгорбину мостика и так же беззвучно, как солнечный отсвет, исчезает в узкий проход.

А с другой стороны, еле шурша, проходит человек в сером пиджаке и круглой соломенной шляпе. Профиль его проплывает по небу, — и снова нет никого. Въехав под мост, в сыром и прохладном сумраке, встречаете вы огромную барку. Еле приметным движением скользит она мимо вас. Седой старик, в рубахе, расстегнутой на груди, с засученными рукавами, стоит

на корме и, напрягаясь, огромным веслом толкает барку вперед. Он похож на Харона.

О, легкие тени венецианского утра! Вы, похожие на людей, — только лукавые призраки. Не в жутком сумраке ночи, но в добела раскаленном и трепетном воздухе дня проплываете вы словно из кулисы в кулису. Да, из сырого Аида поднялись вы сюда, на поверхность земли, еще раз погреться на солнце, мелькнуть и исчезнуть. Знаю, любо вам обмануть наивного путника, на миг облекшись воздушной плотью, ибо велика ваша тоска по земле и велика жажда проникнуть в круг тех, кто живет. Привет вам!

II

На восточной окраине города расположен парк, так называемые Giardini publici. В нем можно созерцать безобразный памятник Гарибальди, похожий на те угловатые гротики, которыми украшаются комнатные аквариумы. Из него даже каплет вода.

Однако с венецианским парком считаться не следует: это изобретение позднейшее и непопулярное. Посещают его разве только заезжие гости, скучающие по «природе». Венецианцы туда не ходят, и это вполне естественно.

Город, особенно современный, есть уход от природы, но уход вынужденный, невольный. Потому-то муниципальные учреждения всего мира так заботливо охраняют свои чахлые насаждения: хотя бы *иллюзии* природы просит дряблое и нерешительное сердце горожанина. Сад — бессмысленный рудимент городского организма.

Не такова Венеция. Природу отвергла она сознательно и свободно. Укрепив зыбкую свою почву, она не поколебалась скрыть ее под сплошным каменным покровом. Можно было бы сказать, что стихии венецианца суть вода, воздух, огонь и камень. Тощие деревца, кое-где выглядывающие из-за каменных стен, здесь до очевидности не нужны, да их, слава Богу, и немного.

Я не хочу сказать, что Венеция с каким-то ожесточением изгоняет природу. Нет, она просто поворачивается к ней спиной.

В представлении венецианца мир, обитаемый человеком, есть город — совокупность жилищ. Недостаток места заставил Венецию сузить улицы свои до последних пределов, и венецианец, отказавшись от лошади как средства передвижения, преодолевает пространство пешком, ходя по своим закоулкам, как по коридорам одного гигантского здания. Он с такой же простотой ходит по своему городу, как мы по своей квартире.

В Венеции есть только комнатные животные: собаки и кошки. Из птиц — одни голуби, но все они гнездятся на Пьяцце, кормясь из рук прохожих. Если бы прекратить продажу кукурузы перед собором св. Марка, в Венеции не было бы и голубей: им осталось бы или улететь на материк, или умереть с голода.

Из всех городов земного шара Венеция наименее может считать себя чем-нибудь обязанной природе. Напротив, вся она — какое-то изумительное и нарочитое создание человека. Блистательно возникновение этого города наперекор природе, и многозначительно каменное его однообразие. Венеция — прообраз титанической дерзости и неизбежной ограниченности человеческого ума. Венеция есть причуда гения, и оттого в этом городе, таком прихотливом и странном, полном прекраснейших образцов барокко, менее всего хочется быть естественным.

Там, где в минувшие времена карнавал продолжался шесть месяцев, где полгода ходили в масках, простота теряет всякую цену. Жизнь становится игрой, опасной и тонкой.

Потому так понятны и милы подведенные брови, нарумяненные губы и слишком заботливо обутые ноги венецианок. Потому так влекут нас их черные шали и ночные певучие шаги по звонкому камню.

III

Хотел бы я посмотреть на того чудака, который первый пустил по свету сплетню, будто Венеция — прекрасный приют для влюбленных. Конечно, одно из двух: или он был наивен, ужасно наивен, до трогательности, до того, что уже невозможно на него сердиться, — или же это был злой старикашка, завистливый

и беззубый, решивший подставить петушью свою ножку всем, кто послушает коварного его совета.

Нигде так легко не расстаешься с надеждами и людьми, как в Венеции. Там одиночество не только наименее тягостно, но наиболее желанно. И вовсе не для того, чтобы сосредоточиться, уйти в себя, но напротив: чтобы забыть себя, потерять былое, сделаться одним из тех, кто часами сидит на набережной, глядя в туманную даль лагуны или на узкую башню San Giorgio.

Венеция — город разлук.

В былые, счастливые дни караваны кораблей приставали к богатым ее пристаням, толпы чужеземных купцов и матросов, хлынув на набережную, волнами вливались в ее закоулки. Отцы, сыновья и мужья то прибывали домой, то уходили в море. Здесь, на родных островах, были они такими же случайными гостями, как темнолицые пронырливые мавры и белокурые безвольные рабы-славяне. Здесь века научили людей спокойно встречаться и расставаться безбольно. Стремительное возвышение Венеции и ее несметные богатства, привезенные со всех концов мира, были только достойными трофеями тех, кто спокойно и вольно в любую минуту готов был покинуть свой город, свою семью, всех любимых и близких — ради опасного плавания или дерзкого набега.

И в наши дни, по вечерам, когда схлынет с Пьяццы разноплеменная толпа, когда затихнут на риве окрики гондольеров, — хорошо забраться в кафэ, возле театра Fenice, долго сидеть там, а потом еще дольше слоняться из улицы в улицу и думать о том, что ведь вот — ничего не стоит вдруг, ни с того ни с сего, пойти к себе, завязать чемодан и уехать.

Но трудно уехать отсюда домой, в Россию. Здесь научаешься любить камни, черную воду каналов, соленые испарения моря, рыжие занавески на окнах да людей, проходящих, как тени.

Но горько и скучно помыслить, что дома ждут начатые дела, волнующие известия, близкие люди, что там снова воскреснут былые привязанности. Здесь хочется не любить и не хочется быть любимым. Венеция — город разлук.

Для того, кто задумал пропасть навсегда без вести, — путь лежит через Венецию: здесь скоро раз-

любишь былое, от всего оторвешься без боли и легко пойдешь куда глаза глядят. Недаром слово «Аргентина» здесь у всех на языке. Почему? Да так... Пришлось плохо — взял и уехал куда-нибудь за океан. Аргентина так Аргентина.

Легкий и нежный холод здесь вливается в сердце. И дуновения его кажутся счастьем нетленным, вечным.

Нет, не пускайте влюбленных в Венецию. Там цепи становятся паутиной. Там учишься великому искусству: разлюблять.

ИОГАНН ВЕЙС И ЕГО ПОДРУГА

Сентиментальная сказка

В одном из кабачков Мюнхена, столицы Баварии, над пролетом широкой арки, у самого потолка висела афиша. На ней изображена была белокурая женщина в черном коротком платье. Чулки у нее были тоже черные, а туфли — с большими черными бантами. Впрочем, она откинулась назад и держалась всего на одной ноге, другую же, слегка согнув, подкинула вверх, словно танцуя или прыгая через веревочку. Бледное, как бумага, лицо ее до половины закрыто было черным веером, из-за которого выглядывали большие испуганные глаза... На что смотрит танцовщица с таким испугом — этого нельзя было определить, потому что вся правая половина афиши была оборвана, и широкая лиловая полоса окаймляла рисунок всего с трех сторон: сверху, снизу и слева.

Кабачок назывался «Kopfschmerzen»[1] и был не из важных. Посещали его одни студенты, да и то разве только самые забулдыги. На афишу давно уже перестали обращать внимание, и если кто-нибудь смотрел на нее, то все-таки можно было с уверенностью сказать, что он в это время не думает ни о сохранившейся ее половине, ни об оторванной.

Так бы и не произошло с ней ничего замечательного, если бы однажды вечером не зашел в кабачок некий поэт по имени Иоганн Вейс.

Было это довольно поздно. Иоганн допивал четвертую кружку пива и уныло мечтал о разных хороших вещах: о том, как было бы славно получить откуда-нибудь наследство, жениться на хорошенькой честной девушке и навсегда распроститься с Мюнхеном, а главное — перестать быть поэтом.

Так он думал, и с каждой минутой мечты его становились приятнее, а подробности будущего счастья выступали все явственнее. По привычке он уже начал шевелить губами, сочиняя восхитительную идиллию. Но вдруг кто-то со звоном столкнул со

---

[1] «С похмелья»; букв.: головная боль (*нем.*).

стола его кружку, и, очнувшись, новый наш Герман, вместо пленительной Доротеи, возле самого своего носа увидел прыщеватый нос и большие очки подвыпившего философа.

Блаженная улыбка медленно сползла с лица Иоганна. Опомнившись и не обращая внимания на извинения философа, потребовал он новую кружку. Но счастливые видения рассеялись невозвратно. Ему уже было скучно. Пристально глядя на танцовщицу, выпил он свое пиво и снова задумался. На этот раз он думал о том, что вся жизнь его — только выдумка, что навсегда обречен он жить вымыслами, тогда как другим достается на долю правда.

И стало ему так обидно, что он расплатился, надел шляпу и пошел к выходу.

— И никогда-то со мной ничего не случается! — думал он, открывая стеклянную дверь и выходя на улицу. — Разве что какой-нибудь дурень опрокинет на меня кружку...

Но только что он это подумал, как вдруг *случилось*. Он уже занес было ногу с тротуара на мостовую, но в эту минуту от стены отделилась маленькая узкая фигура женщины. Руки ее спрятаны были под черным плащом, падавшим до самой земли. Бледное, как сахар, лицо смотрело большими испуганными глазами. Иоганн остановился. Тогда женщина молча взяла его за руку и повела. Он не сопротивлялся.

Так прошли они несколько кварталов. Наконец женщина остановилась и спросила:

— Вы не узнаете меня?

— Нет.

— Но ведь я — танцовщица с той афиши, на которую смотрели вы целый вечер.

Так как Иоганн Вейс был настоящий поэт и привык жить в мире, населенном созданиями его воображения, то он ничуть не удивился. Только спросил:

— Но зачем же вы покинули свое место над аркой?

— Так надо, — сказала она и улыбнулась грустно; а потом прибавила, помолчав:

— Меня зовут Нелли.

И, конечно, когда Иоганн увидел ее улыбку и губы с полосками рыжеватых румян и услышал голос, — он влюбился в танцовщицу. А она увлекала его все

дальше. Иоганну казалось, что они уже идут где-то среди сапфирного неба, дорогой звезд и что в сердце его расцветает куст благовонных роз, черных, как ночь и как платье его спутницы. Сердце его было переполнено счастьем.

Наконец, где-то на перекрестке, он упал на колени и сказал:

— Нелли! Я люблю вас! Вы сами пожелали сойти с афиши — и, значит, я вам не совсем безразличен. Будьте моей женой! Вы — танцовщица, я — поэт, из нас могла бы выйти отличная пара. Вон ту большую звезду я дарю вам в качестве свадебного подарка.

Но тут она вдруг заплакала и в отчаянии стала ломать свои маленькие руки, восклицая:

— О, какое несчастье, какое несчастье!

Слезы подступили к горлу бедного Иоганна.

Так бы и плакали они, озаренные ущербной красной луной, оба в черном, похожие на масок, убежавших с бала, — если бы только возможно было продолжать эту сцену на улице.

Тогда они пошли обратно в «Kopfschmerzen» и сели за столик в углу. Никто не узнал танцовщицы. Все были пьяны. Взглянув на афишу, Иоганн увидел белый лист с лиловой каймой, бежавшей сверху, снизу и слева. А правая половина была оборвана.

Нелли шептала, наклонив лицо к самому столику:

— Я хотела говорить с вами, потому что узнала в вас поэта. Здесь никто не может понять моих чувств, кроме вас. Между тем, я несчастлива. Я любила одного человека. Он был апашем, и мы танцевали вместе. На нем был клетчатый рыжий костюм, плоская шапочка и красный галстук. Мы исполняли танец апашей. Он бил меня без пощады, а я целовала у него руки. Но в один ужасный день какие-то люди пришли сюда, все перевернули вверх дном — и случилось несчастье: мой милый Арман исчез в этой сутолоке, пропав неизвестно куда, а я осталась одна-одинешенька. Вы видите, наша афиша оборвана, наше тихое счастье разрушено, и нет моего Армана, нет!..

О, как горько плакала бедная Нелли!

— Помогите мне найти его, — рыдала она. — Умоляю вас. И поймите, что я не могу любить вас, ибо любовь моя принадлежит другому, который, быть может, не стоит ее, но...

— Жизнь ваша, по-видимому, разбита, Нелли, — отвечал Иоганн, — но чем могу, я постараюсь скрасить это горе. Вот вам мой адрес. Когда вам будет очень грустно, приходите ко мне, и в моем бедном жилище вы найдете приют и нежное сердце, которое не устанет любить вас вечно.

Так сказал он, заплакал и вышел из кабачка. Боже, как все было грустно!

Гасли огни на улицах. Сизый стелился сумрак. Огромная хвостатая звезда, комета, всходила над городом...

С этого дня Нелли часто ходила в мансарду к Иоганну. Она приходила по вечерам, и, став на колени, поэт целовал ее руки.

Окно выходило прямо в небо, звездным светом сияло над их головами. Так сидели они подолгу, и уже Нелли начинала отвечать на поцелуи Иоганна поцелуями долгими и грустными.

Иногда она делала большие, легкие розы из черной бумаги и украшала ими убогое жилище. Или, держа в одной руке свечу, другой рукой перед маленьким зеркальцем на красные свои губы клала она узкие полосы рыжеватых румян...

Так прошло несколько месяцев. В синие зимние вечера вместе дрожали они от холода, прижавшись друг к другу. Иоганн старым пальто своим укутывал ноги Нелли, и они пили вино из одного стакана. Это было похоже на семейное счастье.

Казалось, ничто уже не грозит их мирному благополучию. Апаш исчез, и по какому-то безмолвному соглашению больше о нем не вспоминали.

Все было легко и странно, как черный плащ Нелли, ее черные розы и большие глаза.

Но однажды Иоганн где-то засиделся с приятелями, и, когда, слегка пьяный, вернулся домой, он нашел на столе записку. На узком клочке бумаги нескладным почерком было написано:

«Ах, Иоганн, зачем же тебя нет дома?»

Иоганн понял, что случилось какое-то несчастье, и бросился в кабачок. Войдя, вскинул он глаза на афишу. Нелли стояла в обычной своей позе, не то танцуя, не то прыгая через веревочку; а перед ней, с нахальной и глупой улыбкой на небритом лице, торчал апаш. На нем был клетчатый рыжий костюм и такой же картузик. Концы красной тряпки мотались около шеи.

Иоганн побежал за стойку. Там толстый белобрысый хозяин рассказал ему, что сегодня вечером его маленькая внучка рылась под лестницей в куче мусора и там нашла апаша, скомканного и грязного.

— Летом у нас производится ремонт, — пояснил хозяин. — Тогда-то его и оторвали. Однако мы вытерли, выгладили его и налепили на место. Пускай висит!

Но Иоганн уже не слушал. Он понял, что приход Нелли был последней попыткой спрятаться от апаша. Пока чьи-то безмозглые головы обдумывали способ, как привести апаша в порядок, пока его чистили, терли и клеили, — она убежала к Иоганну. Но Иоганна не было дома, и некому было победить в сердце ее былую любовь. Нелли вернулась на место, и ночью, под шум и звон пивных кружек, под звуки пошлого вальса на разбитом пианино, под хохот пьяных гостей, — реставрированный апаш снова занял высокое свое положение в Мюнхене: над аркой в кабачке «Kopfschmerzen».

Иоганн сидел за столиком. Испуганные глаза Нелли, не мигая, смотрели на апаша. Тот, казалось, был еще больше доволен собой. Улыбка его говорила: «Вот, прогулялся по белу свету, людей поглядел, себя показал, — пора и домой». — И он нагло выплясывал дурацкие свои па.

А в ушах бедного Вейса все звучали слова:

— Ах, Иоганн, зачем же тебя нет дома!

И горестно думал он о судьбе поэтов, о слабости женского сердца и о том, как неуловимо счастье.

Боже ты мой, как все это было грустно!

ЗАГОВОРЩИКИ

Рассказ

Теперь, на склоне лет, наученный долгой и некогда бурной жизнью, я не сомневаюсь, что Джулио ясно предвидел, чем должна кончиться наша безумная и возвышенная затея. Среди нас, безрассудных юношей, он один знал, что даже успешное выполнение заговора и смерть короля не принесут желанного освобождения. Правда, общество и парламент стали бы на нашу сторону. Но армия, тесно связанная с придворной камарильей и кругами аграриев, у нас (как и в других государствах Южной Америки) чрезвычайно влиятельных, сумела бы подавить бессильную революцию. Король был бездетен. Корона перешла бы к его дяде, принцу Тоанскому. Регентство этого человека нанесло бы осуществлению наших замыслов последний, непоправимый удар: от нас отшатнулись бы даже те, на кого мы только и могли опереться, ибо невежественная и переменчивая масса, проклинавшая жестокого и безвольного короля, ни за что не пошла бы против принца, еще более жестокого, но восхищавшего ее своею солдатской грубостью и военной славой. После трехдневного торжества мы были бы схвачены и расстреляны. Увы, в те дни только Джулио предугадывал это.

Конечно, не идея революции была ему дорога; конечно, не о головах наших он думал, предавая тот заговор, душою которого был. Другие соображения, иные страсти руководили им.

Внук аргентинского лавочника, выходца из Италии, он сумел соединить в себе дерзкий ум авантюриста с увертливой душой торгаша. Самые возвышенные идеи он без малейшего отвращения обращал к своей выгоде. На самые опасные мысли смотрел он, как укротитель на диких зверей: они должны были служить ему.

К несчастию, мы поняли это слишком поздно. Общество глубоко чтило Джулио как депутата парламента, блестящего оратора и безупречного гражданина. Для нас он был учителем и вождем. «Джулио — наше знамя!» — восклицал о нем пламенный Марко,

которого некоторые из нас с благородною завистью прочили в исполнители заговора.

И вот не только самое существование нашего общества, но и каждое наше слово, каждая мысль, в которой мы исповедовались перед Джулио, как перед духовником, — через него же были известны правительству. Не деньги, но честолюбие влекло его. Держа короля в постоянном страхе, он все больше подчинял его своему влиянию. Кто знает? Быть может, он рассчитывал, что в день открытого разоблачения заговора он будет объявлен спасителем отечества, а затем, при удобном случае, станет во главе правительства и завладеет канцелярскою печатью. Во всяком случае, каковы бы ни были его цели, в стремлении к ним он сделался изменником.

Чтобы пояснить, каким образом это раскрылось и к каким прискорбным последствиям повело, должно сказать, что в среде заговорщиков были брат и сестра, Леонид и Мария Руффи. Общее всем нам преклонение перед Джулио перешло у Марии в любовь. Она не была красива, но миловидна. Не будучи слишком полезна заговору, она подкупала своей беспредельной преданностью общему делу. Это приблизило ее к Джулио, и он вскоре сделал ее своею любовницей. Зачем? Кто его знает. Конечно, он сам не любил ее. Но это был человек, никогда не отказывавшийся ни от чего, на все стремившийся наложить свою руку. Может быть, он хотел таким образом закрепить ее преданность лично себе, чтобы вернее следить за нами. Может быть, его просто влекла ее девическая неопытность, столь соблазнительная для всех сладострастников. Может быть, и то, и другое, и еще что-нибудь.

Леонид, любивший сестру благородной и чуждою предрассудков любовью, не имел ничего против этой связи. Ведь каждый из нас был готов положить к ногам Джулио лучшее, что у него было. Ведь самые жизни наши принадлежали Джулио.

Из понятной осторожности мы собирались по очереди то у одного, то у другого из заговорщиков. 5 сентября 18** года, часов в семь вечера, я получил записку, в условленных выражениях приглашавшую меня тотчас явиться к Антонио, одному из наших. Помню, когда я пришел туда, почти все уже были

в сборе. Леонид сидел за роялем, но не играл, а лишь смотрел пристально в раскрытые перед ним ноты.

— Где же Мария? — спросил я, здороваясь.

— Я, как всегда, весь день был на заводе, — отвечал Леонид. — Впрочем, она не придет, — прибавил он.

Он показался мне озабоченным и усталым. И то и другое я приписал его работе: он служил на одном из химических заводов.

Вскоре сошлись остальные. Джулио всегда приходил последним. Наконец явился он. Заседание началось. Мы сели вокруг стола. Уже было почти темно, и хозяин зажег две свечи по бокам чернильницы, стоявшей перед Джулио.

— Сегодня мы собрались по требованию Леонида, — сказал Джулио. — Согласно установленному обычаю, первое слово предоставляю ему.

Председательствовать, давать слово, закрывать заседания — все это было страстью Джулио. Иногда мы слегка подшучивали над этой слабостью человека, которого считали великим. Он же любил придавать нашим встречам оттенок торжественности.

Теперь он скрестил руки и ждал.

Но Леонид не говорил ничего. Он даже не поднимался с места. Я взглянул на него, потом на Джулио. Тот сидел, откинув голову и опустив веки.

Молчание становилось странным. Наконец Джулио открыл глаза и таким голосом, какой бывает у очень занятых и усталых людей, когда предстоит им слушать о вещах, не особенно важных, — проговорил:

— Мы ждем, Леонид.

Впоследствии мне иногда казалось, что в этих словах прозвучал также вызов. Леонид вытер губы платком и, не вставая, хотя это было принято, отвечал:

— Нам больше ждать нечего. Нашего общества больше нет. Сегодня Мария получила вот эти письма. Джулио знает, что он их автор. Он знает также, что они изобличают его предательство. Мы выданы им. Читайте.

И он положил на стол пачку писем. Почти пятьдесят лет прошло с того дня, но не думайте, что мне изменила память: если бы через час спросили меня, что последовало за словами Леонида, — я и тогда, как сейчас, не мог бы того припомнить. Кажется, все мол-

чали, смотря на Джулио. Но, может быть, это было не так. Помню, одно время мне казалось, что Леонид пошутил. Но я тотчас понял, что шутить *так* он не мог. К тому же на столе лежали письма, к которым никто не решался притронуться, точно это были еще окровавленные орудия убийства. Значит, Леонид лгал? Нет, и этого не могло быть. От волнения я не видел лиц. Впрочем, стоявшие перед Джулио свечи едва освещали их.

Наконец я услышал слабый, сдавленный голос Марко:

— Джулио, что же это?

Рука Марко, в отсвете свечей желтая, почти у самого горла легла на грудь.

Против ожидания Джулио даже не взглянул на Леонида. Зато он спокойно и долго смотрел на Марко. Потом серьезное лицо его оскалилось той стремительной и острой улыбкой, которая столько раз пугала и восхищала всех нас. И он заговорил:

— Это прежде всего правда, мой милый Марко. Да, заговор наш известен королю и правительству. Но что он известен через меня — это и так и не так. Первый донос был сделан не мной. Может быть, первый предатель сидит сейчас между нами и ждет от меня ответа. Кто он — я не знаю. Но в тот день, когда я предстану перед вашим судом с подготовленными доказательствами (конечно, мне будет дан срок для этого), — вы сами увидите, что для спасения нашего дела не было иного пути, чем тот, по которому пошел я. Тогда же я докажу вам, от кого и зачем эти письма попали к Марии. Сейчас я скажу одно: лучше было убедить короля, что он в безопасности, пока я стою во главе заговора, нежели погибнуть самому и дать повесить всех вас. Однако неужели вы думаете, что, осведомляя правительство о наших собраниях, я не сумел бы утаить и того последнего решения, которого все мы ждем: дня и часа, когда должно было *совершиться*? Да, по своей воле я бы не стал играть ту роль, которая мне была навязана обстоятельствами, но скажу прямо: кажется, благодаря моей работе, которую каждый из вас вот сейчас, боясь посмотреть мне в глаза, про себя называет подлой, замысел наш и теперь еще ближе к осуществлению, нежели был бы, если бы даже мне не пришлось предавать вас. Теперь мы застрахованы от

случайностей. Пока король знает все ваши слова, все поступки — вы в безопасности. Но тот день, когда он перестанет знать все эти подробности, зная, однако, что вы вот здесь, рядом, подготовляете ему смерть, — это будет день вашего ареста. Тот, кто нас предал, дал нам возможность в спокойствии и безопасности ждать исполнения нашего замысла. Когда я назову вам его имя, то, если он среди нас, суд надо мной превратится в суд над ним. Но я первый предложу не карать его строго: пока я «предаю» вас (Джулио усмехнулся) — он нам не опасен. Больше того: против воли он нам помог.

Джулио скрестил руки и продолжал:

— Подумайте хорошенько об этом, но пусть никто — ты, милый Марко, в особенности — не пугает вас тем, что моя двусмысленная работа отбросит тень на светлые идеалы нашего общества. Не пугайтесь того, что отныне вы все до известной степени примете в ней участие. Ах, не будьте детьми, которых я так не люблю! Не бойтесь запутанности и лжи в этой жизни, которая так утомительна своим путаным и жестоким сцеплением причин и следствий. Помните: очень скоро вам предстоит узнать еще очень многое... Идите же к своей цели не солнечной дорогой, о которой так нежно мечтала Мария и про которую так вдохновенно слагает стихи наш прекрасный Марко. Идите путем кратчайшим, хотя он всегда тяжелее для совести: идите, не смущаясь тем, что самые близкие вашему сердцу люди порой заподозрят вас в низости, как сегодня заподозрили вы меня. Пусть мерилом ваших поступков будет одно: расстояние от цели... Свет! Тьма! Какие детские сказки. Земля несется в эфире, пронизанном солнцем. Мария на этой земле к нему простирает руки. Бедная глупая девочка! Вот солнце погасло — земля все так же несется вперед в ледяном мраке. Вот уже и Мария погрузилась во тьму: значит ли это, что кончился лёт земли, что пресекся назначенный ей пробег? Вот при жалком сиянии этих свечей мы волнуемся за судьбу наших замыслов. Но разве рушится замысел, если кто-то потушит свечи?

И быстрым движением он поднял обе свечи к лицу и дунул на них. Когда мы пришли в себя и опять зажгли свет, Джулио между нами не было.

После его ухода, вернее — исчезновения, Леонид

рассказал нам, что Мария часа в два дня прислала ему на завод письма, изобличающие Джулио. Она получила их от неизвестного человека, принесшего пакет поутру и тотчас скрывшегося.

Как ни ошеломило нас все происшедшее, надо было решить, что делать. Голоса разделились. Одни, в том числе Антонио, предлагали дать Джулио просимый им срок для представления доказательств, а пока что — ему довериться. Другие, склоняясь к тому же, выставляли, однако, требование контроля над Джулио. Третьи, особенно Марко, шли еще дальше: по их мнению, Джулио оказался самым простым изменником. «Конечно, — говорили они, — теперь, ускользнув от нас, он примет все меры. Не пройдет и часа, как нас арестуют. Надо спасаться!»

Но предложение это провалилось.

— Бежать некуда, — говорил Антонио. — Если Джулио заявил королю о необходимости схватить нас, бегство не приведет ни к чему: нас переловят.

С этим согласились, и решено было выжидать, разойдясь по домам и приняв меры предосторожности. Принесенные Леонидом письма Антонио обещал спрятать в надежном месте.

Мы расстались. Я поспешил домой, чтобы сжечь кое-какие бумаги. Покончив с этим делом, я попытался читать книгу одного современного английского экономиста, идеи которого меня весьма увлекали. Но сколько ни силился я отогнать мысли о Джулио, говоря, что раз нет достаточных данных судить о нем безошибочно, то лучше пока не судить вовсе, — из чтения у меня все-таки ничего не выходило.

Я знал, что уснуть мне тоже не удастся, и уже собирался уйти из дому, чтобы провести ночь на улицах. Вдруг Марко явился ко мне в необычайном волнении.

— Идем к Карло! — воскликнул он.

Мы вышли. Марко рассказал мне дорогой, что, придя от Антонио, Карло, у которого должно было происходить следующее по очереди собрание, застал у себя письмо от Джулио. В письме говорилось, что часа за два до собрания у Антонио он, Джулио, зная о получении Марией изобличающих его писем, отправился к ней. На вопрос, успела ли уже она сообщить о них кому-либо, Мария, из прискорбной слабо-

сти, отвечала, что не сообщила еще никому и что письма находятся у нее. Отдать их она отказалась. Тогда, чтобы отнять у нее возможность изобличить Джулио перед товарищами и тем создать ненужное препятствие священному для всех нас делу заговора, Джулио решился убить ее. В заключение Джулио выражал скорбь по поводу убийства, бесполезного, ибо, как оказалось, Мария еще до его прихода успела переслать письма брату, — и просил Карло сейчас же собрать новое совещание, решению которого предоставлял участь общего дела и себя самого как убийцы Марии.

У Карло, когда мы пришли туда, все были в сборе. Лицо Леонида не выражало ни отчаяния, ни злобы. Оно исказилось настолько, что уже нельзя было различить в нем тех черт, какими обычно рисуются эти чувства на лице человека. Он не смотрел на Джулио. Зато Джулио не спускал с него глаз.

Все молчали. Мы также молча вошли в комнату и тихо положили шляпы на стоявшее в углу кресло.

Наконец Джулио сказал:

— Вы знаете всё, господа. Поясню лишь, что мне, к несчастью, удалось незамеченным войти к Марии: она сама отперла мне дверь. Хозяев квартиры не было дома. Я ушел также незамеченным — и вот...

Он достал из кармана ключ и положил его на стол.

Итак, помимо своего, так сказать, аллегорического значения, странное исчезновение Джулио от Антонио имело для него и практический смысл. Он понял, что совершил убийство напрасно и что, когда оно обнаружится, никто из нас не поколеблется назвать убийцей его. Надо было спокойно обдумать новое положение, то есть прежде всего уйти, но перед уходом во что бы то ни стало избегнуть вопросов, могущих застигнуть его врасплох. И вот он нашел способ оставить нас, не дав нам произнести ни слова. В том, что хозяева Марии не обнаружат убийства, по крайней мере до завтрашнего утра, порукой был ключ от ее комнаты. Если бы даже кто-нибудь пришел к Марии, ему сказали бы, что она, по-видимому, ушла еще днем.

Выслушав Джулио, все мы молчали, чувствуя, что теперь слово за Леонидом. Право суда принадлежало ему более, чем нам: сверх того, что он был

членом заговора, как каждый из нас, он был еще братом Марии. Самая встреча его с Джулио была ужасна.

Но Леонид говорить не мог. Тогда вскочил Марко. Указывая пальцем на Джулио, он стал обличать его. Он утверждал, что все слова Джулио о первом, неведомом предателе, конечно, — ложь. Он укорял его в трусости, в желании скрыть от нас свою подлость, чего бы это ни стоило. Он обличал коварство Джулио, низость его души, темноту замыслов. Он говорил, что отомстить за смерть Марии — не только долг перед ее памятью, но и перед Леонидом. Распаляясь все больше, он, казалось, в Джулио обличал самого дьявола. Голос его взбегал до самых высоких нот, шипел, и присвистывал, и падал почти до рычания.

— Оградимся от тех, — выкрикивал он, — кто под личиной собственного страдания за всех сеет гибель и смерть! Бойтесь не явных врагов, но с тайных срывайте личину дружбы! Бойтесь соблазна, ходящего здесь между нами, и не думайте от него оградиться стенами дома! Нет, влеките бесов на площади, разоблачайте их всенародно!

И он требовал выдать Джулио уголовному суду.

С ласковой улыбкой, с улыбкой матери, взирающей на играющее дитя, Джулио отвечал ему:

— Милый Марко, ты льстишь моему самолюбию: я должен, по совести, отклонить от себя ту честь, которую ты косвенно воздаешь мне, видя в лице моем чуть ли не лик самого Князя Тьмы. И хотя ты прекрасен в минуту гнева, как и в минуту восторга, и хотя мне, в известном смысле, одинаково лестны твоя любовь и твоя ненависть, — все же я должен заметить, что в словах твоих больше поэзии, нежели практической ценности. А не кажется ли тебе, что сейчас нам не до поэзии? Как? Неужели ты думаешь, что, когда через мое убийство вскроется весь наш заговор, все вы сможете избежать суда, не уголовного, а Высшего Королевского, знающего только два решения: петлю и расстрел? Даже в том случае, если я соглашусь разыграть мальчишку и повести дело так, будто убил Марию из ревности, — то ведь и тогда, раз я сойду со сцены, вы очутитесь лицом к лицу с правительством, которое знает все ваши замыслы и имена. Оставить вас на свободе без моего отеческого надзора вряд ли захо-

чется королю — и опять все возможности заключаются для вас между повешением и расстрелом. Нет, дорогой мой Марко, погибнуть я бы сумел и без твоих указаний. Но беда в том, что день моей гибели будет днем гибели и еще семи человек, в том числе тебя самого и Леонида, о котором ты так печешься. Значит, надобно найти иной выход. А между Леонидом и мной не судья никто: мы разочтемся сами, и с той минуты, когда общее дело будет улажено, я, — слышишь ли, Леонид, — всегда буду к твоим услугам.

Марко смутился.

— Если так, пусть решают товарищи, — сказал он. — Но имей в виду, Джулио, что теперь я знаю тебя!

Джулио ничего не ответил, но слегка улыбнулся.

С ним нельзя было не согласиться. В конце концов было решено, что все мы, в том числе Джулио, должны бежать прежде, чем обнаружится смерть Марии. Однако это должно было произойти на следующее утро. Значит, необходимо было прежде всего отсрочить раскрытие убийства.

Разные обстоятельства нам мешали тотчас перейти границу. Приходилось до времени искать иного убежища, то есть спрятаться в ***ских лесах, в домике лесника, нам преданного. Антонио и Карло должны были сопровождать Джулио, порученного их надзору. Прочие заговорщики, захватив лишь самое необходимое, отправились туда же другой дорогой. На нас с Леонидом была возложена обязанность скрыть преступление и привезти труп Марии.

До утра было близко, и остаток ночи мы с Леонидом провели в молчании на набережной. Едва начали открываться лавки, я купил крестьянское платье и поспешил домой, чтобы в него переодеться. Тем временем Леонид раздобыл двуколку для перевозки кладей, запряженную мулом. На площади возле рынка мы встретились и направились к дому Марии. Леонид, постучавшись, сказал хозяевам квартиры, что пришел с извозчиком взять некоторые вещи Марии, внезапно заболевшей. Старики пожалели Марию и позволили нам войти в ее комнату. Мы вошли, заперев за собой дверь.

Мария лежала на кровати с синеватым лицом. Джулио задушил ее. Крови не было. Мы привели в порядок комнату, заперев шкапы и ящики, раскрытые Джулио в спешных поисках писем.

Оставалось самое трудное и тяжелое: унести покойницу. Заранее решено было воспользоваться ее дорожным сундуком. Опростав его, мы подняли труп и поставили в сундук на колени; потом нам не без труда удалось заставить уже несколько окоченевшее тело сесть, упершись теменем в верхний край боковой стенки. Пустые пространства мы заполнили платьями и бельем, после чего опустили крышку. Ее выпуклость нас избавила от тяжелой необходимости глубже вдавить в сундук голову, которой затылок слишком выдавался.

Когда все было кончено, мы вынесли сундук, заперли комнату и тронулись в путь. С трудом брели мы рядом с двуколкой по жарким улицам. За городом дышать было легче. К тому же дорога шла под гору. Мул веселее шевелил ушами, довольный не слишком тяжелой ношей. Однако Леонид остановил его и снял с шеи бубенчики, которых раньше в городском шуме не было слышно: здесь же своим веселым и мирным побрякиванием они, видимо, были неприятны ему.

За рекой, в небольшой деревушке, мы слегка отдохнули и стали подыматься на другой берег. После двухчасового подъема мы вступили в ***ские леса и под вечер, свернув на боковую тропинку, достигли хижины, где нас ожидали товарищи.

Предстояло зарыть сундук. Антонио с лесником и двумя товарищами быстро вырыли яму. Подвели мула, и сундук был спущен в нее на тех же веревках, которыми был привязан к двуколке. Ни Леонид, ни Джулио не присутствовали при этом.

Когда я вернулся в хижину, Джулио сидел на скамье и смотрел в окно. Все чувствовали необходимость в отдыхе, и решено было до завтрашнего утра не предпринимать ничего.

Говорили вообще мало, но к Джулио не обращались совсем. Говорить с ним о посторонних вещах казалось неуместным, говорить же о деле никто не считал себя вправе до общего решения.

В эти часы я впервые заметил в глазах Джулио страх и растерянность. Они проявлялись тем сильнее, чем спокойнее он хотел казаться. При каждом звуке, при каждом нашем движении он опасливо озирался и весь подтягивался, точно готовился защищаться.

С Леонидом, напротив, мы старались заговари-

вать, в то же время уводя его подальше от Джулио. Мы бродили с ним по лесу. Он послушно ходил за нами и, чтобы нас не обидеть, говорил безразличным тоном о вещах незначительных.

Это тяжелое положение длилось довольно долго, и мы все были рады наступлению ночи. После не слишком обильного ужина, приготовленного лесником, легли спать. Джулио не ужинал, так как заснул еще раньше на той же скамейке под окном, где сидел. Погасили огонь. Утомленный тяжелыми впечатлениями этих двух дней, бессонной ночью и долгим путем, я заснул тотчас же. Утром меня растолкал Антонио, кричавший:

— Вставай! Чего ты спишь как убитый? Все давно на ногах! Джулио убежал!

Я вскочил. Все были в смятении. Лесника, Леонида, Карло и Джузеппе не было. Они отправились в погоню за Джулио. Оставшиеся, особенно Марко, укоряли самих себя и друг друга в том, что никому не пришло в голову получше следить за Джулио. Через час ходившие на поиски вернулись ни с чем. Очевидно, Джулио был уже далеко.

Тогда решено было, что я постараюсь пробраться в город и в случае получения каких-нибудь сведений извещу оставшихся.

Я сел на мула и, изо всей силы колотя его пятками по бокам, заставил пуститься вскачь. Я ехал по той же дороге, которой вчера привезли мы тело Марии.

В середине дня я остановился в той же деревушке, где останавливались мы накануне. Сидя у окна деревенской гостиницы, я увидел, как из города промчалось десятка три всадников в красных мундирах. Это были жандармы. Я встревожился и поспешил продолжать путь.

Когда я приехал в город, там уже продавали газеты с описаниями «исчезновения и смерти девицы Марии Руффи, зверски убитой ее родным братом». Поняв, что Джулио уже в городе и какой оборот успел он придать всему делу, я решился спастись бегством, так как помочь товарищам не мог.

С трудом удалось мне добраться до границы и перейти ее. Наконец пароход, отходивший из Рио-де-Жанейро, доставил меня в Сан-Франциско, где, бла-

годаря некоторым знакомствам, мне удалось добыть денег, чтобы переправиться в Европу.

Вскоре из корреспонденций, помещенных в английских газетах, я узнал, что убийство Марии Руффи повлекло за собой раскрытие опасного политического заговора. Шесть человек заговорщиков, в том числе брат убитой, были, конечно, преданы не суду присяжных, а Высшему Королевскому Судилищу, приговором которого присуждены к смертной казни через повешение. Все заседания суда были совершенно закрытыми. 9 сентября 18** года приговор приведен в исполнение. Вот имена казненных: 1) Леонид Руффи, 2) Марко Фульджидо, 3) Джузеппе Фольта, 4) Карло Пини, 5) Горацио Глабро, 6) Антонио Рокка. Лесник (я забыл теперь его имя) приговорен к пожизненному одиночному заключению.

Джулио достиг высокого и почетного положения. Ему не удалось занять первое место в государстве, но все же парламентское большинство впоследствии дважды доставило ему портфель министра. Лет двадцать тому назад он умер.

В свое время я мог бы если не погубить его, то, во всяком случае, значительно ухудшить его положение. Но роль зарубежного обличителя не была мне по душе, так как вряд ли мои разоблачения привели бы к чему-нибудь. К тому же я понял, что человек этот не столь значителен, чтобы не иметь совести вовсе. Вероятно, она его мучила.

ПОМПЕЙСКИЙ УЖАС

Жить в двух часах от Помпеи шесть месяцев и уехать, не повидав ее, — неприлично, немыслимо. А все почему-то откладывал, точно какое-то было предчувствие. Наконец — я решился. А было 13 апреля да еще понедельник: день — дважды тяжелый.

В трамвае до Кастелламаре, в поезде до Торре Аннунциата, потом на извозчике. День мутноватый, солнце лишь изредка, но дышится тяжело. Дорога белая, пыльная, сорная. По сторонам — огороды, канавы, какие-то буераки. Иногда — дома из ноздреватого туфа, с плоскими крышами, без карнизов, с незастекленными окнами, — те итальянские дома, которые с первого дня своего рождения кажутся руинами. Все голо, плоско, пыльно, каменно, выжжено солнцем и выедено ветрами: долина помпейская. Какая-то древняя скука носится над дорогой. Кажется, пепел Везувия здесь въелся во все.

Везувий высится слева, коричнево-ржавый. Вершина его в парах. Почти черные возле кратера, они, высветляясь, рассеиваясь, белесоватым облаком тянутся к юго-востоку.

У входа в Помпею — маленькая площадь, запруженная автомобилями и пролетками. Она замыкается небольшою гостиницей «*Hotêl de Suisse*». Это бойкое учреждение у ворот мертвого города сразу напоминает те торговли крестами, венками и памятниками, что любят жить возле кладбищ.

От входа ведет к раскопкам закругленная дорожка, опрятно посыпанная песком, обсаженная густою зеленью. Здесь, после шумной площади, сразу становится тихо, только поскрипывает песок. И дорожка похожа на кладбищенскую.

По бокам кое-где стоят ситцевые носилки — для тех, кто слишком болен или слишком богат, чтоб ходить пешком. Иногда в глубь дорожки — «туда» — проносят людей. Похоже на кладбище.

Но вот вступаем в ворота: *Porta della marina*. Справа, под сводом, дверь в маленький музей. О, какой ужас! В конторе кладбищенской вам только

скажут, кто где лежит, — а здесь покажут нутро могилы, то, что в ней совершается. Здесь собрана часть утвари, найденной при раскопках: блюда, миски, оружие, баночки для румян, дверные замки, статуэтки. И тут же — сами жильцы: слепки людей, засыпанных пеплом. Один, скорченный скелет в лохмотьях, кажет рот, полный зубов; другой накрыл голову тогой — жест последнего отчаяния; третий — голый, лежит на спине раскорякой, в стеклянном гробу. Собака, в широком ошейнике, сведена конвульсией, свернулась, как гусеница. Здесь — вскрываются «тайны гроба». Здесь насилуется целомудрие могилы, ее единственное право — право на сокровенность.

Выходим, вступаем в «город». Что-то есть потрясающее в его мертвенной тишине и опрятности. По количеству сохранившихся улиц, площадей, стен — это отнюдь не груда развалин. Это действительно город, но город, с лица которого стерто все временное, случайное, минутное, сорное: Помпея обмыта, убрана, «обряжена», как покойница.

Безоконные спины домов, обращенные к улицам, почти одинаковы. Видимо, здесь строения были однообразны и при жизни города. Оголенные временем, лишенные облицовки, они теперь разнятся не более, чем могилы на кладбище.

Тесные, но прямые, ровные улицы открывают простейшие перспективы, пересекаются под прямыми углами. Они гораздо прямее, чем улицы современного итальянского городка. На угловых домах прибиты однообразные дощечки с нумерацией районов и кварталов. На каждом доме — особый номер; на перекрестках, у тротуаров, воткнуты на железных стержнях дощечки размером побольше — с названиями улиц: измышление полезное, даже необходимое для ориентации туристов. Но, при взгляде на номера и названия, упорно каждый раз вспоминаешь, что воскресший помпеянин именно из-за них тотчас заблудился бы в своем городе: все это примерные, условные обозначения, данные в наше время, по произволу ученых: точь-в-точь как на кладбище, где живые, ради своих удобств, дают названия улицам мертвецов.

Как посетители кладбища, не сливаясь с его пейзажем, здесь бродят туристы. Птичьими стаями перепархивают кучки молодых пестрых англичанок. Порой

из-за низкой стены, как из-за мавзолея, выглядывает рыжеусая голова немца. Движения у всех растерянные. Только кустоды и гиды здесь ходят и говорят уверенно. Только для них, как для кладбищенских сторожей и могильщиков, мертвое бытие Помпеи является повседневностью, бытом.

Но все же, при всяческих сходствах Помпеи с кладбищем, все время чувствуется, что есть и какая-то важная, существенная разница. И вдруг начинаешь ее понимать.

Кладбище идиллично. Мир царит там. Тех, кто закончил свой земной путь, мы относим на кладбище, в город *покойников и покоя*... Что могила для нас? *Parva domus, magna quies*[1]. А в этих вот малых домиках как раз великого покоя и нет. На кладбище — примиренность; здесь — только ужас. Все умерли, но никто ни с чем не примирился. Здесь погребены люди, захваченные смертью не только в середине земного пути, но, можно сказать, с ногой, поднятой для следующего шага. Здесь все умирали в ужасе, в неистовстве, в страсти, в бешенстве. Это в тысячу раз ужаснее, хуже, чем поле сражения. Там умирают тоже насильственной смертью, — но всякий отчасти заранее готов к тому, главное же — видит в том хоть какой-нибудь смысл: на поле сражения одним движет патриотизм, другим — радость подвига, героической позы, третьим — сознание долга, четвертый — на худой конец — идет, потому что ему приказано. Здесь же никто не видал никакого смысла. Погибали в бессмысленном ужасе, и, по свидетельству Плиния, многие богохульствовали, — конечно, именно потому, что сидели, пили, ели, торговали, обмеривали, обвешивали, дрались, обнимались. И вдруг — а вот ты сейчас умрешь, недопив, недоев, недообмерив, недообвесив, недодравшись, недообнявшись...

...Когда ж без сил любовники застыли
И покорил их необорный сон,
На город пали груды серой пыли,
И город был под пеплом погребен.

Прошли века — и, как из алчной пасти,
Мы вырвали былое у земли,
И двое тел, как знак бессмертной страсти,
Нетленными в объятиях нашли.

---

[1] Малый дом, великий покой *(лат.)*.

Поставьте выше памятник священный,
Живое изваянье вечных тел,
Чтоб память не угасла во вселенной
О страсти, перешедшей за предел!

Боже, какое бездушное декадентство! «Поставьте выше»!.. Нет, Бога ради, спрячьте, никому не показывайте, заройте опять!

Здесь смерть прошла, всех скосив, никого не высвободив из земной личины, не очистив от скудной и жалкой страсти. Когда человек умирает в болезни, в изношенности своего тела, — от него постепенно отходят его земные дела, спадает случайное, временное, как заботы, хлопоты, всяческие черты профессии. Спадает маска — обнажается лицо. Умирает не сапожник, не врач, не актер — а человек, раб Божий. То же и при внезапной смерти, если смысл ее как-нибудь осознан: геройством, жертвой, может быть, даже самоубийством, желанием «вернуть билет». Есть момент очищения, катарсиса во всех этих смертях. В Помпее не было его. Как были, такими и умерли: не «человеками», а — булочниками, сапожниками, проститутками, актерами. Так и «перешли за предел» — в грязных земных личинах, покрытые потом страха, корысти, страсти. В Помпее на каждом шагу открывается ужас — смерти «без покаяния», превращения в «запредельного» булочника, в «запредельного» содержателя таверны или лупанара.

Поэтому и похожа Помпея не только на кладбище, но и на нечто похуже того: на дом, где ворвавшиеся разбойники разом вырезали жильцов. Люди варили, жарили, ели, дышали луком — тут их и зарезали. Видим разбросанные остатки еды, рвань одежды, разбитую утварь, следы короткой отчаянной схватки. Жутко, а благоговения нет, как всегда на месте бессмысленной катастрофы.

В Помпее охватывает ужас не перед количеством жертв. Тут современный человек своими рассказами мог бы напугать добрых несколько тысяч Плиниев. Страшно здесь не количество, а качество умираний.

Оттого, что дома и домишки здесь повернулись спиною к улице, — входя внутрь, каждый раз ощущаешь какое-то вороватое чувство: будто ты не вошел, а забрался, закрался в дом. Влезешь — и чудится, будто сейчас вот из этой клетушки или из той, из

какого-нибудь колодца, вылезет на свет Божий хозяин, потревоженный тобой. Может быть, тот самый раскоряка, что лежит в стеклянном гробу. Вылезет — и дохнет на тебя, да не адским огнем — а луком, восемнадцати с половиной вековым луком. Крепкие запахи римской кухни как бы проносятся над Помпеей. Город был маленький, но с достатком; город торговый, ремесленный, деловитый; здесь знали цену деньгам и всякому плодородию, эмблемы которого всюду разбросаны в виде разных быков, козлов, свиней, вепрей — и еще более выразительных изображений; много здесь было публичных домов и кабаков, население крепко любило хорошо поесть, попить, выспаться. И погибла Помпея в час ужина.

Здесь очень грубая, жирная, липкая жизнь перешла в такую же грубую, неблаголепную смерть. И не знаешь, что тягостнее: то ли, что сохранилось получше, или то, что сильнее разрушилось: там явственнее следы душной жизни, здесь — душной смерти. Здесь жили и умерли в полутемных, тесных клетушках, без окон, с единственной дверью.

Кажется, мне было бы жутко и противно пройти здесь босиком. А уж рукой к чему-нибудь прикоснуться — нет, ни за что на свете. Был со мной очень странный случай в юности. Придя домой из гимназии, нашел я на подоконнике небольшой круглый сверток. Газета на нем была мятая и дырявая. Я сунул палец в дыру — и отдернул с омерзением и страхом: жесткие волосы и сухая кожа. У меня на окне лежала... человеческая голова. Да, да — настоящая отрубленная человеческая голова: мумия, привезенная в подарок. Этот случай Помпея напоминала на каждом шагу.

В публичном доме клетушки самые душные, самые тесные. Они очищены не вполне: черные остатки пепла здесь въелись во все, вероятно — вместе с остатками античной грязи и человеческого пота. Черный, чуть-чуть жирноватый налет на всем: на широких каменных ложах, занимающих каждое — половину полутемного чулана; на тонких перегородках, на косяках дверных дыр, с которых исчезли занавеси (да полно, может быть, их и не было?); в трещинах облупившихся картинок, изображающих *так* и *такое*, что сразу становится тошно смотреть и трудно дышать; и, наконец, извините, в круглодырой доске отхожего места (совсем

тут же, между клетушками), которое не без гордости показывает кустод: ведь, может быть, это — единственное античное. И когда выберешься на улицу — мнится, вдогонку тебе еще летят возгласы Петрониевых героев: ведь гнусные, нудные, вечно пошлые, непроглядные, как помпейская ночь, события «Сатирикона» разыгрались немного позднее — но именно в этих самых местах.

И, ходя по другим домам, по другим клетушкам, созерцая безвкусную помпейскую живопись, с ее мелочным рисунком и негармонической пестротой клеенки, — каждый раз молишь Бога, чтобы комнат было поменьше, чтобы скорее отдать этот долг культуре и снобизму. И даже то, что получше (например, маленькая, не по-здешнему живая, наумахия на одной из стен), — не радует. На эту наумахию приятно смотреть; еще приятней — бежать отсюда.

Лишь на минуту, где-то вдали, за решеткой, мелькает мне милый образ Орфея — единственное упоминание о духе в этом городе заживо погребенных. Но мимо — и снова нечем дышать в этом античном сумраке.

В гимназических учебниках — и то пишут, что христианство принесло в мир готическое острие — взлет ввысь. Здесь как-то воочию познаешь эту простую истину. Безвзлетный, косный, приземистый куб помпейского дома — какая безвыходность, какая плоскость, какая тоска! И эти миллионнопудовые тяжести, обманчиво легким пеплом спадающие с рационалистических небес латинского мира, — о, какая безвыходность! Тут веришь и видишь, как велика, вероятно, была в некоторых душах тоска по Спасителе — от духоты, жары, плоти, пепла.

Жарко. Осталось осмотреть еще два-три дома. Перспектива улицы заканчивается громадой Везувия, точно в нее упирается. Я поднимаю глаза — и вижу: на черных дымовых клубах, играя, вспыхивают лиловатые, винного цвета, отсветы. Это — не огонь, это только его отражение на клубах пара. Но — все равно! Там, высоко над Помпеей, дышит драконья пасть. Вспоминается: «Злое пламя земного огня». И кажется, что земля начинает теплеть под ногами. Бежать отсюда!

О, милый, живой, веселый извозчик, везущий

в Кастелламаре! О, милая, живая неископаемая лошадка, бойко мчащаяся, увозящая прытко — с каждой секундой все дальше отсюда!

Извозчик, оказывается, видел меня в Сорренто. Он оборачивается, заводит всякие разговоры о моей национальности, о семейном положении. В другой раз я, быть может, уклонился бы от разговора, притворяясь англичанином. Но сейчас — я напрягаю все свои познания в итальянском языке и отвечаю на все вопросы, чтобы извозчик расположился ко мне и почаще хлопал своим бичом. И так весела, так прекрасна — где-то слева, вдали — высокая белая колокольня.

БЕЛЬФАСТ

Если к Бельфасту спускаться с высоких холмов, подступивших к нему вплотную с северо-запада, — то столица Северной Ирландии покажется вам горстью земляники на кленовом листе: таковы, среди зеленых лугов, черепитчатые бельфастские крыши.

Однако ж для созерцания этой приятной картины необходимо, чтобы совпали два важных условия: первое — чтобы день был праздничный, ибо в будни Бельфаст не похож ни на землянику, ни на что-либо другое: попросту — его и не видно сквозь черную тучу дыма и копоти. Второе условие — потруднее первого: чтобы день был ясный. А климат здесь вот каков: я пробыл поблизости от Бельфаста шестьдесят летних дней; из них два обошлись вовсе без дождя, дней десять дождь шел с перерывами, а прочие сорок восемь суток он лил себе с утра до ночи и с ночи до утра. При этом должно отдать справедливость благочестию и невзыскательности жителей; они мало сказать — не роптали: они говорили, что лето выдалось *сравнительно* весьма неплохое и что погода обычно бывает гораздо хуже.

Итак, если вам посчастливится и вы подъедете к Бельфасту с северо-запада, и непременно в праздник, и непременно в погожий день, — то увидите вы описанную картину: земляника на кленовом листе. Конечно, зрелище уж не Бог весть какой красоты, а тем паче значительности — но все-таки милое. К тому же им приходится дорожить: ничего лучшего здесь не увидите.

Если же с холмов спуститесь и вступите в самый город, то уж ничего не поможет — ни праздник, ни ясный день.

Не видев Бельфаста, я не представлял себе города, окончательно лишенного всякой прелести, всякого обаяния. Бельфастские улицы не широки, не узки: все почти одинаковой, довольно удобной для движения, ширины. Нельзя сказать, чтобы они были прямы, но и нет в них занятной и неожиданной путаницы, как хотя бы в Москве. Так себе улицы: которые попрямее,

а которые покривее. В общем, они так убийственно незанятны, что незанятно о них рассказывать. Они пересекаются под какими-то скучными углами и почти всегда только по две: ни площадей, ни звезд почти нет в Бельфасте.

Здания, — о них хочется сказать: помещения. В сущности, это просто большие каменные ящики для помещения фабрик, контор, магазинов и жилищ, однообразных, как конторы. В них ничто не радует, даже не занимает глаза. Несколько церквей, самой банальной архитектуры, бессильны нарушить казарменное однообразие бельфастской улицы. Если где-нибудь высится башня, то вы можете быть уверены, что ее назначение — водонапорное, архитектура — попросту никакая. Бесконечные красные спины фабрик тянутся по всем улицам. Ни садов, ни бульваров в Бельфасте нет. Только перед новым зданием бельфастского парламента (относительно недурным, но представляющим, говорят, копию с какого-то небельфастского здания) — разбит казеннейшего образца сквер.

Все, что видите вы в Бельфасте, до такой степени никакое, что общее впечатление от этого города — не изумление перед безвкусицей, а подавленность скукою и бездарностью. Безвкусицу создает тот, кто не умеет, но хочет создать красивое. Здесь же никто никогда не задавался такой целью. Об эстетике здесь просто не слыхивали, и самого слова этого, конечно же, нет в словаре бельфастского жителя.

По городу, для которого берлинский Nollendorfplatz мог бы служить величайшим украшением; между стенами, черными от дождей и копоти; под вечным туманом, в сырости, полумраке и слякоти; в резиновых макинтошах, допотопных каких-то мантилочках, кто — под зонтом, а кто — просто в котелке, по загнутым полям которого, точно по кровельным желобам, текут дождевые потоки, — идут serолицые, впалощекие, с перекошенными челюстями мужчины — с портфелями в руках; и серолицые, впалощекие, с перекошенными челюстями, с огромными ногами, обутыми в непромокаемые штиблеты без каблуков, — женщины с мешками для провизии. Некрасивость бельфастских жителей равна только их добродетели. Румяна и пудра считаются здесь вывескою разврата. Сорокалетние люди кажутся здесь шестидесятилетними.

К тридцати годам человек здесь седеет почти всегда. Говорят — это следствие климата. Я думаю — также и скуки: изумительной, подавляющей, потрясающей, как пустыня, скуки, о которой понятия не имеет тот, кто не живал в английской провинции.

Однако же есть и в Бельфасте такое, на что взглянуть стоит. Это не музей, не собор, не театр, не библиотека. Это его гигантская верфь, вторая в мире по величине, выпускающая суда, по величине первые в мире. В один из самых бельфастских дней, когда дождь заморосил с рассвета и моросил до ночи, — мне удалось побывать на ней. Я получил разрешение.

В назначенный час я приехал в правление. Швейцар, по почтенности, тоже, думаю, первый или второй в мире, попросил меня обождать в зале заседаний. Это довольно просторная комната, отделанная со всевозможною банкирскою роскошью. Огромный стол, покрытый красным сукном, окруженный почтенными креслами. Почтеннейшие, устойчивые, как пирамиды, чернильницы перед каждым креслом. Ковер, пальца в три толщиной. На потолке, на стенах — солидная резьба и лепка. Введя меня, швейцар поворачивает выключатель, и загорается электрический камин, огромнейший и почтеннейший, к тому же глубоко необходимый в летний бельфастский день.

Вскоре является молодой человек, один из служащих верфи, которому поручено быть моим Виргилием. Это имя подходит, ибо он прежде всего ведет меня по кругам... конторы: по бесконечным закругляющимся коридорам, где за толщенными гнутыми стеклами сидят бесчисленные молодые и пожилые люди, обреченные пребывать здесь за то, что они знают бухгалтерию.

За кругами конторы следуют круги чертежных. Они вписаны внутрь кругов конторских. Поэтому окон в них почти нет. Это — около пятнадцати зал, зальц и комнат со стеклянными потолками. Целая система синих занавесей, похожих на паруса, управляемых кольцами и шнурами, регулирует свет — ровный, мягкий, спокойный. За длинными черными столами бесчисленные чертежники, впалогрудые молодые люди, позеленее и похудее конторских, стоят и сидят, нагибаясь над калькой, выводя детали будущих кораблей. Здесь — полная тишина. В конторе — шлепают штем-

пеля, пощелкивают арифмометры и пишущие машины. Здесь — только вощаное шуршанье кальки. Инженер нагнулся над одним из чертежников. Они говорят шепотом.

В чертежных и коридорах — большие стеклянные ящики с моделями судов. Мелкая четкость и тщательность этих моделей забавляет и веселит. По стенам — рисунки и чертежи, относящиеся к судам, уже выпущенным верфью. Здесь — профили и горизонтальные разрезы «Мажестика», эскизы панно для гостиных на «Олимпике». Да, все эти гигантские «ики», ходящие в океанах под знаком White-Star Line, — построены здесь. Но — ни моделей, ни эскизов для покойного «Титаника» здесь нет. Очевидно, и поминать о нем было бы бестактно. Я делаю вид, будто это имя и не приходит мне в голову.

Мы выходим из главного здания и садимся в автомобиль: мой Виргилий предупредительнее своего первообраза: тот водил Данта пешком, этот везет меня на своей машине.

Теперь не круги — а зигзаги. Миновав несколько строений, въезжаем на территорию верфи. Это, конечно, целый город, еще недавно имевший восьмидесятитысячное население: такова была цифра рабочих. Теперь она сокращена приблизительно на две трети. Тут становятся мне памятны бесчисленные кучки людей в порванных пиджаках и каскетках, с утра до ночи без толку, под дождем, толпящиеся на перекрестках и улицах Лондона и Бельфаста: безработица в Англии познается не из одних газетных отчетов: она видна просто невооруженным глазом.

Верфь сравнительно пустынна. Чувствуется, что она рассчитана на гораздо более многочисленное население. И все-таки то, что здесь видишь, по-своему замечательно.

Да, это целый город: в нем свои улицы, свои рельсы, по которым ползут поезда вагонов и вагонеток. Поразительно в нем разнообразие строений: кирпичные, каменные, деревянные, приземистые и низкие, то лишенные окон, то вовсе как бы стеклянные — все они резко разнятся друг от друга и внутри, и снаружи. Поразителен грандиозный размах и замысел этого города, похожего на самостоятельную республику. Здесь есть все нужное для ее своеобразной жизни, и все

вырабатывается тут же. Здесь — свои мастерские, вырабатывающие все детали судов, от железных балок и скреп до фасонистых кресел и курительных столиков красного дерева. И в соответствии с разнообразием заданий — разнообразно, пестро, причудливо высятся разноликие здания, разнофасонные, высокие, низкие, толстые, тонкие трубы, выпускающие то дым, то пар, безмолвные и пыхтящие, свистящие и посапывающие. Лес труб, толпы каких-то башен и вышек, то каменных, то железных, то сплошных, то сквозных, точно сплетенных из проволоки. За ними и между ними — подъемные краны, лебедки, мосты, приземистые сараи, и снова какие-то башни, вышки, стеклянные купола и железные конуса. А где-то вдали — гигантские кубы лесов, окружающих строящиеся корабли, и оттуда — какой-то певучий металлический звон и жужжание.

О, бедные российские воспеватели горна и молота! Они славословят царевококшайскую комячейку, которая в сотрудничестве с комсомолом, укомом и исполкомом в каких-нибудь три воскресника коллективно сконструировала две пары клещей и вычистила полфунта ржавых гвоздей! Они и во сне не видывали такой работы, как здесь, на полуумершей бельфастской верфи! О, скорбноглавые российские футуристы и урбанисты — единственный контингент, навербованный воистину «от сохи»! Что видали они, кроме тихого Замоскворечья да идиллической речки Смородинки, той самой, у которой Илья Муромец сиднем сидел тридцать три года!

Краснодеревная мастерская. Здесь заканчивается столярная отделка судов. Это — гигантский зал, без единой перегородки, рассчитанный на тысячу пятьсот рабочих. Бесчисленные станки, сверла, пилы, лобзики, и над каждым — электрический высасыватель, все время вытягивающий опилки под железный навес и по трубам гонящий в соседний амбар, с полу до потолка заваленный розоватой пылью. Если б не пылесосы — добрая половина этих опилок легла бы рабочим на легкие.

Мы снова садимся в автомобиль, объезжаем прочие мастерские, и то лишь главнейшие: в одной изготовляют металлическую обшивку судов: чудовищные машины холодным способом, легким нажимом короткого хоботка пробивают почти вершковые сталь-

ные доски, как мы пробиваем письма машинкою регистратора; там — ножом режут стальные брусья; там похожее на копье сверло их буравит, готовя отверстия для заклепок. Вверху какие-то железные черепахи бегают по железным мостам, вниз спиною, как мухи по потолку... В другой делают только спасательные лодки, и здесь навалены пахучие доски, с лоснящимся, маслянистым распилом. Лодки, готовые, полуготовые, только начатые, лежат на боку, на спине, килем вверх. Люди стучат, стругают, шпаклюют в них, на них и под ними.

Наконец едем к кораблям. Их два. Левый почти готов к спуску. Это гигантская железная лодка, лежащая на деревянных подпорках и окруженная деревянными и железными лесами. Где-то высоко, на высоте четырехэтажного дома, висящий в люльке рабочий стучит молотком. Между подпорками пролезаем под днище, в темный коридор. Корабль висит у меня над головой. Виргилий указывает рукой — и в дали туннеля, который кажется бесконечным, я вижу маленькое светло-серое пятно, испускающее мутные лучи. Это — конец корабля и море.

Правому кораблю еще далеко до спуска. Это — классический корабельный остов, еще не обшитый, с обнаженными гнутыми ребрами. Образ, знакомый и волнующий с детства, по картинкам, изображающим Петра в Саардаме и Робинзона за постройкою корабля. Но вместо дерева вижу сталь, а рабочих не вижу вовсе. Они копошатся где-то во вскрытом чреве гиганта, в том мраке, откуда, точно иллюминация, видны желтые пятна электрических лампочек. Всюду, похожие на кишки этого чрева или на лианы в лесу, — змеятся и тянутся провода, кабели, какие-то трубки.

Но если работники здесь незримы — они хорошо слышны. Весь корабль поет и звенит от бесчисленных электрических сверл. Это звук совершенно особенный, словами неизобразимый, пронзительный и — обаятельный.

Он куда-то зовет — и разом вдруг обрывается на нестерпимо волнующем стоне. А молотки, бьющие по железу, служат для сверл музыкальным фоном. Здесь, под открытым небом, их звук негромок и отрывист.

Наконец едем мы к третьему кораблю. Едем долго, на другой берег мыса, занятого верфью. Этот

третий уже не на суше. Его недавно спустили. Он стоит возле берега. На нем еще нет машин, и сидит он неглубоко, подымая над водой красную, в будущем подводную, часть. Так как на нем еще нет ни кают, ни палуб, ни труб, ни мачт — одна лодка, — то здесь, на просторе, он не кажется мне огромным. Однако это не так. Это — самый большой корабль в мире из построенных после войны. Виргилий, по-видимому, проникся ко мне известным доверием и решается произнести «неудобное» слово.

— Этот корабль всего на семьдесят метров короче «Титаника», — говорит он.

И, уже севши в автомобиль, прибавляет:

— Его не будут теперь достраивать. Голландско-американская компания, заказавшая его, — предпочла потерять огромный задаток, нежели достраивать судно.

— Почему?

— Так. Денег нет, — уныло отвечает Виргилий.

Он снова довозит меня до города. Мы прощаемся. Дождь, дождь, дождь. После верфи Бельфаст — как базарные будни после праздника.

ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ

Тащитесь, траурные клячи!
Блок

Человек хоронит отца, через погребальную контору Быстрова, за восемьдесят рублей — и все очень прилично. А через два года, когда приходится хоронить мать, тот же Быстров за такой же гроб, такие же свечи, дроги и прочее берет уже девяносто. Помилуйте, с какой стати? А с такой стати, что человек, ну, скажем, помощник податного инспектора Копылов, от похорон отца до похорон матери жил два года, нисколько не думая ни о Быстрове, ни об Александрове, даже едва замечая их просторные витрины, сияющие такою важною, такою непреходящею красотой гробов. А меж тем съезд пчеловодов поднял цены на воск, и оттого вздорожали свечи; вздорожала парча, вздорожали шнуры и кисти, потому что с канительницами нет никакого сладу; овес — и тот вздорожал, а помощник податного инспектора Копылов за эти два года и не подумал ни разу, что ведь Быстрову-то надо все это время кормить своих лошадей, которые тогда отвезли на Миусское кладбище отца помощника податного инспектора, а теперь — его мать. И не знал помощник податного инспектора, что за эти два года старший приказчик Быстрова не раз побывал в конторе у Александрова, что не раз сам Быстров и сам Александров совещались друг с другом и с поставщиками, считали, прикидывали, ломали головы — и в конце концов погребение по второму разряду силою вещей стало на десять рублей дороже. Пока податные инспектора, их помощники, их письмоводители жили своей жизнью, определяемой сменой чинов, окладов, циркуляров и всего прочего, до их относящегося, — погребальные конторы жили своей, столь же закономерной жизнью, имеющей собственную историю. И как события этой истории представали сознанию Копылова лишь в исключительные моменты, когда приходилось ему хоронить родных, — так и сам Копылов являлся в контору Александрова или Быстрова лишь раз в два года, как бы восставая из небытия. И сам помощник податного инспектора, и его жена, и сын-студент, и еще кое-какие за гробом идущие родственники — всё это были толь-

ко скоротечные образы, проплывавшие в сознании быстровских факельщиков, облаченных в долгополые кафтаны и с зажженными фонарями шагавших по сторонам катафалка. Зато подходя к кладбищу, быстровские служащие уже издали распознавали стоящие у ворот александровские второго разряда дроги и сытых александровских лошадей, с которых знакомые факельщики снимали попоны, собираясь рысью возвращаться домой.

Подобно пласту податной инспекции, жившему своей жизнью, и пласту погребального промысла, жившему жизнью своей, был в Москве пласт докторов, из которых один вызван был к умиравшей старухе Копыловой, и пласт священников, из которых один ее отпевал, напутствуя в жизнь вечную, хотя об ее существовании временном узнал лишь после того, как оное пресеклось.

И как от ее могилы священник отправился в консисторию, где знал он все входы и выходы, так тремя днями раньше от ее смертного одра доктор поехал в игорный дом, где встречались люди многих других пластов: адвокаты, портнихи, зубные врачи, актеры, актрисы, купцы, игроки, инженеры, лошадники, литераторы.

Люди всех этих пластов соприкасались друг с другом (например, за картами, или когда лошадник судился с купцом, или когда у литератора болели зубы), но главная жизнь у каждого лежала в его пласте, и каждый пласт составлял как бы город в городе, и Москва была совокупностью множества таких городов или городишек. Жили они, конечно, и некоей общей жизнью, жизнью даже России. История совершалась, не ощущаясь.

Если бы студент, сын помощника податного инспектора, стал писать стихи или повести и если бы эти стихи или повести понравились какому-нибудь редактору или критику, а главное — если бы сам студент тоже понравился редактору или критику, — то стал бы он обитателем того града, города, городка или городишки, которому имя — литература. Подобно Москве чиновной, духовной, рабочей, воровской и всем прочим, была и литературная, со своими рождениями и смертями, со своей знатью и мелюзгой, с богатством и нищетой, с борьбой, сплетнями, подвигами. Но сын

помощника податного инспектора Копылова не сочинял ничего, он был усердным естественником. Читая время от времени книги, написанные писателями, и глядя в театрах их драмы, он не задумывался, откуда сваливаются к нему эти книги и драмы. Точно так же, бросая горсть мокрой земли на гроб бабушки, не думал он о могильщиках, стоящих тут же наготове со своими лопатами.

. . . .

Стоя у стены, сбоку эстрады, и посмотрев на ноги сидящих в первом ряду, Соня Мамонова заметила в середине, возле прохода, три широких атласных юбки: темно-лиловую, темно-зеленую и темно-синюю. Но, взглянув повыше, она увидела, что две боковые, — темно-лиловая и темно-синяя, — вовсе не юбки, а рясы и принадлежат двум священникам с гладкими, маслянисто зачесанными волосами и золотыми крестами. Только средняя, темно-зеленая юбка облегала колени женщины, пожилой, дородной, с тремя нитями крупного жемчуга на груди. Заседание Христианского Кружка происходило у нее в доме, в зале с белою и голубою лепкою на стенах и на потолке. Народу сошлось человек полтораста, заседание было открытое. Знаменитый писатель, перед отъездом в Крым, делал доклад. Он сидел на паркетной эстраде, за длинным столом, среди молодых и старых членов Кружка и, постукивая желтым карандашом, говорил уже больше часа. Священники слушали, вытянув шеи и глядя на писателя, а хозяйка дома — опустив голову и закрыв глаза. Заметив, что дело идет к концу, она встала и тихо прошла мимо Сони Мамоновой в боковую дверь, откуда слышались осторожные шаги слуг и звяканье чашек. Между докладом и прениями предстоял чай.

Действительно, вскоре писатель заговорил громче, стал реже и тверже постукивать карандашом, а порыкивания, которыми в сильных местах он сопровождал свою речь, перешли в сплошной рык. Наконец он ударил ладонью по черной папке с тесемками, вскочил (причем оказалось, что ростом он меньше, чем можно было подумать, пока он сидел) и, глядя серыми выпуклыми глазами на священников, почти закричал:

— А я вам говорю: горе Церкви, если она меня не услышит!

И стал собирать листочки доклада в папку, слегка втянув голову в плечи и не глядя на публику. Он делал это с нарочитой кропотливостью, как бы говоря: «Нет, нет, не зовите меня пророком. Вы же видите, я простой бренный человек, собирающий свой посильный труд в эту простую папку».

Все, кроме священников, захлопали, зашумели стульями. Седой председатель, размахивая руками, крикнул с эстрады, что он кладет на стол бумагу и карандаш для записи желающих высказаться. Лектора обступили и повели пить чай. Он шел, стараясь быть самым обыкновенным и в то же время явственно показать всем, что хоть он и идет пить чай, но идет, сам не зная куда, влекомый народом, пророк в делах духа, беспомощное дитя — в делах мира сего, — змий и голубь.

Соня прижалась к косяку, давая дорогу. От писателя на нее пахнуло запахом табаку и старого платья.

Табаком и старьем от писателя пахло по двум причинам. Табаком — потому что в день выкуривал он пятьдесят толстых папирос, «пушек», изготовлявшихся по особому заказу из крепчайшего табаку и необходимых ему при всех умственных отправлениях. Без папирос понимал он, и то с трудом, самые только простые вещи: это вот — книга, это — ковер, а это — моя нога. Старым же платьем пахло от его парадного сюртука, обычно висевшего в темном чулане, который тучная жена писателя звала гардеробной и где хранила она все тряпье, накопившееся за тридцать лет их супружества. Однажды, лет восемь тому назад, зайдя в чулан, писатель вдруг ни с того ни с сего сказал громко:

— А ведь Бога-то нет.

Потом прислушался и переспросил:

— А?

Он постоял с пять секунд и кинулся из чулана прочь. Вбежал в кабинет, закурил, сел в угол дивана, того самого, на котором двадцать пять лет привык обдумывать свои сочинения и который был свидетелем всех его постижений, а потому и вспоминался с полным основанием всякий раз при слове *религиозный опыт*. Но тщетно: сколько писатель ни силился, уверенность в Боге не только не возвращалась, но и было как-то непозволительно ясно, что Бога нет; хуже того, было ясно, что он, писатель, всегда это знал. Его

охватил ужас перед будущим. Приходили в голову разные мысли: всенародно отречься от всех своих сочинений, выступить с проповедью безбожия, перейти на другие темы, даже покончить с собой (это, впрочем, всего только на одну минутку и только предположительно). Потом он подумал, что, пожалуй, легче всего будет написать книгу «О трагедии неверия». Наконец, накурившись, решил он, что и это не годится и все должно остаться по-прежнему.

Соня пришла на доклад не оттого, что хотела узнать, надо ли Церкви слушаться писателя.

Она выросла в Туле. Там и теперь ее мать доживала век в семье старшего сына. Соня уже третью зиму жила в Москве. В 1911 году она поступила в университет и посещала его исправно. Еще исправнее ходила она в театры, на лекции, на картинные выставки, реже — в концерты, вступила, как водится, в какой-то кружок, собиравшийся на квартире зубного врача, друга молодежи. Две дочки зубного врача писали стихи: старшая, почерней и потолще, — о страсти; младшая, посветлей, — о природе. Прочие члены кружка тоже сочиняли, большею частью в стихах, реже — в прозе. По воскресеньям собирались, читали и обсуждали. Иногда делегация отправлялась к какому-нибудь поэту и залучала его в кружок на ближайшее воскресенье. Он приходил и не знал, что делать и что сказать. К чайному столу для него ставили кресло. Едва он раскрывал рот, за столом разлегалась тишь, а он чувствовал себя шарлатаном, если не был таким действительно. Принимая чай от хозяйки, он видел пододвигаемые со всех сторон сахарницы, сухарницы, корзинки с пирожными, вазочки с вареньем, тарелочки с лимоном и кувшинчики сливок. Он благодарил, кланялся во все стороны и улыбался, что-то брал сам, что-то ему накладывали. Кругом шептались, но тут же на шептунов пошикивали, ожидая, что поэт вот-вот может заговорить. Взгляды всех ползали по его лицу, но когда он сам взглядывал на кого-нибудь, тот съеживался. Наконец нельзя было больше молчать, поэт кидался на первую попавшуюся жертву и, сам жалея ее, вдруг спрашивал:

— А вы пишете стихи или прозу?

Тотчас глаза всех обращались на спрошенного, точно на кролика, которого удав обливает слюной перед тем, как начать заглатывать.

Однажды, тому назад года полтора, Роман Гишин избрал себе такой жертвой Соню.

Роман Гишин в то время еще вполне почитался поэтом. Может быть, три-четыре десятка стихотворений, хоть и недурных, еще не давали права на это звание, но все же верно и то, что Роман печатался в самых передовых журналах, будущее было ему открыто, он числился в «молодых надеждах», бывал в редакциях. Он познакомил Соню с самим Мелентьевым, потом еще с кем-то, потом пристроил ее стихи в небольшой журнал. Мало-помалу Соня сделалась своим человеком в литературной Москве, то есть была со всеми знакома, знала, кто кого любит и кто кого ненавидит, кто кого выдвигает и где нынче сборище. Она умела разгадывать псевдонимы и наперед знала содержание ближайшей книжки «Московского Меркурия». К ней привыкли, она тоже стала жить волнениями и фантазиями этого круга, из которого, ей казалось, она никогда не выйдет и выйти не захочет. Кое-где она уже значилась в списке сотрудников, университет был забыт. Зубной врач самолично накладывал ей сухариков на тарелку, а его старшая дочь перестала поверять Соне сердечные тайны. И самой Соне уже было не так легко с прежними друзьями, потому что она привыкла думать и чувствовать совершенно особым образом.

Когда читателю приходилось особенно туго, он шел в синематограф, потом возвращался домой, заваривал чай и думал, что надо повеситься. Думая, он не знал, чем кончить, — и либо вешался, либо не вешался. Но уж если не вешался, то для него было ясно, что он не повесился. Писатель же в таком случае прежде всего знал наперед, что ни в коем случае не повесится. Однако тем тщательнее вбивал он мысленно гвоздь, и пробовал его крепость, и мылил веревку, и, встав на мысленную табуретку, продевал голову в мысленную петлю. Петля проходила здесь вот, под кадыком (писатель довольно крепко давил на кадык двумя пальцами); потом мысленно он отталкивал табуретку и слышал глухой стук от падения; петля резала затылок, позвоночник растягивался, ноги бились; писатель чувствовал, как у него лицо наливается кровью, язык лезет наружу, глаза выкатываются; пальцы сводит судорога; он хрипит, но хрипа уже, вероятно, не слышно. Жизнь кончена. Этого было достаточно, чтобы отныне

он видел себя как бы выходцем с того света — и по-своему был прав. Тотчас же писать об этом было не только не обязательно, но и не целомудренно. Но те обстоятельства и тех людей, которые довели его до такого состояния, он искренно считал убийцами, и это было его право. Встретив своего убийцу на улице, он его дружески зазывал в ресторанчик и там, подпоив под звуки румынской музыки, неожиданно спрашивал:

— Что это у вас за пятно на лбу?

Тот вынимал платок, слюнявил и тер.

— Ну, как, стер?

— Нет, еще есть.

Убийца трет крепче, лоб у него краснеет.

— Ну, а теперь?

— Нет, этого так не стереть. Вы пойдите к зеркалу.

Пошатываясь, убийца пробирается между столиками к мутному ресторанному зеркалу, все на него оглядываются, кто-то злобно толкает локтем, а писатель думает:

— Вот: скитается Каин. Не будет ему покоя.

Среди этих людей жила Соня уже полтора года. Вот эта жизнь и привела ее на тот вечер, где знаменитый писатель обличил Церковь перед отъездом в Крым.

Чай пили в гостиной. Двери туда были открыты как будто для всех. На самом деле были вхожи немногие: члены Христианского Кружка, профессоры, философы, признанные писатели и их жены, по большей части некрасивые, со страдальческими лицами, в черных бархатных платьях с воротниками из кружев; некоторые носили большие кресты на цепочках из черных бус. В гостиной были еще и личные гости хозяйки: два миллионера, известный пианист, нарумяненный архитектор, обладатель лучшей в Москве бороды, и молодой художник — жгучий брюнет, на всех собраниях и концертах носящий голубую песцовую муфту за старою миллионершей, собирательницей картин.

Гомбуров был вхож как редактор «Меркурия». Соне входить не следовало, но она вошла, потому что Гомбуров был там: разговор мог начаться с любой случайности, как месяц тому назад (это был их единственный разговор)...

1925

ИЗ КНИГИ «ПУШКИН»

НАЧАЛО ЖИЗНИ

«Однажды маленький арап, сопровождавший Петра I в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал: “Государь! государь! из меня кишка лезет”. Петр подошел к нему и, увидя, в чем дело, сказал: “Врешь, это не кишка, а глиста!” — и выдернул глисту своими пальцами».

Этот арапчонок, не то паж, не то камердинер, знавал лучшие времена. На берегах реки Мареба, в Северной Абиссинии, там, где кровь негритянская густо смешана в населении с семитической, отец его был владетельным князьком. «Сей сильный владелец» находился, однако, в вассальной зависимости от Оттоманской Империи. Однажды, с другими подобными же князьками, он взбунтовался против турецкого утеснения. Мятеж был подавлен, и турки, в обеспечение покорности, потребовали заложников из числа княжеских сыновей. Таким *аманатом* очутился и маленький Ибрагим. Несчастие выпало на его долю потому, что его мать была последней, тридцатой по счету женою князя. Мальчику было лет восемь. Его увезли в Константинополь и поместили в султанском серале. Через год его выкрал оттуда русский посланник, которому Петр приказал раздобыть несколько арапчат для украшения своего двора. В 1707 году, в Вильне, государь крестил арапчонка в православную веру и сам был его восприемником; Христина, польская королева, была крестною матерью. Мальчика назвали Петром, «но он плакал и не хотел носить нового имени». По созвучию с прежним царь позволил ему называться Абрамом. Отчество было ему дано Петрович — по крестному отцу. Так он и звался довольно долго — Абрам Петров, а то и просто Абрам, с пояснением в скобках: арап.

Будучи смышлен, постепенно он сделался при царе чем-то вроде секретаря. По-видимому, находился он при Петре и в день Полтавской баталии. Ему было лет двадцать, когда Петр отправил его с другими молодыми людьми во Францию — обучаться военным наукам. Во французских рядах воевал он с испанцами,

был ранен в голову, побывал в плену, а затем поступил в военно-инженерную школу в Метце. В 1722 году получил он приказ возвращаться в Россию, по приезде назначен на инженерные работы в Кронштадт, а затем определен поручиком в бомбардирскую роту Преображенского полка.

Он покинул Францию с сожалением: ему хотелось побыть в Метце еще один год — окончить образование. Но с Петром спорить не приходилось. Все-таки в Петербург арап явился человеком довольно образованным, привезя с собой целую французскую библиотеку томов в четыреста. Кроме книг по математике и военному строительству, были в ней сочинения по всеобщей истории, по истории церкви и литературы; среди книг философских и политических — «Государь» Макиавелли и политические завещания Кольбера и Лувуа; в отделе Exotica[1] рядом с «Histoire de la Conquête du Mexique»[2] значится «Voyage de Struys en Moscovie»[3].

При Петре он, конечно, был одним из самых просвещенных людей в России. Заведуя собственным Его Величества кабинетом, он пользовался особым доверием государя. Его влияние было значительно и при Екатерине I, но он имел неосторожность втянуться в политические интриги. На другой день после смерти императрицы Меньшиков выслал его в Казань, а потом еще дальше — в Сибирь. Только через три года ему удалось вернуться. Он служил в Пернове, затем временно выходил в отставку, затем десять лет состоял обер-комендантом Ревеля. В 1752 году окончательно возвратился он в Петербург, где занимал ряд видных должностей по инженерному ведомству. После смерти Елисаветы Петровны, которою был облагодетельствован, он больше не пожелал служить и вышел в отставку в чине генерал-аншефа. То было всего за несколько месяцев до воцарения Екатерины II. Остаток жизни провел он под Петербургом, в Суйде — одном из пожалованных ему имений. В 1781 году, лет восьмидесяти трех от роду, он скончался.

Еще в 1731 году женился он на гречанке Евдокии

---

[1] Редкости *(лат.)*.
[2] «История завоевания Мексики» *(фр.)*.
[3] «Путешествие Стрюйса по Московии» *(фр.)*.

Диопер, которую выдали за него насильно. Она изменила ему тотчас же. Арап сперва приставил к ней караул и пробовал образумить: за руки подвешивал к кольцам, вбитым в стену, и бил розгами, плетьми, батогами. Не сломив ее упорства, он отправил ее на Госпитальный двор, то есть в тюрьму. Там она прожила пять лет, после чего, уже по судебному приговору, была заточена в монастырь, где и умерла. Все это было в обычаях того времени и вовсе не говорит о какой-нибудь особливой жестокости «царского арапа». Впрочем, он, кажется, отличался нравом порывистым и неуживчивым.

Не дождавшись развода, он женился вторично, на перновской жительнице Христине фон Шеберх, полушведке, полулифляндке. Она родила ему одиннадцать черных ребят, носивших фамилию *Ганнибал,* которую сам Абрам Петрович себе придумал. Войдя в чины, пожелал он производить свой род от великого африканца.

Свои военно-инженерные познания Абрам Петрович старался передать детям. Старший из них, Иван, в 1770 году взял Наварин, а впоследствии построил Херсонскую крепость. Его победам Екатерина воздвигла памятник в Царском Селе. Братья его не достигли столь высокого положения. Из них Петр и Осип известны тяжбами, которые они вели со своими женами. Семейные распри и нечто вроде наклонности к двоеженству были у Ганнибалов в крови.

Осип Абрамович был гуляка и мот. Еще при жизни отца, в 1773 году, он женился на дочери отставного капитана Марии Алексеевне Пушкиной. Года через три он покинул ее и вскоре сошелся с новоржевской помещицей Устиньей Толстой, на которой женился, предоставив священнику подложное свидетельство о своем вдовстве. Мария Алексеевна начала дело о разводе и по обвинению Осипа Абрамовича в двоеженстве. По приговору консистории оба его брака были расторгнуты. Между тем, и первая жена, и вторая требовали с него денег: первая — на содержание малолетней дочери, а вторая — по безденежной рядной записи на двадцать семь тысяч рублей, которую он имел неосторожность когда-то ей выдать. Пошла судебная волокита, в которую были отчасти втянуты и другие родственники Ганнибала,

потому что старый арап в это время умер и сыновья делили его наследство. По этому разделу Осипу Абрамовичу достались соседние с Суйдой деревня Кобрино и мыза Рунова, а также сельцо Михайловское Псковской губернии — часть более обширного поместья, именовавшегося Михайловской Губой. Решением суда Кобрино было отдано дочери Осипа Абрамовича. Петра Абрамовича назначили над нею опекуном.

Как раз около того времени опекун и сам пережил семейную бурю. После девятилетнего супружества, далеко не безупречного с его стороны, он выгнал жену с тремя детьми из дому, а сам поселился с новой избранницей своего непостоянного сердца. Нищета, в которую он поверг жену, принудила ее искать защиты у государыни. Это было в 1792 году. Екатерина отдала дело в ведение Державина, который в ту пору был кабинетским ее секретарем. Петра Абрамовича заставили выдавать жене пристойное содержание.

Пострадав таким образом одновременно и от сходных причин, братья поселились в ближайшем соседстве друг с другом: Осип Абрамович — в Михайловском, а Петр Абрамович — в Петровском, доставшемся ему по разделу и составлявшем часть той же Михайловской Губы. Жили эти чернокожие помещики Псковской губернии сообразно природным склонностям и местным обычаям, то есть самодурствуя и предаваясь бурным излишествам всякого рода. С крепостными были круты. Когда Ганнибалы гневались, то людей у них *выносили на простынях*.

Мария Алексеевна Ганнибал после развода с мужем жила в Кобрине очень скромно, даже бедно. Дочь ее между тем подрастала. К 1796 году это была уже взрослая барышня, пригожая, кожей смуглая, несколько своенравная — в Ганнибалов. Звали ее Надежда Осиповна. Дальний родственник ее матери, поручик егерского полка Сергей Львович Пушкин, сделал ей предложение. Они поженились, чем, кстати сказать, была весьма недовольна мать самого Сергея Львовича: брака с *креолкою*, дочерью беспутного отца да к тому же и бесприданницей, она не могла одобрить.

Молодые супруги зажили в Петербурге, в небольшом домике Марии Алексеевны, которая и сама переехала к ним из Кобрина. Через год у них родилась дочь

Ольга, но еще за три месяца до этого события Сергей Львович оставил полк. Во-первых, он не имел склонности к службе, особенно к военной, которая становилась все тяжелее (царствовал Павел I). Во-вторых, он был небогат, служба в гвардии обходилась дорого, — между тем предстояло теперь содержать семью. С чином коллежского советника Сергей Львович был уволен от службы к статским делам и определен комиссариатским чиновником к себе на родину в Москву, куда и перебрался с женой, дочерью и несколькими дворовыми. Теща осталась в Петербурге.

Поселились Пушкины в Елохове, в доме гр. Головкиной: в ту пору это еще была барская часть Москвы. Квартиру, кажется, подыскал им титулярный советник Скворцов, сослуживец Сергея Львовича. Тут случилось, однако же, неприятное происшествие: 3 мая 1799 года умер дворовый человек Пушкиных Михайло Степанов. Беда сама по себе была бы невелика, но Пушкины были суеверны и мнительны. Надежда Осиповна особливо боялась покойников; случалось, являлись ей привидения. Она не пожелала остаться в доме, где только что был мертвец, тем более, что была брюхата и ей оставалось до родов меньше месяца.

Из затруднения выручил тот же Скворцов, который как раз недавно купил себе домик поблизости, в том же приходе, между улицею Немецкою слободой и ручьем Кукуем. Домишко был ветхий, с провалившейся крышей; Скворцов собирался его чинить и крыть новым тесом, но делать нечего — пока что Пушкины в нем приютились.

26 мая, в самый день Вознесения, в Москве праздновалось известие о рождении у государя внучки — великой княжны Марии Александровны. По случаю двойного праздника в Кремле с утра палили из пушек, весь день над Москвою гудели колокола, ревел медным ревом Иван Великий и колыхались флаги. Народные толпы кричали ура, слонялись по улицам, зажигали иллюминацию. К вечеру Надежда Осиповна разрешилась от бремени сыном.

В среду, 8 июня, младенец крещен в Московской Богоявленской, что в Елохове, церкви и наречен *Александром*.

* * *

Утратив значение столицы, но сохранив стародавнюю боярскую спесь, Москва за XVIII век постепенно сделалась прибежищем знати, не пожелавшей иль не сумевшей занять места в прямой близости к императорскому престолу. Предания старины в ней поддерживались постоянно разжигаемою обидой. Опальные вельможи всех царствований кончали здесь свои дни, составляя ворчливую оппозицию и стараясь не впасть в уныние. В Москве жили не деятельно, зато богато и хлебосольно. Половина этой Москвы, непрестанно занятой празднествами, балами, обедами, сочетающей лень с вольнодумством и старинный уклад с новейшими модами, Пушкиным приходилась сродни; с другой половиной они поддерживали знакомство. Они везде были приняты — и слава Богу: скуки и одиночества они бы не вынесли. Скуки и одиночества боялись они пуще смерти.

Среди московских говорунов Сергей Львович занимал видное место. По-французски он изъяснялся в совершенстве. Заходила ли речь о таинственной силе Провидения, о добродетели, о чувствительности или о любви к отечеству — обо всем у него была уже готова фраза, затвержденная из книг или с чужого голоса. При этом он обладал драгоценнейшим в общежитии даром — о самых важных материях говорить вполне легкомысленно. Впрочем, серьезных предметов он не любил. Но что он любил, и в чем был оригинален, и в чем не имел соперников — это в остротах и каламбурах. Его каламбуры славились и заучивались. Ища им успеха, он вечно терся между людьми, постоянно бывал в гостях и сам принимал гостей.

Разумеется, он не выносил деревни: там не с кем было болтать, и все там напоминало о самых скучных вещах на свете: о делах, о хозяйстве. В хозяйстве он ничего не смыслил. В Нижегородской губернии у него было имение, село Болдино. Сергей Львович не побывал там ни разу в жизни. Не удивительно, что оно приносило мало доходу. Однако, ценя покой и веселье, Пушкины не унывали: старались только, чтобы недостаток в деньгах был не очень заметен. Разъезжая в карете, Сергей Львович нарочно высовывался из окна, чтобы все видели, что у него есть карета. Поэто-

му и приемы устраивал он приличные, вполне модные. Вместе с московскими барами принимал он французских эмигрантов. Эмигрантов в Москве баловали — и недаром: они владели тайнами светского разговора, лоска, хороших манер и хорошей кухни; отчасти они служили и проводниками истинной образованности. За радушный прием платили они тем, что служили украшением гостиных. Бурдибур, Катар, Сент-Обен ораторствовали у Пушкиных; г-жа Пержерон де Муши играла на фортепьяно; граф Ксавье де Местр розоватою акварелью нарисовал портрет хозяйки дома.

Надежда Осиповна была молода, весела, хороша собой. В тогдашнем свете любили прозвища — ее называли *la belle créole*[1]. В каламбурах старалась она не отстать от мужа, но ее областью были по преимуществу моды и сплетни, впрочем, весьма невинные. Она была в обхождении любезна, умела польстить, когда нужно, и в общем ее любили так же, как ее мужа.

Семейная жизнь протекала у Пушкиных не столь нарядно и гладко, как светская. Первые годы после брака были омрачены какими-то неладами (однажды супруги даже ненадолго разъезжались). Оба до крайности были себялюбивы и научились уживаться не сразу. Надежда Осиповна была капризна и взбалмошна. То и дело меняла она квартиры — одному Богу ведомо, сколько раз Пушкины переезжали с места на место. Если нельзя было переезжать, она меняла обои и переставляла мебель, превращая кабинет в гостиную, спальню в столовую и т.д. Кровь ганнибаловская в ней сказывалась самодурством и бешеными вспышками гнева. Сказать откровеннее — она была зла, и порой удавалось ей доводить Сергея Львовича до «нервических выходок». Кончилось все же тем, что он вверил ей управление делами и очутился у ней «под пантуфлей».

Ее светская жизнь то и дело прерывалась беременностью. В короткий срок родила она восемь раз. Из детей выжили только трое: Ольга, Александр и Лев; прочие умерли, в малолетстве. У Надежды Осиповны было время рожать и кормить (всех детей выкормила она сама), но воспитывать их было некогда — о воспитании она не имела понятия. Сводилось все к наказа-

[1] прекрасная креолка *(фр.)*.

нию и крику. Она не скупилась и на пощечины. Ее выводило из себя то, что дети росли не такие, как ей хотелось бы. Оленька вышла нехороша собой, да и учитель музыки на нее жаловался. За старыми клавикордами, времен еще Ибрагимовых, он ее бил по пальцам.

— Monsieur Grunwald, vous me faites mal!

— Et qui vous dit que je ne veux pas vous faire mal?[1]

Саша мог радовать еще меньше Оленьки. Это был курчавый, большеголовый мальчик, с толстыми губами и приплюснутым носом; глядел исподлобья, был толст, молчалив и неповоротлив. У него завелась привычка тереть ладони одну об другую — за это Надежда Осиповна завязывала ему руки назад на целый день и морила голодом. Он терял носовые платки — мать шутила: «Жалую тебя моим бессменным адъютантом», — и пришивала к его курточке носовой платок в виде аксельбанта. Аксельбанты менялись не часто — два раза в неделю. Мальчик ходил замарашкою, с засморканным носовым платком на груди. Таким ребенком нельзя было щегольнуть пред гостями. Надежда Осиповна приходила в отчаяние. Однажды, разгневавшись, круглый год она с ним не сказала ни одного слова: в злобе была устойчива.

От матери убегал он в заднюю половину дома, туда, где вязала на спицах бабушка Марья Алексеевна и не спеша расхаживала няня Арина Родионовна — в старомодном набойчатом шушуне, в очках, с головою, повязанною повойником. Эти две женщины были судьбою связаны издавна. Арина Родионовна родилась в Кобрине, еще при царице Елисавете Петровне, примерно в 1754 году, и досталась Абраму Петровичу Ганнибалу вместе с этой деревней. От него по наследству перешла она к Осипу Абрамовичу, а потом сделалась крепостной Марьи Алексеевны. В Кобрине прошла ее молодость, там она вышла замуж, там и овдовела. Когда родилась Оленька Пушкина, Марья Алексеевна приставила ее нянькою к своей внучке. После Оленьки Арина Родионовна няньчила Сашу, а потом через ее руки прошло и все молодое поколение *пушкенят*, ради которых, по рабьей верности, позабыла она собственных четверых детей.

---

[1] — Месье Грюнвальд, вы мне делаете больно!
— А кто вам сказал, что я не хочу вам сделать больно? *(фр.)*

Когда Марья Алексеевна, перебравшись из Петербурга в Москву, поселилась у Пушкиных, госпожа и рабыня вновь очутились под одним кровом. Обеим досталась нелегкая бабья доля под властию Ганнибалов, обе, однако, несли крест безропотно. Марья Алексеевна у Пушкиных стала заведовать всем домом; была деловита, правила умно, крепко, но не сурово; внуков учила русскому языку и баловала их вместе с няней. Впрочем, Арина Родионовна более занята была младшими детьми; старшие, подрастая, переходили в ведение гувернанток и гувернеров. То были французы, француженки, немки и англичане. Сменился их целый легион — учение далеко не зашло. Только французский язык скоро сделался Саше не меньше знаком, чем русский, но не благодаря наставникам, а потому, что это был язык родителей, родственников, знакомых. По-немецки Саша не выучился, по-английски вовсе почти ничего не знал. Он учился лениво и плохо. Учителя на него жаловались родителям — тогда поднимался крик, день проходил в неприятностях и слезах. С вечера он подолгу не мог заснуть. Няня по старой памяти приходила к его постели. Учила читать «Помилуй мя, Господи», но это не помогало. Тогда она заводила сказку. Русские сказки страшные. Саша над собой видел морщинистое лицо, освещенное ночником, и руку, часто творящую крестное знамение. Широкий, почти уж беззубый рот между тем нашептывал все о мертвецах, о русалочках, домовых, о змиях, с которыми бьются Полканы-богатыри и Добрыни Никитичи. Саша, едва дыша, прижимался под одеяло и не мог шелохнуться от ужаса. Воображение училось дополнять сказку. Было страшно и сладко вместе. Наконец мысли путались, нянино лепетанье сливалось со смутными голосами ночи, и он засыпал.

ДЯДЮШКА-ЛИТЕРАТОР

Был у Сергея Львовича старший брат, Василий Львович. Наружностью они были схожи, только Сергей Львович казался немного получше. Оба имели рыхлые пузатые туловища на жидких ногах, волосы редкие, носы тонкие и кривые; у обоих острые подбородки торчали вперед, а губы сложены были трубоч-

кой. У Василия Львовича были вдобавок редкие и гнилые зубы.

Внешнему сходству отвечало внутреннее: Василий Львович выказывал ту же легкость мыслей, что и Сергей Львович, хотя сам не замечал этого. Он даже любил философствовать и избрал себе поприще литературное. Почти ровесник Карамзину, он начал печатать стихи в конце екатерининского царствования. Как все поэты тогдашние, он много переводил с латинского и французского, сочинял элегии, послания, басни. В любую минуту он мог написать куплеты для водевиля или какой-нибудь мадригал. Его буриме были довольно находчивы. Считалось даже, что самый стих у него благозвучный, гибкий, но с этим мнением согласиться трудно. Когда-то он заявил себя классиком, но, чтобы не отстать от века (погоня за модой была ему свойственна еще более, чем Сергею Львовичу), перешел на сторону карамзинистов. Большой перемены в его поэзии от этого не произошло: пустословие высокопарное сменилось сентиментальным. Писал он довольно усердно, печатал еще усерднее, и понемногу стал признанным, хоть и не славным, автором.

Среди литераторов относились к нему с насмешливым покровительством; его любили за хороший характер. Тут была разница между братьями: Сергей Львович любил побрюзжать, легко мог вспылить и был человек недобрый. Василий Львович, напротив, был весь — воплощенное добродушие и доверчивость. То и дело его мистифицировали, но дружеские насмешки сносил он с трогательным смирением и, кажется, только один раз в жизни сообразил, что надо обидеться.

При своей неказистой внешности он питал великую слабость к прекрасному полу. Некогда, служа в гвардии, среди шалунов-офицеров был не из последних. В веселом обществе «Галера» он числился запевалой. Разные Лизы Карловны, баронессы и прочие обитательницы веселых домов были знакомы с ним как нельзя короче. Потом он женился на известной красавице Вышеславцевой, но ненадолго: в 1802 году его жена начала дело о разводе. В ожидании неприятной огласки, сплетен и дрязг, Василий Львович решился уехать в чужие края. Такое путешествие было делом не вполне заурядным. Василий Львович придавал ему

даже какое-то особенное значение. Обещал завести наилучшие связи с Европой и писать друзьям письма, которым, быть может, предстояло стать вторыми «Письмами русского путешественника». Такие замыслы мало в ком возбуждали доверие. Дмитриев заранее описал будущее путешествие Василия Львовича в стихах, не лишенных яда. После долгих напутствий и сборов поэт, наконец, тронулся в путь, захватив, кстати, с собой вольноотпущенную девку Аграфену Иванову. Он побывал в Берлине, в Париже, в Лондоне и в других городах, но связи как-то не состоялись, хотя он познакомился со многими писателями, артистами и даже с самой Рекамье, и даже с самим Бонапартом: «Мы были в Сен-Клу представлены первому консулу. Физиогномия его приятна, глаза полны огня и ума; он говорит складно и вежлив. Аудиенция продолжалась около получаса». Из писем тоже почти ничего не вышло. Зато когда Василий Львович вернулся в Москву, «Парижем от него так и веяло. Одет он был с парижской иголочки с головы до ног, прическа à la Titus, углаженная, умащенная древним маслом, huile antique. В простодушном самохвальстве давал он дамам обнюхивать голову свою». Тем не менее, кроме прически, привез он отличную библиотеку, на которую неравнодушно взирал сам граф Бутурлин, богатейший библиоман. Нельзя отрицать, что Василий Львович поклонялся не одной моде, но и просвещению. Литературу он обожал — не его вина, что Муза не дарила его взаимностью.

Сергей Львович тоже не прочь был приволокнуться за рифмой. Случалось и ему пописывать мадригалы в альбом или стихи на разные случаи: эпиталамы приятелям, эпитафии комнатным собачкам. Как истинный меценат, он покровительствовал Никите, своему камердинеру, который стряпал баллады на темы русских сказок. Правда, однажды Сергей Львович и поколотил придворного своего пиита за плохо вычищенные сапоги или за разбитие лампы, но после того почувствовал такое угрызение совести, что выскочил на улицу и более четверти часа просидел на тумбе, обливаясь слезами.

Он ухаживал за литераторами и очень гордился, что его брат значится в числе «учрежденных» писателей. Василий Львович ввел в его дом весь цвет

московской словесности. Сам патриарх московских певцов Михайло Матвеевич Херасков бывал у Пушкиных, так же как поэт и сенатор Иван Иванович Дмитриев, высокий, слегка рябой, слегка косящий глаза на конец тонкого, длинного своего носа; лет пятнадцать тому назад за него сватали Дашу Дьякову, ту, что стала потом второю женой Державина; потом Василий Львович пытался женить Ивана Ивановича на сестрице своей Анне Львовне, в которой души не чаял; но и тут Дмитриев уклонился: чувствительный в стихах, был он вполне бесчувственен к женским прелестям, во всех отношениях предпочитая мужское общество; что же до Анны Львовны, то на нее охотника не нашлось, она осталась старою девою.

Являлись писатели и помельче: Иван Иванович Козлов, начинающий стихотворец; шепелявый Измайлов, журналист и педагог, страстный почитатель Руссо; Александр Федорович Воейков; молодой переводчик и поэт Жуковский, тихий, задумчивый, вечно влюбленный мечтательно и уныло; волосы его вьются в поэтическом беспорядке, лицо худощаво и смугловато. С собою приводит он своего толстого друга, бывшего товарища по Благородному пансиону, Александра Ивановича Тургенева. Тургенев недавно вернулся из-за границы; в Геттингене учился он у самого Шлецера, потом путешествовал по славянским землям, собирая редкие книги и рукописи; он довольно образован, многое знает; он большой спорщик, даже крикун, и донельзя любит вмешиваться в чужие дела, отчасти — по доброте сердца, отчасти — по суетности характера; как и Жуковский, всегда он влюблен, но больше сам себя уверяет в этом; Надежда Осиповна, конечно, тотчас же воспламеняет сердце его, хотя он моложе нее лет на десять.

В те годы словесность уже разделилась на два враждующих стана. В Петербурге старик Шишков собрал вокруг себя приверженцев русского направления и готов был их вести войной на Москву: там засели карамзинисты, которых он обвинял в порче русского языка и чуть не в измене отечеству. Сам Карамзин относился к Шишкову снисходительно и спокойно; кое в чем он был даже готов признать за Шишковым правоту и, уклоняясь от боя, сдерживал слишком рьяных своих приверженцев, из которых Василий Львович

кипятился всех более: боялся, что его не заметят. Ему предоставили постреливать во врага эпиграммами. Кажется, шишковистам было всего обиднее то, что против них выпускают именно Пушкина. Сам же он был чрезвычайно горд.

Дело не доходило до крупных стычек, но все же в салоне Пушкиных пахло литературным порохом. Не умолкали речи о шишковистах. Саше было дозволено присутствовать — разумеется, не раскрывая рта. Недругов звали славяноросcами, славянофилами, классиками, а иногда староверами и гасильниками. Саша привык чувствовать нечто злое и темное за этими прозвищами. Он толком, конечно, не понимал, за что борются и чего хотят враждующие стороны. Но он жил в лагере, к которому принадлежали его знакомые и добрый дядя Василий Львович, и научился сочувствовать этому лагерю, видя в его врагах как бы своих врагов. Литература открылась ему как борьба.

Лет восьми он сделался усердным посетителем отцовской библиотеки, в которой ему случалось проводить даже ночи. Он прочел все, что стояло на книжных полках Сергея Львовича. Читая без разбора и руководства, он ознакомился с Гомером, Плутархом, Ювеналом, Виргилием, Тассом, Камоэнсом — во французских переводах. Он не все понимал, но тем сильнее работали ум и воображение. Его особенное внимание привлекли французские поэты XVII и XVIII столетий — отчасти, может быть, потому, что их особенно много было в отцовской библиотеке, а еще потому, что усердные похвалы им он слышал от старших изо дня в день. Постепенно он сделался маленьким знатоком этой легкой поэзии, увенчанной именами Вольтера и Парни, слава которого уже догорала во Франции, но полным блеском еще сияла в России. Его кругозор расширился непомерно. Ему открылись иные страны и времена, целый мир новых образов, чувств, понятий, страстей.

В ту пору в нем началась перемена. Нелюдимость еще сохранилась, но внутри что-то вдруг вспыхнуло, взорвалось, прорываясь наружу то детской неуемной резвостью, то порывами вовсе уже не детскими. Бабушка удивлялась:

— Ведь экий шалун ты какой, помяни ты мое слово, не сносить тебе головы.

Перелом приписывали деревне: около того времени бабушка продала свое Кобрино и купила подмосковное сельцо Захарово, где Пушкины стали жить в летние месяцы. Быть может, деревня и в самом деле кое-что значила, но самый возраст и чтение значили больше. Недаром именно в эту пору мир русский, избяной, домостройный (мир няни и бабушки) отошел от него надолго. Там, в глубине памяти и в смутном сознании, этот мир сохранился любовно и навсегда — воспоминанием о седой древности, о народной стихии, о первозданной почве, в которой таинственно зарождается миф. Этот мир остался в нем жить подспудно, как темная область первичного, колыбельного, полусонного вдохновения, где еще все бесформенно и неясно. Образы няни и бабушки сблизились с образами Парки и Музы. Со звуком ночного нашептыванья, напева и бормотанья. Но сейчас его прельщал мир литературы, сознательного мастерства, мифа уже обработанного — мир точной формы и стройной мысли. Ясные божества античной мифологии, хоть и офранцуженные, казались ему блистательней и прекрасней родимых леших и домовых. Иногда посещал он Юсупов сад у Харитония в Огородниках. Там, наподобие садов Версальских, были пруды, гроты, искусственные руины. Во мраке дерев стояли белые изваяния. Изображения Аполлона и Венеры потрясали его сладким страхом и восхищали до слез. Об их сладкой и страшной власти он уже знал — по книгам, по воображению, по предчувствию.

За чтением последовали попытки авторства. В подражание Лафонтену Саша сочинял басни, в подражание Мольеру (Мольер в доме Пушкиных пользовался большим почетом) — комедийки. Все это, разумеется, по-французски. Прочтя «Генриаду», принялся было он за шуточную поэму в шести частях, но имел неосторожность показать первое четверостишие гувернеру Русло. Русло сам себя мнил преемником Корнеля и Расина. Собрат по перу своими насмешками довел Сашу до слез, да еще пожаловался Надежде Осиповне: должно быть, Саша все-таки успел наговорить ему дерзостей. Сашу наказали, а Русло в возмещение нравственного ущерба прибавили жалованья. Саша запомнил, наконец, твердо, что надо держаться подальше и от наставников, и от матери. Отцу было просто не до него.

О его поэтических опытах узнали родственники, знакомые. Какие-то барышни, щебеча, осаждали его со своими альбомами, требуя куплетов; почтенные господа с насмешливым поощрением рассуждали при нем о его поэтическом даре и читали его стихи, перевирая их. Смущенный и оскорбленный, он успевал только пробормотать что-нибудь вроде «Ah, mon Dieu!»[1] — и убегал прочь. Поощрения оказались не слаще наказаний. Выходило, что лучшие мысли и чувства должно таить в себе, охраняя их от пошлого сочувствия и грубого любопытства.

В семье, непрестанно понуждаемый к наружному повиновению, таился он еще более, удивляя родителей и наставников отсутствием добрых чувств и упорством. Потом оскорбленное самолюбие стало давать ему ранние уроки вражды и ненависти. Вражда и ненависть, накипая в его сердце, иногда доводили его до вспышек яростной злобы. Кончилось тем, что родители нашли оправдание своему поведению: с отвращением и ужасом они убедили себя в извращенной природе мальчика и, быть может, искали только удобного случая убрать его с глаз подальше.

Его собирались послать в Петербург, в иезуитский коллегиум, но все вдруг изменилось: в начале 1811 года было опубликовано о предстоящем открытии в Царском Селе нового рассадника просвещения, возникшего по мысли самого императора и под особым его покровительством. То был Лицей (или Ликей, или даже Лицея, как выражались некоторые). Курс наук предположен был самый обширный, а воспитание образцовое: в Лицее должны были обучаться младшие братья государя. Перед воспитанниками открывалась, конечно, блистательная карьера в будущем. Если прибавить, что правительство брало их на полное иждивение, то станет понятно, с каким рвением Пушкины пустились в хлопоты. При помощи Малиновского, будущего директора, который коротко был знаком с Сергеем Львовичем, и при содействии Тургенева, успевшего занять видное положение в Петербурге, Александр Пушкин был допущен к вступительному экзамену.

Незадолго перед тем Василий Львович сочинил

---

[1] Ах, Боже мой! (*фр.*)

первую и последнюю свою поэму, в которой (в первый и последний раз в жизни) изобразил то, в чем знал толк: жизнь веселого дома, его обитательниц и гостей. Сойдя с поддельных высот и оставив жеманство, впервые заговорил он голосом правды. От этого поэма, которую он писал шутя, стала его единственным серьезным произведением. Напечатать «Опасного соседа» нечего было и думать — цензура его не пропустила бы. Но он разошелся в списках, стал знаменит. Автор был в упоении. Но одной московской славы было ему мало: он жаждал вкусить Петербург. К тому же недавно он вступил в масонскую ложу «Соединенных Друзей». Теперь хотелось ему поболтать в петербургской «Ложе Елисаветы». Словом, он был уверен, что в столице есть у него важные дела. Он вызвался отвезти племянника.

Тронулись в путь в июне месяце. Александр покинул родительский дом без малейшего сожаления. Однако две старые девы, две тетушки, Анна Львовна и Варвара Васильевна (Чичерина, сестра бабушки), считали, что надо его утешить. Сложившись, дали они ему сто рублей на орехи. До Петербурга он этих ста рублей не довез. Василий Львович взял у него их взаймы — да и позабыл отдать.

МОЛОДОСТЬ

Во избежание неприятных случайностей между учениками и экзаменаторами было заключено соглашение, кого о чем будут спрашивать. На выпускном экзамене 9 июня 1817 года все было буднично, посемейному. Когда-то, в предгрозовые дни 1811 года, император, сосредоточенный и задумчивый, явился на торжественное открытие Лицея со всей семьей своей, в окружении двора и важнейших сановников государства. Теперь он приехал запросто, с одним только новым министром народного просвещения. Изрядно располневший и облысевший, победитель Наполеона и освободитель Европы сиял благодушнейшей, но двусмысленной улыбкой, унаследованной от бабушки вместе с ямочкою на подбородке. Он был не только весел и милостив — он был даже нежен со всеми. Сам раздал призы и аттестаты воспитанникам, сам объ-

явил награды преподавателям. Пушкин, в соответствии с аттестатом, был удостоен чином коллежского секретаря и определен в ведомство иностранных дел со скромным содержанием по 700 рублей в год. Директору Энгельгардту смертельно хотелось, чтобы государь прослушал «священную тризну разлуки» — прощальную песнь, сочиненную Дельвигом и положенную на музыку Теппером. Но Александр Павлович спешил — песню пропели уже без него.

Последний лицейский день отшумел. Прощальные стихи Зубову, Илличевскому, Пущину, Кюхельбекеру и всем товарищам купно уже написаны. Написан даже и прозаический мадригал в альбом Энгельгардта. Еще одну ночь провел Пушкин в келье номер 14. Наутро, наконец, мундир сброшен, вещи уложены. Последние объятия с друзьями — у некоторых на глазах слезы. Последние рукопожатия с учителями. Лицейская дверь в последний раз хлопнула — Пушкин вышел под арку. Жизнь перед ним открывалась, он спешил броситься в ее сильный круговорот.

Сейчас, впрочем, она временно замерла. Стояло лето, Петербург был тих и пустынен. Как водится, многие из него разъехались. С месяц потешившись новым своим положением, поехал и Пушкин в деревню к родителям. То было уже не Захарово, милое по детским воспоминаниям. Захарово давно продали. Пушкин теперь проводил каждое лето в сельце Михайловском, принадлежавшем Надежде Осиповне.

Если и вышла холодновата встреча с родителями, то тем радостней было снова увидеть сестру, няню, бабушку. Когда-то, в детстве, Оленька получила от отца басни Лафонтена — двухтомное французское издание прошлого века. Эти-то книги, — должно быть, самое драгоценное из всего, что у нее было, — она подарила Саше шесть лет назад, в тот день, когда уезжал он в Лицей. Но он тогда их забыл на столе. Теперь она снова их поднесла ему, и от этого шутливого и нежного упрека сразу воскресло прошлое. Он был растроган и тотчас отметил на книге дату: «Ce 13 Juillet 1817 à Michailovsky»[1].

Его повели в баню — он обрадовался деревенской бане. Дворовые девушки с песнями еще собирали

[1] «13 июля 1817, Михайловское» (*фр.*).

на огороде последнюю, июльскую клубнику — он обрадовался и клубнике. Все было ему внове или почти внове: и само Михайловское, куда он попал впервые, и деревенский уклад, и даже семейная жизнь, которую он почти уже позабыл. Его стали возить по родственникам — по той многочисленной *Ганнибальщине*, что еще со времен Абрама Петровича, плодясь и размножаясь, расселилась по всей Псковской губернии. *Ганнибальщина* вела жизнь бестолковую, буйную, хлебосольную. Гостить ездили друг к другу целыми семьями, на целые недели. Когда гости собирались домой, хозяева их не отпускали, приказывая отпрягать лошадей либо пряча баулы и саквояжи. Дядюшки Петр и Павел Исааковичи особенно отличались в кутежах и гостеприимстве: пыл африканский соединялся в них с широтою русской натуры. С Павлом Исааковичем Пушкин сошелся быстро, езжал к нему в гости. Случалось, что с вечера выпивали, а поутру хозяин будил его, стуча в дверь бутылкой шампанского, и вваливался в комнату во главе целого хора соседей и родственников. Хор гремел песню довольно варварскую:

Кто-то в двери постучал:
Подполковник Ганнибал,
Право-слово, Ганнибал,
Пожалуйста, Ганнибал,
Сделай милость, Ганнибал,
Свет-Исакыч Ганнибал,
Тьфу ты пропасть, Ганнибал!

Иногда находила коса на камень. Раз в одной из фигур котильона дядя отбил у племянника девицу Лошакову. Девица была дурна собой и носила вставные зубы, но Пушкин за ней волочился от нечего делать. Поэтому он тотчас вызвал соперника на дуэль, которую через десять минут предпочли заменить новой пляской, выпивкою, объятиями и стихотворными экспромтами пьяного Павла Исааковича.

Пушкин, однако, рвался в Петербург, и деревенские радости вскоре ему наскучили. Из впечатлений Михайловского наиболее памятно для него осталось лишь посещение дедушки Петра Абрамовича, когда-то бывшего опекуном Надежды Осиповны. То был последний из Ганнибалов, еще чернокожих. Он жил в трех с половиной верстах от Михайловского. Ему только что исполнилось семьдесят пять лет. Издавна

уже он вел жизнь уединенную, со страстью занимаясь перегоном водок и настоек, которых сам сочинял рецепты. В этом занятии ему помогал слуга и наперсник Михайло Калашников, первостатейный плут. Днем возводили они настойки в известный градус крепости, а по вечерам тот же Михайло, научившийся где-то играть на гуслях, своею музыкою приводил старика то в пьяные слезы, то в дикое буйство. При этом ему самому случалось быть битым. К приезду внука (точнее сказать — внучатого племянника) Петр Абрамович музыкой и настойками был уже приведен в такое состояние, что с трудом узнавал своих близких. Свидание вышло довольно коротко. Петр Абрамович приказал подать водки, налил себе рюмку и велел поднести Александру Сергеевичу. Тот выпил ее, не поморщившись, «и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа».

К началу сентября Пушкин был уже в Петербурге.

* * *

Княгиня Авдотья Ивановна Голицына некогда вышла замуж по приказанию Павла I. С воцарением Александра Павловича она поспешила оставить своего некрасивого и неумного мужа в Москве, а сама поселилась в Петербурге. У нее были «черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица. Придайте к тому голос, произношение, необыкновенно мягкие и благозвучные — и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее». Ей близилось сорок лет, но она сохранила свежесть и моложавость почти чудесные — потому, может быть, что отличалась холодностью. Сердце ее забилось сильней лишь однажды, лет десять тому назад, но ее избранник был убит на войне. С тех пор, хоть она была окружена поклонниками, «никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия, не отемняли чистой и светлой свободы ее». Ее красота «отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние».

Молва приписывала ей ум выдающийся. Может быть, это было и не совсем так. Может быть, ум ее был по преимуществу пассивный, то есть, как многие

женские умы, был восприимчив к мыслям, в него заносимым со стороны. Но, несомненно, он был занят предметами важными. Не чуждая мистицизма, с одной стороны, склонная к математике — с другой, княгиня к тому же проявляла большое и деятельное внимание к вопросам политическим.

Она жила на Большой Миллионной, в двухэтажном особняке, скромном по внешности, но внутри убранном изящно и строго, как сама она была строга и изящна. Цыганка некогда предсказала ей, что она умрет ночью. Боясь смерти, ложилась она на рассвете, и потому в салоне ее засиживались часов до четырех. «La princesse Nocturne», «la princesse Minuit»[1] были ее светские прозвища. Другие звали ее также Пифией.

Пушкин с ней познакомился у Карамзиных. Он не мог не заметить ее красоты. Под видимою холодностью женщины, которая была на двадцать лет старше его, ему хотелось угадывать нечто совсем иное. Его чувственное воображение было возбуждено — он тотчас влюбился или, по крайней мере, себя в этом уверил. Торопясь жить, спеша чувствовать, жадно желая увидеть, наконец, большой свет, он сделался усердным посетителем многих салонов и просто гостиных. Он сталкивался с высшею знатью у Бутурлиных и у Воронцовых, усердно танцевал на балах графини Лаваль. Ночные собрания у Голицыной привлекали его, в особенности, не только личностью хозяйки. Никаких надежд на сей счет он, конечно, питать не мог. Но в доме princesse Nocturne явственнее, чем где-либо, чувствовалось то волнение, тот многоголосый политический шум, первые отзвуки которого он расслышал еще в среде царскосельских гусар.

Состояние тогдашнего общества можно назвать лихорадочным. Дворянство, единственное сословие, в руках которого было сосредоточено управление страной и которое сохранило остатки власти, еще не поглощенные самодержавием, — отнюдь не являло внутреннего единства. Еще связанное многими узами родства, отношений имущественных, служебных и всяких иных, оно в то же время состояло из людей, которые сильно рознились друг от друга близостью к престолу, влиянием, достатком и, наконец, самым происхождением.

---

[1] «Ночная княгиня», «полуночная княгиня» (*фр.*).

Оно было расслоено петровской реформой и событиями последующих царствований. В нем намечалось уже расхождение классовых и политических интересов. Расслоение было до такой чрезвычайности сложно и настолько еще не закончилось, что случалось — один и тот же человек разными сторонами существа и бытия своего принадлежал еще к разным слоям. Главным признаком расслоения было то, что к престолу оказались приближены люди нового, неродовитого слоя; довольствуясь тем, что самодержавие вверяет им власть исполнительную, они умели крепко держать ее в руках и не искали большего. Они поддерживали самодержавие в его борьбе с аристократическими притязаниями дворянства старого, столбового, постепенно беднеющего, теряющего клыки в непосильной борьбе с престолом и все более переходящего политически — в оппозицию, социально — на роль третьего сословия. Одним из чистейших представителей первого слоя был Аракчеев, который стал *всем* именно потому, что как был, так, в сущности, и остался *ничем*, царским холопом, сияющим отраженным светом сияния императорского. Как пример полной ему противоположности можно бы назвать как раз семью Пушкиных. Сергей и Василий Львовичи были легкомысленны и благодушны. Они довольствовались своею слегка комическою известностью в обществе и не столько стремились к богатству, сколько старались скрыть бедность. Сын Сергея Львовича был уже не легкомыслен и не благодушен. Он твердо помнил, что род Пушкиных повелся со времен Александра Невского и что при избрании Романовых «6 Пушкиных подписали избирательную Грамоту да двое руку приложили за неумением писать». Грамотный их потомок прямо считал Романовых «неблагодарными» и если сам еще не претендовал на участие во власти, то сочувствовал другим претендентам — таким же обломкам древних родов.

Их было много и становилось все больше. Столбовое дворянство, оттиснутое в деревню и в военную службу, имело довольно досуга, чтобы расширить свои познания. На то же толкала его и жизненная борьба: оно старалось познаниями возместить то, что утрачивало в богатстве и в политическом весе. На протяжении XVIII столетия помещичья усадьба и гвардейский полк стали такими же прибежищами и рассад-

никами образованности, как некогда были монастыри. Переходя в оппозицию, дворянство начинало учиться. Но и учение, в свою очередь, поддерживало в нем настроения оппозиционные и вольнодумные. Русские баре давно уже были вольтерьянцами. Для того чтобы проникнуться идеями французской революции, их сыновьям не было особой надобности участвовать в войне против Наполеона и доходить до Парижа. Этими идеями они уже были отчасти пропитаны дома. Но живое ощущение европейской культуры и тягостное сознание российской некультурности — действительно были принесены армией из «чудесного похода». У одних, как у Чаадаева, от этого разливалась желчь и опускались руки, а любовь к России принимала вид ненависти. Другие, напротив, стремились действовать — и таких было неизмеримо больше. Тот же патриотический порыв, которым армия была воодушевлена с двенадцатого года, теперь толкал ее к деятельности мирной, гражданственной, к стремлению преобразовать Россию в духе просвещения и законности, то есть в духе свободы. Свои силы она по-прежнему жаждала «посвятить отчизне». Таким образом, старые дворянские притязания получили новую поддержку в этом возвышенном порыве, которого царь не умел, да и не хотел понять. Именно к этому времени он окончательно расстался с либеральными и преобразовательными мечтами юности, а может быть, попросту сбросил маску. Ученик Лагарпа стал учеником Аракчеева. Лишь в отношении поляков сохранил он еще прежнее благоволение, готовясь дать Польше такое свободное устройство, которое возбуждало зависть и негодование в русских. Говорили, что государь любит только поляков. Россию же ненавидит. Роились слухи, доходившие до нелепости, но им верили, потому что перестали верить Александру. «Вольнолюбивые мечты», которые с такой силой он пробудил в начале царствования, были обмануты. Происходили некоторые перемены в обмундировании армии. По этому случаю кто-то сочинил эпиграмму:

Желали прав они — права им и даны:
Из узких сделали широкими штаны.

Оппозиция ширилась, захватывая не только армию и не только молодежь.

Княгиня Авдотья Ивановна была ярою патриоткой. Вскоре после окончания войны явилась она в Москве на обыкновенный бал Благородного Собрания в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. Теперь она произносила пылкие антипольские и антиконституционные речи, сама не подозревая того, что в нынешних обстоятельствах они становятся чуть ли не революционными.

Одним из виднейших ее поклонников был Михаил Федорович Орлов, родной племянник екатерининского любимца, убийцы Петра III. Красивый и рослый, как все Орловы, он был флигель-адъютант императора. При взятии Парижа ему было поручено добиться от французов письменной капитуляции, которую он и привез Александру Павловичу. Ему было двадцать девять лет. Царь любил его, он любил царя. Он мечтал создать тайное «Общество Русских Рыцарей», которое помогало бы царю в осуществлении давних благих намерений. Он готовил петицию об отмене крепостного права. Но благие намерения были оставлены. Аракчеев уже готовил военные поселения. Царь охладел к Орлову, тем самым отбросив его в другое тайное общество, которому имя было «Союз Спасения, или Общество Истинных и Верных Сынов Отечества». Там уже зрели мысли гораздо менее лояльные и чувства почти бунтарские. В том-то и заключался трагизм положения, что любовь к престолу силою вещей оборачивалась против престола. «Верные Сыны Отечества» становились все менее верны царю.

За Михаилом Орловым открывалась глубокая перспектива людей, над которыми уже реял дух революции. Большинство носило военные мундиры, но были и штатские. Еще не было единодушия в целях и в планах действия, но была единодушная воля служить отечеству — в союзе с царем, но если понадобится, то против царя.

Умы этих людей были заняты вопросами политическими и социальными, «строгость нравов и политическая экономия были в моде». Молодые офицеры изучали Адама Смита. На балах они не снимали шпаг, ибо им «неприлично было танцевать и некогда заниматься дамами». В Семеновском полку офицеры заставляли подавать в отставку товарищей, у которых были женщины на содержании. Хромой Николай Тургенев,

брат Александра Ивановича, заканчивал «Опыт теории налогов».

Пушкин знал многих еще с лицейской поры. С другими теперь столкнулся. Не слишком вдаваясь в оттенки их политических мыслей, еще шатких и смутных, он звал их «обществом умных» — за самое направление этих мыслей. В нем самом чувство опережало мысль и нередко над нею преобладало. Он еще не умел учиться и сосредоточиваться, но уважал это умение в других. Стремления «умных» отвечали его скрытым аристократическим притязаниям, его европеизму и, наконец, его затаенному, но сильному честолюбию. Они были его учителями в «мятежной науке», и эта наука порою глубже входила в его сердце, чем в сердца самих учителей. Он был почти лишен инстинкта самосохранения. Раб и поклонник собственных страстей, он горел в них, и эту способность к непрестанному горению не отдал бы ни за что на свете. С дикою жадностью он бросался на все утехи и наслаждения — от самых высоких до самых низменных. Но в «умных» его восхищал и, может быть, исполнял некоей зависти дух строгой гражданственности, спартанства, античной доблести. Он видел среди них новых Гракхов и Брутов. Он никогда не признался бы в том самому себе, но на их познания, на их важность, даже на их мундиры он смотрел снизу вверх. Многое дал бы он за то, чтобы стать с ними наравне. Душа его была им открыта с юношеской доверчивостью. Они относились к нему не слишком внимательно. Ценили его талант, остроумие, не придавая большого значения ни тому, ни другому. Все они были к тому же примерно лет на десять старше его — разница превеликая, по тем временам особенно. Обстоятельство это весьма было важно, ибо оно помогало ему сносить уколы самолюбия. Скажем прямо: в нем была как бы некоторая влюбленность в этих людей. Их одобрение и признание он готов был купить даже и дорогой ценой. Именно этим была решена его участь на долгие годы — может быть, на всю жизнь.

Не все, однако же, были Бруты и Гракхи. Лукуллы тоже водились в большом числе. Каверин, в прошлом — геттингенский студент, был вполне свой человек в «обществе умных». Но вождем и примером, отчасти даже недосягаемым, считался он среди тех,

кого можно бы назвать «обществом шумных». Богач и красавец, он славился тем, что в жертвоприношениях Венере и Вакху не знал ни поражения, ни усталости. От французской болезни он лечился холодным шампанским, поутру вместо чаю выпивал с хлебом бутылку рому, а после обеда, вместо кофею — бутылку коньяку. К нему примыкал Николай Иванович Кривцов, потерявший на войне ногу, но умевший и без нее жить в свое удовольствие, проповедовать безверие и в общем недурно устраивать свою карьеру. Пушкин с ним познакомился у Тургеневых и тотчас сошелся на ты. Далее шли кутящие и шумящие просто, без особенной философии, хотя и с игрой ума или остроумия. Литовский улан Юрьев, весельчак и насмешник, был сверх того знаток веселых домов и любимец их обитательниц. Офицер генерального штаба Михаил Андреевич Щербинин не уступал ему в этих качествах. Несколько иных взглядов держался буйный, широкоплечий гусар Молоствов, который говаривал: «Лучшая женщина есть мальчик и лучшее вино — водка». Василий Васильевич Энгельгардт, остряк и картежник, известен был Петербургу построением дома, который своими увеселениями, ресторанами и кофейнями сбивался на парижский Палэ-Рояль. Нащокин, так и недоучившийся в лицейском пансионе и поступивший в Измайловский полк, был едва ли не всех моложе в этом кругу, из которого мы назвали лишь некоторых. Он, однако, был вовсе не из последних. Счета деньгам он не знал, тратя их на попойки, на венские экипажи, на лошадей, карликов и собак, портреты которых заказывал молодым художникам, желая поощрить их таланты. Меценатство его простиралось и на театр, благо он был великим поклонником молодых и хорошеньких актрис. Говорят, нарядившись в женское платье, однажды он целый месяц ухитрился прослужить горничной у актрисы Асенковой, не сдававшейся на его ухаживанья. Был он человек глубоко необразованный, чем даже и выделялся в своем кругу. Его выходки были отчасти безвкусны, но сердце и кошелек широко раскрыты для всех.

Можно сказать, что Пушкин не сводил глаз с «умных». Но пристал он все-таки к «шумным», потому что их общество было легче ему доступно, а еще более потому, что к ним влек соблазн. Жизнь его

сделалась безалаберной. Попойки дневные сменялись вечерними, потом нужно было спешить в театр или на бал, затем шли попойки ночные, с женщинами, с цыганами, с поездками в Красный Кабачок.

Театр в ту пору был в моде. Считалось, что он процветает. Считалось, что первоклассные пьесы на нем разыгрываются такими же актерами. В действительности было не так. Репертуаром заведовал бездарный Шаховской, ставивший свои комедии. Ему помогали слабые драматурги и переводчики вроде Лобанова, Жандра, Гнедича, Катенина, умного человека, но скучного автора. К ним только что присоединился приехавший из Москвы приятель Катенина тезка Пушкина и его сослуживец по ведомству иностранных дел, Александр Сергеевич Грибоедов, автор весьма посредственных водевилей. В общем, репертуар был загроможден французскими трагедиями, офранцуженным Шекспиром и изделиями отечественной драматургии, в которой выделялся один Фонвизин, да, может быть, Озеров. Актеры то прядали тиграми, то холодно завывали, подражая французской сцене. Актрисы жеманились, за исключением Екатерины Семеновой. Пушкин сперва увлекся театром, но вскоре заметил, что вряд ли он того стоит. Он стал относиться к театру почти так точно, как его собутыльники, являвшиеся гулять по десяти рядам кресел, болтать со знакомыми и хлопать актрисам — не за игру их... Актрисы, в особенности балетные, были у всех на виду и коротко всем знакомы. Они перепархивали с рук на руки. Их привозили на холостые пирушки, в которых они играли роль Харит и вакханок. На них тратились, порой из-за них становились к барьеру. Как раз в это время из-за танцовщицы Истоминой юный кавалергард граф Шереметьев был убит на дуэли камер-юнкером графом Завадовским.

Пушкин сделался петербургским дэнди, как приятель его — Евгений Онегин. Меж ними была лишь та воистину *дьявольская* разница (его любимое выражение), что у Онегина то и дело умирали богатые родственники, которых он оказывался единственный наследник. Хорошо было Онегину проводить утра в своем кабинете, с коллекцией турецких трубок в углу, с фарфором и бронзой на столе, с духами в граненых флаконах, с набором щеток, гребней, пилочек, прямых

и кривых ножниц. Пушкин жил при родителях, в доме Клокачева, в старой Коломне, населенной ремесленниками и мелкими торговцами. «В одной комнате стояла богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул». Если обедало двое-трое гостей, за посудой посылали к соседям. Парадные комнаты освещались канделябрами, — детям приходилось покупать себе сальные свечи. Накинув шинель с бобрами, Онегин садился в модные свои сани. Когда Пушкин, больной, в ненастье или в мороз, приезжал домой на извозчике, Сергей Львович бранился за восемьдесят копеек. В обеденный час Онегин мчался к Talon в уверенности, что Каверин уже ждет его там. Мчался туда и Пушкин, но кто платил за прославленное вино «Кометы 1811 года», за трюфли и страсбургский пирог, за лимбургский сыр и ананас? Платили Каверин с Онегиным.

Семисот рублей жалованья не могло хватать на жизнь самую скромную. Он носил высокую шляпу и фрак английского покроя со скошенными фалдами. Но Модя Корф, лицейский товарищ, случайно живший как раз в том же доме, следил за ним со злорадством — и с удовольствием замечал, что *приличного* фрака у Пушкина не было. Когда он упрашивал отца купить ему модные бальные башмаки с пряжками, Сергей Львович предлагал ему свои старые, времен Павла I.

У Онегиных и Кавериных были актрисы на содержании. Пушкину приходилось искать случайных, минутных милостей то у какой-то продавщицы билетов в странствующем зверинце, то у Лаис всенародных, вовсе общедоступных, вроде Ольги Масон, Лизки Шедель или Наденьки Форст, которая почему-то слыла «образованной» и которой он даже посвятил четверостишие, впрочем, довольно незатейливое.

Прельщать этих женщин он мог лишь «бесстыдным бешенством желаний» — ни денег, ни красоты у него не было. Маленький, коренастый, мускулистый (лицейская лапта и борьба на Розовом Поле не пропали даром) — он очень был нехорош собой. Сам себя называл безобразным. Складом лица, повадкою и вертлявостью он многим напоминал обезьяну. Кажется, Грибоедов первый назвал его мартышкой. С детства была у него привычка грызть ногти, но иногда он себя

пересиливал и отпускал их очень длинными, — длинные не так хочется грызть. Они, однако же, росли криво и загибались вниз, точно когти. В припадках гнева или тоски он сгрызал их сызнова.

Так, некрасивый, дурно одетый, бедный, жил он как раз в среде самых богатых, нарядных, блестящих людей столицы.

Он втянулся в карточную игру: сначала еще в Лицее, из подражания, потом — потому, что уже был захвачен ее магической, ни с чем не сравнимой властью, теперь — для денег. Как все игроки, он сделался суеверен: примета — единственное оружие в борьбе со случайностью. Играл он, в общем, несчастливо, а случайные выигрыши быстро таяли. Деньги он тратил с обаятельным безрассудством. Ради того, чтобы изумить и позлить отца, переезжая с ним в лодке через Неву, забавлялся тем, что бросал золотые в воду. Он вечно был без копейки, вечно в долгах. Бедность свою ощущал как великое унижение — в его кругу она и была унизительна. Поэтому, в величайшей тайне, он любил помогать бедным.

Пытаясь сгладить неравенство, он набивался в друзья «закадышные». Боясь покровительства, держался запанибрата, — и хватал через край. Шутки его не всегда выходили кстати. Его вежливо осаживали, — приходилось писать извинительные стихи. Вообще стихами случалось ему отдаривать за гостеприимство иль угощение. От этого он страдал пуще. Гордость его подвергалась постоянному испытанию. Он ссорился часто и бурно, а сердцем был добр и мягок. Если не удавалось помириться, он, чтобы не забыть ненавидеть противника, заносил его имя в особый список, откуда вычеркивал тех, кому уже отомстил. Отомстив, рад был забыть обиду уже навсегда. В нем было много великодушия, но благодушия не было.

Удальство, даже самое грубое, почиталось наравне с доблестью. Перепить собутыльников, перебуянить их в веселом доме было почетно и лестно. Рассказывая о своих подвигах, многие сами о себе прилыгали. «Эта тогдашняя черта водилась и за Пушкиным: придет, бывало, в собрание, в общество, и расшатывается.

— Что вы, Александр Сергеевич?

— Да вот, выпил двенадцать стаканов пуншу!

А все вздор, и одного недопил».

В Красном Кабачке он лез в драку с какими-то немцами. В театре задирал почтенных чиновников и армейских майоров, вероятно, ища дуэли. Дуэли же не только отвечали понятиям и нравам, но и попросту были в моде. Пушкину они нравились потому, что в них был прельстительный риск, сладостная угроза гибели. Корнет уланского полка Якубович, человек огромного роста, со свирепым выражением лица, с черной повязкой на лбу, рубака и удалец, сделавший дуэли чуть ли не своей профессией, был *героем его воображения*. Пушкин в нем находил *много романтизма*. Екатерина Андреевна Карамзина писала однажды брату, что «Пушкин всякий день имеет дуэли; благодаря Бога, они не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы». Пушкин прямо искал дуэлей, и не из одного только романтизма, но и потому, что они были ему нужны ради желания сравняться с другими в молодечестве. Но, по-видимому, на серьезную дуэль с ним никто не хотел идти, — и в том заключалось лишнее унижение. По-настоящему вызвал его лишь один человек, но то был Кюхельбекер, предмет общих насмешек. В этой дуэли было больше смешного, чем романтического. Пушкин с неохотой принял вызов, стрелял в воздух и, наконец, сказал:

— Полно дурачиться, милый, пойдем пить чай.

Злые языки говорили, что пистолеты друзей были заряжены клюквой.

Однажды пушкинский камердинер Никита по пьяному делу повздорил с корфовским камердинером у Корфа в передней. Корф вышел на шум и поколотил Никиту. Пушкин тотчас придрался к случаю и послал Корфу вызов, требуя удовлетворения за оскорбление слуги, носящего цвета его дома. Корф ответил с безжалостною язвительностью: «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы — не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер».

Так, в погоне за сладостью жизни, он пил ее горечь, с улыбкою на устах глубоко был несчастен, в кругу друзей оскорблен и унижен. Как знать? Может быть, сей повеса, дуэлянт и бретер по ночам навзрыд плакал в своей комнате от бессильной обиды, как, бывало, плакал в Лицее? Но милого утешителя Жанно Пущина за стеной уже не было.

В начале 1818 года он простудился и заболел

гнилою горячкой. Недели две он был между жизнью и смертью. Лейб-медик Лейтон сажал его в ванну со льдом. Потом началось выздоровление, ставшее сладким отдыхом от беспутной жизни. Друзья, навещавшие его часто, заставали его на постели, в полосатом бухарском халате, с ермолкой на голове: во время болезни его обрили. У него нашлось теперь время снова приняться за «Руслана и Людмилу». Может быть, именно с этих пор появился у него обычай работать в постели. . . . .

. . . .

Тогда же он прочитал первые восемь томов «Истории Государства Российского». Их появление «наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц... Все, даже светские женщины, брались читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную». Когда Пушкин снова явился в свет, толки были в самом разгаре. «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения». Пушкин вполне разделял их чувства — если не к Карамзину, то к самодержавию. Он написал на Карамзина эпиграмму, о которой жалел впоследствии. Однажды в Царском Селе Карамзин стал при нем развивать свои мысли о царской власти. «Итак, вы рабство предпочитаете свободе?» — спросил Пушкин. Карамзин вспыхнул и назвал его своим клеветником. Пушкин замолчал, разговор переменился. Пушкин встал. Карамзину стало совестно, и, прощаясь, он ласково упрекал Пушкина, как бы извиняясь в своей горячности: «Вы сказали на меня то, чего ни Шаховский, ни Кутузов на меня не говорили». Пушкину казалось, что размолвка прошла бесследно. Вернее, однако, что Карамзин о ней не забыл.

«Якобинцы» меж тем шли навстречу своей судьбе. Осенью 1817 года императорская фамилия и двор находились в Москве. Туда же был послан сводный гвардейский корпус, в который попали виднейшие представители «умных». Там же, под шум балов и праздников, данных в честь августейшего гостя, короля прусского, на месте «Союза Спасения» образовалось новое тайное общество — «Союз Благоденствия».

Быть может, историки еще долго будут разбираться в оттенках и тонкостях, отличавших старый союз от нового. Быть может, по сличении уставов, отличия покажутся не столь разительны. Но важнее различия в уставах было различие в настроениях. Образование и развитие умов, пропаганда учения, социальная и нравственная, по-прежнему составляли цель общества, очевидную для всех членов. Но, по стечению обстоятельств, в числе которых главную роль играла политика правительства, — в обществе все яснее обозначались мысли и чувства уже чисто революционные. Еще не утратили своего влияния более умеренные и осторожные, как Илья Долгоруков, братья Муравьевы и их родственники Муравьевы-Апостолы. Но громче их голосов раздавались голоса деятельного Пестеля и решительного Лунина. На место Гракхов явились *тигры*: так, хоть и в шутку, Сергей Муравьев-Апостол прозвал неистового Каховского, который прямо уже кричал о цареубийстве. Меланхолический юноша Якушкин, доведенный до отчаяния безнадежной любовью, предлагал пожертвовать собою для той же цели.

Не то чтобы «умные» привезли с собой в Петербург эти крайние помыслы в чистом виде. До революции было еще далеко. Но присутствие чего-то необыкновенного и особенного в жизни чувствовалось невольно всеми. Пушкину это чувство передалось сильнее, чем кому бы то ни было. Он о многом догадывался, кое-что, видимо, даже знал — может быть, от Тургеневых. В общество только что были приняты два лицеиста — Вольховский (недаром — спартанец!) и Пущин. Пушкин при каждой встрече стал наседать на Пущина, затрудняя его «спросами и расспросами». Тот отделывался, как умел, но подчас на него находило сомнение: не должно ли, в самом деле, предложить Пушкину вступить в общество? Тут же, однако, являлся другой вопрос: почему же никто из близко знакомых Пушкину старших членов не думал о нем? Значит, их удерживало то же, что пугало и Пущина: образ мыслей Пушкина был всем хорошо известен, «но не было полного к нему доверия».

Пушкину не доверяли. Конечно, никому не приходило в голову, что он может оказаться предателем. Но боялись его ветрености, его неустойчивого характера и — еще горше для него — не верили в стойкость

и глубину самих его воззрений. «Умных» смущала и даже сердила его близость к «шумным». О, если бы они знали, что сами отчасти тому причиною!

Он, со своей стороны, не знал, что ему не верят. Случалось, Пущин журил его за сближение с людьми, которые набрасывали на него «некоторого рода тень». Но связи меж этой журьбой и возможностью вступления в общество он ему не открывал. Если бы открыл, то, должно быть, такого испытания Пушкин не выдержал бы. Не потому, что так трудно было ему порвать с кутящею жизнью (хоть и это было не легко), — но прежде всего потому, что в вопросах чести он был уязвим до крайности. На представление *доказательств* своей приверженности вряд ли бы он пошел.

Он, может быть, не стучался бы так упорно в тайное общество, если бы нашел другой круг людей, отвечающих направлению его мыслей. Таким кругом мог быть «Арзамас», но им не был. Если у Пушкина была любовь без взаимности к «умным», то сам он в ту пору не отвечал полной взаимностью на любовь арзамасцев. «На выпуск из Лицея молодого Пушкина смотрели члены Арзамаса, как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Особенно же Жуковский казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо... Старшие братья наперерыв баловали маленького брата». Но жизнь «Арзамаса» уже пришла к естественному концу. Его узколитературное направление не отвечало духу времени — политическому духу. Новые члены — Михаил Орлов, Николай Тургенев, Никита Муравьев — прямо упрекали его в пустоте и праздности и указывали ему новые, политические и социальные темы, которых «Арзамас» не мог принять, не перестав быть собою. Этого мало. Даже и чисто литературная роль его была сыграна. Поздно было отстаивать поэтические идеи Карамзина и Жуковского, когда они сделались общепризнаны и когда налицо был Пушкин. Старые шутовские церемонии давно приелись и потеряли смысл. Летом 1817 года в одном из собраний общества Блудов говорил на тему о том, что «старые шутки — старые девки»:

Бойся же ты, Арзамас, чтоб не сделаться старою девкой.

«Арзамас» и не сделался, потому что умер. Это собрание было одним из последних. Пушкин навсегда

сохранил признательность «Арзамасу», некогда бывшему для него литературной школой. Званием арзамасца он гордился, но о возобновлении его не помышлял. «Арзамас» был бы ему теперь пресен. Литературных тем в стихах он почти уже не касался. Жуковский и Александр Тургенев радовались каждой его поэтической удаче и ужасались образу его жизни. Он являлся к ним часто, но как бы откуда-то из другого мира. Тургенев с прискорбием писал Вяземскому, что Пушкин «весь исшалился». Его возили к Карамзину усовещевать — он возвращался «тронутый, но вряд ли исправленный». По утрам заходил он к Жуковскому — рассказать, «где он всю ночь не спал».

* * *

На Екатерининском канале, у Львиного мостика, помещалась балетная школа. Ученицы ходили в набойковых платьях. Начальница госпожа Казасси свирепо блюла их нравственность, подвергавшуюся постоянному искушению. Главный балетмейстер Дидло, который был «легок на ногу и тяжел на руку», с шести часов утра наделял их толчками, пинками и пощечинами. Потом их возили в театр на репетицию, а вечером — снова в театр, где составляли они кордебалет. Их поклонникам ничего не оставалось, как проникать в училище и на сцену под видом костюмеров, полотеров, сбитенщиков и даже трубочистов. Якубовича извлекли однажды из громоздкой театральной кареты. По целым дням вдоль канала прохаживались молодые люди, поглядывавшие на окна, до половины закрашенные белой краской. Одно время в числе их был Пушкин.

Неподалеку от школы, на Екатерингофском проспекте, стоял дом камер-юнкера Никиты Всеволодовича Всеволожского. То была штаб-квартира балетоманов. По утрам конный егерь Мансуров следил отсюда, как проносилась на репетицию очаровательная Крылова. Ученица Овошникова была предметом воздыханий самого хозяина. Однажды, в страстную пятницу, Пушкин, протрезвив Всеволожского, повел его под руку в училищную церковь — «да помолишься Господу Богу и насмотришься на госпожу Овошникову».

Всеволожский был богач, его дом был открыт для друзей день и ночь. Устраивались настоящие оргии. С участием театральных сильфид разыгрывались недвусмысленные пьесы на тему «Изгнание Адама и Евы», «Гибель Содома и Гоморры» и проч. Однако, примерно с конца 1818 или с начала 1819 года, начались тут собрания несколько иного рода. Они происходили два раза в неделю. Участники, связанные тайной и клятвой, размещались в гостиной палате вокруг стола, над которым горела зеленая масляная лампа. От нее все сообщество возымело название «Зеленой Лампы», у которого было, впрочем, и аллегорическое значение: Свет и Надежда. У членов общества были перстни с изображением светильника. Ритуал, отчасти масонский, сочетался с другим, более шутливым и оргиаческим. Шампанское марки V.C.P. (Veuve Cliquot Ponsardin) и шато-икем марки L.D. лились в изобилии величайшем. Тому, кто обмолвился слишком крепким словом, слуга калмык с поклоном подносил огромную чашу, которую, в ассамблейном порядке, провинившийся должен был выпить, не отрываясь. Многие старались провиниться — беседа принимала весьма соленый оттенок.

Двойственному обряду «Зеленой Лампы» отвечал двойственный состав членов. С одной стороны, были тут прожигатели жизни: Александр Всеволожский, брат Никиты, Юрьев, Мансуров, Щербинин, Энгельгардт. С другой — люди гораздо более серьезные, прикосновенные к литературе, как поэты Аркадий Родзянко и Федор Глинка, к театру, как Дмитрий Барков, к музыке, как Улыбышев. И совсем уже неожиданно можно было здесь встретить Дельвига и самого Николая Ивановича Гнедича, весьма разборчивого по части знакомств. В каждом собрании читались отчеты о театре. Гнедич с надсадом скандировал гексаметры неизменной своей «Илиады». Дельвиг, легко пьяневший, в лирическом жару восклицал:

Мальчик, солнце встретить должно
С торжеством в конце пиров!
Принеси же осторожно
И скорей из погребов:
В кубках длинных и тяжелых,
Как любила старина,
Наших прадедов веселых
Пережившего вина...

Однако, побывав в нескольких собраниях, легко было заметить, что усерднее стансов о вине и любви читаются здесь стихи «против государя и против правительства». Можно было услышать и рассуждения, и споры политические, и чтение сочинений о будущем устройстве России, о том, например, как лет через 300 будет она конституционной монархией, процветающей под сенью закона; мрачный Михайловский Замок превратится в «Дворец Государственного Собрания»; общественные школы, академии, библиотеки разместятся в бывших казармах; установится единая безобрядная религия; кадровые войска заменятся всеобщим ополчением; искусства, науки, театр, развившиеся на основе древней народной словесности, будут процветать наравне с земледелием, торговлей, промышленностью; широкая поддержка будет оказана бедным, число коих с каждым днем будет уменьшаться... Словом, собрания были проникнуты духом либерализма.

Все это было бы не совсем понятно, если бы мы не знали, что Всеволожский был только амфитрионом «Зеленой Лампы». Ее учредителем и первым председателем был Яков Николаевич Толстой, посредственный стихотворец, немножко философ и немножко водевилист — соратник Репетилова на сем поприще. Сверх того он был член «Союза Благоденствия», к которому принадлежали еще четыре участника «Зеленой Лампы»: князь Сергей Трубецкой, Глинка, Токарев и Каверин. Этим все объяснялось. По уставу «Союза Благоденствия» члены его должны были устраивать на стороне «вольные» общества, не входящие прямо в состав «Союза», — из людей, подготовляемых для него или «долженствовавших только служить орудиями». При этом рекомендовалось прикрываться видимостью литературных или просто приятельских сборищ, участникам коих отнюдь не полагалось знать, кто и откуда руководит их мыслями и поступками.

Пушкин, напрасно домогавшийся вступления в тайное общество, сам не зная того, оказался втянут в его орбиту. Его не подготовляли в члены, потому что ему не доверяли. Но «орудием» он мог быть прекрасным — и уже был.

«Зеленая Лампа» пришлась ему по наклонностям и по вкусам. В нем самом как нельзя более стройно

сочеталось то, что в ней было внутренним противоречием: в ней «умные» только терпели «шумных», пользуясь ими, как ширмой; «шумные» веселились, не очень слушая «умных», либо же в их мятежных речах находя оправдания своей склонности буянить в веселых домах или колотить будочников. Он же был зараз и умен, и шумен. В уме его было буйство, а в буйстве ум. Он и впрямь был таким рыцарем не только любви и вина, но и свободы, каким воображал Юрьева; он сам «ненавидел деспотичество» той возвышенной ненавистью, которую щедро приписывал Мансурову. Самых пустых лампистов он оделил посланиями, в которых они были если не созданы, то украшены по образу автора. «Умные» вдохновили его на несколько стихотворений цивических. Из «Зеленой Лампы» выпорхнули и разнеслись по столице, а там и по всей России беспощадно веселые эпиграммы на приближенных к царю вельмож и святош.

За эпиграммами последовали стихи более значительные: «Noёl», направленный разом и против земного царя, и против Небесного; ода «Вольность», в которой Пушкин сознательно шел по следам Радищева, а бессознательно и, может быть, еще глубже подражал Державину.

Летом он вновь заболел горячкой и, вторично обритый, уехал в Михайловское, чтобы вернуться оттуда с «Деревнею» — самым сильным из всего, что было дотоле писано против крепостного права. Во всех этих стихах не было новых мыслей. Пушкин впоследствии говорил, что в те времена разделял чувства с толпой, но эти общие чувства были высказаны с мастерством необщим. Александру I показали «Деревню». Он приказал благодарить молодого поэта, чем отдал дань высокому идеалу, и запретил печатать стихи — дань осторожности и благоразумию. (Так точно в самые первые дни своего царствования поступил он с Державиным.)

Еще проворнее эпиграмм разнеслись запретные пьесы. Их переписывали наспех и из-под полы передавали друг другу, перевирая, присочиняя, по-своему исправляя. Это и была та пропаганда, которой он должен был послужить орудием. В отношении его Толстой достиг цели в большей степени, чем мог ожидать. Вскоре под именем Пушкина стали ходить и та-

кие пьесы, которых он не писал никогда. Все, что приходилось по вкусу человеку толпы, смело приписывалось ему, вместе с остротами, которых он никогда не произносил. В петербургских канцеляриях и в медвежьих углах молодые канцеляристы и обомшелые помещики рассказывали о нем анекдоты, грязнейшие и пошлейшие. Так родилась всероссийская его слава.

* * *

. . . .

Он хотел славы и этого не скрывал. Знал, что у нее есть неприятные стороны — и соглашался на это. Он предоставлял каждому на него удивляться, как кто умеет и может. Одни восхищались им как автором «Руслана и Людмилы», другие — как тонким развратником, третьи — как певцом «Вольности», четвертые — как просто пьяницей. Всем этим славам он сам содействовал, отчасти вовсе нечаянно, потому что самое простое и естественное для него было изумительно публике, отчасти по легкомыслию и задору, отчасти именно для поддержания славы. Дома его упрекали. «Без шума никто не выходил из толпы», — отвечал он — и не прочь был ошеломить театральных модниц и модников, сняв парик с бритой головы и обмахиваясь им, как веером.

Он со славой играл. И она с ним играла. И вдруг бросилась на него с оскаленными зубами. Страшная вещь — слава. Кто, враг или друг, сочинил о нем сплетню, будто он был позван в тайную канцелярию и высечен? Казалось бы — умный враг. А может быть — глупый друг? Дескать — вот до чего сильно пишет против правительства — даже высечь его решили. И вот каково наше правительство!

Как бы то ни было, слух сделался общим. Ужасней всего, что ему поверили и враги, и друзья. Наконец он дошел до Пушкина, который разом взбесился и растерялся. Почитая себя опозоренным перед всеми, он размышлял, не приступить ли ему к самоубийству. У него мелькала мысль убить государя. Потом он решал в сочинениях и речах проявить столько дерзости, сколько требуется, чтобы понудить правительство обращаться с ним, как с преступником. Он жаждал Сибири как восстановления чести.

К этому присоединились неприятности денежные — на карточной почве. Еще в ноябре 1819 года он проиграл барону Шиллингу 2000 рублей ассигнациями и выдал на эту сумму заемное письмо, которое Шиллинг учел у процентщика Росина. Долг висел у Пушкина над душой. Около того же времени он задумал печатать книгу стихов. Объявлена была подписка, около сорока билетов розданы и деньги за них получены. Но вслед за тем он проиграл тысячу рублей Всеволожскому. Уплатить было нечем. Он предложил в уплату рукопись приготовленного к печати сборника. Всеволожский согласился, чтобы его не обидеть, но издавать книгу, разумеется, не собирался. Пушкин оказался без книги и в долгу перед подписчиками. Может быть, именно эти обстоятельства заставили его торопиться с окончанием «Руслана». Он, однако, увлекся работой, и она скрасила его дни. За нею он забывал об ударах судьбы. В ночь с 25 на 26 марта двадцатого года поэма была кончена. Меж тем, гроза уже собиралась над его головой и месяц спустя разразилась.

Правительство, наконец, решило обратить внимание на Пушкина. Весьма возможно, что слухи о порке подали ему эту мысль. Что до поводов — их было достаточно. До государя дошла «Вольность». Ему донесли, что Пушкин восхищается подвигом немецкого студента Карла Занда, заколовшего писателя Коцебу за услужение русскому правительству, и в театре показывает портрет Лувеля, недавно перед тем убившего герцога Беррийского, наследника французского престола. На портрете имелась надпись — «Урок царям!» Хуже всего, однако, была эпиграмма на Аракчеева, столь грубая и свирепая, что самое название эпиграммы к ней даже и не подходит:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу.
А впрочем . . . .

Встретясь в Царском Селе на прогулке с директором Лицея Энгельгардтом, Александр Павлович сказал ему, что «Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами». Пушкин узнал, что готовится обыск, сжег все, что могло быть опасно, и отправился к Глинке советоваться, как быть дальше: Глинка тогда

состоял при генерал-губернаторе Милорадовиче. Обсудив дело, решили, что Пушкин пойдет к Милорадовичу и постарается сыграть на рыцарском благородстве, которое тот любил выказывать. Так и сделано. Придя к генерал-губернатору и застав его в романтическом зеленом халате, Пушкин объявил, что сжег все вольные стихи свои, но может сейчас же их записать по памяти. Милорадович приказал подать бумаги и чернил. Пушкин тут же у него в кабинете написал все — или почти все: вряд ли возможно было написать и эпиграмму на Аракчеева. Этот поступок умилил и восхитил Милорадовича. Он жал Пушкину руки и чуть ли не объявил ему тут же прощение от имени государя. Но на его слова положиться было бы легкомысленно. Пушкину грозила Сибирь или покаяние на Соловках. Всеми предыдущими событиями его душевное равновесие было уже нарушено. Он потерял голову, то выказывая страх, довольно малодушный, то дерзость, почти безумную. К отцу своему, который, конечно, был им весьма недоволен, явился он объясниться с пистолетом в руках.

Друзья всполошились. Гнедич, Жуковский, Оленин, Чаадаев, Раевские, Карамзин старались разными путями воздействовать на царя. Наконец участь Пушкина была решена. Старик Раевский с семьей собирался в Крым. Пушкину разрешили с ним ехать, причем официально он откомандировывался в распоряжение генерала Инзова, попечителя колонистов южного края. (Инзов состоял в ведомстве того же министерства иностранных дел, где служил Пушкин.)

Предстательство Карамзина сыграло важную роль в судьбе Пушкина, которому пришлось лично просить его помощи и дать слово, что впредь он будет вести себя смирно по крайней мере два года. Неизвестно, как принял его историк, но известно, что московским друзьям он писал о Пушкине холодно и презрительно. Дмитриеву: «Пушкина простили, дозволили ему ехать в Крым. Я просил о нем из жалости к таланту и молодости: авось, будет рассудительнее». Вяземскому: «Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять; ему дали рублей тысячу на дорогу». Это писано уже после

отъезда Пушкина. Тогда же Карамзин показывал Блудову место в своем кабинете, облитое слезами Пушкина.

Как ни великодушен был Карамзин, ни эпиграммы, ни пылкого разговора в Царском Селе он все-таки не забыл.

* * *

Он уезжал в глубоком спокойствии, похожем на то приятное чувство выздоровления, которое испытывал после первой болезни. За эти три года (без малого) им был истрачен огромный запас сил и чувств. Он как бы перегорел душой и теперь ощущал непривычное и немного странное охлаждение. Ему казалось, что молодость кончена и что даже стихов он больше писать не будет. Так сильна была в нем усталость, что ему чудилось, будто он сам, по доброй воле бежит прочь из Петербурга — в новые, невиданные края, которые манили его воображение. С новыми друзьями, в кругу которых было совершено столько веселых и опасных безумств, расставался он без печали. Он не жалел даже о Чаадаеве: зашел к нему накануне отъезда, узнал, что тот еще спит, и ушел, не приказав будить.

Женщины? Сердце его было пусто или почти пусто. С год тому назад, на вечере у Олениных, мелькнула перед ним их родственница, провинциалка, молоденькая жена пожилого генерала Керна. Но она не обратила на него никакого внимания: еще бы, тут сам Иван Андреевич Крылов только что читал свои басни! (Госпожа Керн очень интересовалась знаменитостями.) Он и сам повел себя с ней уж слишком развязно: ухаживать за порядочными женщинами приходилось ему не часто. Голицыну он давно разлюбил, да и любви настоящей не было. Пожалуй, одна лишь любовь жила в нем, одна женщина воображалась ему порою в минуты самые дикие — в объятиях других женщин. Об этом он даже стихи написал:

В Дориде нравятся мне локоны златые,
И бледное лицо, и очи голубые.
Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,

Желанья гасли вдруг и снова разгорались...
Я таял; но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

Эту любовь было сладко и тяжело в себе возбуждать. Но она была безнадежна. Вблизи или вдали — не все ли равно?

Все формальности были кончены. Раевские задержались, однако же, в Петербурге, а ему пора было ехать. Условились встретиться в Екатеринославе.

5 мая ему был выдан паспорт за номером 2295, а 6-го он сел в коляску. С ним ехал камердинер Никита, тот самый, который когда-то, давно-давно, в детстве, водил его на колокольню Ивана Великого смотреть оттуда Москву.

Он ехал на перекладных. На белорусском тракте переоделся он в красную русскую рубашку и поярковую шапку. Время было ужасно жаркое.

ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ТРАВНИКОВА

I

Лейб-гвардии поручик Григорий Иванович Травников немало был опечален тем, что ему не пришлось съездить в Пензу на свадьбу старшего своего брата. Отпуска он добился только через несколько месяцев, и в начале мая 1780 года, в дождливый вечер, ямская тройка подвезла его прямо к воротам родного дома. Брата, однако же, он не застал: оказалось, что с самой Пасхи Андрей Иванович с молодой женой перебрался на летнее пребывание в Лошняки, подгородное имение своего тестя.

Когда на другой день Григорий Иванович отправился в Лошняки, солнце сияло и грело. На душе у поручика было легко — он вообще отличался легким, веселым нравом. Если бы кто-нибудь сказал ему, что наступающий день будет роковым в его жизни, он засмеялся бы, — всякие суеверия были ему чужды.

Встретились братья с большой сердечностью. Сердечно и просто обошелся у них и тот деловой разговор, который в нынешних обстоятельствах надо было предвидеть. Оставшись круглыми сиротами почти в детстве, Травниковы сообща владели наследством, состоявшим из трех поместий (всего было у них около двух тысяч душ). Ввиду женитьбы Андрея Ивановича, теперь было удобнее разделиться. Братья легко договорились об условиях раздела, который они и оформили в Пензе через два месяца, когда Григорию Ивановичу пришла пора возвращаться в полк.

Свидание, как сказано, произошло в имении, принадлежавшем тестю Андрея Ивановича. Таким образом, Григорий Иванович очутился гостем не столько своего брата, сколько семейства Зотовых, с которым давно был знаком, а теперь породнился.

Это семейство было невелико. Оно состояло из отставного капитан-поручика Василия Степановича Зотова с двумя дочерьми, из которых старшая, Анна Васильевна, недавно сделалась госпожой Травниковой. Младшей, Марье Васильевне, было всего четырнадцать лет. Она хорошо танцевала, играла на клавикордах, совершенно владела французским языком и не-

дурно итальянским. Ее последнюю гувернантку, женевскую уроженку, полуфранцуженку-полуитальянку, недавно сманил соседний помещик. Новую брать не стоило, да и доставать было трудно. Девочка росла на свободе.

Григорий Иванович привез с собой флейту, с которой не расставался. Может быть, с этой флейты, с каких-нибудь вечерних дуэтов, и начался весенний усадебный роман между веселым двадцатитрехлетним офицером и четырнадцатилетней девочкой, почти подростком. Достоверно лишь то, что в конце июня, покидая приятные Лошняки, поручик увозил в сердце легкую, несколько шутливую влюбленность, в которой сам себе, впрочем, отдавал довольно ясный отчет. Хорошо запомнились ему также два-три мимолетных, но жарких поцелуя: он вспоминал о них много лет спустя. Машенька в день отъезда Григория Ивановича старалась казаться веселой, но спать ушла рано — и тут, в постели, пролиты были слезы.

В искушениях петербургской жизни Григорий Иванович, пожалуй, все-таки позабыл бы Машеньку. Но к следующей весне ему опять вышел отпуск, теперь уже на целый год, который он и провел в Пензе и в Лошняках. За этот год сердечные дела Травникова и Машеньки продвинулись далеко: молодые люди поклялись друг другу в вечной любви. Кончилось тем, что перед отъездом Григорий Иванович имел важный разговор с братом, а затем и с самим Василием Степановичем Зотовым. Последнее объяснение носило характер вполне драматический и решительный: влюбленные, взявшись за руки, вошли в кабинет Василия Степановича, стали на колени и просили благословения, объявив с твердостью, что «не токмо законы, но и сама смерть разлучить их уже неудобна».

Между тем именно в законах заключалась вся трудность положения. Сам Зотов ничего не имел против того, чтобы видеть обеих своих дочерей за братьями Травниковыми. Но в силу закона два брата не могли жениться на двух сестрах — разве только с особого разрешения духовных властей. Добиться такого разрешения почти не надеялись, и действительно, все хлопоты, которые были предприняты сперва в Пензе, а потом в Петербурге, к желанному концу не привели. Окончательный отказ был получен в октябре 1783 го-

да. При сем известии, как ни слаба была в ней надежда, с Машенькой приключилась та «нервическая горячка», которой в подобных случаях хворали девушки ее века.

Ничто с такой силой не воспламеняет любви, как препятствия (так было, по крайней мере, в те времена). Григорий Иванович, не имея возможности отлучиться из Петербурга, слал отчаянные письма отцу возлюбленной, своему брату и ей самой. Машенька, перенеся болезнь, казалось, таяла у всех на глазах. Ей шел семнадцатый год. Мнения родных разделились. Старшая сестра, будучи нрава твердого (в покойную свою мать), считала, что буде иного выхода нет, то и должно Машеньке выкинуть дурь из головы. В том же мнении она укрепила и своего мужа. Очень возможно, что при других обстоятельствах она бы достигла того же и в отношении отца, но тут сыграл роль совершенно особый характер старика Зотова.

Это был человек, бесхарактерный на редкость. Довольно рано оставив военную службу, к которой не имел ни способностей, ни охоты, он женился. Жена управляла им, как хотела, и за шестнадцать лет безоблачного семейного счастия Василий Степанович размяк окончательно. Овдовев в 1776 году, он скучал нестерпимо, и в особенности не мог выносить одиночества. С утра до вечера надо было сидеть с ним, разговаривать с ним, забавлять его, управлять им, потому что свобода на него действовала угнетающе и доводила порой до слез. Ему было пятьдесят три года. Он принадлежал как раз к числу тех непостижимо слезливых екатерининских бар, о которых так хорошо говорит позднейший историк. При всей своей мягкости, он отчасти был и тиран. Пугаясь разлуки, на брак старшей дочери согласился он не иначе, как под условием, чтобы она положенную (и довольно большую) часть года, с весны до глубокой осени, проводила по-прежнему в Лошняках. На все остальное время сам он перебирался в город.

На сей раз Машенькина болезнь удержала его в деревне. Старшая дочь с мужем уехала в Пензу (Андрей Иванович состоял председателем верховного земского суда). Василий Степанович с Машенькою остались одни. Стояло ненастье, Машенька, словно тень, бродила по дому. Она плакала постоянно — то

в ожидании письма от Григория Ивановича, то над полученным письмом. Василий Степанович раскладывал пасьянсы и громко вздыхал — от жалости к дочери и от скуки. Видя, что ни о чем, кроме Григория Ивановича, Машенька говорить не может, старик сам заводил о нем речь. Так постепенно, ради того только, чтобы не молчать, он сделался конфидентом своей юной дочери, с нею вместе ждал писем и нередко с ней вместе над ними плакал. Кончилось тем, что, в качестве классического наперсника, он сам содействовал бегству Машеньки из родного дома. Неизвестно, кому принадлежала эта сумасбродная, до последней степени легкомысленная затея, которая быстро, однако ж, была приведена в исполнение: в январе 1784 года Машенька неожиданно отбыла в Петербург с горничною Дуняшей. Там все уже было готово, положенные оглашения сделаны, кольца и свечи припасены; 4 февраля, в присутствии двух свидетелей, состоялось бракосочетание девицы Марии Васильевны Зотовой с лейб-гвардии поручиком Григорием Ивановичем Травниковым.

Супруги повели жизнь не слишком рассеянную, но и не замкнутую. Григорий Иванович умел выбрать общество, добропорядочное вполне. Машенька не принадлежала к числу ветреных модниц, но всегда одета была к лицу, была приветлива, без жеманства, умела принять гостей и вела хозяйство прилично званию. Впрочем, Травниковы принимали не часто, а выезжали, пожалуй, и того реже. По вечерам Машенька садилась за клавикорды, Григорий Иванович доставал из футляра, выстланного зеленым сукном, свою флейту, и тогда музыка оглашала небольшую, но нарядную квартиру в доме сапожника Танненбаума на Вознесенском проспекте. Играли Баха, модного композитора Моцарта, но всего чаще — дуэт из Пиччиниева «Роланда». Наконец, 6 июля 1785 года, Бог дал Машеньке сына, которого назвали Василием, в честь деда. Надо заметить, что Василий Степанович, поручив управление Лошняками старшей дочери, перебрался в Петербург; столичная жизнь пришлась ему чрезвычайно по вкусу; он жил с Травниковыми; его, может быть, не столько почитали, сколько баловали; его возили в театр, ради него созывали гостей, ему составляли партии виста, с ним болтали с утра до вечера — он был счастлив как нельзя более.

Когда, где и как собиралась гроза — неизвестно. По-видимому, она надвинулась со стороны Пензы. Внезапное исчезновение Зотова с младшей дочерью, конечно, должно было породить толки и слухи. Вполне вероятно, что причина этого исчезновения узналась довольно скоро. Словом, последовал донос, и в начале 1788 года возникло дело о незаконном браке. Документов не сохранилось. Известно лишь то, что Андрей Иванович ездил в Петербург, хлопотал перед государынею за брата и добился какой-то монаршей милости, после которой окончательный приговор все же остался довольно суров: брак, разумеется, был расторгнут; свидетели и священник, яко введенные в заблуждение, вовсе не понесли наказания; Григорий Иванович лишен офицерского чина, послан солдатом в армию и вскоре очутился под Очаковом; Марье Васильевне с отцом приказано было немедля выехать из столицы и жить в деревне; все трое к тому же были подвергнуты церковному покаянию. Наконец, самая тяжелая кара постигла двухлетнего младенца Василия Травникова: он был оставлен при матери, но вычеркнут из дворянских книг и записан «выблядком без фамилии».

* * *

В Новгородской губернии, верстах в двадцати пяти от Валдая, находилось сельцо Ильинское, доставшееся Марье Васильевне от матери. По ревизии 1782 года в нем числилось 108 душ обоего пола. Доход от имения был невелик, хозяева туда не заглядывали и, должно быть, не заглянули бы, если бы не случившееся несчастье. Ехать в Лошняки значило стать предметом любопытства со стороны всей Пензы и всей губернии. Марья Васильевна решила поселиться в Ильинском. 3 апреля 1788 года она писала сестре: «Вчерась приехали мы в родные, но неведомые места, кои зделались местом изгнания моего. Моему горю, дорогая Анюта, конца не предвижу. Коротко было мое щастие, неправое перед людьми, но правое перед Богом, Ему же все ведомо, и на милость Его конечно уповаю... Васенька при мне, слава Богу, и слава Богу здоров. Батюшка в меланхолии, которую видя еще дивлюся своей крепости...»

Холмы вокруг Ильинского поросли густым лесом. В лесу водились медведи, рыси, много было волков; по ветвям прыгали белки и горностаи. Примерно за полверсты до усадьбы начинался подъем, ведущий к барскому дому; перед домом, как водится, полукруглый двор, окруженный службами. Другою, парадною, стороной дом смотрел на обрыв, под которым синело озеро. У этого же обрыва, несколько в стороне от дома, стояла деревянная церковка во имя Ильи Пророка.

В летние месяцы, чтобы добраться в Ильинское к вечеру, надобно было выезжать из Валдая утром — и то на двуколках: дороги вокруг Валдая, родины славного колокольчика, остались непроезжими до сих пор. Зимой, разумеется, ездили скорее. Впрочем, Марье Васильевне некуда было ездить и некого ждать к себе. Что до Василия Степановича, то, не вынеся скуки, воя волков и собственной «меланхолии», следующей зимой он все-таки ускакал в Лошняки. Марья Васильевна чуть ли не радовалась его отъезду: забавлять старика уже стало ей невтерпеж. Она занялась хозяйством и воспитанием сына. Меж тем самые тяжкие беды были еще впереди.

Григория Ивановича мы теряем из виду почти на три года, вплоть до взятия Измаила. Под Измаилом он был легко ранен; затем, восстановленный в чине по ходатайству Репнина, он немедля вышел в отставку и летом 1791 года приехал в Ильинское. Неизвестно, была ли Марья Васильевна подготовлена к перемене, которая в нем обнаружилась (их переписка не сохранилась). Полуседой, огрубелый, жилистый, он стал молчалив и скрытен. От его легкого нрава ничего не осталось. Глядя на него, можно было подумать, что он непрестанно сдерживает в себе злобу. Порой она прорывалась наружу. В ответ на расспросы, жалобы, слезы Марьи Васильевны он просил оставить его в покое, замечая, однако, что она, Марья Васильевна, ни в чем перед ним не повинна. Вскоре он почти перестал говорить с нею и запретил входить к нему в комнату. Для нас не вполне понятно, зачем он поселился в Ильинском. По-видимому, он хотел быть ближе к сыну, которого не имел законных оснований отнять у Марьи Васильевны. С другой стороны, особой нежности не проявлял он и к мальчику.

Васеньке шел седьмой год. Он свободно уже болтал по-французски и немного по-итальянски. Местный священник учил его русской грамоте и Закону Божию. Григорий Иванович тотчас по приезде взял учение в свои руки, прогнав священника и заменив арифметикой Закон Божий. В церковь он не ходил и запретил водить туда сына. Так же раз навсегда разогнал он дворовых ребят, игравших с Васенькою в солдаты. Вообще он выказывал дерзкое неуважение к властям земным и небесным. Вскоре молва о безбожном помещике разошлась по уезду, отчего Марья Васильевна ждала новых напастей, но все обошлось благополучно. Григория Ивановича не трогали, и он никого не трогал, выражая свою мизантропию тем, что ревниво оберегал свое одиночество. Вероятно, будь он привычен к размышлениям, он стал бы одним из тех вольнодумцев, которых при Екатерине развелось много. Он даже мог далеко превзойти их, потому что к отрицанию Бога и государыни у него прибавлялось отрицание отечества: до этого в ту пору еще не доходили. В общем, насколько можно судить по отрывочным сведениям, пережитые невзгоды и несправедливости вселили в него глубокую ненависть ко всякому существующему на земле порядку вещей. Но философствовать последовательно он не умел и не хотел, точно так же, как не имел особой склонности к чтению. Зато камердинер все чаще носил в его спальню подносы, уставленные графинами. Случалось, он провожал туда же дворовых девушек. Первая из них, столкнувшись однажды в сенях с Марьей Васильевной, охнула и прижалась к стене. Прочие были уже смелее. Марья Васильевна стала барскою барыней в собственном своем доме. И этот крест она понесла безропотно. Однако Богу было угодно испытать ее сильно.

Одним из немногих развлечений Григория Ивановича была псарня, которую он завел. Там разводились собаки крупной и злой породы: борзые и волкодавы. Однажды, в летний день 1793 года, Васенька бегал по двору. Две борзые, вырвавшись за решетку, помчались за ним, настигли. Он упал лицом в траву, и это отчасти спасло его: искусаны оказались только ноги. Люди сбежались. Григорий Иванович собственноручно пристрелил обеих собак и перепорол половину дворни. Послали в Валдай за лекарем. Левая нога

у Васеньки зажила легко, но правая загноилась, а потом стала сохнуть. Вызывали еще докторов, возили мальчика в Новгород. Там, тайком от Григория Ивановича, Марья Васильевна служила молебны у раки св. князя Всеволода, — но все было напрасно. Через год ногу пришлось отнять по колено. Десятилетний мальчик стал ходить на костыле.

Должно быть, этому обстоятельству он и обязан ранней охотой к чтению. Марья Васильевна выписала из Лошняков свою девическую библиотеку и стала выписывать книги из Петербурга. К сожалению, мы не знаем в точности, каковы были ранние чтения Васеньки. С достоверностью можно назвать лишь одну книгу: «Арфаксад, халдейская повесть в шести частях», будто бы перевод с татарского, на самом деле сочинение некоего Петра Захарьина. У тогдашней публики она имела большой успех — Травников вспоминал ее впоследствии как образчик глупости. Как бы то ни было, он читал много, и, конечно, как в те времена водилось, книги вовсе не детского содержания. Нужно думать, средь них было много стихов: французских, итальянских и русских, ибо попытки стихотворного авторства начались, когда Васеньке было всего двенадцать лет, как раз в ту пору, когда умерла его мать.

Григорий Иванович первое время следил за воспитанием мальчика, но вскоре забросил это занятие. Еще до кончины Марьи Васильевны (что случилось 11 октября 1797 г.) он сделался пьяницей. После смерти жены девичья окончательно стала его гаремом. В Ильинском восстановил он jus primae noctis[1].

Вследствие того, что брак Марьи Васильевны с Григорием Ивановичем был расторгнут, Ильинское по закону должно было перейти к ее сестре, жене старшего из братьев Травниковых, которая, однако, не пожелала воспользоваться своим правом в ущерб малолетнему племяннику. Андрей Иванович Травников отправился в Петербург хлопотать о том, чтобы Григорию Ивановичу было разрешено усыновить Васеньку: надеялись, что таким образом мальчик получит дворянство и право наследовать своему отцу. После и Ильинское могло быть передано ему по дарственной записи.

---

[1] право первой ночи *(лат.)*.

В то время второй уже год царствовал Павел I. Зная характер этого государя, можно вполне поверить семейному преданию Травниковых, согласно которому ходатайство увенчалось успехом лишь благодаря довольно странному обстоятельству. На докладе статс-секретаря государь собрался уже положить резолюцию отрицательную. Но тут случайно взгляд его упал на дату Васенькина рождения: 6 июля 1785 года. Император Петр III был убит 6 июля 1762-го. Заметив это совпадение, Павел с приметным удовольствием отменил повеление своей матери и повелел «выблядку без фамилии» впредь быть законным сыном дворянина Григория Травникова, прибавив, однако же, на словах: «В память в Бозе почившего родителя моего и не в пример прочим».

II

Не имея возможности взять Васеньку у отца, родные покойной Марьи Васильевны посылали к нему гувернеров, которые, однако ж, не уживались с Григорием Ивановичем: сам он сыном нисколько не занимался, но никого к нему не хотел допустить. Васенька жил среди отцовского гарема. Наконец Андрей Иванович снова явился в Ильинское, чуть не силой забрал племянника и повез в Москву.

То было в 1800 году. Васеньке шел уже шестнадцатый год. Хотели его поместить в Университетский Благородный пансион, но его познания оказались недостаточны. Остановились поэтому на частном пансионе Владимира Васильевича Измайлова, литератора, пламенного поклонника Руссо. Ознакомившись с поэтическими опытами нового своего питомца, Измайлов пришел в ужас от того, что Васенька в стихах изъяснялся валдайским мужицким говором; действительно, в басне «Пегий и Соловый» он, между прочим, рифмовал так:

Однажды поутру Соловый наш *пришотца*
Испить воды у ихнего колодца.

Однако литературные способности в молодом человеке Измайлов тотчас почувствовал. Будучи непрестанно обуреваем самыми возвышенными чувства-

ми, он поставил себе целью быть своему воспитаннику не только руководителем, но и наперсником. Васенька платил ему благодарностью и расположением, но от вечной измайловской экзальтации его, видимо, коробило. Уже тогда обозначились в нем свойства, которыми он впоследствии отличался: молчаливость и замкнутость.

С помощью Измайлова молодой Травников быстро наверстал потерянное и через год вступил в Благородный пансион, — как раз тогда, когда Жуковский оттуда вышел. Таким образом, он уже не застал в пансионе тургеневского кружка, не участвовал ни в достопамятных «поддевиченских» собраниях, ни в «Дружеском литературном обществе». Однако вскоре он очутился в самой гуще московской словесности.

Он жил у Анны Степановны Зотовой, родной сестры своего деда. Ей было лет шестьдесят пять. Весь век она провела в девичестве. В ранней молодости она влюбилась в Михайлу Михайловича Хераскова, не встретила взаимности, но примирилась со своим горем, а когда Херасков женился, сделалась приятельницей его жены. Возле Хераскова прошла ее жизнь — даже дом ее находился поблизости от жилища Хераскова, на Б. Хомутовке. Она была одной из тех беззаветно преданных ему женщин, которые окружали его заботами и поклонением, знали наизусть все его стихи, включая и знаменитую «Россиаду», пеклись о его славе. Едва ли не Анной Степановной было пущено в ход утвердившееся за ним прозвище *русского Гомера*. Теперь, когда слава Михайлы Михайловича приходила в упадок, Анна Степановна старалась поддержать жизнь в его салоне. Разумеется, она представила внучатого своего племянника *патриарху московских певцов*. Херасков обласкал молодого стихотворца, сказав, что его стихи «гладко писаны», — это была его обычная похвала. Впрочем, Травников понравился ему в самом деле. Белокурый, как все Травниковы, легкий в движениях, несмотря на свою деревяшку, — тонкими чертами лица, прозрачностью кожи, свойственной ему тихостью Василий Григорьевич напомнил Хераскову юного Богдановича. Автор «Душеньки» теперь доживал век в деревенском уединении — кот и петух составляли все его общество. Некогда между ним и Херасковым вышла размолвка. Но с тех пор минуло лет

тридцать пять — дурные чувства забылись, а приятные воспоминания остались. Правда, под тихостью Травникова таились такие порывы и мысли, какие кроткому Богдановичу и не снились, но Херасков о том не знал.

У Хераскова Травников встречал осанистого Дмитриева и благородного, равно ко всем благосклонного Карамзина, окруженного поклонением молодых поэтов — Жуковского, Мерзлякова, Воейкова. Тут же являлись: учитель Травникова Измайлов, молодой историк Платон Петрович Бекетов и пожилой, но болтливый стихотворец Пушкин с оравой болтливых родственников: двумя сестрицами, братом и женой брата, злой и красивой. Дамская часть салона пополнялась невесткой Хераскова и ее дочерью Александрой Петровной Хвостовой, писавшей философские и мистические сочинения. Кроме литераторов, бывали университетские профессора, французские эмигранты, насадители хороших манер и хорошей кухни, и, наконец, просто знакомые — представители хлебосольной и брюзгливой московской знати. Среди этого общества Травников держался особняком. Его молчаливость приписывали смущению, а смущение — молодости, деревянной ноге и сиротству.

Херасков через год умер. Травников несколько раз появился в салоне Хвостовой, где ораторствовал Жозеф де Местр, но вскоре прекратил посещения. Не сойдясь со стариками, он, в общем, чуждался и молодых. Ему не нравились их взаимные восхваления, их напускная горячность; Жуковский, всеобщий любимец, казался ему неискренним ни в поэтической меланхолии, ни в слишком литературной шутливости; он не доверял учености Александра Тургенева, его раздражало тургеневское обжорство, так же как запанибратство и влюбчивость, о которой Тургенев сам трубил направо и налево; в Воейкове Травников угадал низость души; в мальчишеских фарсах над Василием Пушкиным он не находил ничего забавного: считал, что Пушкин не стоит даже насмешек.

В 1806 году он окончил пансион и поступил на службу по министерству юстиции. Анна Степановна Зотова умерла около того же времени. Несмотря на свою молодость, Василий Григорьевич повел жизнь замкнутую. Из прежних знакомых он поддерживал

отношения с одним Измайловым, который уговорил его напечатать несколько стихотворений в «Утренней Заре» и «Вестнике Европы», причем Травников наотрез отказался поставить под ними хотя бы инициалы. Круг литераторов ему не нравился, в гостиных и в бальных залах московских бар ему нечего было делать. Он был небогат, не пил, не играл в карты, не танцевал. Вскоре завел он одно знакомство, странным образом решившее его участь.

* * *

На Большой Дмитровке, насупротив Георгиевского монастыря, стоял деревянный одноэтажный дом со светелкой, принадлежавший лекарю Оттону Ивановичу Гилюсу — обрусевшему шведу. То был сутулый сумрачный человек с лысиной во всю голову. Лысину прикрывал он черной шелковой шапочкой, а на носу носил, разумеется, очки. Практика у него была небольшая — не потому, что он плохо лечил, а потому, что имел неприятнейшую привычку говорить больным правду. Вся Москва знала его историю с помещиком Козляиновым, у которого левая сторона была разбита параличом и которому Гилюс напрямик объявил, что ему остается недели две жизни; в ответ на это больной нашел в себе силу правой ногой дать лекарю такого тумака в живот, что тот отлетел на другой конец комнаты. С тех пор ему осталось лечить только мелких чиновников, мещан да дворовых, но и тех смущало убранство его кабинета, в котором стены были увешаны стеклянными ящиками с коллекцией бабочек и жуков, а в углу, где надо бы быть иконам, стоял скелет. Гилюс, впрочем, не слишком любил лечить — он посвящал свое время чтению и сам работал над большим сочинением, в котором намеревался доказать научно невозможность бытия Божия. В доме стоял острый запах медикаментов, книг, камфары, необходимой для сохранения бабочек, и ароматического уксуса, кипевшего в маленькой курильнице.

Неизвестно, как и с чего началось их знакомство. Во всяком случае, к 1808 году Травников сделался в доме своим человеком. Семейство Гилюса, впрочем, было невелико. Жена сбежала от него за несколько лет

до того, оставив двоих детей. Мальчику было теперь 17 лет — Гилюс отправил его учиться в Германию. Тринадцатилетняя девочка осталась при отце, который сам был ее учителем. Ее воспитание не было похоже на обычное воспитание тогдашних девиц. Елена знала французский и немецкий языки, имела хорошие познания в истории и географии, но главное внимание отца было обращено на математику, физику и химию. Девочка присутствовала при долгих беседах отца с Травниковым. Вскоре шутливая дружба возникла меж нею и молодым человеком. Травников забавлял ее эпиграммами, главной мишенью которых был он сам. Так, например, до нас сохранилась его надпись к скелету, стоявшему в кабинете Гилюса:

Я остова сего завидую судьбе:
Он сохранил все кости при себе.

Травников учил Елену итальянскому языку и началам российской пиитики, которую, впрочем, считал устарелою. Они вместе читали Данта и переводили сонеты Петрарки. На лето Гилюс снимал небольшую дачу в подмосковном селе Всехсвятском. Елена и Травников вместе гуляли — обычным местом прогулок было кладбище и примыкавший к кладбищу бор. Елена собирала растения для своего гербария, на первом листе которого Травников написал стихи:

Прозрачные цветы в гербарии Елены
Мертвы, как мумии, — как мумии, нетленны.

Их помертвелые, иссохшие красы
Люблю я созерцать в вечерние часы,

И мнится — надо мной дыханьем ароматным
Витают души их, и ужасом приятным

Душа исполнена. Но кто владеет ей?
Дельфийский светлый бог иль мрачный бог теней?

1809, генваря 15.

Внутреннюю историю своих отношений с Еленою Травников утаил навсегда. Пытаться установить, как и когда возникла любовь между ними и кому принадлежала любовная инициатива, — значило бы пуститься в необоснованные психологические догадки. Достоверно лишь то, что однажды (это было в начале 1810 года) Травников спросил:

— Будете ли моей женой?

— Да, буду, — отвечала Елена, — и никогда вам не изменю.

Последняя фраза несколько странно звучит в устах четырнадцатилетней девочки, но не следует забывать, что жизненный опыт и общее развитие у Елены были не таковы, как у ее сверстниц и современниц.

Елена и Травников не скрывали своих чувств от доктора Гилюса, у которого с дочерью раз навсегда были установлены отношения, не допускавшие тайн или умолчаний. В ответ на декларацию влюбленных доктор ответил кратко:

— Дело ваше. Через два года можете пожениться, коли не передумаете.

Елене было ровно столько же лет, сколько было матери Травникова, когда начался роман между нею и Григорием Ивановичем. В залог будущего обручения Травников и Елена обменялись кольцами из своих волос. Не знаю дальнейшей судьбы этих колец, но в 1919 году они еще были целы. Я видел их и держал в руках. Они почти одинакового соломенного цвета и одинаковой мягкости, разве что волосы Елены немного темнее.

Весной 1810 года Гилюсы, по обыкновению, переехали во Всехсвятское, а в июле месяце произошла катастрофа. Под Москвой и в самой Москве открылась эпидемия оспы. Елена заболела и на десятый день умерла. Травников видел в гробу ее лицо, обезображенное иссиня-черными струпьями и застывшим гноем. Ее похоронили на том же кладбище, где недавно гуляла она с женихом. Так кончился этот роман, в котором с самого начала слишком многое напоминало о смерти и в котором вообще многое было слишком необыкновенно. Такие истории никогда не служат вступлением к семейному благополучию.

III

Вряд ли Травников переписывался со своим пьяным отцом. Однако, потрясенный смертью Елены и не имея близких, он, видимо, написал отцу. Сохранился

ответ Григория Ивановича — обширнейшее послание, написанное прыгающей рукой, по орфографии, фантастической даже для человека XVIII столетия. По существу это не письмо, а воспоминание о покойной Марии Васильевне Травниковой. В истории своего сына Григорий Иванович верно расслышал отголоски собственной драмы. Несмотря на сумбурность изложения и на то, что писавший порой пропускал то подлежащее, то сказуемое, поразительны в этом письме полнота, точность и своеобразная сила в изображении давних событий. Письмо насыщено неистовою любовью к женщине, которую Травников свел в могилу. Замечательно, что Григорий Иванович не только не умолчал о чувственной стороне своего увлечения четырнадцатилетнею Машей Зотовой, но писал о том почти бесстыдно, с отчаянием и сладостью: «Сии поцелуи, напечатленные младенческими устами твоей матери, — о, помню их! ибо ничто нас не воспламеняет, как воображение о невинности, страстьми тревожимой! В брачные ночи не содержали они уже толикого пламени».

Обычных утешений в этом письме не было. Сочувствие сыновнему горю выразилось у Григория Ивановича в бурном наплыве собственных воспоминаний. Только в конце письма имеется краткое предложение приехать в Ильинское.

Василий Григорьевич решил ехать не на побывку, а навсегда. Два месяца, пока тянулись хлопоты об отставке, он редко выходил из дому и никого не принимал, кроме Измайлова, который посетил его несколько раз, встречая все более молчаливый прием. Травников почти не раскрывал рта, и Измайлов заметил, что его молчание было «подобно железу, раскаленному на морозе». Наконец в октябре он уехал.

Встреча с отцом была лишена всякой чувствительности. Для Василия Григорьевича были открыты комнаты, в которых некогда жил он с матерью. Таким образом, отец и сын разместились на разных концах дома. Нужно думать, они встречались не часто, но этой внешнею разобщенностью лишь подчеркивалось их главное и глубокое сходство: оба несли свой крест с сосредоточенным ожесточением. Разница была только в том, что Григорий Иванович пьянствовал, а Василий Григорьевич жил, страдал и ожесточался в совершенной трезвости. Вина он никогда не пил, а теперь

забросил и трубку, к которой одно время в Москве пристрастился. Бабы и девки из отцовского гарема, теперь уже, впрочем, полуупраздненного, с ним заигрывали, вероятно, в ожидании выгод, а может быть, из развратного соревнования. Однажды он не выдержал, поддался искушению, но затем изобразил происшедшее в стихах, исполненных неистового омерзения и такого же натурализма (невозможно из них привести хотя бы небольшой отрывок).

По отношению к крепостным держался он так, словно их и не было, не снисходя до деятельной жестокости, но и не вступаясь, когда их тиранил Григорий Иванович. В одном стихотворении, озаглавленном «Эклога» (вероятно, иронически), он говорит по этому поводу:

На сей земле, где учрежден один
Закон неутолимого* страданья, —
Да страждет раб, коль страждет господин!

С каждым годом жизнь в Ильинском становилась мрачнее. Она стала ужасной с 1814 года, когда у Григория Ивановича начались приступы буйного помешательства. После того как он дважды пытался поджечь крестьянские дома, его пришлось перевести из барского дома во флигель, стоявший на берегу озера и когда-то служивший банею. Флигель заперли на замок, а единственное окно забрали железной решеткой. Флигель тотчас же превратился в хлев. Стекла в окне Григорий Иванович выбивал и летом, и зимою. Иногда целыми сутками он стоял у окна, тряс решетку и выл. Голос его доносился до самого дома. В такие дни и ночи Василий Григорьевич прекращал обычные занятия, сидел неподвижно в глубине комнаты и терпеливо ждал, когда вой кончится.

Все эти годы он писал много, но замечательно, что прямое упоминание об Елене имеется лишь в одном неоконченном стихотворении, в котором речь идет о первой части «Божественной комедии»:

Разлуки нашей минул год четвертый.
Без слез упав на камень гробовой,
Клянусь тебе словами книги той:
Amor condusse noi ad una morte [1].

---

* Рукопись не совсем разборчива. Может быть, следует читать «неумолимого».

[1] Любовь соединит нас в смерти *(ит.)*.

В 1817 году Григорий Иванович умер, шестидесяти лет от роду. Василий Григорьевич остался в полном одиночестве, которое, кажется, было для него тем упоительнее, чем горше. До сих пор он изредка переписывался с Измайловым, поручая ему покупку книг. В обмен на эту любезность посылал он Измайлову свои стихи, но ни в коем случае не дозволял их печатать, несмотря на постоянные просьбы Измайлова, который в эту эпоху был издателем «Вестника Европы» (между прочим, в июльской книжке 1814 года он впервые напечатал стихи юного лицеиста Александра Пушкина). После смерти отца Травников, видимо, захотел порвать последнюю связь с внешним миром. Он внезапно прекратил переписку с Измайловым, и это обстоятельство стало причиной трагикомического события, едва ли не беспримерного в истории литературы.

Не получая ответа на свои письма и откуда-то прослышав о смерти валдайского помещика Травникова, Измайлов вообразил, что умер не Григорий Иванович, а сам Василий Григорьевич. Не долго думая, собрал он его стихи и предложил их издать Платону Бекетову, который в ту пору занимался издательской деятельностью (в частности, только что выпустил четырехтомное собрание сочинений Богдановича). В 1818 году «Стихотворения Василия Травникова» были отпечатаны в Университетской типографии. На заглавном листе красовалась, как было принято в этих случаях, виньетка, изображавшая пухлого гения с урною и потухшим факелом. Стихам было предпослано краткое, но чувствительное жизнеописание автора, «составленное его другом В.В.И.», то есть Измайловым.

В сущности, такому человеку, каков был Травников, вся эта история должна была показаться комической, а в некотором смысле даже приятной. Однако душа человеческая извилиста. Должно быть, где-то в глубине Травникова сидела досада на человечество. Словом, прочитав в «Московских Ведомостях» объявление о том, что такая-то книга выходит в свет и «будет продаваться в будущую середу», он пришел в крайнее раздражение и тотчас послал Платону Бекетову следующее письмо, воспроизводимое здесь по копии, которую Травников для себя сохранил:

«Милостивый Государь,
Платон Петрович!

Вы будете удивлены сим письмом, ибо не часто случается получать послания из полей Элизейских. Однако ж мое удивление было не менее Вашего, когда я осведомился о выходе стихотворений *покойного* Василия Травникова. Имею честь почтовою прозою уведомить Вас о том же, что некогда Карл Орлеанский возвестил своим недругам и друзьям стихами:

Si fais à toutes gens savoir
Qu'encore est vive la souris[1].

Человек, пожелавший оставить общество гг. сочинителей, не должен еще почитаться мертвым. Посему, сколько ни льстит мне издание Ваше, я нахожусь вынужден просить о незамедлительном уничтожении сей книги, сколько бы ни было ее отпечатано и где бы она ни находилась.

Честь имею быть,
Милостивый Государь!
Ваш покорный слуга

Василий Травников».

В высшей степени характерно для Травникова, что он не полюбопытствовал взглянуть на книгу и не попросил доставить ему экземпляр. Такой экземпляр, однако, нашелся впоследствии в его библиотеке. Очевидно, Измайлов и Бекетов, которых смущение нетрудно себе представить, нашли нужным послать ему книгу. Несомненно, они при этом ему писали, но Травников уничтожал почти всю получаемую корреспонденцию.

* * *

Летом 1906 года я жил в имении, недалеко от станции Бологое. В одну из поездок по Валдайскому уезду очутился я на довольно высоком, обрывистом холме, под которым лежало озеро. Над обрывом стояла маленькая деревянная часовня, стены которой были покрыты облупившейся синей краской. Она оказалась заколочена. Невдалеке от нее я набрел на несколь-

---

[1] Всем людям надо знать, что мышь еще жива *(фр.)*.

ко покосившихся, вросших в землю могильных памятников. На одной плите мне удалось прочесть стихотворную эпитафию, которая меня изумила:

Василий Травников лежит под камнем сим.
Прохожий! лживых слез не проливай над ним.

Обычные даты рождения и смерти отсутствовали. От бологовских жителей я ничего не узнал, кроме того, что на месте часовни стояла некогда церковь, лет двадцать тому назад сгоревшая вместе с усадьбой. Фамилию Травникова мои собеседники слышали в первый раз, так же как и я сам.

Тринадцать лет спустя, в 1919 году, я принимал участие в московской Книжной лавке писателей. Однажды разговорился я с одним покупателем, который отрекомендовался инженером путей сообщения Александром Николаевичем Травниковым. Разумеется, мне тотчас вспомнилась валдайская эпитафия, и тут, к моему удивлению, оказалось: во-первых — что Травников был поэт, а во-вторых — что мой собеседник приходится родным праправнуком его дяде Андрею Ивановичу.

Наше знакомство вскоре привело к тому, что в мое распоряжение была предоставлена часть семейного архива Травниковых. В нем нашлись драгоценные материалы, из которых на первое место надо поставить экземпляр вышеупомянутого издания Бекетова, книжный уникум, которого нет ни в одном книгохранилище и который не обозначен в каталогах редчайших русских изданий. Далее, оказалось, что анонимным историком литературы была составлена брошюра, содержащая критико-биографический очерк, а также ряд стихотворений Травникова, отчасти вошедших в бекетовское издание, отчасти неизданных. Брошюра издана в Пензе, без обозначения года, должно быть — на средства семейства Травниковых. Из нее видно, что в руках биографа был тот же архив, который позднее был предоставлен мне и в котором я нашел обширное собрание рукописей самого поэта, несколько его писем к Измайлову, а также переписку его родственников и восемь толстых тетрадей, содержащих дневники его матери. Наконец, собрание завершалось несколькими книгами из библиотеки Травникова. Просматривая все это, я тотчас убедился, что биографии, составленные

Измайловым и анонимным автором в Пензе, страдают крайней неполнотой, неточностью и стремлением «облагообразить» жизненную историю всей травниковской семьи. Всерьез считаться с этими работами нельзя. Между прочим, какая-то ирония судьбы преследовала Травникова в том отношении, что сперва Измайлов объявил его умершим, когда он еще был жив, а затем второй, пензенский, биограф поэта, на основании семейного предания, отнес время его кончины к 1819 году. Между прочим, семейное предание, как часто бывает, оказалось ошибочно. Среди книг Травникова я нашел первое издание «Руслана и Людмилы». На обороте его титульного листа имеется карандашная надпись, сделанная рукою Травникова: «Молодой автор тратит свои дарования на ниское зубоскальство. Следствие воспитания, коему начало положено сочинениями вроде Опасного Соседа». Эта надпись, при всей несправедливости и односторонности, весьма любопытная и крайне характерная для Травникова, к тому же доказывает, что в момент выхода пушкинской поэмы, то есть в конце июля — в начале августа 1820 года, Травников был еще жив. Таким образом, он скончался не ранее осени 1820 года. О последних годах его жизни ничего не известно, кроме того, что они протекали в мрачном уединении Ильинского.

* * *

Мои занятия архивом Травникова были внезапно прерваны поспешным отъездом владельца в одну из белых армий. В моем распоряжении остались лишь выписки, сделанные в 1919 году. На основании этих выписок написан и настоящий очерк. Не имея под рукой собрания стихотворений Травникова, я лишен возможности подробнее ознакомить читателей с его поэзией. Поэтому ограничусь несколькими замечаниями.

То, что Травников умер всего 35 лет, причем никаких сведений о его болезни не сохранилось, и то, что он, видимо, сам распорядился касательно вышеприведенной надписи на своей бескрестной могиле, одно время заставляло меня думать, не покончил ли он с собой.

Позже я пришел к выводу, что самоубийства не могло быть. Несомненно, жизнь его тяготила; она ему представлялась изнурительной, исполненной тайной злости. Всего яснее это ощущение им выражено в стихотворении «Ильинское». Здесь в первой строфе дано изображение душной июльской ночи (быть может, накануне Ильина дня), после чего следуют еще две строфы:

Кто их знает, у забора
Злого духа или вора
Окликали петухи?
Но взошли лучи багряны,
И на росные поляны
Скот выводят пастухи.

Под напевами свирели,
Затихая, присмирели
Холмы, рощи и поля, —
Но обманчивая тихость
Затаила злость и лихость
Изнурительного дня.

Несомненно, он ждал и хотел смерти. В его черновиках я нашел наброски стихотворения, кончавшегося такими словами:

О сердце, колос пыльный!
К земле, костьми обильной,
Ты клонишься, дремля.

Но приблизить конец искусственно было бы все же противно всей его жизненной и поэтической философии, основанной на том, что, не закрывая глаз на обиды, чинимые свыше, человек из единой гордости должен вынести все до конца.

Я в том себе ищу и гордости, и чести,
Что утешение отверг с надеждой вместе, —

говорит он. Отвергая надежду и утешение в жизни, в поэзии он стремился к отказу от всяческой украшенности. Конечно, с формальной стороны его творчество еще связано с XVIII веком. Но не Карамзин, не Жуковский, не Батюшков, а именно Травников начал сознательную борьбу с условностями книжного жеманства, которое было одним из наследий XVIII столетия. Впоследствии более других приближаются к Травникову Боратынский и те русские поэты, которых творчество связано с Боратынским. Быть может, те, кого принято считать учениками Боратынского, в действительности учились у Травникова?

«АТЛАНТИДА»

Обычно первым приходит Урениус, — когда в подвале полутемно и лишь одной лампочкой освещены тугие кожаные диваны, столы, протертые воском, и чистый кафельный пол. В два часа ночи, когда нас попросят о выходе (а мы будем спорить и возмущаться, крича, что часы нарочно поставлены на десять минут вперед), он будет усеян окурками, на столах, покрытых засаленными ковриками, будут рассыпаны карты, и стулья застынут в разнообразных и выразительных, порой причудливых сочетаниях, поодиночке и группами, как действующие лица в последней сцене «Ревизора».

Урениус снимает пальто, достает из обшмыганного кармана газету и садится под лампочку. Минут через двадцать приходит Архангельский с чемоданом и зонтиком. В чемодане — чулки, мундштуки, стеклянные бусы, мозаичные брошки, кольца с поддельными крупными рубинами и сапфирами, — все это между делом будут разглядывать и примерять наши дамы, а он будет рассказывать, что точно такие же кольца или бусы купила вчера одна богатая англичанка.

Поставив чемодан в угол, он бережно развешивает пальто, шляпу, клетчатый шарф, подходит к Урениусу, трогает за плечо и кричит в ухо:

— Боюсь опять зонт забыть. Я намедни его тут забыл!

Урениус поднимает свою лохматую голову, улыбается мягким широким ртом и говорит:

— Да, да, с удовольствием сделаем. Вот как только придут.

По лестнице медленно спускается на распухших ногах мадам Цвик.

— Ах, опять эта паршивая темнота! — говорит она. — Господин Архангельский, скажите Андрэ, чтобы сейчас дал нам свет.

— Да погодите, ведь еще нет никого.

— Но я не хочу сидеть в темноте. Благодару вас. Успею еще на нее насмотреться в могиле.

Тут появляются еще два человека. Опытный кинематографщик не стал бы до времени показывать их

лица. Он показал бы лестницу и на ней, за литыми столбиками перил, две пары ног, приближенных к самому носу зрителя. Одна пара — в галошах, над которыми трепыхают обтрепанные края старых забрызганных уличной грязью брюк. Другая — в ботинках, не то чтобы вовсе шикарных, но добротных, на толстой, крепкой подошве и хорошо начищенных. Спускаясь, первые ноги обнаруживают старческое дрожанье над вытянутыми, лоснящимися на коленях брюками. Видно по всему, что принадлежат они человеку бедному и если не робкому от рождения, то как бы некогда оробевшему уже раз навсегда. Вторые ноги ступают тоже не молодо, но крепко, и даже грузно; на них темно-коричневые, из хорошей материи брюки с приличной складкой.

Освещение падает на лестницу только сбоку, из верхней залы, и, спускаясь, новоприбывшие постепенно погружаются в полумрак. Вот уже их смутные очертания здороваются с мадам Цвик, с Архангельским. Все четверо удаляются в глубину подвала. Оттуда доносятся их смутные голоса. Там составят они ежевечернюю партию. Урениус все читает газету под лампой.

Меж тем приходят Яша Литинский и Чернолесов, золотая молодежь наша, чистые парижане, — Яша уже два года как стал французом. Он картавит, он говорит с пренебрежительной миной, — в сущности, он заехал сюда просто так, посмотреть, что делается; может быть, он даже не останется, а уйдет в синематограф или к одной девочке — еще неизвестно. Чернолесов — вроде спортсмена: зимой и летом без шляпы, высокий рост, загар, шея голая, усы ниточкой. Лучше с ним не играть, но мадам Симплонская, которую бросил муж, считает, что, несмотря на полноту, она — нормальная здоровая женщина, у которой есть свои, женские надобности. Поэтому она играет с Чернолесовым каждый вечер.

Ради таких гостей, как Яша и Чернолесов, уже стоит дать свет. Хозяин, не отходя от кассы, протягивает руку к мраморному распределителю — и подвал озаряется. Теперь видны цветные картинки, развешанные на его темно-красных, с золотыми нашлепками, обоях. Картинки изображают скачки. Лошади с раздутыми ноздрями мчатся в неистовом посыле, вытянув

шеи и не касаясь земли; их нахлестывают сгорбленные жокеи в разноцветных вздутых камзолах; вдали мутнеют трибуны с неясной россыпью зрителей. На других картинках лошади скачут и падают в расплывчатой глубине, а на первом плане — зеленый газон, голубые и розовые платья, военные мундиры прошлого столетия; узкие рединготы, серые цилиндры и кружевные зонтики. Всех картинок пять. Шестую в позапрошлом году расшиб пьяный негр. Чтобы закрыть дырку в обоях, хозяин повесил снимок с картины Брейгеля, купленный за франк вместе со стеклом; человеческие головы, лишенные туловища, похожие на уродливые картофелины, стремятся пожрать друг друга; самая тощая носатая морда воткнула единственный зуб в самую толстую, как тупой нож в подушку.

Одна за другой составляются партии: столов шесть или семь, а под праздники и того больше. Андрэ мечется от стола к столу, раздавая колоды карт, гремя блюдцами и стаканами, принимая заказы. Игра начинается. В воздухе повисают первые полосы табачного дыма, с разных сторон доносятся привычные возгласы.

Переселившись в Европу и сменив задумчивый винт и степенный преферанс на более нервный бридж, мы уже не говорим, как отцы и деды говаривали: «пикенция», «бардадым», «а я вашу дамочку по усам» и тому подобное, а говорим — «трефандопуло», «пик-пик-пик», «слышен звон бубенцов». Порой откуда-нибудь доносится грозное: «контр!» — и ядовитое, с присвистом: «спор-контр», а потом еще более злорадное: «а вот я тебя отучу контрировать».

В общем, играем мы нервно — эпоха, так сказать, чеховская, с мягким шелестом карт и поэзией зимней ночи, отошла в прошлое. В подвале у нас стоит гам. Иной раз хозяин, свесившись через перила, водворяет тишину грозным хлопаньем в ладоши. Тогда мы опасливо притихаем, а мадам Симплонская заглядывает в глаза Чернолесову, жмет круглой коленкой его колено, либо, налив кофе на блюдечко, угощает вертлявую свою собачонку, у которой во рту глисты.



ДЕРЖАВИН

После колоссальной исследовательской работы, совершенной Я.К.Гротом, в течение пятидесяти лет новых известий о жизни Державина почти не являлось. Точно так же и автор предлагаемого сочинения не ставил себе неисполнимой задачи сообщить какие-либо новые, неопубликованные данные. Нашей целью было лишь по-новому рассказать о Державине и попытаться приблизить к сознанию современного читателя образ великого русского поэта — образ отчасти забытый, отчасти затемненный широко распространенными, но неверными представлениями.

Биограф — не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать. Изображая жизнь Державина и его творчество (поскольку оно связано с жизнью), мы во всем, что касается событий и обстановки, остаемся в точности верны сведениям, почерпнутым и у Грота, и из многих иных источников. Мы, однако, не делаем сносок, так как иначе пришлось бы их делать едва ли не к каждой строке. Что касается дословных цитат, то мы приводим их только из воспоминаний самого Державина, из его переписки и из показаний его современников. Такие цитаты заключены в кавычки. Диалог, порою вводимый в повествование, всегда воспроизводит слова, произнесенные в действительности, и в том самом виде, как они были записаны Державиным или его современниками.

I

В XV веке, при великом князе Василии Васильевиче Темном, татарин мурза Багрим приехал из Большой Орды на Москву служить. Великий князь крестил его в православную веру, а впоследствии за честную службу пожаловал землями. От Багрима, по записи Бархатной книги российского дворянства, произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы (или Теглевы). Один из Нарбековых получил прозвище *Держава.* Начал он свою службу в Казани. От него произошел род Державиных. Были у них недурные поместья, от Казани верстах в 35—40, меж Волгой и Камою, на берегах речки Мёши.

Земли, однако же, дробились между наследниками, распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков, на которых крестьяне числились не сотнями, не десятками, а единицами.

Еще в 1722 году, при Петре Великом, Роман Николаевич вступил в армию и служил попеременно в разных гарнизонных полках. Подобно достаткам и чины его были невелики, хотя от начальства он пользовался доверием, от сослуживцев — любовью. Но был человек неискательный, скромный, отчасти, может быть, неудачник. Тридцати шести лет он женился на дальней своей родственнице, бездетной вдове Фекле Андреевне Гориной, урожденной Козловой. Брак не прибавил ему достатка: Фекла Андреевна была почти так же бедна, как он сам, и ее деревеньки в таких же лежали клочьях. Впрочем, и из-за этих убогих поместий Державиным приходилось вести непрестанные тяжбы с соседями. Времена же были бессудные. Дело иной раз доходило до драки. Так, некий помещик Чемадуров однажды зазвал Романа Николаевича в гости, напоил крепким медом, а потом, не пощадив чина-звания, избил с помощью своих родственников и слуг. Роман Николаевич несколько месяцев прохворал, а после того Державины с Чемадуровыми враждовали из рода в род без малого полтора-

ста лет: только в восьмидесятых годах минувшего века их распри кончились.

Женившись, Роман Николаевич жил то в самой Казани, то поблизости от нее, в одной из деревень своих, — неизвестно, в которой именно. Там и родился у него, в обрез через девять месяцев после свадьбы, первенец. Это событие произошло 3 июля 1743 года, в воскресенье. По празднуемому 13-го числа того месяца собору Архангела *Гавриила* младенец и наречен.

От рождения был он весьма слаб, мал и сух. Лечение применялось суровое: по тогдашнему обычаю тех мест, запекали ребенка в хлеб. Он не умер. Было ему около года, когда явилась на небо большая комета с хвостом о шести лучах. В народе о ней шли зловещие слухи, ждали великих бедствий. Когда младенцу на нее указали, он вымолвил первое свое слово:

— Бог!

* * *

Вскоре Державина-отца перевели по службе в город Яранск, Вятской губернии, потом в Ставрополь, что на Волге, в ста верстах от Самары. Городишки были убогие: кучи деревянных домишек. Жизнь — тоже убогая, захолустная, гарнизонная. К тому же — достатки малые, а семья росла. Через год после первого родился второй сын, а потом и дочь, которая, впрочем, прожила недолго.

Державины были люди не больших познаний. Фекла Андреевна и вовсе была полуграмотна: кажется, только умела подписывать свое имя. Ни о каких науках либо искусствах в доме и речи не было. По трудности этого дела, детей, может быть, не учили бы ничему, если бы не дворянское звание.

В видах предстоящей службы некоторые познания в науках были тогда для дворянских детей обязательны. Объем этих познаний был весьма невелик, но приобрести их было чрезвычайно трудно. На всю Россию было два-три учебных заведения, в Москве да в Петербурге. Помещать туда детей удавалось немногим — по дальности расстояния, по недостатку вакансий и проч. Поэтому дворянским недорослям давались отсрочки для обучения наукам на дому. Обучение,

однако же, проверялось правительством, для чего надо было в положенные сроки представлять детей губернским властям на экзамены, или, по-тогдашнему, на «смотры». Первый такой смотр полагался в семь лет, второй в двенадцать, третий в шестнадцать. В двадцать лет надобно было начинать службу.

Столичные жители, при известном достатке, могли отдавать детей в пансионы (впрочем — плохие и немногочисленные) либо нанимать учителей. Для провинциалов, к тому же бедных, каковы были Державины, все это было недоступно. Поэтому вопрос об образовании мальчиков очень рано и очень надолго сделался для них своего рода терзанием. Уже по четвертому году Ганюшку стали приучать к грамоте. Это было еще не столь затруднительно: нашлись какие-то «церковники», то есть дьячки да пономари, которые были его первыми учителями. От них научился он читать и писать. Конечно, мать прибегала и к поощрениям: игрушками да конфетами старалась его приохотить к чтению книг духовных: то были — псалтырь, жития святых. Впрочем, для первого смотра этого было достаточно, и Державин благополучно отбыл его.

Дальше стало труднее. Познания «церковников» были уже исчерпаны, а мальчик рос. Ему минуло уже восемь лет, когда судьба занесла семью в Оренбург. Город в те поры перестраивался: его переносили на новое место. На работы были в большом количестве пригнаны каторжники. Один из них, немец Иосиф Розе, устроился, однако же, особым образом: он открыл в Оренбурге училище для дворянских детей обоего полу. В этом не было ничего удивительного: и в те времена, и много еще спустя иностранцы-учителя чаще всего вербовались из разного сброда. Благороднейшие оренбургские семьи стали охотно отдавать ребят на выучку к Иосифу Розе. Другой школы не было. Попал туда и Державин.

В своем заведении Розе был и директором, и единственным преподавателем. Нравом и обычаем был он каторжник, а познаниями невежда. Детей подвергал мучительным и даже каким-то «неблагопристойным» карам. Обучал же всего одному предмету — немецкому языку, грамматики которого сам не знал. Учебников не было. Дети списывали и заучивали наизусть

разговоры да вокабулы, написанные самим Розе, впрочем — с великим каллиграфическим искусством, которого он требовал и от учеников. Как бы то ни было, Державин все-таки у него научился говорить, читать и писать по-немецки. То было важное приобретение: немецкий язык тогда был началом и признаком всякой образованности. Французский вытеснил его лишь впоследствии.

Мальчик был даровит и смышлен от природы. Но и сама жизнь очень рано заставила его быть любознательным: хочешь не хочешь — *надо* было приобретать познания, собирать их крохами, где только случится. Каллиграфические упражнения натолкнули его на рисование пером. Ни учителей, ни образчиков не было. Он стал срисовывать богатырей с лубочных картинок, действуя чернилами и охрой. Этому занятию предавался «денно и нощно», между уроков и дома. Стены его комнаты были увешаны и оклеены богатырями. Тогда же случайно приобрел он и некоторые познания в черчении и в геометрии — от геодезиста, состоявшего при его отце: тот по службе был занят какими-то межеваниями.

Прожив года два в Оренбурге, снова перебрались на казанские свои земли. Осенью 1753 года Роман Николаевич решился предпринять далекое путешествие, в Москву, а потом в Петербург. Было у него на то две причины. Первая: от полученного когда-то конского удара страдал он чахоткою и намеревался выйти в отставку; это дело надобно было уладить в Москве. Вторая причина заключалась в том, что хотел он устроить будущую судьбу сына, заранее, по тогдашним законам, записав его в Сухопутный кадетский корпус или в артиллерию. Это уже требовало поездки в Петербург, и Роман Николаевич взял мальчика с собою. Но в Москве хлопоты об отставке затянулись, Роман Николаевич поиздержался, и на поездку в Петербург у него уже не осталось денег. Так и пришлось ему возвращаться в родные места, не устроив сына. В начале 1754 года вышел указ об отставке Романа Николаевича, а в ноябре того же года он умер.

Вдову и детей он оставил в самом плачевном состоянии. Даже пятнадцати рублей долгу, за ним оставшегося, уплатить было нечем. Имения по-прежнему не давали дохода; самоуправцы-соседи то просто

захватывали куски земли, то, понастроив мельниц, затопляли державинские луга. Теперь вся судебная волокита легла на плечи вдовы. У нее не было ни денег, ни покровителей. В казанских приказах сильная рука противников перемогала. С малыми сыновьями ходила Фекла Андреевна по судьям; держа сирот за руки, простаивала у дверей и в передних часами, — ее прогоняли, не выслушав. Она возвращалась домой лить слезы. Мальчик видел все это, и «таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце».

* * *

Меж тем приближалось время второго смотра. Как ни трудно было, Фекла Андреевна взяла двух учителей: сперва гарнизонного школьника Лебедева, а потом артиллерии штык-юнкера Полетаева. И тот и другой сами были в науках не очень сведущи. В арифметике ограничивались первыми действиями, а в геометрии черчением фигур. Впрочем, для смотра этого было достаточно, и в 1757 году Фекла Андреевна повезла обоих сыновей в Петербург, намереваясь представить их там на смотр, а затем отдать в одно из учебных заведений.

В Москве остановились, чтобы оформить в герольдии дела с бумагами мальчиков. Но у Феклы Андреевны не оказалось нужных документов о дворянстве и службе покойного ее мужа. Пока тянулась волокита, подошла распутица, да и деньги иссякли. О Петербурге опять нечего было думать... Хорошо еще, что нашелся в Москве добрый родственник. С его помощью получили для недоросля Гавриила Державина новый отпуск, до шестнадцати лет, и вернулись в Казань, положив ехать в Петербург через год.

Но не судьба была Державину учиться в Петербурге. В следующем году открылась в Казани гимназия — как бы колония или выселки молодого Московского университета. Державин поступил в гимназию.

Обучали в ней многим предметам: языкам латинскому, французскому и немецкому, а также арифметике, геометрии (без алгебры), музыке, танцам

и фехтованию. Но учителя были не лучше гарнизонного школьника Лебедева и штык-юнкера Полетаева. Учебников не было по-прежнему. Учили «вере — без катехизиса, языкам — без грамматики, числам и измерению — без доказательств, музыке — без нот, и тому подобное». Учителя ссорились и писали в Москву доносы друг на друга и на директора Веревкина. Веревкин же был воспитанник Московского университета, человек молодой, не слишком ученый, зато деятельный и умевший пустить пыль в глаза начальству. Недостатки преподавания старался он возместить торжественными актами, на которых ученики разыгрывали трагедии Сумарокова и комедии Мольера. Также произносили затверженные наизусть речи на четырех языках, сочиненные учителями. Служились молебны, палили из пушек. В аллегорических соображениях картонные фигуры Ломоносова и Сумарокова (оба тогда еще были живы) взбирались на скалистый Парнас, дабы там, по указанию картонного Юпитера, воспевать императрицу Елизавету Петровну... Иногда лучших учеников, в том числе Державина, отправляли в странные командировки: то производить раскопки в Болгарах, древнем татарском городе, то перепланировывать город Чебоксары. Обо всем этом Веревкин писал велеречивые донесения в Москву, главному куратору Ивану Ивановичу Шувалову. В 1760 году Державину объявили, что за успехи по геометрии зачислен он в инженерный корпус. Он облекся в мундир инженерного корпуса и с тех пор при гимназических торжествах состоял по артиллерийской части.

Через три года по поступлении в гимназию неожиданно пришлось ее бросить, не приобретя особых познаний. Шувалов в Петербурге чего-то напутал с бумагами казанских гимназистов, и вместо инженерного корпуса Державин оказался записанным в лейб-гвардии Преображенский полк солдатом, с отпуском всего лишь по 1 января 1762 года. Когда из Преображенского полка пришел в казанскую гимназию «паспорт» Державина, тот срок уже миновал. Выхода не было: Державин из гимназиста очутился солдатом. Надо было немедленно отправляться в Петербург. Мать собрала денег на дорогу и еще сто рублей на предстоящую жизнь. Был февраль месяц 1762 года. До Петербурга Державин добрался только в марте.

II

— О, брат, просрочил! — с хохотом закричал дежурный по полку майор Текутьев, взглянув на паспорт.

И громовым голосом приказал отвести Державина на полковой двор.

Для начала грозил арест за просрочку и опоздание. Но в канцелярии Державин не растерялся и заставил пересмотреть все дело. Он вправе был требовать отчисления в инженерный корпус и отпуска до двадцати лет. Но для того нужны были деньги и покровители. Пришлось удовольствоваться тем, что, не подвергнув наказанию, его зачислили рядовым в третью роту. По бедности он не мог снять квартиру, как пристало бы дворянину. Пришлось поселиться в казарме.

Его облачили в форму Преображенского полка. То был кургузый темно-зеленый, с золотыми петлицами, мундир голштинского образца: из-под мундира виднелся желтый камзол; штаны тоже желтые; на голове — пудреный парик с толстой косой, загнутой кверху; над ушами торчали букли, склеенные густой сальной помадой.

Времена для военных были суровые. Император Петр III царствовал всего третий месяц, самодурствуя, круто преобразуя армию на голштинско-прусский манер и готовясь к бессмысленному походу в Данию.

Унтер-офицер (по-тогдашнему флигельман) с первого дня стал обучать Державина ружейным приемам и фрунтовой службе. Мысли Державина были направлены в иную сторону, солдатчина ему представлялась бедствием и обидою. Но по неизменному усердию своему и по упорству, с каким давно привык браться за все дела, он и в этой учебе захотел догнать ротных товарищей, начавших службу раньше него. Из ста рублей, данных матерью, вздумал он платить флигельману за добавочные уроки, и вскоре так преуспел в экзерцициях, что стали его в числе прочих отряжать на смотры, до которых Петр III был великий охотник.

Служба была нешуточная и отнимала весь день. Кроме строевых учений и смотров, приходилось нести караулы, то на полковом дворе, то при дворцовых погребах (во внутренние дворцовые караулы Державину поначалу попадать не случалось); солдат то и дело отряжали на работу вроде уборки снега, очистки кана-

лов, доставки провианта из магазинов; наконец, офицеры гоняли их по своим поручениям. Отпусков не было.

С работ и учений он возвращался вечером. Казарма, в которой стоял он, была невелика; дощатые перегородки делили ее на несколько каморок. Кроме Державина, жило здесь еще пятеро солдат: двое холостых и трое женатых; при женатых были солдатки и дети; у одной из солдаток Державин и столовался.

Еще в Казани он пристрастился к рисованию пером и к игре на скрипке, которой в гимназии обучал преподаватель по фамилии Орфеев. В казарме и то и другое пришлось забросить: рисование — по причине темноты, а скрипку — чтобы не докучать сожителям. Зато по ночам, когда все улягутся, он читал книги, какие случалось достать, русские и немецкие.

Его литературные познания до сих пор были скудны. В гимназическую пору прочел он перевод Фенелонова «Телемака» (неизвестно чей, прозаический; знаменитая «Тилемахида» Тредьяковского вышла позже); затем — политический роман Джона Барклая «Аргенида» и «Приключения маркиза Глаголя», то есть «Mémoires du marquis*** ou Aventures d'un homme de qualité qui s'est rétiré du monde» — роман аббата Прево. Из отечественных авторов знал оды Ломоносова да сумароковские трагедии.

Тогда же, еще в Казани, он стал сочинять и сам. Теперь, в ночной тишине казармы, порой продолжал свои упражнения: без правил, по слуху писал стихи, подражая сперва все тем же Ломоносову и Сумарокову, а потом — прочитанным в Петербурге немцам: Галлеру, Гагедорну. Выходило коряво и неуклюже; ни стих, ни слог не давались — а показать было некому, спросить совета и руководства — не у кого. Впрочем, он вскоре закаялся следовать высокому ладу славных пиитов. Для торжественных од и важных предметов он не располагал ни ученостью, ни знанием жизни. Олимпийцев он путал, царя видывал разве что на разводах. Он решил впредь не гнаться за Пиндаром и петь попросту, в таком роде:

Чего же мне желать? Пишу я и целую
Анюту дорогую.

Впрочем, никакой Анюты в действительности не было. Однако солдатки почему-то проведали, что он

грамотей, а за солдатками — вся компания. Державинской Музой, разумеется, не любопытствовали. Но стали просить его писать для них письма в деревню, и вскоре, умея потрафить крестьянскому вкусу, он сделался живым казарменным письмовником. Надо еще прибавить, что все из тех же неиссякаемых ста рублей материнских он порою ссужал товарищей по рублю, по два — и стал, таким образом, любимцем всей роты. Сама его Муза не чуждалась казармы: ради упражнения он прелагал стихами казарменные прибаски скоромного содержания, то насчет разных полков гвардейских, то по случаю любопытных событий полковой и трактирной жизни. Стишки имели успех.

Но держался он все-таки себе на уме. В разговоры мешался мало: был занят службою да своими думами. Между тем наступило лето.

* * *

Недаром явилась на небе 1744 года та шестихвостая комета, которую указали младенцу Державину. Сулила она не бедствия, как в народе думали, но все же события величайшей важности. В тот самый год, девятого февраля, прибыла в Москву принцесса София-Фредерика Ангальт-Цербстская. Императрица Елизавета Петровна вызвала ее в Россию и выдала замуж за своего племянника, великого князя Петра Федоровича. Принцесса стала великой княгиней Екатериной Алексеевной, женою наследника русского престола. 25 декабря 1761 года, за два месяца с небольшим до приезда Державина в Петербург, Елизавета Петровна скончалась, и Петр III стал императором. Будучи глуп и груб, он в первые же месяцы своего царствования сумел привить народу и войску то отвращение к своей особе, которое давно испытывала его супруга. Войска роптали на вводимую прусскую форму, на прусскую экзерцицию, на ежедневные вахтпарады. Но всего более раздражало то, что император привел в Россию полки из своей родной Голштинии, расквартировал их в своей резиденции Ораниенбауме и оказывал голштинцам явное предпочтение перед русской армией.

Державин, конечно, замечал этот ропот, но держался в стороне. Жгучая обида заглушила в нем мно-

гое. Его положение в гвардии было унизительно, и он не хотел разделять ее чувства. Мало того, что он был принужден служить рядовым, — его уже начали обходить чинами: некоторые молодые солдаты, начавшие службу позже него, были уже капралами, а он по-прежнему оставался рядовым. Причина была все та же: бедность. Наконец дошло до того, что он встретил некоего пастора Гельтергофа, которого знал по Казани, и с его помощью вознамерился перейти в голштинские войска. Это дело для него облегчалось знанием немецкого языка. В любезных императору голштинских войсках Гельтергоф обещал Державину офицерский чин.

Тем временем подошел июнь месяц. Очередной дворцовый переворот назрел. Устранение императора имело подавляющее большинство сторонников при дворе и в войсках. Во главе заговора стояла императрица Екатерина.

27 июня, утром, с Державиным приключилось несчастье. Покуда он был в строю, украли у него все деньги: те самые, заветные сто рублей (или что от них оставалось), которые он хранил в подголовке. Украл слуга молодого солдата Лыкова, тоже дворянина, стоявшего в одной казарме с Державиным. Вор с добычею скрылся, а Державин весь день ходил сам не свой.

Между тем кто-то из солдат, по пьяному делу, вышел на галерею и стал кричать, что как выведут полк из города (тут подразумевался ожидаемый поход в Данию) — «то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу матушку Государыню, которой мы рады служить».

Державин на эти речи не обратил внимания: пропажа денег сделала его ко всему безучастным. Он только и ждал, чтоб вернулись солдаты, которые, любя его, бросились по дорогам ловить вора. Наконец к вечеру вор был пойман, деньги нашлись при нем почти полностью, Державин утешился и только теперь начал замечать, что в полку творится неладное.

В полночь разнесся слух, что гренадерской роты капитан Пассек арестован и посажен под караул. Казармы всполошились. Солдаты, вооружась, выбежали на ротный плац. Однако, несколько пошумев, они разошлись, и все, казалось, утихло.

На самом деле события только теперь начались. Пассек был в числе заговорщиков. Императрица жила в Петергофе, Петр III — в Ораниенбауме. Арест Пассека заставил заговорщиков торопиться. В пять часов утра Алексей Орлов посадил Екатерину в одноколку и привез в Петербург, прямо в казармы Измайловского полка. Возмущение началось.

В восьмом часу утра в Преображенский полк прискакал верховой, который кричал, чтобы шли к государыне в каменный Зимний дворец. Рота выбежала на плац, Державин за нею. Из казарм Измайловского полка доносился барабанный бой. Поднялась тревога. Город уже всполошился.

Державин видел, как роты преображенцев, на бегу заряжая ружья, помчались к Зимнему дворцу. Офицеры бездействовали. Только на Литейной улице майор Воейков, верхом на коне, пытался остановить свою гренадерскую роту. Обнажив шпагу, он с бранью стал рубить гренадеров по шапкам. Рота вдруг зарычала и кинулась на него со штыками. Воейков поскакал прочь, гренадеры за ним. Они загнали его вместе с конем в Фонтанку, а сами кинулись дальше.

Постепенно весь полк стянулся к Зимнему дворцу. Потом преображенцев разместили внутри здания.

Дворцовые революции XVIII столетия давно втянули гвардию в политику. Солдаты уже привыкли штыками решать династические вопросы и в этом смысле знали себе цену. Должно быть, среди преображенцев один Державин не разделял общего одушевления. Новичок в жизни и несмышленыш в делах государственных, вряд ли он даже понимал смысл и необходимость переворота. Ему было ясно лишь то, что переворот наносит сокрушительный удар последней его надежде: если Петр III будет низложен — не станет голштинских войск, а Державин не будет в них офицером.

Он не кинулся с прочими, а не спеша пришел по следам полка во дворец, не спеша отыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное место. Вскоре прибыл Измайловский полк, и разнеслась весть, что императрица во дворце. Солдаты поочередно ей присягали, целуя крест. Полки прибывали один за другим, гвардейские и армейские. Их также приводили к присяге, а затем выстраивали: гвардейцев по берегу Мойки, ар-

мейцев вдоль по Морской и прочим улицам, до самой Коломны.

Так прошло время до самого вечера. Погода стояла ясная. Наконец появились всадники. Впереди, на белом коне Бриллианте, сидя верхом по-мужски, в сапогах со шпорами, в преображенском мундире, медленно ехала Екатерина. Опускаясь, вечернее летнее солнце, солнце Петербурга, светило ей прямо в лицо — ясное, благосклонное, с тонким носом, круглеющим подбородком и маленьким, нежным ртом. Распущенные волосы, лишь схваченные бантом у шеи, падали из-под треуголки до лошадиной спины. Ветер их шевелил. Маленькая ручка в белой перчатке поднимала вверх узкую серебристую шпагу. Полки кричали ура. Барабаны били. Такою впервые увидел ее Державин.

Она проехала. Скомандовали церемониальный марш, выстроились повзводно, и войска за ней двинулись.

Так маршировали до полуночи, когда, вместе с Екатериной, остановились на отдых у Красного Кабачка. Потом двинулись дальше. Было светло, белые ночи еще не кончились. Рано утром, опередив государыню, стали подходить к Петергофу. Голштинские войска, стянутые туда Петром III, но им покинутые, сдались без единого выстрела. В одиннадцать часов прибыла Екатерина, вновь встреченная кликами ура и пушечною пальбой.

В Петергофе полки были расположены по саду. Тут же и отобедали; были даны солдатам быки и хлеб; сварили кашу. Войска отдыхали. Часу в пятом увидел Державин большую четырехместную карету, запряженную в шесть лошадей, с опущенными гардинами. На запятках, на козлах и по подножкам стояли и сидели гренадеры; конный конвой ехал за каретой. Это везли в Ропшу только что отрекшегося императора.

В седьмом часу двинулись в обратный путь. На сей раз шли медленно, и до Петербурга добрались только в полдень, а по квартирам распущены в два часа.

Это был самый Петров день, и день выдался самый жаркий. С непривычки Державин едва доплелся до казармы. Теперь, на свободе, он мог призадуматься над превратностью Фортуны: как-никак, он сам только что принял участие в свержении Петра III и тем са-

мым — в разрушении своей мечты сделаться голштинским офицером. С другой стороны, хорошо было то, что все-таки не успел сделаться: иначе его положение было бы теперь не из легких.

Времени для таких размышлений у него оказалось довольно: строевые учения были отменены, кругом шло ликование. «Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки, в неистовом восторге и радости, носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось».

Так и продолжалось весь день, ночь и еще весь день. На второй день гульбы, к полуночи, Измайловский полк, возведший Екатерину на трон, окончательно потерял голову, будучи обуян пьянством, гордостью и «мечтательным превозношением». Разнесся слух, что Екатерина похищена. Солдаты требовали, чтоб она была им показана. Уговоры не действовали, потому что солдатам равно хотелось и проявить усердие к государыне, и над ней покуражиться. Они явились ко дворцу. Екатерина уже спала. Ее заставили встать, одеться в гвардейский мундир и проводить полк до казарм.

Ей вообще не легко было унять разгулявшихся своих сторонников. В подкрепление приказам, на мостах, площадях и перекрестках, а в особенности вокруг дворца, пришлось расставить пикеты с заряженными пушками и зажженными фитилями. Тревожное состояние длилось больше недели. Наконец Алексей Орлов отправился в Ропшу — и 6 июля отрекшийся император скончался «обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим». Это известие отрезвило всех. Тишина водворилась сама собою...

За три дня до того мушкатеру Державину исполнилось девятнадцать лет.

* * *

Минуя восьмилетнего своего сына, императрица торопилась закрепить престол за собой. На другой же день после убийства Петра III, когда тело его еще не

было погребено, в манифесте было объявлено «о бытии коронации в сентябре». Затем началось переселение лиц, учреждений и гвардии из Петербурга в Москву.

В августе месяце Державину дан был отпуск с тем, чтоб явиться к полку в Москве, в первых числах сентября. Он отправился в путь своим коштом, «снабдясь кибитченкой и купя одну лошадь». В Москве слонялся без дела, вызывая насмешки голштинским своим нарядом. Такой же солдат из дворян, Петр Шишкин, дорогою перебрал у него почти все деньги взаймы (без отдачи). Так что пришлось бы и голодать, если б не поселился он у двоюродной тетушки, Феклы Савишны Блудовой. Жила тетушка на Арбате, в собственном доме, и была женщина по природе умная, но крайне непросвещенная. Зато отличалась прочностию воззрений, благочестием и властным характером.

Наконец Екатерина с двором приблизилась к Москве и остановилась невдалеке от нее, в селе Петровском, имении графа Разумовского. С этого дня начались коронационные торжества, а для Державина — новые тяготы. Тетушку пришлось покинуть и вернуться к житью солдатскому. Только и утешением было, что выдали новые мундиры, уж не такие смешные, каковы были прежние.

Пирами, празднествами, потешными огнями чествовал счастливый Кирила Григорьевич Разумовский высоких гостей в великолепном дворце, в обширных садах, на славных прудах своего поместья. Мушкатер Державин при сих событиях стоял на часах.

13 сентября, при звоне колоколов, при громе пушек, при кликах народа, средь пышного шествия вступила Екатерина в первопрестольную столицу. Державин терялся в нескончаемых рядах парадом построенных войск. 22-го числа Екатерина короновалась в Успенском соборе, по обрядам благочестивых царей и императоров Российских. Она торжествовала, ее приближенные ликовали, на них сыпались ордена, чины, дома, земли, — мушкатер Державин все так же стоял на часах. Потом на Красной площади гуляли народные толпы; для них были выставлены жареные быки, начиненные живностью, из ренского вина пущены были фонтаны; вечером город переливался иллюминацией, чадили плошки, по зданиям, по кремлевским сте-

нам реяли черные тени флагов, гремела музыка, — Державин стоял на часах.

Схлынула первая волна празднеств, но Москва вся еще полна была шумом событий, балов, разговоров. Из внутренних покоев кремлевского дворца Екатерина хаживала в присутствия Сената: давать широкие предначертания, воскрешать память Петра Великого, закладывать первые основы великолепного царствования, привлекать сердца, восхищать умом, чаровать улыбками. А Державин все был мушкатером и все стоял на часах. Раза два, впрочем, проходя мимо караула, его пожаловали к руке.

На зиму из неблагоустроенного кремлевского дворца императрица переехала в Головинский, в Немецкую слободу; Державин стаивал на часах и тут; однажды ночью, позади дворца, в поле, он чуть было не замерз в своей будке; подоспевшая смена его спасла.

На масленице опять пировала Москва народная. Были блины, гуляния, хоры. По улицам разъезжал театр; под управлением славного актера Федора Григорьевича Волкова представляемы были разные комедии, пелись песни, осмеивались пороки и порочные люди: картежники, пьяницы, мздоимцы-подьячие, судьи-взяточники. Державин не веселился. Жилось ему трудно.

Опять стоял он с даточными солдатами, на Тверской, в доме Киселевых, во флигеле. Кроме караулов, отправлял и другие «низкие должности». Особенно часто случалось ему разносить по офицерским квартирам полковые приказы, с вечеру отданные. На ту беду офицеры порасселились по всей Москве: кто жил на Никитской, кто на Тверской, на Арбате, на Пресне, за Москвой-рекой на Ордынке... Чтоб раздать все пакеты к утру, приходилось отправляться в путь с самой полуночи. Зима же была многоснежная, вьюжная; улицы темны и непролазны; глубокою ночью, на глухой Пресне, как-то раз чуть было вовсе не утонул он в снегу, — а тут напали собаки, и он насилу отбился от них, рубя тесаком.

В другой раз, поздним вечером, принес он пакет прапорщику третьей роты кн. Козловскому, небезызвестному стихотворцу. У Козловского были гости — и неспроста: Василий Иванович Майков, будущий творец «Елисея», изволил читать учиненный им перевод

«Меропы» Вольтеровой. При появлении вестового чтение прервалось, затем снова возобновилось. Вручив пакет, Державин не спешил выйти; стал у дверей и заслушался. Тогда, обернувшись к нему, хозяин дома сказал спокойно: — Поди, братец служивый, с Богом; чего тебе попусту зевать? ведь ты ничего не смыслишь...

Наконец откуда-то он проведал, что Шувалов собирается за границу. Сочинил к вельможе письмо: напомнил об успехах своих в Казанской гимназии и просил взять в чужие края, «дабы чему-нибудь там научиться». С письмом явился в передней Шувалова, среди бедняков и челобитчиков. Шувалов, проходя мимо, принял письмо, остановился, прочел и велел побывать еще раз. Обрадованный Державин поспешил к тетушке Блудовой — поделиться надеждами. Но Фекле Савишне оказалось известно, что Шувалов — масон. Она же твердо знала, что масоны — вероотступники, еретики, богохульники, преданные антихристу, и что за несколько тысяч верст заочно неприятелей своих умерщвляют. Следственно, учинила она неопытному племяннику за знакомства такие ужаснейший нагоняй и накрепко запретила ходить к Шувалову, грозя, в случае ослушания, обо всем отписать в Казань, матери. Для Державина это было «жестоким поражением», но, воспитанный в страхе Божием и родительском, не дерзнул он ослушаться тетушки и к Шувалову более не бывал.

Зима кончилась, прошла и весна. Только в июне, в годовщину петергофского похода, счастие впервые улыбнулось Державину слабой улыбкой: много раз обойденный при производствах, подал он челобитную самому Алексею Орлову и произведен был в капралы. От капральства до офицерства было еще весьма далеко, но он и тем был доволен. Захотел показаться матери в новом чине и отпросился в годовой отпуск в Казань.

Нашлись и попутчики: своего же полка такой же капрал Аристов и некая «прекрасная, молодая благородная девица», возвращавшаяся в Казань к родным. Впрочем, девица была снисходительных нравов и состояла любовницей того самого Веревкина, который некогда был директором Казанской гимназии, а теперь сделался товарищем губернатора. Аристов за нею ухаживал. Державин пленился красавицей чрезвычайно.

Дорогою курамшил, подлипал и махался, как только мог. «Будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ, сколь ни завидовал и из ревности сколь ни делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени». После соединения пламени как-то так вышло, что Державин взял на себя путевые издержки благородной девицы. Сие было принято с благосклонностью, но оказалось не под силу тощему кошельку его. На реке Клязьме паромщики и извозчики отказались ехать по цене, предложенной Державиным. Оставив путников на пароме, они разбежались, а красавица, прождав полчаса, стала роптать и плакать. «Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился искать перевозчиков». Те упрямились и куражились. Вскоре дело дошло до нового, только что купленного в Москве ружья. К счастью, оно не выстрелило. Державин вновь взялся за тесак и стал носиться с ним по деревне. Все это могло кончиться кровопролитием, но Державина кое-как уняли.

Добравшись, наконец, до Казани, хотел он и там с красавицей своей чаще видеться. «Но, будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного хода к ней в покой». К тому же мать поспешила отправить его в город Шацк; то ли по наследственным делам, то ли чтобы убрать его от греха подальше. Из Шацка проехал он прямо в оренбургскую деревню, где и мать находилась к тому времени. Словом, больше уж он никогда не видал «сего своего предмета».

Так кончились его первые любовные шашни, и так, в бою с паромщиками, он проявил впервые свой буйный нрав.

* * *

Через год в Петербурге возобновилась прежняя жизнь: та же все солдатня, служба, чтение и кропание стихов украдкою от товарищей. Державин прочитал Клопштока, Клейста (старшего), пробовал переводить стихами «Телемака», Клопштокову «Мессиаду». Сам довольно много писал в различных родах: сочинял

мадригалы, идиллии, сатиры, эпиграммы, басни, в которых подражал Лафонтену через немца Геллерта. Отдал он также дань и распространенному тогда виду поэзии — конфетным билетцам. То были двустишия, предназначенные для бумажек, в которые завертывались конфеты. Державин, впрочем, писал их не ради прибыли, но для упражнения.

Старался он усвоить и правила ремесла стихотворного: тщательно изучал теоретические сочинения Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова. По сочинениям обидчика своего, кн. Козловского, наконец, научился правильно ставить цезуру в александрийском стихе. Этим размером написал он тогда же стансы к Наташе, «прекрасной солдатской дочери, в соседстве в казармах жившей». Завел и знакомство литературное: бывал иногда на пирушках у земляка своего, купеческого сына Осокина, любителя поэзии, издавшего, впрочем, одну только книгу: «Примечание для приведения в лучшую доброту разных российских шерстей». У Осокина он встретился с Тредьяковским. Тредьяковскому было уже за шестьдесят, жизнь его клонилась к концу, влиятельною литературною силой он уже не был. Но он мог быть прекрасным учителем для Державина, тем более, что тотчас угадал его дарование. Развить это знакомство Державин, однако же, не сумел или не посмел. При всей живости, был он солдатчиною по-прежнему как бы придавлен: все это время и жил, и работал, словно бы съежившись, подобравшись. Его успехи в поэзии были невелики: все та же корявость и неумелость, скучные песни, тяжеловесные идиллии, беззубые эпиграммы.

Только скоромные стишки по-прежнему вызывали веселость товарищей. Но одна пьеска обошлась ему на сей раз дорого. В ней шла речь о некоем капрале, жену которого любил полковой секретарь. Стишки пошли гулять по казарме, перекинулись к офицерам и попали в руки самому секретарю. После того полковой секретарь целых два с половиною года вычеркивал Державина из списка представляемых к повышению, и два с половиною года Державин ходил в капралах. Одно было облегчение: жил он теперь с дворянами. Те были почище и не столь грубы в обращении. Зато предавались всяческим шалостям, и Державин, глядя на них, стал понемногу «в нравах своих развращаться».

Наконец враг его, полковой секретарь, был сменен другим, неким Неклюдовым, и в сентябре 1766 года Державин произведен в фурьеры, а вслед за тем в каптенармусы. В начале 1767 года императрица предприняла вторую поездку в Москву — для открытия Комиссии по составлению нового уложения. Державин, под началом двух офицеров, братьев Лутовиновых, командирован был на ямскую подставу — надзирать за приготовлением лошадей к проезду двора. Один Лутовинов был послан в Яжелбицы, другой — в Зимогорье. То были две станции, расположенные вблизи знаменитого Валдая, о котором Радищев писал: «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает Валдайских баранок и Валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые Валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия». Разумеется, Лутовиновы проводили все время в гостеприимном Валдае. Они либо играли в карты с проезжими, либо пьянствовали, иной раз на всю ночь запираясь в кабаке и никого, кроме девок, к себе не пуская. Державин волей или неволей делил забавы начальства. Правда, от вина он воздерживался, но карты мало-помалу его увлекали, он к ним пристрастился. Так жил он четыре месяца. Наконец, в конце марта, двор проехал, старший Лутовинов попал под суд за растраты и буйство, а Державин благополучно добрался до Москвы.

С началом теплой погоды императрица отправилась в путешествие по Волге, а гвардии было приказано возвратиться в Петербург. Державин этим воспользовался и вновь отпросился в отпуск в Казань, к матери и брату, которых не видел больше двух лет.

Неизвестно, случилось ли хоть отчасти Державину видеть историческое «шествие» императрицы по Волге. Неизвестно и то, кто кого обогнал на этом пути: Державин императрицу или императрица Державина. Во всяком случае, ему довелось быть свидетелем ее пребывания в Казани. Словно сама судьба так устраивала, что он вновь, уже в который раз, оказался незаметным спутником Екатерины. В те поры он нарушил обет, некогда данный самому себе, — не гоняться за Пиндаром и не петь царей. Еще в Валдае, живя с Лутовиновыми, он отважился написать «ямбические

экзаметры» на переезд царицы через речку Мохость, протекавшую в тех местах. Теперь же, в Казани, дал себе волю: явились стихи «На шествие Императрицы в Казань», «На маскарад, бывший перед Императрицей в Казани» и наконец — первая «Ода Екатерине II».

Но царица проехала, поэтический пыл Державина ослабел (потому, может быть, что и стихи опять вышли не так хороши, как хотелось бы), и Державин вновь погрузился в дела житейские. Мать по-прежнему билась как рыба об лед, хозяйствуя в деревеньках, тягаясь с соседями и непрестанно что-то закладывая, покупая и продавая. Брат окончил гимназию, и уже давно пора было ему вступать в службу. Прожив лето и осень с родными в Оренбургской губернии, Державин собрался в Петербург: отпуск его кончался. Наконец он тронулся в путь, приняв на себя два поручения: во-первых, довезти брата до Петербурга и там определить его в полк; во-вторых, будучи проездом в Москве, купить у неких господ Таптыковых небольшую, душ в тридцать, деревушку, лежавшую на реке Вятке. На это мать дала ему денег.

В Москве случилось дело слишком обыкновенное: совершение купчей крепости с господами Таптыковыми замедлилось. Тогда Державин отправил брата в Петербург, к полковому секретарю Неклюдову, с просьбою зачислить молодого человека в тот же Преображенский полк, что и было исполнено. Себе же Державин просил двухмесячной отсрочки для устройства дел. Эта просьба тоже была уважена, и Державин даже был около того времени произведен в сержанты. Он остался в Москве, намереваясь довершить покупку имения. Но внезапно дела приняли оборот совершенно невероятный.

Поселился Державин по-родственному, у двоюродного своего брата, майора Ивана Яковлевича Блудова, сына той самой тетушки Феклы Савишны, о которой выше говорено. Вместе с Блудовым жил его дальний родственник и закадычный друг, отставной подпоручик Максимов, человек забубенной жизни, друг-приятель не одному Блудову, но и всей Москве, особенно разным сенатским чиновникам. Можно было через него обделывать всевозможные дела, чистые и сомнительные, — сомнительные в особенности. Блудов находился под его влиянием. Дом с утра до вечера

полон был всякого люда. Картеж и попойки не прекращались. Карты занимали Державина сильно еще со времени пребывания в Валдае. Теперь, в обществе Блудова и Максимова, он стал иногда поигрывать. Сперва играл робко и понемногу, но потом, разумеется, втянулся. Новичкам обычно везет, но с Державиным случилось иначе. С каждой игрой дела его становились труднее, но был он упрям, горяч и не знал поговорки: играй, да не отыгрывайся. Лишившись собственных денег, он не бросил игры, а пустил в ход материнские, данные на покупку имения, — и в недолгое время проиграл их все, до последней копейки.

Двоюродный братец Блудов из этой беды как будто бы его выручил, но на самом деле забрал в сущую кабалу. А именно — он дал Державину денег на покупку имения, но в обеспечение долга взял с него закладную, да не только на эту деревню, но еще и на другую, тоже принадлежавшую матери. Совершать подобную сделку Державин не имел никакого права; следственно, ему теперь уже до зарезу надо было раздобыться деньгами, чтоб закладную у Блудова выкупить. Для этого был единственный способ — опять-таки отыграться.

И вот, располагая всего лишь грошами, он стал с отчаянием день и ночь ездить по трактирам — искать игры. Вскоре он сделался завсегдатаем таких мест и другом тамошних завсегдатаев. Иначе сказать — «спознался с игроками или, лучше, с прикрытыми благопристойными поступками и одеждою разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам».

Надо сказать правду: и в этом обществе сохранил он известное благородство души, впрочем, весьма нередко свойственное и заправским шулерам. Конечно, он не гнушался «обыгрывать на хитрости» — иначе бы и не вступал в такую компанию. Но, помня, должно быть, собственную свою историю, новичкам и неопытным людям иногда покровительствовал. Так, однажды он спас от мошенников заезжего недоросля из Пензы, «слабого по уму, но довольно достаточного по имуществу». В отместку за это составлен был целый заговор, чтоб Державина поколотить, а может быть, и убить вовсе. Но, по странному совпадению, тут его спас

другой, тоже им облагодетельствованный человек: офицер Гасвицкий, которому как раз незадолго до того, в каком-то трактире, Державин успел шепнуть, что его обыгрывают на биллиарде при помощи поддельных шаров.

Однако шулерство не принесло ему пользы. То ли он горячился и сам проигрывал еще более ловким игрокам, то ли существовали другие, неизвестные нам причины — только сколотить нужную сумму и расплатиться с Блудовым Державин не мог. Хуже того: иногда проигрывался до нитки и принужден был бросать игру, пока не раздобывался какими-нибудь деньжонками. Случалось, не на что было не только играть, но и жить. Тогда, запершись дома, «ел хлеб с водою и марал стихи». Иногда на него находило отчаяние. Тогда затворял он ставни и сидел в темной комнате, при свете солнечных лучей, пробивавшихся в щели. Так проводить несчастливые дни осталось его привычкою на всю жизнь.

Прошло уже более полугода с тех пор, как отсрочка, ему данная, кончилась. До полка дошли слухи, что Державин в Москве «замотался», — а сам он не только не помышлял о возвращении в Петербург, но и не представлял никаких объяснений. Ему грозил суд и разжалование в армейские солдаты. Спас тот же благодетель, Неклюдов, который, не спросясь Державина, приписал его к московской команде. Пребывание в Москве было, таким образом, узаконено, и Державин одно время даже служил секретарем или, потогдашнему, «сочинителем» в депутатской законодательной комиссии. Потом мать вызвала его в Казань, он ездил к ней, каялся, — а вернувшись, снова взялся за прежнее.

Шалая жизнь постепенно его засасывала. Самое в ней опасное было то, что Державин как-то нечаянно сблизился с Максимовым, которого проделки были отнюдь не невинного свойства. Впрочем, первая из историй, в которую попал Державин, была скорее забавна и ничем особенным не грозила. Произошла она из-за дьяконовой дочери. Максимов и Блудов умели обращаться с прекрасным полом. Дьяконова дочь по соседству к ним хаживала. Однажды вечером дьякон с женою уговорили будочников ее подстеречь. Блудовские люди, однако, приметили, что будочники

хоронятся за углами, и спросили, чего им тут надобно. Разговор быстро перешел в брань, а брань в драку. Будочников поколотили, пользуясь численным превосходством. Но будочники не сдались. Отступив с поля битвы, залегли они в крапиве, возле церковной ограды, где девица должна была проходить, — и поймали ее. Дьякон с дьяконицей, подхватив дочь, «мучили плетью и, по научению полицейских, велели ей сказать, что была у сержанта Державина». На другой день, когда Державин, возвращаясь из Вотчинной коллегии, в блудовской карете подъезжал к воротам, будочники с трещотками окружили карету, схватили лошадей под уздцы «и не объявя ничего, повезли через всю Москву в полицию. Там посадили его с прочими арестантами под караул. В таком положении провел он сутки. На другой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтоб он признался в зазорном с девкою обхождении и на ней женился; но как никаких доказательств, ни письменных, ни свидетельских, не могли представить на взводимое на него преступление, то, проволочив, однако, с неделю, должны были со стыдом выпустить».

Эта история кончилась смехом. Другая была не столь невинна, и хоть Державин не принимал в ней прямого участия, о ней все же следует рассказать, потому что она послужила как бы прологом к событиям более поздним. Кроме того, она сама по себе живописна и любопытна.

Еще в кратковременное царствование Петра III некий Серебряков, экономический крестьянин Пензенской губернии, Малыковской волости, в прошлом — монастырский слуга, представил правительству проект о расселении выходящих из Польши раскольников на пустопорожних землях, лежащих по реке Иргизу, притоку Волги. Уже при Екатерине проект удостоился одобрения, и раскольники были поручены ведению того же Серебрякова. Первое время все шло хорошо, но затем Серебряков стал к выходцам из Польши подмешивать просто беглых крестьян, которых за известную плату укрывал от господ, наделяя землей и снабжая документами. За это в конце концов он угодил в сыскной приказ, где и содержался под караулом до окончания о нем следствия.

В тюрьме сошелся он с человеком, которого био-

графия была в своем роде блистательна. Это был запорожский атаман Черняй. Незадолго до того запорожские казаки, под предводительством Черняя и еще другого атамана, Максима Железняка, бывшего послушника, весьма отличившегося в так называемой *Уманьской резне* 1768 года, разграбили польскую Украину и разорили за Днепром турецкую слободу Балту. Разорение Балты и послужило поводом к первой при Екатерине турецкой войне. Русским войскам велено было тех запорожцев с их атаманами переловить, что и было исполнено. Румянцев, командовавший войсками, отправил Железняка и Черняя через Москву в Сибирь, но в Москве Черняй заболел (или притворился больным). Поэтому впредь до выздоровления он был посажен в тот же сыскной приказ, где и познакомился с Серебряковым.

Тюремные дни коротали они в беседах, и Черняй поведал Серебрякову о несметных богатствах, награбленных его шайкою и зарытых на Украине. Речь шла о целых ямах, наполненных серебром, и о пушках, набитых жемчугом и червонцами (Черняй, может быть, и привирал).

Выпрашиваясь иногда из-под караула, Серебряков посещал Максимова, который был его земляком. Мысль о Черняевом кладе не давала Серебрякову покоя, и он заразил ею Максимова. Стали они совещаться, как бы Черняя с Серебряковым выручить из тюрьмы, чтоб отправиться добывать богатства. С Серебряковым дело уладили быстро: Максимов просто взял его на поруки. Но как высвободить Черняя? Тут были привлечены юристы из сенатских чиновников, даже довольно видных, и способ найден.

По тогдашним законам, если у колодников оказывались долги, то, по требованию заимодавцев, разрешалось их посылать в магистрат, для уплаты долгов. Из магистрата их под конвоем отпускали по разным надобностям: в баню, в церковь и к родственникам. Поэтому на Черняя составили подложный вексель, произвели взыскание и затребовали ответчика в магистрат. Оттуда, под наблюдением одного гарнизонного солдата, Черняй был отпущен в баню, а по дороге отбит какими-то «незнаемыми людьми». С той минуты он исчез, — разумеется, от всех, кроме Серебрякова с Максимовым, которые не теряли его из виду.

Дорога к кладу была, таким образом, открыта, но Серебряков и Максимов не торопились по ней отправиться. Державин отчасти был посвящен в их затеи, но к самому предприятию привлечен не был: Серебряков и Максимов хотели обогатиться одни. Но встретиться с ними Державину еще предстояло впоследствии.

Побег Черняя сошел Максимову с рук легко: за Черняя он не ручался. Зато всплыла наружу проделка, в которой к тому же весьма замешан был и Державин. В конце 1769 года мать прапорщика Дмитриева подала в полицию жалобу на Максимова и Державина вместе. По словам жалобщицы, Максимов с Державиным обыграли ее сына в банк Фаро и выманили с него вексель в триста рублей, а также пятисотрублевую купчую на имение отца его. Максимова, Державина, двоих свидетелей и обыгранного прапорщика вызывали для допроса. Дмитриев подтвердил заявление матери, а Державин и Максимов уперлись. От всякой игры с Дмитриевым они отреклись, а происхождение векселя и купчей объясняли иными, вполне законными причинами. Делу этому дан был ход, оно поступило в Юстицколлегию, и неизвестно, чем могло кончиться. Забегая вперед, мы скажем, что оно тянулось долго, запуталось (не благодаря ли связям Максимова?) и наконец, уже в 1782 году, было прекращено за нерозыском жалобщиков. Но тогда, в конце 1769 и в начале 1770 года, оно должно было тревожить Державина в высшей степени. Оно грозило самыми страшными последствиями — но именно потому как-то внезапно и сразу его отрезвило.

Два с лишним года, прожитые в таком обществе и среди таких приключений, показались Державину ужасны. Друзей не было — душевное свое состояние он излил в стихах, написанных, надо думать, при сдвинутых ставнях. То были первые стихи Державина, в которых ни предмет, ни чувства не были позаимствованы. Можно сказать, он взвыл. Стихи назывались «Раскаяние»:

Ужель свирепства все ты, рок, на мя пустил?
Ужель ты злобу всю с несчастным совершил?
Престанешь ли меня теперь уж ты терзати?
Чем грудь мою тебе осталось поражати?
Лишил уж ты меня именья моего,

Лишил уж ты меня и счастия всего,
Лишил, я говорю, и — что всего дороже —
(Какая может быть сей злобы злоба строже?)
Невинность разрушил! Я в роскошах забав
Испортил уже мой и непорочный нрав,
Испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился,
Повеса, мот, буян, картежник очутился;
И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,
Порочной жизнию его я погубил;
Презрен теперь от всех и всеми презираем, —
От всех честных людей, от всех уничижаем.
О, град ты роскошей, распутства и вреда!
Ты людям молодым и горесть, и беда!

. . . .

О, лабиринт страстей, никак неизбежимых,
Борющих разумом, но непреодолимых!
Доколе я в тебе свой буду век влачить?
Доколе мне, Москва, в тебе распутно жить?
Покинуть я тебя стократно намеряюсь
И, будучи готов, стократно возвращаюсь.
Против желания живу, живя в тебе;
Кляну тебя — и в том противлюсь сам себе...

Наконец, уже в марте 1770 года, в самые те дни, когда в Москве начиналась чума, Державин решился: он занял пятьдесят рублей у приятеля своей матери, «бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург».

Впрочем, не совсем без оглядок. Московские страсти еще в нем жили. Раскаяние говорило душе одно, бес — другое. Началось с того, что, отъехав всего полтораста верст, Державин встретил в Твери одного из московских приятелей и с ним прокутил все деньги. Что было делать? У такого же проезжего (у садовника, везшего ко двору виноградные лозы из Астрахани) он занял еще пятьдесят рублей, кое-как отделался от приятеля и поехал дальше.

Но благоразумия хватило у него только до Новгорода. В те времена, когда на станциях приходилось подолгу ждать лошадей, а иногда ночевать, станционные трактиры были рассадниками игры и мошенничества. Темные люди подстерегали в них проезжающих. В таком трактире, три года спустя, ротмистр Зурин обыграл Петрушу Гринева, ехавшего в Оренбург; еще гораздо позже, в таком же трактире, в Пензе, пехотный капитан, умевший удивительно срезать штоссы, сильно поддел коллежского регистратора Хлестакова. Словом, в Новгороде Державин не выдержал, еще раз

попытал счастья — и остался у него всего-навсего один рубль-крестовик, некогда данный на счастье матерью.

Не тронув этого рубля (он сберег его во всю жизнь), Державин кое-как тронулся дальше. Но уже неподалеку от Петербурга, в Тосне, ждала его новая напасть, в которой на этот раз он был неповинен. В предотвращение занесения чумы в столицу здесь была устроена карантинная застава, на которой полагалось прожить две недели. На это у Державина не было денег. Стал он упрашивать карантинного начальника, чтобы тот пропустил его ранее; ссылался на бедность, на неимение лишнего платья, которое нужно окуривать и проветривать. Карантинный страж был готов согласиться с его доводами, но препятствием оказался сундук, наполненный бумагами и содержащий все, что за предыдущую жизнь, с самого детства, сочинил Державин в стихах и в прозе. Не оставалось иного выхода, как избавиться от сундука, и в присутствии караульного Державин его сжег вместе со всеми бумагами.

Пробыв почти три с половиною года в отсутствии, он теперь въезжал в Петербург налегке, без денег, без имущества, даже без стихов.

Но стихи он тотчас же начал восстановлять по памяти.

* * *

Покуда старший Державин куролесил в Москве, младший скромно служил в том же Преображенском полку, в бомбардирской роте. Чины доставались Андрею Державину так же трудно, как Гавриилу. Та же была и причина — бедность. За два с половиною года дослужился он всего только до капральского чина.

Здоровья он был вообще не крепкого, а тут еще произошло с ним несчастие. Однажды на ученье, поворачивая пушку, он сильно вспотел, простудился и, придя домой, слег. Начался жар, озноб. Чем он заболел — неизвестно: тогда все называли лихорадкой. Он обратился к знаменитому шарлатану Ерофеичу, тому самому, что на долгие времена передал свое имя целебной настойке, известной в России по сию пору. От Ерофеичева лечения он стал кашлять кровью, и Гаври-

ил Романович, приехав в Петербург, застал брата уже в чахотке. Самое лучшее было — выхлопотать ему отпуск и отправить домой, к матери. Так и сделано. Андрей уехал в Казань и там умер осенью того же года.

Проводив брата, Державин стал осматриваться. Петербургская жизнь сразу сложилась немного печально, буднично, тихо. Но это было как раз то, что нужно. После московских беспутств Державин искал покоя. Втягивался в полковые дела, в службу.

Приехав, как сказано, без гроша в кармане, он на первое время занял у однополчанина восемьдесят рублей. В будущем, однако же, не предвиделось никаких доходов; не только что отдавать долги — не на что было жить. Тогда он решился еще раз прибегнуть к помощи карт, но теперь игра его была совсем уж не та, что московская, хотя в основе ее лежал опыт, в Москве добытый. Державин взял себя в руки и прежде всего раз навсегда отказался от игры нечестной, что обеспечило его от опасных столкновений с правосудием, а главное — дало спокойную совесть, в которой он так нуждался, и душевное равновесие — этот сильнейший козырь в азартных играх. Кроме того (что не менее важно), он перестал гоняться за крупным выигрышем. И тогда десятая муза, муза игры, которая, как все ее сестры, зараз требует и вдохновения — и умения, и смелости — и меры, улыбнулась ему благосклонно. Он стал выигрывать и прибегал к этому средству всякий раз, как бывала нужда в деньгах.

Подозрительных людей он научился избегать. Свел дружбу с несколькими офицерами, не принадлежавшими к числу шалунов гвардейских: с Петром Васильевичем Неклюдовым, давним своим покровителем, с капитаном 10-й роты Толстым, у которого служил под началом, с Александром Яковлевичем Протасовым, который порою не прочь был сразиться в банк. Люди были не Бог весть какого развития, но почтенные. Как бывало и прежде, еще в солдатской казарме, он больше всего им нравился «за некоторое искусство в составлении всякого рода писем. Писанные им к императрице для всякого рода людей притесненных, обиженных и бедных всегда имели желаемый успех и извлекали у нее щедроты. Случалось, обрабатывал он и приказные и полковые письма, и доклады иногда к престолу, и любовные письма для Неклюдо-

ва, когда он влюблен был в девицу Ивашеву, на которой после и женился».

В 1771 году его перевели в 16-ю роту фельдфебелем. Теперь он опять служил не только исправно, но истово, а летом, в лагере под Красным Кабачком, даже отличился. В полку его уважали и любили по-прежнему. Надо было ждать производства в первый офицерский чин, но тут вновь оказалось препятствие. У полкового адъютанта Желтухина был брат, сержант того же полка. Этого брата Желтухин хотел провести в офицеры вместо Державина, к которому стал всячески придираться. Кончилось тем, что по наговорам адъютанта полковое начальство решило отделаться от Державина таким образом: не производить его за бедностию в офицеры Преображенского полка, а выпустить офицером в армию. Державину помогло только хорошее отношение однополчан. «Аттестация» в конце концов зависела от собрания офицеров, и это собрание решительно заявило, что помимо Державина оно никого другого (иными словами — Желтухина-младшего) «аттестовать» не может. Благодаря этому 1 января 1772 года Державин наконец произведен в гвардейские прапорщики. Ему шел уже двадцать девятый год!

Но и эта радость была омрачена. Офицерская служба в гвардии обходилась не дешево: «предпочитались блеск и богатства и знатность, нежели скромные достоинства и ревность к службе». Державин стал изворачиваться. В счет жалования получил из полка на обмундировку сукна, позументу и прочих вещей; продав свой сержантский мундир, приобрел английские сапоги; наконец, занял небольшую сумму на задаток и купил-таки «ветхую каретишку в долг у господ Окуневых»: без каретишки невозможно было «носить звание гвардии офицера с пристойностию».

Исполнилась и еще одна давнишняя мечта Державина: из казарм он перебрался на частную квартиру. По ничтожным достаткам его, пришлось бы ждать этого еще долго, но тут помогло одно обстоятельство, которое следует изъяснить с осторожностию. Около того времени вступил новоиспеченный офицер в любовную связь «с одною хороших нравов и благородного поведения дамою» — некоей госпожой Удоловой, замужней или вдовой — неизвестно; вероятно — вдовой. Вот у нее-то, «на Литейной, в доме господина

Удолова», Державин и поселился, «в маленьких деревянных покойчиках», «хотя бедно, однако же порядочно, устраняясь от всякого развратного сообщества».

Это положение Державина в доме госпожи Удоловой ни с какой стороны не должно казаться предосудительным. Необходимо только принять во внимание, что дело происходило в XVIII столетии, когда на все формы фаворитизма вполне принято было смотреть без всякого предубеждения. Кроме того, Державин был очень привязан к госпоже Удоловой, которая, со своей стороны, «не отпускала его от себя уклоняться в дурное знакомство». В такой мирной, благообразной, непритязательной, почти — можно сказать — семейной жизни «исправил он помалу свое поведение, обращаяся между тем, где случай дозволял, с честными людьми и в игре, по необходимости для прожитку, но благопристойно».

Ближайшим его приятелем был в ту пору поручик Маслов, человек не плохой, не без познаний в словесности, особенно французской, но при всем том ветреник, мот, щеголь и сердцеед. Он «также имел интригу с одною довольно чиновною дамой».

Жизнь, в общем, налаживалась приятная и безбурная. Но Державину были суждены бури.

* * *

К сентябрю 1773 года мятеж, охвативший многие местности юго-восточной России, принял тяжелый и опасный оборот. Пугачев (уже пятый самозванец, принявший имя императора Петра III) сумел собрать вокруг себя огромные толпы недовольных яицких казаков, башкир, калмыков, киргиз, чувашей, мордвы и господских крестьян, бунтовавших против помещиков. Мрачные вести пришли в Петербург как раз во время бракосочетания великого князя Павла Петровича с принцессою Вильгельминой Гессен-Дармштадтской. Отношения Павла Петровича с Екатериной были недружеские. Павел считал, что мать незаконно лишила его престола. К тому же он сам принадлежал к числу людей, не вполне веривших в смерть Петра III. Весть о Пугачеве явилась на брачные торжества, как призрак убитого императора, и придала им несколько

зловещий оттенок. Екатерина была глубоко встревожена. Между тем дела становились все хуже и хуже. Пугачев со своими сообщниками (Ульяновым, Мясниковым, Белобородовым и проч.) захватывал одну за другою крепости, расположенные по течению Яика. Илецкий городок, Рассыпная, Нижне-Озерная, Татищева, Чернореченская, Сакмарский городок, Пречистенская были взяты. Продвигаясь на северо-восток, Пугачев подошел уже к Оренбургу и 5 октября начал его осаду.

Обстановка в мятежной области была крайне неблагоприятна для правительства. «Весь черный народ был за Пугачева; духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты, и архиереи... Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева». Надежных войск было мало. Несогласованные и растерянные действия губернских и военных властей вели к неудачам. Решено было послать подкрепления и вручить начальствование опытному боевому генералу. Выбор императрицы пал на Александра Ильича Бибикова, которого, впрочем, она недолюбливала. В конце ноября ею подписаны рескрипты о назначении Бибикова главнокомандующим.

За всеми слухами о событиях Державин следил внимательно. Жить с госпожой Удоловой было не плохо, но он давно и слишком хорошо знал, что в гвардейской службе ему не выдвинуться, а время идет. Он в свое время мечтал отличиться в усмирении польских конфедератов или в турецкой войне. Но гвардия оставалась в Петербурге, а записаться добровольцем в армию было ему не по средствам: это обошлось бы еще дороже, чем гвардейская служба в обстановке мирного времени. Державин «повергался иногда в меланхолию».

Помимо командования войсками, Бибикову поручено было также ведение следственных дел о сообщниках Пугачева. Державину пришла мысль этим воспользоваться, чтобы получить место в офицерской следственной комиссии, которая должна была обосноваться в Казани. Никакого хода к Бибикову у него не

было. Он отважился ехать без всякой рекомендации. Явившись к главнокомандующему, стал он проситься в комиссию, заявив, что он сам уроженец Казани, а также бывал в Оренбурге и хорошо знает тамошние места и людей. Это была правда. Бибиков его выслушал, но сказал, что взял уже из гвардии офицеров, лично ему известных. Державину ничего не оставалось, как откланяться. Но уйти — значило упустить случай безвозвратно. Он не двигался с места. Наконец удивленный Бибиков разговорился со странным офицером, понемногу втянулся в беседу и остался ею доволен. Отпуская Державина, он, однако, ничего не обещал ему, — а вечером в полковом приказе Державин с изумлением прочитал, что ему высочайше повелено явиться к генералу Бибикову. Наутро явился он к Бибикову и получил приказание через три дня быть готовым к отъезду.

Госпожа Удолова была, вероятно, огорчена предстоящей разлукой с возлюбленным. Но Державину было не до элегий. Он чувствовал, что будущее зависит теперь от него самого. Ему не терпелось, он готов был начать свои действия тотчас же, тут же, еще в Петербурге, за полторы тысячи верст от мятежников. Так и вышло.

У госпожи Удоловой была деревня, расположенная при Ладожском канале. В тех же местах стоял на зимних квартирах Владимирский гренадерский полк. Владимирцев вызвали из армии для участия в торжествах по случаю свадьбы великого князя, но тут же и обидели: «не дали им при таком торжестве ниже́ по чарке вина» да еще заставили бить сваи на Неве, при постройке дворцовой набережной. А теперь их отправляли в Казань — против Пугачева. Вот и решили они от такой худой жизни, что «положат ружья пред тем царем, который, как слышно, появился в низовых краях, кто бы таков он ни был». Такие разговоры вели гренадеры в селе Кибол, у постоялого двора, укладываясь перед походом на ямские подводы. Один из дворовых людей удоловских, ехавший к своей госпоже из деревни, эти разговоры слышал и по прибытии в Петербург передал Державину: узнал, вероятно, что тот едет в Казань усмирять Пугачева.

К таким слухам можно было отнестись без внимания: мало ли что говорится на постоялых дворах?

Но Державин, как сказано, весь кипел. Он кинулся к Бибикову. Тот сперва сказал: «Вздор». Но Державин не унимался, ездил к Бибикову еще дважды, ночью возил к нему удоловского человека, заставил допросить командира Владимирского полка — и добился того, что среди гренадер действительно был открыт заговор.

Все это произошло в несколько дней. Державин был, как в лихорадке. Наконец, в первых числах декабря, «весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за три рубля», он отправился в путь.

III

Когда члены следственной комиссии, опередив Бибикова, приехали в Казань (это было перед самыми святками), они нашли город в панике. Пугачевские разъезды уже появились верстах в шестидесяти оттуда. Не только многие жители — сами власти бежали, уехал даже и губернатор.

Назначение Бибикова произвело стремительный переворот в умах. Известие о приближении генерала, уже однажды, за десять лет до того, спасшего местных дворян от крестьянских волнений, разом вселило уверенность, что теперь все пойдет отлично. Беглецы, во главе с губернатором, стали возвращаться. Недавнее уныние сменилось самым легкомысленным весельем, в котором приняли бурное участие офицеры, приехавшие с Державиным. Но сам он не веселился: он с первого дня принялся за работу.

Следует вникнуть в то обстоятельство, что Державин был взят Бибиковым в *секретную следственную комиссию*, то есть в орган, отнюдь не имевший прямого отношения к военно-оперативной части и за нее не ответственный. Правда, круг действий комиссии не был строго регламентирован, ее членам давались весьма различные поручения, далеко выходящие за пределы следствия о сообщниках Пугачева. Но все эти поручения непременно относились либо к следственной области, либо к разведочной, либо к политической. Поэтому появления Державина на театре военных действий и даже участие в таких действиях, по самому

роду службы его, должны были носить лишь эпизодический и подсобный характер. Положение Державина как члена специальной комиссии, а не как боевого офицера заранее определяло его отношения и с гражданскими властями, и с начальниками войсковых частей, и даже с самим главнокомандующим.

Обратимся теперь к положению дел. Казанские дворяне веселились напрасно: они были окружены врагами, явными или тайными, деятельными или выжидающими, когда придет время действовать. Сказать: Пугачев усиливался — было бы не точно. Усиливалась пугачевщина — и это было всего страшнее. Как подземный огонь, она уже разлилась на огромном пространстве. Где ступал Пугачев или его сообщники — огонь вырывался наружу и начинал бушевать. Главари мятежников, где бы ни появлялись, тотчас обрастали толпами, навербованными из местного населения. Таким образом, запас человеческого материала у Пугачева был неиссякаем и не нуждался в переброске; он в любую минуту оказывался там, где пугачевскому «штабу» угодно было развернуть свои силы.

Что мог этому противопоставить Бибиков? Никакой стратегический план не был осуществим при условии, что толпы, рассеянные в одном месте, немедленно собирались в другом — и при этом еще иногда возрастали. Правда, Бибикову не суждено было дожить до той поры, когда это можно было бы осознать отчетливо. Призванный заместить своих незадачливых предшественников, он готовился действовать согласно данным военной науки и собственного боевого опыта. Он вырабатывал стратегический план. Но у него почти не было войск. Местные гарнизоны были ничтожны численно и разложены пугачевщиной изнутри. Другие войска еще только стягивались: с недавно освободившегося польского фронта, из губерний, еще не охваченных пугачевщиной. Наконец, для гражданской войны и эти войска были не довольно надежны (в чем Бибиков только что убедился на примере Владимирского полка). Не только на солдат — нельзя было вполне положиться даже на офицеров.

Бибиков прибыл в Казань 25 декабря, ждал войск и нервничал. 28-го числа Державин уже явился к нему с докладом. Пока прочие члены следственной комиссии, в ожидании начальства, кутили, блистали

и дебоширили, он уединенно жил в доме матери и от своих крестьян, приезжавших с оренбургского тракта, старался разведать «о движениях неприятельских и о колебании народном». Сведения были неутешительные. Брожение чувствовалось и в окрестностях, и в самой Казани. Бездействие правительства становилось опасно. Державин счел нужным доложить о том Бибикову. Тут произошла сцена, с первого взгляда не вовсе правдоподобная: отродясь не нюхавший пороху подпоручик заявляет заслуженному боевому генералу Бибикову, что «надобно делать какие-нибудь движения», а главнокомандующий оправдывается:

— Я это знаю, но что делать? войски еще не пришли.

— Есть ли войски или нет, но надобно действовать, — возражает подпоручик.

Бибиков сердится, но не прогоняет его. Напротив, схватив за рукав, тащит к себе в кабинет и там сообщает тайную и мрачную новость: Самара взята пугачевцами, а население и духовенство встретили мятежников колокольным звоном и хлебом-солью.

— Надобно действовать, — в десятый раз повторяет Державин.

Что за нелепость: он требует невозможного! И кто дал ему вообще право чего-то требовать от генерал-аншефа Бибикова? Право дал Бибиков, назначив его в следственную комиссию. А требовал действий Державин именно потому, что военные операции — вне его компетенции: с его точки зрения, чисто политической, именно так все и обстоит, как он докладывает: «надобно действовать, ибо от бездействия город находится в унынии», а уж *как* действовать и «есть ли войски или нет» — это дело Бибикова.

Бибиков сознает и правоту Державина, и свое бессилие. Поэтому он сердится пуще прежнего, молча расхаживает по кабинету, молча отсылает Державина прочь, — но на другой же день дает ответственное поручение: отправиться в Симбирск, там присоединиться к команде подполковника Гринева и с ним, а также с идущими из Сызрани гусарами и командою генерал-майора Муффеля идти на освобождение Самары. Задача Державина — во время этого перехода

собрать сведения об исправности и настроении не только самих команд, но и офицеров, и даже начальников. Командировка носила самый тайный характер: отправляясь из Казани, Державин еще сам не знал, куда и зачем он едет: ему были вручены два ордера в запечатанных пакетах, которые он должен был вскрыть не раньше, как удалясь от города на 30 верст. Первый ордер касался вышесказанных наблюдений. Вторым предлагалось ему, по взятии Самары, «найтить того города жителей, кто первые были начальники и уговорители народа к выходу навстречу злодеям со крестами и со звоном, и через кого отправлен благодарственный молебен». Главных зачинщиков предписывалось отправить закованными в Казань, а менее виновных «для страху жестоко на площади наказать плетьми при собрании народа, приговаривая, что они против злодеев должны пребывать в твердости». В заключение Бибиков писал: «Сей ордер объявить можете командующему в Самаре и требовать во всем его вспомоществования».

С такими поручениями Державин едет в Симбирск, не застает уже там Гринева, догоняет его и с ним вместе идет к Самаре, которая к их приходу оказывается уже занята Муффелем. Последний, таким образом, уже сам себя показал, и по отношению к нему миссия Державина отпадает. Но с Гриневым Державин идет очищать от пугачевских сторонников крепость Алексеевскую и под Красный Яр — на усмирение калмыков. И то и другое он предпринимает, опять-таки, не в качестве «военной силы», а для того только, «чтобы увидеть в прямом деле г-на подполковника Гринева, его офицеров и команду». Наконец он возвращается в Самару, руководит следствием, допрашивает виновных в сдаче города Пугачеву, отсылает главнейших преступников в Казань и сам отправляется вслед за ними. Его первая командировка закончена.

В пору пугачевщины казанское дворянство и местные власти, вообще говоря, не покрыли себя славою. Непонимание обстановки, нерадивость, а главное — легкомыслие тут были проявлены много раз. Еще в самом начале 1773 года Пугачев был схвачен и прислан в Казань под стражею. Из острога его отпустили собирать по городу милостыню — он, ко-

нечно, бежал. Потом, как мы видели, казанцы впадали в отчаяние и кидались из города прочь — без особых к тому оснований; потом веселились, столь же напрасно чувствуя себя за Бибиковым, как за каменною стеной. Пробудить в них сознание и подвигнуть к действиям было не просто. Между прочим, надо было добиться, чтобы они составили и содержали на свой счет нечто вроде конного ополчения в помощь правительственным войскам. По поручению Екатерины, проявившей и в этом случае свое знание людей, Бибиков стал действовать с именитыми казанцами, как с ребятами. Он дважды их собирал, звонил в колокола, служил молебны и произносил речи. В речах изображал грозность обстановки, обещал награды и пугал наказаниями. Наконец казанцы как будто сами придумали выставить ополчение. Не давая им остыть, Бибиков тут же составил от их имени соответственное определение и переслал его государыне. Продолжая игру, Екатерина прислала Бибикову рескрипт, в котором именовала себя казанской помещицей и объявляла, что, следуя примеру дворянства, со своей стороны также дает по рекруту с каждых двухсот душ из казанских дворцовых земель своих. Остроумный рескрипт имел успех чрезвычайный. Бибиков, чтобы еще поддать жару, вздумал продлить приятную переписку с «казанской помещицей». Дворяне собрались вновь, и губернский предводитель Макаров, перед портретом Екатерины, прочитал благодарственную к ней речь: «Признаем тебя своею помещицей. Принимаем тебя в свое товарищество. Когда угодно тебе, равняем тебя с собою», — и прочее. Кому же не лестно было принять государыню «в свое товарищество»? После этой речи в составлении отрядов захотели участвовать не только дворяне соседних уездов, но и купцы, и даже мещане. Составил же речь, разумеется, не Макаров: это дело было поручено Бибиковым Державину, который тут действовал не столько в качестве казанского помещика, сколько в качестве члена секретной комиссии: агитация прямо входила в ее задания.

Ответом на эту речь был новый рескрипт, а затем и особый манифест, который, впрочем, прибыл в Казань, когда ни Бибикова, ни Державина там не было. К тому времени оба уже покинули город, направляясь в разные стороны.

Чтобы изъяснить причины этой второй командировки Державина, приходится вернуться назад, к людям, которых мы потеряли на время из виду.

* * *

Вскоре после того, как Державин, в марте 1770 года, гнушаясь самим собою, бежал из зачумленной Москвы, его тамошние знакомцы, Серебряков и Максимов, тоже исчезли из Белокаменной. Прихватив с собой Черняя, они отправились в польскую Украину — добывать свои клады. Но в ту пору вся эта область была театром русско-турецкой войны. Войска передвигались по ней во все стороны, и шататься в степях, не навлекая подозрений, оказалось невозможно. Кладоискателям пришлось бросить свои затеи. Отпустив Черняя на все четыре стороны (а может быть, только припрятав его до лучших времен), вернулись они в родные места: в дворцовое село Малыковку, что лежало на Волге, верстах в 140 выше Саратова, при впадении Иргиза, того самого, на котором Серебряков некогда расселял раскольников и обделывал свои дела (за что, как мы видели, он и угодил в тюрьму при сыскном приказе). Жили они притаившись, но неожиданно сами события сплелись вокруг них в довольно причудливый и неприятный узел.

После начала пугачевского возмущения правительство долго еще не знало, кто таков самозванец. Явилась мысль, не есть ли это Черняй, бежавший из Москвы и исчезнувший вместе с Серебряковым. Серебрякова и Максимова по этому делу допрашивали. Что отвечали они — неизвестно. Надо думать — Максимов отрекся от всякого знакомства с Черняем, а Серебряков заявил, что не видел его с тех пор, как вышел из тюрьмы, будучи взят на поруки Максимовым. Дело заглохло.

Однако ж, когда настоящее имя самозванца было установлено, положение Серебрякова с Максимовым вновь осложнилось. Дело в том, что Пугачев имел большие знакомства среди иргизских раскольников. Там, на Иргизе, он и явился в конце 1772 года со своими возмутительными речами, за которые схвачен и отправлен в Казанскую тюрьму. (Из Казани он, как уже говорилось, бежал летом 1773 года, после чего

и стал во главе мятежа.) Этот арест Пугачева произведен был не где-нибудь, а как раз в той же Малыковке, по доносу крестьянина Трофима Герасимова, который был Серебрякову приятель. Таким образом, к Серебрякову с Максимовым как бы шли нити и от воображаемого самозванца Черняя, и от настоящего — Пугачева. Это отнюдь не улучшало их положения. Тогда они, чтобы укрыться от беды, а может быть — и выслужиться и загладить прежнее, решились предложить Бибикову свои услуги для вторичной поимки Пугачева. Они знали, что Державин при главнокомандующем, и вознамерились действовать через него.

В самом начале марта Серебряков, захватив с собой Герасимова, приехал в Казань. Его план был несложен. Предполагалось, что теперь, когда войска постепенно стянулись к мятежной области, пугачевские толпы вскоре будут разбиты; в этом случае самозванцу придется искать тайного убежища, и он, всего вероятнее, отправится на Иргиз, где у него много друзей среди раскольников; тут-то Серебряков и рассчитывал его схватить; для чего требовал особых полномочий себе и Максимову.

При всем различии положений и лет у Бибикова с Державиным было в характере общее: и начальник, и подчиненный легко увлекались; оба слегка были фантазеры. В самой таинственной обстановке, ночью с 5 на 6 марта, состоялось свидание Серебрякова с Бибиковым. Самого Серебрякова раскусить было нетрудно, но его план показался Бибикову достойным внимания. Главнокомандующий призвал Державина и сказал ему:

— Это птица залетная и говорит много дельного; но как ты его представил, то и должен с ним возиться, а Максимову его я не поверю.

Такого оборота Державин, пожалуй, не ожидал и сам. В следственной комиссии у него было много работы: он вел журнал всей деловой переписке по бунту, с описанием и самых мер, принимаемых к его подавлению; кроме того, составлял алфавитные списки главных сообщников Пугачева и лиц, пострадавших от мятежа. «Возиться» с Серебряковым — значило бросить все, отдалиться от благосклонного начальника, ехать в Малыковку и посвятить себя выполне-

нию серебряковской затеи. Но поручение ответственное, сопряженное с властью; но работа в таинственной обстановке; но, наконец-то, — возможность действительно себя выказать — все это его прельщало. В случае же успеха, если бы в самом деле он, Державин, оказался поимщиком Пугачева... Словом, он решился.

На другой же день после встречи с Серебряковым Бибиков дал Державину «тайное наставление», которого главные пункты сводились к следующему:

«Вы отправляетесь отсюда в Саратов и потом в Малыковку... Прикрыв ваше прямое дело подобием правды, а в самом деле посылка и поручаемая комиссия в следующем состоять имеет: 1) Известно, что вора и злодея Пугачева гнездо прежде произведения его злодейства были селения раскольнические на Иргизе, а потому и не можно думать, чтоб он и ныне каковых-либо друзей, сообщников или по крайней мере знакомцев там не имел. Вероятно быть кажется и то, что он по сокрушении его под Оренбургом толпы и по рассеянии ее (что дай Боже!) в случае побегу искать своего спасения вознамерится на Иргизе... Вам понятна важность сего злодея поимки. Для того вы скрытным и неприметным образом обратите все удоб-возможное старание к тому, чтоб узнать тех людей, к коим бы он в таковом случае прибегнуть мог... 2) Доколе к поимке злодея случай не приспеет, употребите вы все ваше старание о том, чтобы узнать о действиях и намерениях злодея и его толпы, их состояние и силу, взаимную меж ими связь, и чем подробнее вы узнаете, тем более и заслуги вашей Ее Императорскому Величеству нашей всемилостивейшей Монархине будет. А сии известия как ко мне, так и к марширующим по Самарской линии г.г. генерал-майорам князю Голицыну и Мансурову с верными людьми доставлять имеете, ведя о тайном деле <переписку> посредством цифирного ключа, который вам вверяется. 3) Чтобы доставить в толпу к злодею надежных людей и ведать о его и прочих злодеев деяниях, не щадите вы ни трудов, ни денег, для чего и отпускается с вами четыреста рублев... Чтоб в случае надобном делано было вам и от вас посланным всякое вспоможение, для того снабжаетесь вы письмом пребывающему в Саратове г. астраханскому губернатору Кречетникову, а к Малыковским дворцовым управителям открытым орде-

ром... 4) Не уставайте наблюдать все людей тамошних склонности, образ мыслей и понятие их о злом самозванце... Проповедайте милосердие монаршее к тем, кои от него отстанут и покаются. Обличайте рассуждениями вашими обольщения и обманы Пугачева и его сообщников. 5) Наконец, при вступлении в дело возьмите себе в помощь представленных вами известных Серебрякова и Герасимова... Впрочем, я, полагаясь на искусство ваше, усердие и верность, оставляю более наблюдение дела, для которого вы посылаетесь, собственной вашей расторопности. И надеюсь, что вы как все сие весьма тайно содержать будете, так не упустите никакого случая, коим бы не воспользоваться, понимая силу прямую посылки вашей. *Ал.Бибиков*».

7 марта Державин выехал из Казани. Уезжая, он был преисполнен надежд и веры в себя. Точно так же, как Бибиков, он полагал, что для успешности и плодотворности его предприятия надобны три условия, из которых два находились вне его власти и не зависели от него. *Первое* — чтобы пугачевские полчища действительно были наперед разбиты. *Второе* — чтобы у Пугачева, в случае его поимки или смерти, не нашлось заместителя или преемника. Только за *третье* Державину предстояло быть в ответе: он должен был хорошо расставить капканы и не упустить зверя. Тут он полагался на свою «расторопность».

На самом деле этих условий было недостаточно. Требовалось еще одно, простейшее; и Державин, и Бибиков о нем знали, но как будто нарочно почти не касались его; как будто боялись, что если прямо и ясно поставят о нем вопрос — их пыл ослабеет, и придется Бибикову задуматься, стоит ли ради этого дела отсылать от себя Державина, а Державину — стоит ли уезжать от Бибикова.

* * *

В Малыковке Державин прежде всего обзавелся «подлазчиками», которых послал к Пугачеву — разузнать о его делах, намерениях и силах. Серебрякова с Герасимовым он оставил на Иргизе — стеречь друзей самозванца и выслеживать его самого, когда он появится. Наладив целую сеть лазутчиков, Державин

счел нужным обеспечить себе и чисто военную помощь, то есть получить отряд в свое распоряжение. Для этого он отправился в Саратов к астраханскому губернатору Кречетникову (Саратов входил в состав Астраханской губернии, а губернатор там жил для того, чтобы находиться ближе к театру военных действий). Вручив Кречетникову рекомендательное письмо Бибикова, Державин потребовал помощи — и внезапно получил самый решительный отказ: то ли губернатору не понравился властный тон Державина, то ли Кречетников захотел подсидеть Бибикова, с которым был не в ладу, — только отряда получить от него не удалось.

Это взволновало Державина чрезвычайно. Но он не сдался. В Саратове находилась «контора опекунства иностранных», то есть управление немецкими колониями, которые Екатерина расселила вниз по течению Волги, начиная от устья Иргиза. В распоряжении конторы, которая не зависела от губернатора, имелись три роты артиллерийского фузелерного полка. Начальник конторы Лодыжинский был с губернатором в плохих отношениях и, чтоб ему досадить, разрешил Державину, буде понадобится, брать эти роты. Кречетников обозлился раз навсегда.

Меж тем до Саратова дошла весть, что кн. Голицын освободил Оренбург, дважды разбив самозванца наголову — под Татищевой и у Сакмарского городка. Это заставило Державина поторопиться обратно в Малыковку: как знать, может быть, теперь-то и кинется Пугачев скрываться на Иргизе? Но Пугачев, потеряв больше двух третей всего войска, нимало не думал бежать и прятаться. Он пробрался в Башкирию — обрастать новыми толпами, чтобы опять устремиться к Яику. Его поимка явно откладывалась.

Сидеть в Малыковке сложа руки не улыбалось Державину. Он задумал военную экспедицию — за свой страх и риск. Яицкий городок был осажден мятежниками, страдал от голода и уже не имел снарядов. На выручку его шел Мансуров. Но Державин рассудил, что Мансурова должны задержать разливы рек, — и решился «сикурсировать» крепостцу, подойдя к ней с другой стороны. Вновь стал он требовать войск — и вновь губернатор ему отказал. Тогда Державин, послав Бибикову жалобу на губернатора (уже

не первую), составил отряд из фузелеров и казаков опекунской конторы, прибавил сотни полторы малыковских крестьян, выпросил у Максимова провианта для яицкого гарнизона и 21 апреля двинулся в поход. Предстояло пройти верст 500.

Увы, на второй день пути от встречного своего лазутчика он узнал, что Яицк уже занят Мансуровым. Ему ничего не оставалось, как вернуться назад, в Малыковку, — к великому торжеству Кречетникова. Узнав о его конфузе, губернатор поспешил кстати поздравить его с производством в поручики. Поздравление прозвучало насмешкой. Державин не обрадовался.

Свои рапорты он посылал прямо Бибикову, который покинул Казань на другой день после Державина и направился к армии. Пришлось послать донесение также и о злосчастной попытке выручить Яицкий городок. Но велико было удивление и огорчение Державина, когда получил он ответ не от Бибикова, а от кн. Щербатова. Бибиков умер на пути к Оренбургу, и Щербатов временно его заменил на посту главнокомандующего.

Силы Бибикова давно были подорваны тревогами и трудами. Заболев горячкою, он скрывал болезнь, перемогался и таял. Лечить его было некому. За два дня до смерти, коснеющею рукой, он написал государыне: «Si j'avais un seul habile homme, il m'aurait sauvé, mais hélas, je me meurs sans vous voir»[1]. Человек благородный, патриот истинный, он отдал все силы своему трудному делу и умер, едва получив известие о победе Голицына — о первом достигнутом успехе. Ему было всего сорок четыре года. Обстоятельства этой кончины потрясли Державина. Сам он терял начальника, которым был отличен и которого успел полюбить.

Все вообще складывалось печально. Нужды нет, что Мансуров с Голицыным высоко ценили его разведочную работу, что сам Щербатов его одобрял. Его главная цель — поимка самозванца — вдруг оказалась совсем не столь вероятна, как он себя убедил — как они с Бибиковым себя убедили.

Не то было всего хуже, что разбитый Голицыным Пугачев оказался способен к дальнейшей борьбе;

---

[1] «Если бы при мне был хоть один искусный человек, он бы спас меня, но, увы, я умираю, не увидев Вас» (*фр.*).

Державин не сомневался, что рано или поздно враг будет побежден. Уже и теперь, по последним известиям, самозванец опять окружен у Взяно-Петровских заводов и без поражения выйти оттуда не может. Плохо было то, что и эти добрые вести опять содержали горчайший для Державина намек на вероятную участь всей его командировки: одновременно сообщалось, что если Пугачеву суждено прорваться, то отнюдь не в сторону Иргиза! Это замечание, сделанное мимоходом, Державина угнетало. Впервые Державину стало ясно, что как ни искусно расставил он свои западни, на сей раз они не понадобятся наверняка, а вообще могут и никогда не понадобиться, *если зверь сюда не пожалует.* А многое ли говорило за то, что пожалует? Вот что они упустили из виду с покойником Бибиковым. И внезапно с такой же твердостью, как прежде он был уверен, что самозванец придет прятаться на Иргиз, — теперь Державин решил, что Пугачев не придет сюда никогда. Скрытая досада на самого себя стала его томить. Кто придумал все это? Кто вскружил головы и ему, и Бибикову? Серебряков? Нет, Серебрякова по чести винить нельзя: Серебряков, конечно, придумал ловить Пугачева на Иргизе, но он предлагал в поимщики самого себя. Он не звал Державина в Малыковку. Державин сам привязал себя к этому проклятому месту. И зачем, зачем Бибиков подтолкнул его?

Такое уныние овладело Державиным, что он стал проситься «о увольнении себя с его поста, для того, что, по удалении в Башкирию Пугачева, во вверенной ему комиссии он ничем действовать не мог». Временами он даже подумывал бросить все и ехать обратно в полк, в Петербург.

* * *

На его беду им были довольны — и не отпустили. Только о поимке Пугачева как о цели его пребывания на Иргизе теперь уже речи не было. Выяснилось, что секретная комиссия до сих пор даже не знала, зачем Державин послан в Малыковку. Ему стали давать поручения то по разведке, то по охране спокойствия, то по делам провиантским.

Действия против Пугачева шли с переменным счастием. Из окружения самозванец вырвался и уси-

лился вновь — уж в который раз. Стремительно, как степной пожар, разливаясь все шире и шире, он шел к северо-востоку, за Урал, в киргизскую степь, меж тем как главные силы правительства стянуты были южнее. Однако 21 мая Декалонг разбил его при крепости Троицкой. Самозванец пошел к Челябинску, но тут впервые встретился с Михельсоном и вновь потерпел поражение. Хотел идти к Екатеринбургу — и тоже встретил препятствие. Тогда он повернул под прямым углом на запад и устремился к Казани.

Победа, одержанная при Троицкой, возбудила такие же надежды, как перед тем победа при Татищевой. Пошли даже слухи, что Пугачев спасся всего с восемью человеками и, конечно, будет искать убежища на Иргизе (очевидно, и Щербатов теперь заразился серебряковской идеей). Державина известили об этих чаяниях. Надежда мелькнула снова. Он ожил, стал расставлять пикеты и рассылать лазутчиков. Внезапно пожар истребил большую часть Малыковки. Хлебные запасы сгорели. Начался голод, в народе чувствовалось брожение. Дом Державина уцелел, но его дважды пытались поджечь. Малыковка становилась плохою базою. Оставив немногочисленные свои команды и сделав распоряжения на случай прямого мятежа, Державин поехал в Саратов.

Туда призывали его дела второстепенные. Но события развернулись так, что эта поездка оказала важное влияние на всю его дальнейшую судьбу.

По смерти Бибикова императрица вместо одной следственной комиссии учредила две: казанскую и оренбургскую. Оставив военное командование в руках князя Щербатова, эти комиссии временно отдала она в ведение местных губернаторов, а затем решила сосредоточить управление в одних руках. Новым начальником комиссий назначен был молодой генерал-майор Павел Сергеевич Потемкин, человек неглупый, но и не выдающийся, образованный, но не даровитый; зато — троюродный брат нового фаворита, только что вошедшего в силу. Потемкин выехал из Петербурга в Казань как раз в то время, когда с востока к ней шел Пугачев. В Казани они столкнулись: Потемкин прибыл в ночь на 8 июля, а 12-го числа на заре туда же пожаловал Пугачев. В Казани войск почти не было. Потемкин вышел навстречу самозванцу с четырьмястами солдат,

был разбит и едва успел укрыться в крепости внутри города, вместе со многими жителями. Пугачев не мог овладеть крепостью, но сжег и разграбил город. Местная чернь присоединилась к пришлой. Часть жителей при этом была убита, прочие подверглись мукам и разорению. «Люди зажиточные стали нищими, кто был скуден, очутился богат!»

Михельсон, пришедший по пятам Пугачева, освободил казанские пепелища через три дня, после упорных боев. Самозванец, выгнанный из Казани и вновь растерявший часть войска, однако ж, не унялся. Собирая новые полчища, устремился он вверх по Волге, думали — на Москву. Но внезапно он перешел Волгу у Кокшайска и по правому ее берегу пошел к югу. «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой; от провинции к провинции». Он двинулся на Саратов. Державин узнал об этом раньше местных властей и поспешил их оповестить.

Саратовцы до тех пор почитали себя в безопасности. Губернатор Кречетников даже уехал в постоянную свою резиденцию — в Астрахань. Уезжая, он вверил охрану города коменданту Бошняку, но с тем, чтобы тот в важных случаях совещался с другими начальниками и действовал с общего согласия. Самым видным из этих начальников был упомянутый выше Лодыжинский, начальник опекунской конторы. Нет надобности объяснять, что Бошняк с Лодыжинским были на ножах и, по службе будучи независимы, не желали ни в чем уступать друг другу. У каждого были к тому же свои войска. Полковник Бошняк считал себя выше как воевода и комендант. Лодыжинский, хоть находился в гражданской службе, был зато старше чином: он был статский советник, что соответствовало бригадиру. Бошняк был порывист, переменчив и неумен; зато держался прямым солдатом и носил огромнейшие усы. Лодыжинский усов не носил, но превосходил противника хладнокровием и дальновидностью. Наконец, Бошняк был в хороших отношениях с губернатором, а Лодыжинский в плохих (что, как мы знаем, и сблизило его в свое время с Державиным).

Узнав от Державина об угрожающем движении Пугачева, Лодыжинский созвал совещание для обсуж-

дения мер к обороне Саратова. Кроме Державина, были приглашены: Бошняк и некий Кикин, сослуживец Лодыжинского. Тут-то голоса и разделились.

Бошняк находил, что надо укрепить город и в нем отсиживаться. Лодыжинский с Кикиным возражали, что город слишком велик и так скоро его не укрепишь, да и не хватит ни войск, ни артиллерии, чтобы отстаивать такое большое пространство. Поэтому надо встретить самозванца вне города, для чего собрать всех жителей, способных носить оружие, а прочих укрыть на берегу Волги возле магазинов и казарм опекунской конторы, построив там особое земляное укрепление. Лодыжинский как бывший офицер инженерного корпуса уже составил и план такого ретраншемента. Державин с горячностью присоединился к этому мнению, на стороне которого, таким образом, оказалось большинство голосов. В этом духе составили и подписали общее постановление. Бошняк обязался доставить рабочих, инструменты и часть оружия.

Между тем новый начальник секретных комиссий требовал, чтобы Державин представил рапорт об исполнении данного ему поручения. Для составления рапорта Державин на другой же день поскакал в Малыковку, где находилось все его делопроизводство. В Малыковке он получил от Потемкина второе письмо. Потемкин сообщил, что уже получил сведения о действиях Державина от кн. Щербатова и остался ими особливо доволен. «Таковый помощник много облегчает меня при обстоятельствах, в каких я наехал в Казань», — писал Потемкин и далее прибавлял: «может быть, принужден будет злодей обратиться на прежнее гнездо, то представляется вам пространное поле к усугублению опытов ревности вашей к службе нашей премудрой Монархини. Я уверен, что вы знаете совершенно цену ее щедрот и премудрости. Способности же ваши могут измерить важность дела и предстоящую вам славу, ежели злодей устремится в вашу сторону и найдет в сети, от вас приготовляемые».

На этот раз вряд ли Державин серьезно поверил в поимку Пугачева на Иргизе. Уже не раз его обманула эта мечта, еще имевшая для Потемкина прелесть новизны. Но самолюбие Державина было польщено и возбуждено, честолюбивые надежды его всколых-

нулись — и «сие самое побудило его горячее вмешаться после в саратовские обстоятельства».

Повод не замедлил явиться. В самый день отъезда державинского из Саратова Бошняк уже пошел на попятный: заявил, что не даст рабочих для постройки ретраншемента, потому что опасность миновалась. Это была неправда: опасность не миновалась, а возросла — Пугачев был в 450 верстах. Обо всем этом Державина тотчас же известили саратовские друзья. Некто Свербеев, чиновник опекунской конторы, писал: «Приезжай, братец, поскорее и нагони на них страх».

Державин помчался «нагонять страх». Но пока он ехал, саратовские жители узнали, что Пугачев уже миновал Алатырь. Поднялась тревога. Состоялось совещание при участии купечества и членов Низовой соляной конторы. Вновь утвердили план Державина и Лодыжинского, но на сей раз Бошняк отказался его подписать. Он вернулся к первоначальной своей мысли и заявил, что согласен на ретраншемент, но, кроме того, не может оставить на расхищение город, церкви, остроги и винные склады, а потому будет строить укрепление вокруг всего города.

Это было 27 июля. А 29-го Бошняк уже заявил, что и вовсе отказывается от ретраншемента, а будет строить лишь укрепление вокруг города. На другой день, подкрепившись добытым от губернатора ордером о подчинении коменданту всех воинских сил, Бошняк явился сообщить свое решение Лодыжинскому — и встретил у него только что вернувшегося Державина. Горячие споры не привели ни к чему — Бошняк стал строить свои укрепления.

Тогда Державин написал коменданту письмо. В выражениях самых резких повторял прежние доводы, доказывал, что Бошняк не умеет возводить укреплений; что укрепления вокруг всего города бесполезны, ибо требуют стольких защитников, сколько в Саратове не найдется; что жители, неспособные носить оружие, могут укрыться в ретраншементе, который должно строить немедленно; что там же можно поместить и церковную утварь; что должно встретить врага вне города, оставив лишь небольшой отряд для защиты ретраншемента. Наконец, о себе писал: «Когда вам его превосходительство г. астраханский губернатор П.Н.Кречетников, отъезжая отсюда, не дал знать,

с чем я прислан в страну сию, то чрез сие имею честь вашему высокоблагородию сказать, что я прислан сюды от его высокопревосходительства покойного г. генерал-аншефа и кавалера А.И.Бибикова, вследствие именного Ее Императорского Величества высочайшего повеления по Секретной Комиссии, и предписано по моим требованиям исполнять все».

Эти раздоры грозили Саратову тем, что в конце концов он останется безо всякой защиты. Жители волновались. Большинство, видимо, было на стороне Державина и Лодыжинского. 1 августа состоялось собрание всех бывших в городе офицеров. Принято было определение действовать по плану Лодыжинского — «несмотря на несогласие означенного коменданта». Это уже был, в сущности, бунт. В качестве поручика лейб-гвардии (что весьма придавало ему весу в глазах армейцев) и члена секретной комиссии Державин этим бунтом водительствовал, причем грозился Бошняка арестовать. Настроение собравшихся было самое повышенное; так спешили, что согласились подписываться без соблюдения старшинства.

После этого постройка ретраншемента возобновилась по распоряжению магистрата. Но через день Бошняк приказал полиции объявить, что к работе привлекаются лишь *добровольцы.* «Легкомысленный народ рад был такой поблажке, а из сего произошла и у благоразумнейших колебленность мыслей, дурные разгласки, и работа вовсе остановилась».

Державин не уставал жаловаться на Бошняка Потемкину, Бошняк на Державина — Кречетникову. Оба были и правы, и не правы. Бошняк был старше чином и имел боевой опыт, которого не имел Державин. Державин ссылался на то, что он прислан от секретной комиссии и что «предписано по его требованиям исполнять все», — это была неправда: в сущности, он был прислан в Малыковку, а не в Саратов, и оборона Саратова если даже касалась его, то разве только с политической, а не с военной стороны. «Горячее вмешался» он в это дело только потому, что в прямую цель своей командировки, в поимку Пугачева на Иргизе, уже сам не верил, а хотел отличиться где бы то ни было и во что бы то ни стало. И держал он себя с заносчивостью недопустимой, не говоря уже о военной субординации, которую сам нарушал и склонял

нарушать других. Но по существу дела все-таки прав был он, точнее — прав был Лодыжинский, на сторону которого он стал против Бошняка. Он видел, что Бошняк губит дело, — и это, и сознание собственной правоты, и скрытое чувство, что действовать так, как он действует, он все-таки не имеет права, — все это доводило его до пределов дерзости и упрямства.

Наконец, 3 августа, Кречетников прислал Бошняку ордер, в котором предлагал отправить Державина к настоящему месту его службы — на Иргиз. Бошняк тотчас переслал ордер Державину, но тому было не до губернатора: уже он готовился в новую экспедицию.

* * *

В девяноста семи верстах от Саратова, на реке Медведице, лежала крепость Петровская. Пугачев к ней приблизился. Державин послал в Петровск приказание перевезти в Саратов казенные деньги и архивы. Все это уже было сложено на подводы, но, как случалось почти всегда, при приближении самозванца часть гарнизона взбунтовалась и остановила возы. 3-го числа (в тот же день, когда пришел ордер Кречетникова) Державин получил письмо из Петровска от секунд-майора Буткевича («воеводского товарища», как он себя именовал) с просьбою прислать на помощь отряд «человек до ста».

Державин немедленно выслал вперед отряд казаков под начальством есаула Фомина, а 4-го числа утром выехал и сам. Не одни архивы и деньги занимали Державина: он мечтал вывезти из Петровского порох и пушки, а также произвести разведку, чтобы узнать, с какими силами наступает враг на Саратов.

Державин ехал в кибитке с неким Гогелем и со слугою, которого нанял еще в Казани; это был гусар из польских конфедератов. Уже верстах в пяти от крепости узнали они от встречного мужика, что Пугачев находится в пяти верстах от Петровска, только с севера (Державин ехал с юга). Державин остановился, а Гогель поехал вперед, чтобы нагнать и предупредить казачий отряд. Нагнав его, Гогель отрядил четырех казаков к Петровску — на разведку. Те уехали — и пропали. Наконец двое из них вернулись и со-

общили, что Пугачев уже в городе и надо ему сдаваться. Фоминские казаки тотчас взбунтовались и объявили, что переходят на сторону «государя». Покуда Фомин хитрил и вел с ними переговоры, со стороны Петровска приблизился отряд мятежников под предводительством самого Пугачева. Фомин с Гогелем бросились назад, к Державину, крича: «Казаки изменили, спасайтесь!» Пересев на верховую лошадь, Державин поскакал вместе с ними к Саратову. Пугачев со своим отрядом гнался за ними. С наступлением сумерек погоня остановилась. Державин благополучно достиг Саратова; его кибитка, с ружьями, пистолетами и слугою-поляком, осталась в руках мятежников.

* * *

Весь следующий день (5 августа) ушел на бесполезные переговоры с Бошняком. Пугачевские скопища надвигались, падение Саратова было неминуемо. Во исполнение губернаторского приказа, Державин мог бы уехать в Малыковку, но, «нося имя офицера, за неприличное почел от опасностей отдаляться» и, «чтобы не быть праздным, выпросил в команду себе одну находящуюся без капитана роту».

Вдруг вечером получил он тревожную весть: партия малыковских крестьян, им вызванная на помощь саратовскому гарнизону, взбунтовалась, не дойдя двадцати верст до города. Герасимов, бывший при этой партии, сообщал, что крестьяне отказываются идти дальше, если Державин не явится к ним самолично. Державин поехал — и тут незначительная случайность разом все изменила. На ближайшей станции, в слободе Покровской, не оказалось лошадей. Державин застрял на всю ночь, а когда на другой день добрался, наконец, до своих крестьян, — пришло известие, что Саратов взят. Боясь, что крестьяне открыто перейдут на сторону Пугачева, Державин их распустил, а сам поехал в колонию Шафгаузен. Здесь надеялся он через колонистов разведать, куда намерен идти Пугачев из Саратова: на Яик или вниз по Волге.

Шафгаузен лежал на левом берегу Волги, немногим ниже Малыковки. Сообщение между ними постоянно поддерживалось. Печальная новость ожидала Державина.

Незадолго до отъезда из Саратова Державин решил просить помощи у генерала Мансурова, который тогда находился со своими войсками в Сызрани. Письмо к Мансурову Державин послал в Малыковку, Серебрякову, с приказом лично доставить по назначению. Серебряков, прихватив с собою сына, отправился в Сызрань; по дороге, в степи, оба были убиты и ограблены шайкой беглых солдат.

Шаек, состоявших из всякого сброду, к тому времени расплодилось великое множество. Между прочим, не терял времени даром и тот слуга-поляк, что остался вместе с кибиткой Державина в пугачевском плену: за десять тысяч рублей он взялся изловить бывшего своего господина. Он явился в колонии, взбунтовал многих колонистов и разослал подручных искать Державина. 8-го числа, на второй день своего пребывания в Шафгаузене, Державин узнал, что злодеи остановились в пяти верстах, в ближайшей колонии, — завтракать. Охраны у него не было — он вскочил на лошадь и помчался за девяносто верст, в Сызрань, к генералу Мансурову. Дорогою, при переправе через Волгу, он едва не погиб: двести малыковских крестьян, которых он сам же некогда здесь расставил стеречь Пугачева, теперь узнали о взятии Саратова, и «дух буйства» в них пробудился: на пароме они хотели схватить Державина, чтобы отправить в стан Пугачева; не поворачиваясь к ним спиной, он прислонился к борту и держал руку на пистолете, заткнутом у пояса; «а как всякий из них жалел своего лба, то он и спасся».

10 августа Державин приехал в Сызрань к Мансурову, а вслед за тем узнал, что и сама Малыковка пережила бурные события. «Сего августа 9 дня, — доносил писарь Злобин, — приехав в село Малыковку известной злодейской шайки разной сволочи человек с 12 и во-первых набрав во оном подобных себе злодеев села Малыковки дворцовых и экономических крестьян человек до 50-ти, начали разбивать питейные домы и, напився пьяны, чинили многое злодейство и в хороших крестьянских домах разбои, а сверх того г. казначею и всему его семейству, тако же его расходчику, села Воскресенского крестьянину Александре Васильеву и малыковскому жителю Ивану Терентьеву учинили смертное убийство, коих ругательски и повесили, чем устращивая привлекали малыковских перво-

статейных к питью вина и к поздравлению якобы Государя Петра Федоровича, т.е. государственного вора и злодея Пугачева, кои то и чинили, а сопротивления с ними, злодеями, за неимением никакой команды, чинить было некому, где тот день в Малыковке они и ночевали, а напоследок 10-го августа те злодеи, быв до полден и более и чиня такое злодейство, сказали, что они с батюшкой Петром Федорычем, т.е. означенным злодеем, будут в Малыковку во вторник 12-го августа, и, сказав, уехали обратно».

В Малыковку злодеи больше не приходили, но после их ухода часть населения пребывала в великом страхе, другая же разнуздалась и буйствовала. Дворцовый управитель Шишковский, который «едва спас живот свой», от страху никак не мог «придти в совершенную память» и писал Державину: «Обыватели смотрят весьма немилосердным взглядом... Помилуй, батюшка! Не оставь беспомощного и разоренного и страсть терплющего человека... Поверьте, милостивый государь, что писать не могу: ненатуральная трясовица обдержит меня». Максимов, бежавший из Малыковки подале, тоже взывал к Державину: «Поспеши, голубчик, и хотя внутренним злодеям отмсти за пролитую неповинно дворянскую кровь».

Малыковка делалась все менее надежной точкой опоры. Державин к тому же предвидел, что Пугачев будет оттеснен от Саратова еще южнее; ждать самозванца на Иргизе теперь казалось ему бессмысленно. Донося об этом Потемкину, он просил указаний, что в таких обстоятельствах делать дальше и куда направиться. Ответ долго не приходил. Уже к Сызрани явился со своими войсками Голицын; уже Мансуров ушел оттуда преследовать Пугачева, — ответа все не было. Державин сидел при Голицыне безо всякого дела. Бездействие вообще было не в его нраве — теперь оно томило в особенности: вся командировка грозила кончиться *ничем*; как и в Саратове, он искал случая сделать *что-нибудь*.

* * *

Юго-западная часть колоний, почти на полпути между Малыковкою и Саратовом, длинною, узкою полосой вдается в киргиз-кайсацкую степь. Киргизы

давно уже беспокоят ее набегами. Теперь, при общей разрухе, набеги становятся чаще и жесточе. Дома сжигают и грабят, скот угоняют, жителей избивают или уводят в плен, в степь. Колонисты просят защиты, — но войск у Голицына слишком мало.

Другое дело — Державин. В Малыковке наберет он верных крестьян (кстати, наведя там порядок и посчитавшись с кем следует), колонисты ему обещают отряд в триста человек: с этими силами можно рискнуть на киргиз-кайсаков... Но чтобы дойти до Малыковки и колоний, ему нужны были двадцать пять человек гусар и хотя бы одна пушка. Такие силы Голицын мог ему предоставить, и 21 августа выступил он в поход.

Голицын отправил с ним девять колодников — «восемь человек и одну женку». То были крестьяне, которые недавно схватили голицынского курьера и отправили к Пугачеву. Преступление было совершено в селе Поселках, через которое Державину лежал путь. Главного зачинщика, Михаила Гомзова, Голицын приказал там же, в Поселках, для примеру повесить, прочих же отпустить по домам, наказав плетьми.

Исполнив этот приказ, Державин из Поселков двинулся дальше. 24-го числа, в селе Сосновке, привели к нему пятерых разбойников; из них трое были повинны в убийстве Серебрякова. Одного Державин велел тут же повесить: приближаясь к беспокойной Малыковке, где предстояло ему навербовать главные силы будущего отряда, он хотел, чтоб молва о жестокостях предваряла его появление. Действительно, его ждали с ужасом.

Придя в Малыковку, он тотчас нарядил следствие; троих мужиков, повинных в убиении казначея Тишина с женой и детьми (которым головы размозжили об угол), «по данной ему от генералитета власти, определил на смерть». Замечательна смесь воображения и расчета, с коими он затем действовал. На другой день всех жителей, мужского и женского полу, согнали на близлежащую гору. Священнослужителям всех семи церквей малыковских приказано было облечься в ризы. Пушку, заряженную картечью, навели на толпу; двадцать гусар с обнаженными саблями разъезжали вокруг, чтобы рубить всякого, кто захочет бежать. На осужденных надели саваны, дали им в руки зажженные свечи и при погребальном звоне привели к месту казни. «Сие так сбившийся народ со всего села и из окружных

деревень устрашило, что не смел никто рта разинуть». Прочтя приговор, Державин велел этих троих повесить, а еще двести крестьян, тех самых, что осадили его недавно при переправе, — пересечь плетьми. «Сие все совершили, и самую должность палачей, не иные кто, как те же поселяне».

Тогда-то приказал Державин выставить до тысячи конных ратников и сто телег с провиантом — для похода на киргизов. Малыковка, хоть и была в трепете, могла набрать только семьсот человек. Державин и тем удовольствовался. Голицын обещал прислать ему на подмогу казаков, но Державин не стал дожидаться. Первого сентября переправился он через Волгу и углубился в степь по *сакме* — по дороге, протоптанной шедшими здесь киргизами. Через несколько дней, на верховьях Малого Карамана, увидали в долине киргизов; вместе с толпою пленных и множеством угнанного скота орда казалась страшной громадою. Державин атаковал ее — кочевники бросились бежать во все стороны, оставя на месте пленных и скот. С полсотни киргизов при этом перекололи. Таким образом было отбито восемьсот колонистов, семьсот русских поселян и несколько тысяч голов скота. Еще около двухсот пленников киргизы угнали с собой, но Державин не мог уже их преследовать: полторы тысячи пленных, которых он только что отнял у киргизов, стесняли движение его отряда. Он повел их в ближайшую колонию Тонкошкуровку, в ту самую, откуда большинство их недавно было уведено киргизами. Колонию застали в развалинах; всюду валялись трупы; Державин предал их погребению. Были поставлены вооруженные отряды, учреждены пикеты и разъезды; однако набеги киргиз-кайсаков с той поры прекратились вовсе.

Голицын благодарил Державина и доносил о его подвиге высшему начальству — но оно уже было не то, что прежде. В последнее время произошло много событий.

* * *

Перелом в действиях против Пугачева начался еще с того дня, когда Михельсон не пустил самозванца во глубину Сибири и погнал его на Казань. Но взятие

Казани, но самое бегство Пугачева под напором Михельсона, Мансурова, Муффеля было слишком опустошительно: как сказано выше, оно еще представлялось нашествием.

Екатерина тревожилась чрезвычайно; подумывала сама стать во главе армии; полагала, что вялость и нерешительность генералов всему виною; против главнокомандующего кн. Щербатова ее восстановляли в особенности. Гр. Никита Иванович Панин, государственный канцлер, имел выгоду под него подкапываться.

Никита Иванович Панин еще императрицей Елизаветой Петровной был определен в воспитатели к малолетнему великому князю Павлу Петровичу. Когда, совершив переворот 1762 года, Екатерина возложила корону на себя, говорили, будто Орловы готовят Павлу Петровичу участь его отца. Панин, открытый противник Орловых, почитался единственною защитой ребенка. Впоследствии Екатерина долгие годы не могла удалить Панина от великого князя (которого он восстановлял против матери). Только в сентябре 1773 года, когда Павел Петрович женился, императрица с облегчением объявила воспитание наследника законченным, а воспитателя уволила, на радостях осыпав милостями и (без особого удовольствия) оставив государственным канцлером.

Меж тем, в 1770 году, брат Никиты Ивановича, Петр Иванович, за покорение Бендер получил Георгия 1-й степени и две с половиною тысячи душ. Этого показалось мало. Петр Иванович вышел в отставку и поселился в Москве — в обычном пристанище ворчунов и обиженных вельмож. На досуге он целых три года болтал, понося императрицу и зная, что ей неудобно было бы с ним расправиться. 25 сентября 1773 года Екатерина писала о нем кн. Волконскому, московскому главнокомандующему: «Что же касается до дерзкого известного вам болтуна, то я здесь кое-кому внушила, чтоб до него дошло, что, естьли он не уймется, то я принуждена буду его унимать наконец. Но как богатством я брата его осыпала выше его заслуг на сих днях, то чаю, что и он его уймет же».

В самом деле, пора было государственному канцлеру помирить брата с императрицей: влияние Паниных уже падало. Никита Иванович стал действовать

в двух направлениях. Брату посоветовал проявить крайний патриотизм и готовность к жертвам, а сам доложил о том государыне. Потом, на собранном ею совете, он предложил назначить Петра Ивановича на место кн. Щербатова. Екатерина согласилась с неудовольствием. Зато в восторге был Петр Иванович. В усердии дошел до того, что, забыв прошлое, в донесениях своих к слову *всеподданнейший* стал приписывать слово *раб* — что вовсе не требовалось. Радость его отчасти омрачена была только тем, что императрица не подчинила ему следственных комиссий: они остались в руках Павла Потемкина. Отсюда, конечно, вскоре возникли трения: Панин старался унизить Потемкина вместе с его комиссиями, а Потемкин стал нарочито проявлять свою независимость от главнокомандующего. Мы вскоре увидим, что Державину суждено было очутиться между молотом и наковальней.

17 августа новый главнокомандующий выехал из Москвы. Он отправился не в Казань, а южнее, ближе к театру военных действий. По дороге остановился он в своем имении. 24-го числа (в тот самый день, когда Державин казнил убийцу Серебрякова) приехал к нему Суворов, также назначенный действовать против Пугачева.

Суворов примчался без шапки, в одном кафтане, на простой мужицкой телеге. Получив от Панина предписание командирам и губернаторам исполнять все его распоряжения, он в тот же день кинулся дальше — на Пугачева!

Однако же он мог не спешить так сильно. После трехдневных саратовских зверств Пугачев двинулся вниз по Волге. Полчища его были громадны, но беспорядочны. Он разбил майора Дица, который пытался преградить путь, и 21 августа подступил к Царицыну. Дважды отбитый от этой крепости, он, может быть, все-таки овладел бы ею, но услышал о приближении Михельсона и поспешил опять вниз, на Сарепту. Здесь отдыхал он в течение суток и пошел дальше. Но Михельсон двигался быстрее и настиг его в ста верстах за Царицыном, у Черного Яра. Самозванец не мог уклониться от боя. Его поражение оказалось решительно; он потерял до четырех тысяч убитыми и до семи тысяч взятыми в плен; остальные бежали. Сам Пугачев

едва спасся с горсткою казаков, переправившись на левый берег Волги. Это было 25 августа — на другой день после описанного свидания Суворова с гр. Паниным. Таким образом, славный полководец на сей раз мчался напрасно: когда 3 сентября он прибыл в Царицын, сражаться уже было не с кем. Оставалось принять участие разве только в поимке самого Емельки, и Суворов постарался придать своим действиям наиболее военную видимость. Приняв начальство над корпусом Михельсона, он посадил часть пехоты на лошадей, отбитых у Пугачева, и 4 сентября переправился на луговую сторону Волги — ловить самозванца. Но в сем предприятии он оказался слишком не одинок.

В точности неизвестно было, куда направился Пугачев по луговой стороне. Но отряды, посланные на поимку, надвигались со всех сторон. Кольцо вокруг самозванца сжималось.

Со своей стороны кн. Голицын перешел у Сызрани на левый берег. Как раз в те дни, когда Державин закончил поход на киргиз-кайсаков, Голицын со своими войсками очутился поблизости. 9 сентября в селе Красном Яре (его не надо смешивать с городом того же названия) назначена была встреча.

К этому времени стало известно, что самозванец находится где-то на Узенях — двух речках, текущих в киргиз-кайсацкой степи, между Волгой и Яиком. Голицын не изменил своего намерения отправиться на восток, к Яицкому городку, чтобы заранее преградить Пугачеву путь в этом направлении. Но Державину он дал предписание ловить самозванца на Узенях. В отличие от шедших туда же воинских частей, Державину предложено было действовать через обывателей и тайных «подлазчиков»; это был поздний отголосок серебряковского плана.

Отряд малыковских крестьян, с которыми он ходил на киргиз-кайсаков, еще находился при Державине. Из этих-то людей отобрал он сто самых надежных. В ночь на 10 сентября подлазчики собраны в лесу и приведены к присяге. Их жены и дети объявлены заложниками. Для поощрения каждому дано по пяти рублей, для устрашения — тут же повешен последний из четырех убийц Серебрякова, до тех пор находившийся в бегах. Наконец свора спущена; она бросилась в степь, к Узеням, на зверя.

Державин с прочими крестьянами остался на Иргизе, в слободе Мечетной. Здесь предстояло ему охранять окрестности от бродячих шаек; сюда же должны были приходить сведения от подлазчиков. Надеялся ли Державин, что его людям удастся схватить Пугачева? Конечно, он признавал, что «наступило самое то время, где ему, Державину, надлежало исправлять порученную ему г. Бибиковым комиссию, потому что Пугачев находился бессильным и в самых тех областях, которые наблюдению Державина вверены». Но обстановка была совсем уж не та, которую он себе представлял, уезжая из Казани полгода тому назад. Теперь уж не он один, а и Голицын, и Муффель, и Меллин, и Мансуров, и Дундуков, и Суворов — кто только не ловил Пугачева? И у каждого было больше к тому возможностей, нежели у Державина. Между прочим, он только что получил впервые письмо от Суворова. «О усердии к службе ее императорского величества вашего благородия я уже много известен, — писал Суворов, — тож и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачева от Карамана; по возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частных уведомлений». Это было, конечно, лестно, но чувствовалось, что особых надежд на державинскую «партию» полководец не возлагает. О себе самом Суворов прибавил: «Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь».

Вдруг, 15-го числа, надежда еще раз вспыхнула ярко, чтобы тотчас погаснуть вовсе. Подзорщики возвратились и привели пленника. Как? Неужели?.. Но то был не Пугачев, а его «полковник», крестьянин Мельников. Мельников сообщил, что Емельян Пугачев своими сообщниками увезен в Яицкий городок и там отдан в руки властей. Посланные Державина опоздали на двое суток.

Итак, все было кончено.

Пока Державин ждал самозванца на Иргизе — тот удалялся от этих мест; когда Державин отчаялся ждать — Пугачев начал приближаться; когда же приблизился, подошел вплотную, был схвачен, но не Державиным.

* * *

Было бы несправедливо одоление пугачевщины приписывать одному Михельсону. Однако для современников им одержанные победы были наиболее очевидны. Многих военачальников это беспокоило. Начались попытки связать свое имя хотя бы с поимкой Пугачева. Тут поле было для всех открыто: самозванец попал в руки властей без прямого участия кого бы то ни было из тех, кто его ловил.

Суворов первый примчался в Яицкий городок и усердно занялся «поспешным выпроважением» супостата, уже заклепанного в колодку. Потом всем захотелось быть первыми вестниками счастливого события; начались гонки курьеров. Потом Потемкин, находясь в непрестанном соревновании с Паниным, пожелал заполучить знаменитого пленника в свои руки; он намекнул Державину, чтобы тот поспособствовал доставлению Пугачева не в «военную команду» (то есть к Панину), а в секретную комиссию (то есть к Потемкину). Но уже Суворов в Яицке завладел Пугачевым и, посадив в клетку, картинно вез его в Симбирск, к Панину. Державин был тут бессилен. Потемкин все же обиделся.

Но эта обида была ничто перед новой грозой, которая шла с другой стороны и теперь над Державиным разразилась.

Назначение Панина почти совпало с падением Саратова. Саратовским властям пришлось отчитываться в своих действиях уже перед новым главнокомандующим. Недруги Державина, Кречетников и Бошняк, дождались праздника. Разумеется, и в собственных объяснениях, и в объяснениях, ими подсказанных другим лицам, они старались обелить себя и очернить Лодыжинского с Державиным. По-ихнему выходило, что «ветреный человек гвардии поручик Державин» держал себя дерзко и вызывающе, вслух поносил коменданта и бунтовал против него офицеров; что действиями своими Лодыжинский и Державин ослабили оборону города (уже неправда); что они не возвели необходимого укрепления (да, но потому, что именно Бошняк этому противился); что экспедицию к Петровску совершил Бошняк, а не Державин (ложь грубая и наивная); что перед появлением самозванца

Державин из города скрылся без надобности (главная и самая тяжелая для Державина ложь: он уехал по необходимости и лишь не успел вернуться; к тому же сам Кречетников перед тем *требовал* его удаления из города).

Панин был человек умный; умел быть смирным, когда надо, и дерзким, когда можно; сам умел польстить и хотел, чтоб ему польстили; сам знал свое место и любил, чтоб другие знали. Заносчивый поручик ему по всем донесениям не понравился; он даже забыл, что недавно сам благодарил Державина за действия против киргизов, и решил быть к нему особливо строгим. И тут еще слухи о Державине дошли до императрицы, которая попросила Панина, «когда случай будет, пообъяснить наведанием об обращениях сего гвардии поручика Державина и соответствовала ли его храбрость и искусство его словам».

Обо всем этом Державин еще ничего не знал. В таких обстоятельствах ему нужно было заручиться благосклонностью Панина. Вместо этого он нечаянно навлек на себя его лютый гнев.

О выдаче самозванца Державин узнал от Мельникова, своего пленника, в тот самый день, когда Пугачев был доставлен в Яицкий городок, к офицеру Маврину. Но Державин находился географически ближе к начальству, нежели Маврин. Поэтому он-то и был, в сущности, первым вестником. Но свои донесения он отправил двум непосредственным начальникам своим, Голицыну и Потемкину, а не Панину. По субординации он так и должен был поступить. Однако, случайно узнав об этом, Панин пришел в бешенство: его особенно беспокоило, как бы Потемкин не опередил его в донесении государыне. Рассвирепев, он тотчас велел Голицыну и Мансурову затребовать от Державина объяснений по поводу саратовских дел. Узнав о взводимых на него обвинениях, Державин оскорбился, вскипел и, через головы генералов, послал объяснения прямо Панину. В заключение требовал над собою военного суда. Это опять было неприятно Панину: он знал, что заслуги Державина, засвидетельствованные Бибиковым, Голицыным, Потемкиным, Суворовым и самим же Паниным, были больше его провинностей; а вот для Кречетникова, которому Панин вообще покровительствовал, суд мог кончиться большими не-

приятностями. Панин написал Державину длинное, нравоучительное и едкое письмо; «насмехался, что не им, Державиным, Пугачев пойман»; но в суде отказал.

В это самое время Потемкин, который ничего не знал о невзгодах Державина, вызвал его в Казань. Державин отправился, но дорогою не стерпел: решился заехать к Панину — объясниться лично.

* * *

Он вырос в глуши, воспитался в казарме, да на постоялом дворе, да в огне пугачевщины. С младенчества было ему внушено несколько твердых и простых правил веры и нравственности. Они и теперь, к тридцати годам, остались главным его мерилом. Добро и зло разделил он ясно, отчетливо; о себе самом всегда знал: вот это я делаю хорошо, это — дурно. Словом, умом был прям, а душою прост. Прямота была главное в нем. И это уже тогда было главное, за что любили его одни и не любили другие.

Себя он считал «горячим». Горячность и была в нем. Но прежде всего он был просто нетерпелив. Видя вокруг лукавство и ложь, он нередко отчаивался в прямом пути, решал быть хитрым и скрытным, как все другие. Тогда любил уверять себя, будто действует проницательно, предусмотрительно, трезво и хладнокровно. Но всего этого хватало лишь до тех пор, пока все шло гладко и пока, в сущности, ни хитрость, ни хладнокровие не подвергались настоящему испытанию. При первом препятствии, при первом же столкновении с ложью, с обидой, с несправедливостью, то есть как раз когда хитрость и хладнокровие действительно становились нужны, — Державин терял терпение, срывался и уж тут давал волю своей горячности. Не смотрел ни на что, шел прямиком, делался «в правде черт», как однажды сам о себе сказал.

Подъезжая к Симбирску, постановил он понравиться Панину, чтобы тот сложил гнев на милость. Решил выказать себя с лучшей стороны, пустить в ход все: и благонравие, и почтительность, и скромность, и даже свою горячность и прямоту — в той самой мере, насколько они могут понравиться начальству. Это была особенно тонкая хитрость, и Державин особенно на нее рассчитывал.

В Симбирске он прежде всего явился к Голицыну: Панин был на охоте, Державин его даже встретил, приближаясь к городу.

Увидев гостя, Голицын перепугался:

— Как? вы здесь, зачем?

— Еду в Казань по предписанию генерала Потемкина, но рассудил главнокомандующему засвидетельствовать свое почтение.

— Да знаете ли вы, что он недели две публично за столом более не говорит ничего, как дожидает от государыни повеления повесить вас вместе с Пугачевым?

— Ежели я виноват, то от гнева царского нигде уйти не могу.

— Хорошо, — сказал князь, — но я, вас любя, не советую к нему являться, а поезжайте в Казань к Потемкину и ищите его покровительства.

— Нет, я хочу видеть графа.

Вечером Панин приехал с охоты. Пошли в главную квартиру. Панин сидел у себя в кабинете, с ним был Михельсон. Державин представился. Ничего не ответив на представление, Панин важно спросил:

— Пугачева видал?

Это опять был намек, но Державин, решив быть смирным, сделал вид, что не понял. Ответил почтительно:

— Точно так, видел на коне под Петровском.

Граф отвернулся и сказал Михельсону:

— Прикажи привести Емельку.

Привели самозванца; он был в широком, потертом тулупе, по рукам и ногам в оковах. Вошед, он стал перед Паниным на колени. Лицо у него было круглое, волосы и борода окомелком, черные, всклокоченные; глаза черные, с желтыми белками. На вид ему было лет тридцать пять или сорок.

— Здоров ли, Емелька? — спросил Петр Иванович.

— Ночи не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство.

— Надейся на милосердие государыни, — сказал Панин. Ни на какое милосердие Пугачеву рассчитывать не приходилось.

Его увели. Панин «весьма превозносился» тем, что самозванец в руках у него, а не у Державина и не у Потемкина. Для того и разыграна была вся сцена. Державин крепился.

После этого пошли ужинать. Панин не отпустил Державина, но и не пригласил к столу. Тогда-то благоразумие и покинуло «гвардии офицера»: он вспомнил с негодованием, что пред отъездом из Петербурга, находясь при карауле в Зимнем дворце, получал приглашение к столу самой государыни: «то без особого приглашения с прочими штаб- и обер-офицерами осмелился сесть». Ужин начался. Вдруг Панин, окинув взором сидящих, увидел Державина, которого недавно за тем же столом грозился повесить. Сперва он нахмурился, потом заморгал глазами (такая была у него привычка), потом встал и вышел из-за стола, сказав, что забыл отправить курьера к императрице. Державин спокойно отужинал.

На другой день, еще до рассвета, он вновь явился. Его провели в галерею, служившую приемной. Там он прождал несколько часов. Один за другим собрались офицеры. Наконец Панин вышел. Он был в широком атласном шлафроке светло-серого цвета и в большом колпаке французского фасона, перевязанном розовыми лентами. Он стал ходить по галерее взад и вперед, не заговаривая ни с кем и не удостоив Державина даже взгляда. Долго Державин ждал, но внезапно терпение его покинуло. Он внезапно подошел к Панину, однако «с почтением»:

— Я имел несчастие получить вашего сиятельства неудовлетворительный ордер; беру смелость объясниться.

Панин все еще шел — Державин взял его за руку и остановил. Панин вытаращил глаза, потом приказал следовать за собой.

В кабинете поднялась буря. Все саратовские вины Державина вновь и вновь ему перечислены. Пока Панин кричал, Державин успел припомнить благие свои намерения. Он выслушал генеральские окрики «с подобострастием» и разом пошел с главных своих козырей: с лести и простодушия:

— Это все правда, ваше сиятельство, — сказал он, — я виноват пылким моим характером, но не ревностною службою. Кто бы стал вас обвинять, что

вы, быв в отставке, на покое и из особливой любви к отечеству и приверженности к высочайшей службе всемилостивейшей государыни, приняли на себя в столь опасное время предводить войсками против злейших врагов, не щадя своей жизни? Так и я, когда все погибало, забыв себя, внушал в коменданта и во всех долг присяги к обороне города.

Все это «с чувствительностью выговорено было».

Сердце Панина дрогнуло. Значит, этот молодой, пылкий, такой неопытный в жизни, такой прямодушный офицер действительно верил, что он, Панин, пошел предводить войсками из особливой любви и приверженности, не щадя жизни и прочее? В словах Державина он увидел себя прекрасным. Слезы ручьем покатились из глаз его — а ведь умный был человек! Он сказал:

— Садись, мой друг, я твой покровитель.

Потом пришли генералы, зашла речь о вчерашней охоте. Панин хвалился, что очень была успешна. Потом, веселый и бодрый, пошел переодеваться, вновь вышел и пригласил всех к обеду. Державину указал место против себя и говорил почти с ним одним, рассказывая все о том же: как до его, Панина, назначения главнокомандующим дворянство московское ничего не делало для защиты отечества, а после назначения — все делало и ничего уже не жалело. После обеда он пошел отдыхать.

У Панина в штабе было как при дворе: в шесть часов генералы и офицеры опять к нему собирались. Так было и в этот вечер. Увидев Державина, полководец опять к нему устремился. Повествовал о семилетней войне, потом о турецкой, а все более о том, как он взял Бендеры. При этом пустился в нравоучения, говорил непрестанно и на все лады, что молодым людям во всех делах подобает прежде всего почтительность, а потом *практика*, главное — *практика*.

Потом он сел играть в вист с Голицыным, Михельсоном и еще с кем-то. Державин долго смотрел на игру — и вдруг ему стало скучно. Он забыл мгновенно и все благие свои намерения, и только что выслушанный урок о *практике*. Надобно было ему как можно дольше остаться при Панине, делать вид, что не хочет расстаться с ним, что Потемкина с его секретной комиссией совсем забыл... Вместо того подошел к графу

и доложил, что сейчас едет в Казань к генералу Потемкину, — так не будет ли каких поручений?

Лицо Панина дернулось гневом. Но он отвернулся и холодно сказал:

— Нет.

Державин нажил врага.

* * *

Когда Пугачев брал Казань, державинский дом был разграблен, сама же Фекла Андреевна попала в число тех «пленных», которых башкирцы, подгоняя копьями и нагайками, увели за семь верст от города, в лагерь самозванца. Там поставлены были пленники на колени перед наведенными пушками. Женщины подняли вой — их отпустили. Ни жива, ни мертва вернулась старуха в Казань. Сын, приехав, застал ее в горестях. Деревни Державиных, и казанские, и оренбургские, тоже оказались разорены.

Дома было уныние, в служебных делах — неприятности. Потемкин был неспособен на бурный гнев, подобный панинскому. Но он был обижен: зачем Державин не перехватил Пугачева у Панина? зачем объяснения по саратовским делам представил прямо Панину, а не через секретную комиссию? Впрочем, эти вздорные неудовольствия Державину, вероятно, удалось бы рассеять. Но к ним вскоре прибавилось еще одно — неизгладимое: между генералом и офицером возникло «небольшое любовное соперничество, в котором, казалось, одною прекрасною дамою офицер предпочитаем был генералу». Потемкин придумал способ избавиться от соперника: приказал опять ехать на Иргиз — искать Филарета, раскольничьего старца, который, по слухам, некогда благословил Пугачева на принятие императорского имени. Делать нечего — стал Державин готовиться к отъезду. Но в суетах, разъезжая по городу в сильный мороз (был уже ноябрь), он простудился и слег.

Он пролежал долго, месяца три. За это время его товарищи по секретной комиссии были отпущены в Москву; на поиски Филарета Панин отправил целые воинские команды; посылка Державина теряла смысл, но Потемкин хотел сорвать злобу: несмотря ни на что, велел ехать.

В конце февраля вновь увидел Державин места знакомые — Малыковку и колонии. Но какая разница! Год назад он приехал сюда любимцем Бибикова — теперь чуть не ссыльным; тогда манили его честолюбивые замыслы — теперь от них ничего не осталось; тогда он был в упоении властью — теперь обречен унизительному бездействию. В Малыковке управляют другие люди. Пугачевщина отшумела. Герой Бибиков умер, как и пройдоха Серебряков. В Москве, на Болотной площади, упала под топором голова Пугачева.

Только в Шафгаузене, у немцев, все как будто по-прежнему. Тот же радушный и обходительный крейс-комиссар Вильгельми, у которого иногда Державин гостил, приезжая сюда по делам или просто отдохнуть в свободные дни; та же милая фрау Вильгельми, Елена Карловна, для которой Державин в Малыковке закупал муку (там была дешевле). Впрочем, и перемены чувствуются: понемногу прилежные немцы уже забывают бурные дни пугачевщины. Но Державину здесь всегда рады по-прежнему; здесь берегут его уязвленное самолюбие; здесь он среди друзей; иногда заходит почтенный Карл Вильмсен, простой колонист, но любитель наук и поэзии.

Державин почти все время стал проводить в Шафгаузене.

Год назад он здесь начал оду Екатерине, но оборвал, — бросился на выручку Яицкого городка (досадное воспоминание!). Потом, пораженный известием о смерти Бибикова, он здесь же взялся за другую оду — и тоже не кончил: было не до стихов.

Теперь, на досуге, он их кончает. В оде императрице по-прежнему больше слов, чем мыслей. «На смерть Бибикова» удается лучше. Державин пишет по всем правилам одической строфы, но странная мысль приходит ему: в знак скорби лишает он оду рифмы. Потом тяжело, точно топором, отрубает стопы; громоздит согласные; ямбический женский стих кончает спондеем. Многое еще не дается, он еще не вполне сознает, что делает, собственные влечения неясны ему, но суровый, глухой, погребальный стих местами звучит уже так, как раньше не звучал он ни у кого. Еще *державинский* стих не найден, но это уже

не ломоносовский, и в самой поэзии Державина что-то сдвинулось:

Не показать мое искусство,
Я здесь теперь пишу стихи,
И рифм в печальном слоге нет здесь...
Пускай о том и все узнают:
Я сделал мавзолей сим вечный
Из горьких слез моих тебе.

Верстах в семи от колонии, в степи, тянется параллельно Волге цепь песчаных холмов. Речка Вертуба проворно стекает отсюда к Волге. Немцы зовут ее Wattbach[1]. Самый большой из холмов всего ближе к Шафгаузену; он носит татарское имя — Читалагай. У подножия залегло болото, поросшее высокой травой вроде камыша. На самой горе, на ее плоском песчаном темени, оберегая колонию от набегов, еще недавно стояли пушки; Державин сам их привез сюда, сам выбрал место. Вот и просторный шанц, построенный четырехугольником; он совсем еще цел...

В мыслях Державина Читалагай связан с книгой, недавно взятой у Вильмсена. На заглавном листе, без имени автора, стоит просто: «Vermischte Gedichte»[2]. Это — переведенные на немецкий язык стихи Фридриха II. Их французский подлинник вышел тому назад лет пятнадцать, под более многозначительным заголовком: «Poésies diverses du philosophe de Sans-Souci»[3].

Дотоле ни одна книга не поражала Державина так, как эта. Здесь, подле пустынного Читалагая, на пепелище недавних надежд, стоические оды «беспечного философа» отвечают чувствам Державина и помогают ему разобраться в мыслях. В этих стихах Державин находит и объяснение своему настоящему, и суровые, но возвышенные девизы для будущего. Его величество король прусский, насмешник и острослов, может быть, усмехнулся бы, если б увидел восторженный пыл дальнего своего поклонника. Но для Державина эти оды сейчас — евангелие. Кто их автор, он, кажется, еще и не знает. Он выбирает из них четыре и переводит, но с таким жаром, как если бы творил сам. Переводит прозою, потому что боится хоть чем-нибудь погрешить против подлинника.

---

[1] Пенистый ручей (*нем.*).
[2] «Разные стихотворения» (*нем.*).
[3] «Разные стихотворения философа из Сан-Суси» (*фр.*).

«*Жизнь есть сон.* О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь!.. Лишь только ты родился, как уже рок дня того влечет тебя к разрушающей нощи... — Это вы, которые существуете на то, чтоб исчезнуть, — это вы стараетесь о славе?.. Прочь, печали, утехи, и вы, любовные восхищения! я вижу нить дней моих уже в руках смерти. Имения, достоинства, чести, власти, вы обманчивы и яко дым. От единого взгляда истины исчезает весь блеск проходящей красоты вашей. Нет на свете ничего надежного, даже и самые наивеличайшие царства суть игралище непостоянства... Терзаемся беспрестанно хотением и теряемся в ничтожестве! Сей есть предел нашей жизни».

Удрученный горестями, Державин учится взирать на жизнь с высоты. Он переводит другие оды, в которых речь идет, как нарочно, о том, что его терзает. Он пострадал от клеветы — и вот ода на клевету: «Я познаю тебя по подлым изворотам лица твоего, варварское порождение зависти!..» Он наживает сильных врагов, потому что ему не по нраву пресмыкаться и льстить, — вот «Ода на ласкательство»: «Оно, приседя непрестанно при подножиях трона, фимиамом тщеты окружает оный и упоевает им мужей и царей великих. Личиной учтивости прикрывается пресмыкающаяся подлость лживых его потаканий... Восстаньте из упиения вашего, государи, князи, мудрецы и герои, и победите слабость вашу, владычественные лавры ваши делающую поблеклыми. Мужайтеся, бодрствуйте против ласкателей и разбейте неверное зеркало, сокрывшее пред вами правду...»

Но «Ода на постоянство», «Die Standhaftigkeit», душе его ближе всех. Многое в ней применяет он к своей участи — и извлекает высокие правила для будущего: «Во всех наших участях беды с нами: я вижу Галилея в узах, Медицис в заточении и Карла на месте лобном... Здесь похищенное у тебя счастие возжигает в тебе отмщение; тамо неповинное твое сердце прободают стрелы зависти; тут изнуряющая скорбь разливает свои страхи на цветущее твое здравие. Сегодня больна жена, завтра мать, или брат, или смерть верного друга заставляют тебя проливать слезы... Итак, в смущенных днях, противу всех наветов твердость щит... Когда боязливая подлость исчезает без

надежды, тогда крепкий дух мужаться должен... Чуждуся я Овидия: печален, грустен, боязлив и даже в самой бедности ползающий льстец своего тирана не имеет ничего мужественного в сердце своем. Должно ли заключить из его жалоб, что кроме пышных стен Рима нет нигде надежды смертным? Блажен бы он был, когда бы в своем заключении, как Гораций, сказать мог: "Счастие мое со мною!"... Велизария я более чту в его презрении и в нищете, нежели на лоне его благополучия... Сие же опыт совершенной добродетели, когда сердце в жестокостях рока растет и возвышается...»

В жизни каждого поэта (если только не суждено ему остаться вечным подражателем) бывает минута, когда полусознанием, полуощущением (но безошибочным) он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков, связанных так, как дотоле они не связывались ни в ком. Его будущая поэзия вдруг посылает ему сигнал. Он угадывает ее — не умом, скорей сердцем. Эта минута неизъяснима и трепетна, как зачатие. Если ее не было — нельзя притворяться, будто она была: поэт или начинается ею, или не начинается вовсе. После нее все дальнейшее — лишь развитие и вынашивание плода (оно требует и ума, и терпения, и любви).

Такая минута посетила Державина весною 1775 года. Начав переводом, Державин перешел к творчеству. Он успел написать лишь две оды — «На знатность» и «На великость». В них есть явные отголоски од фридриховых, но сильней отголосков — собственный голос Державина. В зеркале, поднесенном рукою Фридриха, Державин впервые увидел свое лицо. Новые, дерзкие мысли, пробудясь, повлекли за собою резкие образы и новые, неслыханные дотоле звуки. Державин впервые нащупал в себе два свойства, два дара, ему присущих, — гиперболизм и грубость, и с этого мига, быть может, не сознавая того, что делает, — начал в себе их вынашивать, обрабатывать. Эти две оды — первые, тяжкие камни, которые, в жару вдохновения и в трудовом поте, надрываясь, вскатил он на темя Читалагая — для своего памятника. То срываясь и падая, то достигая совершеннейшей точности, то дико косноязычествуя, Державин карабкается на свой Парнас. Можно сказать — берет

его приступом. Сила его родится от гнева и добродетели. Берегитесь теперь, вельможи, — Панины и Потемкины:

Не той здесь пышности одежд,
Царей и кукол что равняет,
Наружным видом от невежд
Что имя знати получает,
Я строю гусли и тимпан;
Не ты, седящий за кристаллом,
В кивоте, блещущий металлом,
Почтен здесь будешь мной, болван!

На стогн поставлен, на позор,
Кумир безумну чернь прельщает;
Но чей в него проникнет взор —
Кроме пустот не ощущает.
Се образ ложные молвы,
Се образ грязи позлащенной!
Внемлите, князи всей вселенной:
Статуи, без достоинств вы!..

Другую оду он начинает темными, но величественными словами, в которых призывает к себе *Великость:* величие духа. Он хочет, чтобы она вдохновила его поэзию, и сам несет ей свои обеты.

Живущая в кругах небес
У Существа существ всех сущих,
Кто свет из вечной тьмы вознес
И твердь воздвиг из бездн борющих,
Дщерь мудрости, душа богов!
На глас моей звенящей лиры
Оставь гремящие эфиры
И стань среди моих стихов!

. . . .

Светила красныя небес,
Теперь ко мне не наклоняйтесь;
Дубравы, птицы, звери, лес,
Теперь на глас мой не сбирайтесь:
Для вас высок сей песни тон.
Народы! вас к себе сбираю,
Великость вам внушать желаю,
И вы, цари! оставьте трон.

. . . .

Высокий дух чрез все высок,
Всегда он тверд, что ни случится:
На запад, юг, полнощь, восток
Готов он в правде ополчиться.
Пускай сам Бог ему грозит,
Хотя в пыли, хоть на престоле,
В благой своей он крепок воле
И в ней по смерть, как холм, стоит.

В таких мыслях он прожил почти три месяца. Внезапно всем офицерам гвардии приказано было явиться в Москву: Екатерина торжествовала мир с Турцией. Со своих высот Державин спустился на землю и опрометью кинулся в Москву. Участь его должна была там решиться. Заветную немецкую книгу он второпях забыл вернуть собственнику. Потом, по дороге, оставил ее в Казани. А через девяносто лет почтенный ученый купил ее там же на рынке, совсем истрепанную. На заглавном листе, старинным почерком, было выведено: Karl Wilmsen.

* * *

Кн. Щербатов, не тот, что временно после смерти Бибикова был главнокомандующим, а другой, герольдмейстер Сената, известный историческими своими трудами, до такой степени спешил познакомиться с Державиным, что написал свияжскому воеводе Чирикову письмо: «Когда будет проезжать мимо вас некто гвардии офицер Державин, находящийся теперь в вашем краю, то скажите ему от меня, чтоб увиделся со мною в доме моем, когда приедет в Москву».

Такое странное приглашение удивило Державина, но и возбудило в нем сильную надежду приобрести покровительство этого высоко стоящего человека. Державин решил побывать у Щербатова непременно.

Посещение, однако же, пришлось отложить. Начальство в Преображенском полку сменилось. Державин был встречен без всякого внимания. Велено было просто числить его при полку, словно вернулся он из отпуска. Это крайне его уязвило. Командовал полком теперь граф Григорий Александрович Потемкин, фаворит. Без покровителей добиться его внимания казалось немыслимо. Державин в тот же день бросился к Голицыну и к другим генералам, которые некогда обещали представить его даже «прямо к высочайшему престолу». Куда там! Теперь усмирители Пугачева и победители турок рвали чины и награды из рук друг у друга. Хлопотать за Державина — того и гляди, что свое упустишь. От него отвернулись. Тут бы и обратиться за помощью к Щербатову.

Но на другой день нарядили Державина в дворцовый караул. Преображенцы были одеты в новую щегольскую форму, по вкусу Потемкина. Выстроились перед дворцом. Сам фельдмаршал граф Петр Александрович Румянцев явился в окне, вместе с Потемкиным, который хотел перед ним похвастаться. Рота должна была проходить повзводно. Державин скомандовал:

— Левый стой, правый заходи!

Вместо блестящего захождения вышло одно замешательство: солдаты не знали, что делать, потому что без Державина введена была новая команда — «вправо заходи». Потемкин рассвирепел и приказал, когда полк выступит на Ходынку в лагерь, нарядить Державина в палочный караул. «Сие наипаче поразило честолюбивую его душу». Давно ли вверено было ему важное поручение? Давно ли через свои сообщения двигал он корпусами? Давно ли хозяйничал в казначействах, соперничал с губернаторами, наводил ужас и карал смертию? А теперь, без всякого уважения, поставлен в палки, как негодяй.

Внезапно над головой Державина разразилась еще одна буря. Два года тому назад, живя в деревянных покойчиках госпожи Удоловой и водя веселую дружбу с поручиком Масловым, он по приятельству поручился за вертопраха в Дворянском банке. В два года Маслов совсем замотался, бежал в Сибирь и там скрылся. Теперь с Державина требовали весь банковский долг. Сверх того, так как он, не имея собственной недвижимости, не имел права ручаться за Маслова, то его привлекли за подложное ручательство, а денежное взыскание было обращено на имение его матери. Для старухи это был жесточайший удар; все, что она с таким трудом собирала больше двадцати лет, теперь должно было пойти прахом. Добыть нужную сумму из деревенских доходов не было никакой надежды. Правительственные войска, шедшие на выручку Оренбурга, в числе 40 000 подвод, в две недели разорили державинские земли дотла, солдаты съели весь хлеб, забрали солому и сено, уничтожили скот и птицу, пожгли дворы и обобрали крестьян до нитки, отняв одежду и все имущество. За все это с казны причиталось Державиным тысяч двадцать пять, но Голицын, в руках которого находилось дело, насилуто согласился выдать квитанцию на семь тысяч. Сло-

вом, беда шла со всех сторон. Только награда за действия против Пугачева могла бы спасти Державина. Теперь надобно было ее добиваться не из тщеславия (хоть и тщеславие было больно уколото) — но ради пропитания. Вся надежда была на Щербатова. Державин к нему поехал.

Историк принял его наиприятнейшим образом. Тотчас объяснилось и особливое желание князя с ним познакомиться. Вместе с другими бумагами, относящимися к пугачевщине, получил Щербатов от государыни державинские реляции. Историки жадны до документов. Щербатов смекнул, что у Державина должно быть еще немало любопытных бумаг и сведений; рассыпался в любезностях; предлагал даже несколько покоев у себя в доме; не скупился на похвалы.

— Но при всем том, — прибавил он, — вы несчастны. Граф Петр Иванович Панин — страшный ваш гонитель. При мне у императрицы за столом описывал он вас весьма черными красками, называя вас дерзким, коварным и тому подобное.

Теперь Державин окончательно понял, откуда идут на него напасти. Он сказал князю:

— Когда ваше сиятельство столько ко мне милостивы, что откровенно наименовали мне моего недоброхота, толь сильного человека, то покажите мне способы оправдать меня против оного в мыслях моей всемилостивейшей государыни.

— Нет, сударь, — ответил Щербатов, — я не в силах подать вам какой-либо помощи; граф Панин ныне при дворе в великой силе, и я ему противоборствовать никак не могу.

— Что же мне делать? — в отчаянии воскликнул Державин.

— Что вам угодно. Я только вам искренний доброжелатель.

На этом они расстались. Последняя опора рушилась. Приехав на квартиру, Державин захлопнул ставни, сел, задумался, крутые брови его сдвинулись к переносице, пухлые щеки вздулись, углы широкого рта растянулись еще более и поползли книзу, тяжелый нос покраснел... Лейб-гвардии поручик, усмиритель Пугачева, автор стоических од сидел в темноте и плакал.

* * *

Екатерина купила у князя Кантемира подмосковную деревню Черные Грязи (что впоследствии стала селом Царицыным). Здесь, в маленьком домике о шести всего комнатах, уединялась она с Потемкиным. Утром 11 июля граф сидел у себя в уборной: его причесывали. За дверью дежурил камер-лакей. Но вот послышался гневный говор, лакей отлетел в сторону, гвардейский офицер вошел в комнату и подал письмо, в котором его заслуги и бедствия были перечислены. «Вот обстоятельства под командою вашего сиятельства служащего офицера. Для чего я обижен пред ровными мне? Дайте руку помощи и дайте прославление имени вашему. Сиятельнейший граф, милостивый государь, вашего сиятельства всепокорнейший и послушнейший слуга Гавриил Державин». Так заканчивалось письмо.

Прочитав, Потемкин сказал, что доложит государыне. Прошло несколько дней, и Державин узнал, что приказано его наградить, а как — он узнает в Преображение, 6 августа (это был день полкового праздника). 6 августа наступило. Офицеры были приглашены на Черные Грязи к обеду, императрица присутствовала. Державин все ждал, когда будет объявлено об его награждении, — да и не дождался. Потерпев еще сколько-то, вновь явился к Потемкину. Но, завидев его, вельможа вскочил с досадой — и вышел вон.

Последние деньги меж тем подходили к концу. Масловский долг висел над душой. Державин со дня на день ждал, что его потянут в суд. Кроме голицынской квитанции на получение семи тысяч, у него не было ничего. Но чтобы получить эти деньги, надо было ехать в Петербург. Державин туда отправился, надеясь кстати похлопотать: нельзя ли добиться каких-нибудь облегчений по масловскому делу?

В Петербурге выяснилось, что единственная для него надежда — попридержать ход дела, покуда придет обещанная награда. Державин стал обивать судейские пороги. Время шло, полученные семь тысяч таяли. За время пугачевщины он совсем обносился и растерял все добро свое. Пришлось обзаводиться платьем, бельем, экипажем. В отчаянии Державин еще

раз писал Потемкину — на сей раз ответа не было вовсе.

К середине октября, за уплатою некоторых долгов, осталось всего пятьдесят рублей. Как их употребить? Не видно было другого выхода, как только искать счастия старым способом. Семеновского полка капитан Жедринский держал нечто вроде игорного дома. Державин туда поехал и в первый же вечер выиграл тысяч восемь. Затем, развивая игру, он в несколько дней оказался обладателем целых сорока тысяч. Фортуна ему доплатила то, что недодано было отечеством.

Половина выигрыша тотчас же пошла на покрытие масловского долга. Этот камень, наконец, свалился с души Державина. Однако будущее не сулило ничего доброго. Державин очутился в обстоятельствах худших, нежели те, от которых некогда кинулся он на усмирение Пугачева. Имения были разорены, госпожи Удоловой с ее уютными покойчиками уж не было, среди полкового начальства друзья сменились недругами.

Время шло. Потемкин успел впасть в немилость, проблистал Завадовский и вновь укрепился Потемкин. Сменялись фавориты и фавориты фаворитов. Двор и полк давно уже вернулись в столицу. Из месяца в месяц, перебиваясь единственно карточною игрой (она была уже не так счастлива, как вначале), Державин жил в полном неведении дальнейшей судьбы своей. Полк ему опротивел. Теперь он хотел немногого: чтобы его выпустили в армию полковником и наградили хотя бы так, как были награждены другие офицеры из секретной комиссии (заслуги его были, конечно, выше). Надежда то разгоралась, то меркла. Весы справедливости плясали. На их шаткую чашу одно за другим Державин подкидывал письма, прошения, к самой даже императрице, — все было тщетно. Его судьба зависела от Потемкина. Тому было, в сущности, все равно, он был готов согласиться, но враги Державина его удерживали. Особенно старался некий майор Толстой, с которым Державин поссорился тому назад года три.

Все это тянулось долго и завершилось наконец тем, что Державина, прослуживщего в гвардии пятнадцать лет, указом 13 февраля 1777 года выпустили не

в армию, а в статскую службу, объявив его *неспособным* к военной. Он получил чин коллежского советника и 300 душ в Белоруссии, в Себежском уезде, — ничто по сравнению с наградами, которые были розданы другим офицерам, служившим хуже Державина и сделавшим меньше.

На этом закончилась для него пугачевщина. Как далеко была теперь та пора, когда впервые являлся он к Бибикову, мечтая устроить свою будущность!.. Сражаясь на стороне победителей, Державин вышел из борьбы побежденным.

IV

Это была, пожалуй, самая веселая пора екатерининского царствования. Минувшие войны были победоносны, значение России возрастало, осыпанное милостями дворянство приходило в себя после ужасов пугачевщины, даже в царской семье, казалось, расцветал мир: овдовевший великий князь вступил в новый брак, и вторая супруга на время сблизила его с матерью. Двор и Петербург жили занятною и кипучей жизнью, в которой великолепие мешалось с убожеством, изысканность с грубостью; шестерка лошадей насилу вытаскивала золоченую карету из уличной грязи; фрейлины разыгрывали пасторали на эрмитажных собраниях — случалось, что после того их секли; вельможи собирали картины, бронзу, фарфор, отвешивали друг другу версальские поклоны и обменивались оплеухами; императрица переписывалась с Гриммом — Митрофан Простаков не хотел учиться, хотел жениться; вист, фараон и макао процветали везде — от дворца до лачуги.

Полученные земли Державин заложил в банк; это не обеспечивало его будущности, но, вместе с карточной игрой, давало возможность существовать пристойно, в ожидании лучшего. Найти службу значило прежде всего найти приятелей. Державин стал возобновлять былые знакомства и искать новых. Служба должна была быть штатская; мундиры вокруг Державина постепенно сменялись бархатными кафтанами.

Трудная молодость сделала его отчасти скрытным и замкнутым; с тем вместе он умел быть приятным. У Алексея Петровича Мельгунова, на Мельгуновском тенистом острове (том, что впоследствии перешел к Елагину, обер-гофмейстеру), на пикниках, средь умной и просвещенной беседы, он был занимателен. Масоны из мельгуновских друзей звали его в свою ложу, но он воздержался. Он был свой человек и на пышных пиршествах кн. Мещерского, с генералом Перфильевым, и среди людей не столь знатных, там, где попросту пенилась старая серебряная кружка, налитая пополам русским и английским пивом (в пиво сыпались гренки и лимонная корка). Женщины, чаще всего — доступные участницы холостых пирушек, находили в нем предприимчивого и веселого поклонника. Между возлюбленными, как между винами, не имел он особых пристрастий: любил всех равно:

Вот красно-розово вино:
За здравье выпьем жен румяных.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст багряных!
    Ты тож, румяна, хороша:
    Так поцелуй меня, душа!

Вот черно-тинтово вино:
За здравье выпьем чернобровых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст лиловых!
    Ты тож, смуглянка, хороша:
    Так поцелуй меня, душа!

Вот злато-кипрское вино:
За здравье выпьем светловласых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст прекрасных!
    Ты тож, белянка, хороша:
    Так поцелуй меня, душа!..

Братья Окуневы, у которых пять лет тому назад, выйдя в прапорщики, приобрел он в долг первую свою карету, теперь ввели его в дом князя Вяземского. Это было знакомство особой важности: князь Александр Алексеевич был Андреевский кавалер и генерал-прокурор Сената, то есть, приблизительно, совмещал должности министра финансов, внутренних дел и юстиции. Возвышением он обязан был своей глупости: поручая ему ведение важных дел, Екатерина могла быть спокойна, что никому не придет в голову приписывать

Вяземскому ее собственные заслуги. Впрочем, рекомендованный государыне еще Орловым, Вяземский умел быть отличным служакой; угождая государыне, не забывал и себя, то есть воровал, но в меру; был неразборчив в средствах и деятелен, потому что завистлив. Он жил на Малой Садовой в собственном доме, где, кстати, помещалась и тайная канцелярия; иногда он лично присутствовал при допросах. Никто его не любил, но все у него бывали: как не бывать у генерал-прокурора? Ему было пятьдесят лет. Жена его, урожденная княжна Трубецкая, была значительно моложе своего супруга и старалась придать дому некоторую приятность.

Ища покровительства Вяземских, Державин поставил их очаровать и скоро того достиг. Он стал проводить у них целые дни, сделался своим человеком; иногда читал князю вслух, «большею частию романы, за которыми нередко и чтец, и слушатель дремали»: Вяземский — потому, что именно так и смотрел на литературу, как на снотворное средство, а Державин — по врожденной сонливости (при всей кипучести своего характера он обладал странным свойством: порою, даже среди оживленной беседы, сон внезапно его охватывал). Вечерами играли в вист; эта игра не давалась Державину; к счастию, в то время, как другие вельможи игрывали на бриллианты, черпая их из шкатулки ложкою, у Вяземских игра шла по самой маленькой (хозяин дома был скуп). Что касается княгини, то Державин порою сочинял от ее имени стихи, обращенные к супругу, «хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу». Княгиня была к Державину столь благосклонна, что даже хотела выдать за него свою двоюродную сестру, княжну Урусову, славную стихотворицу того времени, — но Державин отшутился. (Княжна так и осталась старою девой.)

После всего этого не покажется удивительно, что лето 1777 года Державин провел в имении Вяземских, под Петербургом. Наконец, в августе месяце, открылась в Сенате вакансия, и Державин назначен был экзекутором 1-го департамента (государственных доходов).

Должность была довольно видная, но требовала немалых трудов. Отношения с сослуживцами тотчас

сложились отличные: главным начальником был кн. Вяземский, а ближайшим и непосредственным — обер-прокурор 1-го департамента Резанов, с всею семьей которого Державин давно был в дружеских отношениях.

Точно так же он и раньше знаком был, а теперь сошелся короче с обер-секретарем Александром Васильевичем Храповицким. Это был толстый, веселый человек, не лишенный лукавства, любивший наблюдать молча, но умевший порою сказать словцо острое и проницательное. В юности подавал он поэтические надежды, но лиру почти забросил. Однако усердно вписывал в особую книгу вольные стихи, написанные другими. Вообще любил собирать документы, записки, письма, вел дневники. В нем дремал историк.

Козодавлев, Осип Петрович, такой же экзекутор, как и Державин, но во 2-м департаменте, был умом куда проще; зато в свое время учился в Лейпцигском университете, переводил с немецкого и сам баловался стишками (впрочем — кто ими не баловался?). Очень был юркий и обязательный человек. Вскоре после начала их знакомства, 30 августа, в день Александра Невского, Державин был приглашен к Козодавлеву смотреть из окна крестный ход. Были и другие гости, среди которых одна девица особенно привлекала внимание. Было ей лет семнадцать. Черные, как смоль, волосы, острый, с легкою горбинкою нос, из-под черных бровей — огненные глаза на несколько бледном, словно не русском, слегка бронзовато-оливковом лице, — все изумило Державина. Она была с матерью. Державин осведомился о фамилии. *Бастидоновы* был ответ. Державин уехал. Смуглая красавица не выходила у него из памяти. Зимою он встретил ее в театре, — и вновь она поразила его.

* * *

23 февраля, на масляной неделе в пятницу, младший из братьев Окуневых, быв на конском бегу, из-за чего-то поссорился с Храповицким. Дошло до того, что они ударили друг друга хлыстиками и порешили быть поединку. Храповицкий объявил своим секундантом младшего сенатского секретаря Александра Семеновича Хвостова. (Хвостов тоже писал стихи, и два-

дцатилетний братец его двоюродный, Дмитрий Иванович, тоже писал, да так плохо, что уж тогда смеялись.) Окунев же прискакал к Державину, в свою очередь прося быть секундантом. Державину эта просьба не улыбалась: он боялся испортить отношения с Храповицким. Как быть? Он дал Окуневу согласие, но при условии, что наперед посоветуется с Резановым: если Резанов не посмотрит косо — Державин будет секундантом, в противном же случае вместо себя приведет Гасвицкого, того самого офицера, которого некогда в Москве спас от шулеров. В согласии Гасвицкого он не сомневался.

На том и порешили. Державин поехал к Резанову, но не застал дома: сказали, что он на Васильевском острове, у герольдмейстера Тредьяковского на блинах. (Это был Лев Васильевич Тредьяковский, сын покойного поэта.) Делать нечего, отправился Державин на Васильевский остров. Наступил уже вечер, обед кончился, гости разъезжались. Запорошенный снегом, Державин вбежал в переднюю, — там, возле матери, в ожидании своей кареты стояла *она*!

Встреча была мгновенна. Через минуту красавицы уже не было, но после того с Резановым говорил Державин торопливо и бестолково — то о дуэли, то о девице Бастидоновой. Вдруг объявил, что готов жениться. Резанов смеялся, не понимая, шутит он или говорит правду. От секундантства советовал по возможности уклониться, напомнив, что Храповицкий — любимец Вяземского.

Тогда Державин поехал звать Гасвицкого, но и того не застал. Все еще думая о черноокой девице, оставил записку; изложил дело, сообщил, что дуэль состоится завтра, в таком-то часу, в лесу под Екатерингофом, просил приехать. Потом, наконец, вернулся домой, велел подать свечи, припомнил весь этот странный и суетливый день и уснул влюбленным бесповоротно.

В субботу поутру, не имея ответа от Гасвицкого, пришлось Державину ехать в Екатерингоф. Там все уже были в сборе. Направились к лесу. По дороге Державин старался примирить противников, и это ему легко удалось, ибо отважными забияками они не были. Пока добрались до назначенного места, враги уже целовались. Хвостов, однако, сказал, что должно бы

им хоть для вида поцарапаться, чтобы не было стыдно. Державин возразил: если противники помирились без боя, никакого в том стыда нет. Хвостов начал спорить, Державин вспылил, и, слово за слово, дошло до того, что горячие секунданты схватились за оружие. По пояс в снегу, они уже обнажили шпаги и стали в позитуру. В самое это мгновение, весь красный от спешки и от того, что был прямо из бани, явился Гасвицкий. Бросившись между Державиным и Хвостовым, он пресек битву. Тогда всей компанией отправились в трактир, выпили кто чаю, кто пуншу и отпраздновали общее примирение.

Меж тем красавица все предносилась воображению Державина. Едучи домой с Гасвицким, он ему открылся. На другой день, в прощеное воскресенье, был при дворе большой маскарад. Влюбленный явился на нем вместе с наперсником, оба в масках. Гасвицкому предстояло взглянуть на девицу беспристрастными дружескими глазами. Державин тотчас увидел ее в толпе и громко воскликнул:

— Вот она!

И мать, и дочь обернулись и поглядели пристально. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, кавалеры наши старались приметить поведение молодой красавицы, с кем и как она обращается. «Увидели знакомство степенное и поступь девушки во всяком случае скромную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою, розовою стыдливостью. Вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора». Наперсник вполне им сочувствовал. Тут же примерно подсчитали державинские достатки, и решено было свататься.

Восторгов своих Державин не скрыл и от прочих друзей, бывших на маскараде. Так что на следующий день, в чистый понедельник, за обедом у Вяземских, над Державиным стали уже подтрунивать за вчерашние маскарадные шашни. Вяземский спросил:

— Кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила?

Державин назвал фамилию. Это не понравилось управляющему ассигнационным банком действительному статскому советнику Кирилову, который присутствовал на обеде. Когда встали из-за стола, он отвел Державина в сторону:

— Слушай, братец, нехорошо шутить насчет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком: покойный отец девушки, о коей речь идет, мне был друг, да и мать ее тоже мне приятельница; то шутить при мне насчет сей девицы я тебе не позволю.

— Да я не шучу, я поистине смертельно влюблен.

— Когда так, что ты хочешь делать?

— Искать знакомства и свататься.

— Я тебе могу сим служить.

Положено было завтра же ввечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастидоновой.

* * *

Великий князь Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. Тотчас после того, как духовником их высочеств была прочтена очистительная молитва, императрица Елизавета Петровна явилась в спальню великой княгини и забрала младенца к себе. С этой минуты мать почти не видала его и всею душою раз навсегда возненавидела мамушек и нянюшек, попечению коих он был вручен. Первое место среди этих женщин естественно занимала кормилица, по имени Матрена Дмитриевна. Ее тогдашняя фамилия до нас не сохранилась. Вскоре, впрочем, она овдовела, а в 1757 году вступила во второй брак. Избранником ее сердца был Яков Бенедикт Бастидон, родом португалец, в Россию приехавший из Голштинии: Петр III, тогда еще великий князь, привез его в качестве своего камердинера. От Бастидона — в России звали его Бастидоновым — у Матрены Дмитриевны было четверо детей: сын и три дочери. Из них семнадцатилетняя Екатерина Яковлевна и была та самая, что покорила сердце Державина.

К тому времени, когда произошла эта знаменательная встреча, самого Якова Бастидона уже не было на свете. Матрена Дмитриевна овдовела вторично. Была она женщина многоопытная, пронырливая и жадная, но обстоятельства ее выходили довольно трудны. Детям она старалась дать пристойное воспитание, дочерей надо было одеть и вывезти, а покойный муж больших средств не оставил. Давно миновали счастливые времена, когда сама Елизавета

Петровна наряжала Матрену Дмитриевну к венцу, когда на свадьбе гремела придворная музыка и государыня изволила танцевать. О милостях нынешней императрицы нечего было думать: Екатерина, как сказано, терпеть не могла Бастидониху. От великого князя Павла Петровича помощи тоже не было: выкормыш Матрены Дмитриевны сам постоянно нуждался в деньгах. Поэтому семья жила по-мещански, скромно, почти бедно, в собственном, но небольшом доме у церкви Вознесения.

27 февраля, во вторник на первой неделе великого поста, вечером, подъехали к этому дому Кирилов с Державиным. Гостей в такой день не ждали. Босая девка с сальной свечою в медном подсвечнике встретила их в сенях. Кирилов объявил хозяйкам, что, проезжая мимо с приятелем, захотелось ему напиться чаю. Тут он представил Державина. После обыкновенных учтивостей сели. Та же босая девка подала чай. Часа два провели в общежительном разговоре. Сестры-красавицы хохотали и говорили много, пускаясь в хитрые пересуды, чтобы выказать остроту свою и умение жить в большом свете. Катенька же сидела тихо, вязала чулок и вмешивалась в беседу с великою скромностию, рассудительно и пристойно. Влюбленный не только «жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие», но и старался приметить все — от разговора до утвари. Заключил, наконец, что люди не богатые, но честные, благочестивы нравом и опрятны в одежде. Откланиваясь, новый знакомый просил позволения и впредь быть к ним въезжу.

На другой день Кирилов явился к Матрене Дмитриевне и от имени Державина сделал настоятельное предложение. Мать отвечала, что сразу не может решиться, и просила дать несколько дней сроку, чтоб разведать о женихе. Но Державину, разумеется, не терпелось. В Сенате служил еще один знакомый Бастидоновых, некто Яворский. Державин просил и его подкрепить сделанное предложение. Яворский пообещал.

Меж тем влюбленный стал часто ездить пред домом любезной особы. Это входило в правила ухаживания. Катенька, со своей стороны, полюбила сиживать у окна. Вскоре после беседы с Яворским Державин выследил такой час, когда матери дома не было, и решился заехать. Хотелось ему узнать мысли самой

невесты. Вошед, он по обыкновению поцеловал руку и сел рядом с Катенькой. Затем просто, без обиняков, спросил, известна ли она об искании его.

— Матушка сказывала, — был ответ.

— Что ж вы думаете?

— От нее зависит.

— Но если б от вас, могу ли я надеяться?

— Вы мне не противны, — сказала красавица вполголоса и закраснелась.

Тогда он бросился на колени и стал целовать ее руки. Тут, как в доброй старой комедии, открылась дверь и вошел Яворский.

— Ба, ба! и без меня дело обошлось! — вскричал он. — Где матушка?

— Она поехала разведать о Гавриле Романыче.

— О чем разведывать? я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу. То, кажется, дело и сделано.

Вскоре вернулась Матрена Дмитриевна. Среди объятий, слез, поцелуев Державин с Катенькой были помолвлены. Госпожа Бастидонова все-таки объявила, что для окончательного сговора нужно соизволение великого князя, который, как молочный брат Катеньки, почитался ее покровителем. Само собой, дело шло не столько о соизволении, сколько о помощи в рассуждении приданого. Через несколько дней Державин с будущей тещей предстали перед наследником. Чувствительный и уязвленный Павел Петрович сердечно радовался каждому знаку внимания. Он принял гостей в кабинете, говорил с ними долго, обласкал чрезвычайно и отпустил, обещав хорошее приданое, «как скоро в силах будет». В силах, однако ж, он так и не оказался.

Свадьбу сыграли 18 апреля 1778 года. За два дня перед тем из Казани пущено было такое письмо:

«Государыня моя, Екатерина Яковлевна! Любезное письмо ваше от 14 марта я с немалым удовольствием приняла, и когда уже по благословению Божию судьба соединяет вас в супружество моему сыну, сие есть мое обрадование, и взаимно обнадеживаю вас моею к вам усердностию и материнской любви горячностию, и желаю, чтобы я была счастлива, в старости моей вашим почтением и любовию, кою я уже и предвижу, от чего зависит мое благополучие и утешение, и в знак к вам моей любви при сем посылаю гостинец,

хотя не в драгих вещах состоящий, но оно от моего искреннего усердия; прими, моя любезная, и будь благословенна Божиею милостию и уверьтесь, что я вам во всю мою жизнь усердная.

Матушке вашей, милостивой государыне моей, свидетельствуйте мое почтение, и прошу о принятии меня в ее благосклонность, а я с моей стороны оное сохранить, конечно, не премину, а затем пребываю охотная вам во услугах

Фекла Державина».

* * *

Державин женился стремительно, но вовсе не очертя голову. Впервые переступив порог бастидоновского дома (в тот памятный вечер, когда приехал туда с Кириловым), он сразу стал зорко всматриваться в невесту — и если бы не нашел того, что ему было нужно, не стал бы свататься, отступился бы. В числе его прочных и простых взглядов был и взгляд на семейную жизнь. Он хотел быть в доме главою, — тем более женясь тридцати пяти лет на девушке, которая была ровно вдвое моложе его. Будучи сам порывист и неуступчив (что почитал в себе отчасти даже достоинствами), от жены он требовал вовсе иных добродетелей: «тихость и смирение суть первые достоинства женщин, и они одни те истинные превосходства, которые все их прелести и самое непорочнейшее их поведение украшают. Без них страстнейшая любовь — вздор».

Тихость и смирение он подметил в Екатерине Яковлевне при первой беседе, а угадал, пожалуй, и раньше — при первом на нее взгляде. И в самом деле, то были ее первейшие добродетели. Если он собирался быть с нею строгим, то оказалось тотчас же, что это не требуется. Она была перед мужем тиха и смиренна, и это давалось ей безо всякой борьбы, без самопожертвования: во-первых, потому, что так она понимала свой долг, во-вторых, потому, что мужа считала умнее себя и во всех отношениях превосходнее, а в-третьих, и это, конечно, главное, — потому, что его любила. Выходила за него, может быть, без особой страсти, но потом словно влюблялась все горячее и крепче. Ее сердечная преданность была безгранична, верность —

мало сказать непоколебима: просто она даже никогда не подвергалась и не могла подвергнуться никакому испытанию.

При всей кротости Екатерина Яковлевна не была, однако ж, безвольна. Благожелательная ко всем, она была уступчива лишь до известного предела и в случае надобности могла постоять за себя, а в особенности за мужа. Была добра без навязчивости, почти незаметно, ласкова — без слащавости, приветлива — без унижения. Словом, самые чувства и добродетели, сильные, но подчиненные внутренней гармонии, были развиты в ней так же стройно, как она была стройна внешне. Самому Державину лишь постепенно открылась ее *пленительность.* И он перед нею не размякал, но какая же могла быть речь о суровости или строгости, если его любовь изо дня в день, а после — из году в год только росла и крепла? В то время поэты любили давать прозвания своим возлюбленным. Темиры, Дафны, Лилеты, Хлои, как чужеземные птицы, налетели в поэзию. Державин своей жене дал русское, задушевное имя *Плениры.*

Вскоре после свадьбы он взял четырехмесячный отпуск и повез жену в Казань, показать ее своей матери. Екатерина Яковлевна без усилий пленила и свекровь, и все казанское общество. Когда вернулись Державины в Петербург, директор казанской гимназии Каниц писал: «Noch Lange werden die vernüftigen unter den Casanschen Schönnen daran gedenken, dass die junge, verchrungswerte Catharina Jakowna sich eine Zeitlanghier aufgehalten habe»[1].

Денежные дела улучшались. Имение Маслова, пущенное с публичного торга, почти целиком досталось Державину как главному кредитору. Уплаченные из выигрыша двадцать тысяч вернулись к нему в виде трехсот душ в Рязанской губернии. Заключив мировую с одним из казанских соседей, он получил еще восемьдесят. Когда правительство стало безденежно раздавать новоприобретенные днепровские земли, Державин раздобыл себе в Херсонской губернии 6 000 десятин со ста тридцатью душами запорожцев. Таким

---

[1] «Еще долго разумные из казанских красавиц будут помнить пребывание между ними молодой, уважения достойной Катерины Яковлевны» *(нем.).*

образом, вместе с пожалованными при выходе из полка тремястами, а также с материнскими и отцовскими, всего очутилось за Державиным больше тысячи душ. Это был уже известный достаток. Сюда надо прибавить сенатское жалованье. Державины могли жить «приличным домом».

Они поселились на Сенной площади. Счастливый Державин был чрезвычайно радушным хозяином. Поэзия гостеприимства была ему ведома. Хвостов, Храповицкий, Резановы, Козодавлев, Окуневы, порою — сам генерал-прокурор с супругою стали его гостями. Но сердце больше лежало к нескольким новым знакомым.

С молодым стихотворцем Василием Васильевичем Капнистом первая встреча произошла еще в полку. Теперь знакомство перешло в дружбу. Родом малоросс (он не только говорил, но и писал с малороссийским выговором; Катеньку звал Катерына Яковлевна), Капнист был отчасти увалень, был порою хмур и склонен к обидчивости, но при всем том — человек добрейший и великий семьянин. Впрочем, женат он был лишь недавно.

Две молодые четы коротко сблизились, и это повело к тому, что вскоре вокруг Державиных образовался целый кружок. Дело в том, что у Александры Алексеевны Капнист (урожденной Дьяковой, дочери сенатского обер-прокурора) была сестра, Марья Алексеевна, девушка очень милая и собой преизрядная. Два друга Капнистовых были в нее влюблены (надо ли прибавлять, что оба принадлежали к числу стихотворцев?).

Первого звали Львов, Николай Александрович. Судьба была к нему благосклонна. Приятный лицом, состоятельный, имевший очень большие связи, хорошо образованный, был он зараз поэт, музыкант, живописец и архитектор. Ничего вполне замечательного не довелось ему создать ни в поэзии, ни в живописи, ни в архитектуре, ни в музыке. Но всюду он был умным и тонким ценителем. Не без приятного легкомыслия он одновременно переводил Анакреона и строил церкви. Стихи его были не глубоки, но забавны, веселы, бодры, как сам он был всегда легок, весел и бодр. Много он суетился, любил хлопотать за приятелей, покровительствовал, шумел и блистал. Впрочем, делал все это

со вкусом и не без тонкости. Был чувствителен. Маша Дьякова отвечала на его чувства нежной взаимностью, но отец ее почему-то был против этого брака.

Другой поклонник был сын обрусевшего немца Иван Иванович Хемницер. Он ничем не походил на Львова. Был настроен философически, сдержан, задумчив, — отчасти потому, может быть, что уж очень был нехорош собою, даже до безобразия. Как раз незадолго до женитьбы Державина вернулся он из заграничной поездки, влюбился в Машу Дьякову и стал самым прискорбным образом за нею ухаживать. Притворялся щеголем, петиметром, густо пудрил уродское лицо свое и сажал на него мушки. Любви не скрывал, даже посвятил Машеньке первую книгу своих сказок и басен, но все было напрасно. Ни Маша, ни счастливый соперник над Хемницером не смеялись (по крайней мере при нем), к чувствам его относились бережно, Львов, пожалуй, даже особенно был с ним ласков, — но бедный Хемницер еще не знал самого горького обстоятельства: Маша Дьякова жила у отца, значилась в девушках, но была уже тайно повенчана с Львовым.

Семеро друзей сходились часто. Три прелестные женщины и четыре поэта связаны были любовью, дружбой, беседами об искусствах. Екатерина Яковлевна рисовала силуэты или занималась рукоделием. Львов руководил ее искусными вышиваниями. Иногда посещали Львова на его даче, близ Невского монастыря, на Охте. Там, в память прочного союза, каждый посадил по молодому вязу или по сосенке. Порою мелькала среди этого общества красивая, чернокудрая, не по летам высокая девочка. Это была третья из сестер Дьяковых — Даша. Впрочем, ей было всего лет одиннадцать.

* * *

В 1777 году умер Сумароков. Теперь на вершинах российского Парнаса гремели действительный статский советник Херасков и кабинетный переводчик Василий Петров, семинарист, имевший честь слыть «карманным ее величества стихотворцем», каковым прозвищем он весьма гордился. Оба, однако ж, были значительно старше Державина: их слава началась еще при Ломоносове. Но и ближайшие сверстники Дер-

жавина не оставались в тени. Княжнин родился в 1742 году, Богданович в 1743, Фонвизин в 1744. От каждого из них Державин по возрасту разнился не годами, а месяцами. Но Княжнин был известен уже «Дидоной», Богданович написал «Душеньку» и пребывал «на розах», Фонвизин прославился «Бригадиром», путешествовал за границей и дружил с самим Никитою Паниным. Рядом с ними Державин был просто никто.

Два стихотворения, напечатанные им перед самой пугачевщиной, справедливо прошли незамеченными. После пугачевщины выдал он «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае». Они были замечены только среди поэтической молодежи. Будучи летами гораздо старше, Державин оказался литературным сверстником Капниста и Львова.

Он смиренно склонялся перед авторитетами; они с авторитетами готовы были бороться. Но, ища новизны и даже отчасти чуя к ней верный путь, сами они оставались поэтами заурядными. Напротив того, Державин, стремясь подражать, оказывался непроизвольно оригинален.

Его познания были слишком невелики. Он пополнял их жадно, но беспорядочно. С того дня, как он вышел из гимназии, учиться ему было некогда; к тому же он не умел учиться. Читалагайские оды были чудесной победой гения над безграмотностью. Свой собственный стих Державин обрел, имея весьма спутанные понятия о стихах вообще, не зная простейших правил, которые для Капниста и Львова были детскою азбукой. Державин делал ошибки в размере, в рифме, в цезуре, даже в языке: самые неотесанные провинциализмы уживались у него рядом с явными германизмами (немецкий язык был для него языком поэзии).

Его неопытность была очевидна Капнисту и Львову, но они, может быть, почуяли, что Державин превосходит их дарованием. В общем же почитали его себе ровней, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горацием и находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные влечения к реализму, которым силою вещей пора было зародиться в русской поэзии. Этим влечениям

предстояла долгая и славная жизнь, но тогда, при первом своем зарождении, они выражались в попытках заменить условности ломоносовской школы новыми условностями, представлявшими, однако же, некий шаг вперед.

Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время, под влиянием Львова, Капниста и Хемницера, в его поэзии совершился глубокий перелом. В действительности такого перелома не было. Учителя неопытные и сами себе не вполне уяснившие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просодические и стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем. Особенно тут старался Львов, чинивший державинские стихи с тою же дружеской хлопотливостью, с какой он устраивал служебные дела Хемницера и Капниста.

В глубине же державинской поэзии происходило медленное и закономерное развитие. Действительно, оно кое в чем совпадало с чаяниями Капниста и Львова: тут чутье их не обмануло, Державин был их естественным соратником. Но это развитие протекало самостоятельнее, чем казалось самому Державину. После Читалагайских од, написанных до литературной встречи с Капнистом и Львовым, следующий важный этап его поэзии составили стихи на смерть Мещерского. Но как раз они-то и связаны всего непосредственней с теми же Читалагайскими одами.

Едва увидел я сей свет,
Уже зубами Смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.

Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает:
Монарх и узник — снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет Время славу стерть:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы;
Глотает царства алчна Смерть.

Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою;
На то, чтоб умереть, родимся;

Без жалости все Смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

. . . .

Смерть, трепет естества и страх!
Мы — гордость, с бедностью совместна:
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра — где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век...

Где только не искали источников, из которых почерпнуты будто бы отдельные частности и сама мысль этих стихов! И у Горация, и у Петрова, и в Библии... Не обратили внимания лишь на то, что и мысль, и все замеченные параллельные места (и еще ряд незамеченных) имеются гораздо ближе: в той из Читалагайских од, которая переведена из Фридриха и называется «Жизнь есть сон»: «О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь! Лишь только ты родился, уже рок того дня влечет тебя к разрушающей нощи...» Много мыслей и образов перенесено из оды Фридриха в оду на смерть Мещерского, — вплоть до знаменитого обращения к Перфильеву:

Сей день иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам конечно, —

навеянного обращением Фридриха к Мовтерпию*.

Между Читалагайскими одами и «Одой на смерть кн. Мещерского» нет скачка; есть лишь огромное поэтическое развитие, которое становится особливо заметно именно потому, что так очевидна связь между ними. В стихах, родственных стиху Читалагайских од, но несравненно более совершенных, Державин говорит о владычестве смерти. В этом следует он за Фридрихом, но превосходит его. Державинская ода короче и сильнее. В ней каждое слово бьет прямо

* Который есть не кто иной, как французский ученый Мопертюи. Эта забавная ошибка произошла от необразованности и торопливости Державина. Французское Maupertuis он прочел на латинский лад да еще по рассеянности переставил буквы: получился Mauterpius, превратившийся по-русски в Мовтерпия. Этому легендарному лицу суждено было на многие годы стать спутником самых мрачных раздумий Державина.

в цель. Такой лапидарности и точности Державин, быть может, не достигал уже никогда впоследствии. Уже самая постановка темы замечательна. Державин не рассуждает, как Фридрих, но развертывает свою тему на конкретном примере, который, однако же, избран с таким расчетом, чтобы ода не оказалась слишком прикреплена к случаю.

Мещерский не был человеком выдающимся. В его лице Державин не оплакивает ни героя, ни прерванного поприща, ни кем-либо понесенной утраты. Мещерский — просто богач, «сын роскоши, прохлад и нег», ничего больше. Чем чувственней и обильней житейские блага, от коих его похищает смерть, тем разительней выступает предмет всей оды. Картина еще усилена внезапностью смерти. «Где стол был яств, там гроб стоит»: невозможно сказать общее и в то же время конкретнее; короче — и в то же время сильнее.

Державин не был другом Мещерского, был просто знакомым. Ходил слух, будто во времена пугачевщины он вешал людей «более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости». Это неверно. Но верно то, что с самой читалагайской поры размышления о смерти стали для него притягательны. Он охотно им предавался — среди счастия и довольства в особенности. Есть некое поэтическое сладострастие в том, как здоровый, благополучный, окруженный друзьями, любимый и любящий Державин созерцает смерть Мещерского и по поводу нее философствует. Четыре года он таил и вынашивал эти мрачные образы, выжидая лишь последнего толчка, подходящего случая, чтобы придать им форму, и с творческим наслаждением выбросил из себя. Таким случаем была смерть Мещерского. Резкие жизненные контрасты прельщали Державина так же, как резкие столкновения слов и образов. Эти стихи о скоротечности жизни и ложности счастия писал он как раз в те дни, когда твердо верил в свое счастливое будущее. Это верование прорвалось наружу: недаром в одной из заключительных строф он сказал о самом себе: «Зовет, я слышу, славы шум». То было первое из числа пророчеств, которых впоследствии он находил много в своих стихах и которыми столь гордился.

* * *

Тогда все поэты служили — звания писателя не существовало. Общественное значение литературы уже признавалось, но на занятие литературой смотрели как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особенным образом.

Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинства его стихам: равным образом не смотрел он и на стихи как на способ для добывания орденов и чинов; это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу восьмидесятых годов, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига.

Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселая его юность. Угнетение, произвол, бесправье, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали и отчасти, Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких. Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала: жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице-матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины; жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, — в самом языке его.

На усмирение пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям; он и усмирял ее со всеусердием — по тем же соображениям, и по долгу присяги, и потому, что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и грязным обманщиком. Но вот что весьма замечательно: не в личности Пугачева, конечно, но в пугачевщине, как движении народном, он очень

скоро почуял если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. След этих раздумий — в его письме к казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774 года: «Доложить вашему высокопревосходительству смею: надлежит искоренить взятки. Говорить о истреблении заразы сей потому я за должное себе поставляю, что разлияние оной наиболее всего, по моим мыслям, пособствует злу, терзающему наше отечество». Но это лишь след, лишь то, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отношения, которое в пору пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца.

Уже в ранних (очень слабых) стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах и общественных добродетелях. Однако ж автор нигде не говорит о том, что эти заслуги суть основание и оправдание ее власти. Державину с малых лет была внушена идея о святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. (Разумеется, очень хорошо, если при том имеются за ним и заслуги.)

После пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияла тут пугачевщина, решить невозможно, у нас нет прямых данных. Но в самом факте сомнения быть не может: уже в пору писания Читалагайских од Державин так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазание и титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах «пышность одежд» равняет царей не только с богами, но и куклами. Императорская порфира не мешает ее носителю падать и еще ниже:

Калигула, быть мнимый богом,
Не равен ли с своим скотом?

Два года спустя в «Эпистоле И.И.Шувалову» мысль эта повторена:

О! жалкий полубог, кто носит тщетно сан:
Пред троном тот ничто, на троне истукан.

Отсюда вовсе не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной

источник и иную опору. Вот отрицательная формула, из которой, однако ж, легко вывести и положительную:

Пускай в подсолнечную трубит
Тиран своим богатством страх;
Когда народ кого не любит,
Полки его и деньги — прах.

Это неуклюже, но ясно. Это значит, во-первых, что властитель, не опирающийся на народную любовь, в сущности, безвластен. Во-вторых, что он и не царь, а тиран, захватчик власти, которого можно согнать с престола, не совершая никакого святотатства. Следовательно, царя от тирана отличает не помазание, а любовь народа. Только эта любовь и есть истинное помазание. Таким образом, не только опорой, но и самым источником царской власти становится народ. Эта мысль не вяжется с укоренившимися представлениями о Державине. Однако ж она не случайно, не в «поэтическом жару» высказана; Державин постоянно к ней возвращается, она отныне лежит в основе его воззрений, и без нее понять Державина невозможно.

Под словом *народ* он склонен был разуметь всю нацию, и это ему удавалось, пока шла речь о делах военных или дипломатических, пока *русский* народ противополагался какому-нибудь иному. Но лишь только взор Державина обращался во глубину страны, непосредственное чувство тотчас побуждало его звать народом лишь обездоленную, бесправную часть нации. Дело, однако, шло вовсе не об одном крестьянстве: бедный дворянин, вотще ищущий суда и управы на богатого соседа, или мелкий чиновник, прижимаемый крупным, в глазах Державина были такими же представителями народа, как и крестьянин, страждущий от произвола помещичьего. Словом, так выходило, что кто страждет, тот и принадлежит к народу; царь же народный — защита и покров всего слабого и угнетаемого от всего сильного и угнетающего.

На Екатерину Державин взирал с благоговением. Он ожидал, что именно ей дано стать такой народной монархиней, «радостию сердец», способною облегчить народную долю, защитить слабых, укротить сильных, утереть слезы вдов и сирот. Эти надежды казались ему тем более основательными, что первые уроки вольно-

думства были даны ему самой жизнью, а вторые, более систематические, он извлек из екатерининского Наказа, этого собрания самых передовых, самых гуманных и либеральных идей, дотоле высказанных в России (да и не только в России: недаром распространение Наказа было воспрещено во Франции). Екатерина была его наставницей: уже в Читалагайских одах он делает прямые заимствования из Наказа. Больше того: Наказ и созыв Комиссии по составлению проекта нового уложения одушевили Державина главною мыслью, которой суждено было стать основанием его поэтического и служебного пафоса.

После того, как существующее законодательство было с высоты трона объявлено несовершенным и не ограждающим народа от произвола и кривотолка; после того, как отсутствие законности было признано первым злом русской жизни; после того, как законопослушание было названо основной добродетелью не только подданного, но и монарха, — у Державина, можно сказать, открылись глаза. Простое слово *Закон* в русском тогдашнем воздухе прозвучало как откровение. Для Державина оно сделалось источником самых высоких и чистых чувств, предметом сердечного умиления. *Закон* стал как бы новой его религией, в его поэзии слово *Закон*, как Бог, стало окружено любовью и страхом.

Наказ между тем давно лежал под сукном, а Комиссия была распущена. Это не смущало Державина. Екатерина в его глазах была навсегда озарена сиянием Наказа. Упрямый и прямолинейный, он в воображении своем наделял и ее этими двумя свойствами, которых в ней как раз не было. Тех сложных политических и личных обстоятельств, в которых протекала жизнь государыни и которые постепенно уводили ее от возвышенных предначертаний Наказа, он отчасти не знал, отчасти не хотел знать. Весьма рационалистически лишив монархию религиозного ореола, он в целости перенес этот ореол на голову данной монархини. Его поэтический гиперболизм превращался тут в политический. Екатерина в его глазах сделалась обладательницей гражданских, то есть вполне человеческих, добродетелей, но в полноте и степени уже не человеческой, титанической. Он допускал, что на ее пути могут встретиться и препятствия, и несчастия, но, с безжалостной

требовательностью обожателя, готов был им радоваться:

Услышьте все земны владыки
И все державные главы!
Еще совсем вы не велики,
Коль бед не претерпели вы!
Надлéжит зло претерть пятой,
Против перунов ополчиться,
Самих небес не устрашиться
Со добродетельной душой.

Богиню он хотел окружить жрецами, ее достойными. Он видел пороки и происки вельмож. Ему представлялся выбор: бичевать порок или поощрять добродетель. Он не хотел вовсе отказаться от первого, но избрал преимущественно второе: вот почему он не стал сатириком. Изображение добра представлялось ему более плодотворным, нежели обличение зла. Он старался создать образец вельможи добродетельного, великодушного, бескорыстного, пекущегося о народном благе:

Я князь, коль мой сияет дух,
Владелец, коль страстьми владею,
Болярин, коль за всех болею...

«Друг царский и народный» — вот, по его определению, истинный вельможа. Такими виделись ему Бибиков, И.И.Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут, именно в этой точке, поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонник *Закона* хотел стать его неколебимым блюстителем.

* * *

В 1779 году здание Сената перестраивалось. Державин, по должности экзекутора, наблюдал за работами. Между прочим, зала общего собрания была украшена новыми барельефами, изваянными Рашетом. По окончании работ Вяземский вздумал осмотреть залу. На одном из барельефов представлен был храм Правосудия; императрица, в образе Российской Минервы, вводила в него Истину, Человеколюбие и Совесть. Поглядев на обнаженную фигуру Истины,

Вяземский сделал кислое лицо и обратился к Державину:

— Вели ее, братец, несколько прикрыть.

Может быть, он не намеревался придать этим словам аллегорический смысл, но для Державина они прозвучали именно так. Чем ближе знакомился он с делами, тем видел яснее, что «стали отчасу более прикрывать правду в правительстве». Кое-какие проделки генерал-прокурора он уже приметил. В следующем году между ним и начальником впервые пробежала черная кошка.

Только что были учреждены экспедиции о государственных доходах и расходах. Они находились в ведении генерал-прокурора. Державин был назначен одним из советников экспедиции доходов, и это поставило его в непосредственную служебную близость к Вяземскому. Для начала надобно было составить «начертание» о круге действий и об обязанностях экспедиций. Случилось так, что те, кому надлежало бы этим заняться (в том числе Храповицкий), — уклонились, и Вяземский поручил дело Державину, — с неохотою, ибо почитал его не довольно опытным. Последнее было справедливо. Сам Державин не без отчаяния принялся за работу, постановив, однако же, лицом в грязь не ударить. Он заперся у себя и не велел никого принимать. «Поелику ему была дика и непонятна почти материя, то марал, переменял и наконец через две недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помочи». На общем собрании экспедиции, когда читался державинский труд, Вяземский всячески придирался, но все же вынужден был представить «начертание» государыне; оно было конфирмовано и вошло в Полное Собрание Законов (XXI, 15. 120).

Конечно, Державин был весьма горд: без знаний, без подготовки удалось ему выполнить поручение важное и ответственное. Он ждал награды — и не получил. Даже так выходило, что его труд едва ли не пытались приписать Храповицкому. Обиженный Державин поведал горе приятелю своему Львову; Львов был, что называется, правой рукой Безбородки, тогда состоявшего одним из секретарей государыни. Державин через голову Вяземского был произведен в статские советники. Понятно, какую досаду вызвало это в гене-

рал-прокуроре, тем более, что Безбородко был в числе его недругов. Он все же старался скрыть раздражение: приязнь между семействами Вяземских и Державиных поддерживалась, княгиня очень любила Екатерину Яковлевну.

Настал, однако же, день, имевший решительное влияние не только на отношения Державина с генерал-прокурором, но и на всю его жизнь.

То было в конце мая, в 1783 году. Державин обедал у Вяземских. Он был не в духе: с часу на час должно было решиться одно дело, исход которого тревожил его уже несколько месяцев. Вдруг после обеда, часу в девятом, вызывают его в переднюю; там стоит почтальон с пакетом; на пакете странная надпись: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину», — а внутри осыпанная бриллиантами золотая табакерка с пятьюстами червонцев.

Державин тотчас догадался, что это и есть решение его участи. «Но не мог и не должен был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрения во взятках: а для того подошел к нему, показал».

— Что за подарки от киргизцев? — гневно проворчал было генерал-прокурор. Но, осмотрев табакерку, он тоже все понял: посылка была от императрицы.

— Хорошо, братец, вижу и поздравляю, — сказал Вяземский. — Возьми, коли жалуют.

При этом постарался он улыбнуться, но улыбка вышла язвительная.

«Оду к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице» Державин написал еще в прошлом году, но ее вольный тон и насмешливые намеки на сильнейших вельмож — даже на Потемкина — показались опасны самому автору. Львов и Капнист были того же мнения. Решено было оду прятать, но пронырливый Козодавлев, живя с Державиным в одном доме, прочел несколько строк и упросил показать полностью. Потом, под страшными клятвами, взял списать для некоей госпожи Пушкиной, любительницы поэзии, а через несколько дней ода уже очутилась у И.И.Шувалова, — разумеется, по секрету. Шувалов в застольной беседе прочел ее нескольким господам — опять-таки по секрету. Они по секрету пересказали ее Потемкину — Потемкин ее затребовал от Шувалова. Тот в страхе

вызвал Державина и спросил, как быть: посылать целиком или выбросить строфы, относящиеся к Потемкину? Постановили послать целиком, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Тут только узнал Державин, какую огласку получили его стихи. Он поехал домой «с крайним прискорбием». Все это могло кончиться для него плохо.

Несколько месяцев ждал он последствий и томился неизвестностию. Меж тем к весне 1783 года кн. Дашкова, будучи директором Академии наук, задумала издавать журнал. Козодавлев в ту пору при ней состоял советником. Опять ничего не сказав Державину, он принес Дашковой «Фелицу» — и 20 мая, в субботу, ода внезапно появилась в первой книжке «Собеседника любителей российского слова». Теперь она должна была дойти до императрицы; Державин жил в страшном волнении, не зная, чего ожидать. В день обеда у Вяземских приход почтальона разрешил все, — страхи сменились великой радостью.

К тому, что писали о ней в стихах и в прозе, Екатерина была любопытна. Прежние похвалы Державина, в сущности, более громкие и глубокие, нежели те, которые заключались в «Фелице», она, вероятно, тоже читала. Но они даже не запомнились — потонули в хоре привычной лести. А над «Фелицей» она несколько раз принималась плакать. «Как дура, плачу», — сказала Дашковой. Почему же она была так растрогана?

Она не слишком любила стихи, не много в них понимала и самого вещества поэзии не чувствовала. Вопросы чистой поэзии не занимали ее. При всей любви к литературным упражнениям, она не умела составить ни одного стиха и сама в том признавалась; даже легонькие куплеты для своих комедий заказывала другим. Чем выше парило стихотворение, чем было высокопарнее (вернем этому слову его прекрасный первоначальный смысл), тем слабее оно доходило до ее слуха, тем менее было способно затронуть в ней чувства.

«Фелица» должна была прийтись ей по вкусу и пониманию — именно теми особыми свойствами, которые снижали это произведение как собственно оду: своей сатирической стороной, своим легким, шутливым тоном, своим бытовым, приближенным к обыденности материалом, наконец — самим слогом,

который Державин так метко назвал «забавным», с его «низким» словарем и обильными заимствованиями из повседневной речи. Эти же качества вызвали бурный успех «Фелицы» и у большинства тогдашних читателей (в том числе у многих стихотворцев), и у потомства. Не должно, однако, смотреть на «Фелицу» как на преобразование оды. На самом деле то было не преобразование, а разрушение. Конечно, значение «Фелицы» в истории русской литературы огромно: с нее (или почти с нее) пошел русский реалистический жанр, этим она способствовала даже развитию русского романа; но ода, как таковая, в ней не преобразована, потому что она сама переставала уже быть одой: до такой степени в ней нарушена одическая традиция русско-французского классицизма.

Но вернемся к Екатерине. Конечно, не литературными свойствами «Фелицы» были вызваны ее слезы; эти литературные свойства только открыли императрице доступ к пониманию оды, сняли печать со слуха.

Чувствительность не была ей чужда; знавала она и сильные увлечения; случалось, что приступы горя или гнева овладевали ею; но при всем том здравый смысл покидал ее разве лишь на мгновения. В частности, она очень трезво и просто смотрела на собственную особу. Дальше всего она была от того, чтобы считать себя каким-нибудь сверхъестественным существом. Когда ее изображали богиней, она принимала это как должное, но не узнавала себя в этих изображениях. Шлем Минервы был ей велик, одежды Фелицы пришлись как раз впору. Державин думал, что внешняя шутливость тут искупается внутренним благоговением. В глазах же Екатерины это было как раз такое изображение, которому она могла, наконец, поверить. То, что казалось Державину почти дерзостью с его стороны, нечаянно обернулось лестью, проникшей Екатерине в самое сердце. В «Фелице» она увидала себя прекрасной, добродетельной, мудрой, но и прекрасной, и мудрой, и добродетельной в пределах, человеку доступных. А сколько внимания было проявлено автором не только к ее государственным трудам, но и просто к привычкам, обычаям, склонностям, сколько подмечено верных и простых черт, даже обиходных мелочей и пристрастий! Словом, при всей идеальности, портрет и на самом деле был очень схож. Екатерина

считала, что безымянный автор разгадал ее всю — от больших добродетелей до маленьких слабостей. «Кто бы меня так хорошо знал?» — в слезах спрашивала она у Дашковой.

Даже такая, в сущности, мелочь, как выгодное сравнение с окружающими вельможами, доставила ей удовольствие. Это сравнение было вполне в ее духе: она не хотела быть выше сравнений. Она довольно суетливо принялась рассылать оттиски «Фелицы» Потемкину, Панину, Орлову — всем, кто задет был автором: императрица и самодержица всероссийская любила разыгрывать с приближенными забавные witz'ы[1] в духе доброго старого ангальт-цербстского захолустья. Табакерка с червонцами, посланная «мурзе Державину» от имени киргизской царевны, конечно, принадлежала сюда же. Но она разом ставила Державина очень высоко, как бы вводила его в круг людей, с которыми императрица шутит.

В тот майский вечер, с табакеркой Фелицы в кармане, Державин уходил от Вяземского новою знаменитостью. Последующие дни принесли ему такую шумную литературную славу, какой Россия до тех пор не видывала. В поэтическом отношении эта слава была бы справедливее, если бы последовала тотчас за стихами на смерть Мещерского. Но были общественные причины ей прийти именно теперь. Дух «Фелицы» стал духом «Собеседника». Журнал сделался прибежищем смелой общественной критики. Похвалы Екатерине в нем сочетались с острой полемикой по поводу таких предметов, о каких прежде молчали. Екатерина собственными писаниями тому способствовала, пока не пришлось ей полемику прекратить, ибо языки развязались слишком.

* * *

Екатерина любила давать прозвища; Вяземского она звала Брюзгой. Был он человек желчный. У него не было оснований *завидовать* Державину, но его раздражало, зачем отличают Державина не через его посредство. Когда же отличие выпало за стихи, генерал-прокурор вышел из себя. После «Фелицы» он уже

---

[1] Witz — острóта (*нем.*).

«равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог: привязываясь во всяком случае к нему, не токмо насмехался, но и почти ругал, проповедуя, что стихотворцы не способны ни к какому делу». Следует, впрочем, и пожалеть его: судьба была немилосердна к этому человеку, имевшему мужество ненавидеть поэзию открыто: чуть не все его подчиненные были стихотворцами.

Как ни упоен был Державин милостию императрицы, он по мере сил сдерживался, пока дело не шло дальше насмешек и происков, направленных лично против него. С Вяземским он то ссорился, то мирился (мирили по обыкновению жены). Коса все же нашла на камень, когда задеты были его гражданские чувства, его преданность делу и долгу.

В 1783 году была закончена последняя так называемая ревизия, которая, ввиду увеличения оброка с казенных и частновладельческих крестьян, должна была дать государству заметное повышение доходов. Полученные от губернаторов ведомости об ожидаемых поступлениях предстояло принять во внимание при составлении доходной табели на предстоящий год. Вдруг Вяземский, ссылаясь на неясность и неполноту этих новых ведомостей, потребовал, чтобы табель составили на основании старых. На деле это должно было привести к тому, что доходы будут показаны значительно ниже тех, которые поступят в действительности. Против такой утайки восстал Державин: он не мог допустить, чтобы государыня была обманута.

Замечательно, что поведение генерал-прокурора он себе объяснял довольно еще невинно. Предполагал он, во-первых, что Вяземский, воюя за власть с губернаторами, хочет под них подкопаться, изображая их нерадивость; во-вторых же — что Вяземский, зная расточительность Екатерины, скрывает от нее часть доходов, чтобы в подходящую минуту, «будто особым своим изобретением и радением», найти для нее лишние деньги и тем выслужиться. Державин не знал, что сокрытие доходов не Вяземским было придумано и практиковалось еще при Елизавете Петровне генерал-прокурором Глебовым ради обыкновенного воровства. Едва вступив на престол, Екатерина проверила счета и открыла целых двенадцать миллионов утайки. Вяземский был не доблестней своего предшественника.

Как бы то ни было, после тяжелых сцен с генерал-прокурором, Державин забрал ведомости домой, сказался больным и через две недели представил собранию экспедиции новую, свою табель. Сколько ни придирались к ней, были вынуждены признать, что доходу может быть показано по крайней мере на восемь миллионов более, чем в прошлом году. «Нельзя изобразить, какая фурия представилась на лице начальника».

Победа все-таки обошлась Державину дорого. Дальнейшая служба при Вяземском стала невозможна, он подал в отставку, и определением Сената был уволен в чине действительного статского советника. Конфирмуя доклад об его увольнении, императрица сказала Безбородке: «Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет, а как надобно будет, то я его позову». Всю историю с сокрытием доходов она знала в точности. О преследованиях, которым Державин подвергался со стороны Вяземского, Фонвизин прозрачно намекал на страницах «Собеседника», и смысл этих намеков, конечно, известен был государыне. Но Вяземский не услыхал от нее ни одного упрека.

Если бы Державин надо всем этим задумался, он, может быть, уже теперь понял бы то, что ему пришлось понять много позже.

* * *

Был слух, что казанский губернатор уходит в отставку. Державин стал метить на его место. Предстояли об этом хлопоты, но Державин решил наперед, что поедет в Казань при всяком исходе: либо губернатором, либо просто отдыхать и хозяйствовать года на два. Как раз в это время мать написала ему, что тяжело больна, не надеется выжить и просит приехать проститься с нею. (Шесть лет они не видались.)

В феврале 1784 года, покуда стоял санный путь, Державин отправил в Казань весь домашний скарб, но сам с женою задержался еще в Петербурге. Губернаторство, в общем, было обещано, однако дело нужно было подталкивать. И вот, посреди хлопот, стараний, подчас унижений и забеганий перед сильными

сего мира, стало его тревожить беспокойство вовсе иного рода.

Года четыре тому назад, во время пасхальной заутрени в Зимнем дворце, посетило его вдохновение; приехав домой, он в горячности положил на бумагу первые строки оды:

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в трех лицах Божества!
Дух, всюду сущий и единый...

Но порыв миновался, мышцы душевные ослабели. Отвлекаемый службой и светскими суетами, сколько ни принимался он — продолжать не мог. Про себя постоянно, однако же, возвращался к начатой оде, в глубине памяти копил мысли и образы, то собственные, то извлеченные из чтений. За четыре года все это в нем, наконец, дозрело и стало проситься наружу. Теперь, на свободе, он опять взялся за перо, но все-таки суета житейская, городская мешала ему. Сердце хотело уединения, он решил бежать. Вдруг объявил жене, что едет осматривать белорусские свои земли, в которых никогда не был, хоть владел ими семь лет. Стояла самая распутица, о дальней дороге нечего было думать. Жена удивилась, но он ей не дал опомниться. Доскакал до Нарвы, повозку и слуг бросил на постоялом дворе, снял захудалый покойчик у старой немки и заперся в нем.

Он писал, пока сон не валил его на постель, а проснувшись, вновь брался за работу. Старуха носила ему пищу. Он работал в таком же диком уединении, в таком же неистовом напряжении телесных и душевных сил, в каких Челлини отливал некогда своего Персея. Так продолжалось несколько дней.

То была вновь *высокая* ода. Державин сам с замиранием сердца ощущал высоту своего парения. Образы и слова он вновь громоздил, точно скалы, и, сталкивая звуки, сам упивался звуком их столкновений.

Он написал не много — около ста строк всего. Из них не все сделаны из одинаково драгоценного материала, но все равновесны и одинаково наполнены. В этих стихах не трудно узнать автора Читалагайских од. Но там все-таки был перед нами отчаянный подма-

стерье, работавший наугад, знавший замечательные удачи, но местами лишь портивший материал; теперь это полный мастер. Не трудно узнать в нем и лаконического автора оды на смерть Мещерского. Но теперь его лаконизм перестал быть порывист и угловат. В «Боге» Державин привел в движение какие-то огромные массы; столь же огромна сила, на это затраченная, но ни единая частица ее не пропадает даром, и надсада, усилия мы нигде не видим. Таково на сей раз его господство над материалом, что с начала до конца все в оде движется стройно и плавно, несмотря на то, что в процессе работы он постепенно отходит от первоначального замысла. Вдохновение владеет им, но материалом владеет он.

Его первою целью было вообразить величество Божие. Взор его устремлен был к Богу. Но по мере того, как предмет ему открывался, его охватывало изумление перед собственною способностью к подобному постижению. Смотря на собственное отражение в оде, видел он отражение Бога в себе самом — и все более поражался:

Ничто! — Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт,
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! — Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем с высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь — конечно есь и Ты!
Ты есь! Природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет:
Ты есь — и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.

С этого стиха ода Богу стала одой божественному сыновству человека:

Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества.

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб, я червь — я Бог!
Но будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? — безвестен,
А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие,
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! в бессмертие Твое.

Тут охватило его такое упоение величайшею гордостью и сладчайшим смирением, открытыми человеку, такое невыразимое счастие пребывания в Боге, что далее уж писать он не мог. Было то уже ночью, незадолго до рассвета. Силы его покинули, он уснул и увидел во сне, что блещет свет в глазах его. Он проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему — вокруг стен бегает свет. И он заплакал — от благодарности и любви к Богу. Он зажег масляную лампу и написал последнюю стро́фу, окончив тем, что в самом деле проливал благодарные слезы за те понятия, которые были ему даны:

Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображения бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

Когда он кончил, был день.

V

Хлопоты о губернаторстве затянулись до самого лета и кончились не совсем так, как мечтал Державин: его назначили не в Казанскую, а в Олонецкую губернию. Казанская была ему не в пример удобнее: он знал местные нужды и обстоятельства, имел знакомства

в городе и в губернии, а главное — под боком были его деревни, которые требовали хозяйского глаза. Но такова была воля императрицы.

Олонецкая губерния принадлежала к числу тех, которые только что учреждались. Ее открытие предстояло лишь в декабре, указ же о назначении Державина состоялся в мае. Поэтому Державин взял отпуск и поехал с женою в Казань. Там его ожидало горе: Фекла Андреевна скончалась за три дня до его приезда. Впоследствии он всю жизнь каялся, что так долго откладывал эту поездку. Но что делать? Оплакав мать и побывав в деревнях, где им так и не суждено было похозяйничать, Державины возвратились в столицу. Весь домашний скарб, перед тем понапрасну отправленный в Казань, теперь они привезли обратно.

Приготовления к переезду в Олонецкую губернию отняли много времени и труда. Надо было расплачиваться с долгами и многим обзаводиться. К тому же Державин, погорячившись, взвалил на себя расход вовсе лишний и непосильный: видя, что на оборудование губернаторского дома и будущих присутственных мест казна дает мало денег, вздумал он чуть не все оборудовать на свой счет и закупил груду мебели. Ради этого влез он в новые долги да еще заложил женины серьги; заветная табакерка, подарок Фелицы, тоже пошла к процентщику.

Наконец, все было улажено, вещи и мебель отправлены водою вперед, а в начале октября, откланявшись государыне у нее в кабинете, тронулся в путь и Державин. Он ехал целым обозом, везя с собою не только слуг, но и набранных в Петербурге чиновников, в том числе секретаря Грибовского. Узнав об его отъезде, Вяземский произнес пророчество, столь же странное по форме, сколь и по содержанию мрачное:

— Скорее черви полезут по моему носу, — сказал он, — нежели Державин долго просидит губернатором.

* * *

Губернаторство, хотя бы Олонецкое, имело в себе много привлекательного для Державина. По службе то было несомненное повышение; деятельность оно

сулило живую, разнообразную; наконец — открывало доступ к тому, что Державин считал как бы своим призванием: к прямому насаждению законности там, где доныне о законности имели всего менее понятия. Работы предстояло много, но труд никогда его не отпугивал. По сравнению же с Петербургом, где жил он слишком пестро, где волнения сменялись волнениями, — глушь олонецкая рисовалась ему местом отдыха. Одиннадцать лет тому назад поскакал он на усмирение Пугачева — и с тех пор не видал ни единого дня покоя (да и раньше покоя было не много). Он мечтал о жизни патриархальной, отданной трудам служебным и поэтическим.

Что до глуши, расчет оказался верен. За восемьдесят лет до того при впадении реки Лососинки в Онежское озеро был построен Петром Великим артиллерийский завод. Постепенно оброс он домишками; образовалось селение, у которого поначалу даже имени своего не было: так оно и звалось Петровским заводом. Только в 1777 году оно было объявлено уездным городом Петрозаводском, а теперь превращалось в губернский город новоучрежденной Олонецкой губернии. Населяли его купцы, мещане да разночинцы, а всего жителей обоего полу считалось три тысячи. Вокруг, на огромном пространстве, до самого Белого моря, — дремучие леса да скалы, поросшие соснами, да непроходимые болота и тундры. Зимой здесь почти не бывает дня, летом — ночи. По тундрам текут прозрачные, светловодные реки; порою они образуют озера или кипучими водопадами свергаются со скал вниз. Реки обильны рыбою, а леса зверьем. Летом над тундрою тучами носится мошкара. Зато людей мало: на 136 000 квадратных верст — всего 206 000 жителей: лапландцев, карелов, русских (по большей части раскольников). Это выходит по полтора человека на квадратную версту. Селения редки, а уездных городов и всего четыре: Олонец, Вытегра, Каргополь да Повенец. Дорог большею частью нет никаких: по болотам и тундрам летом проезду нет вовсе; ездят только зимою, и то гусем.

Несколько зданий в Петрозаводске именовались каменными; на самом деле были они деревянные и лишь снаружи обложены кирпичом. Все они принадлежали казне. В одном из них Державин и поселился.

То было одноэтажное, длинное, плоское, как пирог, строение с одиннадцатью окнами по фасаду; по бокам, несколько отступя в глубину, стояли два флигеля. Все это было обнесено палисадником и выходило на широкую, немощеную улицу, похожую на площадь. Перед домом стоял фонарь, окруженный заборчиком, и две коновязи. Больше никаких монументов в городе не было.

В другом подобном же здании жил генерал-губернатор. Нужно принять во внимание, что в ту пору губернии были соединяемы по две и по три в так называемые наместничества. Во главе наместничеств стояли наместники (или генерал-губернаторы), которым было подчинено соответствующее число правителей наместничества (иначе — губернаторов просто). В состав Олонецкого наместничества вошли две губернии: Олонецкая и Архангельская. Одновременно с назначением Державина в Олонецкую губернию некий Ливен был назначен губернатором в Архангельскую, а генерал-губернатором над ними обоими поставлен Тимофей Иванович Тутолмин. Резиденцию свою он имел в Петрозаводске и к приезду Державина уже находился там.

Тутолмин был немного старше Державина. Некогда он служил в военной службе, но лет девять тому назад перешел в штатскую, имея, впрочем, Георгиевский крест за лихую кавалерийскую атаку против турок. Он не лишен был способностей, но несчастие его характера составляли транжирства и фанфаронство почти безумные. Отсюда проистекали какие-то осложнения, заставившие его покинуть полк (был он Сумским гусаром). Покровительство Румянцева привело его в Тверь, сперва вице-губернатором, а потом губернатором. Он что-то перетранжирил. Его перевели на место «не столь видное и дорогое, как Тверь» — в Екатеринославль. После пятилетнего пребывания в Екатеринославле он был назначен Олонецким наместником.

В северной глуши, средь забытого Богом и людьми, частью полудикого населения, привыкшего круглый год питаться рыбкою ряпушкой да зловонной соленой пальей, Тутолмин вообразил себя не только представителем императрицы, но как бы и вовсе императором. Он окружил себя почестями едва ли не царскими. При выездах его сопровождали отряды сфор-

мированной им кавалерии. С собою привез он целую свиту из офицеров, которые ослепляли лапландцев великолепием своего убранства. По петрозаводским улицам засновали их щегольские кареты, хотя в четверть часа можно было пешком пересечь город из конца в конец. По вечерам генерал-губернаторский дом сиял светом и гремел музыкой — Тутолмин устраивал балы с придворною церемонией. В главной зале он воздвиг императорский трон; в табельные дни, когда приглашенные к обеду сидели за большими столами, Тутолмин обедал отдельно — у подножия трона (хорошо еще — не на троне).

Державину это все показалось просто *дурачеством*, но отношения между ним и наместником сложились хорошие; ежедневно они посещали друг друга с женами. Поскольку встречались «не в должности», Державин добродушно сносил «почти несносную гордость и превозношение» Тутолмина.

Когда настала пора открывать губернию, Тутолмин растянул торжества на целую неделю. Были молебны, проповеди, колокольный звон, пушечная пальба; наместник устраивал пиршества и произносил речи с высоты трона. Состоялось даже народное угощение на площади. Наконец 17 декабря были открыты новые учреждения и произведены выборы из дворян, городских жителей и крестьян в члены губернских и уездных присутственных мест. Олонецкая губерния стала быть. Но первый день губернии стал последним днем мира.

* * *

Пределы власти не были в точности разграничены между губернатором и наместником; их служебные отношения не были определены ясно. Ответственность по управлению губернией лежала на губернаторе, который в действиях своих отчитывался перед высшим правительством. Казалось бы, при таком построении власти существование наместника излишне. Меж тем ему вверен был общий надзор за административными и выборными учреждениями. Оказывалось даже, что из этих учреждений одни как будто более подчинены наместнику, другие же — губернатору. В конце концов,

и те и другие зависели от каждого в отдельности и от обоих вместе.

В самый день открытия губернии Тутолмин прислал губернатору «новый канцелярский обряд», то есть постановление о производстве дел во всех учреждениях. «Обряд» настолько затрагивал соотношение учреждений и даже существо дел, что сам собой превращался в книгу законов, изданных наместником и императорской властью не утвержденных. Эту книгу Тутолмин составил еще в Екатеринославле. В ней попадались распоряжения дельные, но были и незаконные, и просто нелепые. Например, директору экономии предписывалось подавать годичные ведомости о насаждении лесов: для Екатеринославской губернии это было хорошо, но в Олонецкой леса и без того были непроходимы. Державин, впрочем, не стал особенно разбираться: большинство тутолминских распоряжений клонилось к превращению административной власти в судебную и законодательную. Это был именно тот произвол, который Державин почитал величайшей российской язвой и которого искоренение ставил себе целью. Часу не медля, он кинулся на дом к Тутолмину и, что называется, ткнул ему в нос екатерининский указ 1780 года о том, чтобы никто из генерал-губернаторов «не делал от себя собственно никаких установлений, но всю власть звания своего ограничивал в охранении Наших постановлений».

Тутолмин «затрясся и побледнел». Вероятно, таков же стоял перед ним и Державин. В ту минуту поняли они оба отчаяние своего положения: Державин увидел, что несчастьем его губернаторства будет борьба с самоуправством наместника, Тутолмину же открылось, что Державин отравит ему все упоение властью.

Война началась. Державин вначале одержал две победы. Первую — когда сам Вяземский принужден был элегически написать наместнику: «Чего, любезный друг, в законах нет, того исполнить неможно». Вторую — когда Тутолмин ездил в Петербург жаловаться на Державина Вяземскому — и вернулся ни с чем, потому что Державин успел через Безбородку пожаловаться самой государыне. Каждый раз после боя наступала краткая передышка. Во время второй Тутолмин вздумал переменить тактику и оружие.

Чиновничье население Петрозаводска было, можно сказать, вполне классическое. Все эти советники, прокуроры, заседатели, экзекуторы, судьи были предками тех, кому суждено было через пятьдесят лет явиться в творениях Гоголя. Державин со своими гражданскими добродетелями был им непонятен, а то и смешон. Видя рознь между Тутолминым и Державиным, они очень скоро перестали его бояться; знали, что чем крепче досадят губернатору, тем вернее найдут защиту и покровительство у наместника. Они и совсем потеряли к нему уважение, будучи изо дня в день свидетелями придирок, привязок и оскорбительных выходок, которые разрешал себе Тутолмин «даже и при купечестве». Дошло до того, что некоторые присутственные места отложились от губернатора и признали над собой единственно власть наместника. Совершилось это не сразу и не открыто, а постепенно, путем мелочного противодействия по каждому отдельному поводу. Державин не мог каждый раз прибегать к защите Сената, в котором к тому же сидел Вяземский. Таким образом, учреждения, сохранившие верность Державину, были как бы парализованы. Борьба наместника с губернатором перешла в борьбу между учреждениями, и чиновный Петрозаводск оказался разделен на два лагеря. Впрочем, даже в своем собственном Державин не чувствовал себя вполне господином, ибо Тутолмин, путем разных изворотов, присвоил себе исключительное право перемещения чиновников и представления их к наградам: понятно, что после этого сердца склонились к наместнику. Державину оставались верны лишь немногие. Он был окружен врагами, тем более опасными, что они действовали приказными каверзами, увертками, *ерихонскими крючками*, каких его прямой ум не мог да и не хотел предвидеть: гнушался ими.

Борьба с каждым днем становилась противнее и подлее. На Державина наседали. Каждое слово его, каждое приказание вызывали то грубое противодействие, то уклончивую волокиту, подвох, клевету, сплетню. Одна история не успела кончиться — начиналась другая. Покуда Державин вел бесконечную прю с губернским прокурором Грейцем, одним из бесчисленных подлипал наместника, — уже секретарь Сафонов донес о каких-то неблагопристойных поступках советника губернского

правления Соколова. Соколов обозлился и перестал ходить в должность. Державин велел его освидетельствовать, потому что он ссылался на болезнь. Штаб-лекарь Рач, по научном исследовании, определил у Соколова геморрой и зубную боль, но советник казенной палаты Шишков в собрании чуть не всего городского общества стал божиться, будто на соколовском теле найдены синяки от побоев, нанесенных Державиным. Сам Соколов, наконец, заявил, что никаким побоям не подвергался, но ему уж никто не верил.

По каждому поводу слухи, суды и пересуды, цепляясь один за другой, перевирались и размножались по городу. Нельзя уже было разобрать, что ложь, а что правда. Настало лето. В душные белые ночи Державин томился бессонницей и тяжелыми мыслями. Зато жизнь дневная казалась противным сном наяву. Воздух наполнился болотною мошкарой. Наконец, как водится в страшных снах, из толпы человеческих призраков высунулась косматая морда зверя. Медведь появился.

Он появился в верхнем земском суде: сидел в председательских креслах и лапу, обмакнутую в чернила, прикладывал к листу белой бумаги, которую подносил ему секретарь для скрепы. То есть, быть может, лапу и не прикладывал, и секретаря тут не было. Может быть, даже и медведя не было, а был маленький медвежонок, но в городе говорили, будто большой медведь, и сам губернатор посадил его в кресла. Разобраться тут нелегко, но вот что во всяком случае достоверно.

10 мая, на Фоминой неделе, заседатель верховного земского суда, бывший артиллерии поручик Молчин поутру шел в должность. Присутствия в тот день не было, а председатель суда Тутолмин (двоюродный брат наместника) находился в отпуску. Молчин поэтому шел не спеша. Поравнявшись с губернаторским домом, увидел он (в палисаднике, вероятно) знакомого медвежонка, который принадлежал асессору Аверьянову, жившему у губернатора во флигеле. Зверь был ручной, узнал Молчина и пошел за ним. Поручику это показалось забавно. Придя в суд, объявил он чиновникам о прибытии нового члена, *Михайлы Ивановича Медведева*, — и впустил медвежонка в комнату. Шутка успеха не имела. Гостя прогнали палкою.

Тем бы делу и кончиться. Но семейство Тутолминых вернулось из отпуска, и молва тотчас известила их о событии. Уверяли, что по приказанию Державина медведь был посажен на председательское место и прикладывал лапу свою к бумагам. Младший Тутолмин, «худо грамоте знавший», усмотрел в этом намек, пасквиль и персональное себе оскорбление. Заварилось дело, полетели бумаги от наместника к губернатору и обратно...

8 июля Державин, вконец измученный, писал Безбородке: «От всех нелепых привязок у меня голова вскружилась. Тимофей Иванович дневными своими предложениями в наместническое правление произвел не токмо ко мне от всех отвращение, но можно сказать благопристойный бунт... Только и знаю, что делаю отражения, не выходя из пристойности. Но сколько-нибудь в отдохновение еду на будущей неделе осматривать губернию и елико можно далее в лопские погосты. Изведите из темницы душу мою!»

* * *

Он выехал 19 июля, в сопровождении секретаря Грибовского и экзекутора Николая Федоровича Эмина. (Это был молодой человек не без способностей, склонный к поэтическим упражнениям, но чрезвычайно обидчивый и непрестанно занятый обереганием своего достоинства.)

План путешествия был намечен лишь в общих чертах. Предполагалось посетить берега Онежского озера и местности, лежащие от него к востоку, в направлении Пудожа, Каргополя и Вытегры. Тронулись в путь водою, причаливая к пустынным рыбачьим островам или подымаясь по речкам, которыми изобилуют северные, глубоко изрезанные берега озера. Местами из лодок пересаживались на коней и ехали верхами. Так посетили Кончезерские заводы. Потом, на третий день путешествия, пробравшись к деревне Вороновой, стали от нее подыматься вверх по течению Суны. Река мелка и порожиста. Ехали в маленьких лодочках, среди скалистых, изменчивых берегов. Проплыв версты три, увидели, что река покрывается пеной. Лес в этом месте подходит к самой воде, и под зыбким сводом нависших

над нею сосен Суна течет не спеша, вся белая. Чем дальше плыли, тем обильнее становилась пена; окаймляя берег, она целыми шапками оседала на его камнях. По этой млечной реке плыли версты две, потом услышали вдалеке гул и грохот, а справа, над берегом, увидели как бы дым. По мере приближения он сгущался, а шум становился громче. Проплыли еще с версту и там, где река круто сворачивала направо, причалили. Выйдя на берег, поднялись в гору, пересекли небольшую луку и увидели водопад.

Зажатый в ущелье, меж черных отвесных скал, *Кивач* тремя хаотическими уступами падает на четвертый, откуда всем изобилием своих вод низвергается еще раз с восьмисаженной высоты. От удара вода разбивается в брызги, в пену и столпами стеклянной пыли бьет ввысь. Солнечные лучи играют в ней радугой. Гигантские сосны, растущие возле берега, до самых вершин ею увлажнены. Эмин важно записал в путевом журнале: «Чернота гор и седина бьющей с шумом и пенящейся воды наводят некий приятный ужас...» Державин велел на вершине срубить сосну и бросить ее в водопад. Через несколько минут выплыли из жерла одни обломки и щепы. Державин ушел от Кивача потрясенный. Снова сев в лодки, тем же путем пустились обратно, и водопад еще долго провожал их стихающим ревом; потом только белизною пены; потом, замедляя бег, исчезла и пена. По тихой, прозрачной реке выплыли в светлый простор Онеги.

В душе Державина петрозаводские дрязги уже уступали место иным, более возвышенным впечатлениям, но козни Тутолмина преследовали его по пятам. Когда, осмотрев славные мраморные ломки на реке Тивдии, путники переплыли Онежское озеро и прибыли в Пудож, их там ожидало приказание наместника ехать на крайний север губернии, чтобы открыть город Кемь. В летние месяцы проникнуть туда сухим путем невозможно: окружающие болота вовсе непроходимы. Надобно забирать восточнее, на Сумский острог, и оттуда плыть Белым морем. Но в июле и в августе, когда уже начинается сильный ветер, никто при тогдашнем состоянии судоходства на такое путешествие не отваживался. Тутолмин рассчитывал, что Державин откажется от поездки и его можно будет лишний раз обвинить в неповиновении.

Но Державин поехал. По Онежскому озеру и его берегам добрались до самого Повенца. Дорогою посетили древний монастырь на острове Полье, побывали во многих скитнях раскольников-беспоповцев, видели замечательные свидетельства разврата, обмана и беззакония, так же, как прямой веры и великого подвижничества. Тут, между прочим, Державин издал секретное распоряжение «о недопущении раскольников сжигать самих себя, как часто то они из бесноверия чинили».

Отдохнув в Повенце, двинулись дальше к северу, то в маленьких челноках, то верхами. Пробирались лесными чащами, где стоял грибной дух и бродили медведи, олени, лоси. Пересекали болота, поросшие вереском, клюквой, морошкою. Перевалив гору Мосельгу, стали спускаться к Белому морю. Переплыли Выг-озеро, на котором дважды настигла их буря, и наконец прибыли в Сумы.

19 августа, на шестивесельных лодках, управляемых лопарями, пустились по морю. От Сум до Кеми 95 верст. Плыли, держась берегов, как делали древние мореплаватели. В Кеми, по уверениям Тутолмина, были уже заготовлены присутственные места и канцелярские служители. Державин ничего этого не нашел. Насилу-то удалось отыскать священника: его привезли с какого-то острова, где он косил сено. Обошли селение, окропили его святой водой и послали в Сенат и Синод донесения об открытии города Кеми.

Соловецкие острова лежат против Кеми в 60 верстах. Державин задумал их посетить, но попал в полосу бури и едва не погиб. Эмин и Грибовский уже лежали без чувств на дне лодки. Гребцы выбились из сил и пали духом. Наконец лодку чудом выбросило на голую скалу посреди моря. Тут путники провели ночь и утром вернулись обратно, не побывавши на Соловках.

От Кеми началось возвращение в Петрозаводск. Описали большую дугу на Каргополь и Вытегру, проезжали деревни и села, где иконы и женские одеяния унизаны речным жемчугом, где справляются еще древние языческие обряды, где поются былины про Микулу Селяниновича. 13 сентября Державин вернулся домой, ознакомившись с краем и освежив душу.

* * *

В Петрозаводске все было по-прежнему. Тутолмин сумасбродил, город утопал в дрязгах. Дело о медведе оказалось доведено до Сената, в общем собрании которого Вяземский кричал не своим голосом:

— Вот, милостивцы, как действует наш умница стихотворец: он делает медведей председателями!

Целый месяц Державин писал в Петербург объяснения и рапорты, оспаривая наместника и умоляя прекратить дело, которое «может только быть поводом к смеху целой империи». Сенат, несмотря на Вяземского, положил дело под сукно. Тутолмин между тем не сдавался и слал в Петербург донос за доносом. Они доводили Державина до отчаяния, которого он не умел скрывать. Тутолминская партия (а к ней принадлежал почти весь город) чувствовала, что одолевает, что Державин вот-вот погубит себя какой-нибудь выходкой. Вдруг обнаружилась в нем непонятная перемена: он стал спокоен и словно чему-то легонечко улыбался.

Улыбаться, однако же, было как будто нечему. Как раз в конце октября он узнал, что в приказе общественного призрения, где Грибовский исполнял должность казначея, не хватает тысячи рублей наличными да, сверх того, нет расписок в получении купцами семи тысяч, которые были им розданы заимообразно. Канцелярская сторона была так обставлена, что при желании можно было и самого Державина обвинять в соучастии. Кто бы усомнился, что как только история обнаружится, тутолминская партия сумеет ею воспользоваться?

Державин потребовал от Грибовского объяснений. Тот покаялся, что, выдавая ссуды купцам, не брал с них расписок при условии, что они распишутся после, когда будут возвращать деньги. Ссуды, таким образом, становились как бы бессрочными. За это Грибовский получал взятки. Что же касается тысячи, им лично растраченной, то Грибовский признался, что проиграл ее в карты, ведя игру с вице-губернатором, губернским прокурором и председателем уголовной палаты.

При других обстоятельствах Державин, конечно, отдал бы казначея под суд. Но теперь ему было неког-

да ждать судебной развязки. Все, что случалось в Петрозаводске, представлялось ему дурным сном, и, исходя из этого, он придумал закончить дело особым и странным образом.

Он заставил Грибовского тут же, не сходя с места, письменно изложить все признание, с поименным перечнем, что и кому проиграно. Это было 27 октября, в седьмом часу вечера. Отпустив Грибовского, Державин тотчас вызвал к себе вице-губернатора. Тот явился. С самым дружеским видом Державин поведал ему о растрате и просил совета, как поступить. Вице-губернатор стал важно читать Державину наставления, бранил Грибовского и требовал, чтобы поступлено было по всей строгости закона. Тогда Державин дал ему прочитать признание Грибовского. Увидя имя свое между игроками, вице-губернатор «сначала взбесился, потом оробел и в крайнем замешательстве уехал домой».

Затем был призван председатель уголовной палаты, и с ним все повторилось точь-в-точь, как с вице-губернатором. До губернского прокурора очередь дошла уже ночью. Но прокурор был не так-то прост. Он не испугался, а заявил, что даст делу ход, да с тем и уехал.

Наутро Державин отправился в приказ общественного призрения, велел привести купцов и, грозя немедленною тюрьмой, заставил их выдать расписки на все семь тысяч. Документы были приведены в порядок, а недостающую тысячу Державин внес из своих денег. Вернувшись к себе в правление, он уже там застал прокурора; тот явился с формальным протестом против действий губернатора, призвавшего его ночью и пугавшего бумагой, в которой он был облыжно замешан в картежное дело.

Но тут, вероятно, прокурору показалось, что губернатор сходит с ума: Державин решительно объявил, что никогда его ночью не вызывал, никакие деньги не пропадали, и все это, очевидно, прокурору приснилось. Если же он сомневается, то может побывать в приказе общественного призрения и лично во всем убедиться, освидетельствовав казну и книги. Прокурор помчался в приказ и вернулся оттуда в крайнем смущении: теперь уж ему казалось, что сходит с ума он сам.

Тем временем собрались чиновники губернского правления. Державин при всех вернул прокурору его бумагу и еще раз подтвердил, что все бывшее — только «*сонная греза*», которая всем привиделась. Потом, приказавши подать шампанского, он наполнил бокалы и попросил присутствующих пожелать ему счастливого пути. Шампанское выпили, и губернатор с супругою в тот же день отбыл из города для обозрения двух уездов, которые ранее не были им осмотрены.

Вслед за тем произошло событие чрезвычайное. Олонецкий губернатор, действительный статский советник Державин, отбыв для осмотра губернии, исчез и не возвращался более. Никто не знал, где он и что с ним. Повергнув в крайнее недоумение самого наместника, и все чиновничество, и все общество петрозаводское, губернатор растаял, «*как сонная греза*».

* * *

В последнее время он был потому так спокоен, что, исхлопотав себе отпуск, решил отправиться не в уезды, а в Петербург, — и уж больше не возвращаться. Заканчивая дела, он уже представлял себе, каково будет всеобщее изумление, когда он исчезнет. В этой необычной затее было, конечно, много не только юмора, но и поэтического воображения. Лишь поэту могло прийти в голову разыграть олонецкую действительность как венецианскую комедию и превратить отъезд губернатора в исчезновение волшебника.

Должно, однако, взглянуть на дело и с другой стороны. Предсказание Вяземского сбылось: Державин и году не просидел губернатором. Вяземский не умом (которого у него было мало), но просто хитростию и опытом (которых у него было вдоволь) предугадал очень верно, что при взглядах Державина и при его характере на губернаторстве ему предстоит неизбежная борьба и столь же неизбежное поражение. Это не потому, что Державину предстояло столкнуться именно с Тутолминым. Будь на месте Тутолмина кто угодно из тогдашних администраторов — все

равно и самое столкновение, и его исход были предрешены. Так и вышло. Державин, выражаясь его же слогом, «донкишотствовал собой» десять месяцев и оказался не только побежден, но и смешон, потому что его волшебный отлет из Петрозаводска при переводе на язык прозаический был не что иное, как бегство.

Конечно, Державин боролся во имя закона, и закон всегда (или почти всегда) был за него. Потому-то в открытых боях с Тутолминым он и не был разбит ни разу. Но его взяли измором. Силы его иссякли и не могли не иссякнуть, ибо на его стороне была правда, а на стороне противников — вся грубая сила тогдашнего российского быта. В борьбе за закон у Державина не было опоры ни в обществе, ни в самом правительстве. Законы писались даже усиленно, но как-то само собой подразумевалось, что исполняться они должны лишь до известной степени и по мере надобности (преимущественно дворянской). Не отрицалось, что законы гораздо лучше исполнять, нежели не исполнять. Но одному лишь Державину их неисполнение казалось чем-то чудовищным. Нарушителей закона никто прямо не поощрял, но и карать их у власти охоты не было. Державин этого не хотел взять в толк. Кидаясь на борьбу с нарушителями закона, он всякий раз был уверен, что «щит Екатерины» делает его неуязвимым. Отчасти оно так и было. Но — тот же щит покрывал и его врагов. Выходило, что Минерва Российская равно благоволит и к правым, и к виноватым, и к добрым, и к злым. Почему? Вот загадка, которой Державин не только еще не решил, но и не поставил перед собой открыто.

Кажется, он не отваживался об этом думать. Однако негодование порою душило его, и он давал волю чувствам. В одну из таких минут (уже лет пять тому назад) он переложил в стихи 81-й псалом. Писал, далеко отступая от подлинника, подражая, а не переводя. Пьесу тогда же он отдал в «С.-Петербургский Вестник». Ее было напечатали, но тотчас же и вырезали из книжки — издатели испугались. Теперь Державин все написал сызнова, но не смягчая, а, напротив, — усиливая. Пять лет не даром прошли: вместе с силою поэтической возросла в нем и ярость. Тогда он более сетовал, теперь обличал:

Восстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их.
«Доколе», рек: «доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг — спасать от бед невинных,
Несчастным подавать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков».

Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! — я мнил: вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!

Державин добился того, что эти стихи, которых не решались печатать в их прежнем виде, были напечатаны в новом, более резком. Ссылка на подражание псалму могла бы служить надежным прикрытием, но Державин зачеркнул старое заглавие «Псалом 81» и сделал новое, свое собственное: «Властителям и судиям». Такова была его прямота: он знал, что пьеса возникла, в сущности, не из чтения Библии, но из созерцания России. Дело все в том, однако, что эти стихи выражали не всю полноту и не самую глубину его чувств. Глубже гнева и вопреки самой логике, равно неподвластная доводам чувства, как и рассудка, в нем по-прежнему коренилась упрямая вера в Екатерину — добродетельную монархиню, окруженную злыми сановниками. Эта вера и оставалась главным двигателем его поступков. В Петербурге он стал добиваться нового губернаторства — и добился.

* * *

Поэт, посетивший Тамбов мимоездом ровно через пятьдесят лет, нашел, что

> В нем есть три улицы прямые,
> И фонари, и мостовые...
> В нем зданье лучшее острог.

В марте 1786 года, когда прибыл туда Державин, ни острога, ни мостовых еще не было. Город, расположенный в котловине и окруженный болотами, утопал в грязи. Строения были самые жалкие, сплошь деревянные. Большую часть жителей составляли однодворцы. В отношении торговом Тамбов, хоть и губернский город, стоял ниже окружающих его уездных. Но все же население его было втрое больше, чем в Петрозаводске, карелы да чудь не бродили по его улицам. В окрестностях были недурные поместья.

Губерния существовала всего шесть лет, но губернаторы в ней то и дело сменялись. Державин был уже пятый. Дела находились в крайнем неустройстве. Предстояло все старое привести в порядок и учредить много нового. Державин ревностно принялся за работу. Наместник Гудович имел пребывание в Рязани, и отчасти благодаря этому Державин сразу почувствовал ту свободу, которая нужна была его рвению. Несколько поосмотревшись на новом месте, Екатерина Яковлевна писала Капнисту: «Начальник очень хорош; кажется, без затей, не криводушничает, дал волю Ганюшке хозяйничать; теперь совершенный губернатор, а не пономарь». Державин радовался и сам: «Я здесь против Петрозаводска душевно и телесно воскрес».

Всего Державину суждено было прожить в Тамбове с марта 1786 по конец 1788 года, то есть три года без малого. Из них первые полтора ознаменованы трудами разносторонними и успешными. Не имея правильной подготовки, он обнаружил за это время несомненный административный дар, желание вникнуть в местные нужды и обстоятельства, умение действовать смело и широко, но обдуманно. Теперь он доказал, что причиной его олонецкого бездействия были препятствия, чинимые Тутолминым.

Путем привлечения опытных чиновников из столицы было ускорено и налажено делопроизводство присутственных мест; с тою же целью открыта гу-

бернская типография; из Петербурга выписаны печатные экземпляры указов и прочих узаконений. (По этому поводу Державин писал одному знакомому: «В здешней губернии великий недостаток в законах; безызвестно, были ли они когда здесь в употреблении».) По части финансовой он добился исправности в сборе податей и недоимок; искоренил во многих местах беспорядочное хранение казны; увеличил доходы приказа общественного призрения. В губернии были проложены дороги, наведены мосты и приняты меры к развитию судоходства по реке Цне. В городе были исправлены старые казенные постройки и возведен ряд новых, отчасти даже кирпичных. Наконец, движимый своим постоянным, не показным, но деятельным человеколюбием, Державин озаботился устройством таких учреждений, самая мысль о которых не приходила в голову его предшественникам: положено было начало сиротскому дому, богадельне, больнице, дому для умалишенных. Тюремные здания, где преступники содержались бесчеловечно, были улучшены, и ужасное положение колодников облегчено (за это начальство выразило Державину «род некоторого неудовольствия»).

Но всего более забот и усилий Державин затратил на постановку учебного дела. Два рассадника просвещения существовали в Тамбове: духовная семинария — для детей духовенства, а для всех прочих сословий — гарнизонная школа, выпускавшая круглых неучей. Открытие училища было давно предположено правительством; существовала лачуга, для того предназначенная; существовал даже гарнизонный школьник Севастьян Петров, уже два года получавший пособие в качестве будущего преподавателя. Но дальше этого дело не двигалось. Державин быстро добился того, что четырехклассное училище, с обширной и по тому времени хорошо составленной программой, было открыто; для него куплен дом и выписаны учебные пособия: книги, тетради, прописи, ландкарты, аспидные доски, грифели, карандаши, даже физические приборы. Подысканы были учителя. (Петрова, по проверке его познаний, пришлось зачислить учеником, а не учителем.) Наконец, кроме губернского училища, были открыты еще и уездные — в Козлове, Либедяни, Шацке, Елатьме и Моршанске.

Высшее общество тамбовское не чуждалось просвещения, хотя, разумеется, Простаковы и в нем преобладали над Стародумами. Державины завели знакомства и зажили на широкую ногу. Их дом, обставленный новой сафьянной мебелью, фортепьянами, биллиардом, стал в Тамбове самым блистательным. В нем устраивались приемы, балы и обеды с симфонической музыкой (в городе нашлись два крепостных оркестра). Из Малороссии целыми пудами Державиным слали варенья и конфеты, из Петербурга — партии вин. 28 июня 1786 года, в день восшествия на престол и по случаю приезда наместника, был устроен праздник. Сперва шло сочиненное Державиным аллегорическое представление — род искусства, ныне забытый и нам уже непонятный; люди XVIII столетия умели в нем находить пищу не только для глаз, но и для ума. Сцена собою представляла храм, являлись разные лучезарные Фебы и Гении, были гирлянды, шествия, юноши с венками и девы с цветочными кошницами — все совершенно так, как в древних Афинах. Представление было разыграно местною благородною молодежью и закончилось балом с иллюминацией. Отсюда пошло начало театра, устроенного Державиным в губернаторском доме. Под руководством Екатерины Яковлевны девицы из общества шили и расписывали костюмы, разучивали свои роли. Ставились французские оперы и комедии, также трагедии Сумарокова, «Недоросль». Спектакли имели такой успех, что спустя год Державин приступил к постройке особого здания для театра. По воскресеньям у губернатора были танцевальные вечера, по четвергам — концерты. Сверх того, для детей два раза в неделю происходил танцкласс: выписан был танцмейстер.

Приятно распределяя время между трудами и удовольствиями, Державины благоденствовали. Несколько огорчала их только разлука с былыми друзьями. Вспоминались далекие дни петербургского поэтического содружества. Львов по-прежнему жил в столице; добрый, бедный Хемницер тому назад года два умер, то ли от лихорадки, то ли от меланхолии, в чужой, далекой Смирне, куда послан был генеральным консулом (это место выхлопотал ему счастливый Львов); Капнист давно бросил службу, жил в своей

Малороссии, на живописных берегах Псла, мечтал, хозяйничал и рожал детей со своею Сашенькой. Екатерина Яковлевна писала им: «Милые наши Копиньки. Давно мы уже об вас ничего не знаем, а сами в Тамбове поживаем веселым-веселехонько. Кабы да вы к нам приехали: теперь близехонько; то-то бы навеселилились — не Петрозаводску чета; если нельзя вместе с Александрой Алексеевной, то хотя бы один приехал. Апропо, вспомнила я, что я к вам послала еще в декабре месяце прекрасную корзиночку своей работы и с нашими силуэтами, которые в ней были в медальонах... Утешь, батюшка, приезжай к нам ради Бога».

Петрозаводск неспроста здесь помянут: Державины не могли нарадоваться, что оттуда вырвались. Вот и теперь жена одного чиновника тамошнего писала Екатерине Яковлевне: «Не вытерплю, чтоб не сказать, что у нас вышло в самую в заутреню праздника. После торжественных выстрелов директорша в церкви прибила куличем и зажгла свечею штаб-лекаршу, и, вышед из церкви, ругала подлым образом, и, по улице ехав, также ругала во всю мочь; причина же вины бедной и хворой штаб-лекарши та, что стала несколько впереди ее... Штаб-лекарь так огорчен, что хочет идти в отставку. Эта история получше медведя, так что у нас, матушка, страшно ездить и в церковь».

После Петрозаводска Тамбов мог и впрямь показаться вторыми Афинами, — однако же до поры до времени.

* * *

Подобно Тутолмину, Гудович был человек военный. Военные заслуги за ним и числились, гражданских же не было, но, в отличие от Тутолмина, Гудович за ними не гнался. Этому роду деятельности придавал он не много значения и, очутившись во главе наместничества, объединявшего Рязанскую и Тамбовскую губернии, не то чтобы вовсе ничего не делал, но старался делать как можно меньше. Предоставляя Державину свободу действий, он ничем не жертвовал; напротив, ему именно нужен был такой губернатор, на которого без опаски можно свалить работу. Отсюда и возникло то взаимное удовольствие, коим ознаменована первая

половина державинского пребывания в Тамбове. Представляя Державина к ордену, наместник свидетельствовал, что Державин «всю губернию привел в порядок». И это была правда. Державин со своей стороны называл Гудовича благорасположенным, справедливым и честным начальником.

Гудович не испытывал того сладострастия власти, которое обуревало Тутолмина; однако же, как все тогдашние администраторы, и он порою не мог устоять против искушения: радости самодурства были ведомы и ему, хотя, может быть, даже менее, чем другим. К закону он относился вполне терпимо и даже доброжелательно. По тем временам один Державин мог требовать большего.

Но, не пылая рвением к службе и охотно вверяя бразды правления другим (в том числе Державину), он легко поддавался влияниям. А так как из влиятельных лиц не все хотели, подобно Державину, сиять добродетелью, то в Тамбовской губернии можно было обманывать казну, как во всякой другой. Постепенно Державин в том убедился.

Когда он приехал из Петрозаводска в Петербург и стал просить нового губернаторства, за него, при посредстве Львова, хлопотали очень сильные люди: гр. А.Р.Воронцов, Безбородко (теперь тоже уже граф), тогдашний фаворит Ермолов и отчасти даже Потемкин. При таких покровителях можно было добиться и не того. Екатерина согласилась. Державин по простодушию своему увидел в ее согласии знак нарочитого одобрения и доверия. Это еще более придало ему стойкости (иль упрямства).

Тамбовский купец Бородин был плут. С помощью вице-губернатора Ушакова и генерал-губернаторского секретаря Лабы он сперва обманул казну при поставке кирпича, а потом получил винный откуп на таких условиях, что казне предстояли убытки в полмиллиона рублей. Державин тщетно указывал Гудовичу на бородинские плутни: зная или не зная истинную подоплеку дела, Гудович во всяком случае стал на сторону своих «приближенных». Вскоре узналось, что путем ложного банкротства Бородин собирается учинить новое мошенничество. Не надеясь на силу доводов и боясь упустить время, Державин в обеспечение казенного интереса собственной властью наложил

арест на бородинское имущество. Покрывая Бородина, Ушаков склонил Гудовича жаловаться в Сенат. В Сенате Вяземский рад был насолить давнему недругу, и на наместническое правление (то есть на Державина) был наложен штраф в 17 000 рублей.

Не успело кончиться это дело, как возникло еще одно. В августе 1787 года Турция объявила войну России. Главнокомандующий Потемкин прислал в Тамбовскую губернию своего комиссионера Гарденина — закупать провиант. Казенная палата должна была снабдить комиссионера деньгами, но Ушаков, в ведении которого она состояла, в выдаче сумм отказал, имея в том свою выгоду. Этот отказ грозил снабжению армии замедлением, а казне убытками. Гарденин обратился за помощью к Державину, из чего и поднялась буря. Подробности этой истории чрезвычайно сложны. Суть в том, что Державин, видя беззаконные приемы Ушакова, не удержался и сам отчасти прибег к тому же оружию. Будучи по существу прав, но по форме бессилен перед увертливым противником, он кое в чем позволил себе нарушить канцелярский обряд и даже, быть может, несколько превысил свою власть. Этим тотчас воспользовались. Гудович, по обычаю покрывая вице-губернатора и будучи лично задет властными действиями Державина, уже 7 апреля 1788 года писал Воронцову и просил «развода» с Державиным, яко причиняющим «беспокойство в делах и замешательство вместо должной по службе помощи». (Свою недавнюю аттестацию он уже забыл.) Соответствующие рапорты были посланы и в Сенат. 22 июня Сенат объявил Державину выговор.

С этих пор провиантское дело отошло как бы на задний план и началась просто борьба между губернатором и наместником. Обе стороны искали изобличить друг друга в упущениях и проступках. Все канцелярии были пущены в ход, и, как прежде в Петрозаводске, в борьбу оказались вовлечены многие лица и учреждения. Город разделился на два лагеря — преобладали сторонники Гудовича и Ушакова. С тех пор, как положение Державина пошатнулось, его хлебосольство было забыто, вместе с театрами и концертами. Глазам тамбовского общества губернатор представился странным, беспокойным, а может быть, и опасным человеком, который во всем берет сторону

бедных против богатых, заботится о колодниках и умалишенных, а с начальством ссорится. Державиных стали травить. Некая госпожа Чичерина, встретив Екатерину Яковлевну в гостях у помещика Арапова, наговорила ей колкостей. Отвечая ей, Екатерина Яковлевна сделала неловкое движение и нечаянно задела противницу опахалом. На другой день весь Тамбов говорил о побоях, нанесенных губернаторшею почтенной даме. Поднялся такой шум, что предания об этой истории не умирали в Тамбове сто лет без малого. Ушаков, Лаба и еще кое-кто из чиновников подстрекнули Чичериных жаловаться императрице. Жалобу сочиняли впятером, просидев над ней целый вечер.

Гудович тем временем продолжал наступление на Державина. Нельзя отрицать, что последний, обороняясь, действовал заносчиво и давал поводы к новым обвинениям. Петербургские друзья, которым дело было виднее, предупреждали его, но он стоял на своем, видя в борьбе с Гудовичем исполнение своего долга и по обычаю уповая на конечную справедливость Екатерины. В одном из тогдашних писем он говорит: «Иногда небезнужно иметь и врагов, чтобы лучше не сбиваться с пути законов». В ту пору написал он на смерть старой графини Румянцевой оду, которую закончил такими словами:

Меня ж ничто вредить не может:
Я злобу твердостью сотру;
Моих врагов червь кости сгложет,
А я пиит — и не умру.

Как пиит он и остался бессмертен. Но как губернатора дни его были сочтены. На основании рапортов Гудовича и под давлением Вяземского Сенат представил императрице «мнение» об отрешении Державина от должности и о предании суду. Доклад еще не был утвержден, когда весть о нем дошла до Тамбова. Положение Державина стало невыносимо. Он был, по собственному выражению, «загнан и презрен» всем городом. Одно слово императрицы могло бы изменить его положение. Он просил дозволения приехать в столицу — ему было приказано «проситься по команде», то есть через наместника. Гудович, конечно, не выпустил его из Тамбова. 18 декабря роковой доклад был конфирмован. Губернаторство кончилось.

* * *

В ста пятидесяти верстах от Тамбова, на берегу Хопра, лежало красивое и богатое поместие по имени Зубриловка. Державины там не раз гостили у радушных и гостеприимных хозяев — князя и княгини Голицыных. Осенью 1788 года кн. Сергей Федорович находился в армии, осаждавшей Очаков. От него долго не было вестей, княгиня тревожилась, и Державин, как ни поглощен был своими делами, послал ей в ободрение стихи: «Осень во время осады Очакова». Они не принадлежат к его лучшим созданиям; их видимое воодушевление таит следы принужденности: Державину было не до стихов.

При отрешении от должности с него взяли подписку о безвыездном пребывании в Москве впредь до окончания дела, которого рассмотрение было поручено московскому Сенату. Покинув Тамбов в самом начале 1789 года, Державин направился в Москву, но наперед заехал в Зубриловку и там оставил жену. Разлука в столь горестную минуту была тяжела для обоих, но она имела свои основания.

Предстоящий суд очень страшил Державина. В конечном счете он почитал себя правым (да и был прав), но за ним имелись кое-какие вины — следствия раздражения и горячности. Придраться было к чему, а кроме того, он понимал, что приговор суда зависит не от одной правды, но еще более от того, чье влияние пересилит в Петербурге.

Главный сыр-бор разгорелся из-за потемкинского комиссионера. Естественно было Державину искать защиты у того же Потемкина, к которому он и обращался по этому поводу еще до отрешения от должности. Перед лицом Потемкина было у него несколько ходатаев: во-первых — Попов, потемкинский делопроизводитель и наперсник, с которым Державин давно был в хороших отношениях; во-вторых — тот самый Грибовский, которого спас он в Петрозаводске: Грибовский теперь состоял при светлейшем и рад был помочь своему благодетелю. Были еще и другие пути, но особливые надежды возлагались на кн. Голицыну: она приходилась Потемкину родною племянницей. Вот и жила теперь у нее Екатерина Яковлевна — соломенною вдовою и как бы живым напоминанием о деле.

Впрочем, княгиня, женщина несколько экспансивная, старалась и без того, даже сверх всякой меры, так что однажды чуть было не повредила Державину. К Пленире она была чрезвычайно ласкова, но та мучилась и томилась: все думалось ей, что Державин в Москве не довольно усердствует по своим делам. «Не знаю, куда ты ездишь, — писала она, — где что с тобою приключалось; я думаю, что не грешно было бы каждый вечер прибавить строчку или две твоего похождения; я бы была как будто не розно с тобою, но теперь очень чувствую мое уединение... Я думаю, что ты ленишься своими выездами, мой друг: теперь надо быть не лениву и стараться быть тут, где тебе нужно... Я не живу праздно у княгини и прилежание мое за шитьем беспредельно, ибо я, работая, размышляю о тебе и не вижу, как от того поспешно идет моя работа; я почти вышила уже камзол князю Сергею Федоровичу, который кажется очень хорош вышился... Княгинин курьер еще не бывал от светлейшего; она его ждет с нетерпеливостью, так как и я, верный твой друг, твоих писем и твоей к себе доверенности, и чтобы ты отнял у меня право тебе пенять. Сего желает твоя *Катюха*».

Потемкин пообещал сделать все возможное, но лишь когда вернется из армии. Поэтому Державин старался в Москве оттянуть дело. Меж тем кн. Голицына, взяв с собою Екатерину Яковлевну, отправилась в Петербург. Потемкин приехал туда в феврале. Просьбами о Державине ему прожужжали уши, но был слух, что он скоро опять уедет в армию. Теперь уже приходилось торопить дело, чтобы враги не воспользовались отсутствием светлейшего. Наконец 16 апреля суд начался, а 31 мая закончился. Видно, Потемкин сдержал обещание — Державин был по всем пунктам оправдан.

Гроза миновалась. Теперь было самое время Державину поразмыслить, можно ль и должно ль ему пытаться служить *и словом, и делом*. Иногда он хотел бросить службу. Задумывался даже о том, уместен ли он вообще среди того общества, которому судьба обрекла его. Недаром он год спустя писал государыне: «Ежели бы не царствовала Екатерина Вторая, прозорливостию своею в свете несравненная, которая меня спасает и животворит и на которую я одну всю мою

надежду возлагаю, то, как Богу, Вашему Императорскому Величеству исповедую, что должен бы я давно оставить мое отечество».

VI

Екатерина смотрела на вещи трезво. За поэзией Державина она еще могла допустить какие-то высшие побуждения, но за службой, конечно, нет. «Несравненная прозорливостию» немало бы удивилась, если бы вдруг ей сказали, что служба Державина вдохновлена тою же мыслию, что и поэзия. Еще более она была бы изумлена, когда бы узнала, что, буйствуя в службе, Державин своею союзницей почитает ее — добродетельную монархиню, провозгласительницу Наказа. Об этих буйствах императрица была наслышана. Их вдохновительницей почитала она — такова насмешка судьбы — не кого иного, как Матрену Дмитриевну Бастидонову! Подписывая сенатский указ и предавая Державина суду, Екатерина сказала:

— Он стихотворец, и легко его воображение может быть управляемо женою, коей мать злобна и ни к чему не годна.

Она, впрочем, была довольна, когда суд оправдал Державина. По этому случаю перечла «Фелицу» и велела сказать Державину, что «ее величеству трудно обвинять автора оды к Фелице»:

— Cela le consolera[1].

И кроме того:

— On peut lui trouver une place[2].

Утвердив приговор, она приказала гофмаршалу представить Державина. Тот явился в Царское. Екатерина дала ему поцеловать руку и с улыбкой сказала присутствующим:

— Это мой собственный автор, которого притесняли.

Такие фразы предназначены передаваться из уст в уста. Все были восхищены, но и *притеснители* не могли пожаловаться: они не услышали ни одного уп-

---

[1] — Это его утешит (*фр.*).
[2] — Можно найти ему место (*фр.*).

река и сохранили места свои, а Державин как был отстранен от должности, так и остался. Правда, придворные политики предсказывали ему «нечто хорошее», но он не очень надеялся. На сердце у него было смутно. «Возвращаясь в Петербург, размышлял он сам в себе, что он такое — виноват или не виноват? в службе или не в службе?» Ему перестали выплачивать жалованье: дело не в деньгах, но это был худой знак. Больше всего его мучило, что сенатский приговор касался почти только его служебных сношений с Гудовичем, он же «хотел доказать императрице и государству, что он способен к делам, неповинен руками, чист сердцем и верен в возложенных на него должностях». Поэтому он решился просить особой аудиенции по делам Тамбовской губернии.

Александр Васильевич Храповицкий делал карьер свой умно и спокойно. Теперь он уже состоял при императрице «по собственным ее делам и у принятия прошений». Каждый вечер, кратко, но дельно записывал он в дневнике, чему был свидетель в минувший день. 1 августа, в среду, в 9 часов утра Державин приехал в Царское. Под мышкою нес он огромную переплетенную книгу — всю переписку с Гудовичем и другие бумаги. Храповицкий провел его в Лионскую залу. Здесь оробел Державин и рассудил за благо оставить на столе свою книгу. Затем камердинер ввел его в Китайскую комнату.

Государыня дала ему руку. Поцеловав, благодарил он за правосудие и просил дозволения изъясниться по делам губернии. Она спросила, почему этих объяснений он не представил Сенату.

— Было бы против законов: о том меня не спрашивали.

— Для чего же ты прежде о том мне не писал?

— Я писал; мне объявлено генерал-прокурором, чтобы я просился чрез генерал-губернатора, а как он мне неприятель, то не мог сего сделать.

— Но не имеете ли в нраве вашем чего-нибудь строптивого, что ни с кем не уживаетесь?

— Я служил с самого простого солдатства и потому, знать, умел повиноваться, когда дошел до такого чина.

— Но для чего, — подхватила императрица, — не поладили вы с Тутолминым?

— Он издал свои законы, а я присягал исполнять только ваши.

— Для чего же не ужился с Вяземским?

— Государыня! Вам известно, что я написал оду Фелице. Его сиятельству она не понравилась. Он зачал насмехаться надо мною явно, ругать и гнать, придираться ко всякой безделице; то я ничего другого не сделал, как просил о увольнении из службы и по милости вашей отставлен.

— А для чего же не поладил с Гудовичем?

— Интерес Вашего Величества, о чем я беру дерзновение объяснить Вашему Величеству, и ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил там.

Тут он собрался отправиться в соседнюю комнату, но Екатерина остановила его:

— Хорошо, после.

Он догадался подать ей краткую записку по делам Тамбовской губернии. Она его отпустила, вновь пожаловав руку и пообещав дать место.

Вечером Храповицкий записал в дневнике: «Провел Державина в Китайскую и ждал в Лионской». И далее — слова императрицы: «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться; надобно искать причину в самом себе. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. Il ne doit pas être trop content de ma conversation[1]».

* * *

Ласкательство, лживая лесть, низменное потворство считались предосудительными. Но искать *покровительства*, не прибегая к ласкательству, было в порядке вещей. Никакого стыда в том не видели. Когда при дворе появлялся новый любимец, искать его покровительства было даже выражением некоей благонамеренности.

Державин по воскресеньям ездил на выходы во дворец. «Но как не было у него никакого предстателя, который бы напомянул императрице об обещанном месте, то и стал он как бы забвенным. В таком случае не оставалось ему ничего другого делать, как искать

[1] Он не должен быть чересчур доволен беседой со мной (*фр.*).

входу к любимцу Государыни... В то время, по отставке Мамонова, вступил на его место молодой конной гвардии офицер Платон Александрович Зубов... Как трудно доступить до фаворита! Сколько ни заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что он или почивает, или ушел прогуливаться, или у Императрицы... Не оставалось другого средства, как прибегнуть к своему таланту». Державин не стал писать оды в честь Зубова; но мог, не кривя душой, написать «Изображение Фелицы». Через Эмина, бывшего спутника по олонецким путешествиям, ода была вручена Зубову, тот, конечно, показал ее государыне, а государыня, «прочетши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу». Общество Державина она, очевидно, считала полезным для маленького чернобрового шалуна; она вообще заботилась об образовании своих любимцев: читала с Ланским Альгаротти, с Зубовым Плутарха... Но дело не в том: выходило, что легче найти дорогу через императрицу к Зубову, нежели через Зубова к императрице. Таков был странный круг отношений. Знакомство, как бы то ни было, завязалось. Но время шло, а места, которого ждал Державин, все не было.

Поэтические досуги, о которых мечтал он, отправляясь в Олонецкую губернию, не состоялись. Все эти годы он почти не писал — во всяком случае, не создал ничего замечательного. Зато теперь выходило досуга больше, чем он хотел бы. Постепенно он занялся стихами, и таково было его поэтическое здоровье, что, несмотря на все потрясения, он, как ни в чем не бывало, вернулся к «Видению мурзы», на котором остановился шесть лет назад. Теперь оно было закончено; для него вновь обрел он замысловатый лад и крепкий задор тех счастливых дней, когда табакерка Фелицы еще не лежала в закладе; что же до пылкого поклонения Екатерине — оно устояло против всех испытаний:

Как солнце, как луну поставлю
Твой образ будущим векам;
Превознесу тебя, прославлю,
Тобой бессмертен буду сам.

Можно было бы ожидать, что за годы, потерянные на губернаторстве, слава его убудет. Но она воз-

росла. Его читали и перечитывали. В этой поэзии, начиная с Читалагайских од, открывали новшества и достоинства, не оцененные ранее. Теперь, к сорока семи годам, он очутился если не вожаком, то знаменем новой литературы. Шум, происшедший вокруг его имени, тяжкая опала и внезапное возвышение («это мой собственный автор») — все это подогревало общее к нему любопытство. Его дом вновь наполнился. Помимо анакреонтического Львова, помимо порой приезжавшего из деревни Капниста (с неизменным Горацием на устах и в кармане), явились тут и маститые авторы, сверстники Державина, уже пережившие свою славу: мечтательный, томный и как бы совсем невесомый Богданович (творец «Душеньки» писал теперь скучные комедии вперемешку с нежною, но поверхностной лирикой); обрюзглый Фонвизин, полуразбитый параличом и раздавленный немилостью императрицы. Были и литераторы, только еще подающие надежду: Иван Семенович Захаров, один из многочисленных переводчиков неизбежной «Телемахиды», уже, впрочем, не юноша; Алексей Николаевич Оленин, крошечный человечек с огромным горбатым носом, истинный кладезь всевозможных познаний, особенно в языках. Был и Дмитрий Иванович Хвостов, плодовитейший стихотворец (впрочем, надежд он как будто не подавал).

Однажды утром Державин, в атласном голубом халате и в колпаке (у него стали сильно лезть волосы), что-то писал у себя в кабинете, стоя перед высоким налоем; Пленира, в утреннем белом платье, сидела в кресле посреди комнаты; парикмахер ее завивал. В сей неурочный час явился представиться знаменитому певцу высокий и сухощавый семеновский офицер; то был двадцатидевятилетний поэт Иван Иванович Дмитриев, родом из-под Симбирска; он робел и косил глаза на конец длинного, тонкого своего носа. Поговорив о словесности, о войне, он хотел откланяться. Хозяева стали его унимать к обеду. После кофия он опять поднялся, но еще был упрошен до чая, — а потом в две недели стал своим человеком в доме. Имел он суждение здравое, разговор острый, стих легкий.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 1790 года, он просил дозволения привести к обеду своего земляка

и друга, который ненадолго в Петербурге — проездом в Москву из чужих краев — и, будучи литератор, хотел бы свидетельствовать Гавриле Романовичу свое почтение. Литератор был зван к обеду. В тот день у Державиных обедал также петербургский вице-губернатор Новосильцев с женою. Новый знакомый, почти еще юноша, одетый во фрак по последней моде, сделал на всех отличное впечатление. По имени-отчеству звали его Николай Михайлович, по фамилии — Карамзин. Сидя за столом подле Екатерины Яковлевны, он рассказывал о недавно виденных странах — особенно о Париже. В его разговоре были приятно смешаны важное и забавное, ум и чувствительность. Он говорил о парижских театрах, для коих не находил довольно похвал; о физиогномии Мармонтеля; об уличных цветочницах; о прекрасной Версалии, о сельских красотах Трианона; об академиях и о том, что вино в деревеньке Anteuil, некогда славное, ныне уж никуда не годится; о том, что в придворной церкви он видел короля и королеву (король был в фиолетовом кафтане; королева подобна розе, на которую веют холодные ветры); дофина видел он в Тюльери — младенец прыгал и веселился, прекрасная Ламбаль вела его за руку; после 14 июля во Франции все твердят об аристократах и демократах, о нации; революция была неизбежна, еще Рабле предсказал ее в LVIII главе «Gargantua»; земля освободится от сего бедствия не иначе, как упившись кровью...

Но тут рассказчику показалось, что молодая и прекрасная хозяйка коснулась ногою его ноги. Потом еще и еще, сомнения быть не могло. Не смея себе изъяснить сие чрезвычайное обстоятельство, он смешался, красноречие его покинуло... После стола хозяйка отвела его в сторону и объяснила, что госпожа Новосильцева — племянница Марьи Саввишны Перекусихиной, и неосторожные речи молодого путешественника нынче же могут дойти до императрицы.

В Москве Карамзин тотчас приступил к изданию журнала. Объявляя о том в «Московских Ведомостях», он писал: «Первый наш поэт — нужно ли именовать его? — обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей Музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни» и проч.

* * *

С мечтой о победе над Турцией Потемкин связывал замыслы титанические. Победа, однако же, не давалась, и затянувшаяся война становилась крайне обременительна. Екатерина писала «любезному другу» ласковые письма, но до него уже доходили дурные вести о происшедшей перемене в расположении государыни, о фаворе Зубова. 11 декабря 1790 года Суворов взял Измаил и вскоре уехал в Петербург, где, «как человек со слабостями, из честолюбия ли, из зависти или из истинной ревности к благу отечества, но только приметно было, что шел тайно против неискусного своего фельдмаршала». Дочь Суворова была, кстати, замужем за братом нового фаворита. Для Потемкина дело шло не только о личном его фаворе. На карте стояла вся европейская политика России, а с нею — либо головокружительное завершение, либо бессмысленное крушение всех его замыслов, в которых эгоизм государственный давно сросся с личным. Мучимый подозрениями, Потемкин рвался в столицу, но Екатерина удерживала его при армии. Видя, наконец, что и взятием Измаила сопротивление турок еще не сломлено и что впереди предстоит новая кампания, 28 февраля он прискакал в Петербург.

Уезжая из армии, он сказал, что нездоров и едет в Петербург *зубы дергать*. Но *зубы* сидели крепко. Потемкин вскоре увидел, что петербургское поражение может перевесить измаильскую победу. На скорую отставку Зубова надежды не было. В пору было стараться о том, чтобы сохранить собственное положение и выиграть время. С болью в душе побежденный стал играть роль триумфатора — что могло быть тяжелее для его гордости? В честь государыни он решился дать небывалый праздник, чтобы обществу, двору, ей самой, всей Европе и, может быть, самому себе внушить мысль, будто все остается по-прежнему; чтобы изумить Екатерину беспредельной приверженностью; чтобы напомнить ей об их *общей* славе; чтобы — как знать? — может быть, вернуть себе ее сердце.

К 28 апреля вся местность поблизости от Конногвардейских казарм изменила свой вид. Недостроенный дом князя Таврического был достроен со сказоч-

ной быстротой. Тысячи работников, художников, обойщиков трудились денно и нощно. Позади дома разбили сад с расчисленными холмами, храмами, павильонами; «прямым путем протекавшей речке дали течение извилистое и вынудили из ней низвергающийся водопад, который упадал в мраморный водоем». Построены мосты из железа и мрамора, поставлены истуканы. Деревянные строения перед дворцом снесены. На возникшей площади выстроены качели, расставлены столы с угощением для народа, кадки с медом, квасом и сбитнем; построены лавки торговые, из которых назначено было раздавать подарки: платья, кафтаны, кушаки, шляпы, сапоги, лапти, а также снедь, вареную и невареную.

С трех часов дня стали съезжаться гости. Раздача подарков должна была начаться в пять, по прибытии государыни. Уже приехал наследник с супругой и малым двором, но и к семи часам государыни еще не было. Народ, собравшийся здесь с утра и продрогший (погода была ненастная), начал терять терпение. Вдруг, как бывает в подобных случаях, произошло какое-то замешательство. Задние ряды понаперли, толпа с криком ура ринулась к выставленным подаркам, и во мгновение ока все было растаскано. Полицейские и казаки бросились разгонять народ. Многие были ушиблены и помяты в давке. В разгар побоища прибыла государыня. Карета ее была вынуждена остановиться в отдалении. Высунувшись в окно, Екатерина подозвала обер-полицмейстера Рылеева:

— В этом прекрасном порядке, — сказала она, — я совершенно узнаю вас.

— Радуюсь, что имел счастие заслужить удовольствие Вашего Императорского Величества, — отвечал Рылеев.

Павел Петрович с женою встретили государыню на крыльце. Потемкин принял ее из кареты. На нем был малиновый бархатный фрак и черный кружевной плащ. Пуговицы, каблуки, пряжки сверкали бриллиантами. «Шляпа его была оными столько обременена, что трудно стало ему держать оную в руке. Один из адъютантов его должен был сию шляпу за ним носить». Праздник начался. История России не знает ему подобного. Сам Державин был привлечен к его изображению и сочинил хоры.

Три тысячи гостей (одного лишь Суворова не было в их числе) размещены были в пышных ложах колонного зала, озаренного шестью тысячами свеч. Императрица вошла. Восьмилетний мальчик Васенька Жуковский, побочный сын тульского помещика и пленной турчанки, на всю жизнь запомнил минуту, когда хор из трехсот музыкантов и голосов при громе литавр впервые грянул:

Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрес.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!
Воды быстрыя Дуная
Уж в руках теперь у нас;
Храбрость Россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!..

Этот хор сопутствовал появлению первой кадрили, розовой, составленной из двенадцати пар знатнейшей петербургской молодежи. Великий князь Александр Павлович вел ее. За розовой, предводимая Константином, шла голубая под звуки второго хора:

В лаврах мы теперь ликуем,
Исторженных у врагов;
Вам, Россиянки, даруем
Храбрых наших плод боев.
Разделяйте с нами славу;
Честь, утехи и забаву
Разделяйте; ободряйте
И вперед к победам нас;
Жар в сердца вы нам вливайте:
Ваш над нами силен глас;
За один ваш взгляд любови
Лить мы рады токи крови...

Кадрили, соединяясь, протанцевали балет — сочинение знаменитого Пика, который и сам при сем случае «отличил себя солом». Затем хозяин повел государыню в другой зал, куда последовала и часть гостей — сколько дозволяло пространство. Здесь, после пантомимы и хора, вновь славившего Екатерину, представлены были две французские комедии. Представление было нарочно замедлено, и тем временем зал колонный преобразился. Вернувшись в него, Ека-

терина спросила: «Неужели мы там, где прежде были?» В зале и в примыкающих покоях горело сто сорок тысяч цветных лампад и двадцать тысяч восковых свеч. «Тут играет яркий и живый луч, и как бы зноем африканского лета притупляются взоры. Там, как бы в пасмурный день, разливается блеск тонкий и умеренный... Окна окружены звездами. Горящие полосы звезд по высоте стен простираются. Рубины, изумруды, яхонты, топазы блещут. Разноогненные, с живыми цветами и зеленью переплетенные венцы и цепи висят между столпами; тенистые радуги бегают по пространству...» В одном покое «любящие музыку, пение и пляску найдут себе место для увеселения». В другом «пленящиеся живописью могут заниматься творениями Рафаэля, Гвидо-Рени и иных славнейших художников всея Италии... Там азиятской пышности мягкие софы и диваны манят к сладкой неге; здесь европейские драгоценные ковры и ткани внимание на себя обращают. Там уединенные покои тишиною своею призывают в себя людей государственных беседовать о делах». Императрица вошла в зимний сад, где не слышно музыки, где под густыми ветвями в тихих водах плавают золотые и серебряные рыбы, а в темной зелени поют соловьи. На дорожках сада и дерновых холмиках высятся постаменты, украшенные мраморными вазами и фигурами Гениев. Местами раскинуты небольшие лесочки; их окружают решетки, увитые розами и жасмином. Огромные зеркала, искусно расставленные среди зелени, повторяют сад во множестве раз и уводят взор в ложные отдаления. Посреди сада возвышается храм; восемь колонн из белого мрамора поддерживают его купол; серые мраморные ступени ведут к жертвеннику, служащему подножием статуи, изображающей государыню в царской мантии, с рогом изобилия. Потемкин бросается на колени пред алтарем и изображением своей благодетельницы. Екатерина сама его поднимает и целует в лоб.

Стемнело. На дворе идет мелкий дождь, но все вокруг дома сияет иллюминацией. Народ толпится. На прудах плавают флотилии, разукрашенные фонарями и флагами. С них раздается песня гребцов и роговая музыка. Во дворце государыня, отдыхая, играет в карты с великой княгиней, а в большой зале гости танцу-

ют. Меж тем, по данному от хозяина знаку, театр уничтожен. На месте его и в других покоях накрыты столы. «Где были театральное действие и зрители, там через несколько минут открылись горы серебра с разным кушаньем, вокруг с золотыми подсвечниками». Начался ужин. Стол государыни и наследника стоял на месте оркестра, прочие столы — амфитеатром вокруг него. Все гости сидели лицом к государыне. Потемкин стоял за креслом ее, пока она не велела ему сесть. «Казалось, что вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей владычицы и теснилась даже на высотах, чтоб насладиться ее лицезрением», — говорит Державин и продолжает стихами:

Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
Рассыпала по них и злато, и сребро;
Восточный, западный, седые океаны,
Трясяся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
Венчанна класами, хлеб Волга подавала,
С плодами сладкими принес кошницу Тавр;
Рифей, нагнувшися, в топазны, аметистны
Лил кубки мед златый, древ искрометный сок,
И с Дона сладкия и крымски вкусны вина;
Прекрасная Нева, прияв от Бельта с рук
В фарфоре, кристале чужие питья, снеди,
Носила по гостям, как будто бы стыдясь,
Что потчевать должна так прихоть поневоле.
Обилье тучное всем простирало длань.

Хор гремит. Кончается ужин. Второй час ночи. Гости еще веселятся, но Екатерина отбывает. Карета ее отъезжает в сумрак. На крыльце, озаренный факелами, в алом фраке и черном плаще, Потемкин глядит ей вослед, воздев руки к небу.

* * *

К началу июня было готово описание праздника, составленное Державиным в стихах и прозе (была мода печатать подобные описания отдельными книжками). Державин явился в Летний дворец к Потемкину. Князь принял его как нельзя любезнее, просил остаться к обеду, а сам, взяв тетрадь, довольно объемистую, погрузился в чтение. Державин тем временем пошел в канцелярию — побеседовать с давним другом

своим Поповым. Внезапно Потемкин «с фурией выскочил из своей спальни, приказал подать коляску и, несмотря на шедшую бурю, гром и молнию, ускакал Бог знает куда. Все пришли в смятение, столы разобрали — и обед исчез». Долго потом Державин с Дмитриевым ломали головы, отгадывая, что могло оскорбить Потемкина. Все их предположения были неосновательны; в державинском описании нет никаких неловкостей, ни тем паче обид Потемкину. Случись то или другое — на неловкости он указал бы автору, не приходя в бешенство, а прямых обид никогда не простил бы. Он же, напротив, спустя несколько дней, сам старался загладить обиду, нанесенную им Державину.

Причина вспышки была иная. Праздник не достиг цели и тем самым превратился для Потемкина в лишнее унижение. Державин невольно ему напомнил об этом. Разница между торжествующим и счастливым Потемкиным, представленным в описании, и тем глубоко несчастным, который его читал, была нестерпима. Он не вынес и не сдержался, потому что вообще давно отвык сдерживаться. «Князю при дворе тогда очень было плохо», — говорит сам Державин. Зубов усиливался. Репнин, с согласия императрицы, вел с турками переговоры о мире, который должен был положить конец всем потемкинским замыслам. Потемкин метался. В те дни причудам и странностям его не было меры. При встрече народ кланялся ему с благоговением. На гуляньях он являлся, окруженный пленными генералами, офицерами и пашами. Но он знал, что подо всем этим — бездна, конец. Он пьянствовал и не находил себе места. Иногда, вырвавшись из дому, носился по городу, заезжал к малознакомым женщинам, ища утехи; открывал душу пред кем попало; слушателям казалось, что он бормочет нелепицу и сходит с ума. Потом силы его покинули — он изумлял окружающих необычайною кротостью, но ехать к армии все еще не решался: знал, что враги без него восторжествуют окончательно. Императрица сама, наконец, явилась к нему и велела ехать (ни друзья, ни враги не брали на себя передать сие повеление). 24 июля он выехал в Яссы. Там горячка и горе его терзали. 4 октября Попов написал под его диктовку: «Матушка, всемилостивейшая государыня! Нет сил бо-

лее переносить мне мучения; одно спасение остается: оставить сей город, и я велел себя везти к Николаеву. Не знаю, что будет со мною. Вернейший и благодарнейший подданный». Внизу он сам приписал нетвердым почерком: «Одно спасение уехать». На другой день, в полдень, между Яссами и Николаевом, остановил он коляску:

— Будет теперь, некуда ехать, я умираю, выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле.

Его положили на траву, намочили голову спиртом. Зевнув раза три, он «так покойно умер, как будто свеча, которая вдруг погаснет без малейшего ветра». «Гусар, бывший за ним, положил на глаза его две денежки, чтоб они закрылись». Через неделю в Петербурге узнали о смерти Потемкина. Державин начал «Водопад».

Эту оду он писал долго, почти три года, составляя ее по частям. Может быть, она оттого несколько потеряла в стройности и в единстве тона, но, кажется, выиграла в широте. Опорною точкой для «Водопада» послужили примерно те же мысли и чувства, которыми некогда была подсказана ода на смерть Мещерского. Державин сам подчеркнул эту связь в строфе, прямо намекающей на начало стихов о Мещерском:

Не зрим ли всякий день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?
Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрип подземной?
Не упадает ли в сей зев
С престола царь и друг царев?

Но контраст, пленивший Державина, был на сей раз иного оттенка. Мало того, что Потемкин был вырван смертью из сказочного великолепия, пред которым богатства Мещерского — ничто: смерти Мещерского не предшествовала и не сопутствовала та личная трагедия, которой отмечена смерть Потемкина и на которую Державин мог только намекнуть, — что, в свою очередь, придало его строфам тайную силу, которой они насквозь пропитаны:

Чей труп, как на распутьи мгла,
Лежит на темном лоне нощи?
Простое рубище чресла,
Два лепта покрывают очи,
Прижаты к хладной груди персты,
Уста безмолвствуют отверсты!

Чей одр — земля; кров — воздух синь;
Чертоги — вкруг пустынны виды?
Не ты ли, Счастья, Славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли с высоты честей
Незапно пал среди степей?

Именно потому, что Мещерский был личностью малозначащей, его смерть давала удобный повод для философствований о смерти вообще. Кончина Потемкина должна была повести вдохновение в сторону истории. За Потемкиным открывалась его эпоха, которая была в то же время эпохой Екатерины и самого Державина. Императрица, безжалостная к бывшему любимцу в последние месяцы его жизни, долго еще не могла без слез вспоминать о нем. То были не просто нервические слезы сентиментальной, но жестокой женщины. Вспоминая Потемкина, Екатерина оплакивала тот невозвратный государственный пафос, который связал ее с Потемкиным в славнейшие годы царствования. Что поделаешь — Зубову приходилось утирать эти слезы. Точно так и Державин, не боясь Зубова, писал «Водопад». Вызывая призрак Потемкина, он в то же время обозревал собственное прошлое. Он начал с описания Кивача, олонецкого водопада, и в этом описании потаенно связал личную свою жизнь с предметом стихотворения. Далее, в сущности, не покидая области воспоминаний, он обратился к тому, чем была оживлена его лира в потемкинскую эпоху. «Водопад» потому и писался частями, что Державин в нем произвел как бы смотр излюбленным своим темам: об игре случая; об олицетворенном в Екатерине государственном эгоизме России, в который все личные судьбы и подвиги впадают, как водопадные реки в озеро, и наконец — о всеобщем мире, в котором должны исчезнуть отдельные государственные эгоизмы. Неудивительно, что при замысле столь обширном Державин на сей раз двинул в бой и все лучшие силы своей поэтики. Словом, «Водопад» стал итогом пройденного пути. Недаром писался он с 1791 по 1794 год, в ту именно пору, когда екатерининская эпоха близилась к своему естественному концу и надвигался перелом в личной жизни самого Державина. Накануне этих событий

суждено было разрешиться и тому недоумению, которое долгие годы управляло его судьбой. Екатерина и Державин встретились, наконец, лицом к лицу.

* * *

Общеизвестно стремление Екатерины к ограничению власти Сената. Во второй половине 1791 года ей представился случай подчинить действия Сената ближайшему своему контролю. Обнаружилось, что 2-й департамент допускает перенос нерешенных дел из одной губернии в другую. Екатерине это показалось незаконно. Желая себя проверить, она поручила Зубову изучить вопрос. Неопытный в делах Зубов частным образом обратился за помощью к Державину, как не раз делал и прежде. Державин дал заключение, совпавшее со взглядом императрицы. Увидя из этого, что Державин не склонен отстаивать интересы Сената, императрица решила поручить ему просмотр всех сенатских мемории и составление особых замечаний о найденных нарушениях закона. Если бы во главе Сената по-прежнему стоял Вяземский, он, может быть, сумел бы предотвратить появление Державина в новой должности. Но Вяземский уже два года лежал в параличе; его заменял Колокольцев, обер-прокурор того самого 2-го департамента, в котором открылись непорядки. Екатерина накричала на Колокольцева, тот растерялся, и назначение Державина состоялось. Официально он был назначен таким же кабинетским секретарем, как Безбородко и Храповицкий. 13 декабря 1791 года последовал высочайший указ Сенату: «Всемилостивейше повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений». По этому поводу было много шуму. В иностранных газетах даже писали, будто Екатерина *отдала Сенат во власть Державину*. Это, конечно, был вздор. Властвовать над Сенатом она собиралась сама. Что же касается Державина, то выбор пал на него довольно случайно. Обратись Зубов к кому-нибудь другому — Екатерина взяла бы другого.

Таковы были обстоятельства, при которых певец Фелицы стал ее секретарем. Во дворце отвели ему комнату для занятий — рядом с комнатой Храповицкого.

В частной жизни Державин был прям, подчас грубоват (мужицкой, солдатскою грубостью), но добр, благодушен, особенно с людьми бедными или ниже его стоящими. Но лишь только дело касалось службы или того, что считал он гражданским долгом, — благодушие тотчас покидало его. Изредка он, пожалуй, и в службе мог быть снисходителен, но не иначе как с подчиненными: Грибовского в свое время вынул он из петли. Зато чем выше стоял человек, тем взыскательней был Державин, тем менее соглашался ему прощать. К императрице он был беспощаден. От той, которая некогда, хоть неведомо для себя, была его первой наставницею в науке гражданских доблестей, он требовал совершенства.

На руках у Екатерины было огромнейшее хозяйство, а за плечами — тридцатилетний государственный опыт. Круг забот у нее был не тот, что был у Державина, с его сенатскими мемориями да еще с некоторыми делами — по большей части не первой важности. Будучи точен, трудолюбив, исполнителен, он каждое дело изучал насквозь и вместо того, чтобы изложить только суть, каждый раз хотел все свои познания полностью передать государыне. Высокий, жилистый, узколицый, шагом солдатским, а не придворным проходил он по залам в ее причудливые покои. По делу иркутского наместника Якоби, обвиненного Сенатом, он явился докладывать с целой шеренгою гайдуков и лакеев, которые несли превеликие кипы бумаг. Екатерина с досадою приказала все это унести, но Державин не сдался: он заставил ее каждый день после обеда по два часа заниматься делом Якоби. В низких пуховых креслах (она любила такие) Екатерина вязала иль занималась плетением из бечевок. Он сидел перед ней на стуле и читал голосом ровным и бесстрастным, как сам закон. Если меж ними возникало противоречие, он делался несговорчив. Она теряла терпение и прогоняла его. На другой день, в положенный час, он являлся. Однажды, в зимний метельный день, она заперлась у себя и велела лакею Тюльпину передать Державину ее именем:

— Удивляюсь, как такая стужа вам гортань не захватит.

Державин понял намек, но не дал Фелице уклониться от долга: занятия продолжались. При начале

Сутерландова дела (о нем речь еще впереди), императрица нашла у себя на столике связку бумаг в салфетке. Вспыхнув, она велела позвать Храповицкого и спросила, что за бумаги. Храповицкий сказал, что не знает, но принес их Державин.

— Державин! — вскричала она. — Так он меня еще хочет столько же мучить, как и якобиевским делом!

Гораздо прежде, нежели Державин впервые прочел Наказ (это собрание аксиом, способных разрушить стены, по насмешливому выражению Никиты Панина), — сама Екатерина успела уже отказаться от философических и неисполнимых мечтаний юности. Причины были неотразимые: если б она упорствовала, то давно бы лишилась трона — примерно так, как упорный Державин дважды лишался своего губернаторства. Наказ был отложен в сторону вместе с прочими сувенирами, и Екатерина очень бывала довольна, когда кое-что из этих возвышенных замыслов удавалось осуществить хотя бы в урезанном виде: потому так любила она свое «Положение о губерниях». Отказавшись от *должного*, она научилась ограничиваться *возможным*, — и была права. Таким образом, она не сделалась идеальной монархиней: удовольствовалась тем, что стала великой. Теперь, к шестидесяти трем годам, это была в высшей степени умная женщина, тонко знающая жизнь и в совершенстве постигшая трудное ремесло государей. Прежде всего, она поняла, что нельзя царствовать в одиночестве — ей во всяком случае; потом, что корысть не последний двигатель даже и лучших государственных людей. Ваятель Шубин простодушно изобразил ее с рогом изобилия, из которого сыплются звезды и ордена. Так и было: она щедро сыпала на людей чины, ордена, почести, деньги, земли. Властию и Россией делилась она с вельможами, полководцами, временщиками. Отсюда рождалось соревнование и развязывалась предприимчивость. Державин думал, что государству полезна одна только безупречная добродетель. Екатерина же научилась пользоваться и слабостями человеческими, и самими пороками. Противный ветер она превращала в попутный. Корыстолюбцы не забывали себя, но зато и Россия имела от того свою пользу: кряхтела, но созидалась.

Созидая мощь государства из человеческих слабостей, Екатерина должна была быть в высшей степени снисходительна. Она такой и была, частию по нужде, частию же по склонности. Она не любила бывать обманутой, но против обманщиков не имела злобы в душе. Людей самых обыкновенных, подверженных искушениям, понимала она и умом, и сердцем — и сама старалась быть им понятной: хотела иметь большинство голосов на своей стороне.

Такую-то монархиню вздумал Державин оберегать не только от плутов, казнокрадов, взяточников, но и просто от людей корыстолюбивых, ибо и тень корысти в деле общественном он уже считал преступлением. В крайности он был готов разогнать всех и остаться сам-друг с Фелицей — идеальным слугою при идеальной монархине. Вот это и не годилось; вот потому-то и прежде, когда не на жизнь, а на смерть боролся он с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем, Екатерина не давала его задушить, но и не давала ему явно торжествовать: она хранила для своего хозяйства и правых, и виноватых. Обиднее того, не виня виноватых, она не вполне верила и в правоту правых. Считала, что все сделаны примерно из одного теста — в том числе и Державин. Однажды возникло подозрение, что он получил взятку. «Товарищи его хотя и не говорили явно, но ужимками своими дали ему то знать. Он сим обиделся, просил государыню, чтобы приказала исследовать. Она, помолчав, с некоторым родом неуважения сказала: — Ну что следовать? Ведь это и везде водится. — Державина сие поразило, и он на тот раз снес сей холодный, обидный ответ».

Зато сам он не мог допустить, чтобы божество в чем-либо погрешило. Она же не мнила себя божеством и к собственным слабостям так же была снисходительна, как к чужим. Имела пристрастия, предубеждения. Однажды в гневе спросила, что побуждает его ей перечить. Он ответил с твердостию:

— Справедливость и ваша слава, государыня, чтоб не погрешили чем в правосудии.

Она же «не всегда держалась священной справедливости». Державин не упускал случая указать ей на это; может быть, он даже мечтал восхитить ее прямотой своей. Но она, на словах требуя прямоты, про себя

более уважала хитрость. Вряд ли Державин казался ей очень умным.

Так называемый придворный банкир Сутерланд был посредником русского правительства при заключении заграничных займов и прочих сделок. На руках у него бывали большие суммы казенных денег, из которых подчас он ссужал разных лиц, особенно из высокопоставленных. Однажды, осенью 1791 года, понадобилось перевести в Англию два миллиона рублей, но денег не оказалось. Куда девались? Сутерланд признался, что часть истратил он на свои нужды, но значительно больше роздал взаймы, а назад получить не может; гр. Безбородко и кн. Вяземский свои долги отдали, но другие не отдают. Кончилось это трагически — Сутерланд отравился. Императрица приказала расследовать дело, и Державину приходилось не раз по нему докладывать. На докладах Екатерина нервничала, он тоже. Споры так были горячи, что однажды Державин накричал на нее, выбранил и, схватив за конец мантильи, дернул. Государыня позвонила. Вошел Попов (бывший потемкинский секретарь).

— Побудь здесь, Василий Степанович, — сказала она, — а то этот господин много дает воли рукам своим.

Верная себе, на другой день она первая извинилась, примолвя:

— Ты и сам горяч, все споришь со мною.

— О чем мне, государыня, спорить? я только читаю, что в деле есть, и я не виноват, что такие неприятные дела вам должен докладывать.

— Ну, полно, не сердись, прости меня. Читай, что ты принес.

Он начал читать реестр, кем сколько казенных денег взято у Сутерланда. Первым стоял Потемкин, забравший восемьсот тысяч. Екатерина сказала, что у Потемкина много расходов по службе, и велела отнести долг на счет казначейства. Из прочих долгов одни приказала взыскать, другие простить. Но когда очередь дошла до великого князя, она вновь пришла в раздражение. Стала жаловаться, что Павел мотает и «строит такие беспрестанно строения, в которых нужды нет». Тут, разумела она, конечно, казармы, в которых Павел держал гатчинские свои войска; подозревая мать в самых черных замыслах, Павел все

время эти войска увеличивал; Екатерина в ответ усиливала охрану Царского, Павел вновь укреплял Гатчину и т.д.: мать с сыном вооружались друг против друга.

— Не знаю, что с ним делать, — сказала Екатерина и, дав волю словам, стала жаловаться на великого князя. Она говорила с жаром, но умолкала порою — как бы ждала согласия. Державин сидел, опустив глаза.

— Что же ты молчишь? — спросила она наконец.

Тогда он тихо проговорил, что наследника с императрицей судить не может, — и закрыл бумагу. Худшего суда, более тяжкого осуждения он не мог бы придумать. Екатерина вспыхнула, закраснелась и закричала в бешенстве:

— Поди вон!

Это странное секретарство длилось почти два года. Они ссорились и мирились. Если ей нужно было его смягчить и чего-нибудь от него добиться, она нарочно при всех отличала его, зная, что ему это льстит: «в публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канапе, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая, будто говорит о каких важных делах... Часто рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить; но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит; зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить, и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в изумлении сказал: — Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить; но вы против воли моей делаете из меня, что хотите. — Она засмеялась и сказала: — Неужто это правда?»

Он научился находить в ней обаяние, которого не знал прежде: обаяние ума, ласки, легкости, мягкости. Научился ценить ее доброту и великодушие. Но все это было человеческое. Той богини, которую создал мечтою и воспевал двадцать лет, во имя которой стоило и прославиться, и страдать, он в ней не нашел.

Ходила молва, что поэты льстят королям. Но в ту пору поэзия была еще голосом славы, и короли тоже льстили поэтам. Прочитав оду на взятие Измаила, Екатерина вновь прислала Державину табакерку, осыпанную бриллиантами, и сказала ему при встрече:

— Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна.

Во время его секретарства она не раз «так сказать прашивала его» писать *вроде Фелицы*: «Хотя дал он ей в том свое слово, но не мог оного сдержать по причине разных придворных каверз, коими его беспрестанно раздражали: не мог воспламенить так своего духа, чтоб поддержать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько раз ни принимался, сидя по неделе для того запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен; все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства». Должно быть, в одно из таких сидений написал он язвительное четверостишие:

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой:
Пищит бедняжка, вместо свисту, —
А ей твердят: Пой, птичка, пой!

Итак, он молчал, Екатерина досадовала: он оказался столь же непокладистым поэтом, как и секретарем. Все кончилось так, как и должно было кончиться. 15 июля 1793 года вечер в Царском Селе был тихий, погожий, меланхолический. Большим обществом вышли в сад, но беседа не ладилась. Государыня была «нечто скучна». Наконец, завели горелки — Екатерина любила смотреть на эту игру. Запели «Гори, гори ясно». Державину с его парою довелось ловить великого князя Александра Павловича. Тот, проворный и легкий, убежал далеко по скользкой росистой лужайке, покатой к пруду. Державин, гонясь за ним, упал, ударился оземь и едва не лишился чувств. Его подняли, в руке оказался вывих. Шесть недель оставался он дома. За это время Екатерину сумели восстановить против него. «Будучи всем ревностию и правдою своею неприятен или, лучше сказать, опасен, наскучил императрице и остудился в ее мыслях».

2 сентября, при праздновании Ясского мира, он был отставлен от секретарства и назначен сенатором. При унижении, до которого был доведен Сенат, это было знаком немилости, особенно для Державина, который и сам тому унижению способствовал. В таких обстоятельствах орден Владимира 2-й степени и чин тайного советника были утешением слабым. Уязвленный Державин просил Зубова передать государыне его благодарность. Зубов весьма удивился:

— Неужто доволен?

— Как же, — ответил Державин, — не быть довольну сей монаршей милостию бедному дворянину, без всякого покровительства служившему с самого солдатства, что он посажен на стул сенаторский Российской Империи? Что еще мне более? Ежели ж мои сочлены почитаются, может быть, кем ничтожными, то я себе уважение всемерно сыщу.

В Сенате он принялся обучать сочленов труду, беспристрастию, независимости, знанию законов. Заседания стали сплошными бурями. В ту пору Читалагайскую оду «На знатность» он переделал в «Вельможу». Сенаторы справедливо приняли на свой счет строки самые оскорбительные:

Калигула! твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела.
Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
О! тщетно Счастия рука,
Против естественного чина,
Безумца рядит в господина
Или в шумиху дурака.

* * *

В ту пору, когда близостию к престолу стяжались огромные состояния, Державин не приобрел ничего. Семнадцать тысяч штрафу, наложенного по тамбовским делам, насилу с него скостили после бесчисленных просьб. Однако же он изворачивался, как изворачивалась покойная мать: земли свои закладывал, перезакладывал, то частию продавал их, то прикупал новые; торговал хлебом, заводил фабрики. Летом 1791 года

он купил дом на Фонтанке у Измайловского моста. На отделку и перестройку ушло несколько месяцев. Екатерина Яковлевна, хоть прихварывала, была в больших хлопотах. Дом обставили не роскошно, однако со вкусом; в картинах, в мебели и тому подобном Державины знали толк. По последнему слову моды стены были покрыты *соломенными обоями*: по соломенной плетенке шелками и шерстью вышивались узоры из цветов, фруктов, листьев, а для больших простенков целые виды и сцены. Вышивала сама Пленира, жена Львова ей помогала. Особенность дома составила диванная комната или просто *диван*, как ее называли; она вся была затянута серпянкой; с потолка, на манер палатки, спускались широкие пологи; в складках материи размещены были зеркала; тут же стояли бюсты хозяина и хозяйки — работа «хитрого каменосечца Рашета». В диване принимали гостей, водили беседы, а иногда и спали:

Сядь, милый гость, здесь на пуховом
Диване мягком, отдохни;
В сем тонком пологу перловом,
И в зеркалах вокруг, усни;
Вздремли после стола немножко:
Приятно часик похрапеть.

Державинские обеды были обильны и превосходны. Между прочим, к одному из них, по просьбе Державина, зван был Фонвизин, которого Дмитриев никогда не видел. То было 30 ноября 1792 года. Фонвизин приехал, или, лучше сказать, его привезли. Он владел лишь одною рукой; одна нога также одеревенела. Два молодых офицера ввели его под руки, усадили. Он говорил диким, охриплым голосом, язык плохо повиновался ему. Однако ж он тотчас завладел беседой и пять часов кряду говорил почти что один — о самом себе, о своих комедиях, о своих путешествиях, о своей славе. В одиннадцать часов его увезли. Наутро он умер.

В общем, бывали у Державиных те же все лица — Дмитриев чаще других, Капнисты, Львовы, Оленин. Подчас из деревни приезжала свояченица Капниста и Львова — Даша, которую видели мы когда-то подростком. Теперь ей минуло двадцать семь лет — она все еще была в девушках, несмотря на свою красоту (все сестры Дьяковы были хороши собой). Высокая

и прямая, в обращении жесткая, замкнутая, она поступала во всем расчетливо и умно, играла на арфе правильно и бездушно. При изрядных нравственных качествах, она была лишена обаяния. Ей грозила судьба старой девы, она тайно была влюблена в Державина. Пленира вздумала сватать ее за Дмитриева. Даша сказала:

— Нет, найдите мне такого жениха, как ваш Гавриил Романович, то я пойду за него и надеюсь, что буду с ним счастлива.

Посмеялись и начали другой разговор. Впрочем, миру, который царил в семействе Державиных, нетрудно было и позавидовать. За шестнадцать лет произошла между ними, кажется, лишь одна размолвка. Она случилась летом 1793 года. Памятником ее осталось письмо, посланное в Петербург из Царского Села, где Державин в ту пору жил по должности кабинетского секретаря: «Мне очень скучно, друг мой Катинька, вчерась было; а особливо как была гроза и тебя подле меня не было. Ты прежде хотела в таковых случаях со мной умереть; но ныне, я думаю, рада, ежели б меня убило и ты бы осталась без меня. — Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить: то что такое, что ты ко мне не едешь? — Самонравие и гордость. Не хочешь по случившейся размолвке унизиться перед мужем. Изрядно... Стало, ты любишь, или любила меня, не для меня, но только для себя, когда малейшая неприятность выводит тебя из себя и рождает в голове твоей химеры, которые (Боже избави!) меня и тебя могут сделать несчастливыми. Подумай-ка об этом хорошенько и, сравнив с собою Фурсову и ей подобных, увидишь, что я говорю правду. Итак, забудь, душа моя, прошедшую ссору; вспомни, что уже целую неделю я тебя не видал и что в середу Ганюшка твой именинник. Приезжай в объятия верного твоего друга».

К несчастию, здоровье Екатерины Яковлевны было плохо. Еще в Тамбове, стоящем среди болот, схватила она лихорадку и в самую тяжкую пору тамошних неприятностей, после ссоры с Чичериною, слегла. Когда переехали в Петербург, болезнь то усиливалась, то ослабевала, но никогда не исчезала совсем. Уже в 1792 году Державин порой падал духом:

Неизбежным уже роком
Расстаешься ты со мной.
Во стенании жестоком
Я прощаюся с тобой.

Обливаюся слезами,
Скорби не могу снести;
Не могу сказать словами —
Сердцем говорю: прости!

Руки, грудь, уста и очи
Я целую у тебя.
Не имею больше мочи
Разделить с тобой себя.

Лобызаю, обмираю,
Тебе душу отдаю,
Иль из уст твоих желаю
Выпить душу я твою.

Однако ж она поправилась. В апреле 1794 года случился опять сильный приступ болезни, Екатерина Яковлевна совсем была при смерти, но затем стало ей лучше, и Державин возблагодарил Провидение:

Ты возвратило мне Плениру.

На сей раз надежда обольстила его напрасно: Екатерина Яковлевна слегла снова, и дело пошло к развязке. Она умирала в кротости и смирении, как прожила всю прекрасную свою жизнь. Дня за два до кончины она упрашивала Державина съездить в Царское — похлопотать за одного их знакомого:

— Бог милостив, — сказала она, — может, я проживу столько, что дождусь с тобою проститься.

15 июля 1794 года, тридцати трех лет от роду, Пленира отдала Богу душу. Державин ее проводил на кладбище Александро-Невской лавры и написал Дмитриеву в Москву: «Ну, мой друг Иван Иванович, радость твоя о выздоровлении Екатерины Яковлевны была напрасна. Я лишился ее 15-го числа сего месяца. Погружен в совершенную горесть и отчаяние. Не знаю, что с собой делать. Не стало любезной моей Плениры! Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную, добродетельную Плениру, которая только для меня была на свете, которая все мне в нем составляла. Теперь для меня сей свет совершенная пустыня...»

И вот — ровно через полгода женился он на другой. Казалось бы, это должно удивить неприятно: неужели другою мог так легко заменить ту, которую так боялся утратить, что обмирал при единой мысли

об этом? ту, без которой еще так недавно сей свет был ему совершенной пустыней? Наконец, зачем же так скоро? Уже самая эта поспешность могла показаться предосудительна в человеке вовсе не молодом — Державину шел пятьдесят второй год. Однако никто не осудил его — ни даже щепетильный Дмитриев, ни чувствительный Карамзин.

Бурный и вспыльчивый по природе, Державин пережил смерть Екатерины Яковлевны тоже бурно и вспыльчиво. Его охватило неистовое отчаяние, в котором минуты тихого, сосредоточенного горя были сравнительно светлыми промежутками. Тогда ему чудилось: тень Плениры витает возле. Он пытался писать к ней стихи — они не давались, не складывались: мысль подавлена была чувством. Но такие состояния бывали не долги. В одиночестве он сумел бы спокойнее и возвышеннее пережить свое горе и тем обрести покой. Он и сам подумывал об отставке и отъезде в деревню, но это было неисполнимо.

За несколько месяцев до того Державин был назначен президентом коммерц-коллегии. Должность была временная, так как коллегию предполагалось вскоре уничтожить. Но Державин принялся за дело рьяно и вскоре обнаружил злоупотребления. Екатерина таких открытий не любила и велела передать Державину, чтоб он отныне лишь числился в должности, «ни во что не мешаясь». Оскорбленный Державин написал Зубову неистовое письмо, в котором коснулся вообще своего положения в службе и прямо высказал разочарование в Екатерине: «Не зальют мне глотки вином, — писал он, — не закормят фруктами, не задарят драгоценностями и никакими алтынами не купят моей верности к моей монархине... Что делать? Ежели я выдался урод такой, дурак, который, ни на что не смотря, жертвовал жизнию, временем, здоровьем, имуществом службе и личной приверженности обожаемой мною государыне, животворился ее славою и полагал всю мою на нее надежду, а теперь так со мною поступают, то пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо, ежели Екатерина Великая, обнадежив меня, чтоб я ничего не боялся, и не токмо не доказав меня в вине моей, но и не объясня ее, благоволила снять с меня покровительст-

вующую свою руку? Имея столько врагов за ее пользы, куда я гожуся, какую я отправлять в состоянии должность?» Не получив ответа, он написал письмо самой императрице — такое, что передать его не решались ни Зубов, ни Безбородко. Тогда Державин передал его через камер-лакея. Прочтя, государыня «вышла из себя, и ей было сделалось очень дурно. Поскакали в Петербург за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные». Державин в испуге не остался в Царском Селе, а «уехал потихоньку в Петербург» — ждать решения своей участи. Екатерина уничтожила коммерц-коллегию, но отставки Державину не дала. Нечего было думать о ней и теперь. Приходилось с болью в душе кипеть в самой гуще сенатских и придворных дел. Со всеми боярами был он в ссоре, деятельной, полной интриг, препирательств и раздражений. Для элегии в душе не было места. В свободные часы предавался он злобной тоске — а размыкать ее было не с кем: Капнист в деревне, Львов в разъездах, Дмитриев по большей части в Москве. Убегая из дому, Державин «шатался по площади», не находил себе места и действительно не знал, что с собою делать. Тогда он вздумал жениться — «чтоб от скуки не уклониться в какой разврат». (Развратом он звал всякие отклонения от правил доброго общежительства; «шатания по площади» сюда включались.) Это решение принял он не потому, что забыл Плениру, но именно потому, что не мог забыть.

Мысль его очень скоро остановилась на Даше Дьяковой, что довольно понятно. Незадолго до Рождества она приехала в Петербург с сестрою, графиней Стейнбок. Державин «по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение» и принят был весьма ласково. На другой день он послал им записочку, «в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут для себя изготовить. Сим он думал дать разуметь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, к которой записка была надписана. Она с улыбкою ответствовала, что обедать они с сестрою будут, а какое кушанье приказать приготовить, в его состоит воле». Обед прошел очень приятно. Через день Державин, «зайдя посетить их и нашед случай с одной невестой говорить, открылся ей в своем намерении».

Благоразумная Даша ответила, что принимает оное себе за честь, но подумает, «можно ли решиться в рассуждении прожитка». Она оказалась даже не прочь рассмотреть его приходные и расходные книги, дабы узнать, «может ли она содержать дом сообразно с чином и летами». Книги она продержала у себя две недели, после чего дала волю нежному чувству и объявила свое согласие. Державин стал любезным и исполнительным женихом. К невесте, которую звал то Дашенькой, то Миленой, ездил он каждодневно, а если не мог — присылал записочки:

«Извини меня, мой милый друг, что тебя сегодня не увижу. К обеду не мог быть для того, что нужда была быть у Васильева, а вечеру кое-кто заехали, а между тем признаюсь, что готова баня, то уже не попаду к вам. Между тем целую тебя в мыслях» и проч.

Или — другая: «Посылаю вам, матушка Дарья Алексеевна, ту материю, о которой вам я вчерась говорил. Я не знаю, увижу ли вас сегодня».

Или еще — в самый день Рождества: «Поздравляю тебя, милый мой друг Дашенька, с праздником, прошу поздравить от меня матушку и всех своих. Извини, что у вас вечеру не был вчерась, не очень-то был здоров, но сегодня, слава Богу, хоть куды. Поеду во дворец. Думаю обедать дома; а на вечер буду к Николаю Александровичу, где и тебя моя увижу милая, или надобно к тебе приехать? уведомь меня; затем так рано к тебе и посылаю. Между тем целую тебя бессчетно».

Он старался не подать виду, но на душе у него было нелегко: память Плениры тревожила его совесть. Ища себе оправдания, он написал замечательные стихи — «Призывание и явление Плениры». Глубокая личная правда здесь выражена сквозь нарядную куплетную форму, подсказанную поэтикой XVIII века:

Приди ко мне, Пленира,
В блистании луны,
В дыхании зефира,
Во мраке тишины!
Приди в подобьи тени,
В мечте иль легком сне
И, седши на колени,
Прижмися к сердцу мне;

Движения исчисли,
Вздыхания измерь
И все мои ты мысли
Проникни и поверь:
Хоть острый серп судьбины
Моих не косит дней,
Но нет уж половины
Во мне души моей.

Я вижу: ты в тумане
Течешь ко мне рекой,
Пленира на диване
Простерлась надо мной, —
И легким осязаньем
Уст сладостных твоих,
Как ветерок дыханьем,
В объятиях своих
Меня ты утешаешь
И шепчешь нежно вслух:
«Почто так сокрушаешь
Себя, мой милый друг?
Нельзя смягчить судьбину,
Ты сколько слез ни лей;
Миленой половину
Займи души твоей».

31 января 1795 года Державин ввел новую хозяйку в дом свой. Но воспоминание о Пленире не оставляло его. Часто за приятельскими обедами, которые он так любил, средь шумной беседы иль спора, внезапно Державин задумается и станет чертить вилкою по тарелке драгоценные буквы — К.Д. Дарья Алексеевна, заметив это, строгим голосом выведет его из мечтания:

— Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?

— Так, ничего, матушка! — обыкновенно с торопливостью отвечает он, потирая глаза и лоб, как будто спросонья.

VII

Рухнуло все, чем была одушевлена жизнь Державина целых двадцать лет. Теперь предстояло жить без веры в Екатерину и без Плениры. Сама судьба ясно подсказывала, что одновременно со второю женитьбой пора перестроить на новый лад и всю жизнь, и самую лиру. Пора было, наконец, если не вовсе «оста-

вить отечество», как иногда помышлял он в отчаянии, то хотя бы оставить службу. Державин не раз просился в отставку. Конечно, по существу такая отставка значила бы, что певцу *Фелицы* нет места возле *Екатерины*. Державин с великою горечью сознавал это. Но душа человеческая извилиста: он втайне мечтал, что, утратив *надежды*, вдали от государственных дел может еще сохранить *иллюзии*.

К несчастию, Екатерина и теперь не понимала его, как не понимала прежде. Державин в ее глазах был чиновник, в свободное время пишущий стихи, полезные ее славе, одобряемые знатоками и любезные ей самой, когда они выходят *вроде «Фелицы»*. О служебной его неуживчивости она была наслышана, а затем и лично в том убедилась. Казалось бы, надлежит дать чиновнику отставку, вполне почетную, — и тем самым избавить поэта от неприятностей, сохранив его выгодное расположение. Но беда была в том, что, не догадываясь об истинной связи между поэзией Державина и его службой, Екатерина все же их связывала (меж тем как он сам был не прочь теперь эту связь нарушить). Она считала, что звание поэта и даже «ее собственного автора» само по себе очень невелико и должно быть подкреплено положением в службе, орденами, чинами. «Пусть пишет стихи»: это была бы величайшая милость, которую, в нынешних обстоятельствах, она могла бы оказать Державину с величайшей выгодой для себя. Но это она говорила, когда бывала в сердцах. Когда же хотела Державина поощрить, то «on peut lui trouver une place»[1]. Мысль о том, что теперь он без поощрений вернее сохранит остатки поэтического благоволения к ней, не приходила ей в голову, потому что вообще не вязалась с ее представлениями о людях. Отставка Державина означала бы в ее глазах разрыв, ссору. Она же, по обычаю своему, избегала ссоры; поэтому и не отпускала его, медлила, оттягивала, надеясь, что рано или поздно Державин перебесится и смирится.

Он же, напротив, ожесточался — и было с чего. Крылья его все равно уже были подрезаны. Уже ведь и раньше он, как алхимик, подкидывал золота в свои

---

[1] «можно найти ему место» (*фр.*).

колбы; уже и раньше, осторожно вводя поучения в свои оды, пел он Екатерину лучшею, нежели она была: все надеялся, что оригинал захочет походить на портрет. Теперь он, поклонник прямоты, шел на величайшую жертву: просил, чтоб ему было дозволено, удалясь от дел, еще раз, последний, обмануть самого себя: не видя действительности, петь мечту, вернее — остатки мечты, которую сам он звал суетною, напрасной. Уже это была ложь. Но он шел на это — ради былой любви, ради живущего в его душе идеала, наконец — ради гордости и упрямства, чтобы не показать себя побежденным, а веру свою смешной. Но от него требовали лжи полной, грубой, придворной: чтоб он неизменно видел одно — и все-таки пел другое. Чтоб он пел богиню, не сводя глаз с императрицы, которая изо дня в день нарочно, упорно показывает ему, что она не богиня и быть богиней не хочет — разве только в его стихах.

Не получая отставки добром, он постепенно пришел к тому, что не прочь был ее добыть, разгневав Екатерину. Но она себя сдерживала. Это раздражало его еще более. Однако и ему должно было действовать с умом, так, чтобы гнев государыни вышел как бы и незаслуженным, — иначе сочувствие публики будет на стороне Екатерины, он же хотел поймать ее на несправедливости. Злоба сделала его осторожным.

24 октября 1794 года Суворов взял Варшаву. Державин по этому случаю написал четверостишие, которое затем развернул в оду, гиперболическую до крайности, с самыми редкостными словами, с умопомрачительными перестановками, с превеликим «лирическим беспорядком», который по правилам одописания должен был выражать бурный прилив чувств, но, кажется, чаще выражал обратное. Екатерина просмотрела рукопись, ничего не поняла, но, полагая, что все обстоит как должно и клонится к ее славе, велела оду отпечатать, чтобы затем продавать в пользу каких-то вдов. Когда печатание было кончено, она призвала Попова и велела прочитать стихи вслух, — должно быть, надеясь, что с голоса они будут понятнее. Но Попов тоже ничего не понял. А как не смыслил он и в поэтике, то, читая, неумышленно перевирал. Вместо:

Бессмертная Екатерина!
Куда? и что еще? Уже полна
Великих наших дел вселенна, —

прочитал он:

Бессмертная Екатерина!
Куда? и что еще? Уж полно!

Это не понравилось, императрица насторожилась. Дойдя до обращения к Суворову:

Трон под тобой, корона у ног,
Царь в полону! —

решили общими силами, что это уж чистое якобинство. Все 3 000 отпечатанных экземпляров были «заперты в кабинете», так что и автор не получил ни одного. Екатерина была недовольна. Державин знал обстоятельства дела и мог без труда оправдаться, но оправдываться не стал: досада Екатерины, пусть даже неосновательная, входила в его расчеты. Вскоре к этой досаде прибавилась новая.

Еще когда Державин в бытность кабинетским секретарем огорчался своим бессилием писать в честь Екатерины, покойная жена ему присоветовала поднести государыне просто собрание лучших его стихов, отчасти ей неизвестных. Державину эта мысль понравилась. Предположено было кстати, что подносимая тетрадь затем будет издана и положит начало печатному собранию державинских стихов. Державин принялся выбирать и исправлять пьесы, причем совещался с друзьями. Совещания были бурные. Львов, Капнист, Дмитриев наперебой предлагали свои поправки, Державин то соглашался, то упрямился. К каждой пьесе, в начале и в конце, решено было сделать рисунки, по большей части аллегорические, прекрасно придуманные Олениным (исполнены они были плохо). В общем, работа оказалась громоздкой, и на нее ушло много времени. Началась она еще в 1793 году, а кончилась только в октябре 1795-го. Державин приступил к ней в самую пору разочарования в Екатерине (чем, в сущности, она и была вызвана). Но раздражения и злобы в нем тогда еще не было. Во всяком случае, обозревая старые стихи, он еще нашел в душе силу воскресить прежний образ Фелицы, с твердостию признать, что обязан ему лучшими вдохновениями, и с грустию, но

без досады проститься с ним. Движимый уже не чувством, но воспоминанием о чувстве, он написал посвящение, или, по-тогдашнему, «Приношение Монархине»:

Что смелая рука Поэзии писала,
Как Бога, истину, Фелицу во плоти
И добродетели твои изображала,
Дерзаю к твоему престолу принести,
Не по достоинству изящнейшего слога,
Но по усердию к тебе души моей.
Как жертву чистую, возженную для Бога,
Прими с небесною улыбкою твоей,
Прими и освети твоим благоволеньем
И Музе будь моей подпорой и щитом,
Как мне была и есть ты от клевет спасеньем.
Да веселись она и с бодрственным челом
Пройдет сквозь тьму времен и станет средь потомков,
Суда их не страшась, твои хвалы вещать;
И алчный червь когда меж гробовых обломков,
Оставший будет прах моих костей глодать:
Забудется во мне последний род Багрима,
Мой вросший в землю дом никто не посетит;
Но лира коль моя в пыли где будет зрима
И древних струн ее где голос прозвенит,
Под именем твоим громка она пребудет;
Ты *славою*, — твоим я *эхом* буду жить.
Героев и певцов вселенна не забудет:
В могиле буду я, но буду говорить.

После этих стихов прошло больше года. За это время Державин еще раз просился в отставку или даже хотя бы в продолжительный отпуск, но вновь получил отказ. Когда изготовление тетради подходило к концу, певец Фелицы уже почти ненавидел прежний свой идеал. От поднесения рукописи он не отказался, но, под влиянием ядовитых чувств, включил в нее не только «Властителям и судиям», но и недавно конченного «Вельможу», в котором были прямые колкости по адресу императрицы, и даже стихи о Суворове, только что вызвавшие неудовольствие.

6 ноября 1795 года тетрадь, переплетенная в красный сафьян, была, наконец, представлена. По словам камердинера Тюльпина, государыня читала стихи «двое сутки». Но и две недели прошло — молчание. Приезжая по воскресеньям на выходы, Державин «приметил в императрице к себе холодность, а окружающие ее бегали его, как бы боясь с ним встретиться, не токмо говорить». В числе последних был и недавний друг — Безбородко. Наконец все объяснилось: Екате-

рина прочла впервые «Властителям и судиям». Один приятель спросил Державина: «“Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?” — “Какие?” — “Ты переложил псалом 81-й, который не может быть двору приятен”. — “Царь Давид, — сказал Державин, — не был якобинцем, следовательно, песни его не могут быть никому противными”».

Чтобы оправдаться перед Екатериной, Державину было достаточно развить это бесспорное положение и самое большее — объяснить отступления от библейского текста причинами поэтическими. Он же не только не спрятался за псалмопевца, но и представил Екатерине *«Анекдот»*, в котором неприкровенно высказал, что в стихах действительно подразумевается она и ее правление. «Спросили некоего стихотворца, — писал Державин, — как он смеет и с каким намерением пишет в стихах своих толь разительные истины, которые вельможам и двору не могут быть приятны. Он ответствовал: Александр Великий, будучи болен, получил известие, что придворный доктор отравить его намерен. В то же время вступил к нему медик, принесший кубок, наполненный крепкого зелия. Придворные от ужаса побледнели. Но великодушный монарх, презря низкие чувствования ласкателей, бросил проницательный свой взор на очи врача и, увидев в них непорочность души его, без робости выпил питие, ему принесенное, и получил здравие. Так и мои стихи, промолвил пиит, ежели кому кажутся крепкими, как полынковое вино, то они, однако, так же здравы и спасительны... Истина одна только творит героев бессмертными, и зеркало красавице не может быть противно».

Державин явно старался вызвать Екатерину на резкие действия. Она находилась в той поре жизни и царствования, когда зеркало ни в коем смысле не могло быть ей приятно. Но она держала себя в руках, отчасти, может быть, потому, что проникла в замыслы Державина и не хотела сделать его жертвою в глазах общества. Именно с этой целью она иногда давала ему поручения, с виду почетные, на деле же маловажные. Но вскоре Державин и тут сумел показать себя. Сама судьба помогла ему уязвить Екатерину глубоко и чувствительно.

Открылись мошенничества в Заемном банке. Комиссия для расследования этого дела была образована под председательством Петра Васильевича Завадовского, главного директора банка. Императрица назначила в нее и Державина, благо дело было пустячное: предполагалось только установить виновность кассира и нескольких служащих, которые, впрочем, не думали отпираться. Но Державину повезло. Вскрыв дело глубже, он с удовольствием обнаружил, что главный мошенник — сам Завадовский, один из приближеннейших к Екатерине людей, ее бывший фаворит. Комиссии волей-неволей пришлось доложить об этом императрице, а вельможа занемог с горя. На сей раз коварное усердие Державина едва не достигло цели: поручив Зубову с Безбородкой пересмотреть следствие и замять дело, Екатерина с негодованием назвала Державина «следователем жестокосердым» и пребывала по отношению к нему «нарочито в неблагоприятном расположении». Державин со своей стороны не собирался уступать. Предвидя решительный бой, он его жаждал, но втайне, может быть, и страшился. Иногда воспаленное воображение нечувствительно уводило его далеко от действительности, грядущее падение рисовалось ему в самых трагико-иронических образах, и он, как на театре, умилялся пред зрелищем благородной, но горестной своей участи. Однажды, в задумчивости, на обороте полученного письма, начертал он себе эпитафию:

Здесь лежит Державин,
который поддерживал правосудие;
но, подавленный неправдою,
пал, защищая законы.

Между тем, хотя обе стороны были раздражены до крайности, силою вещей решительное сражение все откладывалось. Ему и вовсе не суждено было состояться. Заботы и потрясения несравненно более важные поглотили Екатерину и подкосили ее здоровье. Ей было не до Державина. Со своей стороны, и Державин почти не бывал при дворе, и к нему избегали ездить. Случилось так, что об ударе апоплексическом, поразившем императрицу утром 5 ноября 1796 года, узнал он лишь вечером на другой день — и поспешил во дворец. Екатерина только что отошла. Пораженный Державин нашел ее труп посреди спальни, под белою простыней,

и, «облобызав по обычаю тело, простился с нею, с пролитием источников слез». Но то не были еще слезы примирения.

* * *

За тридцать четыре года, протекшие со дня петергофского переворота, успел сложиться тот особый уклад, который отчасти зовется веком Екатерины. Чем ближе к особе императрицы (следовательно — при дворе, в гвардии, в высшем чиновничестве), тем он был ощутительней, крепче, привычнее. С ним сжились, его полюбили. Однако ж, по силе многих причин, наиболее чужд и прямо враждебен ему был сорокадвухлетний сын и преемник императрицы. Она никогда не любила Павла, но постепенно этот костистый, угловатый человек, в плохо сидящем мундире, с коротким носом на сером, скуластом, широкоротом лице, порывистый плотью и духом, становился ей все несноснее. Он возбуждал в ней тонкую злобу, презрение и брезгливость. Она же в его глазах была убийцею человека, которого он не успел узнать, но которого (искренно или нет) почитал своим отцом. Еще полагал он, что она насильственно завладела его короной, и (справедливо ли, нет ли) привык от нее и ее приближенных ждать себе заточения, а то и смерти. Он ненавидел ее и едва ли не всех и все, что с ней было связано, — может быть, даже включая двух старших своих сыновей, которыми она завладела. В своей мрачной Гатчине жил он особым двором, с собственными своими войсками, как бы в мире, который не был и не должен был быть ни в чем схож с миром Екатерины. Люди екатерининского мира редко заглядывали в мир Павла, и он им чудился как бы потусторонним, как бы *тем светом*, в котором среди солдат витает окровавленный призрак солдата — Петра Третьего. И не успели еще вписать в камерфурьерский журнал, что императрица Екатерина Алексеевна к сетованию всея России в сей временной жизни скончалась, — как вместе с новым царем существа *того* света ворвались в *этот*. «Настал иной век, иная жизнь, иное бытие, — говорит современник. — Перемена сия была так велика, что не иначе показалась мне как бы неприятельским нашествием». С ним не сговариваясь, Державин пишет: «Тотчас во

дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом». Дипломат-иностранец вторит обоим: «Le palais eut en moment l'apparence d'une place enlevée d'assaut par des troupes étrangeres»[1].

Глубокие преобразования еще только предносились воображению нового императора. Но их предшественники и предвестники — новые порядки, — вводимые круто, «по-гатчински», тотчас появились всюду: в войсках, при дворе и просто на улице. Екатерина скончалась 6-го, а утром 8 ноября уже человек двести полицейских и солдат «срывали с проходящих круглые шляпы и истребляли их до основания; у фраков обрезывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрению начальника партии... В двенадцать часов утром не видали уже на улицах круглых шляп, фраки и жилеты приведены в несостояние действовать, и тысяча жителей Петрополя брели в дома их жительства с непокровенными головами и в разодранном одеянии». Не то чтобы крутость этих мероприятий исходила прямо от императора: усердствовала полиция. Но действительно, во всем, от причесок до умов и от воинской команды до основных законов, новый царь готовился повытрясти и повыколотить из России екатерининский дух, как пыль и моль выколачивают из лежалой одежды. В его глазах то был дух своеволия, изнеженности и всяческого разврата. Гвардия, от солдат до фельдмаршалов, ужаснулась суровым новшествам гатчинской экзерциции, и самый дворец, казалось, преобразился. «Знаменитейшие особы, первостепеннейшие чиновники, управляющие государственными делами, стояли, как бы лишенные должностей своих и званий, с поникнутою головой, не приметны в толпе народной. Люди малых чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал их, — бегали, повелевали, учреждали».

Ломка началась. Люди, связанные с минувшим царствованием, ждали решения своей участи. «Сия минута для них всех была тем, что страшный суд для грешных». Одни (в том числе Платон Зубов) были

---

[1] «Дворец в одно мгновение принял такой вид, как будто бы он был захвачен приступом иностранными войсками» *(фр.)*.

застигнуты ужасом и отчаянием, другие (как Безбородко), оживленные надеждою и расчетом, спешили застраховать себя услугами новому повелителю; третьи впали в оцепенение.

Набальзамированное тело Екатерины долго оставалось без погребения. Несколько раз стоя подле него на почетном дежурстве, в числе прочих особ первых четырех классов, Державин с неодолимой холодностию взирал на лицо, которому, говорят, вернулась улыбка. И религия, и разум ему подсказывали, что теперь надобно душой примириться с покойницею. Но это не удавалось. Мало того, что судьба разлучила его с государыней слишком внезапно, в минуту взаимного гнева и раздражения; из всех обид сердце человеческое труднее всего прощает разуверение. Поэтому как ни старался Державин, живого, сердечного примирения с Екатериной он в те дни не обрел. Правда, он заставил себя написать ей «Надгробную» и «Эпитафию». Но хотя в «Надгробной» после каждой строфы повторялось:

Се в гробе образец царей!
Рыдай... рыдай... рыдай о ней —

именно рыдания-то и не получилось. Стихи вышли холодны. Лишь тогда вдохновение посетило его, когда, сознавая, что вместе с Екатериной закончилась великая часть его собственной жизни, он стал подводить итоги и самому себе искать права на бессмертие. Вослед Горацию, он написал себе «Памятник»: воспоминание не об Екатерине, а лишь о своей поэтической связи с ней:

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В смиренной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.

* * *

За последние месяцы его гражданское одушевление с болью оторвалось от образа Екатерины и жило уже собственною, отдельною и — надо прямо сказать —

ослабленной жизнью. Не то чтобы разочарование в Екатерине повлекло за собой разочарование в идее; но все же идея утратила часть своего сияния; она не помрачилась сама в себе, но прозрачная тень разочарования как бы пала и на нее. Прежней горячности в Державине больше не было, прямое рвение становилось привычкою к рвению (упрямство, гордость и сознание долга ее поддерживали). Уж если напрасною оказалась вера в Фелицу, то, разумеется, ни в какого идеального царя нельзя верить. Идеальным царем не будет и Павел. Но где доказательства, что он будет хуже Екатерины? Обольщаться не надо, как и прежде не следовало, но кое-какие упования можно на него возлагать. Что он уймет распущенность, подрежет крылья корысти, пособьет спеси дворянской, не станет во всем потакать своим царедворцам — можно быть уверенным. И то уже благо. Что он кое-чему обучит невежд — надо надеяться: ведь вон как военных-то принялся обучать! Что он подтянет бездельников — это наверняка: неутомимую заботливость в отправлении дел проявляет сам, и недаром уже теперь в департаментах и канцеляриях с пяти часов утра горят свечи. Правда, крутоват: однако ж, оно и к лучшему — Екатерина была слабовата. А что прям — это и по всему видать. Прямоту Державин ценил в особенности; Екатерина была уклончива.

В понедельник, 17 ноября, под утро, придворный лакей привез Державину повеление тотчас ехать во дворец. Было еще темно, когда Державин явился и дал знать о себе камердинеру Ивану Павловичу Кутайсову, которого горбоносое, смуглое лицо в пудреном парике сияло пронырливою веселостию: Кутайсов ног под собой не чуял от радости по случаю воцарения своего благодетеля. На рассвете Кутайсов ввел Державина в кабинет государя.

Мужа покойной молочной сестры своей Павел принял с нарочитым радушием. «Наговорив множество похвал, сказал, что он знает его со стороны честного, умного, безынтересного и дельного человека, то и хочет его сделать правителем своего Верховного Совета, дозволив ему вход к себе во всякое время». Державин остался верен себе: «поблагодаря его, отозвался, что он рад ему служить со всею ревностию, ежели его величеству угодно будет любить правду, как

любил ее Петр Великий». Павлу это понравилось чрезвычайно: вот слуга, который ему впрямь необходим. Он взглянул на Державина *пламенным взором* и весьма милостиво раскланялся.

В великой радости вернулся домой Державин. Шутка ли стать правителем Верховного Совета? В нем заседали гр. К.Г.Разумовский, гр. Румянцев-Задунайский, гр. Чернышев, гр. Н.И.Салтыков, враг Державина Завадовский и другие. Павел сюда прибавил двоих князей Куракиных, Соймонова, Васильева, гр. Сиверса. И надо всеми ними Державин будет поставлен *правителем*, как генерал-прокурор над сенаторами. Должности такой до сих пор еще не было — он первый ее займет. Вот когда признана его добродетель! Вот когда заскрежещет порок в лице врагов его!

Все это было чистейшее заблуждение. Во вторник вышел указ об определении Державина, но не в правители *Совета*, а в правители *канцелярии Совета:* разница превеликая, а для сенатора, каковым был Державин, и унижение. Обескураженный, он решился просить у государя инструкции, то есть разъяснения, в чем должна состоять его должность. Во вторник и в среду он делал визиты членам Совета и не скрыл от них своего смущения. Его весьма поддержали — кажется, не без злого умысла.

Настал четверг, день советский. Не имея права сесть за стол членов, Державин не сел и за стол правителя канцелярии: так и слушал дела, стоя или ходя вокруг присутствующих. Все эти дни (те самые, когда было извлечено из гроба тело Петра III и Павел с семьей каждодневно ездил в Лавру на панихиды) Державин обедал и ужинал во дворце. Но аудиенцию у государя удалось ему получить лишь в субботу, 22-го числа. Император, занятый мрачными мыслями, все же встретил его довольно ласково и спросил, что надобно.

— По воле вашей, государь, был в Совете, но не знаю, что мне делать.

— Как не знаете? Делайте, что Самойлов делал.

(Самойлов был при Екатерине правителем канцелярии Совета.)

— Я не знаю, делал ли что он: в Совете никаких его бумаг нет, а сказывают, что он носил только государыне протоколы Совета, почему осмеливаюсь просить инструкции.

— Хорошо, предоставьте мне.

На этом следовало бы кончить. Но Державин не вовремя вспомнил свободу, которую имел при докладах у покойной императрицы, и прибавил, что в Совете не может он сидеть с членами оного, ибо к тому не назначен, а сидеть за столом канцелярским ему невместно. Так вот — не стоять ли ему между столами?

«С сим словом вспыхнул император: глаза его, как молньи, засверкали». В бешенстве подбежал он к дверям, распахнул их — пред кабинетом стояли люди: Трощинский, Архаров и прочие.

— Слушайте, — закричал Павел, — он почитает быть в Совете себя лишним!

И оборотясь к Державину:

— Поди назад в Сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу.

Тогда, свету не взвидев, и Державин в свою очередь обратился к слушателям, указуя на государя:

— Ждите, будет от этого... толк!

Как в беспамятстве, выбежал он из дворца, и дико смеялся, и дома «не мог удержаться от горестного смеха, рассказывая жене с ним случившееся».

Слухи полетели по городу. Слова Державина пересказывались на все лады и даже приукрашались, хотя довольно было и правды. Для Державина ждали великих бед, вспоминали пословицу: погибла птичка от своего язычка. Все, однако же, ограничилось кратким указом: «Тайный советник Гаврило Державин, определенный правителем канцелярии Совета Нашего, за непристойный ответ, им пред Нами учиненный, отсылается к прежнему его месту. 22 ноября 1796».

Фавор, начавшийся в понедельник, в субботу кончился. Павел оказался пожестче Екатерины. Но на сей раз Державин и дома почувствовал, что Дарья Алексеевна — не Пленира. Она с ним не стала смеяться, а учинила ему нагоняй и немедленно созвала семейный совет из Капнистов и Львовых, благо все три поэта были женаты теперь на трех сестрах. Капнист опять жил в Петербурге, вел трудную тяжбу с соседом своим Тарковским и дописывал комедию; с какой стороны ни взгляни — ему нужны были покровители; державинская беда приходилась ему некстати. Львов и при новых порядках чувствовал себя как рыба в воде и не

понимал, чего еще надобно Гавриле. Словом, «осыпав его со всех сторон журьбою, что он бранится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха». Державин сунулся было туда-сюда, но нигде помощи не нашел. Он бы и бросил все это дело, стал бы писать стихи. Его тянуло к перу. Он дописал «Бессмертие души», начатое одиннадцать лет тому назад, вслед за «Богом»:

Отколе, чувств по насыщенье,
Объемлет душу пустота?
Не оттого ль, что наслажденье
Для ней благ здешних — суета,
Что есть для нас другой мир, краше,
Есть вечных радостей чертог?
Бессмертие — стихия наша,
Покой и верх желаний — Бог!

Но верх желаний Дарьи Алексеевны не в том заключался, ее стихией были дела житейские. Женою полуопального сановника она никак не желала быть. Покою Державину не стало. «По ропоту домашних был в крайнем огорчении и наконец вздумал он, без всякой посторонней помощи, возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта». Явилась «Ода на новый 1797 год» — в сущности, на воцарение Павла I. За нее Державина ославили льстецом, — обвинение незаслуженное. Державин видел еще лишь начало царствования, ознаменованное, при всех резкостях, рядом великодушных поступков и благих начинаний. Правда, суровые кары тотчас обрушились на некоторых приближенных Екатерины, особенно на причастных к перевороту 1762 года. Зато другие были обласканы с исключительной щедростью. Зато Костюшко, Потоцкий и Немцевич выпущены на волю и даровано прощение всем вообще полякам, «подпавшим под наказание, заточение и ссылку по случаю бывших в Польше замешательств». Из Илимска был возвращен Радищев, из Шлиссельбурга освобожден Новиков; масон Лопухин вызван в Петербург и обласкан; по его ходатайству выпущены все заключенные в тайной канцелярии, кроме повредившихся в уме. С первых дней царствования Павел повел борьбу с судебной и канцелярскою волокитой — Капнист недаром посвятил ему «Ябеду». Далее император выразил твердое намерение прекратить войны: рекрут, набранных

по указу Екатерины, он распустил по домам; хлеб, забранный для провиантского департамента в казну, приказал вернуть — и т.д. Все это и было отмечено Державиным. Поэт следовал только истине и давнему воспитательному правилу своей поэзии — по возможности не бичевать порок, но поощрять добродетель, возбуждая ее к новым подвигам. Он и теперь считал, что чем прекраснее портрет, тем более оригиналу захочется быть на него похожим. Наконец, не мог он не сознавать великодушия, проявленного императором к нему лично: за оскорбление неслыханное и незаслуженное (в котором должно бы извиниться, будь даже Павел не император, а простой смертный) поплатился он всего только отчислением к прежней должности.

Можно сказать, однако, что, не подчинившись голосу лести, лира Державина все же была на сей раз унижена подчинением домашнему натиску. И она за себя отомстила: ода вышла холодная, натянутая, бескрылая. Эти поэтические недостатки не помешали ей, впрочем, возыметь свое действие: Павел велел генерал-адъютанту представить Державина и обошелся с ним милостиво. Тем самым был восстановлен и мир семейный в доме Державина.

* * *

Обвинять Державина в лести не только несправедливо, но и непроницательно. Льстить государю как раз не входило в его расчеты. Помириться он был не прочь, но искать близости, домогаться новых благ или должностей ему уже не хотелось (на это обстоятельство он едва осмелился бы намекнуть Даше, и то разве обиняками). В возможность ужиться с Павлом так, чтобы действительно влиять на дела, он больше не верил, а без того служба грозила лишь новыми неприятностями. Конечно, сидеть сложа руки он не умел. В нем не остыла еще потребность или привычка действовать, кипятиться, рыться в законах. Но эта привычка находила себе утоление и помимо службы. Слава строптивого чиновника и плохого царедворца постепенно создала ему в обществе славу особо честного и беспристрастного человека. Все чаще к нему обращались с просьбами быть третейским судьей в разных делах, когда стороны не хотели довериться

казенному правосудию; сверх того, многие люди, дела которых были расстроены, просили Державина о принятии опеки над их имуществом. Эти суды, которых он провел около сотни, и опеки, которых при Павле он имел в своем управлении целых восемь, требовали немалых трудов и создавали ему почетное общественное положение. Поэтому, примирившись с царем и тем сняв с себя тень опалы, Державин отнюдь не просил новой должности; рад был остаться всего лишь сенатором. Да и в Сенате приучал себя относиться к делам спокойнее: понял, что плетью обуха не перешибешь. Когда возникали шумные прения, он не без яду повторял слова государя:

— Мне велено сидеть смирно, то делайте вы как хотите, а сказал уже мою резолюцию.

К мечтаниям об отстранении от службы подготовлял он Дарью Алексеевну осторожно, под покровом поэзии, даже легонько льстя ей:

К богам земным сближаться
Ничуть я не ищу,
И больше возвышаться
Никак я не хочу.

Душе моей покою
Желаю только я:
Лишь будь всегда со мною
Ты, Дашенька моя!

Это желание все более укреплялось. Новое царствование едва ли не каждый день давало к тому поводы. Опала, постигшая Суворова, была одним из наиболее разительных.

Будучи вполне убежденный противник войны, «проповедуя мир миру» и в том почитая одну из своих заслуг, Державин по чувству патриотическому с великим уважением относился к екатерининским полководцам. Недавно умершего Румянцева, которого не довольно знал, он прямо идеализировал; Суворову прощал человеческие слабости, высоко чтил в нем набожность и сумел понять тонкий смысл его символических чудачеств. Со своей стороны, и Суворов, питавший слабость к поэзии, оценил автора «Бога» и «Фелицы». В толпе екатерининских вельмож прямой и ни с кем не схожий Державин не без оснований казался ему чем-то вроде того, что Суворов был сам среди полководцев. Он звал Державина Аристидом.

В свое время ода на взятие Измаила не могла ему не польстить. Вслед за тем Державин прислал ему первое четверостишие на взятие Варшавы. Полководец был покорен вполне и ответил поэту стихами, довольно витиеватыми, о коих, впрочем, писал, что они сложены «в простоте солдатского сердца»:

Царица, севером владея,
Предписывает всем закон:
В деснице жезл судьбы имея,
Вращает сферу без препон — *и проч.*

В конце 1795 года Суворов приехал в Петербург. Екатерина ему отвела дом князя Таврического, где он спал на соломе и ходил почти нагишом. На второй день его там пребывания многие знатные особы с утра устремились к нему с визитами, но не были приняты. Первого принял он Державина в своей спальне, долго беседовал и не отпускал. В 10 часов приехал Платон Зубов. Суворов с ним говорил стоя и не впуская дальше порога; немного спустя он его спровадил, Державина же оставил обедать. Во время обеда приехал вице-канцлер граф Остерман. Суворов, вскочив из-за стола, выбежал на подъезд; гайдуки открывают для Остермана карету, но тот не успел и привстать, как Суворов скакнул к нему, сел рядом, поздоровался, поблагодарил за посещение и выпрыгнул обратно. Остерман уехал, Суворов вернулся в столовую и со смехом сказал Державину:

— Этот контр-визит самый скорый, лучший и взаимно неотяготительный.

С той поры они подружились. Когда в феврале 1797 года Павел грубо отставил Суворова, а затем сослал в Боровицкую глушь, под присмотр земской полиции, Державин столько был поражен, что слов у него не нашлось. Между тем успел уже пострадать и Валериан Зубов. Конечно, военные заслуги Зубова никак не сравнимы с суворовскими, но его опала была еще более незаслуженна. Суворов хоть прогневил императора язвительными речами; Зубов пал жертвою необузданного павловского миролюбия. Он командовал армией, которую Екатерина отправила против Персии. Войска были отозваны вдруг, без ведома Зубова, сам же он брошен на произвол судьбы в краю неприятеля. Державин некогда поэтически сравнивал его прежние победы над персами с подвигом Алексан-

дра Великого. По этому поводу кн. С.Ф.Голицын, встретив Державина при дворе, заметил, что в нынешних обстоятельствах он уже не посмеет писать в честь Зубова. «Вы увидите», — отвечал Державин и, приехав домой, написал оду «На возвращение графа Зубова из Персии», которую не мог, разумеется, напечатать, но в списках пустил по городу. Намекая на прежние свои стихи, он в ней говорит:

По быстром Персов покореньи
В тебе я Александра чтил!
О! вспомни, как в том восхищеньи,
Пророча, я тебя хвалил:

Смотри, — я рек, — триумф минуту,
А добродетель век живет.
Сбылось! — Игру днесь Счастья люту
И как оно к тебе хребет
Свой с грозным смехом повернуло
Ты видишь; видишь, как мечты
Сиянье вкруг тебя заснуло,
Прошло, — остался только ты.

Он с каждым днем убеждался, что на место екатерининских зол являются новые, павловские, а старые блага, уничтожаясь, новыми не замещаются. Понемногу он научился вздыхать о прошлом. Он посетил Царское Село — оно показалось ему горестными *развалинами.* Он понял, что екатерининская слава умерла, павловской же не будет. Житейским отсюда выводом было желание стать в стороне от государственных дел, во всяком случае — подалее от кормила, а выводы поэтические изложил он в стихотворении «К лире»:

Петь Румянцева сбирался,
Петь Суворова хотел;
Гром от лиры раздавался,
И со струн огонь летел.

Но завистливой судьбою
Задунайский кончил век,
А Рымникский скрылся тьмою,
Как неславный человек.

Что ж? Приятна ли им будет,
Лира, днесь твоя хвала?
Мир без нас не позабудет
Их бессмертные дела.

Так не надо звучных строев:
Переладим струны вновь;
Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.

* * *

Начнем — сказано не совсем точно: любовная лирика присутствовала в поэзии Державина и раньше; эта поэзия с нее даже и началась — в ту казарменную пору, когда юный поэт еще не решался «гнаться за Пиндаром». Но постепенно она была и количественно, и качественно заслонена музой гражданской и историографической (то же, но в меньшей степени случилось и с религиозной поэзией Державина). Кроме общественных, были тому и другие немаловажные причины, личные и литературные: даже именно сочетание личных с литературными.

Державин во всем начинал с подражаний, исходил из готовых форм, вместе с ними заимствуя у других поэтов оттенки мыслей и чувств. Для его поэзии то был неизменный ход развития. Так началась и его любовная лирика, и все шло гладко, пока для его солдатских шашней и офицерских интриг хватало сердечного и стихотворного опыта, черпаемого из условной и легковесной эротической поэзии, которая была ему открыта. Но этого опыта сразу оказалось недостаточно, лишь только Державин охвачен был подлинным и глубоким чувством к Екатерине Яковлевне. Образцы, которым он мог бы следовать, выражали нечто вовсе пустое в сравнении с его любовью. Перед этой любовью очутился он столь беспомощен, что, когда, по законам ухаживания, понадобилось ему посвятить невесте стихи, он ничего не мог написать и поднес старую, вовсе не к Катеньке обращенную пьеску, которую кое-как докончил. Прибегнуть к маленькому обману ему было легче, нежели говорить о предмете своей любви суетным и жеманным языком тогдашней поэзии.

Этому несоответствию чувства и способов выражения суждено было не сглаживаться, а углубляться по мере того, как любовь к Пленире становилась полней и строже. Как раз в то время, когда в иных областях поэзия Державина созидалась, то есть когда он все более обретал силу высвобождать, выращивать свое из чужого, — именно в области любовной лирики он ничего не мог сделать, ибо ему не с чего было начать. Правда, читая Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Эмина (бывшего своего подчиненного и спутника по олонецкому путешествию), обращаясь к немецким по-

этам и особенно — беседуя с Львовым, весьма оценил он прелесть Анакреона, точнее — того своеобразного сплава, который к XVIII столетию образовался из подлинных песен античного лирика и многовековых подделок, переводов и подражаний. Но рассудительное сладострастие анакреонтической поэзии ничего не имело общего с любовью к Пленире. Рано усвоив анакреонтические образы и приемы, Державин все же не применял их для изображения своей любви. В конце концов она так и осталась невоспетой, неизъяснимой. У Державина есть несколько трогательных, нежнейших упоминаний о Пленире, но прямо любовных стихов, всецело ей посвященных, — нет.

На Плениру Державин истратил всю любовную силу души своей. После нее он уже никого по-настоящему не любил. «Половина души», опустевшая со смертью Плениры, Миленою не была заполнена. Именно поэтому Державин, который при жизни Екатерины Яковлевны не смотрел на других женщин, женившись на Дарье Алексеевне, стал на них даже очень заглядываться. У Плениры не было поводов к ревности — у Милены их было вполне достаточно. Начиная примерно с 1797 года старость Державина овеяна любовными помыслами и исканиями. Особы, внушавшие ему нежные чувства, чаще всего сокрыты под условными поэтическими прозвищами или вовсе не названы. История сохранила лишь небольшую часть имен достоверных. Среди них в разные годы встречаем мы Варю и Парашу Бакуниных (двоюродных сестер Дарьи Алексеевны, сирот, которых она у себя приютила); молоденькую плясунью Люси Штернберг, воспитанницу графини Стейнбок; юную и проказливую графиню Соллогуб; семнадцатилетнюю Дуню Жегулину. Были и другие — мы еще с ними встретимся.

Совсем молоденькие девушки привлекали Державина в особенности. Он между ними почти не делал различия — все были хороши; вот каково было его «Шуточное желание»:

Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках:
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях.
Пусть сидели бы и пели,

Вили гнезда и свистели,
Выводили и птенцов;
Никогда б я не сгибался,
Вечно б ими любовался,
Был счастливей всех сучков.

О каждом отдельном случае невозможно сказать, как далеко заходили ухаживания Державина, всегда, однако же, деятельные. Иногда, вероятно, приходилось довольствоваться полунасильно сорванным поцелуем. Впрочем, девические обычаи той поры были довольно свободны.

Предание рисует Анакреона беззаботным старцем в кругу юных граций. Анакреонтическая личина как нельзя лучше подошла стареющему Державину. Памятником его неизъяснимой любви к Пленире осталось молчание. Его нынешние увлечения было легко и кстати выразить в вольных переводах и подражаниях теосскому певцу. Державин в анакреонтических своих песнях кажет себя веселым, находчивым стариком, окруженным девушками. Он ими любуется, нашептывает им нежности, порою слегка бесстыдные, радуется любовным удачам, а в случае неудачи не унывает и сам не прочь пошутить насчет своей старости.

Совмещение остатков античности с наслоениями последующих столетий (особенно XVII и XVIII) составляет не только признак того анакреонтического сплава, о коем уже говорено, но и его своеобразную прелесть. Анакреон беседует с Хлоями и Калистами, в которых приятно узнавать милых модниц на французских остреньких каблучках; эллинские Эроты и латинские Купидоны целят своими стрелами в их сердца; сатиры и фавны пляшут средь выцветающих декораций пастушеского балета. Державин еще усложнил эти изящные несоответствия, придав им неожиданный третий слой: Анакреона он несколько обрусил, но с тончайшим вкусом, не во всем и не сплошь, но как раз настолько, чтобы все три слоя слегка просвечивали.

Это вышло само собою. На деньги, полученные в приданое, Дарья Алексеевна купила в 1797 году сельцо Званку, на берегу Волхова, в 55 верстах от Новгорода. Там чаще всего и протекали романические истории Гавриила Романовича; крестьянские и дворо-

вые красавицы играли в них, может быть, еще более важную роль, чем приезжие барышни. И вот — пейзаж Званки ворвался в чужеземную поэзию, зазвучала не книжная, но сельская речь, русские дали раскинулись под искусственным небом Анакреона, засвистала пеночка, славянский Лель порхнул меж Амурами, Лада соперничает с Венерой, охотнички постреливают дичину, скрипят жернова на мельницах — для Державина только тот мир прекрасен, который похож на Россию. И вот — среди эллинских нимф и французских пастушек, развевая одежды античными складками, заплясали в кокошниках русские девушки, «сребро-розовые лицом» Варюши, Параши, Любуши: для Державина девушка не прекрасна, если она не русская. И он с гордостью вопрошает Анакреона:

Зрел ли ты, певец тииский,
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка;
Как, склонясь главами, ходят,
Башмачками в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят;
Как их лентами златыми
Чела белые блестят,
Под жемчугами драгими
Груди нежные дышат;
Как сквозь жилки голубые
Льется розовая кровь,
На ланитах огневые
Ямки врезала любовь;
Как их брови соболины,
Полный искр соколий взгляд,
Их усмешка — души львины
И сердца орлов разят?
Коль бы видел дев сих красных,
Ты б гречанок позабыл
И на крыльях сладострастных
Твой Эрот прикован был.

Обдумывая рисунки для будущей книги, Державин сочинил к этим стихам концовку: «многокрылатый Эрот привязан к простой русской пряслице, на коей видна кудель». В этом смешении стилей не должно видеть ни наивности, ни нечаянности. Смысл и прелесть всего русского анакреонтизма Державин понимал и его создание ставил себе в заслугу. Изображая самого Анакреона (и намеренно придавая ему собственные свои черты), он говорит:

Цари к себе его просили
Поесть, попить и погостить;
Таланты злата подносили, —
Хотели с ним друзьями быть.

Но он покой, любовь, свободу
Чинам, богатству предпочел;
Средь игр, веселий, хороводу
С красавицами век провел.

Беседовал, резвился с ними,
Шутил, пел песни и вздыхал,
И шутками себе такими
Венец бессмертия снискал.

Посмейтесь, красоты российски,
Что я в мороз, у камелька,
Так вами, как певец тииский,
Дерзнул себе искать венка.

Певец Северной Минервы мечтал теперь стать Северным Анакреоном. Но удалиться от царей ему еще не было суждено.

* * *

Почти два с половиною года Державину удавалось сидеть в Сенате, словно в норе. Наконец интрига довольно сложная выманила его оттуда. Зоричу, бывшему своему любимцу, Екатерина пожаловала огромное, так называемое Шкловское, имение в Могилевской губернии. Там Зорич и жил почти что на положении феодальном, как вдруг весной 1799 года поступила от шкловских евреев жалоба на утеснения, им чинимые. Еврейские горести особенно близко принял к сердцу Кутайсов (возможно, что самая жалоба была подана не без его участия). Он рассчитывал, что в случае изобличения Зорича великолепное имение может быть взято в казну, а затем куплено им, Кутайсовым, за дешевую цену. Надобно было произвести в Шклове следствие, и Кутайсов старался придумать, кого бы туда послать. Меж тем в Сенате должно было решиться старое, двенадцатилетнее дело о взыскании в казну 300 000 рублей с тамбовского купца Бородина, того самого, из-за которого Державин лишился своего губернаторства. Дело возникло еще по жалобе Державина. Чтоб решить его в пользу ответчика, покровители Бородина Гудович, Завадовский и Васильев (ныне уже барон) мечтали на это время удалить Державина из

столицы. Они-то и присоветовали Кутайсову отправить его в Белоруссию: Завадовский по личному опыту знал, что Державин — «следователь жестокосердый». Словом, в июне месяце государь, по просьбе Кутайсова, послал Державина в Шклов. Но Державин, прибыв на место (и кстати сказать — дорогою заведя небольшой роман), установил, что и Зорич имеет столько же оснований жаловаться на евреев, как они на него. Такой исход следствия Кутайсову оказался не на руку. Последовало высочайшее повеление Державину вернуться в Петербург.

На судьбу Державина эта командировка сама по себе не оказала влияния. Она примечательна лишь как первая попытка вывести его вновь на сцену из-за кулис. Вскоре последовала вторая — хотели послать его на ревизию в Вятку. Ему, однако же, удалось отвертеться, и до поры он снова обрел покой. Как раз в это время произошли события, о которых должно сказать, хотя к службе Державина они прямого касательства не имели.

Еще за несколько месяцев до поездки Державина в Белоруссию сбылось его предсказание, что звезде Суворова суждено взойти вновь. В конце февраля полководец, прощенный Павлом по настоянию венского двора, отправился в знаменитый итальянский поход. Когда появились известия о первых его успехах — о переходе через Аббу и о вступлении в Милан, — Державин написал оду «На победы в Италии». Едва упомянув имя императора, назвал он Суворова «лучом, воссиявшим из-под спуда». Затем, уже после возвращения из Белоруссии, в самом начале следующей зимы, за первой одой последовала вторая — «На переход Альпийских гор», одна из самых мощных в мощной историографической лирике Державина. Великою для него радостью было вновь воспеть славу русских полков, предводимых к тому же не павловским, а екатерининским вождем. Впрочем, самое главное, может быть, было то, что в торжестве Суворова воспевал он и торжество справедливости. Правда, он сделал два-три комплимента Павлу, но были тому основания: во-первых, стихи, посвященные русской славе перед лицом Европы, некстати было бы омрачать отголосками грустных российских дел; во-вторых, Державин искренно был уверен, что на ссоре

Павла с Суворовым ныне поставлен крест, и не хотел бередить старые раны. Но ода писана была в октябре 1799 года, при первом известии о суворовском подвиге, издана же в начале 1800-го, когда престарелый полководец, уже больной, вернулся в Россию — и вновь было замечено тайное к нему недоброжелательство государя. Тогда-то на обороте заглавного листа Державин велел припечатать лестный по внешности, но внутренне очень колкий эпиграф: «Великий дух чтит похвалы достоинствам, ревнуя к подобным; малая душа, не видя их в себе, помрачается завистию. Ты, Павел! равняешься солнцу в Суворове; уделяя ему свой блеск, великолепнее сияешь». Из этих слов «Павел познал, что примечено публикою его недоброжелательство к Суворову из зависти». Естественно, что после такого познания ода была принята им *холодно.*

Между тем самому Суворову суждено было кончать свои дни в болезни. Державин не раз посещал его. Свидания были исполнены той простоты, которая приличествовала обоим. Суворов перед Державиным оставлял чудачества, Державин в присутствии умирающего Суворова становился спокойнее, учился чувствовать приближение старости, мудрее вспоминать прошлое, судить о нем снисходительней и любовней. Им было что вспомнить — от пугачевских степей до янтарных теремов Царского Села. Казалось — история и Фелица незримо присутствовали среди их беседы. Суворов спросил однажды:

— Какую же ты мне напишешь эпитафию?

— По-моему, много слов не нужно, — ответил Державин. — Довольно сказать: *здесь лежит Суворов.*

6 мая Суворов при нем скончался. Державин, вернувшись домой, прошел в кабинет. Ученый снигирь трепыхнулся в клетке и по привычке тотчас пропел все, что знал: одно колено военного марша. Державин плотней прикрыл дверь, подошел к конторке, провел рукой по глазам, взял перо:

Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобно, милый Снигирь?
С кем мы пойдем войной на гиену?
Кто теперь вождь наш? кто богатырь?..

* * *

«Сидя смирно» в Сенате, Державин только однажды вызвал неудовольствие государя, когда, вступясь за мелких шляхтичей и ксендзов, обвиняемых в государственной измене, высказал мысли, по тому времени замечательные. «Придет время, — сказал он, — узнаете: чтобы сделать истинно верноподданным завоеванный народ, надобно его привлечь прежде сердце правосудием и благодеяниями, а тогда уже и наказывать его за преступления, как и коренных подданных, по национальным законам». На другой день ему передали, что государь приказал не умничать.

Зато стихами, исполненными то язвительных намеков, то неприятных нравоучений, вызывал он гнев Павла довольно часто. За одой на возвращение Зубова следовала двусмысленная ода «На новый 1798 год», за нею стихи «К самому себе», после которых Павел, увидев Державина при дворе, «с яростным взором, по обыкновению его, раздув ноздри, так фыркнул, что многие то приметили и думали, что верно отошлет Державина в ссылку или по крайней мере вышлет из города в деревню». Ссылку прочили и за колкости в оде на рождение великого князя Михаила Павловича. Правда, государь вместо ссылки прислал Державину табакерку, но это был лишь минутный жест — один из бесчисленных жестов той постоянной драматической импровизации, которая давно заменила Павлу действительность, была его отрадою и мучением и решила его судьбу. В общем, Державин был ему неприятен. Он прямо жаловался генерал-прокурору Лопухину, что Державин *всё колкие какие-то пишет стихи*. Эпиграф к альпийской оде тоже, конечно, ему запомнился.

Казалось бы, если Павел не любит Державина, а Державин не хочет служить при Павле, то им встретиться вовсе не суждено. Однако в придворных делах (а в те времена все дела государственные силою вещей становились придворными) имелась особая, своя логика. Вернее, логика была обычная: следствия, как всегда, вызывались причинами. Но сами причины, попадая в придворный мир, вызывали совсем не те следствия, которые они вызывали бы в иной сфере. Державин и Павел встретились — и как раз потому, что избегали друг друга. И даже именно при Павле, неожиданно для

обеих сторон, вопреки их желаниям и характерам, Державину было суждено служебное возвышение почти стремительное.

В былые годы Державин судил людей строго, и как дурных встречалось более, чем хороших, то и было у него при дворе и в правительстве более врагов, чем друзей. Среди сильных людей нового царствования не было у него ни тех, ни других, потому что на всех он взирал с одинаковою холодностию. Прежде он очертя голову кидался на борьбу с беззаконием, плутовством, пронырством. Ныне довольствовался тем, что сам поступал по закону и совести, а выводить на чистую воду, обличать и карать ему более не хотелось. Теперь с ним уживались те, кому ранее от него житья не было бы.

При Екатерине он ставил себе высокие цели и ради них искал власти. Теперь, когда он решил, что борьба бесполезна, уже и самая власть была ему не нужна. Ничего он не проповедовал, ни за чем не гнался. По законам придворной логики это тем более открывало ему карьеру, ибо никто уже не страшился ни его мыслей, ни его соперничества.

Без друзей, без врагов, без целей, очутился он и вне партий — то есть как если бы и во всех партиях сразу, потому что теперь люди всех партий равно могли искать у него содействия. В то же время никто не боялся, что он слишком возвысится: его личные отношения с государем заранее ставили возвышению такому известный предел. Никто не боялся, что Павел слишком полюбит Державина, да и Державин никак не годился во временщики.

Итак, ни перед кем не заискивая, но и не проявляя слишком открыто свой нрав, единственно благодаря сложнейшему ходу придворных дел, для себя самого неожиданно, Державин стал возвышаться. Летом 1800 года снова послали его в Белоруссию. Цель была вроде той, что и при первой командировке: надеялись, что он изобличит временных владельцев казенных земель в жестоком обращении с крестьянами, и тогда земли будут отобраны в казну, чтобы попасть в руки Кутайсова и других. Державин опять не исполнил того, что от него требовалось, но в его отсутствие хитрые придворные обстоятельства так сложились, что он был вдруг пожалован действительным тайным советником, получил почетный командорский крест

Мальтийского ордена и был заочно назначен президентом восстановленной коммерц-коллегии. Примечательно, что, узнав об этом, он писал жене: «Ты радуешься, но я не очень». Со своей стороны, государь, когда Державин приехал в Петербург, не пожелал принять его и сказал генерал-прокурору Обольянинову:

— Он горяч, да и я: так мы, пожалуй, опять поссоримся: пусть доклады его идут ко мне через тебя.

Не прошло и трех месяцев, как Державин, никаких подвигов не сверша, пошел в гору еще быстрее: «повелено ему быть вторым министром при государственном казначействе и управлять делами обще с государственным казначеем». Это повеление состоялось 21 ноября, а 22-го государственный казначей бар. Васильев смещен вовсе и Державин назначен на его место. 23-го числа он уже сделан членом того самого Верховного Совета, из-за которого некогда поссорился с государем, 25-го переведен из межевого департамента Сената в 1-й, а 27-го пожаловано ему 6 000 рублей столовых ежегодно. Тогда же назначен он заседать в советах Смольного монастыря и Екатерининского института.

Человек слаб. Легкие служебные успехи, которых Державин не знавал раньше, начинали ему нравиться. Приятно было, что ордена сами собой сыплются на грудь, а деньги в карман. Порой ему даже казалось, что государь научился его ценить. Но государь хмурился по-прежнему. В самое Крещение 1801 года он было рассвирепел, узнав, что Державин обедал у Платона Зубова. Призвал к себе к кабинет, сам сел на софу, а Державину велел сесть напротив. Говорил, прилежно глядя ему в глаза, и отпустил с грозным видом.

Стремительное возвышение Державина с самого начала объяснялось не благоволением государя, а происками Кутайсова и генерал-прокурора Обольянинова. Кутайсов хотел погубить Васильева — у них были старые счеты; генерал-прокурор подольщался к Кутайсову. Вот и спихнули они Васильева и посадили на его место безопасного Державина, которого старались задобрить и задарить, внушая, чтоб он, при вступлении в должность, настойчивей проверял денежную отчетность. Кутайсов надеялся, что удастся представить Васильева вором.

Но Державин был непослушным орудием; он стал действовать добросовестно и не спеша. Кутайсов

и Обольянинов на него ворчали, так что Державин побаивался, как бы, «снисходя к Васильеву, самого себя вместо его не упрятать в крепость». Наконец, уже в марте 1801 года, он представил рапорт, из коего следовало, что в отчетности казначейства имеются недостатки, но, в общем, счеты между собой согласны. Этот рапорт рассматривался в Совете 11 марта, в присутствии великого князя Александра Павловича, недавно туда назначенного. Обольянинов нападал на Васильева, обвиняя его в преступлениях; наследник, напротив, с горячностию вступался, отрицая даже и неисправности; Державин «балансировал на ту и другую сторону», подтверждая наличность ошибок со стороны Васильева, но отрицая злой умысел. На другой день ему предстояло докладывать императору для окончательного решения. Вечер провел он у генерал-прокурора, трактуя о соляных подрядах. Около полуночи поехал домой. Стояло ненастье. Луна бежала в громоздких, быстролетящих тучах. Резкий ветер, всегда подавляющий душу и родящий тревогу, налетал с сиповатым ревом, напоминающим голос императора. Завтрашний доклад беспокоил Державина: обманувшись в расчетах, Кутайсов, наверно, успел нажаловаться. Укладываясь в постель, Державин прислушивался, как за окном шумит буря.

За ночь, однако же, ветер упал. Солнце, вступая в знак Овна, сияло поутру среди голубого неба, началась оттепель; то был первый день первой весны девятнадцатого столетия. Часов в восемь вбежала Параша Бакунина (теперь уже, впрочем, госпожа Нилова) и объявила, что государь убит. Из Зимнего дворца привезли повестку: «Его Императорское Величество Государь Император Александр Павлович указать соизволил сего марта 12 в 9 часов поутру иметь приезд во дворец Его Императорского Величества для принесения присяги на верность Его Императорскому Величеству».

VIII

Если некогда воцарение Павла I показалось вторжением неприятеля в завоеванный город, то его смерти радовались, как изгнанию супостата. При дворе, в кан-

целяриях, в частных домах, на улицах люди поздравляли друг друга, обнимались, спешили облечься во фраки, жилеты и круглые шляпы; панталоны и сапоги с отворотами появились всюду; все головы причесались а ля Титюс, косички были уничтожены и букли обрезаны. Дамы, не теряя времени, переменили моду. Экипажи с французскою и немецкою упряжью исчезли, и появилась вновь русская упряжь, кучера и форейторы. Общество предавалось ребяческой радости. Сам молодой император поспешил снять с себя знаки Мальтийского ордена. Словом, восторг, по выражению свидетеля, «выходил даже из пределов благопристойности». Правда, его изъявляло преимущественно дворянство; прочие сословия приняли весть о перевороте молчаливо. Быть может, за этим молчанием скрывалось и неодобрение.

Державин считал, что у Павла были добрые свойства ума и сердца, но они слишком скоро «обратились в ничто», были вконец изуродованы необузданным и фантастическим своеволием. Недаром он сторонился покойного императора и, глядя на Павла, учился вздыхать о Екатерине. Грядущее было еще неясно, но избавление от Павла казалось уже несомненным счастьем для России. На восшествие Александра I написал Державин стихи, в которых сильнейшие строки были посвящены не столько ожиданию будущих благ, сколько изображению минувших зол. Ода на воцарение нового императора обернулась одою на свержение тирана.

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный взгляд...

В этих стихах видели портрет убитого государя. Александр поступил двусмысленно и, если угодно, в духе покойной бабушки: Державину он прислал бриллиантовый перстень, а стихи запретил — то ли из уважения к горю вдовствующей императрицы, то ли по другим причинам, которых не хотел высказать. Впрочем, уже было поздно: ода, как водится, распространилась в публике, ее заучивали.

Между тем служебные обстоятельства Державина очутились неблагоприятны. В ночь цареубийства Кутайсов бежал из дворца и спрятался. Он дрожал напрасно: все обошлось для него отставкой, которую вместе с Обольяниновым получил он в первый же день

нового царствования. То были первые жертвы, которые Александр принес общественному негодованию и собственному презрению. Дело Васильева в этой опале сыграло роль незначительную, но сам Васильев забыт не был. Его безупречность Александр Павлович отстаивал в Совете всего лишь за несколько часов до своего воцарения. Восстановление Васильева в прежней должности не заставило себя ждать. Тем самым Державин, следственно, отстранялся. Место государственного казначея пришлось возвратить Васильеву. Положение было не из приятных, но Державин чувствовал, что роптать он не вправе. Хоть и не поступился он ради Кутайсова справедливостью; хоть и перед Васильевым его совесть была чиста (он искренно считал, что в государственные казначеи Васильев не годился и запустил дела чрезвычайно); хоть сам Васильев недавно приезжал к нему и со слезами благодарил за кое-какие поблажки, — все же он сознавал, что последние ордена свои, чины, должности и награды получил через самые грязные руки им же осужденного царствования — через руки Кутайсова. Самое приспособление Державина к обиходу павловского двора было слабостию, падением, за которое теперь наступила расплата, сравнительно еще не тяжелая: Державин мог ожидать, что взамен казначейства получит иную должность. Нерасположение государя он прямо почувствовал только через две недели. 26 марта был упразднен Верховный Совет, а 30-го последовал высочайший указ об учреждении Совета Непременного, составленного из двенадцати лиц, «доверенностью Нашею и общею почтенных»: в число этих двенадцати Державин не был включен. Недруги, по обычаю, злорадствовали. Самого Державина занимали мысли и чувства гораздо более сложные, чем простая обида.

* * *

Еще в молодые годы пришла ему первая мысль о том, что внутреннее неблагополучие российского государства как-то связано с формой правления. Увлечение Наказом и дух эпохи привели к тому, что, не затрагивая вопроса об объеме самодержавной власти, Державин отважился на нечто большее (казавшееся ему, вероятно, меньшим): он усомнился в ее божест-

венном происхождении. Так родилась мысль о том, что единственное основание царской власти — не рождение и не помазание, а народная любовь, даруемая смотря по заслугам и добродетелям, которых отсутствие превращает помазанника в тирана; тиран же может быть свергнут по воле народа.

Таким образом, первоначально избегая судить самодержавие, Державин отнюдь не отказывал себе в праве судить каждого данного самодержца. Тогда же он определил главные признаки добродетельного монарха: такой монарх должен быть, во-первых, страж и слуга закона; второй, столь же необходимой его добродетелью Державин признал способность к добровольному и постоянному излиянию свобод и милостей. Именно эти свободы и милости, ничто иное, называл он *щедротами*. В пору наибольшего восхищения Фелицей вложил он в уста сей воображаемой идеальной монархини многозначительные слова:

Самодержавства скиптр железный
Своей щедротой позлащу.

В этих немногих основных положениях державинского монархизма слишком нетрудно найти великое множество слабых мест и противоречий: в какой, так сказать, мере скипетр самодержавия может оставаться *железным* и до какой степени самодержец обязан его *позлащать*? Каков наименьший объем *щедрот*, без которого самодержец объявляется *тираном*? С какого момента становится позволительным его свергнуть? Кто и в какой форме полномочен судить о заслугах монарха и выражать мнение и волю народа? В каких пределах и почему самодержец обязан чтить и блюсти законы, если ему же дана верховная власть оные учреждать и отменять? Что выше: щедрота или закон? Может ли закон стеснять добродетельного монарха в его щедроте? Не обязан ли сам блюститель законов порою преступать их ради щедротолюбия?..

Число этих простых, но неразрешимых вопросов можно весьма увеличить. Как, например, разрешил бы Державин вопрос о замещении престола? Известно лишь то, что даже после павловского закона о престолонаследии он остался верен традиции Петра Первого и жалел, что Екатерина не успела передать власть Александру, минуя Павла. Как частный случай, это

было бы допустимо и с точки зрения Державина. Но чтобы быть вполне последовательным, Державину, при его системе свободных тираносвержений, должно бы вообще отрицать наследственный переход императорской власти и остановиться на выборном начале. Меж тем, если бы ему предложили нечто подобное, он ужаснулся бы.

Все эти несообразности были, конечно, видны самому Державину. Если не сразу, то постепенно они ему уяснялись. Не мог он не понимать, что идеальный самодержец, созданный его воображением, есть, в сущности, *самоограничивающийся*; что идеал этот недостижим, ибо никаких личных доблестей не хватит монарху на то, чтобы возместить ими пороки самой системы; наконец — что, судя самодержцев, вместо того, чтоб судить самодержавие, он не решает вопроса, а лишь обходит или оттягивает решение.

Однако ж и этот суд совершился уже давно, сам собой; в сердце Державина даже отчетливей и быстрей, чем в уме. И в нерадостной своей юности, и потом, созерцая жизнь, принимая ее удары, препираясь с вельможами и царями, прислушиваясь к голосу совести («поелику же дух Державина склонен был всегда к морали»), приучился он ощущать самодержавие как непомерную тяжесть, налегшую на жизнь, волю и самую мысль России. Постепенно чувство это окрепло. В 1797 году, когда Храповицкий в стихотворном послании назвал Державина орлом, — он не выдержал и ответил:

Страха скованным цепями
И рожденным под ярмом,
Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?
А когда б и возлетали —
Чувствуем ярмо свое.

Эти стихи он впоследствии напечатал, но вообще избегал высказывать подобные мысли. Не корысть и не страх заставляли его таиться. Причина была иная. Поклонение закону потому так остро, едва ли не болезненно развилось в Державине, что вокруг себя видел он постоянно неуважение к закону, иногда как бы даже незнание о нем. Быть может, несколько преувеличивая, Державин считал, что в понятиях русских людей власть и произвол суть одно и то же. Власть государст-

венная в таких обстоятельствах становилась как бы огромным вместилищем произвола, сосудом яда. Всю жизнь, будучи свидетелем дворянских поползновений разделить власть с самодержцами, Державин приходил в ужас при мысли о том, что дворянское засилье, которое он видел при Екатерине, может подняться до степени узаконенного раздела власти. Именно поэтому он считал неизбежным охранять полноту и неприкосновенность самодержавия. В руках надсословного и просвещенного монарха железный скипетр в счастливом случае мог быть позлащен, тяжесть самодержавия могла равномерно ложиться на всех, как жертва, приносимая благополучию государства. Сделавшись достоянием дворянства, власть, по мнению Державина, превратилась бы в нестерпимое и безнравственное угнетение всех прочих сословий, и государство было бы приведено к гибели.

Самодержавие, таким образом, оказывалось наименьшим злом. Мысль Державина, описав круг, возвращалась к добродетельному монарху, существу высшему, бытие которого опровергалось умом и опытом, но в которое еще оставалось верить, как в чудо. Жизни Державина суждено было протекать в упованиях, обольщениях и разочарованиях. Голос музы его становился то мягок, то грозен, то вкрадчив, то дерзок; Державин то воспевал щедроты царей, то грозил им судом народа: стихи его полны на сей счет угроз и предостережений. Не уставая «уроки для владык греметь», он шел на уступки, обличал, просил, требовал, умолял, льстил, — можно сказать, вызывал добродетельного монарха, как вызывают духа.

«Блаженству общему радея», охраняя то самодержавие от дворянства, то, в ряду прочих сословий, дворянство от самодержавия, Державин неизменно ставил себя в положение трудное. Выступая на той стороне, которая в каждую данную минуту и по каждому данному поводу была угрожаема, он то и дело сознательно менял одну невыгодную позицию на другую. В конце концов, оказывался он всякий раз между двух огней. Благоговея перед Екатериной за вольности, ею провозглашенные и дарованные, он с ней поссорился потому, что она «угождала своим окружающим», «против которых явно восстать, может быть, и опасалась»; иными словами — потому, что она потворствовала дво-

рянскому засилью. К досаде вельмож, он приветствовал первые шаги Павла, уповая, что будут исправлены ошибки Екатерины. Но Павел довел охрану самодержавия до тиранства — и Державин прославил цареубийство, несмотря на то, что оно было совершено дворянами. Он видел в нем суд народа:

Народны вздохи, слезны токи,
Молитвы огорченных душ,
Как пар возносятся высокий
И зарождают гром средь туч:
Он вержется, падет незапно
На горды зданиев главы.
Внемлите правде сей стократно,
О власти сильные, и вы!
Внемлите — и теснить блюдитесь
Вам данный управлять народ.

Державин не знал о заговоре. Но если бы знал — вероятно, сочувствовал бы ему, хотя предвидел бы, что на другой день после переворота вступит в борьбу со своими вчерашними единомышленниками.

— Батюшка скончался апоплексическим ударом; все при мне будет, как при бабушке.

Таковы были первые, чуть слышным голосом, сквозь слез, сказанные слова молодого императора, когда, шатаясь от горя и страха, вышел он к караулам семеновцев и преображенцев. И хотя первая половина этой фразы, предназначенная для солдат, была заведомой ложью, — второй, предназначенной для дворян-офицеров, Державин имел основание верить вместе со всеми прочими. Поскольку Россия избавлялась от Павла, Державин встречал первый день Александрова царствования, как «день спасенья и утех». Но Александр обещал стать дворянским царем — и Державин насторожился.

Многие екатерининские сановники были тотчас призваны к власти; некоторые из них вернулись из деревень, куда сосланы были Павлом. Кидаясь в объятия Трощинского, Александр воскликнул: «Будь моим руководителем!» Трощинский написал манифест о восшествии на престол и был назначен состоять при особе Его Величества у исправления дел, по особой доверенности государя на него возложенных. С ним вместе явились и окружили трон Васильев, Александр Воронцов, Беклешов (в должности генерал-прокурора), Завадовский; все — более или менее недруги Дер-

жавина. Удаление Державина из Совета было не только следствием их вражды, но и знамением того, что впрямь воскресает екатерининская пора; правление Павла словно бы выпало из чреды времен; Державин вновь очутился в том самом положении, в каком был 6 ноября 1796 года, — не у дел. Пока что — ему оставалось наблюдать. Но вскоре события развернулись причудливо, как причудлива была вся судьба Державина.

* * *

В России давно уже повелось так, что каждый новый император вступал на престол либо в порядке открытой дворцовой революции, либо питая столь глубокую неприязнь к личности и правлению своего предшественника, что всякое воцарение становилось похоже на революцию. При появлении нового самодержца всякий раз трепетали не только придворные, но, казалось, и сами законы. Они словно бы повисали в воздухе и ждали себе подтверждения либо отмены. (Отчасти потому общество их и не уважало.)

Неудивительно, что и царствование Александра, возведенного на трон убийцами его отца, началось резкой сменой лиц и порядков. Наступление новой государственной эпохи молодой государь спешил возвестить в указах и манифестах, чуть ли не ежедневных. Они затрагивали самые различные стороны жизни, поражая воображение современников своим либеральным духом. В гуманных мероприятиях Александра Павловича видели отражение его образа мыслей, что, разумеется, вполне справедливо. Однако нетрудно заметить в них и неизбежное следствие очередного переворота: чем круче был Павел, тем его преемник должен был выказать себя мягче (хотя бы на первых порах).

Тем не менее щедроты оставались щедротами. Сердцу Державина они говорили многое. Общее восхищение государем передалось и ему. Александр некогда был воспет им еще «в пеленах». Двадцать лет назад, предрекая порфирородному отроку царствование, Державин ему завещал высокое правило:

Будь на троне человек!

Теперь эти слова припомнили; многим они казались пророческими. В первых шагах Александра Дер-

жавин и сам был склонен узнать того царевича Хлора, которому богоподобная Фелица с младенчества указала путь

Взойти на ту высоку гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает.

Лично для Державина новое царствование начиналось, как предыдущее, полуотставкой. Но на сей раз он уже не хотел и не мог «сидеть смирно». В нем слишком были возбуждены и надежды, и опасения. И те и другие одинаково влекли к действию.

Екатерина начала, а Павел довершил ослабление Сената путем усиления власти генерал-прокуроров. Беклешов, назначенный Александром Павловичем, мог уже править по своей воле, решая дела единолично и не останавливаясь перед нарушением закона. Сенаторы не смели ему перечить, его же целью было лишь угодить государю. А как последний желал на каждом шагу означить различие между собой и своим предшественником, то, «охуждая правление императора Павла, зачали без разбора, так сказать, все коверкать, что им ни сделано».

Дошло до того, что Беклешов принудил Сенат отменить соляные контракты, заключенные с откупщиками Перетцом и Штиглицем. Правда, контракты были невыгодны для казны; но Павел незадолго до кончины утвердил их. Во имя закона Державин настаивал на их выполнении. Он поднес государю записку, в которой напоминал, что при вступлении на престол Александр обещал строго держаться законов. Но Александр, как и следовало ожидать, стал на сторону Беклешова. Первая стычка кончилась не в пользу Державина. За нею последовала вторая, со всех сторон более любопытная.

Еще при покойном государе молоденькая красавица Наталья Алексеевна Колтовская (ей было всего лет двадцать) разошлась с мужем. Павел подписал указ об учреждении опеки по ее делам. Но опекуны явно держали сторону мужа. Тогда государь, будучи неравнодушен к Колтовской, по ее просьбе назначил опекуном Державина. Этот приказ был отдан словесно, и теперь Беклешов потребовал восстановления прежней опеки, ссылаясь на то, что письменный указ дейст-

вительнее словесного. Державин возражал, что действительность словесного указа подтверждена самим Сенатом, однажды принявшим его к исполнению; что указ, принятый к исполнению, отменен быть не может; что, наконец, исполнение письменного указа было бы равносильно передаче имущества в руки мужа, то есть лишило бы Колтовскую всего состояния даже без рассмотрения дела в низших судебных местах. Державин действовал тут по совести: он отстаивал справедливость, закон и достоинство Сената. Но *горячности* придавали ему два обстоятельства посторонних: Беклешова считал он одним из виновников своего устранения из Совета, а голубые глаза Колтовской заронили огонь и в его сердце.

По закону голос каждого отдельного сенатора должен был доходить до государя наравне со всеми прочими. Но через несколько дней Державину вдруг показали конфирмованный Александром доклад, в котором не только было сокрыто мнение, заявленное Державиным, но даже имя его не упоминалось. Тогда явился он к государю и прямо спросил, на каком основании его величеству угодно оставить Сенат. «Ежели, — прибавил он, — генерал-прокурор будет так самовластно поступать, то нечего сенаторам делать, и всеподданнейше прошу меня из службы уволить».

Этими словами Державин выразил чувства не только свои. Трощинский, недавний друг Беклешова, уже читал государю записку о властолюбивых видах лиц, чрез которых Сенат представляет свои дела. Теперь Державин подал сигнал к новому натиску. Александру напомнили о его обещаниях. Вопрос стал уже не о личности Беклешова, но глубже и откровенней: о пределах самой генерал-прокурорской власти и о порабощении Сената. Государь был вынужден уступить, и 5 июня был дан высочайший указ, в котором значилось: «Уважая всегда Правительствующий Сенат, яко верховное место правосудия и исполнения законов, и зная, сколь много права и преимущества, от государей предков моих ему присвоенные, по времени и различным обстоятельствам подвергались перемене к ослаблению и самой силы закона, всем управлять долженствующего, я желаю восставить оный на прежнюю степень, ему приличную и для управления мест ему подвластных толико нужную; и на сей конец требую от

Сената, чтобы он, собрав, представил мне докладом все то, что составляет существенную должность, права и обязанность его, с отвержением всего того, что в отмену или ослабление оных доселе введено было...»

С этого дня начались работы по установлению прав Сената. Неразрывно связанные с необходимостью пересмотреть всю систему управления, они повлекли за собой ряд важных преобразований, всколыхнули общество и с новою остротой поставили вопрос о взаимоотношениях дворянства и короны. Голубые глаза оказались не без влияния на ход истории.

* * *

После обеда, встав от стола, государь недолго беседовал с приглашенными, после чего удалялся. Между тем, пока разъезжались прочие гости, четверо молодых друзей императора — гр. П.В.Кочубей, гр. П.А.Строганов, Н.Н.Новосильцев и кн. Адам Чарторыйский — направлялись особым ходом во внутренние покои. Там, в небольшой туалетной комнате, за чашкою кофе обсуждались проекты благодетельных и просвещенных реформ. Одушевленные самыми передовыми европейскими идеями (кроме Строганова, все они только что прибыли из-за границы), эти молодые люди весьма были бы удивлены и даже оскорблены, если бы им сказали, что образованный ими неофициальный или негласный комитет как раз и есть настоящее детище ненавистного деспотичества, ибо создан единственно по произволу монарха и намерен вершить судьбы России неофициально, негласно, то есть безответственно, через голову высших государственных учреждений. Вполне характерно, что, по признанию Строганова, возражения и идеи, которые высказывал государь в комитете, не всегда были основательны, но противоречить ему не решались. Чарторыйский писал впоследствии, что Александр «охотно даровал бы свободу всему миру, при условии, чтобы все согласились подчиниться единственно его воле».

Воспитанный в либеральнейшем духе, Александр искренно мечтал «обуздать деспотизм нашего правительства», как он выражался. Где-то в прекрасном отдалении ему мерещилась конституция. Но наряду

с этой мыслью действовал в нем и глубокий наследственный инстинкт — инстинкт сохранения самодержавия. Негласный комитет ему очень нравился. Здесь люди все были свои: молодые, мечтательные, либеральные — и, в сущности, послушные. В Сенате сидели бабушкины вельможи: спорщики и дельцы. Все эти Воронцовы, Завадовские, Зубовы, Трощинские уже начали надоедать Александру. Конституция, о которой красноречиво мечтали в комитете, была делом отдаленного будущего, а бабушкины сенаторы требовали себе власти тотчас.

Сенат, действительно, закипел. Там составлялись проекты — один другого решительнее. Иные прямо носили название конституций. Платон Зубов требовал превращения Сената в законодательное собрание. Александр был озабочен до чрезвычайности, порой падал духом и бывал близок к тому, чтобы подписать один из этих проектов: по крайней мере, все разом кончится. Лишь в неофициальном комитете он находил утешение и поддержку. Там Новосильцев с горячностию доказывал, что, руководствуясь началами Петра Великого, не следует обращать Сенат в законодательное учреждение — достаточно предоставить ему власть судебную. Вскоре приехал Лагарп. Старый воспитатель Александра Павловича теперь уже был не тот якобин, что прежде. Гельветическая республика не прошла для него даром. Царя стал он удерживать от всего, чему некогда обучал великого князя. Он предостерегал от опасностей призрачной свободы, от либеральных увлечений — в частности, от расширения прав Сената. Что могло быть приятнее? Александр приободрился.

Комитет был, однако же, прав, намереваясь связать реформу Сената с реформой отдельных частей управления. Александру Павловичу досталось хаотическое наследство. Власть коллегий, учрежденных Петром Великим, при Екатерине почти целиком перешла к палатам и губернским правлениям. Коллегии были парализованы, Екатерина начала постепенно их упразднять. Теперь надлежало в той или иной форме усилить действие центрального правительства. Но возникал вопрос: восстановить ли петровские коллегии или заменить их министерствами, придав управлению характер единоличный? Уже Павел, стремясь непосред-

ственно подчинить отдельные части правительства своей воле, стал назначать министров — наряду с директорами коллегий, что создавало путаницу и двоевластие. Неофициальный комитет настаивал на окончательной замене коллегий министерствами, что более соответствовало европейской политической моде и считалось более либеральным. В русских условиях оно, впрочем, становилось вовсе не либерально. Там, где верховная неограниченная власть находится в одних руках и где народ, не имея своих представителей, бессилен влиять на действия главных правительственных лиц, власть этих лиц (и в конечном счете власть самодержца, который их назначает и пред которым они ответственны) хоть отчасти может быть умеряема лишь совещательными при них органами. Верный сословный инстинкт восстанавливал большинство старых деятелей против министерств и на деле оказывался более либеральным, чем словесный либерализм негласного комитета. Трощинский написал трактат в защиту коллегий. Но столь же верный инстинкт самодержца побуждал Александра Павловича в особенности настаивать на создании министерств. Лагарп и в этом его поддерживал.

Таковы были обстоятельства, при которых Державин составил проект, получивший имя державинских кортесов.

«Состав сей организации был самый простой», — говорит Державин. Пожалуй, вернее было бы назвать его со всех сторон хитрым. В основе проекта лежали два стремления, отчасти друг другу противоречащие: охранить полноту царской власти и ослабить власть царем назначаемых министров. (Державин, как и пристало ему, был сторонником коллегий, но он знал, что создание министерских должностей предрешено и от этой затеи государь не отступится.) Психологическая окраска этих стремлений также была различна: осуществить первое казалось Державину совершенно необходимым, но его тайному убеждению оно не соответствовало; зато второе было им глубоко выстрадано — однако ж он чувствовал, что осуществлением первого уже затрудняется достижение второго.

Напомнив о замысле Екатерины образовать Сенат согласно ее положению о губерниях, Державин предлагал разбить Сенат на отделы и департаменты,

соответствующие средним и низшим местам губернским. Самое это разделение было довольно путано и основано на идеях ложных, но суть не в том. Сенату предоставлялась власть административная и судебная — отнюдь не законодательная. Что же касается министров, то Державин их ставил лишь во главе соответствующих департаментов, с тем, чтоб они «не иначе были, как опекуны только и надзиратели за успешным течением дел и понудители оных, имеющие власть предлагать только* своему департаменту и по утверждении его входить с докладом к Императорскому Величеству и ничего сами собою вновь постановляющего или решительного не делать».

Отказывая Сенату во власти законодательной, Державин вручал ему охрану законов самую деятельную. (Характерно, что в замещение сенаторских мест отчасти вводилось начало выборное, через что и надзор за министрами получал некоторый оттенок общественности.) Важное значение приобретали не только департаменты, но и мнения отдельных сенаторов: в случае разногласия они всякий раз должны были доводиться до сведения государя наравне с голосами большинства.

Таким образом, сохраняя за государством всю полноту законодательной власти, Державин всю исполнительную передавал Сенату, чем и осуществлялся, по его мнению, «гармонический состав в управлении Империи». На деле все гармонизирующее начало было заключено в усмотрении монарха, который являлся центром всех властей и арбитром во всех разногласиях как внутри Сената, так и между Сенатом и министрами.

Согласно проекту, министры были не только ответственны пред Сенатом, но как будто работали под прямым надзором его. Однако Сенат был бессилен подчинить министра закону, ибо министр всегда мог апеллировать к государю, который, уважая в нем свой собственный выбор или действуя через него, мог изменить или отменить закон. Итак, единственным залогом действительного уважения к закону и Сенату оказывались все то же самоограничение и личная добродетель монарха — безвыходная мечта Державина. Недаром старался он в ту пору увлечь Александра

---

* «Только» относится здесь к слову «предлагать», а не «своему».

идеальным портретом царевича Хлора, как некогда соблазнял Екатерину изображением Фелицы:

Так: шепчут, будто саму власть,
В твоих руках самодержавну,
Господства беспредельну страсть,
Ты чтишь за власть самоуправну;
Что будто мудрая та блажь
Нередко в ум тебе приходит,
Что царь — законов только страж,
Что он лишь в действо их приводит
И ставит в том в пример себя;
Что ты живешь лишь для народов,
А не народы для тебя,
И что не свыше ты законов.

Голосом увещательной лиры старался он обеспечить то, чего не обеспечивала его конституция.

Против добродетели Александр ничего не имел. Он любил всю полноту своих прав — право на самоограничение, может быть, даже в особенности. Способность относиться к себе самому со спартанской суровостью порой умиляла его до сладких слез. Проект Державина, в числе прочих, был брошен в общий котел негласного комитета, где и подвергся суровой, во многом справедливой критике. Но Александр запомнил его с признательностью и в совещаниях не раз заставлял к нему возвращаться. При случившейся вскоре коронации награды вообще были немногочисленны. Тем более примечательно, что Державин получил Александра Невского.

* * *

Своим пректом снискал он благоволение государя, за что вскоре и поплатился. Александр поручил ему ревизовать действия калужского губернатора Лопухина, рядом с которым Гудович и Тутолмин показались бы ангелами: одних *уголовных* дел за ним тотчас набралось целых тридцать четыре, а *шалостей* больше ста. Но Лопухин умел защищаться, и у него были сильные покровители. Ревизия обернулась великими неприятностями для самого Державина и испортила ему много крови. В конце концов он восторжествовал, но перед тем месяцев пять жил в возбуждении неописуемом и оказался лишен всякого хладнокровия как раз к той поре, когда оно всего более понадобилось.

8 сентября 1802 года, после долгих обсуждений и споров, Александр подписал, наконец, указ о правах и обязанностях Сената и манифест об учреждении министерств. В тот же день вечером, когда у Державина были гости, Новосильцев приехал с предложением от государя — занять пост министра юстиции и генерал-прокурора. Согласно указу, Сенату предоставлялась лишь административная и судебная власть; министры должны были пред ним отчитываться. Державину, таким образом, не было оснований отказываться — он предложение принял. (Воронцов и Завадовский, взявшие министерства иностранных дел и народного просвещения, проявили в сем случае менее последовательности и больше приспособляемости.) Прочие министерские посты были заняты Вязмитиновым, Мордвиновым, Кочубеем, Васильевым и Румянцевым. Кроме Кочубея, все это были старые деятели. Молодежь, в лице Чарторыйского и Строганова, была к ним приставлена на правах *товарищей* — то ли ради учения, то ли ради надзора; вероятно, и для того, и для другого зараз. Александр старался пред нею затушевать предпочтение, оказанное старикам.

Державин переселился в генерал-прокурорский дом на Малой Садовой. Двадцать пять лет тому назад он здесь впервые явился к Вяземскому — неопытным стихотворцем и скромным коллежским советником, ищущим покровительства. Теперь он сам был генерал-прокурором, одним из высших сановников Империи Российской и признанным ее бардом. Какой предмет для раздумия и стихов! Но у Державина не было на то времени.

Очень скоро обнаружилось то, о чем не довольно подумал он, соглашаясь на предложение государя: в комитете министров он был окружен старыми врагами и молодыми недоброжелателями. Вместо того, чтобы облегчить положение, он обострил его тотчас: не потому, что хотел сводить старые счеты (этим занялись другие), но потому, что немедленно и умышленно завел новые. Своим призванием почитал он борьбу с самоуправством и превышением власти — врожденными пороками вельмож, которых вздумал он теперь звать странным, полупрезрительным именем *возвышенцев*. В лице министров он заранее видел превышателей власти — и этого мнения не скрывал.

Права и обязанности министров не были точно означены в манифесте; было сказано, что на сей счет последуют особые инструкции. До составления инструкций течению дел оставалось покоиться на обычаях, на личном благоразумии каждого министра и на его чувстве законности. Основание шаткое — особенно в глазах Державина. Заседания комитета министров происходили по вторникам и пятницам, под председательством самого государя. Державин в первом же заседании потребовал составления инструкций. Вероятно, не стали бы с ним и спорить — юридически он был прав. Но свое требование он облек в столь резкую форму и так явственно выказал недоверие к товарищам, что вызвал общие возражения. Из этого он заключил, что попал всем не в бровь, а в глаз, и решил быть особо бдительным.

С того дня, каждый вторник и каждую пятницу, одного за другим изобличал он министров перед лицом государя: в самовольном распоряжении казенными миллионами, в заключении контрактов без торгов и публикаций, в поблажках откупщикам, в раздаче наград и чинов «по прихотливой воле каждого министра» и т.д. Правда бывала на его стороне, но сконфуженный государь выгораживал и покрывал своих ставленников. Это лишь подзадоривало Державина. Он настоял на том, чтобы министры представили свои отчеты Сенату за первый же год. Из этого вышла «одна проформа», ибо и сам Сенат не был подготовлен к принятию отчетов. Зато Державин окончательно восстановил против себя всех. Уже через три-четыре месяца он стал «приходить час от часу у Императора в остуду, а у министров во вражду». Французский агент (как водится — путая верные сведения со вздором) доносил о Державине Талейрану: «C'est un dogue de Themis qu'on garde pour lacher contre le premier venu, qui déplait à la bande ministérielle, mais peu dressé au manège il mord souvent ses camarades mêmes qui donneraient beaucoup pour le perdre»[1].

Давно развращаемый собственным бесправием, Сенат в большинстве, в толще своей, состоял из людей

[1] «Это бульдог Фемиды, которого держат, чтобы спустить на первого, кто не понравится министерской шайке, но, плохо выдрессированный в манеже, он часто кусает своих товарищей, которые бы многое дали, чтобы его погубить» (*фр.*).

невысокого уровня. Уважая идею Сената, Державин не уважал сенаторов. Сам он работал не покладая рук, его память и знание законов были исключительны, честность он доводил до педантизма. Сенаторы этими качествами не обладали, потому что доселе с них спрашивалось одно послушание. Теперь, когда положение Сената было как будто поднято, Державин сразу потребовал от сенаторов труда, ума, знания, всевозможных гражданских доблестей. Всего этого надобно было добиваться упорным, медленным перевоспитанием. Но Державин как раз в воспитатели не годился: он не воспитывал, а обличал. «Сенат благоволит давать откупщикам миллионы, а народу ничего!» — кричал он. Такими фразами он вскоре добился того, что сенаторы хоть и не стали лучше, но самолюбие в них пробудилось: Державина возненавидели и в Сенате, и это вполне обозначилось как раз к тому времени, когда поддержка Сената была бы всего нужнее.

Согласно грамоте о вольности дворянства и жалованной грамоте 1785 года, дворяне, вступившие в военную службу солдатами и не выслужившие офицерского чина, не могли выходить в отставку до истечения двенадцатилетнего срока. Правило это постепенно забылось, и унтер-офицеры, особенно из поляков, едва поступив в полк, уже просились в отставку. Военный министр Вязмитинов счел нужным восстановить прежний порядок. Его доклад уже был утвержден государем и принят Сенатом к исполнению без всякого замечания, как вдруг гр. Северин Потоцкий, еще не обрусевший поляк, объявил, что этим указом унижено российское дворянство. Державину, как генерал-прокурору, препроводил он весьма патетическую записку, в которой предлагал Сенату войти к его величеству со всеподданнейшим докладом: «не благоугодно ли будет повелеть министрам рассмотреть вновь столь важное решение?»

Действительно, указом 8 сентября Сенату дано было право представлять императору о неудобоисполнимости того или иного указа. Но в данном случае дело шло не о новом узаконении, а лишь об исполнении старого; сверх того, вопрос уже был разрешен в общем собрании и вторичному обсуждению не подлежал. Державин поэтому усомнился, вносить ли мне-

ние Потоцкого в Сенат, и решил спросить государя. (Записка Потоцкого не нравилась Державину и по существу: он подозревал в ней умысел поляка ослабить русскую армию.) Пересмотр конфирмованного доклада, разумеется, Александру не улыбался. Но государь окружен был поляками и членами негласного комитета; самая бумага Потоцкого, видимо, была писана с его разрешения, которое дал он, разумеется, скрепя сердце. Теперь со стороны Державина являлась ему поддержка, но уже было поздно. Поэтому он ответил с досадой:

— Что же? мне не запретить мыслить, кто как хочет: пусть его подает, а Сенат пусть рассуждает.

Державин пробовал возразить, но государь повторил:

— Сенат это и рассудит, а я не мешаюсь. Прикажите доложить.

Александр все-таки надеялся, что Сенат не захочет вернуться к вопросу, уже решенному, и Потоцкого ждет провал. Вышло иначе: сенаторы, за исключением двух, стали на сторону Потоцкого. Одни поняли, что можно создать прецедент, клонящийся к усилению Сената и умалению царской власти; другие — попроще — обрадовались досадить Державину. По тем же причинам и министры, в комитете своем одобрившие предложение Вязмитинова, теперь ни словом за него не вступились.

Дело потребовало в Сенате сложной процедуры и целых трех заседаний. После первого Державин доложил государю, что весь Сенат против него. Александр «побледнел и не знал, что сказать». У самого Державина «от чрезвычайной чувствительности и потрясения всех нерв» разлилась желчь, и на втором заседании он не присутствовал. Во время третьего, самого бурного, сенаторы повскакали с мест, и Державин пустил в ход деревянный молоток, служивший Петру Великому вместо колокольчика; он хранился в особом ящике на генерал-прокурорском столе, и со смерти Петра никто не смел к нему прикоснуться. Державин ударил им по столу — «сие как громом поразило сенаторов: побледнели, бросились на свои места, и сделалась чрезвычайная тишина... Не показалось ли им, что Петр Великий встал из мертвых и ударил своим молотком?» Однако же наслаждение сей

поэтической и несколько горделивой минутой было непродолжительно: голосование состоялось против Державина.

От имени большинства к государю явилась депутация: старик Строганов (тот, что некогда занимался алхимией) и Трощинский. Державин один представлял противное мнение. Александр, не сказав никому ни слова, велел Трощинскому читать бумаги. По выслушании встал, весьма сухо сказал, что он даст указ, и откланялся. Действительно, 21 марта 1803 года указ последовал. В нем пояснялось, что дарованное Сенату право входить с представлениями против того или другого указа не касается вновь издаваемых или подтверждаемых верховною властью законов. Таким образом, по сравнению с указом 8 сентября права Сената урезывались. Мнение Потоцкого оставлено без последствий.

Державин мог торжествовать победу, но она не принесла ему мира. Напротив, ею открылся ряд самых ожесточенных боев. Различествуя в подробностях, порой весьма сложных, сводились они примерно к одному и тому же.

Александр находился как бы в сердечном плену у людей, которые то открыто, то хитростью, из побуждений то вовсе низких, то более возвышенных, стремились ослабить единодержавную его власть. Он сам тяготился этим пленением, но еще не смел обнаружить истинных своих мнений. Державина он назначил министром против воли этих людей и как раз потому, что Державин был их врагом. Но Державин был слишком негибок и неподатлив — в степени даже удивительной со стороны человека, прожившего четверть века в делах политических и придворных. Александр хотел лавировать — Державин на каждом шагу понуждал его сбросить маску, действовать напрямик.

Двоедушие вообще утомительно. Александру не так легко давалось притворство перед друзьями. Когда же выяснилось, что надо еще уметь предавать их Державину, а Державина им, — Александр очень скоро начал терять терпение. Однажды он сказал с гневом:

— Ты меня всегда хочешь учить. Я самодержавный государь и так хочу.

В том-то и было их общее с Державиным горе, что самодержавным решался он быть только наедине

с Державиным. Во многих чертах повторялась теперь история кабинетского секретарства при Екатерине. Между прочим, как и тогда, Державина могла спасти лесть. Он же, по нетерпению и досаде, день ото дня становился откровеннее. Когда государь, уступая чарам Нарышкиной, пожелал совершить незаконный поступок, Державин не только наотрез отказался ему содействовать, но и объявил с укоризною (почти слово в слово, как некогда Екатерине), что оберегает «не токмо Его закон, но и Его славу». В Сенате он вслух критиковал указ о вольных хлебопашцах, говоря, что «в нынешнем состоянии народного просвещения не выдет из того никакого блага» и что указ, сверх того, неисполним (что позже и было подтверждено событиями).

Положение Державина ухудшалось быстро. Для положительной работы оставалось у него мало времени. Окруженный врагами, подвохами, клеветой и насмешкой, силы свои растрачивал он на борьбу. В пылу этих схваток порой помрачались иль искажались его высокие качества; в мелочах жизни мельчал и он; рвение переходило в злобу, точность — в придирчивость, законолюбие — в формализм. Молва, в свою очередь, все это преувеличивала.

В первое октябрьское воскресенье государь не принял его с докладом и прислал на дом рескрипт, прося очистить пост министра юстиции, но остаться в Совете и Сенате. Вскоре произошло личное объяснение, «пространное и довольно горячее со стороны Державина». Александр ничего не мог сказать к его обвинению, как только:

— Ты очень ревностно служишь.

— А когда так, государь, — отвечал Державин, — то я иначе служить не могу. Простите.

— Оставайся в Совете и Сенате.

— Мне нечего там делать.

Державин уехал к себе. Повторное предложение остаться в Совете и Сенате делалось с тонким умыслом, но наущению врагов его. Они побаивались мнения публики. Для них было бы наилучшим оправданием, если б Державин просил освободить его лишь от должности министра: тем самым признал бы он, что вообще служить хочет, но министерский пост ему не по силам. Подсылали людей и к жене его. Зная

честолюбие Дарьи Алексеевны и ее любовь к деньгам, обещали Державину в виде пенсии полное министерское жалованье (16 000 руб. в год) и Андреевскую ленту — только бы он написал такое прошение. Но он подал краткую просьбу об увольнении от службы вовсе. За это убавили ему пенсии и лишили ордена.

Высочайший указ был дан 8 октября 1803 года, ровно через тринадцать месяцев после манифеста об учреждении министерства.

* * *

Отставка сделала большой шум. «Мнение графа Потоцкого дошло в Москву, которое там знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением, так что в многолюдных собраниях клали его на голову и пили за здоровье графа Потоцкого, почитая его покровителем российского дворянства и защитником от угнетения; а глупейшие и подлейшие души не устыдились бюсты Державина и Вязмитинова, яко злодеев, выставить на перекрестках, замарав их дермом для поругания». В обеих столицах остряки каламбурили, дамы ахали, канцелярские рифмачи сочиняли пасквили на Державина, а кстати уж и на всех министров. Чем менее знали, как было дело, тем увереннее рассказывали. Провинциальные летописцы на листах календарей записывали *для потомства* историю, окончательно перевранную. В Орле сочинили оду в честь Потоцкого и Державина вместе.

К таким вещам Державин был нечувствителен. Торжество сильных врагов волновало его сильнее, но на сей счет были у него лукавые надежды. Кто знает будущее? На своем веку он не раз понижался — и возвышался вновь. Игра Фортуны всегда занимала его и по-своему окрыляла. Перебравшись опять на Фонтанку, занялся он устройством дома, собирался писать трагедии, отдыхал и копил силы для будущего. 21 декабря, в Москве, проездом из Крыма, умер Николай Александрович Львов. Державин и к этой вести отнесся философически (она, впрочем, была не совсем неожиданна: Львов болел уже года три).

В самом начале 1804 года Державин писал Капнисту: «Благодарю, любезный мой друг Василий Васи-

льевич, за письмо твое от 14 декабря, которое я чрез Анну Петровну получил, и сие чрез нее посылаю, уповая избегнуть чрез то любопытства, что нередко с моими письмами, кажется мне, бывает. Скажу вам о себе: я очень доволен, что сложил с себя иго должности, которое меня так угнетало, что я был три раза очень болен; а теперь, слава Богу, очень здоров, делаю, что хочу, при дворе мне кажут довольно уважения, зовут на обеды, на балы, и вчера был у вдовствующей Императрицы, а сегодня к Императору зван на ужин, да и каждую неделю удостоиваюсь сей чести от Государыни. Словом, пью, ем да гуляю, а также приволачиваюсь иногда за кем-нибудь... Вы угадали мои мысли. Мы сами собираемся вояжировать: ежели в Крым не поедем, то верно хочется посмотреть Малороссии и заехать к тебе, о чем вперед перепишемся... Кратко сказать, мы хотим проехаться; только по сию пору боюсь, чтобы опять не запрягли».

Тут немножко он рисовался: вовсе уж он не так был доволен сложить *иго должности* и весьма был не прочь, чтоб его *опять запрягли.* Может быть, потому не отправлялся он и в задуманный вояж, что хотел быть на всякий случай поближе к двору. В ту пору написал он стихи о мире — волшебном фонаре, в котором нам суждено

Мечтами быть иль зреть мечты.

Ибо все мы — только переменные тени, что появляются и исчезают на полотне, по воле чудотворного, непостижимого мага:

Велит — я возвышаюсь,
Речет — я понижаюсь...

IX

Возле Литейной улицы, в Фурштатском переулке, насупротив лютеранской кирки, стоял весьма скромной наружности двухэтажный домик зеленоватого цвета. Въехав в ворота и со двора поднявшись по темной, узкой и нечистой лестнице, попадал посетитель в квартиру домовладельца — вице-адмирала, члена адмиралтейского совета и Российской Академии Александра Семеновича Шишкова. Если затем пройти из прихожей

в столовую и, остановившись у запертых дверей, заглянуть в замочную скважину (как иногда и делали, чтоб узнать, дома ли Александр Семенович) — то можно было увидеть маленький, пыльный, с немытыми окнами, заваленный книгами и бумагами кабинет — и почти всегда застать в нем самого хозяина.

Было ему лет за пятьдесят; росту он был среднего, сложения сухощавого; его седые с желтизной волосы торчали клочьями. Сухое, холодное лицо с нависшими черными бровями было поразительно бледно. Дома ходил он в шелковом полосатом шлафроке, с голою грудью, в истасканных комнатных сапогах — ичигах. При выездах надевал мундир, довольно поношенный.

В нем тотчас виден был человек, одержимый идеей. Рассеянность его была легендарна, его бескорыстие, трудолюбие и беспомощность в житейских делах — безграничны. Жена была ему нянькой и командиром. Звали ее Дарья Алексеевна, как жену Державина, а родом она была голландка, из простых, дочь корабельного мастера, выписанного Петром в Россию. Александр Семенович очень ее побаивался, хотя, кроме рассеянности, грехов за ним не водилось. Страстей же было у него три: сухое киевское варенье, катание шаров и шариков из воска, снимаемого со свеч, и славянское корнесловие. Он и предавался обычно всем трем одновременно у себя в кабинете.

Корнесловие имело прямое отношение к идее. Шишков был фанатик того, что начинали звать *русским направлением*. По всему складу Шишкова ему бы следовало ненавидеть всю послепетровскую эпоху. Но до этого он не додумывался и даже век Екатерины почитал исконно русскою, благодатною стариной. Вся сила ненависти его падала на галломанию последних десяти — много если пятнадцати лет. Он негодовал на политический дух, заносимый из Франции, ворчал на молодых администраторов нерусского воспитания, восставал против французских мод и обычаев, особенно — против повального употребления французского языка в разговорах. Действительно, было противно уму и чувству то, что русские люди зачастую вовсе разучивались не только писать, но и говорить по-русски; иные в том видели даже лоск и тонкую образованность.

Но в полнейшее отчаяние приходил Шишков не от употребления французского языка, а от порчи русского. Он не мог примириться с тем, что молодые писатели стали вводить иностранные слова и обороты. До известной степени он и тут был прав, но на беду свою был такой же плохой филолог, как и историк: развитие языка не умел отличить от засорения, рост — от порчи. Корень же всех его заблуждений лежал в печальной уверенности, будто церковнославянский язык — то же, что русский, а разница между ними лишь та, что на церковнославянском пишутся духовные книги, а на русском — светские.

Если не источником, то средоточием всех зол словесных (да уж, кстати, и нравственных, и общественных) вообразил он Карамзина. Приятный, скромный, но твердый молодой человек, явившийся некогда за столом Державина, теперь был уже знаменитым писателем. Московская молодежь клялась его именем. Державин сорвал печати с глаз и ушей русской Музы. Карамзин осторожно снял печать с ее сердца. Пусть его дарование было меньше — велико было дело, им совершенное. Через Карамзина русская словесность научилась исторгать слезы. Впрочем, он сам уже покинул художество и обратился к истории.

Государь ему покровительствовал, и это усиливало страдания Шишкова. Старый служивый, он твердо верил, что словесностью можно и должно управлять сверху: голоса генералов и сенаторов почитал не последними в делах литературы. Каково же ему было видеть, что сам государь поощряет разврат и крамолу? В 1803 году он метнул во врага «Рассуждением о старом и новом слоге», потом «Прибавлением» к «Рассуждению». Главный враг молчал, но уже несколько выстрелов донеслось из Москвы, его цитадели. Шишков решил укрепиться на берегах Невы. У важных сановников он имел некоторый успех, это его ободряло. Но где взять гарнизон? Когда-то он преподавал тактику в морском кадетском корпусе, теперь мечтал учредить академию для подготовки молодых писателей, не зараженных французским духом. Из этого ничего не вышло. Оставалось просто искать сочувствующих, составлять партию. Авторитета литературного у него не было. Он сделал несколько осторожных намеков Державину — и получил отказ.

Было наивно ждать, что Державин ввяжется в борьбу партий. Считая, что «похвалы современников ненадежны и на хулу их смотреть много не для чего», он не слишком уважал критику — даже свою собственную. Если авторы добивались его мнения об их писаниях, он старался или хвалить, или высказывать мнение вполоткрыта. В журнальной полемике он не видел пользы, и написав несколько эпиграмм, их все-таки не печатал. Следуя Иисусу Сираху, держался он того взгляда, что добро есть добро, а зло скорее само заглохнет, если не обращать на него внимания. Авторитетом своим не хотел ни поощрять, ни давить никого, ибо «науки, а паче стихотворство — республика». Словом, его литературное миролюбие равнялось служебному и политическому задору. К тому же Карамзина он любил как писателя и уважал как человека. Еще в 1791 году, вскоре после знакомства, он воскликнул:

Пой, Карамзин! И в прозе
Глас слышен соловьин —

и с той поры не переставал Карамзину сочувствовать. Не мудрено, что после разговора с Шишковым он писал Дмитриеву в Москву: «Я желаю Николаю Михайловичу такого же успеха в истории, как в изданных им творениях...»

* * *

Время шло. Оно не принесло Шишкову победы, но принесло известность. Правда, известность была скорей отрицательная: над Шишковым смеялись. Его идеи, его манеры, его филологические изобретения, почти всегда несуразные, даже неаристократическая супруга его — все одинаково возбуждало насмешки. Но все-таки он привлек внимание, заставил о себе говорить, — и это был уже некоторый успех. Понемногу нашлись у него сторонники — большею частию немолодые авторы, обойденные славой: сенатор Захаров, Павел Львов, Дмитрий Иванович Хвостов (по родству своему с Суворовым ставший графом); Павел Кутузов, товарищ Хвостова по изданию «Друга Просвещения»; драматург кн. Александр Александрович Шаховской; молодой поэт кн. Ширинский-Шихматов, моряк, дилетант, не лишенный способностей, автор

поэмы «Петр Великий», которой Шишков восхищался неистово. Были и просто молодые люди: Казначеев, чиновник Комиссии составления законов (племянник Шишкова), и там же служивший шестнадцатилетний юноша, родом волжанин, Сергей Тимофеевич Аксаков (впрочем, он тоже писал стихи, хотя более увлекался декламацией). К ним надо прибавить еще флигель-адъютанта Кикина, который до выхода «Рассуждения о старом и новом слоге» был модным французолюбцем, но затем образумился, обратился, стал самым рьяным поклонником Александра Семеновича и на книге его написал (увы — по-французски!): «Mon Evangile»[1]. Таков был состав главных славяноросcов, или славянофилов, как их называли, когда не честили попросту староверами и гасильниками.

Простодушный в иных делах, Шишков, как всякий маньяк, становился хитер, лишь только дело касалось его идеи. К началу 1807 года он придумал маневр, удавшийся как нельзя лучше. Зная благожелательное отношение Державина к молодежи, он предложил устроить не то чтобы академию, но просто еженедельные собрания, на которые бы допускались и приглашались молодые писатели для чтения их произведений. Эта цель восхитила Державина, он поддержал Шишкова, за ним потянулись другие. Стали устраивать чтения, каждую субботу, попеременно то у Шишкова, то у Державина, у Захарова, у Хвостова. Шишков влился в эти собрания всем кружком своим — и что же получилось? Представителей карамзинского направления не было — их вообще не было в Петербурге. Собрания состояли либо из славяноросcов, либо из людей нейтральных. Это придавало им оттенок славяноросcий — что и требовалось Шишкову. Он, можно сказать, поставил под ружье мирное население, и война, которая разгоралась медленно, но которой он жаждал, стала как будто войной шишковистского Петербурга против карамзинистской Москвы. Свежий человек, попадая в собрания, выносил такое впечатление, что «из москвичей один И.И.Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер, а Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горою».

[1] «Мое Евангелие» (*фр.*).

Первая суббота состоялась у Шишкова. Собралось народу человек двадцать. Кроме славянофилов, были: Державин, Хвостов (Александр Семенович, давнишний друг), переводчик Галинковский, женатый на племяннице покойной Плениры, молодой переводчик Корсаков, еще кое-кто. Это было 2 февраля. В тот день получилось известие о кровопролитном сражении с Бонапартом у Прейсиш-Эйлау. Бенигсен, недавно назначенный главнокомандующим, доносил, по обыкновению преувеличивая, что «неприятель совершенно разбит». Об этом событии много говорено. Наконец уселись, и началось чтение. Стихотворец Жихарев продекламировал старые стихи Державина. После того читали другие. Между прочим, Крылов, сочинитель стихов и комедий, человек лет сорока, толстый и неопрятный, с неподвижным лицом и лукавым взором, прочитал свою басню «Крестьянин и Смерть». На поприще баснописца вступил он недавно. Читая с притворным равнодушием, он зорко поглядывал, каково впечатление, им произведенное.

На следующих собраниях происходило, в общем, то же самое. Оживления большого не было, молодежь читала не много и не Бог весь что. Шишков огласил новую поэму Шихматова «Пожарский, Минин и Гермоген», божился, что вещь гениальная, но ему не поверили. Впрочем, на вечере у гр. Хвостова впервые явился поэт Гнедич с 7-й песнею «Илиады», отлично переведенной александрийским стихом. Хотя Галинковский заметил, что лучше переводить Гомера экзаметром, — все, однако же, были в восторге. Неприятно было лишь то, что переводчик, на один глаз кривой и весь какой-то нахохленный, безо всякой нужды напрягал свой голос до крику. Казалось, того и гляди, начитает себе чахотку.

Само собою, Шишков то и дело принимался громить москвичей, но никто, в том числе и он сам, не знал толком, что делается в Москве. Там нарождались новые поэты: Мерзляков, Жуковский, кн. Вяземский (юный шурин Карамзина). Здесь о них едва слышали и ими не любопытствовали. Порою Шишков заводил любимые разговоры о слоге, высказывая суждения мелочные, придирчивые, безвкусные. Крылов, слушая, ухмылялся, Державин ворчал:

— Переливают из пустого в порожнее.

12—3399

В высшем обществе прослышали о собраниях. Сенаторы, обер-прокуроры, губернаторы, генералы и камергеры стали их посещать. Шишков и Захаров радовались поощрительному сему вниманию, не замечая, что вечера утрачивают литературный характер. Державин, завидя «вельмож», не упускал говорить им резкости.

Все это время он хмурился. Затаенная мечта вновь «подняться» не покидала его три года, до самых недавних пор. В конце прошлого года и в начале нынешнего он подал государю две записки о мерах, необходимых, по его мнению, для обороны Империи от Наполеона. К действительным заботам о благе отечества здесь примешивалось желание о себе напомнить. Но государь мало обратил внимания на представления своего бывшего министра. Надежда рушилась, и Державин понял, что больше ему к делам не вернуться.

Бездействие, между прочим, и потому тяготило его, что Державину была ясна связь его лиры с гражданским поприщем. С самой отставки ему сдавалось, что на покой он уволен вместе с Пегасом. Лет десять тому назад, когда, после ссоры с Павлом, он временно удалился от дел, ему удалось перестроить лиру на анакреонтический лад. Но Анакреонтические песни, хоть он и продолжал их, в сущности, были уже написаны, даже изданы, принесли свою долю славы — что делать дальше? к чему обратиться? Трагедии? В глубине души он сознавал, что они ему не даются. Несколько раз он пробовал обращаться к поэзии сельской, но находил трудным под старость *занять себя сими упражнениями*. Все же 4 мая, на последнем в ту весну литературном собрании, он сказал Жихареву:

— Лира мне больше не по силам, хочу приняться за цевницу.

Обещал на досуге описать сельскую свою жизнь.

Через несколько дней Жихарев записал в дневнике: «Г.Р. уезжает завтра и что-то очень не весел...»

* * *

Берега Волхова плоски, низменны. Лишь в одном месте, верстах в пятидесяти пяти от Новгорода, левый берег внезапно приподымается. Высоко на холме, гля-

дясь в реку, стоит двухэтажный господский дом. Крыша над мезонином подъемлется круглым куполом — от этого дом похож на обсерваторию. Передний его фасад украшен балконом о четырех столпах. Фонтан бьет на площадке перед каменной лестницею балкона. Отсюда идет к реке плавный спуск, посыпанный желтым песком. По обеим его сторонам вьются розы.

Вкруг дома по склону холма раскинут сад с богатыми цветниками. За садом — службы, сараи, птичники, скотни. За службами начинаются крестьянские избы, а дальше — поля и леса обширного поместья.

Это и есть Званка. На самой заре, когда заиграет пастух, замычат вдалеке коровы и заржут кони, Державин выходит в сад. Неспешно гуляет он по дорожкам. Порой остановится и в задумчивости чертит палкою на песке рисунки воображаемых зданий.

Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор:
Мой утренюет дух Правителю вселенной;
Благодарю, что вновь чудес, красот позор
  Открыл мне в жизни толь блаженной.

Пройдя минувшую и не нашедши в ней,
Чтоб черная змея мне сердце угрызала,
О! коль доволен я, оставил что людей
  И честолюбия избег от жала.

Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос,
Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще,
Ищу красивых мест между лилей и роз,
  Средь сада храм жезлом чертяще.

В идиллических этих стихах Державин представил себя таким, каким он хотел бы быть, но каким быть ему не вполне удавалось. Что змея совести не угрызала его — это сущая правда. Правда и то, что он рад был оставить людей, — но как раз потому, что жало честолюбия не вполне было им избегнуто. Боль обиды таилась на дне души; он старательно прятал ее от себя самого.

До отставки он любил Званку за то, что она была красивее и богаче его собственных деревень; за то, что она лежала в ста семидесяти верстах от Петербурга, у большой московской дороги: было легко, нехлопотно убегать сюда из столицы. Но после отставки она стала ему дорога в особенности: вынужденное бездействие само собой превращалось здесь в добровольное, отставка — в отдых. Душевная боль от этого утихала.

Хозяйство на Званке было обширное и передовое. Первоначально имение было не велико, но за десять лет хозяйничанья Дарья Алексеевна исподволь скупила прилегающие земли, так что ее владения протянулись по Волхову на девять верст и даже перешагнули на другой берег. Число душ доходило до четырехсот. На Званке возделывались поля, растились леса. Помимо водяной лесопилки, имелась диковина — паровая мельница. Паром же поднималась вода из Волхова и приводились в движение две небольшие фабрики: ткацкая и суконная. Шерсть для суконной поставлялась имениями Державина, где разводились овцы. На ткацкой выделывались холсты, полотна, салфетки, скатерти, кружева, ковры. При ней имелась своя красильня. Из Англии была выписана прядильная машина, «на которой один человек более нежели на ста веретенах может прясть». Для подготовки работников посылали крестьянских мальчиков и баб в учение на мануфактурные фабрики.

Вместе с разными огородами, пчельниками, скотнями, птичниками все это требовало забот и трудов. Но Званка принадлежала Дарье Алексеевне. Когда по утрам, после чаепития, в сопровождении старосты, являлся к ней толстый управляющий Иван Архипович Обалихин, Державин присутствовал в сих совещаниях лишь для виду. Он почти ни во что не вмешивался и, радуясь, что находится здесь не у дел хозяйственных, легче сносил пребывание не у дел государственных. Живя почти гостем на Званке, он привыкал к положению частного человека и как бы гостя в самой России. Он звал себя *отставным служивым* — яд обиды старался растворить в шутке.

Горький осадок все же отстаивался на дне души. Научившись читать по-французски (говорить он не выучился), Державин часто теперь повторял стих Вольтера: «Il est grand, il est beau de faire des ingrats»[1]. Эти слова ему полюбились — втайне он применял их к себе, разумея под *неблагодарными* прежде всего трех царей, которым служил на своем веку. Быть может, он кое в чем упрекал и само отечество.

В войне с Наполеоном, конечно, желал он России победы, но чрезвычайно тревожился ходом событий

[1] «Возвышенно и прекрасно творить неблагодарных» (*фр.*).

и политике правительства не сочувствовал: сожалел, что Александр Павлович «заведен был окружающими его в весьма неприятные военные дела». В званской кузнице изготовлялось холодное оружие для милиции; крестьяне державинские вступали в отряды. Державин считал, однако, что народу и войску приходится расхлебывать кашу, заваренную правителями бездарными иль нечестными. Свое раздражение он порою готов был переносить на правителей и вельмож всех времен и народов. В его кабинете стоял массивный красный диван, против которого на стене висела историческая карта: «Река времен, или Эмблематическое изображение всемирной истории». Часто, сидя перед ней, Державин неодобрительно качал головой: мир прекрасен, но история отвратительна. Отвратительны дела тех, в чьих руках была и есть судьба человечества.

Другое дело — люди обыкновенные, маленькие. Средней руки помещик, купец, мелкий чиновник, солдат, крестьянин — равно представлялись Державину жертвами исторических великанов, пушечным мясом истории. Для этих людей все более обретал он в себе участия, снисхождения, благости. Ворча на сильных, все более любил слабых. Благотворил без улыбки, пожалуй — без ласки, даже без добрых (и лишних) слов — зато деятельно. Дарья Алексеевна почла за благо все деньги прибрать к рукам, а Державину лишь выдавать на карманные расходы, ибо он все щедрее одарял нищих, дворовых, слуг, все легче давал взаймы — без отдачи. Она же стала управлять и личными его землями, потому что он *утешал* оплошных приказчиков, когда полагалось с них взыскивать. Он завел на Званке больницу для крестьян, и врач каждодневно являлся к нему с отчетом. Бедным мужикам покупал он коров, лошадей, давал хлеба, ставил новые избы.

Полевые работы занимали его только со стороны живописной. При нем не боялись лениться. (Зато стоило вдали показаться Дарье Алексеевне, как самые ленивые принимались за дело.) По праздникам из своих рук потчевал он мужиков водкою, бабам и девушкам раздавал платки, ленты, сласти. Любил их песни и хороводы. Каждое утро человек тридцать ребятишек сбегались к нему. Он учил их молитвам, потом оделял

баранками, кренделями. Потом бывший министр юстиции разбирал ребячьи тяжбы и при себе заставлял мириться. Случалось — идиллия принимала иной оттенок: в жаркий день, прячась между деревьями «от солнца, от людей под скромным осененьем», Российский Анакреон любовался «плесканьем дев» в кристальных водах реки.

* * *

Три Кондратия было на Званке: камердинер, садовник и музыкант. Однажды Державин написал комедийку для детей: «Кутерьма от Кондратьев». В ней шутливо представлена званская жизнь и о самом Державине говорится: «Старик любил все попышнее, пожирнее и пошумнее».

Дарья Алексеевна была оборотиста, но не скупа. Она очень любила своих родных, людей большею частию небогатых. Дом постоянно был ими полон. Сестры Бакунины по-прежнему жили у Державиных, хотя Параша была уже замужем. Марья Алексеевна Львова, овдовев, каждое лето гостила с детьми на Званке. В 1807 году она умерла, и три ее девочки, Лиза, Вера и Параша, тоже остались на руках у тетки. Старшей было девятнадцать лет, младшей четырнадцать. Наставницею при них жила г-жа Леблер-Лебеф, француженка-эмигрантка.

Вместе с Державиными это женское общество было, так сказать, основным населением барского дома. Впрочем, надо прибавить еще двоих: доктора и письмоводителя Евстафия Михайловича Аврамова, давно ставшего членом семьи. Круг занятий его был обширен. Он ведал архивы и рукописи Державина, перебелял письма, а иногда и стихи. В случае надобности исправлял он должность домашнего архитектора, живописца и пиротехника. Тесная, хоть не бескорыстная дружба связывала его с Анисьей Сидоровной, барской барыней. Шестидесятилетняя сия дева была в свое время получена Дарьей Алексеевною в приданое. День Евстафия Михайловича начинался с того, что Анисья Сидоровна угощала его кофеем и подносила первую рюмочку, за которою с перерывами следовали другие. Когда, ровно в полдень, за круг-

лым столом в просторной званской столовой собирались к завтраку, от Евстафия Михайловича уже крепко пахло вином. Дарья Алексеевна просила мужа не пускать его за стол при гостях, но Державин не соглашался:

— Ничего, душенька: делай, как будто ничего не замечаешь.

Он сам вина почти не пил, зато поесть любил плотно. К столу подавался «припас домашний, свежий, здравый» — но тяжелый и жирный. Аппетит Гавриила Романовича доходил даже до неумеренности. Желудком он начинал прихварывать. Уха, куры с шампиньонами и арбузы были его любимые кушанья. Из-за ухи возникали у него ссоры с домашними. Случалось, что он, встав шумно из-за стола, уходил к себе. Впрочем, разгневать его на Званке было нелегко. Будучи недоволен, он разворчится, с укоризною буркнет: «Спасибо, милостивые государыни, подоброхотали», — и, уйдя в кабинет, погрузится в пасьянсы. Придут к нему, станут уговаривать не сердиться — а он уж и позабыл, в чем дело: поднимет лысую голову (только с висков разлетаются длинные, редкие седины) и спрашивает: «За что?»

Кроме родных, которые жили при ней постоянно, бесчисленные племянники и племянницы, кузены и кузины Дарьи Алексеевны то приезжали, то уезжали. Гости на Званке не переводились. Съезжались и просто знакомые петербургские, и соседи-помещики — иной раз целыми семьями. Когда не хватало мест в доме, часть гостей размещалась в бане. Только с одним соседом были Державины не в ладу — с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым. Заречная часть Званки граничила с аракчеевским Грузиным. Отсюда возникла пустячная, но многолетняя тяжба, которую легко было кончить миром. По правде сказать, Аракчеев первый делал к тому шаги. Но Державину нравилось препираться с вельможами. Ведение тяжбы он взял на себя и длил ее из году в год с упрямством и удовольствием.

Каждый год, 3 июля, справлялся день его рождения, а 13-го, еще пышней, именины. Державин сиял радушием, выказывая себя благосклонным и хлебосольным сановником, слегка, может быть, сибаритом и расточителем.

Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут;
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол — и вижу разных блюд
  Цветник, поставленный узором:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
  Там щука пестрая — прекрасны!

Обычно к столу подает служанка Федосья. Но на сей раз сам Кондратий Тимофеевич, камердинер, стоя за креслом хозяина, всем распоряжается. (Кондратий Тимофеевич — любимец и даже наперсник Державина; после смерти барина ему обещана вольная и пятьсот рублей денег.) Обедают долго. От мира, по слухам, только что заключенного государем в Тильзите, нечувствительно переходит беседа ко всякой всячине. Разговор, важный в начале, делается живей.

Когда же мы донских и крымских кубки вин,
И липца, воронка и чернопенна пива
Запустим несколько в румяный лоб хмелин, —
  Беседа за сластьми шутлива.

Наконец, подается мороженое в виде многобашенного замка иль древнего храма. Его жаль рушить — так затейливы его линии, с такой красотою подобраны в нем цвета: воображение самого Гавриила Романовича тут действовало. Все в восхищении. Французских вин по случаю войны нет. Кондратий наполняет бокалы березовым или яблочным соком, приготовленным в виде шампанского:

Но молча вдруг встаем: бьет, искрами горя,
Древ русских сладкий сок до подвенечных бревен:
За здравье с громом пьем любезного царя,
  Цариц, царевичей, царевен.

Шесть чугунных небольших пушек гремят с балкона салют, и чудное званское эхо, известное всей округе, много раз его повторяет, перекатываясь за Волхов.

На Званке приятно было гостить подолгу. Каждый день сулил новые удовольствия. Устраивались прогулки — пешком, на дрожках и в лодках. Надев белый пикейный сюртук, Державин водил гостей осматривать фабрики, полевые работы, птичники, где водились лебеди и павлины. Утомясь, пили чай под сенью скирдов или на берегу реки. Бывали охоты и рыбные

ловли. Под вечер, в гостиной, при звуках арфы и *тихогрома,* детьми разыгрывались комедийки, пасторали с пением и танцами. Вились хороводы амурчиков и харит. После ужина вдруг в саду зажигалась иллюминация, сочиненная Евстафием Михайловичем. Огненные гирлянды повисали между деревьями. Сияли солнца и звезды из разноцветных шкаликов. Транспаранты светились изображениями Фелицы, иль Аполлона, иль монограммой Милены. Крепостной оркестр (мальчиков для него посылали учиться к харьковскому помещику Хлопову, знаменитому меломану) под управлением музыканта Кондратия гремел марш Безбородки. Кончалось все фейерверком, который с дымом и треском сжигался внизу, над черною водою Волхова. Всех счастливей при этом бывал сам Державин.

Когда разъезжались гости, он писал много. Часов, особо назначенных для работы, у него не было. Непоседливый и нетерпеливый, он всегда трудился зараз над несколькими предметами и в течение дня то удалялся в свой кабинет, то выходил оттуда на всякий шум и по всякому поводу. Так, отрывками, написал он и «Жизнь Званскую» — последнее из своих лучших творений. Она стройна, как ода на смерть Мещерского, задушевна, как «Бог», и, как «Водопад», громка. В расточительных образах и скупых словах званская жизнь здесь запечатлена с ее тишиной и шумом, вся, полностью, от счастливых пустяков, вроде вечерней игры «в ерошки, в фараон по грошу в долг и без отдачи», до горьких раздумий полуопального государственного мужа. Слагалась «Жизнь Званская» то по утрам в саду, то на птичнике за кормлением голубей, то за пасьянсом, то в часы вечернего уединения, когда, сев на перилах балкона, Державин следил, как тихо идут по реке парусные суда и опускается на тот берег багряное солнце; когда горели заревом стекла дома и бесчисленные комары толкли мак в сыроватом воздухе; когда Анисья Сидоровна удила на плоту рыбу, а Дарья Алексеевна кричала ей сверху: «Девчонка! Девчонка!» — и старуха ей откликалась: «Сейчас, сударыня!»; когда из дому доносилось девичье пение под звуки арфы; когда с грустью думалось, что неизъяснимо прекрасно все это, но все пройдет,

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,
Не вспомнится нигде и имя Званки;

когда старое сердце преисполнялось восторга, благоволения, мира, но в потаенной его глубине кипела обида и жгло, как пламя, сознание бессилия пред клеветой и завистью; когда этот пламень усмирялся лишь двумя мыслями: о Боге и о суде истории.

* * *

Державин давно мечтал о собрании своих сочинений, но дело по разным причинам не ладилось. Теперь, на покое, он решил за него приняться как следует. Хотелось собрать воедино то, что было разбросано по журналам, брошюрам, хранилось в рукописях. Все чаще ему приходила мысль подводить итоги.

Для начала предполагалось издать четыре тома, которые содержали бы основную часть лирики и несколько драматических сочинений. Державин занялся исправлением и отделкой стихов.

Вообще писал он не медленно и не мало, но большею частью первоначально только набрасывал пьесу, а потом вновь (и не раз) возвращался к ней — продолжал, заканчивал, переделывал. Нередко работа над стихотворением длилась несколько лет. Таким образом, целый ряд пьес одновременно бывал у него в работе.

На сей раз, когда дело шло о целых четырех томах, поправки, за редкими исключениями, свелись к просодическим и грамматическим частностям. Державину смолоду указывали на его погрешности. Когда-то Дмитриев, Капнист, Львов исправляли его стихи. Теперь Дмитриев был в Москве, Львов в могиле, а с Капнистами у Державиных года четыре тому назад вышла ссора. С тех пор они не видались и не писали друг другу. (Причина ссоры осталась семейной тайной; кажется, тут замешаны были сразу дела сердечные и денежные.)

В годы поэтической молодости Державин принимал поправки и переделки довольно охотно, потому что верил в просодию и грамматику и признавал свою неосведомленность. Это в особенности касалось стихосложения. Тут он по большей части безропотно подчинялся учителям, они же действовали решительно. Державин написал «Ласточку»:

О домовитая ласточка!
О милосизая птичка!

Грудь красно-бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь;
Над гнездышком сидя, поешь;
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышке бьешь...

Капнист пришел в ужас от совершенных здесь беззаконий и пренаивно переложил всю пьесу *правильным* четырехстопным ямбом, *исправив* рифмы. К счастью, Державин внезапно уперся и этим спас одно из лучших своих созданий. Вообще же старался он усвоить правила, выработанные не для одной русской поэзии, освященные временем и авторитетами. Всю жизнь относился он почтительно к просодическому канону и не смел на него посягать. Только органические особенности русского языка дали ему простор и возможность осуществить некоторые ритмические и фонетические вольности. Таковы обильные пиррихии и спондеи среди хореев и ямбов, введение рифмоидов, квазикакофоническая инструментовка: все, с чем при жизни Державина и после него боролись более или менее успешно и к чему, в конце концов, все-таки обратились: иногда лет через сто и больше.

Не так было с языком. Тут подчинялся он лишь сперва, по ученической робости; потом — только в тех случаях, когда доводы ему нравились. Постепенно он становился все менее уступчив: пожалуй, делался осмотрительней, но зато и упрямей. Понял, что учителя сами бродят в потемках. Не видел, чему и у кого можно учиться по-настоящему, — и в значительной мере был прав, потому что застал русский язык в один из самых бурных и сложных периодов его вечного становления. Грамматика, всегда отстающая от жизни самого языка, не успела еще понять и закрепить его навыки, отчасти неисследованные, отчасти меняющиеся. Тогдашней филологии русской это было и не по силам. У Державина не было оснований верить в существование прочной и обоснованной грамматики.

Не видя установленного закона, чувствовал он себя вправе поступать вольно, подчиняясь лишь внутреннему чутью и обычаю, но более — свободной филологической морали. Своих законов он никому не навязывал, признавая за всеми право на ту же воль-

ность, какою сам пользовался. Потому-то он защищал и Карамзина.

По отношению к современной ему грамматике он стал анархистом. Но нельзя поручиться, что он не стал бы таким же по отношению ко всякой другой. Слишком еще была глубока его связь с той первобытной, почвенною, народною толщей, где происходит само зарождение и образование языка и куда грамматист принужден спускаться для своих исследований, как геолог спускается в глубину вулкана.

Для грамматиста благо есть то, что правильно, то есть учтено и зарегистрировано. Для Державина правильно все, что выгодно и удобно, что способствует его единственной цели — выразить мысль и чувство. Его эстетика полностью подчинена выразительности. В русский язык, не смущаясь, заносит он германизмы, как первобытный пастух тащит к себе овец из чужого стада. (Здесь опять же причина его сочувствия Карамзину, хотя психология Карамзина, разумеется, не совпадала с его психологией.)

Он любил все «попышнее, пожирнее и пошумнее». Таков и язык его — пышный, жирный и шумный. Он хотел выразить себя полностью — и того достиг даже в языке. Однажды, когда Дмитриев и Капнист слишком пристали к нему со своими поправками, он вышел из себя и воскликнул:

— Что ж, вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по-вашему?

В слове видел он материал, принадлежащий ему всецело. Нетерпеливый, упрямый и порой грубый, он и со словом обращался так же: *гнул его на колено*, по выражению Аксакова. Не мудрено, что плоть русского языка в языке державинском нередко надломлена или вывихнута. Но дух дышит мощно и глубоко. Это язык первобытный, творческий. В нем — абсолютная творческая свобода, удел дикарей и гениев.

* * *

В августе месяце рукопись всех четырех томов сдана в типографию Шнора, что на Невском проспекте, в доме лютеранской Петропавловской церкви, а в феврале 1808 года «Сочинения Державина» появи-

лись в продаже. Зима, таким образом, ушла на возню с корректурами, переговоры с книгопродавцами и прочие хлопоты, сопряженные с выходом книг. Державин немало суетился и волновался, но далеко не одно это дело занимало его в ту зиму. Переживал он тревогу вовсе иного рода. В его доме все чаще стали встречать Наталию Алексеевну Колтовскую, ту самую, которой Российская Империя отчасти была обязана преобразованием Сената и учреждением министерств.

Державин был очень привязан к Даше, она к нему. Но победить ее врожденное бесстрастие ему так и не удалось. Однажды к ее портрету написал он четверостишие, в котором слышно разочарование, если не досада:

Минервы и Церес, Дианы и Юноны
  Ей нравились законы;
Но в дружестве с одной Цитерой не жила,
  Хоть недурна была.

Что измены Державина ее все-таки мучили — в этом нет ничего удивительного. Понятно и то, что самому Державину семейные нелады становились с годами в тягость.

Довольство, здравие, согласие с женой,
  Покой мне нужен — дней в останке.

Однако же, как ни старался он не колебать семейного мира, — сердечная рана, давно уже нанесенная, теперь-то вдруг и заныла сильнее.

Колтовской было лет тридцать. Красавица, модница и богачка, разойдясь с мужем, она не упускала пользоваться свободой. Будь Державин моложе, роман мог бы разыграться беззаботно и весело. Но Державину было шестьдесят четыре года, он старел и несколько робел перед нею (раньше с ним этого не случалось). Голубоглазая красавица вызывала в нем чувства мечтательные и нежные, почти молитвенные, которых она не стоила и которыми ей, быть может, забавно было играть. От этого она казалась ему еще более идеальной.

Летом она приезжала гостить на Званку. Державин не смел перед нею явиться Анакреоном. Он смотрел на нее снизу вверх и прелагал для нее сонеты Петрарки, те, в которых было наиболее меланхолии. В конце концов, во время уединенных прогулок, его

воздыхания были вознаграждены: Колтовская не собиралась походить на Диану. Но чем сладостней и внезапнее было счастие, тем более мук оно в себе заключало. Державин каждый миг чувствовал всю его случайность и непрочность. Колтовская, наконец, уехала. Державин затосковал, кинулся следом за ней в Петербург, но здесь она не в пример была холоднее. Что было летом, то ни к чему не обязывало ее зимой. Державин мучился и с прощальною нежностью вспоминал блаженные те места, где

Воздух свежестью своею
Ей спешил благоухать;
Травки, смятые под нею,
Не хотели восставать;
Где я очи голубыя
Небесам подобно зрел,
С коих стрелы огневыя
В грудь бросал мне злобный Лель.
О места, места священны!
Хоть лишен я вас судьбой;
Но прелестны вы, волшебны
И столь милы мне собой,
Что поднесь о вас вздыхаю
И забыть никак не мог;
С жалобой напоминаю:
Мой последний слышьте вздох.

* * *

Преосвященный Евгений (в миру — Евгений Болховитинов) учился некогда в Московском университете и в ранней юности близок был к Новикову. Потеряв жену и детей, в 1800 году он постригся в монахи, состоял префектом Петербургской духовной академии, затем был назначен епископом старорусским и новгородским викарием. Поселившись в Хутынском монастыре, на Волхове, верстах в сорока от Званки, он не оставлял любимых трудов по истории литературы и, в частности, составлял словарь русских писателей. Летом 1805 года дошел он до буквы Д и обратился к Державину за сведениями касательно его биографии. В августе он посетил Званку, где «препроводил с отменным удовольствием время, целые сутки. Начитался, наговорился и получил еще надежду впредь пользоваться знакомством нашего Горация; слышать собственными ушами тысячи эх, около его живущих, и те-

перь только понял, что такое в его сочинениях значит *грохочет* эхо». Они подружились, несмотря на разницу лет (Евгению было всего тридцать восемь, Державину за шестьдесят). Державин не раз принимал Евгения у себя, не раз ездил к нему в Хутынь. Ему же он посвятил «Жизнь Званскую», для него же составил краткую свою биографию и тетрадь примечаний к стихам. С тех пор мысль изложить и то и другое более обстоятельно уже не покидала его. Однако ж он медлил: с примечаниями — потому, что и самые стихи были еще не собраны и не изданы, а с биографией — потому, может быть, что в ту пору еще не считал ее завершенной: втайне мечтал вернуться к делам государственным. Потом он этой мечты лишился, потом были изданы первые четыре тома стихов — пора было приступать к работе.

На Званке, несколько в стороне от дома, над самой рекой, высился крутой холмик; в народе звали его курганом; по преданию, под ним тлели кости древнего колдуна, оборотня, злого гения этих мест; еще называли того колдуна волхвом, от чего, будто бы, и сама река получила свое прозвание.

На холме стояла беседка. В летние месяцы 1809 и 1810 годов Державин стал ходить сюда каждый день со старшей племянницей Лизой Львовой. Он диктовал ей свои Объяснения, в том порядке, как шли стихи в книгах. Лиза писала на больших листах синей грубоватой бумаги, которую после сшивала тетрадями. О каждой пьесе Державин рассказывал, с какими событиями и людьми она связана, из чего или ради чего возникла, какие имела следствия. Часто он этим не ограничивался и начинал объяснять отдельные строфы, стихи, даже слова. Таких примечаний порой набиралось до пятидесяти и больше к одному стихотворению. Некоторые были совсем короткие (строка, две), другие растягивались на много страниц. Они пестрели историческими и просто житейскими анекдотами, в них раскрывались имена и намеки, воскресали подробности, мелочи, которые тем любовнее сохранялись памятью, что им не нашлось места в самой поэзии.

Эти мелкие примечания Державин писал с особенным удовольствием еще потому, что восстановлял в них не только поводы к творчеству, но отчасти и самый ход

творчества — лишь в обратном порядке. Ему нравилось разоблачать бесчисленные аллегории, метафоры и другие приемы своей поэзии, в которых было заключено ее «двойное знаменование». Нередко он делал это с очаровательным простодушием, быть может — несколько и лукавым. Например, дойдя до стихов:

На сребро-розовых конях,
На златозарном фаэтоне —

он пояснял: «У кн. Потемкина был славный цуг сребро-розовых, или рыжесоловых, лошадей, на которых он в раззолоченном фаэтоне езжал в армии».

К величественным словам:

Не заключит меня гробница,
Средь звезд не превращусь я в прах —

он спешил приписать: «Средь звезд, или орденов совсем не сгнию так, как другие».

Вероятно, ему и впрямь хотелось блеснуть реальною обоснованностью своих гипербол и аллегорий. Но главное наслаждение заключалось не в том. Предметы реального мира некогда возносились его парящей поэзией на страшные высоты, где уж переставали быть только тем, чем были в действительности. Теперь Державину было любо возвращать их на землю, облекать прежней плотью. Для поэта былая действительность спит в его поэзии чудным сном — как бы в ледяном гробу. Державин будил ее грубовато и весело. Превращая поэзию в действительность (как некогда превращал действительность в поэзию), он совершал прежний творческий путь, лишь в обратном порядке, и как бы сызнова переживал счастье творчества. Если взглянуть со стороны — это грустный путь, и радости его горьковаты. Но он всегда греет сердце поэта, уже хладеющее.

Так, разрозненными отрывками, оживлялось перед Державиным поэтическое и житейское прошлое. Когда работа уже подходила к концу, настала очередь стихотворению «Признание». Оно было написано два года тому назад. Державин его перечел, подумал и велел Лизе отметить его как «объяснение на все свои сочинения»:

Не умел я притворяться,
На святого походить,
Важным саном надуваться
И философа брать вид;

Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им;
Ум и сердце человечье
Были гением моим.
Если я блистал восторгом,
С струн моих огонь летел, —
Не собой блистал я — Богом:
Вне себя я Бога пел.
Если звуки посвящались
Лиры моея царям, —
Добродетельми казались
Мне они равны богам.
Если за победы громки
Я венцы сплетал вождям, —
Думал перелить в потомки
Души их и их детям.
Если ж где вельможам властным
Смел я правду брякнуть вслух, —
Мнил быть сердцем беспристрастным
Им, царю, отчизне друг.
Если ж я и суетою
Сам был света обольщен, —
Признаюся, красотою
Быв плененным, пел и жен.
Словом: жег любви коль пламень,
Падал я, вставал в мой век, —
Брось, мудрец, на гроб мой камень,
Если ты не человек.

* * *

Просторный квадратный двор державинского владения на Фонтанке был обнесен колоннадой. За колоннами справа и слева двухэтажные флигеля шли в глубину двора, где примыкали они к двухэтажному дому с аллегорическими фигурами на фронтоне. Со двора и с улицы казался дом невелик, да таков он и был, когда купили его, лет двадцать тому назад, при жизни Екатерины Яковлевны. В ту пору высился он довольно одиноко на обширном участке принадлежащей к нему земли. Однако ж на этой земле Даша сумела хозяйничать не хуже, чем хозяйничала в деревне. Ее заботами и трудами воздвиглись сначала упомянутые два флигеля, а после и самый дом разросся в несколько раз. Два узких, длинных его крыла раскинулись вправо и влево, образуя за флигелями два боковых двора, где опять-таки появились строения, занятые людскими и службами. Затратить сразу большую сумму никак было невозможно. Поэтому дела-

лось все без плана, в разное время, по мере возможности и смотря по надобности. Только в 1809 году постройки были закончены и оказались немного разбросаны. Зато представляли собой целую усадьбу. Тут были конюшни, коровник, птичник, каретные и другие сараи, навесы для дров, сеновалы, ледники, кухни, прачечные и даже, наконец, небольшая бойня.

Не считая кухонь, сеней, передних, лестниц, коридоров и тому подобного, в доме и флигелях имелось до шестидесяти жилых комнат, так что часть флигелей (небольшую, впрочем) Даша сдавала внаймы. В большей же части жили ее многочисленные родственники.

В левом крыле барского дома, внизу, помещалась очень большая столовая; рядом с нею — буфет и три запасные комнаты для гостей. Правое крыло было занято двусветною залой, миновав которую попадали в домашний театр с несколькими рядами кресел и ложами по бокам. Еще несколько комнат было расположено позади сцены. В средней же части дома, той, что существовала уже при Пленире, находились только швейцарская, официантская, диванная, аванзала, прежде служившая залой, ныне же примыкавшая к новой, двусветной зале, а также круглая гостиная. Здесь висел огромный портрет Державина, жестко, но выразительно писанный итальянцем Тончи, художником, музыкантом, поэтом, безбожником и красавцем, одним из тех фантастических иностранцев, которых немало в XVIII веке заносили в Россию судьба и любовь к приключениям. Поэт был изображен во весь рост, в медвежьей шубе и меховой шапке, среди снегов, освещенных северною зарей; сзади, со снежных скал, низвергается водопад. Внизу латинская подпись, сочиненная самим живописцем:

Justicia in scopulo, rutilo mens delphica in ortu
Fingitur, in alba corque fidesque nive[1].

Три стеклянные двери вели из гостиной на широкую полукруглую лестницу, по которой спускались в сад, раскинутый позади всего дома. Он украшен был лишь недавно — на деньги, вырученные от продажи «Анакреонтических песен».

В верхнем этаже сохранился от прежних времен

[1] Правосудие изображается скалой, пророческий дух — розовым восходом, верное сердце — белизною снега (*лат.*).

серпяный *диванчик*, где некогда тень Плениры явилась Державину, где и поныне стоял ее бюст, рядом с бюстом Державина. Справа к диванчику примыкала гостиная, слева столовая, тоже в том виде, как при Екатерине Яковлевне. Далее шли: буфетная, кафешенкская, девичья. Еще в средней части верхнего этажа помещались: биллиардная (как раз над нижнею аванзалой), спальня, маленький Дашин кабинет и кабинет Державина — с венецианским окном, приходившимся в середине фасада, прямо против ворот. Посреди кабинета стоял большой письменный стол, в стороне — конторка, за которою Державин большею частию и работал. У стены высился диван, гораздо выше и шире обыкновенных, со ступеньками от полу, с полкою наверху и с двумя шкапиками по бокам. В шкапиках были ящики для хранения рукописей. На диване валялась аспидная доска с привязанным грифелем. Порою Державин ею пользовался, набрасывая стихи.

Верхний этаж правого крыла был занят вторыми светами залы и театра. За ними шли комнаты для прислуги. Камердинер Кондратий жил здесь. Из кабинетика Даши полукруглый коридор вел в верхний этаж бокового флигеля, в комнаты доктора, управляющего, секретаря Аврамова и в квартиры родственников. Население этих квартир все время менялось. В разные годы тут жили Бакунины, Ниловы, Львовы, Дьяковы, Ярцевы. Отсюда выходили замуж, женились, разлетались по свету и вновь сюда возвращались. Здесь всегда было шумно и весело. Шум и веселье заносились и в большой дом.

Содержание такого громоздкого хозяйства обходилось недешево. Державины тратили в год тысяч до семидесяти, которые Даша умела выколотить из имений. Но Державину был по душе усадебный уклад жизни, который и в Петербурге напоминал ему Званку. Зиму и лето он вставал часов в пять или шесть утра. По утрам пил чай (кофею не любил), часа в два обедал, а в десять ужинал. Его здоровье портилось. На людях он держался бодро, даже несколько суетливо, увлекался в беседах до чрезвычайности, но возбуждение проходило — и Даше с доктором наступал черед действовать. Он нередко прихварывал — животом в особенности. По-прежнему любил поесть, но после плотных обедов случались припадки, во время кото-

рых он жаловался на одышку, раскаивался, давал зарок быть впредь воздержанней.

Выезжал он не слишком много, являясь на публике в парике с мешком, в коричневом фраке при коротких панталонах и гусарских сапожках, над которыми были видны чулки. При случае он играл в карты, но уж без прежнего увлечения и без прежней удачи; тысячи полторы в год полагалось от Даши на проигрыш. Но вечера, провождаемые дома, в *диванчике*, нравились ему все более. Даша играла на арфе, племянницы пели. Белый пудель Милорд, потомок Фелицына пуделя, погребенного в царскосельском парке под пирамидою, иногда не выдерживал — подвывал, задрав голову. Тише пуделя вел себя кот, которому, слушая музыку, Державин тихонько чесал усы. Тем временем кто-нибудь из девочек почесывал за ухом самому *мурзе*, и *мурза*, наконец, дремал.

Раз в неделю сзывались гости к обеду, который по этому случаю начинался часа в четыре, затягивался до вечера и кончался концертом. Вообще музыка в доме не переводилась. Державин больше всего любил Баха. Заслушавшись, иногда он вскакивал и ходил по комнате; потом шаги его ускорялись, он размахивал руками и исчезал в кабинете. Тогда ждали новых стихов. После концерта молодежь затевала танцы до самой полуночи, а то и позже. Державин недолго на них любовался: если не было слишком важных гостей, Дарья Алексеевна часов в одиннадцать уводила его наверх, укладывала в постель, а сама возвращалась к танцующим.

* * *

Война Петербурга с Москвой разгоралась медленно. Москва как будто не принимала славянороссов всерьез. Карамзин по-прежнему не снисходил до боя с Шишковым, предоставляя мелким своим партизанам постреливать эпиграммами. Главным застрельщиком оказался некто Василий Львович Пушкин, пухленький человечек на жидких ножках, балагур, пустоватый автор, вовсе не молодой, но донельзя преданный всему молодому. Над ним трунили в собственном лагере. Пожалуй, всего обиднее для шишковистов было то, что против них выпустили именно Пушкина.

Субботние собрания литераторов продолжались уже четвертую зиму — все такие же скучноватые. Осенью 1810 года явилась мысль сделать их публичными (все равно не одни литераторы в них бывали). Шишкову это понравилось. Он надеялся, что публичные собрания помогут распространиться его идее. В сущности, его цели всегда были общественными, а не литературными. При посредстве литературы он только хотел укрепить в публике чувства патриотические. Поелику же сама литература его не слушалась, он был не прочь начать с другого конца: через общество воздействовать на литературу. (Может быть, для того, чтобы затем опять же воздействовать на общество через литературу: он сам как-то не мог разобраться, что чему должно здесь предшествовать.)

Державин увлекся не менее, чем Шишков. Конечно, искал он не славы. Слава у него была — полная, прочная, не поколебленная ни отставкой, ни сплетнями, ни злобной холодностью Александра, ни даже обилием врагов при дворе. От соседства с Шишковым она скорее могла пострадать — по крайней мере, в глазах некоторых литераторов. Но Державин знал, что в конечном счете его не смешают с Шишковым, которого, впрочем, он уважал как человека и патриота. Затея прельщала его потому, что оживление суббот могло бы способствовать оживлению словесности. Можно было даже рассчитывать, вопреки расчетам Шишкова, что появление новых людей ослабит засилие славянороссов. Наконец, манила Державина и сама новизна публичных собраний, их более пышный обряд, блеск, шум. Ему не терпелось. Он тотчас пожертвовал для библиотеки будущего общества на три с половиною тысячи книг, объявил, что предоставляет залу свою для собраний, и вообще взял на себя все расходы.

В декабре начали обсуждать устав общества. Решено устраивать собрания раз в месяц и к участию в чтениях допускать посторонних лиц, не иначе, однако же, как рассмотрев предварительно их произведения. Для удобства в соблюдении очередей и внутреннего распорядка весь состав членов был разбит на четыре разряда, с председателем и пятью *членами* в каждом. Эти двадцать четыре члена-учредителя должны были составить основное ядро общества. Помимо них, каждый раз разряд избирал *сотрудников* из литературной молодежи.

Вопрос о том, кому быть членом, а кому только сотрудником, в иных случаях решить было нелегко. Считаться пришлось не только с литературными заслугами, но и со служебным положением, и даже с происхождением. А как возрастом, титулами и чинами шишковисты в общем превосходили прочих, то и образовался на их стороне перевес. Нашлись и обиженные. Гнедичу (кажется, не без уловки со стороны Шишкова) предложили быть всего лишь сотрудником. В ответ на это прислал он письмо Державину, объявляя, что согласен вступить в общество только под именем члена, но не сотрудника: «если ж на это или не дадут согласия г. г. Члены, или не буду я в праве по моему чину, то в обоих случаях мне ничего не останется, кроме заслуживать еще и лучшее о себе мнение и больший чин».

В первом разряде, под председательством Шишкова, членами оказались: Оленин, Кикин, Крылов, Шихматов и кн. Дмитрий Петрович Горчаков, сатирик и ловкий автор весьма нецензурных стихотворений. Во втором разряде председателем был Державин, а членами гр. Хвостов, умный и просвещенный Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, Лабзин (масон, историограф Мальтийского ордена), поэт Дмитрий Осипович Баранов (сенатор) и Федор Львов, тоже поэт, приятель Державина. В третьем разряде (под председательством А.С.Хвостова) сколько-нибудь выделялся один Шаховской, если не считать Петра Ивановича Соколова: то был непременный секретарь Российской Академии, человек великого трудолюбия и скромнейших намерений; его мечты не шли дальше эпистолярного и делового слога. «Вся эта поэзия, — говаривал он, — все эти трагедии и поэмы одна только роскошь в литературе; а нам не до роскоши». Четвертый разряд, где председательствовал неизбежный и безнадежный Захаров, сплошь состоял из людей, еще менее примечательных.

Бесцветные сотрудники дополняли этот бесцветный список, в котором чувствовалась рука Шишкова. Так и должно было выйти при упорстве Александра Семеновича и критическом благодушии Державина. Впрочем, при литературной бедности тогдашнего Петербурга, шишковскому натиску некого было противопоставить.

Список почетных членов открывался более блестящими именами Капниста, Озерова, молодого дра-

матурга, уже загубленного завистию и безумием, и наконец — Карамзина. Все трое, к несчастию, значились лишь по имени: Озеров был безнадежно болен, а Карамзин и Капнист не жили в Петербурге.

Избрание Карамзина было большой, но едва ли не единственною победой Державина. Однако Шишков тут же и отыгрался: в почетные члены провел он целую плеяду державинских недругов из числа вельмож: Строганова, Ростопчина, Козодавлева и даже Сперанского и Магницкого. Последние два были так же неприятны самому Шишкову, как и Державину. Но Сперанский был в силе — Шишков не осмелился обойти его. Магницкий шел за Сперанским, как за иголкой нитка.

Еще четыре лица попали в число почетных литераторов. Прежде всего, должно быть, за принадлежность к прекрасному полу, — три девицы: княжна Урусова, та, которую тридцать три года тому назад сватали за Державина, Анна Петровна Бунина, болезненная особа лет тридцати шести, довольно бесталанная стихотворица, и некая Анна Волкова, немного моложе Буниной, но писавшая еще хуже. Четвертым был Николев, пятидесятидвухлетний поэт. За слепоту звали его русским Мильтоном, а также l'aveugle clairvoyant[1] (по выражению императора Павла, который с чего-то ему покровительствовал). Мелкие чиновники долго еще зачитывались его стишками; двадцать пять лет спустя титулярный советник Аксентий Иванович Поприщин в любопытных записках своих восхищался сердцещипательным четверостишием Николева:

Душеньки часок не видя,
Думал, век уж не видал;
Жизнь мою возненавидя,
Льзя ли жить мне? — я сказал.

* * *

2 января 1811 года уязвленный Гнедич, поздравляя Капниста с Новым годом, писал ему: «У нас заводится названное сначала Ликей, потом Афиней, и наконец Беседа — или общество любителей Российской

---

[1] ясновидящий слепец (*фр.*).

словесности. Это старая Российская Академия, переходящая в новое строение; оно есть истинно прекрасная зала, выстроенная Гаврилом Ром. при доме. Уже куплен им и орган и поставлен на хорах, уже и стулья расставлены где кому сидеть, и для вас есть стул; только вы не будете сначала понимать языка г.г. Членов. Чтобы в случае приезда вашего и посещения Беседы не прийти вам в конфузию, предуведомляю вас, что слово Проза называется у них: *говор*, Билет — *значок*, Номер — *число*, Швейцар — *вестник*; других слов еще не вытвердил, ибо и сам новичок. В зале Беседы будут публичные чтения, где будут *совокупляться знатные особы обоего пола* — подлинное выражение одной статьи Устава Беседы...»

Наконец устав был утвержден, новорожденному обществу объявлено высочайшее благоволение за «полезное намерение», и 14 марта состоялось первое собрание Беседы. Из аванзалы, отделенной колоннами желтого мрамора, гости вступали в высокую, освещенную ярко залу. Стол, покрытый зеленым сукном, стоял посредине, окруженный креслами членов. Кресла поменьше, для публики, расставлены были вдоль стен уступами. Ждали государя, Державин даже сочинил приветственный хор (сам Бортнянский его положил на музыку) — но государь не приехал.

Билеты заранее были разосланы. Съехалось до двухсот человек — мужчины в мундирах, при лентах и орденах, дамы же в бальных платьях. Явился цвет сановного Петербурга. Шишков к нему обратился с речью. «Каким средством может процветать и возвышаться словесность?» — спрашивал он. И отвечал: «Единственным: когда все вообще люди любят свой язык, говорят им, читают на нем книги; тогда только рождается в писателях ревность посвящать жизнь свою трудам и учению». Словом, он призывал общество воодушевить словесников.

Сама по себе эта речь не была, конечно, причиной литературного окостенения, которое охватило Беседу тотчас и навсегда. Но главная причина окостенения как раз в этой речи выразилась. Справедливо, что без сочувствия публики нет словесности. Но это сочувствие — отнюдь не *единственное* и даже не первое условие литературного процветания. Литература одушевляется прежде всего идеями литературными, кото-

рые в ней самой должны зарождаться. У Шишкова были идеи политические, общественные и даже филологические, литературных же не было. Нападки на карамзинское направление, в общественном смысле вовсе не основательные, филологически — пусть даже отчасти справедливые, не возмещали отсутствия положительных литературных стремлений. Людям, имеющим такие стремления, возле Шишкова было бы нечего делать. Беседа оказалась так же мертва, как субботние собрания, из которых она возникла. Как на субботах (без публики), так и в Беседе (при публике) могли заседать либо люди, никогда не имевшие собственных литературных идей, либо люди, идеи которых уже были осуществлены в свое время. Таких оказалось в Беседе трое. Во-первых — Державин. Во-вторых — Дмитриев; назначенный министром юстиции и живший в Петербурге уже больше года, он состоял одним из четырех *попечителей* четырех беседных разрядов; прямого участия в делах эти попечители не принимали — их звание было только почетное; все четверо (Завадовский, Мордвинов, Разумовский и Дмитриев) были министры — в настоящем или в прошлом; Дмитриев попал в попечители именно в качестве министра, а не поэта: таков был дух Беседы. Третьим, наконец, был Крылов — талант огромный и лишь недавно сказавшийся; но и он не был движущею литературной силой, ибо ему было суждено лишь блестящее завершение давней басенной традиции: она с ним и умерла.

Не то в публицистике. Тильзитская политика Александра, многими осуждаемая, доживала последние дни. Уже с весны 1811 года отношения между Парижем и Петербургом стали весьма натянуты; осенью сделалось более или менее очевидно, что война вспыхнет. Поведение раздраженного Бонапарта было вызывающе; русское общество чувствовало себя оскорбленным. Тогда-то шишковская ненависть к Франции дождалась своего часа и торжества. Хоть и побаиваясь «без воли правительства возбуждать гордость народную», Шишков, однако, решился: он прочитал в Беседе «Рассуждение о любви к отечеству». Впечатление было разительное. Мертвым собраниям сообщилось одушевление, которого не могла в них вызвать славяноросская литература. Беседа сделалась первою вест-

ницей, а на время и средоточием патриотического подъема.

Двенадцатый год настал. Но прежде, чем началась война, должно было совершиться падение Сперанского. 17 марта оно совершилось, и вскоре Шишков назначен государственным секретарем. Конечно, самый объем его мыслей был вовсе не тот, что был у Сперанского. Но именно за этот объем пал Сперанский. Шишков был призван не заменить его, но лишь занять его должность.

В должности этой, как составитель рескриптов и манифестов, старик оказался вдруг даже величествен. Его первой работой был манифест о рекрутском наборе. Его писания, порой неуклюжие, неотесанные, порой даже опрометчивые, почти как стихи Хвостова, были исполнены странной силы. «Они действовали электрически на целую Русь», Шишков «двигал духом России». Иные слова его сделались лозунгами Отечественной войны и остались памятниками ее. Их повторяли тогда и еще сто лет после, уже не зная, кем они были сказаны. Это и есть народная слава.

* * *

Меж тем как Россия вступала в полосу бурь и все ее помыслы были устремлены в будущее, мысль Державина обращалась к прошлому. Осенью 1811 года он приступил к писанию своей биографии. Замысловатым, с обильными завитушками почерком, почерком восемнадцатого столетия, слегка дрожащей уже рукой он вывел на первом листе тетради: «Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина».

Объяснения, диктованные Лизе Львовой, уже содержали немало воспоминаний. То были, однако ж, воспоминания отрывочные, в составе своем ограниченные (ибо так или иначе связанные с поэзией), подчиненные не хронологии, но порядку стихотворений и потому разрозненные. Записки Державин повел в форме повествования связного, плавного и последовательного. Он начал с поры своего младенчества, но его главною целью был рассказ о гражданской деятельности на разных поприщах.

Лиза Львова с год тому назад вышла замуж. Диктовать теперь было некому, да это вышло бы и громоздко. Чтобы не замедлять работы, Державин писал, положившись на память, не обращаясь за справками к своему архиву и только изредка прибегая к помощи Аврамова. Впрочем, нашелся у него род дневника, веденного во времена пугачевщины; этот дневник он просто подшил в надлежащем месте. Обдумав наперед фразу, он заносил ее на бумагу и делал не слишком много помарок. От этого своевольный и грубый слог его стал еще своевольнее и грубее. Порою фраза давалась ему с трудом, и самый смысл затемнялся. Но Державин спешил, быть может, намереваясь исправить слог в будущем, а вероятнее — не замечая его недостатков. Иные места Записок силой и меткостью удивительны; в иных не сразу добьешься толку.

Свои Объяснения Державин намерен был напечатать вскоре (хотя цензура, конечно, не пропустила бы в них очень многого). Записки писал он для будущего. Перед лицом потомства он хотел быть правдивым, и в отношении внешней стороны событий это ему удавалось. Но если он надеялся сохранить беспристрастие в их внутреннем изъяснении, то это не удавалось ему вовсе.

«Бывший статс-секретарь при Императрице Екатерине Второй, сенатор и коммерц-коллегии президент, потом при Императоре Павле член верховного совета и государственный казначей, а при Императоре Александре министр юстиции, действительный тайный советник и разных орденов кавалер, Гавриил Романович Державин родился в Казани от благородных родителей, в 1743 году июля 3 числа...» Подобно Цезарю, Державин писал о себе в третьем лице. Этот эпический прием довольно долго способствовал спокойной важности изложения. Впрочем, была и другая причина, по которой действительный тайный советник и разных орденов кавалер спокойно, даже и с удовольствием вспоминал страдания, унижения, бедность, некогда выпавшие на долю казанского гимназиста, а затем преображенского солдата. Всю жизнь он гордился тем, что дошел до высоких степеней «из ничтожества». Чем ничтожество выходило очевиднее, тем контраст получался резче. Историю своего шулерства Державин из-

ложил безжалостно и подробно. Он, в сущности, был благодарен людям и обстоятельствам, доведшим бедного, неопытного молодого человека до такого падения.

Вообще, несправедливости и обиды, наносимые ему лично, он прощал и в Записках так же легко, как в жизни, оттого что был очень добр и очень самолюбив. Его обманывали, обкрадывали, на него клеветали, — он не помнил зла, делал нередко вид, что не замечает его, и ни разу в жизни не отомстил никому. Но препон, поставленных его деятельности служебной иль государственной, но обид, наносимых в его лице возлюбленному Закону, он не прощал и прощать не считал себя вправе. Первые столкновения такого рода произошли у него во время пугачевщины. Начиная с обороны Саратова, он и в Записках стал увлекаться изображением борьбы, в которой позже прошла его жизнь. Так как по существу он отстаивал дело правое, то и в Записках, как в жизни, пришел к уверенности в неизменной и постоянной своей правоте. Так как причина столкновения всегда лежала не в нем, то он и вообразил себя в жизни и представил в Записках чрезвычайно миролюбивым, хотя на самом деле случалось ему открывать враждебные действия и затем идти уже напролом. Единственным недостатком своим признавал он горячность, но в глубине души почитал и ее достоинством и относился к ней с любовной, как бы отеческой мягкостью. При таких обстоятельствах эпический лад Записок довольно скоро перестал отвечать их внутреннему лиризму.

Настала весна 1812 года. В предстоящей войне никто уже не сомневался. 9 апреля, взяв с собой Шишкова, государь выехал в Вильну. Державин лишь краем уха прислушивался к надвигающейся грозе. Он погружен был в свои Записки — воевал с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем. Перебрался на Званку — и там продолжал писание. Бонапарт перешел через Неман и вторгся в пределы России — Державин был занят Екатериной.

Всю тщетность своей многолетней борьбы он познал глубоко, но знания этого не принял. Обернись время вспять, начнись завтра все сызнова, старик действовал бы во всем точно так же, как действовал в молодости. По-прежнему был бы он резок и неуступ-

чив, по-прежнему отвергал бы возможное ради должного, был готов сломиться, но не согнуться и с гордостью повторил бы жизненные свои ошибки — все как одну, с первой и до последней.

Не приняв житейского опыта для себя, он не принял его и для Екатерины. Составительница Наказа знала, какова должна быть Фелица, идеальная монархиня, — следовательно, и должна была стать ею, хотя бы не только люди, но и самые небеса были против. Если не стала — ее вина. Правда, за последние годы Державин много думал о ней и пришел к выводу, что в ее обстоятельствах ничего не оставалось, как или погибнуть, или стать такою, какою она была. Рассудив так, он по человечеству, снисходя к слабости человеческой, даже простил ее, но это прощение ощущал в себе тоже как слабость и уступку. Перед лицом же *священной справедливости* он считал, что «сия мудрая и сильная Государыня в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя Великой». Таково было его последнее заключение.

Между тем события шли своим чередом. 7 июля русские войска стали отходить из укрепленного лагеря на Дриссе. Покинув армию, государь явился в Москве. В Успенском соборе, осажденном народными толпами, зараз ликующими и плачущими от всеобщего воспламенения чувств и сердец, епископ Антонин приветствовал Александра достопамятными словами: «Царю! Господь с тобою: Он гласом твоим повелит бури, и станет в тишину, и умолкнут волны потопные. — С нами Бог! разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!»

Но армия отступала. Простодушный Захаров, препровождая в подарок третье, вновь исправленное издание своего застарелого «Телемака», над которым трудился более тридцати лет, сообщал о растерянности властей и тревоге жителей: «Вся Россия накануне всеобщего траура. У кого сын, у кого брат, у кого муж: все под опасностию смерти — но важней и того — в опасности повергнуться в рабство. — Боже! Спаси!» По делам рекрутского набора Державин ездил во Псков, где «наехал довольно суматохи от близкого военного театра», потом в Новгород, уже охваченный паникой. Военные бюллетени и известия «Северной Почты» не вселяли бодрости. Настал август месяц. Многие жители покидали Петербург, вывозя имущест-

во. Державин по этому поводу получил письмо от Леонида Львова, брата Лизы, Параши и Веры, и отвечал ему: «По неприятному от вас полученному известию ежели обстоятельства так же дурны, как вы пишете, и прочие укладываются, то должно согласиться с давшими вам совет, чтоб и нам что-либо спасти, коли можно. И для того мы пришлем к вам с лошадями фуры, на коих и привезть к нам сюда: 1) два сундука, которые в кабинете моем, покрытые коверными чехлами; 2) сундучок плоский, который под моим бюром с бумагами; 3) сундук в новом кабинете Дарьи Алексеевны, покрытый красною кожею; 4) большой сундук в Онисьиной комнате; 5) Другие вещи, как то: трое бронзовых часов в нижних комнатах, мраморные в кабинете Дарьи Алексеевны, резную серебряную филейную фигуру, которая стоит в нижних комнатах, буфетное серебро сложить в один ящик и отправить сюды; 6) Прикажите Павлу, чтоб положил также в один сундук все штофные занавесы и отправьте сюды же; за прочими же вещами, как то: за столовыми люстрами и мебелями, когда обстоятельства дозволят, пришлем еще лошадей или ранжируем другим образом. Мы пришлем также Евстафья Михайловича для разобрания моих бумаг, из которых по данной ему записке он возьмет сюда. Впрочем, ежели слухи и обстоятельства переменились, дай Боже, к лучшему, что спокойнее в городе стало и перестали суетиться к отправлению вещей, то и вам поостановиться, кажется, должно, — и нас уведомить... Теперь ясно видно, что Барклай нечестный человек и неверный или глупый вождь, что впустил столь далеко врага внутрь России, дает укрепляться в Могилеве, Витебске, в Бабиновичах, в Орше и далее, не действует и не сражается».

Это письмо Державин писал 12 августа, еще не зная ни о потере Смоленска, ни о том, что как раз накануне новый главнокомандующий Кутузов выехал из Петербурга к армии.

Второй, трагический период Отечественной войны начался. В тяжелые дни Бородина (где полковник Преображенского полка Воейков, жених Веры Львовой, командовал бригадой, защищавшей Шевардино), в дни отступления на Москву, Державин вернулся к Запискам. Теперь он рассказывал о душевных ранах, еще не заживших, — о временах Павла и Александра,

о людях, которые «привели государство в такое бедственное состояние, в котором оно ныне, то есть в 1812 году, находится». Ни высокого гнева, ни простой злобы сдержать он уже не мог. Припомнил все, действительно бывшее — и даже не вполне бывшее. То, что он только подозревал, о чем только слышал, теперь казалось ему непреложной истиной. Екатерине и ее сподвижникам он был готов простить многое — было за что. *Нынешним* он не только не прощал ничего, но даже и справедливости их не удостоивал. Одним преступлением больше, одним меньше — не все ли равно, стоит ли проверять? Вряд ли он, например, верил сам, что Сперанский был взяточник, — однако же написал и это. Желчь в нем разлилась. Забывая эпический слог, он все чаще сбивался с третьего лица на первое и почти с наслаждением перечислял подвохи, подкопы, *шиканы*, поставленные его деятельности, и обиды, нанесенные ему лично. Не вытерпев, он составил особый реестр пятнадцати главным своим заслугам, «за которые имел бы право быть вознагражденным, но напротив того претерпел разные несправедливости и гонения».

Он писал и на Званке, и позже, осенью, переехавши в Петербург. Здесь каждое утро приходил к нему Платон Зубов. Наклонясь над большою картой, следили они движение неприятеля, и страдали вместе, и растравляли друг другу сердечные раны, и распаляли друг в друге злобу. Он писал и в те дни, когда горела Москва и казалось — Россия гибла. Горе и страх терзали его, изливаясь в Записках яростью. Отпылала Москва; супостат, «таинственных числ Зверь», бежал из нее, оставляя кровавый след на раннем снегу чудотворной зимы; с каждым днем приходили вести о наших победах над его расстроенными полками; молодой стихотворец Жуковский (тот самый, что в детстве присутствовал на потемкинском празднике), на время оставив задумчивые элегии и романтические баллады о мертвецах, в лагере при Тарутине написал «Кубок воина», иначе — «Певца во стане русских воинов», патриотическую песнь, которую все теперь повторяли. Русская слава воскресала в победах. Жуковский взывал к Державину:

О старец! да услышим твой
Днесь голос лебединый —

но Державин дописывал самые желчные страницы сво-

их Записок. Когда надежды брезжили над Россией, его уделом были воспоминания. Перед Россией открывалась новая эпоха — он выводил на последней, 564-й странице рукописи: «Сие кончается 1812 годом».

Судьба Бонапарта была им предсказана совершенно точно четырнадцать лет тому назад в пророчески-косноязычных стихах:

Кто весть, что галльский витязь, Риму
Словами только вольность дав,
Надеть боялся диадиму;
Но что, гордыней обуяв,
Еще на шаг решится смелый
И, как Сампсон, столпы дебелы
Сломив, падет под ними сам?

Теперь, когда судьба эта совершилась, Державин среди всеобщего ликования оставался почти равнодушен, как если б и нынешнее торжество было им пережито уже в прошлом. Он написал пространный, тяжелый, пышный «Гимн лиро-эпический на прогнание Французов», но парения прежнего в нем уже не было. Все сердца были окрылены — на душе Державина лежал камень. Тайком от людей, для себя самого, на каком-то черновике, сбоку, набросал он четверостишие:

Тебе в наследие, Жуковский,
Я ветху лиру отдаю;
А я над бездной гроба скользкой
Уж преклоня чело стою.

* * *

А все-таки было что-то необычайно прекрасное в русской весне 1813 года — что-то похожее на начало выздоровления или на утро после грозы. Ее теплое дуновение коснулось и дома Державиных. Справили свадьбу Веры с Воейковым, перебрались на Званку и стали готовиться к приятному путешествию.

Тому назад почти уже год пришло письмо от Капниста: «Любезный друг, Гаврила Романович! Я уверен, что мы друг друга любим; зачем же слишком долго представлять противные сердечным чувствам роли? — Вы стары; я весьма стареюсь; не пора ли кончить так, как начали? — У меня мало столь истинно любимых друзей, как вы: есть ли у вас хоть один, так прямо вас любящий, как я? — По совести скажу:

сумневаюсь: — в столице есть много, — но столичных же друзей. — Не лучше ли опять присвоить одного, не престававшего любить вас чистосердечно? — Если я был в чем-нибудь виноват перед вами, то прошу прощения. — Всяк человек есть ложь: я мог погрешить, только не против дружества: оно было, есть и будет истинною стихиею моего сердца; оно заставляет меня к примирению нашему сделать еще новый — и не первый шаг. — Обнимем мысленно друг друга, и позабудем все прошлое, кроме чувства, более тридцати лет соединявшего наши души. — Да соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю!..»

По получении письма решено было помириться и ознаменовать мир поездкою в Малороссию, — если только, Бог даст, все будет к хорошему концу. Дарья Алексеевна, кстати, тогда же дала обет в случае благоприятного окончания войны съездить в Киев на богомолье. Все, таким образом, складывалось одно к одному, и 15 июня, взяв с собой доктора и Парашу Львову, Державины выехали со Званки. Двигались медленно и только 24-го числа прибыли в Москву. Белокаменную застали в прискорбном виде. Проворный Василий Львович Пушкин, как любитель сенсаций, тотчас сделался при Державине *чичероном*. Некогда, воротясь из Парижа, усердно показывал он друзьям привезенные жилеты и фраки и давал дамам обнюхивать свою голову, умащенную модной помадой; с тою же приятностью показал он Державину разоренный Кремль и Голицынскую больницу. Из Москвы тронулись дальше — на Мценск и Орел. Здесь, в доме знакомого помещика, отпраздновали день рождения Гаврилы Романовича. Путешествие совершалось все так же медленно. На остановках являлись к Державину то почитатели таланта его, то чиновники в полной форме, воображавшие, что он едет не иначе как в качестве тайного ревизора. Наконец, добрались до Обуховки.

Державины давно известили Капнистов о том, что к ним будут, но срока нарочно не обозначили. 7 июля, после обеда, Александра Алексеевна Капнист отдыхала. Вдруг ей сказали, что какая-то бедно одетая женщина желает ее увидеть. Александра Алексеевна вышла к женщине, усадила ее и стала спрашивать, откуда она и что ей надобно. Та отвечала, что из

Москвы, что лишилась всего имущества, просит помощи — и вдруг рассмеялась. Александра Алексеевна подумала, что перед ней сумасшедшая, и, испугавшись, хотела уже уйти, как вдруг гостья откинула капюшон салопа. От радости с Александрой Алексеевной сделалось дурно: перед ней была Даша. Сестры не виделись двадцать лет. Слезы, объятия, поцелуи, весь дом сбежался, все кинулись на гору, где ждал в экипаже Державин с Парашей и доктором. Их привели в дом — и объятия возобновились. Сердца размягчились донельзя. Сюрприз удался на славу — однако тотчас обернулся и несколько затруднительной стороною: как раз в эти дни гостил у Капнистов сосед — Трощинский! Вот где Бог привел встретиться! Дмитрий Прокофьевич постарел изрядно, однако же сохранил осанку красавца и сердцееда. Молодежи забавно было и поучительно видеть, с каким ледяным уважением старые недруги встретились, как раскланивались по-старинному, как величали друг друга «ваше высокопревосходительство» и ни за что не хотели сесть один прежде другого. Но под июльским небом Украины лед понемногу стал таять, и, прожив несколько дней под одною кровлей, враги чуть ли не подружились. Воспоминаниям и рассказам конца не было.

Державины прогостили в Обуховке дней двенадцать, предаваясь всем удовольствиям дружества и природы. Державин был весел, даже и напевал, и насвистывал, и сочинял стишки, обращаясь к птичкам, которыми дом Капнистов был полон. Как он любил все крылатое! Недаром воспел не только орла, соловья, лебедя и павлина, но и ласточку, ястреба, сокола, голубя, аиста, пеночку, зяблика, снигиря, синичку, желну, чечетку, тетерева, бекаса и, наконец, даже комара... С Капнистом он вел беседы хозяйственные, политические, литературные. С двумя барышнями-красавицами, блондинкою и брюнеткою, что в ту пору гостили в Обуховке, гулял под руку и шутил.

26 июля прибыли в Киев, провели там три дня, помолились в Лавре, осмотрели достопримечательности и поехали под Белую Церковь, в имение графини Браницкой, той самой племянницы Потемкина, на руках у которой он умер дорогою в Николаев. Перед памятью дяди графиня благоговела; в его честь был воздвигнут ею род пантеона, где бюст Державина

высился среди прочих. Графа Ксаверия Петровича не случилось дома. Зато Элиза, кокетливая и быстроглазая дочка графини, в любезности не отставала от матери. Державину был оказан прием зараз торжественный и сердечный — как автору «Водопада» и старому другу. На другой день пустились в обратный путь. Москва на сей раз удивила быстрою переменою. Близилась осень, богатые жители собирались вернуться из подмосковных на старые пепелища. Везде кипела работа, стучал молоток, топор погромыхивал, неслись песни каменщиков и маляров.

26 августа, в годовщину Бородина, усталые, но довольные, Державины возвратились на Званку.

Ближайшим следствием поездки было то, что Державин определил на службу двух сыновей Капниста, Ивана и Семена. В конце года они приехали в Петербург и, разумеется, поселились в державинском доме. Им отвели во флигеле те покойчики, где ранее жили сестры Львовы. (После замужества Лизы и Веры Параша осталась одна — ее перевели в большой дом, поближе к дяде и тетке.) Один из молодых Капнистов, Семен Васильевич, пописывавший стихи, тотчас сделался любимцем Державина и отчасти секретарем — насколько ему позволяла служба.

Приток молодежи в дом не прекращался — и слава Богу: старик без нее не мог обходиться. Но окружать себя молодежью заставляла его не просто любовь к суматохе и не одна только живость характера (которая, кстати сказать, все более умерялась болезнью, упадком сил и растущей сонливостью). Была причина более важная, имевшая прямое отношение к его поэтическому самочувствию.

Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только тот поэт, который дышит воздухом своего века, слышит музыку своего времени. Пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна — его слух должен быть ею заполнен, как легкие воздухом. Таков закон поэтической биологии. В поэзии гражданской он действует не сильнее, чем во всякой иной, и лишь очевиднее проявляется.

Отойдя от дел государственных, Державин стал как бы глохнуть — и сразу это почувствовал, чем дальше, тем явственней. События перестали в нем

вызывать тот быстрый и резкий отзвук, которым была сильна его лира. Правда, сперва можно было допустить, что эпоха невдохновительна сама по себе. Державин недаром был не в ладу с нею. Но настали двенадцатый, тринадцатый, наконец — четырнадцатый год. Казалось — кому воспеть их, как не Державину? Жуковский прямо его вызывал на это. Но за тяжеловесным лиро-эпическим гимном последовали холодные, словно вынужденные стихи на сражение под Люценом. Можно себе представить, что было бы, если б не Александр, а Екатерина выиграла Кульмский бой! Но Державин на это событие даже и не откликнулся, а на торжество небывалое, неслыханное, перед которым все Очаковы и Измаилы ничто, на вступление русских войск в Париж, написал стихи не замечательнее люценских. Все величие времени он сознавал, но его музыки не улавливал. Писал по долгу патриота и поэта-историографа, потому что в его положении нельзя было не писать, — и только. Публика принимала его стихи восторженно — он сам вовсе не был в восторге.

Так было и в иных отраслях поэзии. Державин пробовал новые темы и развивал старые, искал новых приемов и прибегал к испытанным; делал это с умением, может быть, даже большим, чем прежде, но без прежнего одушевления. То был не упадок таланта, но упадок вдохновения.

Вероятно, играли тут свою роль и старость, и нездоровье, но главное — все в новом времени, и хорошее, и дурное, было Державину как-то чуждо. Все чаще среди величавых событий он испытывал неодолимую скуку. Но как, засыпая среди разговора и вдруг просыпаясь, любил он видеть вокруг молодые лица, так и в поэзии все искал молодежи, льнул к ней.

Он потрудился много, любил историю и Россию, сам стал историей и Россией — хотел теперь видеть и слышать тех, кто будет трудиться впредь. Быть может, хотелось ему кого-то усыновить, как бездетный богач усыновляет приемыша. Свой дом с любовию наполнял племянниками, а в поэзии все искал преемника, *нового Державина,* не второго, не подражателя своего, но именно нового, который в своем времени расслышит то, что Державин некогда расслышал в своем, найдет новое содержание и новую форму, при-

несет ту творческую новизну, которую Державин принес сорок лет тому назад.

Он когда-то мечтал, что Беседа будет способствовать появлению молодых дарований. Мечта оказалась несбыточной. Беседа все более походила на казенное учреждение. На место умершего Завадовского попечителем избрали Попова; тому назад двадцать лет не умел он грамотно прочитать Екатерине стихи Державина; с тех пор его знания вперед не продвинулись. Среди почетных членов Сперанского заменил Новосильцев и явился архимандрит Фотий. Сам Шишков охладел к своему детищу. В 1813 году государь назначил его президентом Российской Академии. Вернувшись из-за границы, он предлагал просто слить Академию с Беседой, чтобы уж разом заседать там и здесь. Из домика на Фурштатской переселился он в роскошную казенную квартиру напротив дворца, оставил филологические упражнения и мало интересовался литературой. Беседчики читали друг другу свои сочинения и друг друга не уважали. Хвостов Александр Семенович изводил шутками и эпиграммами Хвостова Дмитрия Ивановича — и был прав, потому что Дмитрий Иванович писал совершенную чепуху: то, завидев издали тучу, убеждался он, подошед поближе, что это всего лишь куча; то голубь зубами перегрызал у него узелки; то осел лез на рябину, цепляясь лапами; то уж становился на колени — и прочее в том же роде. Со своей стороны Дмитрий Иванович возмущался тем, что Александр Семенович председательствует в своем разряде, — и тоже был прав, ибо Александр Семенович уже лет тридцать как перестал писать вовсе. Их фигуры могли бы отчасти служить олицетворением всей Беседы: один не писал ничего, другой писал слишком много и слишком плохо. Крылов потешался равно надо всеми: на четыре разряда Беседы написал басню «Квартет», а потом и еще обидней — «Парнас»:

Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нем ослов...

Дмитрий Иванович в отместку сочинял пасквили на Крылова, называл его Обжоркиным. Державин ради приличия старался водворить мир, хотя Хвостов и его выводил из себя.

Последние года два все были поглощены войной и писали сплошь о войне. Но после взятия Парижа патриотический пыл начал ослабевать, а литературные бои разгораться. Чудак Шишков как раз в это время вздумал прекратить полемику; его непонимание литературных дел было поразительно; он, кажется, думал, что после падения Наполеона Карамзин падет уже сам собой. Теперь он молчал — зато из противного лагеря насмешки и резкости посыпались на Беседу. К Державину они никогда не относились: враги чтили в нем великого русского поэта и считали себя учениками его. Державин иногда позволял себе роскошь обижаться за своих сочленов, но втайне противники Беседы были ему любопытнее и милей, чем она сама. По привычке и потому, что всю жизнь делал все истово и не любил бросать однажды начатое, он еще занимался делами Беседы. Но она сама мало ими занималась. К началу пятнадцатого года она была почти уже в летаргии.

* * *

Большой четырехэтажный флигель царскосельского дворца, тот, что высокою аркою соединяется с хорами пятиглавой придворной церкви, был отведен учреждению, некогда составлявшему предмет особых и нежных забот императора. То был Лицей, основанный с целью «образования юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной и составленного из отличнейших воспитанников знатных фамилий». Еще с осени 1811 года тридцать мальчиков вступили в Лицей, готовясь безвыездно прожить в нем шесть лет и пройти обучение, разделенное на два трехлетия, или курса. Ныне меньшой курс был окончен, и лицеисты держали экзамены при переходе в старший.

Лицей оказался на деле довольно далек от того, каким он когда-то мерещился Александру Павловичу. Учение шло беспорядочно. Однако высокая лихорадка умов и сердец, вызванная грозными и чудесными событиями Отечественной войны, передалась царскосельским затворникам. История была их воспитательницей, и, не имея глубоких знаний, они развивались быстро. Нашлись между ними такие, что еще из дому занесли охоту к литературным упражнениям,

и поэзия вскоре сделалась настоящею страстью многих. Из рукописных лицейских журналов произведения неопытных перьев перенеслись в печатные. На важных страницах «Вестника Европы», «Российского Музеума», «Сына Отечества», «Северного Наблюдателя» являлись стихи пятнадцатилетних поэтов. (Шишков был бы весьма опечален, когда бы узнал, что сия юная поросль чуть не сплошь состоит из завзятых карамзинистов.)

Начальство лицейское сперва поощряло авторство, потом запрещало, потом стало поощрять сызнова. Поэтому-то в программе публичного испытания из российского языка пунктом 4-м значилось: «Чтение собственных сочинений». Экзамен назначен был на 8 января, а накануне разнеслась весть, что Державин будет в числе гостей. Поэты лицейские взволновались, особенно Александр Пушкин. Он не был из числа первых учеников, но считался едва ли не первым среди тамошних стихотворцев: Илличевского, Кюхельбекера, Яковлева, барона Дельвига. Ему-то и предстояло читать стихи свои на экзамене и следственно пред самим ветераном российской поэзии.

Александр Пушкин (помянутому Василию Львовичу он приходился племянником) не был столь пламенным обожателем Державина, как, например, его друг барон Дельвиг. Но пьеса, им сочиненная для экзамена, посвящалась военной славе России под скипетром Екатерины и Александра; сообразуясь с высокостию предмета, Пушкин ее написал совершенно в духе Державина, который и сам был в ней торжественно именован. Много в ней было прямых отголосков державинской лиры — начиная с заглавия «Воспоминания в Царском Селе», напоминавшего «Прогулку в Царском Селе». Теперь все это приходилось как нельзя более кстати. Однако же возникало и важное затруднение. Пьеса кончалась обращением к Жуковскому — автору «Певца во стане русских воинов»: признавая свое бессилие, Пушкин вызывал Жуковского, как самого громкого из поэтов новой поры, воспеть Александра. В присутствии Державина такое обращение могло стать неучтивостью. Как быть? Проказливый сочинитель решил слукавить: на один только раз, ради завтрашнего чтения, заменить Жуковского Державиным. Для этого лишь в одном стихе:

Как наших дней певец, Славянской Бард
дружины, —

явный намек на Жуковского надо было превратить в намек на Державина. Тогда и все прочее становилось обращением к нему же.

Дело оказалось не так просто. Всему мешала непременная рифма на -ины. Кончилось тем, что Пушкин, отчаявшись с честью выйти из затруднения, написал:

Как древних лет певец, как лебедь стран
Еллины.

Что значит Еллина, он сам не знал; ее никогда не существовало. Ежели даже счесть ее за Элладу, то почему же Державин — лебедь Эллады? Допустим, это намек на анакреонтические стихи. Но кстати ли обращаться к Державину-Анакреону, когда речь идет о военных подвигах? Но выхода не было, Пушкин решил, что сойдет и так. Вся строфа была вообще довольно туманна. Предстояло еще переписать стихи для поднесения Державину. Они были длинные, вышло восемь страниц, Пушкин над ними трудился весь вечер, писал старательно, следя больше за почерком, — и сделал много описок.

Тот вечер в доме Державина проходил как обычно. Дарья Алексеевна, должно быть, недоглядела, и Гавриил Романович за ужином опять съел лишнее. В 11 часов она проводила его наверх, уложила, ушла. Державин тотчас уснул, но спал беспокойно. В шестом часу утра, как всегда, он проснулся и кликнул Кондратия. Тот вошел со свечами и мундиром, приготовленным с вечера. Одевшись, Державин спустился в столовую в ночном колпаке и мундире. Парика он терпеть не мог и надевал его лишь в последнюю минуту. В столовой горели канделябры. Семен Васильевич встретил дяденьку и пожелал доброго утра. Они сели пить чай. Дарья Алексеевна почивала.

На конюшне чистили лошадей, заложили, подали. Лицейский экзамен не очень был любопытен Державину, но ему всегда не сиделось, когда предстояло куда-нибудь ехать; он всюду являлся первым. Кондратий принес парик и красную ленту. Державин надел их пред зеркалом в круглой гостиной, среди обоев, расшитых рукой Пленирыы. В подъезде подали ему шубу и бобровую шапку.

Было еще темно. Выехав из ворот на Фонтанку, возок свернул влево, к Московской заставе, и, хоть дорога в Царское была хорошо наезжена, после заставы Державина стало укачивать. Он жалел, что перед отъездом не разбудил Максима Фомича, доктора, и не принял рвотного. Когда, уже белым днем, миновали первые дома Царского и въехали под лицейскую арку, Державину сделалось невтерпеж.

Круглый, подслеповатый лицеист с белобрысой круглою головой, барон Дельвиг, заранее «вышел на лестницу, чтобы дождаться Державина и поцеловать ему руку, написавшую "Водопад"». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара:

— Где, братец, здесь нужник?

Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига. Он отменил свое намерение, возвратился в залу и с простодушием и веселостию рассказал Пушкину свое приключение. Зала наполнилась царскосельскою публикой, лицеистами, их родными, впрочем, немногочисленными. Съехались и почетные гости: ректор С.-Петербургской духовной академии архимандрит Филарет, министр народного просвещения гр. Разумовский, попечитель учебного округа Сергей Семенович Уваров (почетный член Беседы), генерал Саблуков, которого покойный государь прогнал с караула в ночь на 12 марта. Средь них, в первом ряду кресел, усадили Державина. Начальство лицейское разместилось у стола сбоку.

Экзамен очень утомил Державина. В красном мундире, украшенном орденами, сияя бриллиантовою короной Мальтийского креста, сидел он, подперши рукою голову и расставив ноги в мягких плисовых сапогах. «Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы». Он дремал все время, пока лицеистов спрашивали из латинского языка, из французского, из математики и физики. Последним начался экзамен русской словесности. «Тут он оживился: глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной». Наконец вызвали Пушкина.

Лицеист небольшого роста, в синем мундире с красным воротником, стоя в двух шагах от Дер-

жавина, начал свои стихи. Никто никогда не мог бы описать состояние души его. Когда дошел он до стиха, где упоминал имя Державина, голос его отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...

Бессмертны вы вовек, о Росски Исполины,
В боях воспитанны средь бранных непогод;
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
   Пройдет молва из рода в род.

   О громкий век военных споров,
   Свидетель славы Россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
   Потомки грозные Славян,
Перуном Зевсовым победу похищали.
Их смелым подвигам страшась, дивился мир;
Державин и Петров Героям песнь бряцали
   Струнами громозвучных лир.

Сердце его было так полно, что самый обман, совершенный им, как бы исчез, растворился, и, читая последнюю строфу, он уже воистину обращался к сидящему пред ним старцу:

   О Скальд России вдохновенный,
   Воспевший ратных грозный строй!
В кругу друзей твоих, с душой воспламененной
   Взгреми на арфе золотой;
Да снова стройный глас Герою в честь прольется,
И струны трепетны посыплют огнь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
   При звуках бранного певца!

И Державин вдруг встал. На глазах его были слезы, руки его поднялись над кудрявою головою мальчика, он хотел обнять его — не успел: тот уже убежал, его не было. Под каким-то неведомым влиянием все молчали. Державин требовал Пушкина. Его искали, но не нашли.

После обеда у Разумовского, где много важного вздору было говорено, усталый Державин уже ввечеру приехал домой, достал из кармана тоненькую тетрадку, писанную летучим и острым почерком, и для памяти написал на ней: «Пушкин на лицейском экзамене».

* * *

Дела сердечные, не литературные, заставили Жуковского покинуть Москву. Весной 1815 года переехал он в Петербург и очутился бельмом на глазу Беседы.

Осенью Шаховской непристойно и грубо вывел его в своей комедии. Несколько друзей из числа молодых литераторов и дилетантов — Александр Тургенев, Вигель, Дашков, Блудов (родня Державину) — сплотились вокруг Жуковского. Закипела полемика, или, лучше сказать, перебранка. Вигель, человек злой и умный, имея связи в обоих лагерях, усердно подливал масла в огонь. Уваров, которого не любили в Беседе, перекинулся на сторону врагов и сумел составить из них небольшое сообщество. Поэт Жихарев, беседный сотрудник, примкнул тоже. Так возник *Арзамас*. Жуковский был избран секретарем — председателя в Арзамасе не было. Собирались по четвергам у Блудова или Уварова.

Закончив восемь томов Истории, Карамзин повез рукопись в Петербург. Он прибыл 2 февраля 1816 года, захватив с собой шурина, кн. Вяземского, поэта и остроумца, молодого человека с длиннейшими ногами и маленькой головой. Василий Пушкин, конечно же, увязался за ними — ему страх хотелось сделаться арзамасцем. В Арзамасе к этому времени прибавились еще члены — и Арзамас расцвел. Не было у него ни разрядов, ни попечителей, ни публичных заседаний, но слухи о нем носились, самой замкнутостью он возбуждал любопытство, казался собранием избранных, посвященных в новейшие тайны литературы. Многие, кто, быть может, мечтал проникнуть в него, были бы очень разочарованы, что никаким откровениям романтизма в Арзамасе не учат и вообще не разговаривают на важные темы. Арзамас был затеян в противовес Беседе и не мог быть представителем романтизма хотя бы уж потому, что сама Беседа была недостойна представлять классицизм. Она была ничто, и всерьез спорить с ней было не о чем. Арзамас и не снисходил до спора. В нем умнее всего было то, что шутку признал он самым сильным и подходящим оружием против Беседы. В его собраниях потешались над беседчиками не во имя нового направления, а просто во имя молодости, ума, вкуса, образования — во имя всего, что в свое время было у классицизма, но чего никогда не было у Беседы. Он стал пародией на Беседу. В каждом собрании отпевали кого-нибудь из ее живых покойников — и вышло так, что отпетою оказалась она сама, со всеми ее потугами начальствовать над словес-

ностью, ничего не делая. Не насмехались только над Державиным и Крыловым.

Тотчас по приезде Карамзин сделал визит Гаврилу Романовичу. Жуковский и Вяземский поехали с ним, чтобы быть представленными. Им, однако, не повезло: Державин был нездоров, хмур и чем-то, видимо, озабочен. На Жуковского не обратил он особенного внимания, на Вяземского и подавно: его сердце уже было занято младшим Пушкиным. Кроме того, арзамасские погребения и другие шалости были ему, несомненно, ведомы, и он их не одобрял. Общество, занятое одной полемикой, не могло ему нравиться. Когда речь зашла о полемике Дашкова против Шишкова, старик, в свое время пожуривший и самого Дашкова, заметил многозначительно, что не следует раздувать огня. Расставаясь, просил он Карамзина в один из ближайших дней к обеду — кстати уж и со спутниками. Приглашение в такой форме прозвучало небрежно.

На ту беду Карамзин в назначенный день был отозван к императрице Марии Федоровне и прислал извинение. Пришлось Вяземскому с Жуковским отправляться вдвоем. Державин встретил их в таком виде, как представил его живописец Васильевский на портрете, недавно выставленном в Академии Художеств: в белом колпаке и в малиновом бархатном халате, опушенном соболями; белый шейный платок и палевая фуфайка виднелись из-под халата.

Обед прошел вяло. Других гостей не было, молодые люди робели и, храбрясь от смущения, слишком много говорили об Арзамасе. Державин, напротив, говорил мало, рассеянно и более, кажется, занят был беленькою собачкой, сидевшей у него за пазухой, чем гостями. После обеда он показал им рисунки к своим стихам и заметил, что такой оды, как «На Коварство», ему теперь уже не написать. Побыв недолго, поэты откланялись, не весьма очарованные приемом. Державин опять был не в духе.

У него были на то причины физические и нравственные. Чтобы их объяснить, надо вернуться месяца на полтора назад.

В типографии Плавильщикова печаталась пятая часть сочинений Державина: стихи, написанные в последние годы. Державин знал, что она слабее частей

предыдущих, и тем тревожился. Но особливое беспокойство в нем возбуждали тома шестой и седьмой, которые должны были выйти будущей осенью. В них заключались сочинения драматические, а также мелочи: надписи, эпитафии, послания, мадригалы. Однажды Державин признался прямо, что в этих родах поэзии не силен. Теперь, когда выход книг уже был объявлен, Державин стал мучиться. Отказаться от замысла мешали упрямство и самолюбие, но он чувствовал, что искушает славу. То и дело он перелистывал рукописи, словно пытаясь угадать их грядущую судьбу. Ему хотелось бы прочитать их чужими глазами, чтобы узнать заранее, каково будет их действие на ценителей, на потомство. Обидно было ему явиться перед нынешней критикою не в полном блеске.

Тут-то он и прослышал, что существует замечательный чтец, тот молодой человек, что бывал запросто у Шишкова, некогда посещал субботние чтения, а потом и Беседу: Сергей Тимофеевич Аксаков. Случайно об эту пору не было его в Петербурге, но он должен был прибыть вскоре. Державину показалось, что само небо ему посылает Аксакова, что в чужом, но хорошем чтении он, наконец, услышит стихи свои как бы со стороны и сумеет их оценить тоже как бы со стороны. Каждый день он наведывался, не приехал ли уж Аксаков, и ждал его с болезненным нетерпением, не предвещавшим ничего доброго. Все это были признаки старости и упадка. Державину шел семьдесят третий год.

Однажды под вечер, в середине декабря, Аксаков приехал и «совершенно обезумел» от счастия, когда объявили ему, что Державин требует его тотчас. Но он решил отложить посещение до утра, потому что с мороза был красен, как рак, и голос у него сел. Поутру посланный от Державина уж явился за ним, и через час Аксаков входил, трепеща, в державинский кабинет. При его появлении хозяин вскочил с дивана, отбросил в сторону грифельную доску, на которой что-то писал, и протянул руку:

— Добро пожаловать, я давно вас жду...

Затем он быстро заговорил о стихах Аксакова, о молодых поэтах, о Пушкине. Ему хотелось, чтобы Аксаков начал читать сей же час, но он сдержался.

Начал расспрашивать о Казани, об Оренбурге, называл Аксакова своим земляком, — все это с беспокойною торопливостью и не без желания польстить. Наконец все-таки попросил читать. Гость признался, что и сам того жаждет, только боится, «чтобы счастье читать Державину его стихи не захватило дыханья».

— Так успокойтесь, — сказал Державин, схватив его за руку и сам волнуясь еще сильнее. Он принялся выдвигать ящики своего дивана, достал две толстых тетради с сафьянными корешками: в одной были трагедии, в другой мелкие стихотворения. Но Аксаков хотел начать с оды на смерть Мещерского, и Державину пришлось согласиться. Он слушал с большим вниманием, под конец обнял декламатора со слезами на глазах и сказал тихим, растроганным голосом:

— Я услышал себя в первый раз...

И вдруг принялся расхваливать громко, преувеличенно:

— Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! Вы его, батюшка, за пояс заткнете.

Хитреца промелькнула в глазах, и он опять потянулся к тетради с трагедиями. Упоенный успехом, Аксаков согласился тут же прочесть «Ирода и Мариамну». Державин послал за Дарьей Алексеевной, Парашей и Семеном Капнистом. Чтение началось. Аксаков «был в таком лирическом настроении, что рад бы читать Державину что угодно, хоть по-арабски. В какие бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! В такие минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй, неизвестного языка — будут полны чувства и произведут сочувствие». Он читал часа полтора. Его чтение было «мало сказать неверно, несообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно». Ему казалось, что оно происходит на каком-то неведомом языке, но тем не менее и на него, и на всех присутствующих оно произвело магическое действие. Державин «решительно был похож на человека, одержимого корчами... Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело были в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятиям — не было конца», а счастию Аксакова не было меры. Державин ему написал тут же стихи, и он ушел, опьянев от восторга.

С того начались у них отношения странные, даже несколько фантастические. Сперва Аксаков являлся часто, потом стал ходить каждый день. «Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать и день и ночь». Ни трагедии, ни мелочи Аксакову не нравились; под всяческими предлогами он от них уклонялся, сворачивая на оды. Державин и оды выслушивал с удовольствием, но при первом удобном случае заставлял возвращаться именно к мелочам и трагедиям.

Аксаков был настоящий художник декламации. В «жаре и громе» его чтения (как он сам выражался) слабые трагедии и стихи приобретали те магические, непостижимые уму свойства, без которых нет великой поэзии, но которых как раз этим трагедиям и стихам недоставало.

Державин слушал — и декламаторские достоинства чтения старался относить на счет литературных достоинств читаемого (хотя, конечно, отдавал должное и таланту Аксакова). Чем его более волновало чтение, тем он более утешался и успокаивался за судьбу неудачных своих творений. Он заставил Аксакова перечитать все трагедии, даже переводные, и все надписи, эпитафии, послания, басни и прочее. Если Аксаков, случалось, читал с меньшим жаром, — очарование пропадало, Державин сердился и говорил:

— У вас всё оды в голове, вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию не всегда и не всю понимаете.

С каждый днем эти чтения становились Державину все более необходимы. Он к ним привык, как к лекарству, утишающему боль. Он словно пьянел от них — и они его сладостно изнуряли. В начале чтений, на святках пятнадцатого года, дважды были у Державина гости. По обычаю танцевали. Державин не отходил от Колтовской — его нежное обхождение было даже замечено — и держался бодро. Но к середине января его уже нельзя было узнать. Он осунулся, ослабел и находился в непрестанном возбуждении.

Однажды Аксаков явился в обычный час, но швейцар попросил его, не заходя к Гавриилу Романовичу, пройти к Дарье Алексеевне. Дарья Алексеевна приняла его ласково, но сказала, что муж ее нездоров, что он провел дурно ночь, что у него «сильное раздражение нерв» и что доктор приписывает это тому

волнению, с которым Гавриил Романович слушает чтение. Аксаков покраснел до ушей, принялся извиняться и вдруг объявил, что и сам давно болен и доктор требует, чтоб он недели две сидел дома. Вечером он зашел к Державину, чтоб с ним на время проститься. «Гавриил Романович чуть не заплакал... Он сам был очевидно нездоров. Глаза у него были мутные, и пульс бился, как в лихорадочном жару; но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался, что с некоторых пор хотят уверить его, что он хворает, а он, напротив, давно не чувствовал себя так бодрым и крепким». Наконец, они с болию разлучились.

В семейных кругах Державина и Аксакова вся эта история наделала много шуток и смеха. Говорили, что Аксаков «*зачитал* старика и сам *зачитался*». Вскоре слухи пошли по городу — с обычными украшениями. Рассказывали, что «какой-то приезжий сумасшедший декламатор и сочинитель едва не уморил старика Державина чтением своих сочинений и что наконец принуждены были чрез полицию вывести чтеца-сочинителя из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю».

Для Державина начался двухнедельный карантин, которым он тяготился. Вот на эти-то дни, когда уже, впрочем, карантин подходил к концу, и пришлись посещения Вяземского с Жуковским. Потому-то и был так суров оказанный им прием.

Аксаков не лгал, говоря, что тоже нуждается в лечении. Но свое нездоровье объяснял он петербургским климатом — это была неправда. Он тоже был изнурен чтениями, если не так, как Державин, то лишь потому, что ему было двадцать четыре года. По-своему он переволновался не меньше Державина. В каждом художнике заключен мучитель. Терзать душу зрителя иль читателя для него наслаждение. Аксаков был упоен *корчами* Державина, как Державин — его декламацией. Другого такого слушателя у него не было ни прежде, ни после. Недаром, лишь только положенный срок миновал, он тотчас явился к Державину. Сперва оба делали вид, что вовсе уж не так жаждут терзать друг друга, но сами только и ждали малейшего к тому повода. Повод представился очень скоро, и чтения возобновились, — правда, уж не столь частые и бурные: Даша теперь следила за ними. Но

по-прежнему странные друзья проводили долгие часы вместе. Аксаков читал, Державин слушал, привычно поглаживая головку собачки, торчащую у него из-за пазухи. Собачка была воспоминанием доброго дела: одна бедная женщина, которой он помогал, подарила ее Державину. Звали ее Горностайка, а уменьшительно Тайка. Державин с нею не разлучался. Иногда прерывала она декламацию звонким лаем, Державин ее унимал, нахлобучивал поплотнее колпак — и чтение возобновлялось.

Полемика между Беседой и Арзамасом была ему не по душе. Он находил в ней мало возвышенного и надеялся, что Карамзин с Шишковым придержат своих сторонников, если короче узнают друг друга. Едва оправившись от болезни, он позвал их обедать. Еще некоторые беседчики должны были присутствовать. Карамзин при всех обстоятельствах умел себя держать с любезностью и достоинством. Сидя подле хозяина (по другую руку которого сидел Шишков), он не без лукавства поглядывал на своих *смешных неприятелей*, как сам выражался, и был, пожалуй, не прочь их *шармировать*. Он их старался забавить грамматикой, синтаксисом, этимологией. Но они хмурились и дичились. Когда пили его здоровье, он сказал, что считает себя не врагом Шишкова, а его учеником, и выразил Александру Семеновичу благодарность за умение писать, которым ему обязан. Это было, конечно, преувеличение, но Карамзин действительно находил долю правды в шишковских нападках. Шишков был смущен, насупился и, наклонясь над тарелкой, несколько раз повторял сквозь зубы: «Я ничего не сделал. Я ничего не сделал». Карамзину показался он честен, даже учтив, но туп. Как бы то ни было, Державин был очень доволен, что дело как будто идет на лад. Желая еще подвинуть его вперед, заметил он, что пора Николаю Михайловичу стать членом Российской Академии. Он сказал это в простоте сердца, но вышло весьма некстати. В двенадцатом году, при отставке Сперанского, Шишков перебил у Карамзина место государственного секретаря; в тринадцатом, по смерти Нартова, карамзинисты считали, что за отказом Державина Карамзину подобало бы стать президентом Российской Академии, — но опять Шишков, а не Карамзин был назначен. Теперь Державин предлагал Карамзину стать

простым членом этой *шишковской* Академии, как звали ее в Арзамасе. Карамзин нашелся: ответил, что до конца своей жизни не назовется членом никакой академии, — но все же от державинского обеда остался у него неприятный осадок. Вяземскому он жаловался, что ничего есть не мог — горчица и та была невозможна. Впрочем, и в самом деле он постоянно заботился о своем здоровье, в еде и питии был крайне воздержан, вареный рис и печеные яблоки были его любимые кушанья, стол же Державина был тяжелый, старозаветный.

Карамзин понимал, что Державин действовал из побуждений чистейших, и не обиделся. Но месяц спустя отомстил жестоко, хоть неумышленно. Может быть, именно для того, чтобы показать, будто не почувствовал на обеде никакой неловкости, он сам вызвался прочитать в том же обществе отрывок из своей Истории. Сам же он и назначил быть чтению 10 марта, в семь часов вечера. Державин созвал гостей, кабинет его наполнился приглашенными. «Бьет семь часов — Карамзина нет; в Державине сейчас обнаружилось нетерпение... Проходит полчаса, и нетерпение его перешло в беспокойство и волнение. Несколько раз хотел он послать к Карамзину и спросить: будет он или нет, но Дарья Алексеевна его удерживала. Наконец, бьет восемь часов, и Державин в досаде садится писать записку... Он перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова. В это самое время принесли письмо от Карамзина. Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся как-нибудь приехать и потому промешкал и что просит Гаврилу Романовича назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра». Записка была исполнена глубокого сожаления и деликатности. Но Державин остолбенел от полученного *афронта*. Потом стал он шагать по комнате и ни с кем не говорил ни слова, но таково было выражение лица его, что «все гости в несколько минут нашлись вынужденными разъехаться».

* * *

Високосные годы — несчастные, незадачливые. Видно, вышел таков и шестнадцатый. От всей его весны, с недомоганиями, с беспокойными аксаковски-

ми чтениями, с обидой на Карамзина, с тревогой за пятый том, вышла одна докука. Петербург сделался в тягость, хотелось скорей на Званку. Державин сердился, ворчал и с самого понедельника Фоминой недели принялся за укладку рукописей и книг: собирался в путь. Наконец они тронулись. Ехали, не считая слуг, вшестером: двое Державиных, Параша Львова, Александра Николаевна Дьякова (тоже племянница Дарьи Алексеевны), неизменный Аврамов и доктор Максим Фомич. Тайка была седьмая.

30 мая, в 5 часов утра, увидели милый дом на горе, вылезли из кареты и по лестнице поднялись в сад. Чудное было утро. Волхов синел внизу, пели птицы. Сирень под окнами кабинета всех поразила пышностью. Долго ей любовались, потом пошли в комнаты, а вернувшись — ахнули: целая туча жуков, откуда-то налетев, уничтожила весь пышный цвет; листья поблекли и приняли красноватый оттенок; сирень стояла, как опаленная. Державин сказал:

— Видно, сглазили!

Позавтракали. Державин с Дарьей Алексеевной пошли отдохнуть, слуги еще убирали со стола, — внезапно поднялся вихрь, Волхов вздулся и почернел, началась гроза, хлынул ливень. В пять часов управляющий пришел доложить, что у Верочкина вяза молния обожгла трех женщин, а четвертую убила. Ее внесли в дом, она вся была черная.

— Как нынешний год наш приезд несчастлив! — сказала Дарья Алексеевна.

Но уже небо расчистилось, солнце глянуло, ступени крыльца обсохли; Державин, севши на них, любовался, как парусные суда идут мимо, твердил:

— Как здесь хорошо! Не налюбуюсь на твою Званку, Дарья Алексеевна! Прекрасна, прекрасна!

И припевал вполголоса свой любимый марш Безбородки.

Жизнь званская потекла привычным порядком, с утренними прогулками по саду, с отчетами управляющего, с раздачею кренделей ребятам. Порой приезжали соседи. Порой сами катались по Волхову. Флотилия державинская теперь состояла из старого бота и маленькой лодочки; ходили они всегда неразлучно; бот Державин назвал «Гавриилом», а лодочку «Тайкой».

Только для самых мелких шрифтов Державин употреблял лупу. Однако любил, чтобы ему читали вслух, особенно когда просто хотел убить время. Может быть, думал при этом совсем о другом — свою, особую думу. Каждый день час поутру и часа два после обеда Параша читала вслух дяде. Ей шел двадцать третий год, она стала взрослою барышней; была хороша собой, тиха, рассудительна; сестры повыходили замуж — она с замужеством не спешила; лишившись отца десяти лет, а матери четырнадцати, к Державиным была глубоко привязана и стала во многом походить на Дарью Алексеевну, только сердцем была помягче. Во время чтения Державин, сунув Тайку за пазуху, садился на красный диван пред «Рекой времен». Читали газеты, журналы, иногда — «Историю» Ролленя в переводе Тредьяковского; слушая это чтение, Державин посмеивался и пожимал плечами: подумать — сколько воды утекло! Когда-то знавал он Василья Кирилыча, а нынче вот — Карамзин что делает!.. После обеда для разнообразия принимались за «Бахариану» Хераскова — довольно нелепую смесь всякой всячины из русских и нерусских сказок, с привидениями, превращениями, похищениями. «Экой бред! — говорил Державин. — Однако забавно...» Впрочем, больше одной песни в день не могли осилить. Когда вовсе другого чтения не было — делать нечего, выручал «Всемирный путешественник» аббата де ла Порта, благо было в нем двадцать семь томов.

Иногда вместо чтения Державин просто раскладывал свой пасьянс — «блокаду» иль «пирамиду». Иногда, расхаживая по комнате, объяснял тексты священного писания, сличал мнения толкователей. Тогда сияли глаза его и цвет лица оживлялся; говорил он красноречиво и ясно. Также любил вспоминать время Екатерины и то, как был ей представлен после «Фелицы», как она на него взглянула:

— Я век этого взгляда не забуду; я был молод; ее появление, величие, ее окружавшее, этот царственный взгляд, все так меня поразило, что она мне показалась существом сверхъестественным. Но теперь, когда все поразмыслю, должен сознаться, что она... мастерски играла свою ролю и знала, как людям пыль в глаза бросать.

Вздумал он продолжать Объяснения к своим стихам, которые некогда диктовал Лизе. Велел читать вслух пятый том, но скоро соскучился и сказал:

— Эта часть как-то скукой пахнет и напоминает то время, в которое она писана была, или, попросту сказать, оттого что я стар стал.

Часто, прельстясь хорошей погодой, они прерывали занятия. Державин садился на ступенях крыльца. Параша приносила арфу, и они с Александрой Николаевной пели дуэтом его стихи: «Вошед в шалаш мой торопливо». Песню эту он написал в ту самую пору, когда умерла Пленира и он сватался к Даше. Далеко с высоты холма неслись звуки арфы и пения; славное званское эхо подхватывало конец куплета:

Тоскует сердце, дай мне руку;
Почувствуй пламень сей мечты.
Виновна ль я? Прерви мне муку:
Любезен, мил мне ты!

Однажды, гуляя по саду с Парашей, встретили у беседки Дарью Алексеевну. Она указала Державину, как все посаженные при них деревья хорошо принялись, так что даже и баню совсем закрыли. — Все это хорошо, прекрасно, — отвечал он, — но все это меня что-то не веселит.

Когда же Дарья Алексеевна отошла, он прибавил:

— Я стар стал и кое-как остальные деньки дотаскиваю.

* * *

Ночью на 5 июля случились у него легкие спазмы в груди, после которых сделался жар и пульс участился. День прошел как обычно. Только уже под вечер, раскладывая пасьянс, Державин вдруг изменился в лице, лег на спину и стал тереть себе грудь. От боли он громко стонал, но затем успокоился и уснул. Вечером, за бостоном, стали его уговаривать ехать в Петербург, к известному доктору Роману Ивановичу Симпсону. Но он наотрез объявил, что ни в коем случае не поедет, а пошлет только подробное описание болезни с запросом, как поступать и что делать.

Он, однако ж, не написал и письма, потому что два дня чувствовал себя отменно, гулял, работал в ка-

бинете, слушал Парашино чтение, жаловался, что понапрасну его морят голодом.

8-го числа к ужину заказал он себе уху, ждал ее с нетерпением и съел две тарелки. Немного спустя ему сделалось дурно. Побежали за Максимом Фомичом. Державин прошел в кабинет, разделся и лег на диван. Призвав Аврамова, стал он ему диктовать письмо в Петербург, к молодому Капнисту.

«Пожалуй уведомь, братец Семен Васильевич, Романа Ивановича, что сегодня, то есть в субботу, часу по утру в седьмом, я принимал обыкновенное мое рвотное, которое подействовало очень хорошо... я думал, что болезнь моя совсем прошла; но после полудни часу в 6-м мне захотелось сильно есть. Я поел ухи... мне было очень хорошо; но через четверть часа опять поднялись пары... Когда поднимаются сии пары, то вступает жар в виски, сильно жилы бьются и я некоторое время как опьяневаю; но спасибо, все это бывает весьма коротко: я получаю прежнее положение, — кажется, здоров, но употреблять не могу пищу, и довольно строгий содержу диэт. Боюсь, чтоб как не усилилась эта болезнь, хотя не очень большая, но меня, а особливо домашних много беспокоющая. А теперь почувствовал лихорадку, то есть маленький озноб, и сделались сини ногти. Расскажи ему все подробно и попроси средства, чтобы избавиться. Впрочем мы, слава Богу, находимся по-прежнему в хорошем состоянии».

Далее собственною рукой приписал он: «Кланяйся всем. Покорнейший ваш Державин». И еще велел сделать постскриптум: «Пожалуй доставь немедленно приложенную записочку Петру Ивановичу Соколову».

После диктовки начались у него сильные боли. Он стонал и по временам приговаривал:

— Ох, тяжело! ох, тошно!.. Господи, помоги мне, грешному... Не знал, что будет так тяжело; так надо! Господи, помилуй меня, прости меня!.. Так надо, так надо!

Так он долго стонал и жаловался, порой с укоризною прибавляя еще одно слово, которое относилось, должно быть, к съеденной ухе:

— Не послушался!

Однако и эта боль миновалась, он перестал стонать, приободрился.

— Вы отужинали? — спросил он. — Больно мне, что всех вас так взбудоражил; без меня давно бы спали.

Тут опять поднялся разговор о поездке в Петербург. Державин противился, но потом уступил и часов в одиннадцать приказал Аврамову сделать второй постскриптум:

«После сего часу в десятом вечера я почувствовал настоящую лихорадку, а в постелю ложившись напьюсь бузины; завтра же тетенька думает, коль скоро лучше того не будет, то ехать в Петербург».

В самом деле, напился он бузины и перешел из кабинета в спальню. Там вскоре страдания возобновились, и через несколько времени Аврамов уже продолжал письмо от своего имени:

«В постели после бузины сделался жар и бред. Наконец Дарья Алексеевна приказала вам написать, что они решились завтрашний день ехать в Петербург; если же Бог даст дяденьке облегчение, и они во вторник в Петербург не будут, то тетенька вас просит прислать нарочного сюда на Званку с подробным наставлением Романа Ивановича Симпсона. Ваш покорнейший слуга Евстафий Аврамов».

Но странному письму и на этом не суждено было кончиться. Державин лежал без памяти, Дарья Алексеевна велела сделать еще приписку:

«P.S. Тетенька еще приказала вам написать, что дяденьке не лучше, и просит вас, чтобы вы, или кто-нибудь из братцев ваших, по получении сего письма, поспешили приехать на Званку, как можно скорее».

В исходе второго часа, когда Дарья Алексеевна удалилась на время и в спальне остались только Параша с доктором (который совсем растерялся и не знал, что делать), Державин вдруг захрипел, перестал стонать, и все смолкло. Параша долго прислушивалась, не издаст ли он еще вздоха. Действительно, вскоре он приподнялся и глубоко, протяжно вздохнул. Опять наступила тишина, и Параша сказала:

— Дышит ли он еще?

— Посмотрите сами, — ответил Максим Фомич и протянул ей руку Державина. Пульса не было. Параша приблизила губы к его губам и уже не почувствовала дыхания.

* * *

В три часа утра, когда солнце уже вставало, и пробуждались птицы, и легкий туман еще покрывал поля, и Волхов, казалось, остановился в своем течении, Дарья Алексеевна и Параша вошли в пустой кабинет Державина. Там в дневном свете горела еще свеча, его рукою зажженная, лежало платье, скинутое им с вечера. Молитвенник был раскрыт на той странице, где остановилось его чтение. Параша взяла аспидную доску — на ней было начало оды:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!

Только это и было написано. Восемь всего стихов, но все в них величественно и прочно, как в славнейших одах Державина, и в то же время так просто, как он не писывал еще никогда.

Жизнь со всеми ее утехами он всегда любил и того не стыдился. Хотел «устроить ее ко благу» — личному и общественному, ради чего и работал не покладая рук. Но еще в ту пору, когда, при Читалагайской горе, рождалась его поэзия, он был пронзен мыслию о непрочности жизни: «О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь!.. Лишь только ты родился, как уже рок для того влечет тебя к разрушающей нощи... Нет на свете ничего надежного, даже и самые наивеличайшие царства суть игралище непостоянства... Терзаемся беспрестанно хотением и теряемся в ничтожестве! Сей есть предел нашей жизни». Его эпоха на каждом шагу давала поводы к размышлениям такого рода. От смерти Мещерского до падения Наполеона он не переставал твердить о минутности дел человеческих. Не было, следовательно, ничего нового в первом четверостишии его предсмертных стихов. Но было кое-что новое во втором.

Он любил историю и поэзию, потому что в них видел победу над временем. В поэзии сам был отчасти

историком. На будущего историка своей жизни взирал с доверием:

Не зря на колесо веселых, мрачных дней,
На возвышение, на пониженье счастья,
Единой правдою меня в умах людей
Чрез Клии воскресишь согласья.

В бессмертие поэтическое верил он еще тверже и многократно высказывал эту веру, подчас даже с некоторым упрямством, не без задора:

Врагов моих червь кости сгложет,
А я пиит — и не умру...
В могиле буду я, но буду говорить...

Стихи о «Реке времен» писал он 6 июля и, вероятно, тогда не думал, что только два дня отделяют его от смерти. Но он знал, что «дотаскивает последние деньки». Время для него кончалось. Он задумался о том, что будет, когда оно вообще кончится, и Ангел, поклявшийся, что *времени больше не будет,* вырвет трубу из Клииных рук и сам вострубит, и лирного голоса Мельпомены не станет слышно. История и поэзия способны побеждать время — но лишь во времени. Жерлом вечности пожрутся и они сами. Тут отказывался Державин от мечты, утешавшей его всю жизнь. Отсюда и обнаженная простота его предсмертной строфы: все прикрасы как бы совлечены с нее вместе с надеждою.

Стихи были только начаты, но их продолжение угадать нетрудно. Отказываясь от исторического бессмертия, Державин должен был обратиться к мысли о личном бессмертии — в Боге. Он начал последнюю из своих религиозных од, но ее уже не закончил.

Бог было первое слово, произнесенное им в младенчестве — еще без мысли, без разумения. О Боге была его последняя мысль, для которой он уже не успел найти слов.

10 июля приехали из Петербурга племянники: Семен Капнист с Александром Николаевичем Львовым. Они-то и взяли на себя все заботы о похоронах. Замечательно, что неизменная твердость Дарьи Алексеевны на сей раз ее покинула. Кажется, она даже не имела мужества взглянуть на покойника. Во всяком случае, она не присутствовала ни на панихидах, ни при выносе. От потрясения она слегла, ее перевели на

второй этаж. Племянницы находились при ней почти безотлучно.

Решено было хоронить Державина в Хутынском монастыре, который так ему нравился, куда он езжал к Евгению. 11-го числа вечером привезли из Новгорода все необходимое. Тело было положено в гроб, и тогда же отслужена последняя панихида.

Параша хотела проводить печальное шествие хоть до лодки, которая повезет тело в Хутынь, но Дарья Алексеевна взяла с нее обещание остаться в комнатах. Была уже полночь, когда Параша пришла с панихиды. Вдруг внизу раздалось похоронное пение. Гроб только что понесли, и это пение вполголоса походило скорее на протяжные стоны, которых, может быть, не было бы и слышно, если б не тишина, наступившая во всем доме. Параша бросилась запирать двери, чтоб Дарья Алексеевна ничего не услышала. Потом, подойдя к окну, она увидала внизу толпу людей с фонарями. Неся гроб на головах, они стали спускаться с горы. Ясно светились широкие серебряные галуны на гробе, который все удалялся и наконец донесен был до лодки. В черном Волхове отражались звезды июльского неба.

На носу поместились певчие, на корме пред налоем псаломщик читал молитвы. Малиновый гроб был поставлен на катафалке, воздвигнутом посередине лодки; черный балдахин колыхался над катафалком. По углам стояли четыре тяжелых свечи в церковных подсвечниках. Лодка шла бечевою, за ней следовала другая, с провожатыми. Ночь была так тиха, что свечи горели во все время плавания.



О ПУШКИНЕ

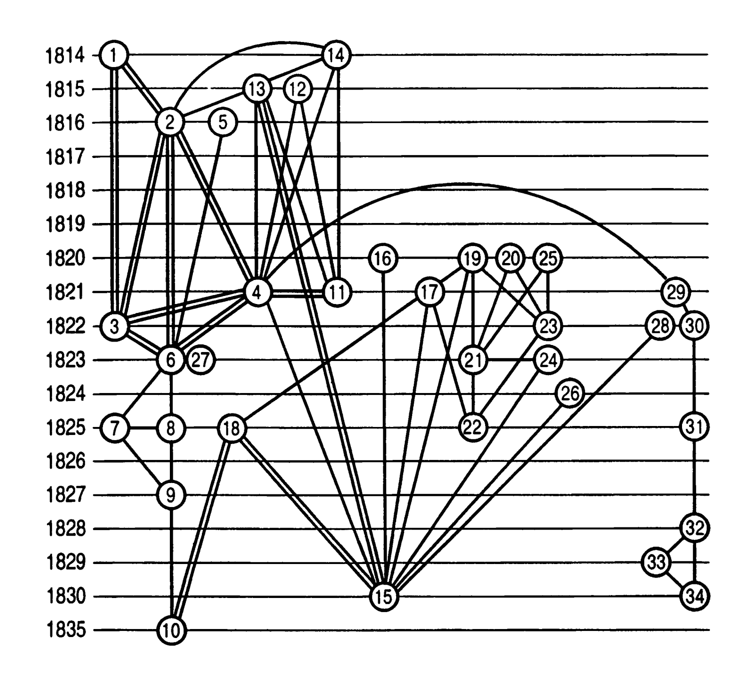
В 1924 году появилась моя книга «Поэтическое хозяйство Пушкина», изданная без моего участия и в таком неслыханно искаженном виде, что я тогда же печатно снял с себя ответственность за ее содержание. С тех пор мною написан ряд статей и заметок, по теме примыкающих к «Поэтическому хозяйству Пушкина», в котором, с другой стороны, многое вовсе перестало меня удовлетворять, а многое подверглось коренному пересмотру. Так образовалась предлагаемая книга, которой решился я дать новое заглавие.

Общеизвестно обилие самоповторений в произведениях Пушкина. Одни из них представляют собою использование материала из недовершенных произведений; другие объясняются сознательным пристрастием к определенным образам, мыслям, слово- и звукосочетаниям, интонациям, эпитетам, рифмам и т.п.; третьи могут быть названы автоцитатами, цель которых — закрепление (иногда — для читателя, иногда — для себя самого) внутренней связи между пьесами, порой отделенными друг от друга значительным промежутком времени; четвертые суть не что иное, как стилистические, языковые или просодические навыки, штампы; пятые, наконец, являются в результате бессознательного самозаимствования и могут быть названы автореминисценциями. Установить, к какой из этих категорий относится каждое данное самоповторение, не всегда возможно, но все они представляют тот или иной интерес, ибо каждая группа их вскрывает какую-нибудь черту в творческой личности Пушкина.

Многолетние наблюдения над этими самоповторениями приводят меня к убежде-

нию, что если бы можно было собрать и надлежащим образом классифицировать их все, то мы получили бы, между прочим, первостепенной важности данные для суждения о языке и стиле Пушкина, о его поэтике, о связи формы и содержания в его творчестве. Однако такая задача для меня неисполнима по техническим причинам, да вряд ли она и под силу одному человеку, ограниченному возможностями своей памяти. Поэтому я избегаю широких обобщений и выводов, ограничиваясь тем, что предлагаю вниманию читателей ряд отдельных наблюдений, цель и смысл которых могут быть определены словами самого Пушкина: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Если мне удалось несколько раз уловить ход мысли Пушкина или обнаружить мысль, им не высказанную, но сопутствовавшую его творчеству, то я вправе считать, что моя работа небесплодна.

В.Х.



На прилагаемом чертеже графически изображена связь между тридцатью четырьмя моментами пушкинского творчества. Каждому кружку чертежа соответствует цельная пьеса или часть ее. Кружки расположены на вертикальной скале, указывающей хронологию пьес. Горизонтальное положение кружков, правее или левее, не имеет значения. Существенно важны лишь высота кружков на хронологической скале и, в особенности, линии, соединяющие кружки друг с другом. Цифры внутри кружков соответствуют следующим пьесам и отрывкам:

1. «К Батюшкову» («Философ резвый и пиит...»).
2. «А.А.Шишкову» («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой...»).

3. «Адели» («Играй, Адель...»).

4. «Наперсница волшебной старины...»

5. «Сон» («Пускай поэт с кадильницей наемной...»).

6. «Евгений Онегин», гл. II, чернов. наброски («Ни дура Английской породы...»).

7. «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет...»).

8. «Евгений Онегин», гл. IV, строфа 35.

9. «Подруга дней моих суровых...»

10. «Вновь я посетил...»

11. «Муза» («В младенчестве моем она меня любила...»).

12. «К Батюшкову» («В пещерах Геликона...»).

13. «Мечтатель» («По небу крадется луна...»).

14. «Городок» («Прости мне, милый друг...»).

15. «Евгений Онегин», гл. VIII, строфы 1—7 и 46.

16. «Руслан и Людмила».

17. «Кавказский Пленник».

18. «19 октября 1825 г.» («Роняет лес багряный свой убор...»).

19. «Нереида» («Среди зеленых волн...»).

20. «Редеет облаков летучая гряда...»

21. «Бахчисарайский Фонтан».

22. «Буря» («Ты видел деву на скале...»).

23. «За нею по наклону гор...»

24. «Евгений Онегин», гл. I, строфы 33 и 57.

25. «Фонтану Бахчисарайского дворца» («Фонтан любви, фонтан живой...»).

26. «Цыганы».

27. «Евгений Онегин», гл. II, строфы 24—29.

28. «Братья-разбойники».

29. «Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»

30. Наброски вступления или посвящения «Гавриилиады».

31. «П.А.Вяземскому» («Сатирик и поэт любовный...»).

32. «В.С.Филимонову» («Вам Музы, милые старушки...»).

33. «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...»

34. «Домик в Коломне».

Первоначально три текста привлекли мое внима-

ние. Хотелось показать их взаимоотношение, точнее — возникновение текста, означенного цифрою 3, из 1 и 2. Но в процессе работы я заметил, что 2, в свою очередь, связан с 6 и 4, а 6 сам собою связался с целою цепью: 7, 8, 9, 10, а 4 — с 11 и 15, который оказался центром, в котором сходятся умственные линии от целого множества кружков: 16, 17, 18 и т.д. Помимо связи с 15, тексты оказались сепаратно связаны друг с другом, стали перекликаться, привлекать новые тексты — и в конце концов сложились в систему, которую я, для наглядности, решился представить графически. Такова история чертежа.

Вот два текста, послуживших его завязью:

Кружок 1-й:

Мирские забывай печали,
Играй: тебя младой Назон,
Эрот и Грации венчали,
А лиру строил Аполлон.

(«*К Батюшкову*»)

Кружок 2-й:

Тебе, балованный питомец Аполлона,
С их* лирой соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель.

(«*А.А.Шишкову*»)

Интонационное и смысловое родство этих текстов очевидно. В обоих — обращение к поэтам; в обоих — приглашение к беззаботности и веселию: в первом — к забвению печалей, во втором — к согласованию «игривой свирели» с лирами трех эротических поэтов. Мотивировка предложения в обоих случаях выражена одинаково: синтаксически — пропуском союза «ибо» и заменой его знаком двоеточия; логически — тем, что оба поэта с младенчества пользуются особым, прямым покровительством богов: Батюшков — со стороны Эрота, Граций и Аполлона, Шишков — со стороны «веселья резвого» и нимф Геликона. Наконец, есть фонетическое сродство рифм: «Назон — Аполлон» в первом тексте, «Аполлона — Геликона» — во втором.

---

* Т.е. лирой Тибулла, Мелецкого и Парни, упомянутых перед тем.

Посмотрим теперь на 3-й текст: начало стихотворения «Адели»:

Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.

Несмотря на то, что стихи обращены не к поэту, здесь прежде всего замечается интонационное и смысловое тождество с обоими предыдущими текстами: опять приглашение к беззаботности, выраженное в повелительном наклонении, а в мотивировке — снова пропуск союза и покровительство богов. Далее видим, что призыв к веселью сделан тем же глаголом и в той же форме, как в 1: «играй». Слова «забывай печали» (1), будучи обращены к юному существу, еще не имеющему печального опыта, в 3 соответственно изменены: «не знай печали». Слова: «Тебя.... Эрот и Грации венчали» в смысловом отношении повторены точно: «Хариты, Лель тебя венчали». Лексическая разница подсказана лишь изменением мифологической номенклатуры: латинские Грации заменены эллинскими Харитами, а эллинский Эрот — славянским Лелем. Таким образом, первые четыре стиха «Адели» почти без остатка растворяются в послании к Батюшкову. Точно так же стихи 5—6 растворяются в обращении к А.А.Шишкову:

И колыбель
Твою качали —

целиком взято из нашего 2-го текста. Начало «Адели» оказывается почти сводкой 1-го и 2-го текстов.

Если теперь обратимся к рифмовке, то увидим, что и в этом отношении «Адели» представляет собою сводку 1 с 2. «Печали — венчали» взято из 1. Созвучие «Назон — Аполлон — Аполлона — Геликона», связующее 1 с 2, в 3 отброшено, но рифма «Адель — Лель — колыбель» восходит ко 2-му тексту: там «колыбель» рифмована со «свирель», а здесь — с «Адель» и «Лель», причем вполне вероятно, что имя «Адель» именно и вызвало замену Эрота Лелем. Однако примечательно, что рифма «свирель» не вовсе выпадает из ряда, а лишь дана позже, как бы отсрочена; в конце пьесы читаем:

Люби, Адель,
Мою свирель.

Получается такая же рифменная сводка, как и смысловая.

* * *

Тексты 1, 2, 3 образуют на чертеже треугольник. Двойные линии, образующие его стороны, означают здесь, как и в других случаях, что между текстами есть не только тематическая и смысловая связь, но и словесные и фонетические совпадения. Такими же двойными линиями пришлось обозначить и смежный треугольник: 2, 3, 4.

В самом деле, сравнивая 2 и 3 с 4 («Наперсница волшебной старины...»), замечаем словесное и рифменное совпадение:

Ты, детскую *качая колыбель,*
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила *свирель,*
Которую сама заворожила.

В 2 и 3 колыбель качают мифологические покровители младенца: в 2 — нимфы, в 3 — Хариты и Лель. В 4 образ такой покровительницы дан, на первый взгляд, в чертах бытовых, ничего не имеющих общего с изображениями нимф и Харит: «Наперсница волшебной старины» является перед нами «веселою старушкой», «в шушуне, в больших очках и с резвою гремушкой». В этом образе принято видеть воспоминание Пушкина о бабушке или няне (скорее — о последней, так как очки носила Арина Родионовна). Комментируя пьесу, Брюсов заявляет: «Образ *старушки* — няня Пушкина или его бабушка». Подчеркивая слово «старушка», он, по-видимому, хочет этим сказать, что только старушка в начале пьесы — няня или бабушка, а та «прелестница», о которой повествуется дальше, — уже не бабушка и не няня. Однако это не совсем так: все стихотворение обращено к одному лицу, которое только является поэту в двух образах, сперва старушкою, потом —

Вся в локонах, обвитая венком — *и т.д.*

Это волшебное существо, обладающее способностью изменяться «мило» и «быстро», оставляет в колыбели младенца-поэта завороженную свирель. Пушкин, сказавший ранее, что колыбель Шишкова качали

нимфы Геликона, а колыбель Адели — Хариты и Лель, здесь говорит о себе самом, что его колыбель стерегло такое же мифическое существо. Коротко говоря, мы имеем здесь рассказ Пушкина о первом явлении его Музы. Смысловой параллелизм с 2 и 3 здесь вполне сохранен. Различие заключается только в том, что традиционный образ Музы, обычно изображаемой в виде прелестной девы, на сей раз расширен и усложнен: Муза Пушкина является в двух образах, соответствующих разным биографическим моментам и разным характерам его вдохновений. Ряд подобных явлений Музы и есть основная тема моего чертежа.

Поскольку Муза в первой половине стихотворения показана в образе старушки, она связывается с более ранней пьесой, в которой речь идет о той же няне; я имею в виду «Сон».

Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...

Этот незаконченный отрывок (на чертеже — кружок 5) любопытен в двух отношениях. Во-первых, из сопоставления его с 4, написанным позже, видно, как совершается превращение няни в Музу. Точнее — видно, как реальный образ, взятый из детских воспоминаний, к моменту написания «Наперсницы» претворяется в образ Музы. Во-вторых, здесь можно наблюдать обычное у Пушкина использование ранее накопленного материала. Набросав, но не кончив «Сон», Пушкин через пять лет заимствовал из него внешний облик няни для изображения Музы в «Наперснице». Приняв образ старушки, богиня сохранила от былой «мамушки» чепец и «старинное одеяние», названное в 4 прямо шушуном*. О сказках, в «Сне» точно указанных (Бова, Полкан, Добрыня), в «Наперснице» упомянуто общо

* Образ старушки, восставший из детских воспоминаний, абстрагировался постепенно. «Наперсница» — вторая фаза этого процесса. Первая относится к 1819 г., но тогда старушка ассоциировалась не с Музой, а с Москвой, где протекло детство Пушкина. Он писал Н.В.Всеволожскому:

В почтенной кичке, в шушуне,
Москва премилая старушка.

и условно: «Мой юный слух напевами пленила». О молитвах и крестном знамении, конечно, не сказано, ибо мамушка стала Музой. Однако мотив, не использованный в «Наперснице», вскоре всплывает в черновиках «Евгения Онегина» (кружок 6), где дается изображение ларинской няни:

Ни дура Английской породы,
Ни своенравная Мамзель,
В России, по уставу Моды,
Необходимые досель,
Не стали портить Ольги милой.
Фадеевна рукою хилой
Ее качала колыбель,
Она же ей стлала постель,
Она ж за Ольгою ходила,
Бову рассказывала ей,
Чесала золото кудрей,
Читать «Помилуй мя» учила,
Поутру наливала чай
И баловала невзначай.

Преемственная связь 6 с 5 в том и заключается, что в 6 взяты из 5 мотивы, неиспользованные в «Наперснице»: молитва и рассказ о Бове. В то же время слова «качала колыбель» текстуально связывают черновик «Онегина», с одной стороны — с 2 и 3, а с другой — с 4.

Подводя итог сказанному и всматриваясь в треугольники чертежа, получаем:

1) Треугольник 5, 4, 6 рисует происхождение мифического образа Музы (в 4) и бытового образа няни (в 6) из общего источника: детских воспоминаний.

2) Треугольник 2, 3, 4 устанавливает связь няни-Музы с другими мифологическими образами.

3) Треугольник 2, 3, 6 дает наглядное изображение той же связи с мифологией — для вполне реального образа няни Лариных*.

---

* Необходимо заметить, что няня Лариных, сперва названная Фадеевной, а потом переименованная в Филипьевну, есть то же лицо, что и Арина Родионовна, историческая няня Пушкина. Пушкин, так сказать, уступил ее Лариным и ввел ее в свой роман, как и других живых лиц: как Каверин дружит с Онегиным (гл. I, строфа 16), а кн. П.А.Вяземский подсаживается к Татьяне на московском балу (гл. VII, строфа 49), так Арина Родионовна под именем Филипьевны нянчит Татьяну с Ольгой. В 1824 г. Пушкин писал Д.М.Княжевичу: «вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны, вы, кажется, раз ее видели; она единственная моя *подруга*, и с нею только мне не скучно». До какой степени Филипьевна отождествлялась с ларинской няней в сознании Пушкина, мы еще увидим далее.

4) Треугольники 2, 4, 6 и 3, 4, 6 очерчивают тему: явление богов-покровителей у колыбели младенца, причем ларинская няня вновь оказывается вовлеченной в хоровод существ мифологических.

Таким образом, сопоставление треугольников подсказывает вывод: постепенно образ няни для Пушкина стал полумифическим.

Тема няни продолжена в 7, 8, 9 и 10. Та «старушка», к которой в «Зимнем вечере» (7) Пушкин обращается: «добрая *подружка* бедной юности моей»; та, о которой в 35 строфе IV главы «Евгения Онегина» (8) говорит он опять как о «подруге юности»; та, к которой, два года спустя, он пишет:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя! —

(«*К няне*», кружок 9);

та, наконец, о которой в 1835 году («Вновь я посетил...», кружок 10) он говорит: «Уже старушки нет», — это все не только няня, не просто няня; это все та же Муза, «богиня тихих песнопений», представшая ему в «Наперснице». Поэтому не случайно (просмотрим опять цепь 6, 7, 8, 9, 10) ларинская няня рассказывает «Бову» в 6; не случайно в «Зимнем вечере» (7) поэт просит ее:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила,
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла;

не случайно вспоминает он в 10:

уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора,
А вечером при завываньи бури
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет...

Только в 9 («Подруга дней моих суровых...») няня является молчаливой: это потому, что на этот раз она одна. Во всех прочих случаях она предстает с песней и сказкою на устах. Ее слова — лепет Музы. И обратно: ей же, как Музе, поэт поверяет свои вдохновения (8):

А я плоды своих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

Такова история одного из явлений Музы: в образе няни. К нему мы еще отчасти вернемся. Теперь же, заметив, что в теме няни мы встречаемся с *переходом момента автобиографического в мифотворческий,* обратимся к правой стороне чертежа, пойдем по линии 4—11, от «Наперсницы волшебной старины» к «Музе».

* * *

«Наперсница» не окончена. Мне кажется, Пушкин мог быть недоволен стихотворением по двум причинам. Во-первых, надо принять во внимание, что процесс мифологизации няни, процесс ее превращения в Музу, протекал подсознательно. Поэтому, когда Муза написалась старушкой в очках и шушуне, поэт, слишком еще помнивший поэтический канон XVIII века, вероятно, был несколько озадачен: в начале двадцатых годов такая модернизация могла показаться ему рискованной. Недаром и позже, сколько ни приближался в его стихах образ няни к образу Музы, Пушкин все же ни разу не поставил меж ними того знака равенства, который стоит в «Наперснице».

Вторая причина недовольства могла заключаться в построении пьесы. Двенадцать начальных ее стихов посвящены изображению Музы в виде старушки. Десять заключительных живописуют Музу-прелестницу. Между первой и второй частями — связующее четверостишие. Стихотворение явно не закончено в длину — это видно из его содержания. Сколько же стихов Пушкин мог приписать? Очень немного: два, четыре, вряд ли больше шести, так как иначе вторая часть перевесила бы, забила бы первую. Каково могло быть содержание этих завершительных стихов? Только одно: совершенно статически показанной «прелестнице» мог быть придан какой-либо жест, выводящий ее из неподвижности и соответствующий жесту Музы-старушки, которая, первоначально изображенная столь же статически, затем

...меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

Иное окончание пьесы вряд ли можно предположить. Но и в этом случае, даже не нарушая равновесия частей, Пушкин не спас бы стихотворения от архитек-

тонического недостатка. Получилась бы пьеса, построенная на симметрическом сопоставлении двух образов, ярко выписанных, но пластически плохо связанных. Получилось бы стихотворение, разламывающееся на две части, с вялой, только психологически намеченной связью:

Младенчество прошло, как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила —
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила.

Удачно переделать эти связующие стихи было бы невозможно. Что с ними ни делай — они должны были изображать пустое место, пробел между двумя яркими, но отдаленными друг от друга моментами. В лирической пьесе такая задача вряд ли разрешима.

Точная датировка «Наперсницы» неизвестна. Однако почти немыслимо предположить, чтоб она могла быть написана позже «Музы» (кружок 11). Если бы мы допустили, что «Муза» писана раньше, то пришлось бы допустить, что из стихотворения, которым Пушкин был доволен и которое вскоре отдал в печать, он тотчас же начал заимствовать образы и отдельные выражения для новой пьесы. Вероятнее, что «Наперсница» была брошена до написания «Музы», в которую и перенесены некоторые ее частности:

1) Свирель, «оставленная меж пелен» «веселою старушкой», превращена в «семиствольную цевницу», «врученную» Музой.

2) Посещение Музы, сделанное в «Наперснице» «тихонько», проступило в «Музе» эпитетом «тайный»: «Прилежно я внимал урокам девы тайной».

3) Как в «Наперснице» Муза «сама заворожила» свирель, так теперь «сама из рук моих свирель она брала» и «оживляла» ее «божественным дыханьем».

4) Стихи «Наперсницы»:

Младенчество прошло, как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила —

в измененном виде даны в первом же стихе «Музы»:

В младенчестве моем она меня любила.

Добавим, что внешний облик Музы близок к тому, который показан во второй половине «Наперсницы»; одна частность — локоны — даже повторена в точности.

Примечательно, однако, что образ старушки теперь отсутствует и богиня трактована в полном согласии с антологическим каноном.

Здесь же, в «Музе», последний раз встречается у Пушкина типично антологический мотив: вручение пастушески-поэтического атрибута: дудки, цевницы, лиры или свирели. По канону, мифическое существо, покровительствующее поэту, вручает ему такой атрибут в младенчестве. Идя в обратном хронологическом порядке, видим, что вручению цевницы в 11 предшествует оставление «меж пелен» завороженной свирели в 4. Этому, в свою очередь, предшествует аналогичный момент в стихотворении «Батюшкову» (12): там покровителем будущего поэта является Пан:

Веселый сын Эрмия
Ребенка полюбил:
В дни резвости златые
Мне дудку подарил.

С «Наперсницей» и «Музой», также полюбившей поэта в младенчестве, стихотворение составляет треугольник 4, 11, 12.

Еще раньше, в «Городке» (14), читаем:

Ах! счастлив, счастлив тот,
Кто лиру в дар от Феба
Во цвете дней возьмет!

В один год с 12 написан «Мечтатель» (13), примечательный для нас тем, что здесь явление Музы, не первое по времени, впервые рассказано:

Нашел в глуши я мирный кров
 И дни веду смиренно;
Дана мне лира от богов,
 Поэту дар бесценный;
И Муза верная со мной:
 Хвала тебе, богиня!
Тобою красен домик мой
 И дикая пустыня.

На слабом утре дней златых
 Певца ты осенила,
Венком из миртов молодых
 Чело его покрыла,
И, горним светом озарясь,
 Влетала в скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
 Над детской колыбелью.

О, будь мне спутницей младой
До самых врат могилы!
Летай с мечтаньем надо мной,
Расправя легки крылы...

Как видим, здесь дан традиционный образ богини, что сближает стихотворение с «Музой» 1821 года (11). Получение лиры от богов, как и упоминание об «утре дней златых» (почти в тех же словах, как в 12), сближает пьесу с 12, 4, 11 и 14. Появление Музы у колыбели связывает 13 с 2, но еще более — с 4: в «Мечтателе», как впоследствии в 4, Муза является у колыбели самого автора (в 2 — у колыбели другого поэта), слову же «колыбель» в 13, как и в 4, придан общий (почти тавтологический) эпитет «детская».

Так возникают треугольники:

2, 13, 14: муза у колыбели.

13, 4, 11 и 12, 4, 11, а также 14, 4, 11, имеющие общее основание 4—11, то есть разнящиеся лишь вершинами (13, 12 и 14): получением дудки от Пана (12), лиры от Феба (14) и лиры от богов вообще (13). Общая тема треугольников — получение поэтического атрибута (в 4 — свирель, в 11 — цевница) от Музы.

Линии, расходящиеся от 13 к 4 и 11, дают еще один пример позднейшего расщепления материала: традиционный образ Музы переносится из 13 в 11, а колыбель — в 4.

* * *

Впервые говоря в «Мечтателе» о *своей* Музе, поэт к ней обращается:

О, будь мне спутницей младой
До самых врат могилы!

Муза и осталась его спутницей, и не только в том смысле, что он не расставался с поэзией «до самых врат могилы», но и в другом, более тесном: самая тема явления Музы сопутствовала ему почти до конца жизни. Но — образ Музы менялся.

Изменение этого образа прослежено самим Пушкиным и закреплено в VIII главе «Евгения Онегина» (кружок 15). Последуем за рассказом Пушкина и посмотрим, как сюда, к 15, тянутся нити от других моментов пушкинского творчества.

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: Муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

Это не только рассказ о начале поэтического пути, но и свидетельство о том, что сам Пушкин рассматривал этот путь именно как ряд последовательных явлений Музы. Тем самым 15 непосредственно связано с 4 и 11.

В приведенных строках намечен лишь первый образ Музы: богиня «озаряет» «студенческую келью». Примечательно, что здесь, через пятнадцать лет, использован тот самый словесный материал, который находим именно в первом описании явления Музы — в «Мечтателе». Там:

...горним светом озарясь,
Влетала в скромну келью...

Здесь, в «Евгении Онегине»:

Моя студенческая келья
Вдруг озарилась...

Таким образом, 13 связывается с 15 двумя линиями: тематической и текстуальной.

В заключительных стихах этой строфы, а также в строфах 2 и 3, Пушкин представил Музу такою, какой она являлась ему в Лицее и в краткий период между Лицеем и ссылкой. Это — Муза, окрыленная «первым успехом», приведенная «на шум пиров и буйных споров», та «вакханочка», за которою «буйно волочилась» «молодежь минувших дней». Однако в этих строфах нет намеков на какие-нибудь определенные пьесы лицейского и послелицейского периодов. Точнее — здесь подразумевается все, что было написано в те годы, здесь перечисляются основные мотивы ранней пушкинской поэзии: «детские веселья» (напри-

мер — в посланиях к Галичу и в «Пирующих студентах»), «сердца трепетные сны» (например — любовные стихи 1816 года), «пение за чашей» (стихи, обращенные, например, к Юрьеву или Кривцову). В упоминании о «шуме пиров и буйных споров» заключен намек на собрания «Зеленой Лампы» и тем самым — на политические стихи вроде «Вольности». В соответствии с отсутствием конкретных обозначений я мог поместить на своем чертеже лишь один кружок — 16, — означающий «Руслана и Людмилу»: намек на эту поэму заключен в словах: «Воспела... славу нашей старины»*.

Четвертая и пятая строфы содержат вполне отчетливые намеки, и наш чертеж расширяется. Излагая историю явлений Музы, Пушкин продолжает:

Но рок мне бросил взоры гнева
И в даль занес... она за мной.
Как часто ласковая дева
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!..

Здесь Пушкин вспоминает явление Музы — вдохновительницы «Кавказского Пленника» (кружок 17), той, о которой в эпилоге этой поэмы он говорил:

Так Муза, легкий друг мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,

---

* По-видимому, говоря о своей ранней лирике, Пушкин сперва намеревался в начальных строфах VIII главы представить ранние явления Музы как импульс к созданию первой книги «Стихотворений Александра Пушкина». Намек на эту книгу имеется в 3 строфе первоначальной редакции:

Везде со мной, неутомима,
Мне муза пела, пела вновь
(Amorem canat aetas prima)[1]
Все про любовь да про любовь.

Здесь третий стих — изменение того проперциева стиха, который послужил эпиграфом к первой книге стихов, изданной в 1826 г.: «Aetas prima canat amorem, extrema tumultus»[2].

[1] Пусть юность поет о любви (*лат.*).
[2] Пусть юность поет о любви, а старость — о бурях (*лат.*).

И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Она бродила по скалам — *и т.д.*

Заметим, что в стихах:

Как часто ласковая дева
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного *рассказа!*
Как часто по скалам *Кавказа...* —

есть рифменная и лексическая связь с обращением к Кюхельбекеру в «19 октября 1825 г.»:

Приди: огнем *волшебного рассказа*
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях *Кавказа...*

Таким образом, кружок 18 («19 октября 1825 г.») соединяется с 17 и 15 темою Кавказ — Кюхельбекер.

Далее в «Евгении Онегине» читаем:

Как часто по брегам *Тавриды*
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот *Нереиды,*
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн Отцу миров.

Тут Муза вспоминается Пушкину как вдохновительница его крымских произведений — прежде всего «Нереиды» (кружок 19), связь с которой закреплена и в повторении рифмы*.

В намеке на «Нереиду» зашифровано очень много воспоминаний, поэтических и сердечных. Думая о Музе, сопутствовавшей ему при созерцании Нереиды, Пушкин не мог не вспомнить весь цикл таврических вдохновений и впечатлений. Намек на «Нереиду» содержит в себе также намек на «Редеет облаков...» (20), «Бахчисарайский Фонтан» (21), «Бурю» (22), на набросок «За нею по наклону гор...» (23), сделанный в 1822 году и затем переработанный в 33 строфу I главы того же «Евгения Онегина» (24).

В свою очередь, кружок 24 отмечает связь 20, 21 и 22 не только с 33-й, но и с 57—59 строфами I главы «Онегина». Эта связь вскрывает необыкновенно изящ-

---

* Начало «Нереиды»:

Среди зеленых волн, ласкающих *Тавриду,*
На утренней заре я видел *Нереиду...*

ный момент в творческой психологии Пушкина. Перечтем 57 строфу внимательно:

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало — милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их после Муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?»

Первые пять стихов говорят о том, что поэту некогда было ведомо любовное чувство, что чувство это прошло и только «тайный образ» «милых предметов» сохранился в душе. Шестой стих устанавливает связь «милых предметов» с творчеством: тайно сохраняемые в душе, они там находятся в состоянии как бы анабиоза, между жизнью и смертью. Творчество их оживляет. В каком виде? Ответ дан в трех следующих стихах. Поэт вспоминает, как он, уже свободный от «безумной тревоги» любви (строфа 58), уже «беспечный», воспевал

И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира, —

то есть вспоминает эпоху создания «Кавказского Пленника» и «Бахчисарайского Фонтана». Но поскольку в предыдущих стихах дан недвусмысленный намек на происхождение «девы гор» и «салгирских пленниц», поскольку эти образы суть оживленные образы «милых предметов», — мы можем утверждать, что и черкешенка, и жены Гирея суть поэтически преображенные («оживленные») образы, почерпнутые в семье Раевских.

Строфа 59 начинается формулой:

Прошла любовь, явилась Муза.

Это явление Музы описано в 4 строфе VIII главы, и следовательно, из всего предыдущего надлежит сделать вывод, что оно содержит намек на воспоминания о Раевских.

Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали, говоря о «Нереиде». Однако признание Пуш-

кина о том, что образ «девы гор» стоит в связи с любовными переживаниями, которыми вызваны также образы «Бахчисарайского Фонтана», позволяет включить кружок 17 в фигуру: 17—19—20—25—23—24—15, которую можно бы назвать фигурой Раевских. (Заметим кстати, что сюда же отчасти относятся 13, 14 и 16 строфы «Путешествия Онегина», в которых вместе с темой Раевских опять звучит тема Музы.)

* * *

Следующая, 5 строфа VIII главы «Онегина» показывает нам сперва Музу — вдохновительницу «Цыган» (кружок 26):

И позабыв столицы дальной
И блеск, и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной...

До сих пор Муза является вдохновительницей поэта и лишь отчасти меняет свой облик в связи с «колоритом местности». В дальнейших строках этой строфы она принимает образ героини романа. Перед нами Муза, сливающаяся с Татьяной:

Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

Здесь мы уже имеем воспоминание о явлении Музы Пушкину — автору II главы «Евгения Онегина», той главы, где впервые показана Татьяна (строфы 24—29, кружок 27). Наконец, в начальных стихах следующей, 6 строфы VIII главы показано последнее, как бы в данную минуту происходящее явление Музы. Если до сих пор явления были тайными, зримыми одному поэту, то теперь все происходит на глазах у читателя:

И ныне Музу я впервые
На светский раут привожу;
На прелести ея степные
С ревнивой робостью гляжу.

Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит;
Вот села молча и глядит — *и т.д.*[*]

Это явление Музы — хронологически предпоследнее в поэзии Пушкина. От последнего оно отделено, по-видимому, лишь несколькими неделями. Но тут мы должны вернуться к 1821 году, к тому моменту, когда Муза впервые предстала поэту в образе старушки.

* * *

Выше, говоря о возможных причинах недовольства Пушкина «Наперсницей», я указывал, что Муза, представленная в виде старушки, могла показаться ему слишком не соответствующей канону. Эта неканоничность в «Наперснице» слагается из двух элементов: во-первых, богиня, канонизированная в образе юной девы, показана здесь старушкой; во-вторых, старушке приданы русские черты XIX столетия, — иными словами, Муза модернизована. Первый из этих элементов был отброшен Пушкиным: старушка Муза больше ему не являлась[**]. Что же касается модернизации Музы, то она, в соответствии с романтическими приемами пушкинской поэзии, сохранилась: именно в VIII главе «Евгения Онегина» Муза, оставаясь юною, принимает ряд образов, противоречащих классическому канону, и, наконец, даже появляется на петербургском рауте. Однако она неизмен-

---

[*] Описание раута, продолженное в следующей, 7 строфе, имеет глубокую ритмическую и, может быть, затаенную смысловую связь с начальными стихами «Братьев-разбойников» (кружок 28).

[**] Кружком 32 отмечено послание к В.Филимонову (1828), начинающееся словами:

Вам Музы, милые старушки...

Также и в XV строфе «Домика в Коломне» говорится о «хороводце старушек муз». Этих старушек нельзя, однако, сближать со старушкой из «Наперсницы»: они не являются Пушкину, как *его* Муза, вдохновительница *его* поэзии; к тому же в этих обоих случаях речь идет не о старости Муз, а, в сущности, лишь об устарелости их культа. Меж тем старушка в «Наперснице» и старушка-няня — существа извечно древние, невнятно лепечущие свои древние сказки, быть может — близкие Паркам. Быть может, в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» «Парки бабье лепетанье» имеет глубокое сродство с темой Музы, и самые стихи эти, быть может, суть запись Паркина лепета, как другие — запись песен Музы.

но остается «прелестницей» и, как ни модернизуется, все же сохраняет черты «высокого стиля»: она сравнивается с Ленорой, в очах у нее печальная дума и т.д. Модернизация не переходит ни в прозаизацию, ни в пародию.

Однако несколько попыток такого пародирования или прозаизации были Пушкиным сделаны. Из них большинство приходится на шуточные, не предназначенные для печати послания. Самая ранняя относится к 23 марта 1821 года. От «Музы» (11) ее отделяет месяц с небольшим. В этот день Пушкин писал Дельвигу:

Теперь я, право, чуть дышу,
От воздержанья Муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу.
(Кружок 29)

Вскоре после того, набрасывая вступление к «Гавриилиаде», Пушкин в одном наброске зовет Музу «игривой», в другом говорит:

Вот Муза, добрая душой,
Не испугайся, милый мой,
Ее Израильскому платью — *и т.д.*

В третьем наброске:

Вот Муза, резвая болтунья,
Которую ты так любил.
Она раскаялась, шалунья — *и т.д.*

Эти наброски означены кружком 30.

В 1825 году, в шуточном послании к Вяземскому (кружок 31), Пушкин считается с приятелем родством Муз:

Но, милый, Музы наши — сестры,
Итак, ты все же братец мой.

Только в 1829 году он единственный раз прозаизирует Музу в серьезных, не шуточных стихах:

Беру перо, сижу; насильно вырываю
У Музы дремлющей несвязные слова...
(«*Зима. Что делать нам...*», кружок 32)

Наконец, последнее явление пародированной Музы было и последним явлением Музы вообще. Через несколько дней после окончания VIII главы «Евгения Онегина», в XXIII октаве «Домика в Коломне» (кружок 33) Пушкин обращается к своей «младой спутнице»:

Усядься, Муза; ручки в рукава,
Под лавку ножки. Не вертись, резвушка...

Пушкин делался сух и горек. Его влекли картины суровой, порой убогой действительности. Романтическая Муза VIII главы была последним даром прошлому. Потом ему стало уже вовсе не до богинь. Он навсегда изгнал мифологию из своего творчества.

* * *

Няню Арину Родионовну Пушкин, как сказано выше, уступил семье Лариных. Надо заметить, что до отъезда Татьяны в Москву, чем и заканчивается VII глава «Евгения Онегина», ларинская няня, очевидно, была жива. Случись ее смерть ранее, это событие, важное в жизни Татьяны, было бы отмечено в VII главе. В последнем своем разговоре с Онегиным Татьяна ему говорит о смиренном кладбище,

Где ныне крест и сень ветвей
Над бедной нянею моей.

Следовательно, мысль о смерти ларинской няни пришла Пушкину после окончания VII главы, то есть после 4 ноября 1828 года. Этим подтверждается ее идентичность с Ариной Родионовной, скончавшейся в конце 1828 года. Таким образом, в той самой главе, где Пушкин подводит итог явлениям своей Музы, он иносказательно, зашифрованно, «для себя» прощается и с той, которая была ее первым реальным воплощением.

На нашем чертеже 10-м кружком отмечено стихотворение «Вновь я посетил...», в котором Пушкин в последний раз вспоминает няню и ее рассказы. Этим кружком заканчивается фигура 5—4—6—7—8—9—10: тема Арины Родионовны. Воспоминанием об «опальном домике», где жил Пушкин с няней, это стихотворение связывается текстуально с 18: с «19 октября 1825 г.».

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Он был до мелочей бережлив и памятлив в своем поэтическом хозяйстве. Один стих, эпитет, рифму порою берег подолгу и умел, наконец, использовать.

Примеров такой экономии можно бы привести очень много. В большинстве случаев они ни о чем, кроме именно бережливости, не говорят. Нет ничего исключительного в том, что, выбросив из «Кто знает край...» стих:

Где Данте мрачный и суровый, —

он через три года в «Сонете» воспользовался тем же эпитетом:

Суровый Дант не презирал сонета.

Точно так же довольно естественно, что, набросав в 1820 году два с половиной стиха:

Жуковский,
Как ты шалишь, и как ты мил,
Тебя хвалить — тебя порочить! —

он воспользовался вторым из них шесть лет спустя в послании к Языкову:

Языков! кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь, и как ты мил...

Тут оба раза старый материал использован для новых пьес того же стиля и тона, как те, для которых он был первоначально найден. Гораздо интереснее случаи, когда из пьесы цинично-шуточной Пушкин заимствует материал для созданий очень высокого стиля.

В 1823 году, в послании к Вигелю, он бранит Кишинев:

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить — язык устанет!
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет —
И не найду твоих следов.
Падут, погибнут, пламенея,
И лавки грязные жидов,
И пестрый дом Варфоломея — *и т.д.*

Комизм этой брани заключается в ее высоком стиле, которого Кишинев не стоит. Дело все в том, однако, что здесь как бы заранее пародировано отнюдь не пародическое произведение самого Пушкина. Через год, в третьем «Подражании Корану», изображая конец мира, трагическую гибель человечества, поэт пользуется ритмическим, инструментальным (ал-

литерации на «гр», «пр» и «п») и лексическим материалом из послания к Вигелю:

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.
И все пред Бога притекут,
Обезображенные страхом:
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

Еще разительнее другое заимствование. В набросках цинической сатиры на кишиневских дам читаем:

Вот Еврейка с Тодорашкой,
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой — *и проч.*

Через семь лет, в одном из самых патетических мест «Полтавы», которую он писал с таким душевным напряжением, он повторил:

И весть на крыльях полетела.
Украйна смутно зашумела.
«Он перешел, он изменил,
К ногам он Карла положил
Бунчук покорный». *Пламя пышет,*
Встает кровавая заря
Войны народной...

«ГАВРИИЛИАДА»

«Гавриилиада» — один из больших бассейнов, куда стекаются автореминисценции и самозаимствования из более ранних произведений. В свою очередь, она питает позднейшие. Я приведу лишь наиболее выразительные случаи, оставляя в стороне параллели фонетические, как рифмы и аллитерации, и чисто стилистические, как архаизмы и т.п.

1. «Романс», 1814:

Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.

«Друзьям», 1816:

И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.

«Гавриилиада», 1821:

И знатоков внимательные взоры...*

2. «Послание к Юдину», 1815:

...Но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают,
Как тень на утренней заре.

«Гавриилиада»:

На полотне так исчезают тени,
Рожденные в волшебном фонаре.
Красавица проснулась на заре...

3. «Усы», 1816:

...Одной рукой
В восторгах неги сладострастной
Летаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

«Гавриилиада»:

Одной рукой цветочек ей подносит,
Другою мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо...
. . . .
Ее груди дерзнул коснуться он.

4. «Любовь одна...», 1816:

И к радостям и к неге неизвестной
Стыдливую преклонит красоту.

«Гавриилиада»:

И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту.

5. «Руслан и Людмила», II, 1817—1818:

«Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов».
Подумала — и стала кушать.

«Гавриилиада»:

...Подумала Мария:
Не хорошо в саду, наедине,
Украдкою внимать наветам змия...
. . . .
Подумала — и ухо преклонила.

6. «Руслан и Людмила», IV, 1818:

Но, между тем, никем не зрима,
От нападений колдуна
Волшебной шапкою хранима...

---

* Впоследствии, в 1829 г. («Зима. Что делать нам в деревне?..»):
Сначала косвенно-внимательные взоры...

«Гавриилиада»:

...Вдали забав и юных волокит,
Которых бес для гибели хранит,
Красавица, никем еще не зрима...

7. «Руслан и Людмила», V, 1818—1819:

Она мне возвратила вновь
Мою утраченную младость.

«Погасло дневное светило...», 1820:

Моя потерянная младость.

«Гавриилиада»:

Но молодость утрачена твоя*.

8. «Руслан и Людмила», эпилог, 1820:

Чем кончу длинный мой рассказ?

«Гавриилиада»:

Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?

Посмотрим теперь обратные заимствования — из «Гавриилиады» в более поздние произведения.

1. «Гавриилиада»:

...Любви, своей науки,
Прекрасное начало видел я...

---

* Впоследствии этот мотив повторяется много раз:

Мой проклиная век, утраченный в пирах...
(*«Андрей Шенье», 1825*)

Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья.
(*«19 октября 1825 г.»*)

Мои утраченные годы.
(*«Воспоминание», 1828*)

Но тяжело, прожив полвека,
В минувшем видеть только след
Утраченных безумных лет.
(*«Евгений Онегин», VIII, 1830*)

Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризну или ропот
Мной утраченного дня?
(*«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», 1830*)

Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаньях...
(*«Вновь я посетил...», 1835*)

Почти одновременно с «Гавриилиадой», в черновике послания к Алексееву, было: «В моей утраченной весне...»

Впервые этот мотив прозвучал еще в 1816 г., в послании к кн. А.М.Горчакову. Примечательно, что там говорится еще в настоящем времени: «Я слезы лью, я трачу век напрасно». Впоследствии неизменно звучит прошедшее: «утраченный», «потерянный».

«Первое послание цензору», 1822:

Дней Александровых прекрасное начало*.

2. «Гавриилиада»:

И дерзостью невинность изумлять.

«Евгений Онегин», гл. I, строфа 11, 1823:

Шутя невинность изумлять.

3. «Гавриилиада»:

Поговорим о странностях любви
(Не смыслю я другого разговора),
В те дни, когда от огненного взора
Мы чувствуем волнение в крови,
Когда тоска обманчивых желаний
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит
Предмет один и думы, и страданий —
Не правда ли? в толпе младых друзей
Наперсника мы ищем и находим,
С ним тайный глас мучительных страстей
Наречием восторгов переводим.
Когда же мы поймали на лету
Крылатый миг небесных упоений
И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту,
Когда любви забыли мы страданье
И нечего нам более желать, —
Чтоб оживить о ней воспоминанье,
С наперсником мы любим поболтать.

С этих пор тема наперсничества становится у Пушкина частой. Разберемся в том, как она трактуется.

По мысли, высказанной в приведенном отрывке, одна из «странностей любви» заключается в том, что мы всегда ищем наперсника: сперва — чтобы поверять любовь, потом — «чтоб оживить о ней воспоминанье».

В том же году, когда написана «Гавриилиада», Пушкин написал послание к Н.С.Алексееву. В послании говорится:

Оставя счастья призрак ложный,
Без упоительных страстей,
Я стал наперсник осторожный
Моих неопытных друзей.
Вдали штыков и барабанов,
Так точно старый инвалид
Встречает молодых уланов
И им о битвах говорит.

---

* Через двенадцать лет, 2 апреля 1834 г., он записал в дневнике: «Сперанский у себя очень любезен. — Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра».

Здесь одновременно даны оба вида наперсничества: друзья рассказывают Пушкину о своих нынешних любвях, он с ними вспоминает свои минувшие. Тут — наперсничество взаимное. Текстуальных совпадений с «Гавриилиадой» здесь, однако же, нет. Через два года, в 18 и 19 строфах II главы «Евгения Онегина», Пушкин повторяет общий тезис «Гавриилиады» и заимствует ситуацию из послания к Алексееву. Слушая рассказы Ленского, Онегин становится на то место, которое сам Пушкин занимал по отношению к «неопытным друзьям». Разница лишь в том, что Пушкин в качестве «старого инвалида» сам «говорил о битвах», Онегин же только слушает Ленского — впрочем, охотно и прилежно. Самое же сравнение с инвалидом повторено буквально:

Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит;
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.

Как видим, из «Гавриилиады» здесь повторена только тема. Текстуальные совпадения восходят не к поэме, а к посланию Алексееву, которому «Гавриилиада», вероятно, была посвящена*. Однако, спустя еще год, «Гавриилиада» откликается в «Евгении Онегине» уже более явственно — и опять в связи с темой наперсничества. Влюбленной Татьяне некому поверить свою тайну. Ее наперсницей становится книга. И как в «Гавриилиаде» было сказано:

Наперсника мы ищем и находим, —

---

* 23 марта того же 1821 г., когда написаны «Гавриилиада» и послание к Алексееву, Пушкин обратился с посланием к Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат...»). В то время он изображал себя инвалидом не только в любви, но и в поэзии. Поэтому в конце послания говорится:

Но все люблю, мои поэты,
Фантазии волшебный мир,
И, чуждым пламенем согретый,
Внимаю звуки ваших лир...
Так точно, позабыв сегодня
Проказы, игры прежних дней,
Глядит с лежанки ваша сводня
На шашни молодых б...

И по ходу мысли, и по построению образа, и по способу уподобления эти стихи следует сопоставить со стихами: «Так точно старый инвалид...» и т.д.

так в 10 строфе III главы «Онегина» читаем:

Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит.
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты...

Здесь будет нелишним припомнить, что два стиха из вышеупомянутой 18 строфы II главы «Евгения Онегина»:

Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный —

позднее в свою очередь откликнулись в стихотворении «Наперсник» (1828):

Страстей безумных и мятежных
Так упоителен язык.

4. «Гавриилиада»:

Поговорим о странностях любви.

«19 октября 1825 г.»:

Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

5. «Гавриилиада»:

На вражью грудь оперщись бородой...

«Пред рыцарем блестит водами...», 1826:

На грудь оперщись бородой...

6. «Гавриилиада»:

Я узнаю того, кто нашу Еву
Привлечь успел к таинственному древу...

«Евгений Онегин», гл. VIII, строфа 27, 1830:

О люди! все похожи вы
На прародительницу Еву:
Что вам дано, то не влечет;
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу...

Примечательно, что в черновике было: «к погибельному древу», но затем Пушкин вернулся к старому эпитету из поэмы, от которой усиленно отрекался.

7. «Гавриилиада»:

...двух девственных холмов
Под полотном упругое движенье.

«Домик в Коломне», 1830:

...сердце девы томной
Ей слышать было можно, как оно
В упругое толкалось полотно.

8. «Гавриилиада»:

Умеете вы хитростью счастливой
Обманывать вниманье жениха
И знатоков внимательные взоры.

Черновой набросок, 1830:

И девицы без блонд и жемчугов
Прельщали взоры знатоков.

ПОРА!

У него было исключительное пристрастие к восклицанию «Пора!». Начиная с «Мечтателя» (1815) и кончая наброском «Пора, мой друг, пора!..» (1836?), я насчитал около пятидесяти случаев только в стихах, не считая художественной прозы, статей и писем, в которых оно тоже не редко. Я приведу лишь несколько примеров, характеризующих способы его применения.

1. Пора в жилище теней! (*«Жених»*)
2. Пора покинуть скучный брег... (*«Евгений Онегин»*)
3. Пора, давно пора домой. (*Там же*)
4. Пора и мне... Пируйте, о друзья! (*«19 октября 1825 г.»*)
5. В душе подумала: пора! (*«Руслан и Людмила»*)
6. Пора, поди. (*«Каменный Гость»*)
7. Пора, пора! Рога трубят. (*«Граф Нулин»*)
8. Пора, пора! — взываю к ней. (*«Евгений Онегин»*)
9. Вокруг Мазепы раздавался
   Мятежный крик: «пора, пора!» (*«Полтава»*)
10. Нет, пора, пора, пора... (*«Русалка»*)

Лексические и интонационные пристрастия не случайны. Они порой говорят о поэте больше, чем он сам хотел бы сказать о себе. Они обнаруживают подсознательные душевные процессы, как пульс обнаруживает скрытые процессы физического тела. Считать их — не пустое занятие.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Ни у одного поэта не встречаются так часто перечисления, как у Пушкина. Перечислением я называю ряд однородных частей предложения, соподчинен-

ных одному слову, как, например, — ряд подлежащих при одном сказуемом, ряд сказуемых при одном подлежащем, ряд прямых дополнений, зависящих от одного сказуемого, и т.п. При этом я условно считаю перечислениями лишь те случаи, когда мы имеем дело не менее чем с четырьмя однородными частями предложения.

Перечисления возникают из приема единоначатия; единоначатия у Пушкина растягиваются исключительно длинною цепью. Привожу для начала несколько примеров.

1. Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони — *и т.д.*

(*«Онегин», I, 22*)

2. Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы на нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?

(*«Онегин», IV, 22*)

3. У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг мосьё Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьет за двух.

(*«Онегин», VII, 45*)

4. Немногим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды

С тех пор, как жив, не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит никого,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

(*«Полтава»*)

5. О чем же думал он? О том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Все прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дня на два, на три разлучен.

(*«Медный Всадник»*)

6. У всякого своя охота,
Своя любимая забота:
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопушкой мух нахальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется войной,
Кто в чувствах нежится печальных,
Кто занимается вином.

(*«Онегин», IV, 36*)

От этих примеров, в которых единоначатия и ряды однородно построенных предложений, в сущности, переходят в перечисления, а иногда, как в примере 1 (топать, сморкаться и т.д.), сочетаются с ними, — перехожу к чистым перечислениям, которые разбиваю на грамматические группы.

А. Ряд сказуемых при одном подлежащем:

1. Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь...
Все это мужа не спросясь.

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью,
И говорила нараспев;
Корсет носила очень узкий
И русский *Н* как *N* французский
Произносить умела в нос...

(*«Онегин», II, 32—33*)

2. Идет волшебница Зима.
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою...

(*«Онегин», VII, 29—30*)

3. И русский в шумной глубине
Уже плывет и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них...

(*«Кавказский Пленник»*)

Б. Ряд подлежащих при одном сказуемом:

1. Но ни Виргилий, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских мод журнал
Так никого не занимал.

(*«Онегин», V, 22*)

2. Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике.

(*«Онегин», VI, 2*)

3. Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах*.

(*«Онегин», VII, 38*)

4. На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка...

(*«Кавказский Пленник»*)

---

* В первоначальных набросках, сверх перечисленных здесь предметов, были названы еще дети, солдаты, девки, попы, сбитенщики, немцы, карлы, заборы, колонны, решетки, ружья и дрожки.

5. На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь...

(*«Сцена из Фауста»*)

6. Мелькали мысли, примечанья,
Портреты, буквы, имена,
И думы тайной письмена,
Отрывки, письма черновые...

(*«Альбом Онегина»*)

7. — пародийно:
...И да блюдут твой мирный сон
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,
Гебея, Псиша, Крон, Астрея,
Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон.

(*«Ода Его Сиятельству графу Д.И.Хвостову»*)

В. Ряд дополнений к одному сказуемому:

1. На ветви вешает кругом
Свои доспехи боевые,
Щит, бурку, панцырь и шелом,
Колчан и лук...

(*«Кавказский Пленник»*)

2. ...Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где, пленный, стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал...

(*Там же*)

3. Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов.

(*Там же*)

4. Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярский,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего.

(*«Сказка о Золотом Петушке»*)

5. Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,

Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный.
. . . .
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость;
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою*.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни блеск и гром...

(«*Медный Всадник*»)

6. Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera**.

(«*Онегин*», *VII, 31*)

7. Стал вновь читать он без разбора,
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,

---

* В рукописи далее было:

Цветные дротики уланов,
Звук труб и грохот барабанов;
Люблю на улицах твоих
Встречать поутру взводы их.

** Этим «et cetera», как бы предоставляющим читательскому воображению продолжить перечисление, Пушкин заканчивает еще трижды: 1) в послании к В.Л.Пушкину («Христос воскрес, питомец Феба...»):

...побольше серебра
И золота et cetera;

2) в «Графе Нулине»:

...С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera;

3) в «Онегине» (III, 2):

Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм et cetera.

Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого...*
(*«Онегин», VIII, 35*)

Г. Ряд определений к одному подлежащему:

Роман классический, старинный.
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
(*«Граф Нулин»*)

Д. Ряд составных сказуемых к одному подлежащему:

1. К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин...
(*«Онегин», I, 42*)

2. Когда порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив.
(*«Онегин», VIII, 1, первонач. ред.*)

3. Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
(*«Онегин», VIII, 14*)

Е. Ряд обстоятельств места и образа действия — при одном сказуемом:

1. Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зеркальном паркете зал,
У моря на граните скал.
(*«Онегин», I, 32*)

---

* В черновом было:

Прочел он Гердера, Руссо,
Манзони, Гиббона, Шамфора,
Madame de Staël, Парни, Тиссо,
Прочел скептического Беля.
Прочел идильи Фонтенеля...

В первоначальном очерке этой строфы:

Юм, Робертсон, Руссо, Мабли,
Барон д'Ольбах, Вольтер, Гельвеций,
Локк, Фонтенель, Дидрот, Парни,
Гораций, Кикерон, Лукреций...

2. Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.

(*«Онегин», V, 25*)

Ж. Ряд приложений к одному подлежащему:

Косматый баловень природы,
И математик, и поэт,
Буян задумчивый и важный,
Хирург, юрист, физиолог,
Короче вам — студент присяжный...

(*«Череп»*)

З. Ряд обращений:

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! Я предан вам душой.

(*«Онегин», I, 56*)

И. Чистые перечни без легко подразумеваемого сказуемого:

1. Шестнадцать лет, невинное смиренье,
Бровь темная, двух девственных холмов
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов.

(*«Гавриилиада»*)

2. Прогулки, чтенье, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина...

(*«Онегин», IV, 39*)

3. А только ль там очарованья?*
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima dona? а балет?
А ложа...?

(*«Путешествие Онегина»*)

4. Стальные рыщари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри,
Царевны пленные, графини, великаны,
И вы, любимицы златой моей зари...

(*«Осень», черн.*)

---

* Кажется, все издатели пишут «очарований», не решаясь исправить описку Пушкина, который вряд ли сознательно рифмовал «очарований — свиданья».

Число этих групп и количество примеров внутри каждой группы можно значительно увеличить. Но я ограничусь тем, что, не приводя цитат, укажу несколько мест, в которых читатель найдет ряд комбинированных перечислений, то есть таких, где, например, ряд подлежащих при одном сказуемом сменяется рядом определений к одному дополнению и т.п. Таковы в «Онегине» (дающем, вообще, наибольшее количество перечислений) 10—11 строфы I главы; 26 и 37 строфы V главы; 46 строфа VII главы; 24—26 строфы VIII главы с их вариантами и черновиками; две заключительные строфы из «Путешествия Онегина»; таково же и посвящение «Онегина» Плетневу («Не мысля гордый свет забавить...»). Далее, комбинированные перечисления встречаем в «Братьях-разбойниках» (первые 27 стихов); в «Полтаве» (песнь I, стихи 7—15); в «Графе Нулине» (весь абзац, начинающийся словами: «Слуга бежит...» и кончающийся пародически растянутым перечислением того, что везет Нулин из Парижа); в «Родословной моего героя» (строфа, начинающаяся словами: «Скажите: экой вздор!..»). Таково, наконец, раннее стихотворение, еще 1819 года, «В.В.Энгельгардту», с начала до конца построенное на перечислениях. Оно так любопытно, что выписываю его целиком:

Я ускользнул от Эскулапа Худой, обритый, но живой:	3 определения к одному подлежащему «я».
Его мучительная лапа Не тяготеет надо мной,	
Здоровье, легкий друг Приапа, И сон, и сладостный покой, С Кипридой посетили снова	3 подлежащих при сказуемом «посетили».
Мой угол тесный и простой. Утешь и ты полубольного! Он жаждет видеться с тобой,	
С тобой, счастливый беззаконник, Ленивый Пинда гражданин, Свободы, Вакха верный сын, Венеры набожный поклонник И наслаждений властелин!	5 приложений к одному дополнению «с тобой».
От суеты столицы праздной, От хладных прелестей Невы, От вредной сплетницы молвы, От скуки, столь разнообразной, Я еду в даль. Простите, дамы, Артисты, франты, доктора, Шумящи игры, вечера,	4 обстоятельства места при одном сказуемом «еду». 6 обращений при одном повелении «простите».

Где льются пунш и эпиграммы.
Меня зовут: поля, луга,
Тенисты липы огорода,
Озер пустынных берега
И деревенская свобода.

(5 подлежащих при одном сказуемом «зовут».)

Дай руку мне — приеду я
В начале мрачном октября:
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.

(5 дополнений к одному обстоятельству образа действия «говоря».)

На единоначатиях и перечислениях сознательно построены некоторые пьесы. Такова элегия «Мне вас не жаль...» На комбинации повторения с перечислением построены «Дорожные жалобы». Целиком на перечислениях задуманы и построены: «Бог помочь вам, друзья мои...», «Что дружба?..», «Полу-милорд...», «Собрание насекомых», «Сват Иван, как пить мы станем...» и «Все в жертву памяти твоей...», в «неоконченности» которого позволительно сомневаться*.

Что касается применения перечислений, то Пушкин пользуется этим приемом очень широко, в самых разнообразных случаях, в частности — при описании смятений, массовых сцен, боев.

В «Цыганах» — движение табора:

...Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрип телег...

В «Медном Всаднике» — наводнение:

Садки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!..

---

* Сюда же относятся «Начало сказки» и написанное вместе с Вяземским «Поминание». На перечислениях же построены: отчасти «Гауэншильд и Энгельгардт» и вполне — «Молитва лейб-гусарских офицеров», что, может быть, говорит за участие Пушкина в их авторстве.

В «Онегине» (V, 25) — приезд гостей:

В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

Там же, строфа 29, за обедом:

Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.

«Онегин», гл. VII, строфа 51, бал:

Ее привозят и в Собранье.
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг
Все чувства поражают вдруг.
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

На сложной смене перечислений и единоначатий построено описание боя с печенегами в последней песни «Руслана и Людмилы». На тех же приемах построен и знаменитый бой в «Полтаве». Не выписывая слишком длинных цитат, отмечу лишь некоторые черты сходства в обоих описаниях.

В «Руслане и Людмиле»:

Чудесный рыцарь на коне
Грозой несется, колет, рубит,
В ревущий рог, летая, трубит...

В «Полтаве»:

Швед, русский — колет, рубит, режет.

Но описание боев по приемам граничит с описанием явлений совершенно иного характера. Например, точно так же, как приведенная фраза из «Полтавы», построено изображение грязной улицы в Одессе:

Кареты, люди — тонут, вязнут.
(*«Путешествие Онегина»*)

В «Руслане и Людмиле» — Руслан громит замок Черномора:

И рев, и треск, и шум, и гром.

В «Полтаве»:

Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон...

В главе V «Онегина», строфа 44, бал у Лариных:

Треск, топот, грохот по порядку.

Там же, строфа 17, во сне Татьяны:

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь, и конский топ.

В «Медном Всаднике»:

Так злодей
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ловит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..

(Здесь, между прочим, повторена рифма из Полтавского боя: режет — скрежет.)

ОТЪЕЗДЫ, ОТЛЕТЫ, ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Изображения отъездов, отлетов, исчезновений, бегств и т.п. у него необычайно живы. Большею частью это достигается сочетанием двух приемов: 1) изменением времени при изображении предотъездного, так сказать, момента и самого момента отъезда, и 2) вставкою прямой речи между этими моментами. Поясню примерами.

1. «Руслан и Людмила», — отъезд Руслана от Финна:

...Ногами стиснул
Руслан заржавшего коня;
В седле оправился, присвистнул,
«Отец мой, не оставь меня».
И скачет по пустому лугу.

Здесь предотъездный момент дан в глаголах прошедшего времени: стиснул, оправился, присвистнул. Самый отъезд — в настоящем: скачет. Между этими

моментами вставлена прямая речь (в повелительном наклонении).

2. В том же «Руслане». Рогдай решает изменить направление и настичь Руслана:

Злой дух тревожил и смущал
Его тоскующую душу,
И витязь пасмурный шептал:
«Убью... преграды все разрушу...
Руслан... узнаешь ты меня...
Теперь-то девица поплачет»...
И вдруг, поворотив коня,
Во весь опор назад он скачет.

Опять прошедшее время (тревожил, смущал, шептал), затем — прямая речь и, наконец, скачка назад — в настоящем времени: скачет.

3. «Евгений Онегин», гл. V, строфа 15, сон Татьяны:

Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

Опять прошедшее время (промолвил), прямая речь (в повелительном наклонении) и настоящее время: идет, кладет.

4. «Сказка о царе Салтане», ссора царя с бабами и его уход:

Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
«Что я? Царь или дитя?» —
Говорит он не шутя.
«Нынче ж еду». — Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Снова изменение времени: настоящее (внимает, унимает, говорит), затем прямая речь, точнее — ее заключительная фраза, непосредственно предшествующая уходу, — и, наконец, прошедшее: топнул, вышел, хлопнул.

5. «Евгений Онегин», гл. VI, строфа 19, прощанье Ленского с Ольгой и его отъезд домой:

Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — «Так». — И на крыльцо.

Здесь невозможно определить, применены ли оба приема. Один, вставка прямой речи, несомненно налицо, но есть ли изменение времени — сказать нельзя.

Перед прямой речью — настоящее время, но после нее глагол опущен, так что можно подразумевать и «вышел», и «выходит».

От этого примера перехожу к тем, где сохранен лишь прием вставки прямой речи — без изменения времени в описательной части.

6. «Руслан и Людмила», отлет Наины:

И мрачно ведьма повторила:
«Погибнет он, погибнет он».
Потом три раза прошипела,
Три раза топнула ногой
И черным змием улетела.

7. «Медный Всадник», Евгений перед статуей:

И зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнул он, злобно задрожав:
«Ужо тебе...» И вдруг стремглав
Бежать пустился.

8. «Граф Нулин», отъезд на охоту:

Вот мужу подвели коня,
Он холку хвать — и в стремя ногу,
Кричит жене: «Не жди меня!»
И выезжает на дорогу.

В сущности, здесь есть даже и изменение времени (подвели, кричит), но оно предшествует прямой речи, которая заключена между двумя настоящими: кричит, выезжает. Прямая речь и здесь, как в 1 и 3, дана в повелительном наклонении.

На фоне этих примеров некоторый интерес представляют еще два случая.

Таковы:

9. «Руслан и Людмила», отлет Черномора:

Чу... вдруг раздался рога звон,
И кто-то карлу вызывает.
В смятеньи, бледный чародей
На деву шапку надевает;
Трубят опять; звучней, звучней.
И он летит к безвестной встрече,
Закинув бороду за плечи.

Все движения карлы показаны в настоящем времени, вплоть до отлета. Прямой речи его нет — но все же непосредственному моменту отлета предшествует звуковой образ: «Трубят опять; звучней, звучней». Тут — как бы суррогат прямой речи. Почти то же и в следующем примере:

10. «Полтава», погоня за Марией:

Ушла. Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков,
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикий крик погони,
Верхом, и скачут молодцы
Во весь опор, во все концы.

Здесь опять момент, предшествующий отъезду, и самый отъезд даны в одинаковом времени: бегут, храпят, скачут. Но — снова движения отъезжающих перебиты звуковым образом, «диким криком погони», о котором сказано все же с изменением времени: прошедшее «раздался» — между двумя настоящими — «храпят» и «скачут»*.

Вообще изменением времени он пользуется необычайно часто, в особенности — при изображении быстрых движений. Примеры:

«Руслан и Людмила»:

Хотел бежать, но в бороде
Запутался, упал и бьется;
Встает, упал...

«Граф Нулин»:

Он входит, медлит, отступает —
И вдруг упал к ее ногам.

«Евгений Онегин» (VI, 35):

Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели, как стрела.

Наконец, в «Сказке о Мертвой Царевне и о семи богатырях», в связи с перебоями прямой речи, после которой время меняется каждый раз:

И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала».
И встает она из гроба...
«Ах!..» и зарыдали оба,
В руки он ее берет — *и т.д.*

---

* Любопытный материал для рассмотрения пушкинских отъездов и т.д. представляет также 32 строфа VII главы «Онегина».

Здесь ход времен в сказуемых: прошедшее — прошедшее — прошедшее — настоящее — прошедшее (прямая речь) — настоящее (прямая речь) — прошедшее — настоящее. Шесть последних сказуемых даны каждый раз с переменой времени: прошедшего на настоящее и обратно.

ПРЯМОЙ. ВАЖНЫЙ. ПОЖАЛУЙ

Между Пушкиным и его нынешним читателем порой возникают недоразумения, происходящие оттого, что за сто лет смысл некоторых слов (или оттенок смысла) изменился. Так, например, слово «прямой» у Пушкина очень часто означает: истинный, настоящий, подлинный, полный. Например:

Прямым Онегин Чильд-Гарольдом
Вдался в задумчивую лень...

Прямого просвещенья ради...

Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить...

Соответствующее значение имеет и наречие «прямо», в котором у Пушкина часто нет нынешней интонации «прямо-таки»; оно у Пушкина не предназначается, как у нас, для отстранения упрека в преувеличении. «Приятный голос, прямо женский» — значит: вполне женственный. «Без разделенья унылы, грубы наслажденья: мы прямо счастливы вдвоем» — то есть только вдвоем мы действительно счастливы.

Точно так же сло́ва «важный» никогда не употребляет он в значении: чванный, гордый, надменный. У Пушкина оно всегда равняется словам: серьезный, строгий, вдумчивый. Так, он неоднократно называет важными — Муз. Важные гимны внушаются поэту богами. Важные гроба покоятся на родовом деревенском кладбище. Это необходимо иметь в виду во многих случаях, чтобы не ошибиться в значении пушкинской фразы. Так, на основании стихов:

К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал, —

отнюдь не следует представлять себе мужа Татьяны надменным: он только серьезен. В заметке о холере (1831) сказано об А.Н.Вульфе, что «разговор его был прост и важен» — то есть прост и серьезен. (Эта фраза буквально заимствована Пушкиным из первой главы «Арапа Петра Великого» (1827), где она относится к Ибрагиму.)

Даже в «Альбоме Онегина», где сказано:

Он важен; красит волоса;
Он чином от ума избавлен, —

не следует думать, что дело идет о надменности. Здесь пушкинская ирония тоньше: *серьезность* персонажа, его *вдумчивость* потому и комична, что он «от ума избавлен».

Нечто подобное произошло со словом «пожалуй». У нас оно выражает нерешительность, неуверенность, предположительность. У Пушкина оно очень часто еще имеет первоначальный, основной смысл повелительного наклонения от глагола «жаловать», то есть «благоволить». «Пожалуй=соблаговоли» то же, что наше «пожалуйста»: «Смотри, пожалуй». «Пожалуй, будь себе татарин», то есть сделай одолжение — будь хоть татарин.

Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи,
Не усыпляй меня — иль после не буди, —

то есть пожалуйста, не приходи.

Пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру —

значит: поздравь, пожалуйста, а вовсе не — «если хочешь, поздравь, а не хочешь — не поздравляй».

По-видимому, в таком смысле это слово надо понимать и в дуэльной сцене «Евгения Онегина». Ленский сам посылает вызов. Он так же «злобно» и «хладнокровно» готовит гибель Онегину, как Онегин ему. Он хочет драться, потому что в нем так же, как в Онегине, «светская вражда боится ложного стыда». Пушкин в этом отношении не делает разницы между ними. Поэтому, когда Онегин спрашивает: «Что ж, начинать?» — Ленский ему отвечает не с колебанием, не на высокой, унылой ноте, как в опере Чайковского, а с твердостию и мужеством: «Начнем, пожалуй», — то есть начнем, изволь.

ИСТОРИИ РИФМ

В одном из самых ранних стихотворений, «К сестре» (1814), Пушкин поминает

...Моську престарелу,
В подушках поседелу.

В 1816 году, в стихотворении «Сон», дано человеческое подобие этой моськи:

Похвальна лень, но есть всему пределы.
Смотрите: Клит, в подушках поседелый,
Размученный, изнеженный, больной...

Итак, наметилось созвучие: престарелу — поседелу — пределы.

Год спустя, в начале «Руслана и Людмилы», Пушкин начинает перечисление соперников Руслана:

Один — Рогдай, воитель смелый,
Мечом раздвинувший пределы
Богатых киевских полей.

Таким образом, от слова «пределы» рифма сворачивает в новое русло, по направлению к «смелый». Но в 1823 году оба русла («пределы — поседелый» и «пределы — смелый») сливаются в наброске, начинающемся словами:

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый.

Набросок остался неотделанным, но его отголоски еще не раз звучали в стихах Пушкина. В частности, рифма «смелый — поседелый» снова всплыла наружу и, что характерно, снова в связи с приведенными стихами из «Руслана и Людмилы». Три соперника Руслана с окончанием поэмы не исчезли из пушкинского творчества. В стихах о Клеопатре они воскресли тремя соискателями царицыной любви: Рогдай стал Флавием, Фарлаф — Критоном, а «младой Ратмир» тем «последним» юношей, который «имени векам не передал». И как в «Руслане и Людмиле» было сказано:

Один — Рогдай, воитель смелый, —

так теперь почти повторяется:

И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый...

Круговое движение рифмы закончено: «престарелу — поседелу»; отсюда — «поседелый — пределы — смелый» и — обратно к «поседелый».

Таков многолетний ход звука — от моськи до римского воина.

История другой рифмы еще более любопытна.

Пушкин срифмовал:

1815 (?): Младость — радость («Роза»).

1816: Радость — младость («Заздравный кубок»).
Младость — радость («Послание к кн. А.М.Горчакову»).
Сладость — радость («Любовь одна...»).
Радость — младость («Фавн и пастушка»).
Сладость — радость («Пробуждение»).

1817: Младость — радость («К ней»).
Радость — сладость («Простите, верные дубравы...»).
Младость — радость («Добрый совет»).
Радость — младость («Именины»).

1818: Сладость — младость — радость («К портрету Жуковского»).

1819: Гадость — радость («Все призрак, суета...»).
Радость — младость («Руслан и Людмила», V).

1820: Младость — радость («Погасло дневное светило...»).
Младость — радость («Кавказский Пленник»).
Младость — радость (Там же).
Сладость — радость (Там же).
Радость — младость (Там же).
Сладость — радость (Там же).

1821: Сладость — младость («Дева»).

1822: Младость — радость («Братья-разбойники»).
Радость — сладость («Адели», чернов.).
Младость — радость («Свод неба мраком обложился...»).

1823: Младость — радость («Евгений Онегин», I, 30).
Младость — сладость (Там же, чернов., I, 45).
Младость — сладость (Там же, чернов., II, 9).
Младость — радость (Там же, II, 19).

1824: Младость — радость («Цыганы»).
Радость — младость («Подражания Корану», IX).
Сладость — младость («Евгений Онегин», IV, 23).

1825: Младость — радость («Андрей Шенье»).

1826: Радость — младость («Евгений Онегин», V, 7).

Таких традиционных, устойчивых рифм у Пушкина много. Из них рифма «сладость — радость — младость — гадость» выделяется тем, что, во-первых,

она повторяется едва ли не чаще всех, а во-вторых, как уже сказано, имеет довольно любопытную историю.

«Пробуждение», написанное в 1816 году, начинается стихами:

Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?

Как видно из приведенного перечня, рифма употреблена здесь не в первый раз и далеко не в последний. Пушкин «запросто жил» с ней еще десять лет, не ропща на ее избитость. Но в 1826 году, в VI главе «Евгения Онегина», чувствуя, может быть, что его стихи слишком пестрят этой рифмой, он решил пойти навстречу опасности: не дожидаясь упрека со стороны читателя, сам подчеркнул и разоблачил традиционность звукосочетания. Для этого он заимствовал у самого себя два первых стиха «Пробуждения», превратил их в один: «Мечты, мечты! где ваша сладость?» — а в следующем стихе написал: «Где вечная к ней рифма младость?»

С этого момента рифма на «адость», будучи названа вечной, теряла всякую видимость неожиданности. Если раньше ее избитость была секретом Полишинеля, то теперь это было разоблачено окончательно. Разоблаченной рифмой пользоваться уже неудобно. И в самом деле, у Пушкина она после этого почти исчезает. Однако в том, как он ее разоблачил и как еще раз к ней вернулся в «Евгении Онегине», есть особый интерес.

Из нашего перечня видно, что приведенные 32 случая рифмования на «адость» дают 34 двойных словосочетания (тройная рифма в надписи к портрету Жуковского дает три сочетания). По степени употребительности они распределяются так:

Младость — радость (и радость — младость)........	21 раз
Сладость — радость (и радость — сладость)..........	7 раз
Сладость — младость (и младость — сладость).....	5 раз
Гадость — радость..	1 раз

Таким образом, если какое-нибудь из этих сочетаний называть вечным, то, разумеется, сочетание «младость — радость»: оно встречается не менее чем в три раза чаще всякого другого. До момента разоблачения слово «сладость» было рифмовано 7 раз с «ра-

достью» и только 5 раз с «младостью». Следовательно, словосочетание «сладость — младость» к тому моменту, когда Пушкин назвал его вечным, было, в сущности, как раз наименее использованным, если не считать «гадость — радость», употребленное лишь однажды, в неоконченном наброске 1819 года. Но Пушкин, конечно, сам своих рифм не подсчитывал. Он имел в виду избитость не слово-, а звукосочетания. Но вот что примечательно.

Казалось бы, процитировав свои ранние стихи и вознамерившись взглянуть иронически на избитое рифмование «сладости», всего естественней Пушкину было и на этот раз рифмовать ее с тою «радостью», с которой он ее сам рифмовал в пародируемых стихах. Но именно этого он не сделал, не написал он:

Где вечная к ней рифма радость?

Почему? Потому что он здесь хотел рифмовать не слово, а понятие. Весь конец VI главы «Евгения Онегина» посвящен прощанию с молодостью и воспоминанию о ней. Стихи из «Пробуждения» вспомнились Пушкину не потому, что он думал о мечтаниях, а потому, что размышления о «младости» привели ему на память старые стихи о «сладости» мечтаний. Самое понятие «младость» психологически связалось, как бы срифмовалось у него в ту минуту с двумя стихами из юношеской пьесы. Именно эту *рифмовку воспоминаний* он и выразил. Слова «вечная рифма» здесь говорят не столько об избитости словосочетания, сколько о том, что «младость» есть вечный источник «сладости».

Как бы то ни было — рифма была осмеяна, и вернуться к ней можно было только пародически или саркастически. Пушкин это и сделал в 42 строфе VII главы того же «Евгения Онегина» — и опять при случае размышлений об утрате молодости. Здесь старая тетка Татьяны говорит:

Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь такая гадость...

Так повторил Пушкин свою давнюю рифму из брошенного отрывка, в котором некогда говорилось: «Все дрянь и гадость». Но эта пессимистическая и про-

заически звучащая рифма перед читателем Пушкина являлась впервые. Столь же пессимистически и прозаически она должна была завершить историю рифмования «младости — радости — сладости». Прощаясь с молодостью, Пушкин прощался и с этим созвучием.

Впоследствии он оказался не до конца последователен. В 1829—1830 годах он срифмовал «радость — младость» в «Путешествии Онегина» при воспоминании об Одессе и в 1833 году — в «Анджело» («сладость — младость»). Однако он несомненно избегал этой рифмы. Не случайно, что до разоблачения он воспользовался ею за одиннадцать лет (1815—1826) тридцать два раза, а после разоблачения за такой же промежуток времени (1826—1837) только два раза*.

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ ЗВУКИ

К некоторым сочетаниям слов и звуков у него были пристрастия, причины которых объяснению не поддаются. Вот один из наиболее выразительных примеров:

Но я плоды своих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

(*«Евгений Онегин», IV, 35, 1825*)

Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.

(*«Граф Нулин», 1825*)

---

* Психологически схожий случай отказа от осмеянного приема имеется в его переписке. В раннюю пору жизни он любил заканчивать письма латинским приветствием «Vale». Оно встречается в письме к Вяземскому от 27 марта 1816 г., к Гнедичу от 24 марта 1821 г., к Л.С.Пушкину от 27 июля 1821 г., к Гречу от 21 сентября 1821 г., к В.Ф.Раевскому от конца 1821 — января 1822 г., к Гнедичу от 29 апреля 1822 г., к нему же от 13 мая 1823 г. Через 15 дней после этого, ночью 28 мая, Пушкин начал «Евгения Онегина» и в 6 строфе первой главы посмеялся над латинскими познаниями своего героя, умевшего «В конце письма поставить Vale». После этого «Vale» на три года вовсе исчезает из пушкинских писем, чтобы затем появиться всего три раза — и то с большими перерывами: в конце августа 1825 г. (Вульфу), во второй половине августа 1827 г. (Погодину) и в середине ноября 1828 г. (Дельвигу).

Ужель и впрямь и в самом деле,
Без элегических затей,
Весна моих промчалась дней?
(*«Евгений Онегин», VI, 44, 1826*)

Она была нетороплива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней.
(*«Евгений Онегин», VIII, 14, 1830*)

Вероятно, эти четыре стиха ведут происхождение от стиха из послания к Алексееву (1821): «Без упоительных страстей».

ХУДОЖНИК

Художник-живописец или рисовальщик представлялся ему обладателем быстроты: в кисти, в карандаше, в самом взгляде.

В «Руслане и Людмиле»:

Бери свой быстрый карандаш,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!

В «Полководце»:

Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокий.

В «Каменном Госте» Лепорелло говорит Дон-Гуану о его любовном воображении:

Оно у вас проворней живописца, —

то есть живописец тут взят как образец проворства.

В 1824 году, заботясь о рисунках к «Евгению Онегину», Пушкин пишет брату: «Найди искусный и быстрый карандаш».

Эта быстрота, по-видимому, представлялась ему неотъемлемым качеством истинного художника. Изображая художника бездарного, Пушкин прежде всего лишает его этого свойства:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит...

Все это имеет отношение к манере его собственных рисунков, в которых разительна прежде всего быстрота. Он старается как бы на лету уловить движение, характерную линию, черту сходства. Нечто подобное можно заметить и в первоначальных набросках его стихов, когда он явно стремится наскоро закрепить ход мысли, мелькнувшие образы, рифмы и т.п.

НАПОЛЕОН

У Державина есть стихи о волшебном фонаре. В них каждая строфа, посвященная отдельной картине, начинается словом «Явись!» и кончается словами: «Исчезнь! — исчез!» Тема стихотворения — преходящесть, призрачность, быстрое исчезновение: силы, счастия, власти, жизни.

«Послание к Юдину» Пушкин написал еще в 1815 году под явным влиянием Державина: тут сказались и «Приглашение к обеду», и «Евгению (Жизнь Званская)», и, может быть, «Призывание и явление Плениры», и др. Но всего заметней влияние «Фонаря». Оно сказалось и в построении пьесы, состоящей из смены картин, и в отдельных образах:

...Но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают;
Мечты находят, исчезают,
Как тень на утренней заре.

Незадолго перед «Посланием к Юдину», в конце 1814 года, Пушкин писал «Воспоминания в Царском Селе», которые предстояло ему читать на лицейском экзамене. Историческим моментом подсказывалась тема стихов — падение Наполеона. Державинское влияние в «Воспоминаниях в Царском Селе» — факт общепризнанный. Однако никем не отмечалось влияние именно «Фонаря». Между тем оно несомненно и очень сильно, несмотря на то, что текстуальных и стилистических совпадений с «Фонарем» в «Воспоминаниях» нет. Однако образ Наполеона, внезапно явившегося из политического небытия, мелькнувшего и в небытие вернувшегося, просиявшего и затмившего-

ся, уже тогда был связан с представлением о картинах волшебного фонаря, о свете и тени, о заре, горящей и угасающей, об исчезновении, столь же внезапном и таинственном, как появление. Уже в двух местах «Воспоминаний в Царском Селе» являются мотивы зари, сна, исчезновения:

Восстал вселенной бич — и вскоре лютой брани
 Зарделась грозная заря.

И далее:

Где ты, любимый сын и счастья, и Беллоны?
. . . .
Исчез, как утром страшный сон.

Взятые в отдельности, эти строки еще ничего не говорят об ассоциациях, возникавших у Пушкина при слове «Наполеон». В «заре брани» мог явиться любой полководец. О быстром падении кого угодно можно сказать: он «исчез, как сон». Но замечательно, что все последующие стихи Пушкина о Наполеоне обнаруживают упорную, постоянную повторяемость как этих образов, так и других, с ними связанных.

Вслед за «Воспоминаниями в Царском Селе» «Наполеон на Эльбе» является на фоне зари:

Вечерняя заря в пучине догорала...
. . . .
Один во тьме ночной над дикою скалою
 Сидел Наполеон.

И в конце стихотворения:

Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла
 Лицо пылающей зари.

Там же Наполеон говорит о своей судьбе:

О счастье! злобный обольститель!
И ты, как сон, сокрылось от очей.

С течением времени Наполеон не только является на фоне зари, но и сам ей уподобляется. В наброске «Недвижный страж дремал...» он уже

...царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.

Здесь мотивы сна, исчезновения, тени и зари сконцентрированы в одном стихе.

Несколько лет спустя этот образ повторен в X главе «Евгения Онегина»:

Сей всадник, Папою венчанный,
Исчезнувший, как тень зари, —

и затем в «Герое»:

Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Даже о Байроне, когда его смерть сближается со смертью Наполеона («К морю»), по ассоциации сказано, что он «исчез».

Наполеону сопутствуют *угасающие* светила:

Звезда губителя потухла в вечной мгле.
(«На возвращение Государя Императора...»)

Померки, солнце Австерлица!
(*«Наполеон»*)

О физической его смерти, не о его политическом конце, всегда, без исключения, говорится одним и тем же словом — «угас»:

Угас великий человек.
(*«Наполеон»*)

Там угасал Наполеон.
(*«К морю»*)

Он угасает, недвижим.
(*«Герой»*)

Угас в тюрьме Наполеон.
(*«19 октября 1831 г.»*)

Всему чужой, угас Наполеон.
(*«19 октября 1836 г.»*)

Явление — исчезновение; свет — тень; заря — угасание — вот Наполеон у Пушкина. Конечно, все это — его собственное, личное, им постигнутое и пережитое. Но подсознательно все это восходит к «Фонарю» Державина.

ВОЛЬНОСТИ

1814. «Наталье»:

Дерзкой, пламенной рукою
Белоснежну, полну грудь...

1816. «Усы»:

...одной рукой
В восторгах неги сладострастной
Летаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

1816. «Фавн и пастушка»:

Неверная, кто смеет
Пылающей рукой
Бродить по груди страстной?..

1817. «Письмо к Лиде»:

По смелым, трепетным рукам...
Узнай любовника — настали
Восторги, радости мои!..

1817—1820. «Руслан и Людмила»:

О, страшный вид: волшебник хилый
Ласкает дерзостной рукой
Младые прелести Людмилы!

1821. Наброски:

Вот Еврейка с Тодорашкой,
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой...

1821. «Гавриилиада»:

В глухой лесок ушла чета моя...
Там быстро их блуждали взгляды, руки...

Там же:

Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукой цветочек ей подносит,
Другою мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо,
И легкий перст касается игриво
До милых тайн...

Там же:

Смутясь, она краснела и молчала...
Ее груди дерзнул коснуться он...

Но после «Гавриилиады» этот мотив исчезает навсегда. Пушкин из него вырос, как из мальчишеской одежды.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН», V, 36

В 36 строфе V главы «Евгения Онегина» можно угадать несколько ассоциаций Пушкина, а по ним — ход создания самой строфы.

Перед тем описываются именины Татьяны: съезд гостей, обед, послеобеденный переход всего общества в гостиную. 36 строфа начинается словами:

Уж восемь робберов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут...

Вознамерившись рассказать именинный день час за часом, Пушкин не мог избежать упоминания об этом чаепитии, неотделимом от деревенского быта. Однако от подробного описания нужно было уклониться по двум причинам: во-первых, будучи всего лишь одной строфой отделено от пространного описания обеда, оно создало бы нежелательное однообразие; во-вторых, самая тема по сравнению с только что изображенным обедом не предоставляла достаточно живописных деталей. Вместе с тем, одним только упоминанием о чаепитии нельзя было ограничиться, потому что в таком случае события между обедом и предстоящим балом оказались бы скомканы, время для читателя побежало бы слишком быстро, несоответственно общему темпу повествования. Следовательно, необходимо было дать читателю почувствовать время, ушедшее на чаепитие, не изображая самого чаепития. Способ для этого был один, уже неоднократно использованный в романе для разных целей: отступление. Пушкин к нему прибегнул. А так как все отступление было вызвано желанием выиграть время, то — вероятно, бессознательно — именно о чувстве времени Пушкин и повел речь:

...Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш Брегет.

Тут вспомнилась ему первая глава «Евгения Онегина» — два места оттуда:

Пока недремлющий Брегет
Не прозвонит ему обед —

и

Но звон Брегета им доносит,
Что новый начался балет.

Первое из этих двустиший должно было напомнить следовавший за ним обед Онегина с Каверйным:

К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел — и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток... —

и так далее: весь знаменитый перечень блюд этого обеда. Может быть, вспомнились и другие гастрономические мотивы в романе: ларинские блины и квас, рассуждения об Аи и Бордо, и уж несомненно — только что перед тем обстоятельно описанный именинный обед. Пушкин почувствовал, что роман уже несколько перегружен гастрономией и, как часто делал в подобных случаях, решил забежать вперед, разоблачить себя прежде, чем его упрекнет читатель*. Этим было предрешено дальнейшее течение строфы: она должна была содержать такое саморазоблачение.

Между тем второе двустишие:

Но звон Брегета им доносит,
Что новый начался балет, —

особенно в сопоставлении со стихом:

Желудок — верный наш Брегет, —

в свою очередь, заводило воспоминание еще дальше в прошлое, к «Руслану и Людмиле». Там, в первом издании поэмы, было рассуждение о желудке, по смыслу близкое к этому стиху, а по рифме — к приведенному двустишию:

Обеда лишь наступит час —
И в миг нам жалобно доносит
Пустой желудок о себе**.

Вспомнив «Руслана и Людмилу», Пушкин вспомнил, что как теперь он уклоняется от описания чаепития, так тогда он уклонился от описания обеда, за который в IV песни усадил Ратмира. Тогда, в «Руслане», он это сделал, сказав:

Я не Омер: в стихах высоких
Он может воспевать один
Обеды греческих дружин...

---

* Таким приемом в 26 строфе I главы предупрежден упрек в изобилии иноплеменных слов; тем же приемом в 42 строфе IV главы и в 44 строфе главы VI отведены упреки в избитости рифм, а в «Домике в Коломне» — в болтливости.

** Возможно, что Пушкин впоследствии потому и выбросил эти строки из второго издания, вышедшего в 1828 г., что в окончательном тексте поэмы хотел избежать совпадения с «Евгением Онегиным».

На сей раз, в «Евгении Онегине», к тому же приему неудобно было прибегнуть: нельзя было сказать: «Я не Омер» — потому что о «пирах» было уже сказано даже слишком много. Но можно было не противополагать, а наоборот — сблизить себя с Гомером. Этою мыслью весь ход и окончание строфы были подсказаны окончательно. Получилось, по ассоциации с каверинским обедом:

И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

Тут открывалась возможность нового отступления: переход к сравнению своих героев с гомеровскими. Такому сравнению и посвящены ближайшие строфы: 37 и 38. В следующей, 39 строфе можно было вернуться к чаю, чтобы от него тотчас перейти к роковому балу, который и был главной целью пушкинского рассказа:

Но чай несут: девицы чинно
Едва за блюдечки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздались...

37 и 38 строфы появились только в первом издании пятой главы. Впоследствии Пушкин их исключил. Вероятно, рассуждение о своих и гомеровских героях показалось ему слишком замедляющим ход повествования, и он ограничился тем отступлением, которое содержится в строфе 36.

КОЩУНСТВА

«Кощунственные» произведения Пушкина до недавних пор оставались публике неизвестны либо печатались с цензурными изменениями и пропусками. Даже такая крупная вещь, как «Гавриилиада», лишь в 1917 году появилась полностью в легальном издании. Правда, «запретный» Пушкин не раз являлся в изданиях заграничных, но они были доступны небольшо-

му кругу и страдали многими недостатками, как то: испорченный текст, неполнота состава и опечатки; с другой стороны, в них приписывались Пушкину вещи, ему не принадлежащие. О пушкинских «кощунствах» знали понаслышке. Специальная литература не могла ими заняться по тем же цензурным причинам. В обществе ходила о них легенда как о чем-то в высшей степени ядовитом и разрушительном.

Если мы обратимся к пушкинскому тексту, то увидим, что эта легенда имеет весьма ограниченное право на существование или, по крайней мере, нуждается в серьезных ограничениях. Пользуясь термином «кощунство» наиболее широко (и в этом смысле условно), соглашаясь подвести под эту рубрику даже самые незначительные высказывания, способные оскорбить религиозное чувство или хотя бы задеть слух, я нахожу в лирике Пушкина 26 текстов, подходящих под такое расширенное применение термина.

При рассмотрении и сопоставлении текстов выясняется, что их можно разбить на несколько групп, соответствующих типам кощунств. К первой группе я отношу шесть текстов, содержащих профанацию религиозного догмата, обряда, обычая или предания. Такая профанация слабо намечена в заключительных стихах «Городка», когда пятнадцатилетний Пушкин, признавшись в нелюбви к «сельским иереям», заканчивает послание обетом:

Но друг мой, если вскоре
Увижусь я с тобой,
То мы уходим горе
За чашей круговой;
Тогда клянусь богами
(И слово уж сдержу),
Я с сельскими попами
Молебен отслужу. (1)

Столь же невинную профанацию встречаем в послании к В.Л.Пушкину (1816):

Христос воскрес, питомец Феба!
Дай Бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес;
Он что-то, кажется, исчез.
Дай Бог, чтобы во всей вселенной
Воскресли мир и тишина,
Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна — *и т.д.* (2)

В наброске послания к А.И.Тургеневу (1819?) ключи от царства небесного неуважительно сопоставлены с ключом камергерским:

В себе все блага заключая,
Ты, наконец, к ключам от рая
Привяжешь камергерский ключ. (3)

В набросках сатиры на кишиневских дам (1821) сделана ссылка на библию, непочтительная по контексту и применению:

Вот Еврейка с Тодорашкой,
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой,
Рыло на ее лице.
Весь от ужаса хладею:
Ах, Еврейка, Бог убьет!
Если верить Моисею,
Скотоложница умрет. (4)

То же — в послании к «Еврейке» (1821):

Христос воскрес, моя Ревекка!
Сегодня, следуя душой
Закону Бога-человека,
С тобой целуюсь, Ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй твой, не робея,
Готов, Еврейка, приступить
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного Еврея
От православных отличить. (5)

Профанационно применены библейские темы в письме к Вигелю (1823):

Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить язык устанет,
Когда-нибудь на старый кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет —
И не найду твоих следов.
Падут, погибнут, пламенея,
И лавки грязные жидов,
И пестрый дом Варфоломея.
Так, если верить Моисею,
Погиб несчастливый Содом —
Но только с этим городком
Я Кишинев равнять не смею,
Я слишком с Библией знаком
И к лести вовсе не привычен.
Содом — ты знаешь — был отличен
Не только вежливым грехом,
Но просвещением, пирами
И красотой нестрогих дев.

Мне жаль (сердечно), что громами
Его сразил Еговы гнев — *и т.д.* (6)

Уже в приведенных текстах ощущается привкус пародии, шуточного сопоставления «высокого» религиозного мотива с «низким», житейским. Следующую группу составляют тексты, которых кощунственность всецело заключается в пародийности, чаще всего — в применении религиозного термина к предметам низменным, порою смешным или соблазнительным. Такая пародия, в сущности, есть один из видов профанации. Здесь она выделена в особую группу по признаку отчетливо проведенного литературного приема. Данная группа — самая обширная: она содержит одиннадцать текстов.

Впервые христианский термин по заведомо несоответственному поводу применен в послании к Дельвигу (1815):

Послушай, Муз невинных
Лукавый духовник. (7)

В том же году, в послании к Батюшкову, читаем:

В пещерах Геликона
Я некогда рожден;
Во имя Аполлона
Тибуллом окрещен. (8)

В 1817 году послание к Жуковскому начинается пародийным возглашением:

Благослови, поэт! (9)

В стихах, обращенных в том же году «К Е.С.Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду», прием уже значительно заострен:

Митрополит, хвастун бесстыдный,
Тебе прислал своих плодов,
Хотел уверить нас, как видно,
Что будто сам он бог садов.
Чему дивиться тут? Харита
Улыбкой дряхлость победит,
С ума сведет митрополита
И пыл желаний в нем родит.
И он, твой встретя взор волшебный,
Забудет о своем кресте
И нежно станет петь молебны
Твоей небесной красоте. (10)

Тогда же, в послании к А.И.Тургеневу, Пушкин его называет любовником «и Соломирской, и кре-

ста» — и делает примечание: «Креста, сиречь не Аннинского и не Владимирского, а честнаго и животворящаго» (11; ср. с 3).

В 1818 году, даря Кривцову «La Pucelle» Вольтера, он ее называет «святою Библией Харит», рекомендует по ней «молиться Венере» и восклицает:

Да сохранят тебя в чужбине
Христос и верный Купидон! (12)

В письме к Энгельгардту (1819) все кощунство заключено в тончайшем намеке: эпитет «набожный» приложен к «поклоннику Венеры» (13).

Такое же применение того же эпитета наряду с приемом, повторяющим прием текстов 7 и 8, находим в альбомных стихах Щербинину (1819):

Проводит набожную ночь
С младой монашенкой Цитеры. (14)

В черновых набросках стихов при посылке «Гавриилиады» (1821) Пушкин говорит, что его Музу «Всевышний осенил своей небесной благодатью», а сочинение кощунственно-пародической поэмы называет «духовным занятием». Тут же обитель Господа названа «двором» Его (в смысле царского двора) (15).

В отрывочных строках, составляющих набросок стихов о современных поэтах, повторен прием текстов 7, 8 и 14: «Жуковский... святой Парнаса чудотворец» (16).

В приписке к письму, посланному 8 декабря 1824 года А.Родзянке, имеем профанацию догмата и пародию церковного текста:

Прости, украинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим — деревня; ты мой Папа,
Благослови ж меня, певец! (17)

Наконец, в стихах, предположительно относимых к кн. Хованской (1824), прием пародийного применения христианской тематики доведен до наибольшей остроты:

Ты богоматерь, нет сомненья,
Не та, которая красой
Пленила только Дух Святой,
Мила ты всем без исключенья;
Не та, которая Христа

Родила, не спросясь супруга.
Есть бог другой, земного круга —
Ему послушна красота,
Он бог Парни, Тибулла, Мура,
Им мучусь, им утешен я,
Он весь в тебя — ты мать Амура,
Ты богородица моя. (17)

Вся эта пьеса — лишь распространение профанационного каламбура: мать бога Амура есть Богородица. Но и самый каламбур, и вся его мотивировка, данная в предварительной части пьесы, содержат ряд кощунственно-пародических сопоставлений. Стихотворение составляет как бы переход к следующей группе, состоящей из шести текстов, в которых дано прямое пародирование религиозного догмата, понятия или текста.

Впервые такую пародию встречаем в лицейской пьесе, по памяти воспроизведенной Пущиным, но несомненно пушкинской. Она содержит непристойную переделку евангельского текста в перебранке двух женщин, идущих от всенощной:

В чужой... соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна. (19)

Пародийны по смыслу и стилю две эпиграммы на митрополита Фотия и гр. Орлову:

1. Благочестивая жена
Душою Богу предана,
А грешной плотию
Митрополиту Фотию. (20)

2. «Внимай, что я тебе вещаю:
Я телом евнух, муж душой».
— Но что ж ты делаешь со мной? —
«Я тело в душу превращаю». (21)

В послании к А.Ф.Орлову (1819) пародирована Библия:

Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
«Мундир и сабля — суеты!» (22)

В «Акафисте Ек. Ник. Карамзиной» (1827) пародийны только заглавие, применение эпитета «набожный», как в текстах 13 и 14, а также церковно-славянская форма родительного падежа множественного числа:

Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес. (23)

Самое же сопоставление Е.Н.Карамзиной с Богородицей проведено чрезвычайно осторожно и вряд ли может быть признано кощунственным.

Наконец, к этой же группе я отношу четверостишие 1827 года, обращенное к кн. С.А.Урусовой:

Не веровал я Троице доныне:
Мне Бог тройной казался все мудрен.
Но вижу вас — и, верой озарен,
Молюсь трем грациям в одной богине. (24)*

За пределами намеченных групп остаются еще две пьесы. Это, во-первых, большое послание к В.Л.Давыдову (1821), содержащее признаки всех трех групп (25). Во-вторых — «Noël» (1818), в котором Богородице и Спасителю приданы прозаически-бытовые черты. В этой пьесе не больше кощунства, чем во многих легендах, носящих вполне благочестивый характер, но содержащих такое же «снижение», как результат упрощенного, «народного» подхода к религиозным темам. Неуважительного отношения к Пресвятой Деве и к Спасителю Пушкин здесь не выказал, острие же пьесы направлено не против них, а против императора Александра I (26).

Если теперь мы всмотримся в то, какое отношение имеют приведенные кощунства к общему содержанию стихотворений, из которых они извлечены, то прежде всего обнаружим, что в текстах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 22, то есть в четырнадцати из двадцати шести, кощунство не только не составляет цели стихотворения, но и является в ней лишь деталью, с общим заданием не связанной и порой выраженной чрезвычайно слабо, например — в единственном и случайно брошенном эпитете. В текстах 6, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 и 26 кощунственно-пародийный момент проходит через всю или почти всю пьесу, но опять же играет в ней лишь служебную роль: то как мотивировка сатиры (19, 20, 21), то как затейливая болтовня дружеского послания (6), то как один из мотивов стихотворения, заостренного в сторону политики, а не религии (25, 26). Таким образом, кощунство само по себе составляет цель только в двух текстах: в 5 и в 17, но и то лишь в том случае, если их не рассматривать как мадригалы, столь перегруженные

* Принадлежность этих стихов Пушкину не вполне доказана.

кощунственно-пародийной мотивировкой, что средство уже заслонило в них самую цель.

Этот подсобный, аксессуарный характер пушкинских кощунств вполне согласуется с тем обстоятельством, что из всех наших текстов только два (19 и 26) приходятся на произведения полуповествовательного, лиро-эпического характера. Еще два текста (20 и 21) составляют эпиграммы. Все прочие (22 из 26) входят в состав шутливых посланий и альбомных стихов. Добавим, наконец, что самая «доза» кощунственности в 2, 3, 4, 13 и 16 текстах очень невелика, а в 1, 7, 8, 9, 16, 22 и 23 — едва уловима.

Если, как выше сказано, с точки зрения религии пародия есть вид профанации, то и обратно: профанация со стороны литературной есть вид пародии. Таким образом, оказывается, что кощунственные стихи Пушкина всегда построены на пародийной основе. Это заключение представляется очень важным, потому что вскрывает психологическую подкладку кощунств, содержащихся в пушкинской лирике.

Влечение к пародии было у Пушкина чрезвычайно сильно. Пародийные задания и приемы наблюдаются в огромном количестве его произведений. Он сам признавался, что написал «Графа Нулина» потому, что не мог противиться двойному искушению — «пародировать историю и Шекспира». «Домик в Коломне» есть пародия «Уединенного домика на Васильевском». Пародийная природа «Истории села Горюхина» несомненна. «Гробовщик» — пародия легенды о Дон-Гуане вообще и пародия пушкинского «Каменного Гостя» — в частности. Пушкин пародировал других авторов (Карамзина, Жуковского, Языкова, В.Л.Пушкина, Хвостова, Дмитриева) и самого себя. Многие из его излюбленных тем и приемов оказываются им же пародированы. Кощунства Пушкина связаны с этим влечением к пародии. Они из него возникают. Говоря его собственными словами, пародия состоит из сочетания смешного с важным. Всякая религия, как литературный источник, составляет для пародиста в высшей степени соблазнительный материал, ибо сила пародии прямо пропорциональна расстоянию между смешным и важным: чем важнее, выше предмет, тем разительней получается его сочетание со смешным, его снижение.

Религия раздражала в Пушкине его пародическую жилку. Его кощунства должно рассматривать как частный случай его пародии. В них больше литературной забавы, чем философии. Пушкинские кощунства можно определить как шуточные, а не воинствующие. Они не содержат *борьбы* с религией. Они даже гораздо более незлобивы, чем его литературные или политические эпиграммы. Они остры по форме и не глубоки философически: следствие того именно, что они возникают из чисто литературного пристрастия к пародии, а не из побуждений атеистических. В них несравненно больше свободословия, чем последовательного свободомыслия. Они легкомысленны и неядовиты. Необходимо, наконец, отметить то чрезвычайно важное обстоятельство, что после 1827 года мы не встречаем у Пушкина ни одного кощунства.

Что касается «Гавриилиады» (1821), единственной кощунственной поэмы Пушкина, то многое из сказанного о лирике применимо и к ней. «Гавриилиада» построена на пародии, принявшей самые разнообразные виды и оттенки. Ее внутренняя незлобивость бросается в глаза. В ней больше жизнерадостности и веселья, чем яда. Кощунственность этой поэмы, по внешности самая резкая в кругу подобных творений Пушкина, по существу безопасна и здесь. Атеизм «Гавриилиады» слишком весел, открыт и легок, чтобы быть опасным. Быть может, весьма демонический в некоторых других созданиях, именно в «Гавриилиаде» Пушкин недемоничен, потому что прежде всего беззаботен. Больше того: если всмотреться в «Гавриилиаду», то сквозь соблазнительную оболочку кощунства увидим в ней равномерно и широко разлитое сияние любви к миру, благоволение и умиление.

ССОРА С ОТЦОМ

Высланный из Одессы в Михайловское, Пушкин приехал туда в августе 1824 года. В деревне он застал всю свою семью: родителей, брата и сестру. События, разыгравшиеся после его приезда, лучше всего изоб-

ражены им самим в письме к Жуковскому от 31 октября:

«Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше, но скоро все переменилось. Отец, испуганный моей ссылкою, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь: Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить Отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность Отца не позволяли мне с ним объясниться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к Отцу, прошу его позволения объясниться откровенно... Отец осердился. Я поклонился, сел верьхом и уехал. Отец призывает брата, и повелевает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé...[1] (Жуковский, думай о моем положении и суди). Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я *его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить*. — Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников Сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. — Не говорю тебе о том, что терпят за меня Брат и Сестра — еще раз спаси меня. *А.П. 31 Окт.*

Поспеши: обвинение Отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться — дойдет до Правительства, посуди, что будет. Доказывать по суду клевету Отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я hors la loi...[2]».

Дальнейшие подробности этой истории не выяснены. Во всяком случае, она кончилась тем, что Сергей Львович уехал с семьей из Михайловского в Петербург, оставив Пушкина в Михайловском наедине с няней. 29 ноября Пушкин снова писал Жуковскому:

---

[1] с этим чудовищем, с этим сыном-выродком... (*фр.*)

[2] вне закона (*фр.*).

«Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту всю тревогу; но что мне было делать? Я сослан за строчку глупова письма, что было бы, если правительство узнало бы обвинение отца? Это пахнет палачом и каторгою. Отец говорил после: *Экой дурак, в чем оправдывается! да он бы еще осмелился меня бить! да я бы связать его велел!* — зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? *да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками?* Это дело десятое. *Да он убил отца словами!* — каламбур и только...»

Если мы сопоставим приведенные в обоих письмах обвинения, которые, пользуясь отсутствием свидетелей, выдвигал против сына Сергей Львович, то увидим, что они идут в убывающей прогрессии. Тотчас после бурной сцены Сергей Львович кричал, что сын его «бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить»; затем он понизил свои обвинения еще более: «непристойно размахивал руками»; наконец, дело шло уже только о том, что Александр Сергеевич «убил отца словами».

Все это Пушкин не только подчеркнул в своих письмах к Жуковскому, но и крепко запомнил и использовал в качестве блестящего сценического эффекта.

«Скупой Рыцарь» только закончен в 1830 году. Он был начат еще в Михайловском. Основной конфликт между Альбером и старым бароном в свою очередь воспроизводит очень давние столкновения между Пушкиным и его отцом. В 1817—1820 годах, по выходе из Лицея, Пушкин жил в Петербурге, тянулся за своими приятелями из среды богатой молодежи и глубоко страдал от отсутствия денег, которое постоянно наносило удары его самолюбию. Мог ли Сергей Львович предоставить ему желаемые средства — вопрос особый. Пушкину, во всяком случае, казалось, что мог, но не хотел. Отчасти оно так и было. Досада на скупость отца не проходила и позже, когда Пушкин жил на юге. По приезде в Михайловское прибавилось негодование на то, что Сергей Львович согласился шпионить за сыном. Последнее обстоятельство само по себе в «Скупом Рыцаре» не отражено: ради художественной цельности Пушкин ограничил арену столкновения денежными делами, потому что в основе трагедии лежит

тема скупости. Но в разработке сюжета он прямо использовал михайловскую историю.

Старый барон ведет себя перед герцогом совершенно так, как Сергей Львович после объяснения с сыном вел себя перед «всем домом».

Начинается с того, что герцог предлагает барону прислать Альбера ко двору. Барон начинает хитрить:

Простите мне, но, право, государь,
Я согласиться не могу на это...

Герцог
Но почему ж?
Барон
Увольте старика...

Он нарочно разжигает любопытство герцога, делая вид, что скрывает какое-то важное обстоятельство. Тогда герцог становится настойчивей:

Я требую: откройте мне причину
Отказа вашего.

Барон продолжает интриговать:

На сына я
Сердит.

Герцог
За что?

Барон
За злое преступленье.

Вот оно: это — первая редакция обвинения, решительная и недвусмысленная. Барон обвиняет сына в совершенном преступлении. В том, что кричал «всему дому» Сергей Львович, этому обвинению соответствует слово «бил». Сергей Львович сгоряча солгал, и ему затем пришлось под допросом домашних понизить свои обвинения. Барон действует обдуманнее: он надеется, что герцог не станет расспрашивать о подробностях: согласится, что раз Альбер преступник, то все кончено и о преступном сыне хлопотать не к чему. Но герцог не унимается:

А в чем оно, скажите, состоит?

Неподготовленный барон просит:

Увольте, герцог...

Герцог
Это очень странно!
Или вам стыдно за него?

Старику этот вопрос на руку. В надежде, что «стыд» позволит ему уклониться от подробного рассказа о «несбыточном преступлении», он подхватывает:

Да, стыдно...

На его несчастье герцог продолжает допытываться:

Но что же сделал он?

Барону отступать некуда. Но так как он знает, что его сын именно ничего не сделал, что никаких доказательств преступного деяния нет, то и называет вину недоказуемую: не проступок, а умысел:

Он... он меня
Хотел убить.

Обвинение сразу сильно понижено — и вполне соответствует второму обвинению Сергея Львовича: «Хотел бить».

Герцог, конечно, догадывается, что барон лжет. Он решается припугнуть старика необходимостью поддержать обвинение перед судом:

Убить! так я суду
Его предам, как черного злодея.

Такая перспектива барону не улыбается, и он заранее отказывается от предъявления доказательств:

Доказывать не стану я, хоть знаю...

В действительности он знает только то, что теперь надо постараться дело замять. И он вторично понижает свое обвинение, на сей раз отрицая даже умысел и сводя дело к психологической возможности умысла:

...хоть знаю,
Что точно смерти жаждет он моей.

Это — тот самый момент, когда Сергей Львович объявил, что Пушкин его «мог прибить».

Однако теперь и это обвинение кажется барону рискованным. Он спешит окончательно затушевать мотив отцеубийства. Он продолжает:

Хоть знаю то, что покушался он
Меня...

Барон останавливается, потому что все-таки еще

не придумал, на что именно покушался Альбер. Но герцог его торопит:

Что?

Далее тянуть некогда, и барон предъявляет обвинение, переводящее все дело в иную плоскость:

Обокрасть.

«Это дело десятое», мог бы сказать спрятанный Альбер словами пушкинского письма к Жуковскому. В сравнении с обвинением чуть ли не в отцеубийстве обвинение в покушении на кражу равняется последнему из обвинений, предъявленных Сергеем Львовичем: «да он убил отца словами». Тут, пожалуй, Альбер мог бы повторить и другое замечание Пушкина: «каламбур и только». Но Альбер — не автор трагедии, а герой. Он «бросается в комнату», кричит отцу: «Барон, вы лжете», — и все кончается так, как должно кончиться в трагедии между рыцарями и как не могло кончиться в 1824 году в Опочецком уезде Псковской губернии.

Автобиографический элемент в «Скупом Рыцаре» замечен давно. Я лишь хотел на конкретном примере показать, под каким углом порой отражал Пушкин действительные события своей жизни в своих творениях.

ДВОР — СНЕГ — КОЛОКОЛЬЧИК

Пущин посетил Пушкина в Михайловском 11 января 1825 года. В это свидание, продлившееся менее суток, многое было сказано, еще больше — почувствовано без слов. Почти целых пять лет не видел Пушкин никого из лицейских друзей, а в последние месяцы, особенно после отъезда брата и сестры из Михайловского, он глубоко томился своей заброшенностью. «Опала» была ему в тягость. Вдобавок он знал, что переписка его вскрывается, а на всех, кто поддерживает с ним отношения, правительство смотрит косо. Гостей ждать не приходилось. И вдруг — неожиданный приезд Пущина. Неудивительно, что от этого свидания в сердце и в памяти осталась не столько беседа, как бы она ни была существенна, сколько пер-

вые мгновения нежданной встречи и вечная благодарность за самый приезд. Любовней, чем разговоры с Пущиным, Пушкин запомнил самое появление друга.

Вот что впоследствии рассказывал Пущин:

«Мчались среди леса по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши на ухабе так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кое-как удержался в санях. Схватили вожжи. Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистою тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились смаху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками... Было около восьми часов утра».

Эта картина запомнилась раз навсегда и Пушкину. Раннее зимнее утро и особенно двор, снег, колокольчик сделались в его поэзии лейтмотивом Пущина. Вспоминая Пущина, он почти неизменно к ним возвращается. И обратно: двор, снег, колокольчик напоминают ему о Пущине.

* * *

О наброске «Стрекотунья-белобока...» известно лишь то, что он сделан в том же 1825 году. Это — первая, самая непосредственная запись о приезде Пущина.

Стрекотунья-белобока,
Под калиткою моей
Скачет пестрая сорока
И пророчит мне гостей.
Колокольчик небывалый
У меня звенит в ушах,
Луч зари сияет алый,
Серебрится снежный прах...

Здесь колокольчик и снег упомянуты прямо. Двор дан в словах «под калиткою моей». Это — те самые ворота, в которые смаху вломились пущинские

сани. Пророча гостей, сорока скачет именно там, откуда суждено появиться гостю.

В седьмом стихе этого наброска иногда читают «луч луны», а не «луч зари». Такое чтение вряд ли правдоподобно. «Алый луч луны», быть может, и не совсем невозможен, но в этой простой картине он был бы некстати. Пушкин о нем сказал бы: «изысканно, а потому плохо». Стрекочущая сорока тоже с луной не вяжется. Главное же — Пушкин правдив и точен. Пущин говорит, что приехал в Михайловское рано утром: «К утру следующего дня уже приближался к желанной цели». Он и еще точнее определяет время: «Было около восьми часов утра». В январе поздно светает — вот откуда и «луч зари».

Не закончив этого стихотворения, Пушкин в том же году начал послание к Пущину, но не закончил и этой пьесы, от которой мы имеем лишь черновой набросок:

Мой давний друг, мой гость бесценный,
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Пустынным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
На стороне глухой и дальной
Забытый кров, шалаш опальный
Ты с утешеньем оживил,
Ты день изгнанья, день печальный
С печальным другом разделил.
Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы?
Скажи, что наши, что друзья?
Где ж эти ласковые лица?
Где молодость? Где ты? Где я?
. . . .
Судьба рукой своей железной
Наш мирный развела Лицей,
Но ты счастлив, о брат любезный,
(Счастлив — ты гражданин полезный)
На избранной чреде своей
Ты победил предрассужденья;
Ты от общественного мненья
Умел потребовать почтенья,
Смиренный возвеличил сан
В глазах .... граждан...

Этот набросок иногда относят к 1826 году, что, конечно, неверно. В 1826 году декабрист Пущин был уже в крепости, и Пушкин не мог, как ни в чем не бывало, говорить о его судейской деятельности да еще

прибавлять: «Но ты счастлив, о брат любезный». В действительности было, конечно, иначе. По тем или иным причинам не кончив послания, набросанного ранее 19 октября 1825 года, Пушкин затем воспользовался им дважды. В первый раз — для «19 октября 1825 г.». Начальными пятью стихами на этот раз воспользоваться было нельзя. Мотив «двор — снег — колокольчик» был бы слишком живописен и детален для этой пьесы. Но второе пятистишие, как легко убедиться из сравнения, было Пушкиным широко использовано в 12 строфе первоначальной (полной) редакции:

...Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

Последние четыре стиха неконченного послания отразились в следующей, позднее отброшенной строфе, где о судейской деятельности Пущина говорится почти в тех же выражениях:

Ты освятил тобой избранный сан,
Ему в глазах общественного мненья
Завоевал почтение граждан.

Наконец, надо заметить, что девятый стих наброска имел вариант:

Ты *день отрадный, день печальный...*

Пушкин с изумительной тонкостью как бы разложил, расплел его в заключительной строфе «19 октября»:

Пускай же он с *отрадой*, хоть *печальной*,
Тогда сей *день* за чашей проведет, —

после чего повторил и рифму из первоначального наброска:

Как ныне я, затворник ваш *опальный*,
Его провел без горя и забот.

* * *

Второе использование наброска произошло значительно позже. К нему мы еще вернемся. После «19 октября 1825 г.» Пушкин некоторое время не обращался прямо к теме пущинского приезда. Но заглушенно она прозвучала еще дважды — и оба раза вскоре после 19 октября.

Через два месяца, 12—13 декабря, был в два утра написан «Граф Нулин», в котором описание грязного двора, на который глядит героиня, прерывается стихом:

Вдруг колокольчик зазвенел...

Этот вид двора и звук колокольчика натолкнули воспоминание на приезд Пущина, и Пушкин тотчас прервал повествование лирическим отступлением — единственным во всей повести:

Кто долго жил в глуши *печальной*,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик *дальной*
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?
Уж не она ли? Боже мой!
Вот ближе, ближе. Сердце бьется.
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей... и смолкнул за горой.

Несмотря на то, что здесь говорится об обманутой надежде на приезд друга, все же в этих стихах есть несомненный отзвук пущинского колокольчика. Однако ход пушкинской мысли тут еще сложнее. Дело в том, что стих «Не друг ли едет запоздалый?» имеет самостоятельное отношение к «19 октября 1825 г.». Там, обращаясь к Кюхельбекеру, Пушкин говорил: «Я жду тебя, мой запоздалый друг». Таким образом, по поводу двора и колокольчика Пушкин вспоминает: о приезде Пущина, о «19 октября 1825 г.» и о несостоявшемся приезде Кюхельбекера.

Однако на этом лирическом отступлении воспоминание о приезде Пущина не оборвалось. Возвращаясь к прерванному повествованию, Пушкин говорит:

Наталья Павловна к балкону
Бежит, обрадована звону,
Глядит и видит: за рекой,
У мельницы, коляска скачет.

Если мы перечтем «Деревню», «Домовому», «Вновь я посетил...», то заметим, что Наталья Павловна со своего балкона видит михайловский пейзаж, открывающийся с того балкона, на который Пушкин выбежал встречать Пущина. После этого сама собою напросится мысль, что упавшая на бок коляска графа Нулина имеет некоторую связь с перевернувшимися санями Пущина. Я отнюдь не хочу сказать, будто

замысел «Графа Нулина» имеет хоть какое-нибудь отношение к пущинскому приезду, но в разработке деталей и в частности — в мотивировке того, почему Нулин очутился гостем Наталии Павловны, есть несомненный отзвук воспоминаний об этом событии.

Через три недели после написания «Графа Нулина» Пушкин начал пятую главу «Евгения Онегина»:

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе;
Зимы ждала, ждала природа,
Снег выпал только в январе,
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший *двор*,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные *горы*
Зимы блистательным ковром...

В «Графе Нулине» Пущин вспомнился от двора и колокольчика. Теперь — от утра, двора и снега, покрывшего гористую местность, — и тотчас воспоминание проступило наружу в виде упоминания о сороках, взятых из первого наброска, связанного с приездом Пущина.

* * *

Как сказано выше, начальные строки послания к Пущину остались неиспользованными в «19 октября 1825 г.». Пушкин использовал их 13 декабря 1826 года, в канун годовщины декабрьского восстания и в самую годовщину написания «Графа Нулина». Теперь это было вновь послание к Пущину, уже сосланному в Сибирь. Все послание содержит в себе лишь десять стихов. Из них первые пять почти без изменений заимствованы из первого послания:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Вторая половина стихотворения как нельзя более точно подтверждает ту мысль, что в воспоминаниях о приезде Пущина всего драгоценнее был для Пушкина

именно самый факт неожиданного и утешительного приезда, навсегда связавшийся со звуком нежданного колокольчика. Теперь Пушкин хочет отплатить другу, заброшенному в Сибирь, радостью, хотя бы напоминающею ту, которую некогда доставил ему Пущин: свое послание, самый факт, самый звук его, он сравнивает со звуком того колокольчика:

Молю святое Провиденье,
Да *голос* мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом Лицейских ясных дней.

На этом кончается «тема Пущина». Слабый отголосок ее встречаем мы еще только раз: в 1835 году, в стихотворении «Вновь я посетил...», при виде того домика, в котором он жил с нянею, Пушкин говорит:

Вот *опальный* домик...

Здесь в третий раз употреблен эпитет, впервые произнесенный в наброске послания к Пущину, а во второй раз — в «пущинской» строфе «19 октября 1825 г.».

СТИХИ И ПИСЬМА

Не любя отца и постоянно подшучивая над дядей, которые оба считали себя остроумцами, он плохие свои каламбуры приписывал наследственности. Довольно натянуто скаламбурив в письме к Вяземскому (середина апреля 1825 года), он прибавляет: «Извини эту плоскость: в крови!» В начале декабря того же года, написав Кюхельбекеру, что духом прочел его комедию «Шекспировы духи», он делает сноску: «Calembour! reconnais-tu le sang?»[1]

Вообще же свои остроты и удачные выражения он помнил и не прочь был повторить. Так, 4 сентября 1822 года в письме к брату он острит, говоря, что стих Кюхельбекера «так пел в Суворова влюблен Державин» — «слишком уже Греческий». В апреле 1825 года он сообщает Вяземскому, что переписывает для него

[1] «Каламбур! узнаешь кровь?» (*фр.*)

«Евгения Онегина», и прибавляет: «Отроду ни для кого ничего не переписывал, даже для Голицыной — из сего следует что я в тебя влюблен, как кюхельбекерской Державин в Суворова».

В начале января 1824 года, в письме к брату, он бранит лобановский перевод «Федры» и, процитировав стих:

Тезея жаркий след иль темные пути, —

прибавляет: «Мать его в рифму!» — а 29 ноября того же года пишет Вяземскому: «Ольдекоп, мать его в рифму, надоел!»

В середине ноября 1824 года он писал брату по поводу петербургского наводнения, того самого, которое впоследствии стало сюжетом «Медного Всадника»: «Что это у вас? потоп? ничто проклятому Петербургу! voilà une belle occasion à vos dames de faire bidet[1]». Через месяц, не получив ответа на свою остроту, он спрашивает: «Получил ли ты мое письмо о Потопе, где я говорю тебе voilà une belle occasion pour vos dames de faire bidet? NB. NB.»

17 августа 1825 года он пишет Жуковскому об «Истории» Карамзина и прибавляет: «c'est palpitant comme la gazette d'hier[2], писал я Раевскому».

9 сентября 1830 года он рассказывает Плетневу о последних минутах В.Л.Пушкина: «Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: как скучны статьи Катенина! и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином на щите». Через четыре года он извещает И.И.Дмитриева (14 февраля 1835 года) о смерти секретаря Академии, «умершего на щите, то есть на последнем корректурном листе своего Словаря».

В его письмах нередки цитаты из собственных стихов — точные или несколько измененные. В письме к Тургеневу от 7 мая 1821 года четверостишие из элегии 1820 года:

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края,
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья! —

---

[1] вот прекрасный случай вашим дамам подмыться (*фр.*).
[2] это волнующе, как свежая газета (*фр.*).

дает ему повод написать: «Дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут искателя новых впечатлений». 26 сентября 1822 года, в письме к Я.Н.Толстому: «Ты один из всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне». 29 июня 1824 года — А.А.Бестужеву: «Постарайся увидеть Никиту Всеволожского, лучшего из минутных друзей моей минутной младости».

Известная эпиграмма на Кюхельбекера, кончающаяся стихом: «И кюхельбекерно, и тошно», — написанная еще в 1818 году, откликается в письме к брату от 30 января 1823 года: «Кюхельбекерно мне на чужой стороне». В письме к Вяземскому (конец июня 1824 года) стих повторен в точности. Еще раньше, 27 июня 1822 года, он сообщает из Кишинева Гнедичу: «Здесь у нас *молдаванно* и тошно», — и сам подчеркивает слово «молдаванно» как неологизм от общеизвестного «кюхельбекерно».

Стих «Святую заповедь Корана» («Бахчисарайский Фонтан») приведен в письме к Вяземскому от конца июня 1824 года: «С другой стороны деньги, Онегин, святая заповедь Корана — вообще мой эгоизм...»

Во второй половине декабря 1824 года он повторяет в письме к брату два стиха из «Уединения»: «Кто думает ко мне заехать? Избави меня

От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала».

Посвятив Н.С.Алексееву в 1821 году стихи: «Мой милый, как несправедливы...», — 26 декабря 1830 года он начинает письмо к нему же словами: «Мой милый, как несправедливы — твои упреки моей забывчивости и лени!»

В «Путешествии Онегина» несколько раз повторяется: «Тоска, тоска!» После этого (и *только* после этого) восклицание появляется в письмах: С.Д.Киселеву, 15 ноября 1829: «В Петербурге тоска, тоска»; Плетневу, 21 января 1831: «Грустно, тоска»; Н.Н.Пушкиной, 16 декабря 1831: «Тоска, мой Ангел»; ей же, конец июля 1834: «Тоска, тоска!»

В конце 1824 года, в стихотворении «Сказали раз царю...», он написал:

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства, —

а 25 января 1825 года, по совершенно иному поводу, повторил: «В подлостях нужно некоторое благородство».

«Явись, возлюбленная тень!» — сказано в «Заклинании» (1830), а в письме к Плетневу от 11 апреля 1831 года: «Если тебя уже нет на свете, то, тень возлюбленная, кланяйся от меня Державину...»

В 14—15 строфах VIII главы «Евгения Онегина» Пушкин говорит о Татьяне:

Она казалась верный снимок
Du comme il faut...[1]
. . . .
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar...[2]

Через три года, в письме к жене от 30 октября 1833 года: «...ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет Московской барышнею, все, что не comme il faut, все, что vulgar...»

Таких переносов из стихов в письма можно указать еще много. Мы ограничились наиболее выразительными примерами. Однако гораздо больший психологический интерес представляют случаи обратного переноса: из писем в стихи.

Еще 2 января 1822 года, в письме к Вяземскому, он назвал Буянова, героя дядиной поэмы, своим двоюродным братом. Четыре года спустя, в V главе «Евгения Онегина», «Мой брат двоюродный Буянов» указан в перечне ларинских гостей.

1 сентября 1822 года в письме к тому же Вяземскому сказано: «Лета клонят к прозе» — и повторено года через четыре в «Евгении Онегине» (VI, 43):

Лета к суровой прозе клонят.

Когда умерла тетка Анна Львовна, а кн. Шаликов сочинил стихи на смерть ее, Пушкин писал сестре (4 декабря 1824): «Au vrai j'ai toujours aimé ma pauvre tante, et je suis fâché que Chalikof ait pissé sur son tombeau»[3]. Месяцев через пять, в «Элегии на смерть

---

[1] приличия, благопристойности (*фр.*).
[2] вульгарным (*фр.*).
[3] «Право, я всегда любил мою бедную тетку, и мне досадно, что Шаликов помочился на ее могилу» (*фр.*).

Анны Львовны», написанной при участии Дельвига, появились стихи:

Увы! зачем Василий Львович
Твой гроб стихами обмочил?..

«Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа» (Рылееву, конец мая 1825). После этого — в «Сцене из Фауста»:

Вся тварь разумная скучает.

4 декабря 1825 года он писал Катенину о своих «Цыганах»: «Это годится для публики, но тебе надеюсь я представить что-нибудь более достойное твоего внимания». В посвящении «Евгения Онегина» (1827) сказано очень близко к этому:

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя.

В полустихотворном-полупрозаическом письме к Соболевскому (9 ноября 1826) Пушкин советует:

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок...

Впоследствии — в «Путешествии Онегина»:

Пред ним Валдай, Торжок и Тверь.
Тут у привязчивых крестьянок
Берет три связки он баранок...

1 июня 1831 года он пишет Вяземскому: «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря». Через два месяца эти слова переложены в стихи:

Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор...
. . . .
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда.

4 декабря 1824 года он писал брату: «Пришли же мне Эду Баратынскую. Ах он Чухонец! да если она милее моей Черкешенки, так я повешусь...» Здесь уже заключены все элементы стихотворения, с которым он позже обратился к Баратынскому, прочитав неблагоприятный отзыв критика об «Эде»:

Стих каждый повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой Зоил — прямой чухонец.

Эти стихи, в свою очередь, вскоре отозвались в обращении к Гомеру — в 37 строфе V главы «Евгения Онегина»:

Но Таня (присягну) милей
Елены пакостной твоей.

Здесь же, кстати, укажу для примера один случай перенесения образа из письма — сначала в статью, а потом в повесть. 6 февраля 1823 года Пушкин писал Вяземскому: «До сих пор читая рецензии Воейкова, Каченовского и проч. — мне казалось, что подслушиваю у калитки литературные толки приятельниц Варюшки и Буянова» (то есть толки публичного дома). В так называемых «Отрывках из разговоров» (1830) читаем: «Извините, Пушкин читает все №№ "Вестника Европы", где его ругают, что значит, по его энергичному выражению, — *подслушивать у дверей*, что *говорят о нем в прихожей*». Отсюда — в «Египетские ночи» (1835): «Имея поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения и имел удовольствие потом читать о них печатные суждения... что называл он на своем энергическом простонаречии — подслушивать у кабака, что говорят об нас холопья».

ВДОХНОВЕНИЕ И РУКОПИСЬ

В апреле 1824 года Пушкин пишет Вяземскому, рассуждает о классической и романтической поэзии, но вдруг обрывает свои рассуждения: «Обо всем этом поговорим на досуге. Теперь поговорим о деле, т.е. о деньгах». Спустя десять лет эта фраза повторена почти дословно в письме Нащокину: «Сперва поговорим о деле, т.е. о деньгах». Года за полтора до смерти, в письме к В.Ф.Одоевскому, он рассуждает: «Зачем мне sot[1]-действовать Детскому журналу? уже и так говорят,

[1] дурак (*фр.*).

что я в детство впадаю. Разве уж не за деньги ли? О, это дело не детское, а дельное».

Таких высказываний в его письмах немало. Порой они облекаются в форму афористическую: «Деньгами нечего шутить; деньги вещь важная», — пишет он Плетневу в 1830 году, а спустя несколько месяцев, в письме к нему же, выделяет в особую строку:

«Деньги, деньги: вот главное».

Он был стыдлив и скрытен. Пуще всего он боялся предстать глазам современников в ореоле сладенькой поэтичности. Эта боязнь постоянно заставляла его ревниво скрывать свое поэтическое лицо под разными масками: шалуна из числа золотой молодежи, картежника, циника, светского человека. Маска литературного дельца была в том числе. Он любил себя выставлять *торгующим* стихами. В 1821 году писал он Гречу из Кишинева о «Кавказском Пленнике»: «Хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы? длиною в 800 стихов; стих шириною — 4 стопы — разрезано на 2 песни: дешево отдам, чтоб товар не залежался». Когда «Бахчисарайский Фонтан» стал известен публике ранее появления в печати, Пушкин писал брату, что при таких условиях впредь ему невозможно будет «продавать себя» с барышом, и далее жаловался: «Ни ты, ни отец... денег не шлете, а подрываете мой книжный торг». В письмах к Вяземскому и Гнедичу называет он себя владельцем «мелочной лавки». В 1828 году, когда его хотели заставить даром работать в журнале, он писал Соболевскому: «Да еще говорят: он богат, чорт-ли ему в деньгах. — Положим, так, но я богат через мою торговлю стишистую, а не прадедовскими вотчинами...» Летом 1830 года он просит своего кредитора Огонь-Догановского об отсрочке: «Я никак не в состоянии, по причине дурных оборотов, заплатить вдруг 25 тыс.»

Иногда свой литературный доход сравнивал он с помещичьим. Уже в 1825 году, обещая отдать долг Вяземскому, он писал ему: «Жди оброка, что соберу на днях с моего сельца С.-Петербурга». В августе 1831 года, назначая высокую цену за экземпляр «Повестей Белкина», он говорит в письме к Плетневу: «Думаю, что публика будет беспрекословно платить сей умеренный оброк и не принудит меня принять строгие меры». Тот же мотив звучит в стихотворных набросках 1833 года:

Вы говорите: «слава Богу,
Покамест твой Онегин жив,
Роман не кончен. Понемногу
Пиши ж его — не будь ленив.
Со славы, вняв ее призванью,
Сбирай оброк хвалой и бранью...
. . . .
И с нашей публики меж тем
Бери умеренную плату:
За книжку по пяти рублей —
Налог не тягостный, ей-ей.

Или в другом наброске:

Ты мне советуешь, Плетнев любезный,
Оставленный роман мой продолжать...
Брать с публики умеренную плату —
За каждый стих по десяти рублей
(Составит, стало, за строфу сто сорок) —
Оброк пустой для нынешних людей...

В третьем — несколько иначе:

Ты вставишь ряд картин, откроешь диораму,
Прихлынет публика, платя тебе за вход,
Что даст тебе и славу, и доход.

Наконец, печатая «Историю Пугачевского бунта», в письме жене от 15 сентября 1834 года он называет Пугачева своим «оброчным мужичком».

Поза литературного дельца была им, однако ж, не выдумана. Обстоятельства, в самом деле, заставляли его смотреть на занятие литературой как на заработок. В письме к Бенкендорфу от 29 июля 1827 года он говорит об этом всего отчетливей: «Не имея другого способа к обеспечению моего состояния, кроме выгод от посильных трудов моих...» и т.д. В следующем году он пишет тому же Бенкендорфу: «Как надлежит мне поступить с моими сочинениями, которые, как Вам известно, составляют одно мое имущество?»

Нельзя не заметить, впрочем, что своим положением литератора-профессионала он иногда пользуется перед лицом правительства опять же для маскировки: самое влечение к литературе он прикрывает необходимостью добывать деньги. Вдохновение, вещь легкомысленную и даже подозрительную в глазах начальства, он подменяет нуждой в деньгах. В июле 1833 года он пишет Мордвинову: «Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною нача-

тую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать? они одни доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге...» Эта книга была «Капитанская дочка». Что писание книг есть в глазах начальства суетное занятие, он давно знал. Еще в 1824 году он писал Казначееву: «Ради Бога не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость». Он знал, что таким образом выставляет себя в глазах начальства человеком благонамеренным. Правда, несколько дней спустя, в письме к тому же Казначееву, он выражает ту же мысль несколько точнее и, что касается вдохновения, несколько правдивее: «J'ai déjà vaincu ma répugnance d'écrire et de vendre mes vers pour vivre — le plus grand est fait. Si je n'écris encore que sous l'influence capricieuse de l'inspiration, les vers une fois écrits je ne les regarde plus que comme une marchandise à tant la pièce»[1].

Эта промышленная эксплоатация вдохновения была ему на первых порах, в самом деле, тяжела. Необходимость торговать стихами переживал он как унижение, которое прикрывал, как всегда, цинической позой. Прося Вяземского скорее печатать «Бахчисарайский Фонтан», он ему пояснял: «Не ради славы прошу, а ради Мамона». В январе 1824 года он писал брату: «Русская слава льстить может какому-нибудь В.Козлову, которому льстят и Петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других. Mais pourquoi chantais-tu?[2] на сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги — таков я в наготе моего Цинизма».

Однако перед самим собою одним напускным цинизмом отделаться было трудно. Пушкин настой-

[1] «Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это, — самый трудный шаг сделан. Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар по столько-то за штуку» (*фр.*).

[2] Но почему ты пел? (*фр.*)

чиво искал формулы, которая примирила бы вдохновение с торговлей стихами. 8 февраля того же года он, наконец, пишет Бестужеву о «Бахчисарайском Фонтане»: «Я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги были нужны». Ровно месяц спустя, 8 марта, в письме к Вяземскому, формула уже выработана окончательно и лапидарно: «Я пишу для себя, а печатаю для денег». Эта формула и остается его заповедью на всю жизнь. В том же году он ее выражает поэтически в «Разговоре книгопродавца с поэтом»:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

В 1833 году он начал набрасывать стихотворение, в котором повторил ту же мысль почти в той же форме, как некогда писал Вяземскому:

На это скажут мне с улыбкою неверной:
Смотрите — вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите, вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она;
Зачем же пишете? — Я? для себя. — За что же
Печатаете вы? — Для денег. — Ах, мой Боже,
Как стыдно! — Почему ж?..

На этом стихи обрываются, но в «Египетских ночах» Пушкин рассказывает о своем «приятеле»-стихотворце: «Долго бы дожидалась почтеннейшая публика подарков от моего приятеля, если б книгопродавцы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имея поминутно нужду в деньгах, приятель мой печатал свои сочинения».

Его нелюбовь к славе, то есть к шумихе, сопряженной с опубликованием писаний, окончательно сложилась к началу тридцатых годов. За несколько дней до свадьбы он писал Плетневу: «Взять жену без состояния — я в состоянии — но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять по крайней мере на свадьбе. Делать нечего: придется печатать мои повести». Три года спустя та же мысль высказана еще отчетливее в письме к Погодину: «Много пишу про себя, а печатаю поневоле и единственно ради денег».

Между тем семейная жизнь вызвала резкое увеличение расходов. Требовалось увеличить и литературное производство. Тут, однако же, получался порочный круг: «Нет у меня досуга, вольной холостой жиз-

ни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде; все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения» (Нащокину, 25 февраля 1833).

Все настоятельней становилась нужда не только продавать рукописи, но и искусственно возбуждать самое вдохновение. Это было ему так противно, что он проговаривался даже Бенкендорфу: «Il m'est tout à fait impossible d'écrire pour de l'argent»[1] (1 июня 1835). Осенью он уехал в Михайловское, чтобы там спокойно работать. Но именно потому, что нужно было писать для денег, а не для себя, — он не мог делать ничего и приходил в отчаяние. Он напрягал воображение, но оно направлялось не в ту сторону. Он писал жене: «Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет?.. Писать книги для денег, видит Бог, не могу».

БУРИ

В мае 1820 года Пушкин был выслан из Петербурга. Через полтора месяца, на Кавказе, вспоминая свою вдохновенную жизнь перед высылкой, он писал:

На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
А между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной.

Первое же воздействие правительства в первых же стихах представлено в виде грозы. Позже, намекая на то же событие, он иронически замечает:

Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель!
Там некогда гулял и я,
Но вреден север для меня.

[1] «Я совершенно не могу писать для денег» (*фр.*).

Здесь неблагорасположение правительства представлено в виде вредного климата. Далее, в 50 строфе той же I главы «Евгения Онегина», мечты о побеге за границу оказываются вновь связаны с образами погоды и климата:

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России...

Четыре года спустя, за новые провинности, его пересослали из Одессы в Михайловское. Одним из первых стихотворений, там написанных, был «Аквилон», в котором ветер, черные тучи, гроза, зефир суть иносказания, прикрывающие правду об отношениях Александра I к Пушкину. В этих стихах много презрения ко всемогущему «Аквилону», который, низвергнув дуб, своей злобой преследует и бессильный пред ним тростник.

Вслед за «Аквилоном», в послании к Языкову, мы читаем:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье.

Летом 1825 года написано «Я помню чудное мгновенье...», в котором речь идет о двух встречах с А.П.Керн: в 1819 и в 1825 годах. Между этими двумя встречами лежит момент ссылки, о котором сказано:

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный...

Позже, в VIII главе «Евгения Онегина», изображая превращения своей Музы, Пушкин говорит:

И позабыв столицы дальной
И блеск, и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ними одичала,

И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом:
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной...

Здесь Муза является сперва как внушительница «Цыган», потом — в образе Татьяны. Эти два явления отделены друг от друга строкой: «Вдруг изменилось все кругом». Весьма примечательно, что в черновике она читалась иначе:

Но дунул ветер, грянул гром...

Этот стих намекал на ссылку из Одессы в Михайловское. Хронологически здесь была неточность: момент ссылки не приходился между созданием «Цыган» и появлением Татьяны, потому что «Цыганы» окончены уже в Михайловском, а первые главы «Евгения Онегина» написаны еще на юге. Но психологически Пушкин был вполне правдив, когда момент ссылки считал границею между одесскими вдохновениями «Цыган» и михайловскими вдохновениями «Евгения Онегина».

Своей ссылки он также коснулся в «19 октября 1825 г.» — и вновь прибегнул к тому же иносказанию:

Из края в край преследуем грозой...

И далее:

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной...

* * *

В «Арионе» гроза и вихрь знаменуют катастрофический конец декабристского движения. Через две недели после «Ариона» заключительный мотив этого стихотворения:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою —

повторен в «Акафисте Е.Н.Карамзиной»:

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный Провиденьем — *и т.д.*

В 1828 году, когда неприятности по делу об «Андрее Шенье» сменились опасениями пострадать за «Гавриилиаду», Пушкин пишет «Предчувствие»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине...
. . . .
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду...

13 апреля 1835 года помечено стихотворение «Туча». Точно установить, какие события послужили поводом к этой пьесе, трудно. Что была за «последняя туча» «промчавшейся», «рассеянной бури», какая «молния» угрожала поэту, какой «таинственный» гром до него доносился — обо всем этом можно только догадываться. Некоторые исследователи полагают, что здесь идет речь о неприятности, происшедшей между Пушкиным и Николаем I в июле 1834 года. Как бы то ни было, нельзя сомневаться, что и на сей раз дело касалось сношений с правительством.

* * *

Не только о вмешательстве правительства в его жизнь он говорит, как о погоде. С погодою сравниваются и общие политические события в Европе.

В 1824 году, по поводу русско-польских отношений, он обращается к гр. Олизару:

Певец, издревле меж собою
Враждуют наши племена,
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою.

Через семь лет, по поводу польского восстания 1831 года, эти стихи почти дословно перенесены в «Клеветникам России»:

Уже давно между собою
Враждуют эти племена.
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.

О терроре французской революции Пушкин говорит устами Андрея Шенье: «И буря мрачная минет». Там же: «Когда гроза пройдет...»

В «19 октября 1836 г.» говорится о «грозе двенадцатого года». Там же состояние Европы в конце двадцатых годов изображено в следующих стихах:

И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлися новы тучи,
И ураган их...

* * *

К иносказаниям, прикрывающим всяческие невзгоды именем бурь, гроз, ураганов, мы давно привыкли. Для нас они стали банальностью. Иное дело — Пушкин. Уже и в его эпоху они не были новы, но еще сохраняли свежесть, выражали некое реально переживаемое соответствие. Поэтому мы их находим и в письмах Пушкина.

В 1822 году, приравнивая свою участь к участи Овидия, он в письме к брату цитирует собственный стих: «О други, Августу мольбы мои несите!» — и тотчас, мысленно подставляя на место Августа Александра I, дает каламбур: «Но Август смотрит сентябрем» (то есть надежды на возвращение из ссылки нет).

Получив от брата ответ, до нас не дошедший, Пушкин вновь пишет ему 30 января 1823 года: «Ты не приказываешь жаловаться на погоду — в Августе месяце — так и быть — а ведь неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется».

Через четыре месяца после высылки из Одессы он начинает письмо к одному из тамошних знакомых: «Буря, кажется, успокоилась, осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда и подать вам голос...». Это письмо сохранилось только в черновике и, может быть, не было отослано. 13 августа 1825 года тою же фразою начинается письмо к другому одесситу — В.И.Туманскому: «Буря, кажется, успокоилась: осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда».

23 февраля 1825 года, почти повторяя уже цитированный стих из «Евгения Онегина», он пишет Гнедичу: «Сижу у моря, жду перемены погоды», то есть перемены своей участи. В том же году, 6 октября, на ту же тему он пишет Жуковскому: «Милый мой, посидим у моря, подождем погоды».

Когда в 1831 году кн. Вяземский, который тоже был не в фаворе у власти, сделан был камергером, Пушкин его поздравляет в шутливом послании и говорит:

Так солнце и на нас взглянуло из-за туч.

Может возникнуть предположение, что в письмах политика прикрыта метеорологией из опасения перлюстрации. Такое предположение заранее следует отклонить. Пушкин, конечно, знал, что перлюстраторы

достаточно сообразительны, чтобы понимать его намеки и каламбуры. Скорее, такие шутки могли быть ему поставлены в вину как неуважительные в отношении государя и правительства. Наконец, в одном письме (к А.Н.Гончарову, 9 сентября 1830) он сам расшифровывает иносказание: «Сношения мои с правительством подобны вешней погоде: поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла тучка...» Такую же расшифровку встречаем и в дневнике, где под 22 июля 1834 года записано: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я с двором...»

Но это не все. Переписка Пушкина открывает нам совпадение многозначительное. Оказывается, что к тому же иносказанию Пушкин прибегает еще в одном случае. Осенью 1830 года, когда он был в Нижегородской губернии, началась холерная эпидемия и карантины надолго отрезали его от Москвы. И вот, об этой помехе он говорит буквально в тех же выражениях, как о правительстве. 28 октября он пишет Плетневу: «Воротился в Болдино и жду погоды». 4 ноября — Дельвигу: «Жду погоды, чтобы жениться и добраться до Петербурга».

Тогда же, в Болдине, написал он песнь председателя из «Пира во время чумы» (кстати сказать — чумой в своих письмах он неоднократно зовет холеру). Примечательно, что и здесь прежде всего дано сравнение с погодой:

Когда могущая Зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов, —
Навстречу ей трещат камины.
И весел зимний жар пиров.

Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама...
. . . .

Как от проказницы Зимы,
Запремся так же от Чумы...

Что же общего между русским правительством, якобинской революцией, войной, мором и дурной погодой? Ответ ясен: и организованная государственность, и разнуздавшаяся масса, и бушующая стихия — все это явления, одинаково лежащие вне личности, вторгающиеся в ее жизнь и подавляющие ее свободу. Молодому Пушкину было невтерпеж «сидеть взапер-

ти, когда гулять хочется». Постепенно ему сделалось так же невыносимо все то, от чего приходится запираться в доме, как от чумы:

> Зависеть от царей, зависеть от народа —
> Не все ли нам равно?..

Он мечтал от того и другого бежать «в обитель дальнюю трудов и чистых нег»; «труды поэтические, семья, любовь» — вот что его манило. Но он не сумел бежать — и погиб, как бедный Евгений, который пытался бороться с Медным Всадником — демоном бури и государственности.

О ДВУХ ОТРЫВКАХ

В первом издании «Поэтического хозяйства Пушкина» была помещена заметка о стихотворении «Куда же ты? — В Москву...» Впервые опубликованное Анненковым, оно почти семьдесят лет печаталось во всех изданиях Пушкина под вымышленным (и бессмысленным) заглавием «Из записки к приятелю». Я предложил считать его не самостоятельной пьесой, а окончанием стихотворения «Румяный критик мой...», до тех пор считавшегося неоконченным. Мое предложение было принято всеми компетентными редакторами, и ныне оба отрывка печатаются слитно. Таким образом, надобность в этой заметке миновала, и я ее здесь не перепечатываю.

Тогда же возникло у меня другое предположение, сходное с предыдущим. Несмотря на все поиски, никаких объективных подтверждений моей догадки на сей раз добыть мне не удалось, хотя, с другой стороны, я не нашел ничего, что бы могло послужить к ее опровержению. Поэтому я высказываю свою мысль в качестве всего лишь предположения.

Дело идет о стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу...» Для наглядности привожу его полностью.

> Когда за городом, задумчив, я брожу
> И на публичное кладбище захожу,
> Решетки, столбики, нарядные гробницы,
> Под коими гниют все мертвецы столицы,

В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших Мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут,
Зеваючи, жильцов к себе на утро ждут, —
Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых Гениев, растрепанных Харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

Этот текст мною взят из издания «Пушкин и его современники» (вып. XXXIII—XXXIV, стр. 408—410), где он воспроизведен с рукописи, представляющей собою вторую стадию работы, то есть не первоначальный черновик, но и не окончательную беловую, а перебеленный черновик, тут же еще раз подвергшийся обработке, которая в нем коснулась тринадцати стихов из $27^1/_2$, составляющих пьесу. Возможно, что данная редакция этих $27^1/_2$ стихов — окончательная. Но это не значит, что мы имеем законченную пьесу. Напротив, не приходится сомневаться, что Пушкин собирался ее продолжить. В том убеждают ее содержание и построение.

Первые $16^1/_2$ стихов содержат брезгливое описание пригородного кладбища, законченное энергически выраженным желанием «хоть плюнуть да бежать». Со второй половины семнадцатого стиха мысль Пушкина обращается к иному, воображаемому, зрелищу — кладбищу деревенскому, изображенному с любовью и благоговением. Но тут пьеса на полустихе обрывается. Перед нами оказываются лишь теза и антитеза: два кладбища, внушающие поэту глубоко противополож-

ные чувства и мысли. Несомненно, что Пушкин на этом остановиться не мог. Из данного противопоставления должен быть сделан вывод, взятый аккорд требует разрешения. Мы имеем дело лишь с экспозицией более обширной пьесы. То, что под стихами стоит дата: «14 авг. 1836», — отнюдь не меняет дела: таких дат, отмечающих не окончание, а лишь пройденный этап работы, у Пушкина сколько угодно, он любил их ставить.

Уже с начала 1833 года отношения Пушкина с петербургским обществом и с двором стали портиться. «Свинский Петербург» становился ему все более мерзок. В приведенных стихах сквозь жестокое описание городского кладбища слышится готовность с такою же или с еще большею резкостью высказаться о самом городе. Пошлое, лживое и неблаголепное прибежище, болото, на котором гниют «все мертвецы столицы», показано Пушкиным в качестве завершения такой же пошлой и лживой жизни столичных обитателей. Желание «хоть плюнуть да бежать» с «публичного» городского кладбища, чтобы посещать «кладбище родовое», заключает желание вообще бежать из столицы в деревню. С какою силой оно владело Пушкиным в последние годы его жизни — общеизвестно. Мне кажется, что именно этой теме и предстояло быть развитой в дальнейших строках стихотворения. Среди незаконченных пьес Пушкина имеется одна, которая и по содержанию, и по характеру стиха могла бы служить такой цели. Коротко говоря, мне думается, что стихотворение «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...» есть не самостоятельная пьеса, а продолжение стихотворения «Когда за городом...» После некоторого недостающего соединительного звена, не написанного Пушкиным или до нас не дошедшего, должно было следовать:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия — а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить — и глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Как известно, на этом стихотворение не должно было закончиться. В его единственном автографе,

представляющем собою также получерновик, вслед за стихами написана программа дальнейшего:

«Юность не имеет нужды в at home[1], зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой.

О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтич. — семья, любовь etc.[2] — религия, смерть».

Эта программа не была Пушкиным осуществлена. Однако бесспорно, что она как нельзя более естественно могла быть связана со стихами, составляющими «Когда за городом...» Такой ход пьесы кажется тем более правдоподобным, что он не только соответствует мыслям и настроениям Пушкина в последние годы его жизни, но и согласуется с некоторыми другими стихами его: с попытками перевода «Hymn to the Penats»[3] Соути и особенно с черновым наброском:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...

ПРАДЕД И ПРАВНУК

То, что некогда пережил он сам, Пушкин нередко заставлял переживать своих героев, лишь в условиях и формах, измененных соответственно требованиям сюжета и обстановки. Он любил эту связь жизни с творчеством и любил для самого себя закреплять ее в виде лукавых намеков, разбросанных по его писаниям. Искусно пряча все нити, ведущие от вымысла к биографической правде, он, однако же, иногда выставлял наружу их едва заметные кончики. Если найти такой кончик и потянуть за него — связь вымысла и действительности приоткроется.

По семейному преданию, первая жена арапа Ибрагима, пушкинского прадеда, изменила своему мужу,

---

[1] в своем доме (*анг.*).
[2] и т.д. (*лат.*)
[3] «Гимн к пенатам» (*анг.*).

родила белого ребенка и была заточена в Тихвинский монастырь. Ныне это предание отчасти опровергнуто, но Пушкин в него верил. 15 сентября 1827 года он сказал своему приятелю А.Н.Вульфу, что эта история должна составить главную завязку «Арапа Петра Великого».

По неизвестной причине работа Пушкина над этою повестью оборвалась на сватовстве Ибрагима. То, как должны были развернуться дальнейшие события, мы знаем только благодаря словам, сказанным Вульфу. Но как раз те главы, которые были написаны и сохранились до нас, содержат отражения подлинных событий пушкинской жизни, непосредственно предшествовавших писанию. Роман был задуман еще до этих событий, но не в том, как он задуман, а в том, как начал писаться, не в плане, а в разработке деталей заключены отголоски действительности. Будучи отчасти схож лицом со своим прадедом, Пушкин в романе заставил его самого сходствовать с правнуком в некоторых мыслях и житейских положениях.

«Арап Петра Великого» начат в июле 1827 года. За десять месяцев до того опальный Пушкин был прощен государем, возвращен из ссылки и доставлен в Москву, прямо во дворец. Как царь Петр, если не считать ямщиков, был первым человеком, которого черный предок Пушкина встретил при въезде в Россию из-за границы, так Николай Павлович был первым, кого Пушкин увидел при возвращении на волю. Доставленный во дворец фельдъегерем, он стал свободным человеком лишь по выходе из дворца. Известно, с каким доверием отнесся он к царской ласке, как уверовал в ум, доброту и великодушие государя, в его любовь к просвещению. В те дни он воистину не льстил, слагая царю «свободную хвалу» и находя в Николае I «семейное сходство» с Петром Великим. Он верил, что «царственная рука» подана ему в знак чистосердечного примирения, и надеялся, что будет «приближен к престолу» не в качестве «раба и льстеца». Он собирался служить Николаю, как «сходно купленный арап» служил Петру: «усердно» и «неподкупно». Он думал, что теперь ему предстоит «смело сеять просвещенье» в союзе с царем. Веря, что его старые грехи забыты, он обещал царю не делать новых и был намерен остепениться, чтобы без помех отдать

свои силы на служение отечеству. В связи с этим надобно было занять в обществе более прочное положение. В цепь таких размышлений вплеталась мысль о женитьбе. С этой поры на каждую девушку, тревожившую его слишком пылкое сердце, смотрел он с новыми для него мыслями — о возможной женитьбе.

Тогда же, в Москве, он познакомился с С.Ф.Пушкиной, своей дальней родственницей, и влюбился в нее. Это была хорошенькая двадцатилетняя девушка, очень кокетливая, ничем не замечательная. Увлечение Пушкина было неглубоко, но он ухватился за него и решил свататься. На время уехав из Москвы, он поручил это дело своему приятелю Зубкову, который был женат на сестре С.Ф.Пушкиной. По этому поводу между Пушкиным и Зубковым произошла переписка. Письма Зубкова не сохранились, но, видимо, Зубков предупреждал Пушкина, что Софья Федоровна его не любит и что счастие не может быть прочно. На это Пушкин ответил из Пскова 1 декабря 1826 года: «J'ai 27 ans, cher ami. Il est temps de vivre, c. à d. de connaître le bonheur. Vous me dites qu'il ne peut être éternel: belle nouvelle! Ce n'est pas mon bonheur à moi qui m'inquiète, pourrais-je n'être pas le plus heureux des hommes auprès d'elle»[1], — и т.д.

Месяцев через восемь после этого, пишучи VI главу «Арапа», Пушкин заставляет своего героя размышлять о предстоящей женитьбе на Наталии Ржевской. Начало этих размышлений содержит доводы в пользу женитьбы, весьма схожие с доводами Пушкина в письме к Зубкову: «Жениться, — думал африканец, — зачем же нет? Ужели мне суждено провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека?» Еще замечательнее, что вслед за тем арап словно припоминает чьи-то возражения и мысленно отвечает на них: «Мне нельзя надеяться быть любимым: детское возражение». Если всмотримся в письмо Пушкина и сравним, то увидим, что это арап отвечает Зубкову на его слова о непрочности счастия. При этом часть своего ответа он интонирует точно так же, как интонировал

---

[1] «Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т.е. познать счастье. Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным: хороша новость! Не личное мое счастье заботит меня, могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей» (*фр.*).

Пушкин: «детское возражение» соответствует словам: «belle nouvelle!»[1].

Пишучи к свату и свойственнику невесты, Пушкин должен был, разумеется, подчеркивать свою любовь и говорить, что он не может не быть счастлив подле Софии Федоровны. Арап размышляет наедине, откровеннее, а потому может не высказывать никаких особых надежд на счастье. Зато свое намерение жениться он мотивирует более вескими причинами, весьма близкими к тем, которые толкали на сватовство самого Пушкина. Ибрагим говорит: «Разве можно верить любви? Разве существует она в женском легкомысленном сердце? Отказавшись навеки от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения, более существенные. Государь прав: мне должно обеспечить будущую судьбу мою».

Не веря в женскую любовь и отказавшись на сей счет от «милых заблуждений», арап исходил из собственного опыта. Но он был ревнив и самолюбив. Поэтому, собираясь жениться, он разделил понятия: «любовь» и «верность». От первой он был готов отказаться, но от второй — нет. Сам он мужей обманывал, как например — в Париже, с графиней Л., но быть обманутым мужем он не хотел. «От жены я не стану требовать любви, — говорит он, — буду довольствоваться ее верностью».

София Федоровна, несомненно, с Пушкиным кокетничала, им «повелевала». 9 ноября он писал Вяземскому: «Буду у вас к 1-му — она велела». Но и кокетничая, в любви она ему отнюдь не клялась. Больше того: Пушкин отлично знал, что она готова отдать предпочтение некоему Панину. Насколько мало поэт рассчитывал на ее чувства, видно из его обращения к Зубкову: «Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным скверным и жени меня». И даже еще более отчетливо и безнадежно: «Je ne puis avoir des prétentions à la séduction»[2].

Итак, в вопросе о любви позиция Пушкина совпадала с позицией Ибрагима: автор романа так же мало в свое время надеялся на любовь Софии Федоровны, как герой — на любовь Наталии Ржевской. Посмотрим теперь, как обстояло дело с вопросом о верности.

---

[1] «хороша новость!» (*фр.*)

[2] «У меня не может быть притязаний обольстить ее» (*фр.*).

Так же, как Ибрагиму, Пушкину в прежние годы случалось обманывать мужей, но быть обманутым он тоже не хотел; не ожидая любви со стороны Софии Пушкиной, он заранее задумывался над этим, совершенно так же, как в его романе задумывался арап. Он страшился своих будущих подозрений, мук самолюбия и возможных вспышек темперамента: «...Mon caractère inégale, jaloux, susceptible, violent et faible tout à la fois — voilà ce qui me donne des moments des réflexions pénibles»[1], — писал он Зубкову. В «Арапе Петра Великого» эти мучительные опасения, эти доводы благоразумия и осторожности он вложил в уста Корсакова:

«Послушай, Ибрагим», — сказал Корсаков: «брось эту блажную мысль — не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет к тебе особого расположения. Мало ли что случается на свете?.. Нельзя надеяться на женскую верность; счастлив, кто смотрит на это равнодушно. Но ты... С твоим ли сплющенным носом, вздутыми губами, с этой ли шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы...»

Слова Корсакова о наружности Ибрагима заключают в себе словесный автопортрет Пушкина, они словно писаны перед зеркалом. Но главное здесь, конечно, намек на «опасности женитьбы», на то, что арап не сумеет «смотреть равнодушно» на возможные измены жены. Корсаков напоминает Ибрагиму о том самом, что Пушкин писал Зубкову касательно своего собственного характера. Собираясь жениться на Софии Федоровне, Пушкин, как и его герой, заранее страшился своей бурной ревности.

Из этого сватовства ничего не вышло. Мы не знаем в точности, каков был ответ невесты, но красноречивее всяких слов было то, что не прошло и месяца после пушкинского предложения, как она уже повенчалась с тем самым Паниным, которым Пушкин просил Зубкова ее «настращать». Только узнав об этой свадьбе, Пушкин должен был до конца понять, как близок он был к несчастию — очутиться в толпе обманутых мужей. Спустя несколько месяцев, в деревне, словно бы радуясь сознанию избегнутой опасности, вознамерился он описать «ужасный семейственный роман» своего черного предка.

---

[1] «...Мой характер неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно — вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья» (*фр.*).

За год до этого, узнав о казни декабристов, в раздумии нарисовал он виселицу, на ней пятерых повешенных, а внизу подписал: «И я бы мог... И я бы мог, как шут...» Нечто подобное этому психологическому жесту повторил он теперь, пишучи о сватовстве царского арапа к Наталии Ржевской. И так как он любил, маскируя действительность вымыслом, оставлять маленькие приметы, по которым можно ее узнать, то молодого «стрелецкого сироту», пленившего сердце Ибрагимовой невесты, он назвал именем своего счастливого соперника: «стрелецкого сироту» зовут Валерианом, как и Панина, за которого только что вышла София Пушкина. В другом месте романа, по свойственной ему экономии, Пушкин прямо использовал одну фразу из своего письма к Зубкову. В этом письме читаем: «Dois-je attacher à un sort aussi triste... le sort d'un être si doux, si beau?..»[1]. В прощальном письме Ибрагима к графине Л. дан почти дословный перевод этой фразы: «Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, прекрасного создания с бедственной судьбой негра?»

* * *

Исторический предок Пушкина первым браком женился на Евдокии Диопер, а не на Наталии Ржевской. Почему в романе он сватается к Ржевской, мы не знаем. По этому поводу возможны разные предположения, в данную минуту для нас несущественные. Роман, во всяком случае, должен был быть основан на том, что Ибрагим не внял голосу благоразумия и соединил свою судьбу с существом, ни на любовь, ни на верность которого не мог рассчитывать. Приступая к писанию «Арапа Петра Великого», Пушкин сознавал, что сам благополучно избег участи своего прадеда.

Казалось бы, на историю с Софией Пушкиной он сам смотрел, как на предостережение. Но он вскоре забыл его. За первым сватовством тотчас последовали другие: к Ушаковой, к Олениной. Что касается первой из них — мы не знаем в точности, каковы были ее чувства к Пушкину; судя по некоторым данным, она

---

[1] «Следует ли мне связать с судьбой столь печальной... судьбу существа такого нежного, такого прекрасного?..» (*фр.*)

могла быть к нему и не совсем равнодушна; возможно, что этот брак был расстроен самим Пушкиным, по причинам, о которых мы можем только строить предположения. Но Ушакову быстро сменила Оленина, сердце которой было так же занято, как сердце Софии Пушкиной. Когда и это сватовство расстроилось, Пушкин снова обрадовался. Однако он тотчас воспользовался новым увлечением для нового сватовства — к Наталии Николаевне Гончаровой.

Сватовство длилось долго. За это время первоначальная страсть начала остывать, и Пушкин опять стал задумываться о будущем. Ряд достоверных свидетелей сообщает, что он серьезно подумывал об отступлении. Но уверенность в том, что ему надо жениться, пересилила. Некогда Ибрагим в незаконченном романе говорил Корсакову: «Я женюсь, конечно, не по страсти, но по соображению». Приблизительно через три с половиной года после этого, за восемь дней до свадьбы, Пушкин писал Н.И.Кривцову: «Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Щастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes[1]. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю, как люди, и, верно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования».

Подобно Ибрагиму и подобно тому, как во время первого и второго сватовства, Пушкин знал, что невеста к нему вполне равнодушна. А так как была у него привычка переносить мысли и фразы не только из писем в творения, но и обратно, из творений в письма, то, при повторении ситуации, сами собой стали повторяться и мысли. Говоря Корсакову о своем намерении жениться по соображению, арап Петра Великого прибавил: «И то если она не имеет от меня решительного отвращения». В 1830 году, в пору самого пылкого увлечения Гончаровой, Пушкин написал ее матери: «ne me prendra-t-elle en aversion?»[2]. Еще ближе к «Арапу

---

[1] Счастье — лишь на проторенных доро (*фр.*).
[2] «не почувствует ли она ко мне отвращения?» (*фр.*)

Петра Великого» другая фраза из того же письма. Некогда Ибрагим размышлял: «От жены я не стану требовать любви: буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянною нежностью, доверчивостью и снисхождением». Теперь Пушкин пишет будущей теще: «L'habitude et une longue intimité pourraient seules me faire gagner l'affection de M-lle votre fille; je puis espérer me l'attacher à la longue, mais je n'ai rien pour lui plaire»[1]. Внутренний смысл этих фраз — один и тот же. Пушкин, разумеется, не мог написать матери своей невесты прямо о верности: высказывать на сей счет сомнения было бы с его стороны непристойностью. Но он был слишком опытен в «науке страсти», чтобы искренно думать, будто «привычка и продолжительная близость» способны вызвать любовь. Поэтому когда он говорит о будущем расположении (affection) Наталии Николаевны, то он подразумевает именно верность.

В «Арапе Петра Великого» он припомнил историю своего первого, неудачного сватовства и предсказал психологическую ситуацию последнего, удавшегося. Он женился на Н.Н.Гончаровой с теми же «ганнибаловскими» мыслями, которые им владели во время сватовства к Софии Пушкиной. К несчастию, не нашлось второго Панина, чтобы расстроить и этот брак. Еще большим несчастием для Пушкина было то, что если не страсть к Гончаровой, то неотвязная мысль о необходимости жениться заглушила в нем голос рассудка. О тех иллюзиях, которые он себе сам при этом внушил, подробнее сказано в следующей статье.

АМУР И ГИМЕНЕЙ

Воспитавшись в литературных преданиях «галантного века», Пушкин чуть ли не с детства усвоил сочувственное отношение к «любовникам» и презрительное — к «мужьям». Еще в 1816 году он написал

---

[1] «Привычка и длительная близость только и могли бы помочь мне добиться расположения Вашей дочери, я мог бы надеяться со временем на ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться» (*фр.*).

стихотворную сказку «Амур и Гименей», в которой очень доброжелательно повествуется о том, как

Амур в молчании ночном
Фонарь любовнику вручает
И сам счастливца провожает
К уснувшему супругу в дом;
Сам от беспечного Гимена
Он охраняет тайну дверь...

Два заключительных стиха пьесы содержат недвусмысленное поучение и предложение:

Пойми меня, мой друг Елена,
И мудрой повести поверь!

В действительности этой Елены не существовало. Но годы шли, воображаемые героини сменились живыми — воззрения Пушкина от этого только упрочились. В 1821 году, напоминая Аглае Давыдовой историю своего с ней романа, о муже говорит он лишь мимоходом:

Я вами, точно, был пленен,
К тому же скука... муж ревнивый...
Я притворился, что влюблен,
Вы притворились, что стыдливы...

Выходит даже так, что наличие мужа не только Пушкина не останавливало, но и подзадоривало. Помимо любовной связи, прельщала его веселая возможность «орогатить» доброго знакомого.

За этими стихами вскоре последовала эпиграмма:

Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус;
Другой за деньги — понимаю;
Другой за то, что был француз;
Клеон — умом ее стращая;
Дамис за то, что нежно пел;
Скажи теперь, моя Аглая,
За что твой муж тебя имел?

Перелистывая стихи Пушкина, написанные на юге, в ссылке, иного отношения к «рогачам», кроме насмешливо-презрительного, не встречаем. Молодому Пушкину судьба всякого мужа заранее известна и несомненна:

У Клярисы денег мало,
Ты богат; иди к венцу:
И богатство ей пристало,
И рога тебе к лицу.

Муж — неизбежная и легкая тема карикатуры.

Сидя под арестом, Пушкин развлекается «невинною игрою»: припоминает молдаванских дам

И их мужей рогатых,
Обритых и брадатых.

Таким же карикатурным является муж и в первой, тоже на юге написанной, главе «Евгения Онегина». Изображая отношение своего героя к женщинам, Пушкин рассказывает:

Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

Эта строфа очень многозначительна. В ней важно различие между мужьями и «соперниками». Соперников приходится уничтожать, бороться с ними с помощью язвительного злословия и расставляемых сетей. Другое дело — мужья. Эти даже не удостаиваются имени соперников. С ними бороться нечего, они и так бессильны, с ними можно оставаться друзьями. Соперник опасен, муж просто смешон.

В 1825 году, уже из Михайловского, Пушкин пишет послание к Родзянке. Речь идет об общей знакомой, А.П.Керн, прелестной супруге старого мужа, которую Пушкин мельком когда-то видел.

Он говорит:

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей...
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу:
Не наведет она зевоту.
Дай Бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода:
Во-первых, веры долг святой,

Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви!

Тотчас вслед за этим Керн приехала в Тригорское, и Пушкин снова с ней встретился. Действительно ли она показалась ему «гением чистой красоты» или нет — вопрос спорный, и мы его сейчас касаться не будем. Несомненно лишь то, что, поскольку Керн была жена своего мужа, Пушкин и после того, как написал «Я помню чудное мгновенье...», в отношении ее семейственной жизни полностью сохранил прежние навыки. Первое же письмо к ней, от 25 июля 1825 года, содержит насмешливое приветствие по адресу мужа: «Mille tendresses à Ермолай Федорович et mes compliments à M-r Voulf»[1]. Молодому приятелю своему, Вульфу, Пушкин шлет обычные «compliments», а почтенному генералу Керну — «mille tendresses».

Столь же язвительно он осведомляется 14 августа: «Comment va la goutte de M-r votre époux? j'espère qu'il en a eu une bonne attaque le surlendement de votre arrivée. Поделом ему! Si vous saviez quelle aversion mêlée de respect je ressens pour cet homme! Divine, au nom du Ciel, faites qu'il joue et qu'il ait la goutte!..» И далее в том же письме: «C'est un bien digne homme que M-r Kern, un homme sage, prudeht etc., il n'a qu'un seul défaut — c'est celui d'être votre mari»[2].

Насмешки над Керном продолжаются и в следующем письме, а 28 августа Пушкин указывает простейший способ разрешить семейную неурядицу: «Si M-r votre époux vous ennuie trop, quittez-le...»[3].

---

[1] «Тысячу нежностей Ермолаю Федоровичу и поклон г-ну Вульфу» (*фр.*).

[2] «Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, у него был основательный припадок через день после вашего приезда. (...) Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью, испытываю я к этому человеку! Божественная, ради Бога постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него сделался приступ подагры!..»; «Достойнейший человек этот г-н Керн, почтенный, разумный и т.д.; один только у него недостаток — то, что он ваш муж» (*фр.*).

[3] «Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его...» (*фр.*)

Той же философии Пушкин остается верен и в «Графе Нулине». Рассказав, как Наталья Павловна пощечиной отвадила «нежного графа», поэт заканчивает повесть благонамеренным заключением:

Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.

Весь яд этого заключения в том, что читателю предварительно дается понять другое: меж тем, как муж, узнав о покушении графа, сердился, — «Лидин, их сосед, помещик двадцати трех лет», смеялся. Наталья Павловна оказывается верна не мужу, а Лидину, а муж, как ему и полагается, одурачен.

Наконец, в 50 строфе IV главы «Евгения Онегина» Пушкин не без язвительности жалеет Ленского:

Он весел был. Чрез две недели
Назначен был счастливый срок,
И тайна брачная постели,
И сладостный любви венок
Его восторгов ожидали.
Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда.
Меж тем, как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена...
Мой бедный Ленский, сердцем он
Для оной жизни был рожден.

Матримониальная хроника весьма занимала пушкинских современников и друзей; их письма и дневники пестрят известиями о браках — возможных, предполагаемых, состоявшихся и расстроившихся. Молодому Пушкину эта тема чужда на редкость. Он откликнулся на нее, лишь когда дело шло о трех людях, ему очень близких. Но как!

Над предстоящим браком Михаила Орлова с Екатериной Раевской, к которой сам был неравнодушен, он смеется в стихотворном послании к В.Л.Давыдову:

Меж тем, как генерал Орлов,
Обритый рекрут Гименея,
Священной страстью пламенея,
Под меру подойти готов...

О том, что этот брак состоялся, он известил А.И.Тур-

генева цинической шуткой, невоспроизводимой в печати.

23 июля 1825 года, за два дня до того, как впервые посмеялся над Керном, он пишет к Дельвигу и в самом конце письма замечает почти небрежно: «Ты, слышал я, женишься в Августе, поздравляю, мой милый — будь щастлив, хоть это чертовски мудрено». Правда, он еще прибавляет: «Цалую руку твоей невесте и заочно люблю ее как дочь Салтыкова и жену Дельвига». Однако это теплое отношение к будущей жене ближайшего друга довольно поверхностно: едва ли оно не дань вежливости. Уже в следующем письме, спрашивая у Дельвига совета по части печатания стихов, Пушкин прибавляет: «Как ты думаешь? отпиши, покамест еще не женился».

Свадьба Дельвига состоялась 30 октября. Пушкин его не поздравил. В ближайшем своем письме, во второй половине января 1826 года, он об этом событии тоже не упоминает и даже не шлет поклона жене Дельвига. И в следующем письме — снова ни звука ни о свадьбе, ни о Софье Михайловне. Наконец, уже 20 февраля, он шлет Дельвигу вполне своеобразное поздравление: «Милый друг Барон, я на тебя не дулся и долгое твое молчание великодушно извинял твоим Гименеем.

Io hymen Hymenaee io,
Io hymen Hymenaee!

т.е. чорт побери вашу свадьбу, свадьбу вашу чорт побери. — Когда друзья мои женятся, им смех, а мне горе; но так и быть: Апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что лучше взять себе жену, чем идти в геенну и в огнь вечный, — обнимаю и поздравляю тебя — рекомендуй меня Баронессе Дельвиг».

По поводу женитьбы Баратынского он выразился еще решительней (в письме к Вяземскому): «Правда ли, что Бар. женится? боюсь за его ум». Далее идет непристойная шутка — и, наконец, заключение: «Я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой, — брак холостит душу».

Подобного взгляда на брак и семейную жизнь придерживались весьма многие современники Пушкина — люди его круга. Он тут был вовсе не оригинален. Все это было лишь проявлением российского «лов-

ласизма» и «вальмонизма», которыми даже и рисовались. И вдруг обнаружилась в Пушкине резкая перемена, не только психологически интересная, но и оказавшая решительное и роковое влияние на его участь.

В 1830 году он сделался женихом Н.Н.Гончаровой, и с этой поры его, так сказать, бракоощущение стало совсем иным. Как далеко зашла в нем эта перемена, увидим ниже. Сейчас отметим лишь то, что с момента жениховства он в своих письмах начинает проявлять сочувственный интерес к чужим бракам. Брак прежде всего перестает быть в его глазах величиною, не стоящею внимания. Уже 14 марта 1830 года он сообщает Вяземскому: «...вот что важно: Киселев женится на Л.Ушаковой». После свадьбы он начинает следить за чужими матримониальными делами очень пристально.

1 июня 1831 года он пишет Нащокину относительно сватовства некоего Поливанова к одной из своих своячениц.

3 августа он сообщает Плетневу, что А.О.Россети «гласно сговорена. Государь уж ее поздравил».

8 декабря он сообщает жене из Москвы, что «Корсакова выходит за кн. Вяземского».

25 сентября 1832 года пишет ей же: «Твой Давыдов, говорят, женится на дурнушке».

Несколько дней спустя — ей же: «Горсткина вчера вышла за кн. Щербатова, за младенца. Красавец Безобразов кружит здешние головки... Кн. Урусов влюблен в Машу Вяземскую... Другой Урусов, говорят, женится на Бороздиной».

26 августа 1833 года он сообщает жене о сватовстве ее брата.

2 сентября 1833 года — ей же: «Обедал у Суденки, моего приятеля, товарища холостой жизни моей. Теперь и он женат, и он сделал двух ребят...»

8 октября — целая философия: «Безобразов умно делает, что женится на княжне Хилковой. Давно бы так. Лучше завести свое хозяйство, чем волочиться весь свой век за чужими женами».

Таких цитат можно привести еще очень много. Сообщения, слухи, сплетни, гадания о предстоящих или совершившихся браках имеются в письмах к жене от 21 октября 1833 года, от 30 апреля и 11 июня 1834-го, в другом письме того же, приблизительно,

времени, в письмах от конца сентября 1835 года, от 4 и 5 мая 1836-го... Замечательно, что в подавляющем большинстве случаев речь идет относительно людей, до которых Пушкину, в сущности, нет дела. Какая разница с теми временами, когда и брак Дельвига не занимал его!

То обстоятельство, что матримониальные темы трактуются всего чаще в письмах к жене, способно вызвать предположение, что Пушкин не сам интересуется чужими браками, а сообщает о том, что интересует ее. Но предположение такое будет неверно. Во-первых, потому, что в последнем случае Пушкин не стал бы сообщать Наталии Николаевне о людях, вовсе ей неизвестных, как Судиенко. Во-вторых же, не только с Наталией Николаевной, но и с самим собой, в дневнике, беседует он на ту же тему. Под 17 марта 1834 года читаем: «Из Италии пишут, что гр. Полье идет замуж за какого-то принца» — и т.д.

Главное же, конечно, тон: обо всех этих браках Пушкин говорит вполне серьезно, деловито, порой сочувственно. От былых насмешек и издевательств не осталось следа.

* * *

Бывало, ни в одном письме его не встречалось ни слова о деторождении. Даже рождения дочери у Дельвига он не заметил, счастливого отца не поздравил, хотя тот на другой же день радостно сообщил ему об этом событии. Другое дело — когда оказалась беременна Наталия Николаевна. Помимо забот о ней самой, забот, конечно, естественных, — с этих пор (и *только* с этих пор) встречаем мы в пушкинской переписке ряд упоминаний о родах, на которые раньше он просто не обратил бы внимания.

В начале января 1832 года, когда Н.Н.Пушкина была на шестом месяце беременна первым ребенком, встречается первое в переписке Пушкина упоминание о родах. Пушкин пишет П.А.Осиповой: «Nous avons appris ici la grossesse de M-me votre fille. Dieu donne que tout cela finisse heureusement...»[1] — и так далее.

[1] «Мы узнали здесь о беременности вашей дочери. Дай Бог, чтобы она закончилась счастливо...» (*фр.*)

После того тема беременности и родов становится очень частой, особенно начиная с 1834 года. О двух детях, «сделанных» Судиенкой (письмо от 2 сентября 1833 года), мы уже упоминали. В начале мая 1834 года Пушкин пишет жене о «брюхе» Смирновой; через несколько дней — опять: «Смирнова ужасно брюхата, а родит через месяц»; 3 июня: «Смирнова на сносях. Брюхо ее ужасно; не знаю, как она разрешится» и т.д. В том же письме: «Долгорукая Малиновская выкинула, но, кажется, здорова». В июне же — вновь о Смирновой, заботливо и подробно: «Смирнова родила благополучно, и вообрази: двоих. Какова бабенка, и каков красноглазый кролик Смирнов? — Первого ребенка такого сделали, что не пролез, а теперь принуждены на двое разделить. Сегодня, кажется, девятый день — и слышно, мать и дети здоровы». 14 июля снова о ней же: «Смирнова опять чуть не умерла. Рассердилась на доктора, и кровь кинулась в голову, слава Богу, что не молоко». В январе 1835 года он поздравляет Нащокина с рождением дочери, желает здоровья роженице и нежно пеняет другу за несообщение подробностей: «Ты не пишешь, когда она родила». 21 сентября того же года он рассказывает жене об Е.Н.Вревской: «Вревская... толста, как Мефодий, наш псковский архиерей. И незаметно, что она уж не брюхата: все та же, как когда ты ее видела». 14 апреля 1836 года он сообщает Н.М.Языкову о той же Вревской, что она «в пятый раз брюхата». 14—16 мая рассказывает жене: «На днях звал меня обедать Чертков. Приезжаю — а у него жена выкинула».

И опять, как о браках, записывает он в дневнике: 29 ноября 1833: «Молодая Штакельберг умерла в родах»; 17 марта 1834: «Из Москвы пишут, что Безобразова выкинула». В том же году, в среду на святой, записывает о Смирновой: «Дай Бог ей щастливо родить, а страшно за нее».

Получается такое впечатление, словно до женитьбы Пушкина никто ни на ком не женился, — а после его женитьбы все кинулись венчаться. И словно пока не рождались у Пушкина дети, не рождались они ни у кого — а со времени первой беременности Наталии Николаевны все кругом принялись «делать детей».

Таковы две черты перемены, случившейся в Пушкине. Но есть еще третья. Она-то и оказалась для него роковой.

* * *

В 1821 году, в Кишиневе, написал он «Гавриилиаду». Сделав рогоносцами всех мужских персонажей поэмы, в заключительных стихах Пушкин задумался о себе самом, о своей вероятной участи:

Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком осеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
И я тогда, Иосиф утешитель,
Молю тебя, колена преклоня,
О, рогачей заступник и хранитель,
Молю — тогда благослови меня,
Даруй ты мне блаженное терпенье,
Молю тебя, пошли мне вновь и вновь
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь.

Это значит, что Пушкин не сомневался в неизбежной участи каждого мужа — рано или поздно стать рогоносцем. Иного не ждал он и для себя и, не мечтая о верности со стороны будущей супруги, просил у небес только одного: блаженного незнания об ее изменах.

Третья перемена, в нем происшедшая (перемена самая важная, бывшая причиной и первых двух), в том и заключалась, что когда он задумал жениться на самом деле, то пожелал не только «уверенья в супруге», но и действительной верности с ее стороны. Для своего требования он тогда же стал искать как бы высшей санкции — и с тех пор самый обет супружеский, который раньше был ему только смешон, внезапно приобрел в его глазах высокую ценность и важность. Начиная с 1830 года он создает ряд образов идеальной супружеской верности, причем в основе их всякий раз лежит ситуация вполне автобиографическая: собираясь жениться на девушке, которая к нему заведомо равнодушна, он создает примерные образы героинь, которые хранят верность не во имя хотя бы угасшей, но некогда существовавшей любви, а именно безо всякой любви, единственно во имя произнесенного обета.

В 1830 году писана восьмая глава «Евгения Онегина». Здесь Татьяна, никогда не любившая мужа, дает знаменитый ответ тому, кого давно любит:

Но я другому отдана:
Я буду век ему верна.

Тогда же написана «Метель», в которой Марья Гавриловна и Бурмин не решаются перешагнуть через верность своим супругам, которых они даже не знают и никогда не знали. В 1832 году Маша Троекурова, очутившись в положении Татьяны, пересказывает прозой Дубровскому то, что Татьяна сказала стихами Онегину.

При таких требованиях не могло быть уже и речи ни о «блаженном терпении», ни о «спокойном сне». Терзания Пушкина начались очень рано. Еще во время жениховства, в «Родословной Пушкиных и Ганнибалов», он писал о своем деде со стороны отца: «Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе». Пушкин знал, что рассказ недостоверен, но записал его, потому что эта история ему нравилась. В его взглядах явилось отныне немало «феодализма», которым заменил он галантные взгляды юности.

Холостой Пушкин знавал ревность и порой глубоко страдал от нее. Но ревность к Наталии Николаевне окрашена совершенно иначе. Это не ревность любовника, непроизвольная и порывистая. Это сознательная, тяжелая, методическая ревность семьянина и собственника. Пушкина мучит не страх утратить любовь жены — он знает, что этой любви никогда и не было. Он не хочет, чтобы были нарушены его законные права, ему страшно очутиться в толпе обманутых мужей. Он требует не любви, а верности.

И вот, с тех пор, как его жена явилась в свете, кишащем Ловласами и Дантесами, он начинает отмечать знакомых ему рогоносцев. Самое понятие рогача, прежде такое забавное и не выходившее за пределы веселых стихов, теперь входит в житейский его обиход. Слово это, вслед за появлением записей о браках и детях, является в его письмах и в дневнике.

Первая запись о рогоносце относится к 22 сентября 1832 года и еще хранит оттенок легкого отношения к теме. Рассказывая жене о Нащокине, Пушкин пишет: «Он кокю, и видит, что это состояние приятное и независимое». Шутливость здесь объясняется тем, что речь идет не о законной жене, а о цыганке, от которой

Нащокин и сам старается избавиться, чтобы законным образом жениться на другой.

Примечательно, что пять дней спустя Пушкин читает Наталии Николаевне первую нотацию и впервые предостерегает ее от кокетства: «Нехорошо только, что ты пускаешься в разные кокетства... хоть я в тебе и уверен, но не должно свету подавать повод к сплетням». Во время предыдущей разлуки с женой этого мотива в письмах Пушкина еще не было. Отныне становится он постоянным. Тревога еще только намечается, но уже в следующем письме, хоть и в шутку, а все-таки Пушкин впервые как будто примеряет роковое слово к себе: «Ты так тиха, так снисходительна, так забавна, что чудо. Что это значит? Уж не кокю ли я? Смотри!»

С этих пор увещания не кокетничать, не давать повода к сплетням становятся все настойчивее. Наконец, в письме от 6 ноября 1833 года целая страница (печатная) таких увещаний кончается любопытным признанием: «К хлопотам неразлучным с жизнию мущины не прибавляй беспокойств семейных, ревности etc. etc., — не говоря об cocuage[1], о коем прочел я на днях целую диссертацию в Брантоме».

Он не только стал читать диссертации о рогоносцах, но и в дневнике своем отмечает известные ему случаи чужого неблагополучия на сей счет. 6 марта 1834 года он записывает городские толки о «связи молодой княгини С. с графом В.». 8 апреля — слух о связи Воронцова с О.Нарышкиной.

Напряженное внимание к теме рогачества не покидало его до тех пор, пока ненавистное слово «кокю» не было произнесено о нем самом. 4 ноября 1836 года он получил анонимный диплом на звание рогоносца — и с этого начались его предсмертные муки. «Мнимая или настоящая связь с французом» решила его судьбу. Повесить Дантеса на черном дворе, к несчастию, он не мог.

---

[1] супружеская неверность (*фр.*).

В третьем томе произведения к печати подготовили и комментарии к ним написали: И.П.Андреева («Ночной праздник», «Город разлук», «Иоганн Вейс и его подруга», «Заговорщики», «Из неоконченной повести», «Атлантида», а также общая преамбула к разделу «Проза»), С.Г.Бочаров («Бельфаст», «Помпейский ужас»), А.Л.Зорин («Жизнь Василия Травникова», «Державин»), И.З.Сурат («Из книги "Пушкин"», «О Пушкине»).

ПРОЗА

Проза — раздел, условно выделенный, островок, отколовшийся от материка прозы Ходасевича, сложенного из рассказов, фельетонов, статей, автобиографических и мемуарных очерков и произведений биографических, таких, как «Державин» или главы книги о Пушкине.

Как прозаик Ходасевич нашел себя довольно поздно, к середине 20-х годов, сознавал это и о своих ранних опытах — итальянских очерках или рассказе «Заговорщики» — отзывался весьма пренебрежительно. «Сам иногда писал рассказы: позорно-плохо», — признавался он П.Н.Зайцеву в письме-автобиографии, написанной накануне отъезда из России (см. т. 4 наст. изд.).

В молодости писатель отдал дань традиционным, чистым жанрам: очерку путешествий с характерным подзаголовком «Письмо из...» («Ночной праздник», «Город разлук»); романтико-иронической сказке («Иоганн Вейс и его подруга», «Поэт» и др.); стилизованному рассказу («Сигары синьоры Конти», «Заговорщики»); сказке для детей (Загадки. Пб.: Эпоха, 1922).

С середины 20-х годов, почти перестав писать стихи, Ходасевич целиком ушел в прозу. Отличаясь простотой и естественностью, отсутствием украшений, она держится силой логического развертывания мысли и заставляет вспомнить наброски в тетрадях, к которым поэт зачастую прибегал, выстраивая замысел, сюжет будущего стихотворения. Написанные в прозе, они подготавливают, выращивают образ поэтический.

И очерки Ходасевича, возьмем ли мы «Бельфаст» или «Помпейский ужас», созданные на материале непосредственных впечатлений от посещения корабельной верфи или раскопок античного города, разворачиваются в поэтическую метафору.

В облике города «самой банальной архитектуры», с улицами «так себе», «которые попрямее, а которые покривее», заставленными

«каменными ящиками домов», неожиданно открываются черты трагической, гибельной европейской цивилизации, размоловшей людей в единообразную толпу: «серолицые, впалощекие, с перекошенными челюстями мужчины — с портфелями в руках; и серолицые, впалощекие, с перекошенными челюстями, с огромными ногами, обутыми в непромокаемые штиблеты без каблуков, — женщины с мешками для провизии».

Люди — ничтожны, невидимы, «копошатся во мраке», а распоряжаются всем машины, похожие не то на орудия средневековых пыток, не то на апокалипсические чудовища: одни «легким нажимом короткого хоботка пробивают почти вершковые стальные доски <...>; там ножом режут стальные брусья; там похожее на копье сверло их буравит, готовя отверстие для заклепок. Вверху какие-то железные черепахи бегают по железным мостам, вниз спиною, как мухи по потолку...» И все это — железное и стальное — строит чудища-гиганты, океанские корабли, столь огромные, что из их чрева море и небо предстают как «маленькое светло-серое пятно, испускающее мутно-серые лучи».

Автор рисует картину тщательно спланированного, организованного в систему ада: за «кругами» контор открываются «круги» чертежных, мастерских, среди которых он потерялся бы, если б один из служащих верфи не взял на себя роль Вергилия. Рядом с современным дантовский ад, который можно окинуть взглядом, обойти пешком, кажется почти уютным: современный Вергилий везет пришельца на автомобиле, круг за кругом, потом круги сменяются зигзагами. Слово «зигзаг» служит в очерке цезурой, которая делит его на две половины, вводя новую тему.

Ужас перед механизированным миром смешивается с восхищением слаженностью и своеобразной гармонией, целесообразностью действий машин, способных не только рождать себе подобных, но и музыку.

«Весь корабль поет и звенит от бесчисленных электрических сверл. Это звук совершенно особенный, словами неизобразимый, пронзительный и обаятельный.

Он куда-то зовет — и разом вдруг обрывается на нестерпимо волнующем стоне».

Говоря «неизобразимый», писатель этим и рядом других слов именно изображает, воспроизводит музыку («железный скрежет какофонических миров»): «звук — неизобразимый — пронзительный — зовет — разом» (зук — низозим — нзин — зов — раз).

Музыка привлекает его трагизмом обреченности: он слышит в ней предчувствие гибели (не случайно похоронным звоном разносится название выстроенного на верфи и затонувшего корабля: «Титаник»), и в то же время она заставляет вспомнить о райском времени, которое железно-стальной мир стер, уничтожил, о времени, когда Бельфаст можно было увидеть «горстью земляники на кленовом листе».

Очерки Ходасевича 20-х годов, являясь своеобразными «мостиками», «переходами» от стихов к прозе, вобрали некоторые черты его

поэтики: гиперболизм, яркую интенсивную эмоциональность, ироничность и двупланность, двуединство образа, в котором противоречивые элементы складываются в одно целое. Да и рассказчик, «я», от имени которого ведется повествование, — узнаваем, знаком по стихам.

Но если в стихах поэт дошел до края безнадежности, в прозе он обрел «твердую почву». Мысль, вырвавшаяся из эмоциональной сосредоточенности, всепоглощенности, в исторической перспективе, чувстве историзма обрела надежду и утешение.

Зрелище душного, плоского и плотского античного мира в очерке «Помпейский ужас», где «смерть без покаяния», «душная смерть» открывает столь же грубую, косную душную жизнь, причем с каждой новой строкой ощущение духоты сгущается, нагнетается с тем, чтобы в конце концов именно «от духоты, жары, плоти, пепла» явилась в душах иных тоска по Спасителе. А вместе с ней среди «безвкусной помпейской живописи с ее мелочным рисунком» рождается совершенно новое искусство: сначала автор замечает «маленькую, не по-здешнему живую наумахию на одной из стен», от которой отмахивается, говоря, что и она не радует. Но вот еще один вестник: «где-то вдали, за решеткой, мелькает мне милый образ Орфея — единственное упоминание о духе в этом городе заживо погребенных. Но мимо — и снова нечем дышать в этом античном сумраке». И наконец, «милый живой веселый извозчик» и «милая живая неископаемая лошадка» увозят его прочь из города мертвых. И как окончательная победа духа, завершая очерк, встает «высокая белая колокольня».

«Помпейский ужас» продолжает, развивает мысль, прозвучавшую в статье «Об Анненском» (см. т. 2 наст. изд.), неважно, что в одном случае материалом послужили стихи, судьба поэта, в другом — непосредственные впечатления от посещения города-музея; в одном случае получилась статья, в другом — очерк. Повторяются сюжет, ход мыслей, приемы, даже обороты речи.

В статье «Об Анненском» Ходасевич писал: «Эта безжалостная, безучастная, безобразная жизнь, заживо разлагающаяся, упирается в бессердечную смерть. <...>

Но драма, развернутая в его поэзии, обрывается на ужасе — перед бессмысленным кривляньем жизни и бессмысленным смрадом смерти. Это ужас, приоткрывающий перспективу — опять-таки в ужас. Два зеркала, отражающие пустоту друг друга».

Сравните с соответствующим местом в очерке: «Здесь очень грубая, жирная, липкая жизнь перешла в такую же грубую, неблаголепную смерть. И не знаешь, что тягостнее: то ли, что сохранилось получше, или то, что сильнее разрушилось: там явственнее следы душной жизни, здесь — душной смерти».

Стиль автора со временем делался скупей, точней, выразительней; там, где он прежде пересказывал, описывал, он научился мастерски рисовать звуками, неожиданными сочетаниями слов, конструкцией фраз. Нет нужды говорить о зеркале, если он может изобразить его: «*там* <...> следы душной жизни, *здесь* — душной смерти». От

скольких повторений избавило писателя то, что слово «ужас» он вынес в заглавие очерка («Помпейский ужас»), создав эмоциональный настрой и поэтический образ.

О чем бы Ходасевич ни писал — о поэзии современной или «О символизме», повесть ли это «Ложные солнца» (см. коммент. к фрагменту «Из неоконченной повести», с. 526) или рецензия на книгу Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке», «Младенчество» или портреты современников — это единый текст. Мысль писателя действенно направлена, собрана в пучок — он пишет рассказ об истории поколения, рожденного на сломе эпох, о начале века (художественные задачи которого оказались не завершенными, и потому очерк о Есенине в «Некрополе» столь же уместен и логичен, как о Сологубе) — рассказ о людях и книгах. Так и назывался один из разделов, который Ходасевич вел в «Возрождении», — «Люди и книги».

Он сам определил характер и особенности этой прозы, анализируя «Жизнь Арсеньева» И.А.Бунина.

«Писательский опыт в конце концов приводит к тому, что воображенье оказывается более стеснено, ограничено в возможностях, нежели действительность. Логика действительности открывается писателю гораздо более свободной, просторной и емкой, нежели логика художественного вымысла. Он приходит к мысли о таком произведении, где жизнь явится, наконец, в своей многозначительной алогичности, в своих мудрых случайностях, со своими неразрывными узлами, со всеми “вдруг” и “почему-то”, которые в романе немыслимы — даже если темой романа сделать эту же самую алогичность. Отсюда — один шаг до мысли об автобиографии. Потому-то столько испытаннейших художественников в конце концов обращаются к автобиографии, к выражению того, что было всего острее пережито в жизни и оказалось невыразимо в их прямом искусстве. Автобиография есть единственная форма “свободного” романа...»

Размышления Ходасевича о природе автобиографизма в творчестве Бунина или Пушкина, возникшие в его статьях в пору созревания «Некрополя», носят глубоко личный, исповедальный характер, превращая статьи в страницы дневника. Со временем происходит взаимопроникновение жанров: статьи Ходасевича в той же мере автобиографичны, как очерки и мемуары — аналитичны.

Исповедальностью проникнуты и художественные биографии Ходасевича. Эту особенность тонко подметил А.Зорин во вступительной статье к первому в России изданию книги «Державин». Он сумел показать, что, описывая жизнь поэта XVIII в., автор открыл потаенные, интимные минуты собственного поэтического опыта: состояние вдохновения, которое он передал как «счастие пребывания в Боге». Теперь о творчестве Ходасевича невозможно писать, не помня, не опираясь на страницы «Державина», рассказавшие о том, как была создана ода «Бог».

Совершенно естественно, что первый биограф Ходасевича, американский исследователь Дэвид Бетеа, процитировал их в своей книге «Khodasevich. His life and art», чтобы дать ощутить читателю, как поэт писал стихи: «...когда силы его покинули, он уснул и увидел во

сне, что блещет свет в глазах его! Он проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему — вокруг стен бегает свет».

Опираясь на творческий опыт, Ходасевич сумел открыть и другую тайну Державина, многим историкам литературы оказавшуюся недоступной: потребность диктовать объяснения к стихам в старости, когда поэт устал и почувствовал окружающий мир безотзывным и чуждым. Здесь Ходасевич-поэт пришел на помощь исследователю и беллетристу: он-то знал, что, вспоминая о людях и обстоятельствах, о бытовых мелочах, с какими «пиесы» были связаны, из чего возникали, поэт восстанавливал «не только поводы к творчеству, но отчасти и самый ход творчества — в обратном порядке».

Перефразируя свое стихотворение «Невеста» (1922), Ходасевич писал: «Для поэта былая действительность спит в его поэзии чудным сном — как бы в ледяном гробу. Державин будил ее грубовато и весело».

Принято считать, что свои заметки и объяснения к стихам на книге «Собрание стихов» Ходасевич делал для Н.Н.Берберовой; в «Державине» автор открыл их подлинный горьковато-счастливый смысл.

Если вдуматься: в чем причина того, что слушатели и читатели известной мистификации Ходасевича «Жизнь Василия Травникова» сразу и безоговорочно поверили в существование доселе не известного поэта, в подлинность литературного открытия (а слушатели были искушенные: критики, поэты, журналисты)? Конечно, Ходасевич сплел тончайшую сеть биографии для своего литературного персонажа из множества отдельных линий жизнеописаний писателей XVIII—XX вв. (от Жуковского до Муни), а рассказывая о том, как была найдена рукопись, привлек документальные свидетельства своей жизни, хорошо известные слушателям, — все это делало историю достоверной. Но успех рассказа коренился в другом: пародия, мистификация не были для Ходасевича игрой только: и тут он делился с читателем своими сомнениями и верой, своей жизнью — включил же он в текст рассказа стихи Муни, поэта, чья судьба продолжала его тревожить.

Отец и сын Травниковы — надвое расщепленная фигура — рационалиста, богохульника, скептика — вылеплена Ходасевичем как антипод могучей личности Державина и в то же время по его мерке. Если для автора оды «Бог» «поэзия и служба сделались <...> как бы двумя поприщами единого гражданского подвига», то Травников-старший «выказывал дерзкое неуважение к властям земным и небесным», «к отрицанию Бога и государыни у него прибавилось отрицание отечества». Державин жизнью своей, поэзией защищал Закон, в то время как антипод его испытывал «глубокую ненависть ко всему существующему на земле порядку» и, кажется, с ума сошел, чтобы порядок разрушить. Злость и ожесточение, овладевшие им, заставляли его уничтожать себя и все вокруг в разврате и пьянстве. Облик сына исказил он физически и нравственно.

А завершил воспитание Травникова-младшего лекарь Гилюс, в семье которого Василий встретил суженую и «стал своим челове-

ком». У лекаря «где надо быть иконам, стоял скелет». Скелет и вдохновил молодого сочинителя на стихи. Сам же лекарь обдумывал труд, в котором «намеревался доказать научно невозможность бытия Божия». Встреча эта, затем смерть невесты окончательно ввергли героя в мизантропию и «досаду на человечество».

Портрет Василия Травникова в рассказе написан «от противного»: «Круг литераторов ему *не* нравился... Он был *не* богат, *не* пил, *не* играл в карты, *не* танцевал». Он отказался от литературной деятельности, похоронив себя в грудах черновиков, в захолустье, и в противоположность отцу «ожесточился в совершенной трезвости». Он вел жизнь, «исполненную тайной злости». Слово «злость» более всего характеризует жизнь Травникова и его сочинения. Стихи его настолько «мертвенны», насколько наполнены жизнью — державинские. Ни на минуту не забывает автор, что Травников — антипод Державину, который писал в стихотворении «Признание»:

Я любил чистосердечье,
Думал нравиться лишь им,
Ум и сердце человечье
Были гением моим.
. . . .
Словом: жег любви коль пламень...

Порой автор впрямую сталкивал своих героев в стихотворной дуэли. Если злость и ненависть толкают Травникова написать:

Да страждет раб, коль страждет господин! —

это прямой выпад против строк Державина из оды «Властителям и судиям»:

И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Старик Державин благословил Пушкина, Травников на присланной ему поэме «Руслан и Людмила» оставил резкую надпись: «Молодой автор тратит свои дарования на ниское зубоскальство». И этот отзыв стал последним свидетельством жизни безвестного сочинителя.

Вывод, которым автор завершал повествование: «Быть может, те, кого принято считать учениками Боратынского, в действительности учились у Травникова?» — весьма лукав. И во всяком случае свидетельствует о том, что не видел он в Травникове предтечу или учителя Баратынского, напротив, целил в тех, кто мог предположить, что возможно возникновение поэзии из неверия, скепсиса, ожесточения, нелюбви. В свое время Ходасевич, ища выход из подобной ситуации, вынужден был признать: «Как упоительно и трудно, привыкши к слову, — замолчать». Не только произнес эти слова — замолчал.

И тем не менее, вера в слово, в русскую литературу спасала и выносила его: освещает она и прозаический отрывок «Атлантида», написанный в последний год жизни Ходасевича, когда сам он был смертельно болен и как болезнь описал состояние эмиграции. От-

рывок, затерявшийся в тетрадях Ходасевича, оборванный на полуслове, является, тем не менее, цельным произведением.

«Атлантида» — прозаическая параллель к стихотворению «Звезды». Действие ее происходит в глубоком подвале, отдаленность и отдельность которого от реальной жизни, от Парижа подчеркнута кинематографическим приемом: изображением лестницы и спускающихся по ступеням ног, «приближенных к самому носу зрителя». Для этих людей, ежевечерне спускающихся в подвал, в темноту и неуют, игра в карты — повод, возможность погрузиться в русский мир. На нескольких страницах Ходасевич рисует собирательный образ русской эмиграции — «обшмыганной», «обтрепанной», «забрызганной уличной грязью», «лоснящейся» и при этом не утратившей пошловатой жовиальности и мещански-одесского говорка: «Ах, опять эта паршивая темнота! <...> Но я не хочу сидеть в темноте. Благодару вас». Но и «золотая молодежь», те, кто два года уже как стали «чистыми парижанами»: завели девочек, ходят в синематограф, картавят и говорят с пренебрежением, — отчего-то тоже по вечерам тянутся сюда. И хотя автор изображает обычное парижское кафе — «тугие кожаные диваны, столы, протертые воском, и чистый кафельный пол», — спускаясь, персонажи попадают в «мир иной»: «новоприбывшие постепенно погружаются в полумрак. Вот уже их *смутные очертания* здороваются с мадам Цвик, с Архангельским. <...> Оттуда доносятся их *смутные голоса*» (курсив наш. — *Коммент.*).

И когда ощущение темноты, спертости достигает предела, вдруг (и в то же время — как обыкновенно происходит в произведениях Ходасевича) «мелькает мне милый образ Орфея»: как само движение, как свет и воздух является литература русская.

Пушкинским жестом развешивает писатель на стенах кафе пять (вначале он написал цифру «четыре», в точности следуя за текстом «Станционного смотрителя», затем выправил на пять) цветных картинок.

«Картинки изображают скачки. Лошади с раздутыми ноздрями мчатся в неистовом посыле, вытянув шеи и не касаясь земли; их нахлестывают сгорбленные жокеи в разноцветных вздутых камзолах; вдали мутнеют трибуны с неясной россыпью зрителей. На других картинках лошади скачут и падают в расплывчатой глубине, а на первом плане — зеленый газон, голубые и розовые платья, военные мундиры прошлого столетия; узкие рединготы, серые цилиндры и кружевные зонтики».

Сюжет и детали картинок невольно заставляют вспомнить сцену скачек в «Анне Карениной», воспринимаются как обобщенная цитата, тем более что дальше упоминается «эпоха чеховская с мягким шелестом карт и поэзией зимней ночи». А начинается отрывок парафразой финальной сцены «Ревизора»: в кафе «стулья застынут в разнообразных и выразительных, порой причудливых сочетаниях, поодиночке и группами, как действующие лица в сцене “Ревизора”».

Эту пьесу Гоголя Ходасевич особенно ценил, любил в письмах размахнуться Хлестаковым, видел в «Ревизоре» образец па-

родии, о чем писал в Записной книжке, раздумывая над рисунком Гоголя к финалу: «Персонажи "Ревизора" — внизу, боги — вверху. Опять-таки здесь отразилась основная мысль Гоголя: "Как пошлость провинциального городишки возвысить" и проч. "Высокое в низком"».

На этой двупланности, соединении и противоположении высокого и низкого построено творчество Ходасевича, его проза в частности. «Атлантида» начиналась пародийной автоцитатой («Обычно первым приходит Урениус, — когда в подвале полутемно и лишь одной лампочкой освещены тугие кожаные диваны... <...> Урениус снимает пальто <...> и садится под лампочку»), восходящей к стихотворению «Баллада»: «Сижу, освещаемый сверху... Со мной, освещенные тоже, и стулья, и стол, и кровать...»

Персонаж, названный Урениус, мил автору, наиболее ему близок, пошлость не коснулась его. Фамилия эта — не вымышленная: Екатерину Сергеевну Урениус Ходасевич знал с ранней молодости, сначала женой Б.А.Грифцова, затем — П.П.Муратова. И хотя ситуация заставляет вспомнить сюжет «Баллады», на этот раз чуда с героем не произойдет, не может произойти: он обречен сидеть под лампочкой, освещаемый сверху, но музыки, пусть и «железного скрежета», ему расслышать не дано: он совершенно глух, чужд и одинок даже среди своих, не способен к диалогу и отвечает анекдотически невпопад.

Это отсутствие музыки, связи с миром, глухота заставляют автора оборвать текст на полуфразе: «угощает вертлявую свою собачонку, у которой во рту глисты». И фразе не случайной: слово «тошнота» закодировано на самых разных уровнях — лексическом, образно-метафорическом, эвфоническом. Одна на другую наплывают фразы: «Шестую в позапрошлом году расшиб пьяный негр» или «свесившись через перила, водворяет тишину грозным хлопаньем в ладоши», пока, наконец, судорожный слабый голос не обрывается вовсе.

«Атлантида» завершает прозаический текст Ходасевича так же, как стихотворение «Звезды» подвело черту под судьбой поэта.

Ночной праздник (с. 7). — Московская газета. 1911. 16 августа.

Первая поездка Ходасевича в Италию, продлившаяся почти два месяца, — со 2 июня до середины августа 1911 г., — оставила глубокий след в его творчестве (см.: Богомолов Н. История одного замысла // Русская речь. 1989. № 5. С. 38—47).

5 июня 1911 г. Ходасевич писал из Нерви московскому приятелю Е.Янтареву: «В будущую среду я отбуду дня на три во Флоренцию, а потом в Венецию, где буду жить до истощения возможностей. Потому в Венецию, что там прямой путь на Русь, потому, что там разные хорошие люди, и потому, что я так хочу. Вот и все. Фунтов я вряд ли прибавил, но стал черен ликом и светел душой. До кашля не унижаюсь. Пишу стихи и прозу с необычайной дерзостью: в прозе кувыркаюсь, а в стихах не боюсь передавать впечатления жизни текущей: так и надо» (*РГАЛИ*. Ф. 1714. Оп. 2. Ед. хр. 7).

Венеция поразила Ходасевича живой прелестью, не подчинившейся ни магии искусства, ни давлению туристических толп, навязывающих свой уклад и вкусы. Об открытии живой, нетрадиционной Италии Ходасевич настойчиво писал Муни: «Итальянцы нынешние не хуже своих предков — или не лучше. Господь Бог дал им их страну, в которой что ни делай — все выйдет ужасно красиво. Были деньги — строили дворцы, нет денег — взгромоздят над морем лачугу за лачугой, закрутят свои переулочки, из окна на ветер вывесят рыжие штаны либо занавеску, а вечером зажгут фонарь — Боже ты мой, как прекрасно! В Генуе новый пассаж, весь из гранита. Ничего в нем нет замечательного, — а вот ты попробуй-ка из гранита сделать так, чтобы некрасиво было: ведь это уже надо нарочно стараться. <...>

Здесь *нет* никакого искусства, ей-Богу, ни чуточки. Что они все выдумали? Здесь — жизнь, быт — и церковь. Царица-Венеция! Genova la superba! Понюхал бы ты, как они воняют: морем, рыбой, маслом, гнилой зеленью и еще какой-то специальной итальянской тухлятиной: сыром, что ли? А выходит божественно! Просто потому, что не "творят", а "делают". Ах, российские идиоты, ах, художественные вы критики! Олухи царя небесного!» (письмо от 1 июля (18 июня) 1911 г. — см. т. 4 наст. изд.).

И очерками своими Ходасевич спорил с традицией видеть в Венеции «мертвый город», «огромный пустой дом без хозяина», — как писал П.П.Перцов в кн. «Венеция» (М., 1905). «Мертвый город. Письмо из Венеции» назвала свой очерк Нина Петровская (Утро (Харьков). 1908. 15 июня). А.А.Трубников в кн. «Моя Италия» (СПб.: Сириус, 1908) создал сказочный образ зачарованной красавицы, спящей мертвым сном.

В своем желании по-новому рассказать об Италии Ходасевич был не одинок. В 1911 г. П.П.Муратов выпустил первый том трилогии «Образы Италии» (М.: Научное слово, 1911). Он посвятил книгу «B.K.Z.» — Борису Константиновичу Зайцеву, писателю, влюбленному в Италию: рассказы о ней составили отдельную книгу — «Италия» — в Собрании сочинений Зайцева (Зайцев Б.К. Собр. соч. Берлин—Петербург—Москва: Изд. З.И.Гржебина, 1923. Т. 7).

Писатели были частыми гостями в Италии: в мае 1911 г. Муратов, собиравший материал для второй книги «Образов Италии», останавливался в Венеции; в Венеции Муратов и Зайцев встречали Новый, 1912 год. Летом 1911 г. переводчик, историк литературы Б.А.Грифцов руководил экскурсиями русских учителей по Венеции, а М.Осоргин, в ту пору корреспондент «Русских ведомостей» по Италии, знакомил экскурсантов с современной Италией.

Своими переводами, книгами, статьями они подготовили новое открытие Италии. Их литературные замыслы, произведения связаны множеством нитей, зацепок, перекличек. Муратов отдельную главу в кн. «Образы Италии» посвятил маскарадно-карнавальному духу Венеции, театру Гоцци. Ходасевич, вдохновленный им, пытался в это время переводить сказку Гоцци «Принцесса Турандот». 2 апреля 1912 г. издатель К.Ф.Некрасов писал Ходасевичу: «...о

Вас же много слышал от П.П.Муратова; между прочим, он рассказывал мне о Вашей попытке переводить Гоцци и о том, что пришлось отказаться от перевода вследствие чрезвычайной его трудности» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 76). Сказку Карло Гоцци «Принцесса Турандот» удачно перевел М.Осоргин: в его переводе она была поставлена Третьей студией (1920) и до сих пор идет на сцене театра им. Е.Б.Вахтангова.

С. 7. *Джотто* ди Бонде (1266/67—1337) — живописец. «Итальянская живопись родилась от Джотто», — утверждал П.П.Муратов, посвятивший его фрескам отдельную главу и многие страницы кн. «Образы Италии». В очерке Ходасевича упомянуты и другие представители венецианской школы: *Тинторетто* Якопо (1518—1594) и *Тициан* (Тициано Вечеллио; ок. 1476/77 или 1489/90 — 1576).

С. 8. *Аретин* (Аретино) Пьетро (1492—1556) — драматург, поэт, друживший с Тицианом.

Город разлук (с. 11). — Московская газета. 1911. 23 сентября.

В Венеции судьба неожиданно соединила, сблизила Ходасевича и Бориса Александровича Грифцова (1885—1950). 3 августа 1911 г. Ходасевич сообщал А. И. Чулковой в Париж: «Валандаюсь с Грифцовым, Катя уехала в Москву, — и он очень мил на холостом положении» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 39). В это же время уехала в Москву и Евгения Муратова. Оставленные возлюбленными, приятели бродили по улочкам Венеции, переживая «страшную сладость в смущении, что любовь прошла», — как писал Б.Грифцов в автобиографической повести «Бесполезные воспоминания» (Берлин: Изд-во писателей, 1923). Ср. со ст-нием Ходасевича «Нет ничего прекрасней и привольней, чем навсегда с возлюбленной расстаться...» (1925—1926).

Совместность пережитого связала и их произведения множеством сюжетных линий, персонажей, тональностью, а порой текстуальными совпадениями. Особенно это касается рассказа «Дни в Венеции» (30 августа — 1 сентября 1911 г.), который Б.Грифцов посвятил «Вл.Ходасевичу», и очерка «Город разлук». В другом рассказе Б.Грифцова, «Неверное сердце», в автобиографическую историю вплетен любовный сюжет Ходасевича и Е.Муратовой, их встреча в Венеции. Рассказы Б.Грифцова, неопубликованные, оставшиеся в рукописях (*РГАЛИ*. Ф. 2171. Оп. 1. Ед. хр. 17), Ходасевич знал, возможно, слышал их в чтении автора.

И в более поздние годы, неоднократно, в стихах и прозе, обращаясь к венецианским впечатлениям, к теме «город разлук», Ходасевич менял тональность, освещение. Заехав в Венецию в 1924 г., он жаловался В.Г.Лидину: «Для Венеции нужна беззаботность, точнее — способность предаваться чистому лиризму (любой окраски). А вот ее-то и поубавилось» (письмо от 18 марта 1924 г. — см. т. 4 наст. изд.).

Со временем лирическая тональность сменилась трагической опустошенностью. В 1934 г., вновь обратившись к венецианским воспоминаниям, автор «Европейской ночи» не нашел ни романтичес-

кой возлюбленной, «царевны» («изумительного и нарочитого создания»), ни романтического города-причуды. Тему прозаического отрывка он обозначил словами «О трех женщинах», сделав героиней своей «уличную женщину 2-го разряда» (или «женщину в зеленом»), её старуху-мать и дочь.

Только начало задуманного рассказа перекликается с очерком «Город разлук»: «Венеция. Свобода. Безделье. Вдвоем. Вживание в жизнь гор<ода> к<а>к в жизнь природы. Час дня, погода = обеду; 5 час. = чаю, вечером музыка на Пьявоне. Отливы толпы равны отливам моря».

«Женщина в зеленом» — сквозной персонаж рассказа Б.Грифцова «Дни в Венеции», своеобразная ночная душа Венеции, жизнь которой состоит из череды влюбленностей, короткого счастья и разлук. Рассказ кончался словами: «Да, накануне отъезда я еще раз видел нашу женщину в зеленом. Ее снова можно назвать так, потому что она была опять в зеленом платье, одна, нескладная, печальная. Она металась в часы ночные по пьяцце, посмотрела так печально и дико и исчезла за углом прокураций».

Историю «женщины в зеленом» Ходасевич перенес в свой рассказ, заземлив ее. На этот раз он писал не о молодом счастье любви и счастье разлуки, не о мимолетности чувств — о невозможности повторить пережитое, об усталости и отсутствии желаний, когда к жизни привязывает ответственность за близких: слово «сытость» множество раз повторено в рассказе. Само понятие счастья меняется: «Всем надо счастья. Счастье — это тепло, сытость, покой... Конечно, — раньше было. Ведь вот — влюбился же, б<ыл> счастлив, дурак. И, главное, она была сыта, и дев<очка>, и старуха». Правда, и это короткое счастье оказалось случайным: «Лживый флорен<тиец>. Право, жаль, что проза... И жаль, что не сыта. И дев<очка>, и мать. И что не прочно все». За этим следовала неожиданная яростная концовка: «А я свободен! А мне ничего не надо! А у меня *нет* желаний!» (*АБ*. Ф.Карповича).

Иоганн Вейс и его подруга (с. 16). — *УР*. 1911. 13 декабря.

«Пришли стихов, но приятных, сентиментальных», — писала Ходасевичу из Лондона Е.В.Муратова 27 мая 1911 г.

Сентиментальные стихи, сентиментальная сказка — излюбленные жанры подруги Ходасевича Евгении Владимировны Муратовой (1884/85?—1981), танцовщицы, которой посвящена сказка. Бродячий романтический сюжет оживлен множеством деталей, черточек, особенностей ее характера. Несколькими стилизованными штрихами Ходасевич создает образ «царевны» *СД*: «губы с полосками рыжеватых румян», черный плащ, легкие розы, дорога звезд, сапфирное небо и т.д.

Легкая ирония не разрушает приподнято-романтической стилистики, хотя название кабачка, где встретились и расстались герои, «Kopfschmerzen», заставляет вспомнить выражение Г.Гейне: «зубная боль в сердце», а имя для своего героя Ходасевич позаимствовал у рекламы обуви: «Магазин обуви Генрих Вейс. Москва. Кузнецкий мост».

С. 16. *Герман, Доротея* — персонажи поэмы И.В.Гете «Герман и Доротея» (1798).

Заговорщики (с. 21). — Аргус. 1915. № 10. С. 55—63.

9 августа 1915 г. Ходасевич писал Муни: «Рассказ мой дрянь самая обыкновенная. Помесь Стендаля, Андрея Белого, Данте, Пояркова, Брюсова, Садовского, Гете и Янтарева. Я его диктовал, пока Валя писала мой портрет. А ты хочешь, чтобы я тебе о нем писал! Не стану. Я его продаю, да не знаю кому» (*Письма к Муни*).

В тот же день он отправил письмо Г.И.Чулкову:

«Дорогой Георгий Иванович,
пока переписывал я тот рассказ, о котором говорил Вам, явился Садовской и (каюсь) соблазнил меня "ожиданием выгод", как говорится в свидетельской присяге. Попросту — я решился на "Лукоморье". <...>

Увы, в "Лукоморье" рассказа не взяли. Если бы они сказали, что он плох, я бы только оценил их критические способности. Но они сослались на то, что у рассказа "не русский сюжет".

Я написал Садовскому, чтобы он переслал рукопись Вам. Делайте с ней, что хотите: Нива, Аргус, Огонек, День, Биржевка — все места божественные, если платят. <...>

Кроме того, не судите обо мне дурно по этому плохому рассказу. Я понятия не имею о том, как пишется проза» (*РГБ*. Ф. 371. Карт. 5. Ед. хр. 12).

Переписка с Муни свидетельствует о том, что Ходасевич долго обдумывал рассказ — о нем в начале лета сообщала Муни А.И.Ходасевич. За «не русским сюжетом» прочитывается история, свидетелем которой был Ходасевич: история любви молодой поэтессы Н.Г.Львовой и В.Я.Брюсова, самоубийство Львовой. Создавая образ Джулио, автор сделал первый черновой набросок того характера, который мы увидим в очерке «Брюсов» («Некрополь»).

На это очевидное сходство обратил наше внимание В.В.Зельченко. Приведем несколько примеров совпадений текстуальных:

Заговорщики	Брюсов
...серьезное лицо его оскалилось стремительной и острой улыбкой.	Брюсов оскалился своей, столь памятной многим, ласково-злой улыбкой.
Председательствовать, давать слово, закрывать заседания — все это было страстью Джулио. Он же любил придавать нашим встречам оттенок торжественности.	Он страстною, неестественною любовью любил заседать, в особенности — председательствовать. Заседая — священнодействовал.
Общее всем нам преклонение перед Джулио перешло у Марии в любовь. Она не была красива, но миловидна.	Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой.

И быстрым движением он поднял обе свечи к лицу и дунул на них. Когда мы пришли в себя и опять зажгли свет, Джулио между нами не было.

Его уходы были так же таинственны: он исчезал внезапно. Известен случай, когда перед уходом от Андрея Белого он внезапно погасил лампу, оставив присутствующих во мраке. Когда вновь зажгли свет, Брюсова в квартире не было.

Оба произведения начинались с родословной героя. О Джулио сказано: «Внук аргентинского лавочника, выходца из Италии, он сумел соединить в себе дерзкий ум авантюриста с увертливой душой торгаша. Самые возвышенные идеи он без малейшего отвращения обращал к своей выгоде»; очерк «Брюсов» начинается историей рода Брюсовых: дед — «владелец довольно крупной торговли», внук — «в стихии расчета <...> умел быть вдохновенным». Речь Джулио состоит из ряда перефразированных цитат брюсовских стихов и т.д.

Замысла своего Ходасевич не выдал никому из литераторов, надеясь на литературный скандал, на сенсацию. Только глухо намекнул Муни: «Анти-Брюсовское ополчение растет и ширится. Бальмонт в Москве негласно интригует. Я засветил лампаду и жду, чем кончится» (19 июня 1915. *Письма к Муни*).

Рассказ замечен не был: ни в печати, ни в письмах современников отклика на него не последовало.

С. 21. *«Джулио — наше знамя!» — восклицал о нем пламенный Марко...* — См. статью Андрея Белого «Валерий Брюсов: Силуэт»: «Брюсов — не только большой поэт, это — наш лозунг, наше знамя, наш полководец в борьбе с рутиной и пошлостью». Статья кончалась словами: «Мы представляем собою в искусстве партию. Партия должна иметь своего лидера. И мы чтим в Валерии Брюсове не только поэта, но и наше знамя» (Свободная молва. 1908. 21 января).

Помпейский ужас (с. 33). — *ПН.* 1925. 10 мая. Повторная авторская публикация, под загл. «Помпея», с небольшими изменениями в тексте, — Сегодня (Рига). 1937. 23 июня.

С. 33. *А было 13 апреля...* — 13 апреля 1925 г., в последние дни полугодового пребывания Ходасевича и Берберовой у Горького в Сорренто, близ Помпеи, перед отъездом в Париж 18 апреля. Очерк написан (и тут же опубликован) по свежему впечатлению.

С. 35. *Кустоды* — смотрители (*лат.* custodes — стражи).

...по свидетельству Плиния, многие богохульствовали... — Из письма Плиния Младшего Корнелию Тациту: «...многие воздевали руки к богам; большинство объясняло, что нигде и никаких богов нет и для мира это последняя вечная ночь» (Письма Плиния Младшего. М., 1984. С. 109).

«...Когда ж без сил любовники застыли...» — Из ст-ния В.Я.Брюсова «Помпеянка» (1901); цитируется неточно.

С. 38. *Наумахия* — изображение морской битвы.

«Злое пламя земного огня». — Строка из ст-ния Вл.Соловьева «Вся в лазури сегодня явилась...» (1875).

Бельфаст (с. 40). — *ПН.* 1925. 26 мая.

Очерк вызвал протест Горького. 20 июля 1925 г. он писал Ходасевичу: «...я рассердился на ваш “Бельфаст”, несправедливо ставить это “учреждение” в упрек сов. власти. Германия, Франция технически богаче России, но Бельфаста и у них ведь нет. Это — нечто исключительное, верфь Бельфаста. Да и вообще несправедливо упрекать Москву в безделье — там работают и учатся работать» (Письма Горького к В.Ф.Ходасевичу // *НЖ.* 1952. № 31. С.203).

С. 40. *...я пробыл... шестьдесят летних дней...* — Ходасевич прожил в Ирландии со 2 августа по 26 сентября 1924 г.

Из неоконченной повести (с. 47). — *В.* 1931. 14 апреля.

Первое упоминание о повести появилось в письме к М.В.Вишняку, одному из редакторов *СЗ,* 10 февраля 1925 г. Отправляя ему воспоминания о Брюсове, Ходасевич писал: «Я *не мог* послать стихов, потому что есть разрозненные клочья, в отдельности ничего не стоящие. А связать не могу, п. ч. — скажу Вам, *только Вам,* под великой тайной — я все это время обдумывал нечто прозаическое, первый раз в жизни, и теперь сел писать».

Слова «первый раз в жизни» относились к грандиозности замысла; впервые задумал он большую вещь о «людях русского символизма», о литературном воздухе эпохи в канун революции. Смерть В.Я.Брюсова, потребность рассказать о нем, воспоминания послужили толчком к замыслу повести.

Ходасевич был увлечен ею, сообщал о повести в письмах — М.М.Карповичу 3 июня 1925 г.; А.И.Ходасевич 22 июня того же года: «Для себя пишу повесть, но очень туго»; московскому приятелю Б.А.Диатроптову: «Для души — стихи (мало, как всегда) и повесть, которую начал, которую наполовину уже проел, а продолжать мешает каждодневная работа» (получено 15 ноября 1925 г.).

К концу 1925 г. работа над повестью, очевидно, застопорилась, поэтому Ходасевич датировал опубликованный фрагмент 1925 годом.

Писателю казалось, что завершить повесть ему мешает занятость, на самом деле он открыл новый жанр — портрет-некролог, в котором с наибольшей полнотой выразились и осуществились и аналитический склад его прозы, и потребность в создании глубоких психологических типажей из материала живой жизни. Своей новизной очерки «о людях символизма» испугали даже самого автора, который выспрашивал у своего первого читателя и редактора М.В.Вишняка, «не слишком ли ужасно» написанное им, и так и не решился опубликовать в *СЗ* очерк о Нине Петровской в неизвестной нам редакции.

Первый вариант очерка «Брюсов» отличается от окончатель-

ного, вошедшего в «Некрополь», оглядкой и робостью, попыткой умолчать, спрятать под литерами имена живых людей, ставших персонажами очерка. Что-то оставалось недосказанным, история Брюсова и Нади Львовой продолжала волновать писателя, о чем свидетельствует «конспект биографии» (как называла его Н.Н.Берберова), заново переписанный в середине 20-х годов: «1912, февр. Гиреево. Голод. <...> Мусагет. Садовской. Брюсов и Надя Львова.

1913. Бегство в Гиреево. Балиев. Надя Львова и ее смерть...» (*АЗ*).

В повести и фабула, и герои были те же, что в очерке «Брюсов», но, укрывшись за вымышленными персонажами, автор поначалу чувствовал себя свободней и увереннее. Гомбуров, редактор «Меркурия», — Брюсов, редактор журнала «Весы»; в девически-застенчивом облике Сони Мамоновой, провинциалки из Тулы, узнается Надя Львова, приехавшая учиться в Москву из Подольска. Близкий Ходасевичу в те годы Б.А.Садовской, описывая в «Записках» Надю Львову, подчеркнул ее провинциальность как особо характерную черточку: «Настоящая провинциалочка, застенчивая, угловатая, слегка сутулая...» (Встречи с прошлым. М., 1988. Вып. 6. С. 130). И сам Борис Садовской был одним из персонажей повести, точно так же, как Муни: во всяком случае, фамилией «Мелентьев» Муни назвал героя своего рассказа «Летом 190 года», во внешнем облике и роли которого угадывается Ходасевич. Мелентьева мы видим и среди действующих лиц повести.*

Местом действия повести стал город, городок, обособленный, замкнутый мир литературы, пересекающийся по житейской необходимости с мирами чиновников, врачей, могильщиков и обреченный на трагический конец. Трагическая развязка задана эпиграфом и сценой похорон, с которой повесть начиналась, предрекая гибель героини. Горечь, сухая ироничность, гиперболизм, свойственные и последним стихам Ходасевича, мешали произведению развернуться. Характерно первоначальное название повести, от которого автор в конце концов отказался: «Ложные солнца».

А тем временем один за другим появлялись в печати очерки: «Брюсов», «Гершензон», «Муни», «Конец Ренаты», «Сологуб», в которых ирония сочеталась с болью, нежностью, жалостью, а неприятие времени с признанием высоких задач, выдвинутых символизмом. Писателем к началу 30-х годов они уже воспринимались как «серия», как главы единого целого, новой книги — «Некрополь». Тогда он окончательно расстался с мыслью о повести и напечатал отрывок из нее.

В работе над повестью сложился замысел «Некрополя», и фрагменты ее обогатили «Некрополь»: в первой редакции очерка «Брюсов» не было сцены похорон Нади Львовой, описания ее стариков-родителей, выполненного с той тщательностью и подробностями, которые присущи неторопливому прозаическому повествованию: скорее всего, эта сцена перешла в «Некрополь» из повести.

Из книги «Пушкин» (с. 54). — На протяжении многих лет

Ходасевич лелеял замысел написать биографию Пушкина. Первое упоминание о ней находим в автобиографии 1920 г., где среди работ, «вполне или отчасти подготовленных», Ходасевич называет «популярную биографию Пушкина (разм<ер> — от 4—5 печ<атных> листов)» (*ВЛ.* 1987. № 9. С. 228—229). В *АИ* сохранилась машинопись трех глав этой биографии объемом $^{3}/_{4}$ а. л., где жизнеописание начато с предков Пушкина — легендарного Ратши и «арапа Петра Великого» — и доведено почти до южной ссылки поэта. Осенью 1921 г. Ходасевич вернулся к этому замыслу и 25 января 1922 г. подписал договор, согласно которому «принял на себя составление для издательства М. и С. Сабашниковых биографии Александра Сергеевича Пушкина размером до 10 печ<атных> листов 40 000 букв каждый» и обязался представить ее к 1 июля 1922 г. (*РГБ.* Ф. 261. Карт. 9. Ед. хр. 16. Л. 3). Однако к делу он, судя по всему, так и не приступил, вскоре уехал из России и возобновил работу над пушкинской биографией лишь в 1932 г., написав заново две первые главы и доведя рассказ о жизни Пушкина до Лицея. Но дальше он столкнулся с такими практическими трудностями (нехватка времени и отсутствие специальной литературы), которые заставили его приостановить работу. 19 июля 1932 г. он писал Н.Берберовой, что на Пушкине «поставил крест» (*М-5.* С. 285). Тем не менее в 1933 г. он опубликовал еще одну главу, охватывающую период от выхода Пушкина из Лицея до отъезда в южную ссылку, а в 1935 г., в преддверии пушкинского юбилея, попытался организовать подписку на будущую книгу, чтобы обеспечить ее издание с материальной стороны (*В.* 1935. 17 января. № 3515). Кроме того, Ходасевич ждал от Юбилейного Пушкинского Комитета официального заказа, без которого не хотел приниматься за новый этап работы (см. об этом в его письме М.Гофману от 10 августа 1935 г. — Russian Litterature and History: In Honor of Professor I. Serman. Jerusalem, 1989. С. 161). Но, видно, он не получил такого заказа, и биография Пушкина к юбилею так и не была написана. Вскоре после смерти Ходасевича М.Алданов вспоминал: «Как жаль, что он так и не написал жизни Пушкина! Не раз говорили ему, что в этом его прямая обязанность и благороднейшая задача. <...> Он говорил, что внезапно остался без наиболее важных пособий, что в одном томе жизни Пушкина не изложишь, что писать такую книгу можно только в России, что для этого нужно два года. Это было верно. Но думаю, что все-таки он мог бы преодолеть случайные и внешние препятствия. Вернее, считал такую работу слишком ответственной, требующей слишком большого напряжения душевных сил. Откладывал ее до лучших времен — как, кажется, и Гершензон. Это потеря не вознаграждаемая» (Алданов М. В.Ф.Ходасевич // Русские записки. 1939. № 19. С. 182—183).

В нашем издании печатаются три главы пушкинской биографии, написанные в 1932—1933 гг. При их подготовке Ходасевич пользовался ограниченным числом пушкиноведческих изданий, указанных в комментариях к отдельным главам; по этим изданиям он, как правило, и цитирует мемуары, эпистолярии и другие документы.

В комментариях первоисточники указываются лишь при закавыченных цитатах, а также при использовании Ходасевичем пушкинских текстов в любой форме.

Глава «Начало жизни» опубл.: *В*. 1932. 30 апреля. № 2524; с подзаголовком «Из книги "Пушкин"». Первая половина этой главы, заканчивающаяся фразой о рождении Пушкина, перепечатана с мелкими стилистическими поправками в рижской газ. «Сегодня» под заголовком «Черные предки (из готовящейся к печати книги "Пушкин")» (1937. 26 января. № 26).

В рассказе о роде Ганнибалов Ходасевич использовал источники: Модзалевский Б.Л. Род Пушкина // Пушкин А.С. Собр. соч. / Ред. С.А.Венгеров. СПб., 1907. Т. 1. С. 1—24 (то же: Модзалевский Б.Л. Пушкин. Л., 1929. С. 19—63); Ганнибал А.С. Ганнибалы: Новые данные для их биографий // Пушкин и его современники. Пг., 1914. Вып. 17/18. С. 205—238; Вып. 19/20. С. 270—309, — а также пушкинские тексты: «Начало автобиографии» (так называемая «Родословная Пушкиных и Ганнибалов», 1835—1836) и неполный перевод немецкой биографии А.П.Ганнибала (1824—1827). В рассказе о детстве Пушкина и его семье использованы воспоминания сестры Пушкина О.С.Павлищевой в неточной передаче ее сына Л.Н.Павлищева (Павлищев Л.Н. Воспоминания об А.С.Пушкине: Из семейной хроники. М., 1890), первая глава «Материалов для биографии А.С.Пушкина» П.В.Анненкова (СПб., 1855), статья Л.А.Виноградова «Детские годы Пушкина» (А.С.Пушкин в Москве: Сб. статей. М., 1930. С. 8—48).

С. 54. *«Однажды маленький арап... и выдернул глисту своими пальцами»*. — Из анекдотов, записанных Пушкиным и объединенных им под названием «Table-talk» («Застольные разговоры», 1835—1836).

«Сей сильный владелец»... — Из пушкинского перевода немецкой биографии А.П.Ганнибала.

Мальчику было лет восемь. — Дата рождения Ганнибала колеблется по разным источникам от 1688 до 1698 года. Наиболее вероятен 1696 г. (см.: Леец Г.А. Абрам Петрович Ганнибал. Таллин, 1984. С. 11—15).

В 1707 году, в Вильне, государь крестил арапчонка в православную веру и сам был его восприемником; Христина, польская королева, была крестною матерью. — По уточненным данным, крещение состоялось в 1705 г., польская королева Христина-Эбергардина при этом не присутствовала (см.: Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. М., 1985. С. 431; Телетова Н.К. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. Л., 1981. С. 119—121).

...«но он плакал и не хотел носить нового имени». — Пушкинские слова из «Начала автобиографии».

...Петр отправил его с другими молодыми людьми во Францию... — Петр не «отправил» Ганнибала во Францию, а оставил его там в июне 1717 г. во время своего путешествия в Европу (см.:

Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. С. 431—432; Телетова Н.К. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. С. 136).

С. 55. *...в военно-инженерную школу в Метце.* — Инженерная школа, в которой обучался Ганнибал, была не в Метце, а в крепости Ла Фер, в 120 км от Парижа (см.: Телетова Н.К. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. С. 138; Леец Г.А. Абрам Петрович Ганнибал. С. 46).

«Государь» Макиавелли — политический трактат итальянского писателя, историка, политического деятеля Никколо Макиавелли (1469—1527); в библиотеке Ганнибала было парижское издание 1714 г.

Политические завещания Кольбера и Лувуа — французского государственного деятеля Жана Батиста Кольбера (1619—1683) и французского военачальника Франсуа Мишеля Летелье де Лувуа (1639—1691) — изданы в Париже соответственно в 1694 и 1706 гг.

«Histoire de la Conquête du Mexique» — «История завоевания Мексики» (2 т.; Париж, 1714), сочинение испанского писателя Антонио де Солис и Риваденейры (1610—1686).

«Voyage de Struys en Moscovie» — «Путешествие Стрюйса по Московии» (Париж, 1719. Т. I.), книга нидерландского путешественника Яна Стрейса, авторское название — «Три путешествия».

О библиотеке Ганнибала Ходасевич писал особо в «Литературной летописи» (*В.* 1937. 24 сентября. № 4097).

Ревель — старое название Таллинна.

...за несколько месяцев до воцарения Екатерины II. — Неточно: Екатерина II вступила на престол 28 июня 1762 г., Ганнибал был уволен в отставку 9 июня.

...в Суйде — одном из пожалованных ему имений. — Мыза Суйда была не пожалована Ганнибалу, а куплена им в 1758 или 1759 г. (Телетова Н.К. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. С. 148).

С. 56. *Там она прожила пять лет, после чего, уже по судебному приговору, была заточена в монастырь, где и умерла.* — Евдокия Диопер была заточена в монастырь лишь в 1753 г., через 22 года после начала бракоразводного дела. Половину этого срока она провела в заключении.

...от великого африканца. — Т. е. от Ганнибала (247 или 246 — 183 до н. э.) — знаменитого полководца и государственного деятеля Карфагена.

Его победам Екатерина воздвигла памятник в Царском Селе. — Речь идет о Морейской колонне, поставленной в 1782 г.; на ней выбиты надписи в честь побед русского флота во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг., в том числе и в честь взятия Ганнибалом Наварина — крепости на юго-западном побережье полуострова Пелопоннес (см.: Яковкин И. Описание Села Царского. СПб., 1830. С. 90—92).

С. 58. *С чином коллежского советника Сергей Львович был уволен от службы...* — Сергей Львович ушел в отставку не коллежским советником, а коллежским асессором, т.е. чиновником не 6-го,

а 8-го, менее высокого класса по табели о рангах (см.: Романюк С.К. К биографии родных Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23. Л., 1989. С. 13).

...Скворцов, сослуживец Сергея Львовича. — И.И.Скворцов не был тогда сослуживцем С.Л.Пушкина (см.: Романюк С.К. Пушкины в Москве в конце XVIII — начале XIX века // Временник Пушкинской комиссии: 1979. Л., 1982. С. 8). Весь дальнейший рассказ об обстоятельствах переезда семьи Пушкиных в дом Скворцова — неубедительное предположение, заимствованное Ходасевичем из указанной статьи Л.А.Виноградова. Скорее всего, Пушкины просто снимали у Скворцова квартиру в доме на углу современных Малой Почтовой улицы (д. 4) и Госпитального переулка (д. 1—3) (см.: Романюк С.К. Пушкины в Москве... С. 7; Романюк С.К. К биографии родных Пушкина. С. 13).

С. 59. *По-французски он изъяснялся в совершенстве.* — Парафраза пушкинских стихов: «Он по-французски совершенно // Мог изъясняться и писал...» («Евгений Онегин», гл. 1, IV).

С. 60. *Бурдибур, Катар* — эти не известные науке имена заимствованы Ходасевичем из указанных в преамбуле воспоминаний Л.Н.Павлищева.

Сент-Обен Камилл (1752—1820) — французский публицист и экономист.

Г-жа Пержерон де Муши — Аделаида Иоганна Виктория Першерон де Муши (ум. не позднее 1842) — пианистка, жена ирландского композитора и пианиста Джона Фильда.

...граф Ксавье де Местр розоватою акварелью нарисовал портрет хозяйки дома. — Граф Ксавье де Местр (1763—1852) — французский писатель, ученый, художник; его портрет Н.О.Пушкиной — миниатюра на слоновой кости, выполненная акварелью и гуашью.

С. 61. *Арина Родионовна родилась... примерно в 1754 году...* — Арина Родионовна Яковлева родилась в 1758 г.

С. 62. *... и он засыпал.* — Финал главы навеян пушкинским ст-нием «Сон» (1816).

Глава «Дядюшка-литератор» опубл.: *В.* 1932. 9 июня. № 2564; под названием «Литература (из книги “Пушкин”)». А также: Сегодня (Рига). 1937. 1 февраля. № 32; с подзаголовком «Из готовящейся к печати книги “Пушкин”».

Печатается по варианту 1937 г., отличающемуся мелкими поправками и дополненным финалом.

Материал для этой главы почерпнут Ходасевичем из следующих источников: Саитов В.И. В.Л.Пушкин: Историко-литературный очерк // Пушкин В.Л. Сочинения. СПб., 1893. С. VIII—XXI; Пиксанов Н.К. Дядя и племянник // Пушкин А.С. Собр.соч. / Ред. С.А.Венгеров. СПб., 1911. Т. 5. С. LXVII—LXXII; Анненков П.В. Материалы для биографии А.С.Пушкина. СПб., 1855; Павлищев Л.Н. Воспоминания об А.С.Пушкине: Из семейной хроники. М., 1890.

С. 63. *...заявил себя классиком...* — «Классиками» Ходасевич называет литераторов, объединившихся в общество «Беседа любителей русского слова» (1811—1816) во главе с А.С.Шишковым и Г.Р.Державиным, — они ратовали прежде всего за традиционализм литературного языка. Ходасевич подробно описал историю «Беседы» в кн. «Державин» (1931).

...перешел на сторону карамзинистов. — Карамзинисты — литераторы, группировавшиеся вокруг Н.М.Карамзина, сторонники языковой реформы и вообще демократизации литературы. О борьбе шишковистов и карамзинистов и о реально более сложной расстановке литературных сил см.: Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 23—121.

...только один раз в жизни сообразил, что надо обидеться. — Ходасевич имеет в виду историю, изложенную в мемуарах М.А.Дмитриева «Мелочи из запаса моей памяти» (М., 1854) и пересказанную в упомянутой статье В.И.Саитова: Василий Львович обиделся на шутливый приговор суда «Арзамаса» — литературного общества карамзинистов. Суд определил его стихи как «бесстыдные» и «скотоподобные» и разжаловал его из старост «Арзамаса» с заменой прозвища «Вот» на унизительное «Вотрушка».

В веселом обществе «Галера»... — «Галера» — петербургское общество «золотой молодежи», «несколько разгульное», по словам П.А.Вяземского (Вяземский П.А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 436).

Разные Лизы Карловны... — Некая Лиза Карловна фигурирует в куплетах, которые Василий Львович распевал на одной из «галерных» пирушек (Саитов В.И. В.Л.Пушкин. С. IX).

С. 64. *...предстояло стать вторыми «Письмами русского путешественника».* — «Письма русского путешественника» Н.М.Карамзина, написанные как хроника поездки автора по Европе в 1789—1790 гг., были в России необычайно популярны и воспринимались как эталон жанра.

Дмитриев заранее описал будущее путешествие Василия Львовича в стихах, не лишенных яда. — Имеется в виду ст-ние И.И.Дмитриева «Путешествие N.N. в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия» (1803). Современники, в том числе и А.С.Пушкин, считали, что в этих стихах путешествие Василия Львовича описано «заранее», как выразился Ходасевич. Однако недавнее исследование показало, что подзаголовок этой стихотворной шутки, скорее всего, имел целью мистифицировать читателя и что Дмитриев сочинил ее уже по возвращении путешественника, опираясь на его рассказы и письма (см.: Степанов В.П. Заметки о В.Л.Пушкине // Пушкин: Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983. С. 250—260).

...и даже с самой Рекамье... — Рекамье — Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Бернар (1777—1849) — хозяйка литературного и политического салона в Париже.

...«Мы были в Сен-Клу... Аудиенция продолжалась около получаса». — Из письма В.Л.Пушкина Н.М.Карамзину от 12 сентября 1803 г.

...«Парижем от него так и веяло... давал он дамам обнюхивать голову свою». — Слова из «Автобиографического введения» П.А.Вяземского.

...сам граф Бутурлин, богатейший библиоман. — Граф Д.П.Бутурлин владел уникальным книжным собранием, которое оценивалось как одно из лучших в Европе. По воспоминаниям М.Н.Макарова, Пушкин в детстве имел доступ к этой библиотеке (А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 46). Она сгорела в московском пожаре 1812 г., после чего Бутурлиным была собрана вторая, не менее замечательная библиотека.

Эпиталама — стихотворение на свадьбу.

С. 65. *...шепелявый Измайлов...* — Среди литераторов того времени было двое Измайловых: Александр Ефимьевич и Владимир Васильевич. Ходасевич говорит о Владимире Васильевиче Измайлове (1773—1830) — писателе, переводчике, издателе журналов «Патриот», «Вестник Европы», «Российский музеум».

...у самого Шлецера... — Август Людовик Шлецер (1735—1809) — немецкий историк, статистик, публицист.

...старик Шишков... — Александр Семенович Шишков (1754—1841) — адмирал, переводчик, поэт, филолог, президент Российской Академии (1813—1841), министр просвещения (1824—1828). В 1803 г. издал кн. «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», которая открыла литературную войну между архаистами и карамзинистами.

С. 66. *Читая без разбора....* — Пушкинское выражение: «Стал вновь читать он без разбора» («Евгений Онегин», гл. 8, XXXV).

С. 67. *Образы няни и бабушки сблизились с образами Парки и Музы.* — Об этом см. в статье Ходасевича «Явления Музы» (см. в составе кн. «О Пушкине» в наст. томе).

...Юсупов сад у Харитония в Огородниках. — Сад возле дома кн. Н.Б.Юсупова в приходе церкви св. Харитония. Огородники, Огородная слобода — район современных ул. Грибоедова, Чистопрудного бульвара, Б.Харитоньевского пер., М.Козловского пер. Пушкины сменили в этом районе несколько квартир.

Изображения Аполлона и Венеры потрясали его сладким страхом... — Ходасевич опирается на пушкинское стихотворение «В начале жизни школу помню я...» (1830), присоединяясь к традиционному биографическому его толкованию. «Белые в тени дерев кумиры» не столь однозначно раскрываются как Аполлон и Венера; так, например, Д.С.Мережковский видел в них Аполлона и Диониса (см.: Мережковский Д.С. Вечные спутники: Пушкин. 3 изд. СПб., 1906. С. 60—61). «Великолепный мрак чужого сада» в этом ст-нии может быть отнесен не только к Юсупову саду, но и к Екатерининскому парку Царского Села (см., например: Анненский И.Ф. Пушкин и Царское Село // Анненский Иннокентий. Книги отражений. М., 1979. С. 312—313). Согласно другому мнению, «лирическое "я" стихотворения — вовсе не "я" Пушкина» — в нем раскрыт «сложный мир человека эпохи Данте» (Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 280).

«Генриада» — поэма Вольтера (1728).

С. 68. *При помощи Малиновского...* — Василий Федорович Малиновский (1765—1814) — дипломат и литератор.

С. 69. *Тронулись в путь в июне месяце.* — Точнее — в июле 1811 г. (см.: Цявловский М.А. Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина. Л., 1991. Т. 1. С. 38).

Сложившись, дали они ему сто рублей на орехи. — Эта история известна по письму Пушкина П.А.Вяземскому от 15 августа 1825 г.

Глава «Молодость» была опубл.: *В.* 1933. 9, 12, 16, 19 марта. № 2837, 2840, 2844, 2847; с подзаголовком «Из книги "Пушкин"».

Материал для этой главы заимствован Ходасевичем из следующих источников: Вересаев В.В. Пушкин в жизни. М., 1926. Вып. 1 (или более позднее издание); Кубасов И.А. Пушкин и кн. Е.И.Голицына // Пушкин А.С. Собр.соч. / Ред. С.А.Венгеров. СПб., 1907. Т. 1. С. 516—526 (четные страницы); Морозов П.О. От Лицея до ссылки // Там же. С. 485—502; Веселовский А.Н. Период «Зеленой Лампы» // Там же. С. 542—558 (четные страницы); Анненков П.В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874 (гл. III—IV); Из черновых заметок П.В.Анненкова для биографии Пушкина // Модзалевский Б.Л. Пушкин. Л., 1929. С. 336—396; Щеголев П.Е. «Зеленая Лампа» // Щеголев П.Е. Из жизни и творчества Пушкина. 3 изд., испр. и доп. М.—Л., 1931. С. 39—68. Первоисточники цитируются Ходасевичем по этим изданиям.

С. 70. *...был удостоен чином коллежского секретаря...* — Низкий чин 10-го класса по табели о рангах.

Директору Энгельгардту... — Егор Антонович Энгельгардт (1775—1862) стал директором Лицея в 1816 г. Пушкин его недолюбливал.

...положенную на музыку Теппером. — Вильгельм Петрович Теппер де Фергюсон (ок. 1775 — не ранее 1823) — учитель музыки и пения в Лицее.

Прощальные стихи Зубову, Илличевскому, Пущину, Кюхельбекеру и всем товарищам купно уже написаны. — Приятель Пушкина корнет гусарского полка Алексей Зубов не был лицеистом. Ходасевич имеет в виду обращенное к нему ст-ние «В альбом», написанное летом 1817 г. Остальные упомянутые стихи — «В альбом Илличевскому», «В альбом Пущину», «Кюхельбекеру», «Товарищам». Алексей Илличевский — лицейский товарищ Пушкина, поэт. Пушкин общался с ним и после Лицея.

С. 71. *Случалось, что с вечера выпивали... пьяного Павла Исааковича.* — Рассказ про кутежи Ганнибалов и «девицу Лошакову», заимствованный из мемуаров Л.Н.Павлищева, вряд ли достоверен.

С. 72. *...«и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа».* — Слова из пушкинских «Автобиографических записок» 1824 г.

...«черные выразительные глаза... понятие о внешности ее». —

Это и два следующих закавыченных описания внешности кн. Голицыной принадлежат П.А.Вяземскому («Старая записная книжка»).

С. 73. *Она жила на Большой Миллионной, в двухэтажном особняке...* — Ныне д. 30 (дом перестроен).

Торопясь жить, спеша чувствовать... — Парафраза эпиграфа к гл. 1 «Евгения Онегина», взятого из ст-ния П.А.Вяземского «Первый снег»: «И жить торопится и чувствовать спешит».

Он сталкивался с высшею знатью у Бутурлиных и у Воронцовых, усердно танцевал на балах графини Лаваль. — Д.П.Бутурлин — военный историк, директор Публичной библиотеки (не путать с библиофилом и директором Эрмитажа Дмитрием Петровичем Бутурлиным). Граф И.И.Воронцов-Дашков — обер-церемониймейстер, член Государственного совета. Их дома были одними из самых модных светских домов Петербурга. Графиня А.Г.Лаваль — хозяйка литературного салона, жена тайного советника графа И.С.Лаваля.

...в среде царскосельских гусар. — С 1816 г. в Царском Селе был расквартирован лейб-гвардии Гусарский полк, в котором тогда служили, в частности, П.Я.Чаадаев и П.П.Каверин, будущий член Союза Благоденствия. Пушкин активно общался с ними в последний год пребывания в Лицее.

С. 74. *...«6 Пушкиных подписали избирательную Грамоту да двое руку приложили за неумением писать». ...считал Романовых «неблагодарными»...* — Из письма А.А.Дельвигу в первых числах (не позднее 8) июня 1825 г.

С. 75. *...из «чудесного похода».* — Цитата из ст-ния Пушкина «Полководец» (1835).

...жаждала «посвятить отчизне». — Неточная цитата из пушкинского послания «К Чаадаеву» (1818).

Ученик Лагарпа... — Фредерик Цезарь Лагарп (1754—1838) — швейцарский политический деятель, сторонник Просвещения и республиканского правления. Был воспитателем великих князей Александра и Константина Павловичей.

«Вольнолюбивые мечты»... — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. 2, VI).

«Желали прав они — права им и даны...» — Эта анонимная эпиграмма в ряде изданий приписывалась Пушкину.

С. 76. *...екатерининского любимца, убийцы Петра III.* — Речь о Г.Г.Орлове, руководителе дворцового переворота 1762 г.

...«строгость нравов и политическая экономия были в моде». — Из пушкинского «Романа в письмах» (1829).

...изучали Адама Смита. — Адам Смит (1723—1790) — английский экономист, идеи которого имели влияние среди декабристов.

...«неприлично было танцевать и некогда заниматься дамами». — Из пушкинского «Романа в письмах».

С. 77. *...«Опыт теории налогов».* — В этой книге Н.И.Тургенев, один из руководителей Союза Благоденствия, выразил политэкономические идеи декабристов.

...«обществом умных»... — Слова из пушкинских планов романа «Русский Пелам» (1834—1835).

Они были его учителями в «мятежной науке», и эта наука порою глубже входила в его сердце... — Парафраза сохранившегося отрывка XVII строфы сожженной десятой главы «Евгения Онегина» — «И не входила глубоко // В сердца мятежная наука...»

Лукуллы тоже водились... — Луций Лициний Лукулл (ок. 117 — ок. 56 до н.э.) — римский полководец, славился богатством, роскошью, пирами.

С. 78. *Говорят, нарядившись в женское платье...* — М.О.Гершензон, у которого Ходасевич и почерпнул это предание, связывал его с сюжетом пушкинского «Домика в Коломне» (см.: Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. М., 1919. С. 220).

...у актрисы Асенковой... — Речь идет об Александре Асенковой, драматической актрисе, матери более известной в 1830-е годы актрисы Варвары Асенковой.

С. 79. *...являвшиеся гулять по десяти рядам кресел...* — Описание поведения «театралов» основано на пушкинской статье «Мои замечания об русском театре» (1820).

...дьявольская разница... — Выражение из пушкинского письма П.А.Вяземскому от 4 ноября 1823 г.

С. 80. *...в доме Клокачева...* — Ныне наб. Фонтанки, д. 185 (дом перестроен).

«В одной комнате стояла богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул». — Воспоминания лицейского товарища Пушкина барона М.А.Корфа.

...Сергей Львович бранился за восемьдесят копеек. — Об этом Пушкин писал брату Льву 25 августа 1823 г.

...посвятил четверостишие... — Речь идет о ст-нии «Наденьке» (1817—1820?), принадлежность которого Пушкину точно не подтверждена.

...«бесстыдным бешенством желаний»... — Из пушкинского послания «Юрьеву» (1820).

...борьба на Розовом Поле... — Розовое поле в Царскосельском парке было излюбленным местом игр лицеистов. Называлось оно так потому, что «все, подле дорожек, усажено было грунтовыми розовыми кустами» (Яковкин И. Описание Села Царского. С. 116). Ходасевич опирается на вариант стихов «Гавриилиады»:

Вы помните ль то розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,
Оставя класс, резвились мы на воле
И тешились отважною борьбой?

Сам себя называл безобразным. — В послании «Юрьеву» (1820): «Потомок негров безобразный...»

Кажется, Грибоедов первый назвал его мартышкой. — Предположение о том, что Грибоедов сделал это первым, почерпнуто Ходасевичем из воспоминаний А.М.Каратыгиной (Колосовой), приведенных у Вересаева. На самом деле Пушкина звали «обезьяной»

(точнее — «смесью обезьяны с тигром») еще в Лицее, однако тогда эта кличка не имела того пасквильного характера, который приобрела позднее (см.: Лотман Ю.М. «Смесь обезьяны с тигром» // Временник Пушкинской комиссии: 1976. Л., 1979. С. 110—112).

С. 81. *Он втянулся в карточную игру...* — О Пушкине-картежнике Ходасевич написал отдельную работу «Пушкин — известный банкомет» (*В.* 1928. 6, 7 июня. № 1100, 1101).

...в друзья «закадышные». — Из пушкинского послания «Мансурову» (1819): «Мансуров, закадышный друг...»

«Эта тогдашняя черта водилась и за Пушкиным... А все вздор, и одного недопил». — Рассказ Ф.Н.Глинки, приведенный в указанной кн. В.В.Вересаева.

С. 82. *...прельстительный риск, сладостная угроза гибели.* — Ходасевич перифразирует песнь Вальсингама из «Пира во время чумы» (1830):

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

...героем его воображения... много романтизма. — Из письма Пушкина А.А.Бестужеву от 30 ноября 1825 г.

...пистолеты друзей были заряжены клюквой. — Ходасевич объединил разные рассказы об этой дуэли: приведенная им фраза Пушкина зафиксирована в воспоминаниях О.М.Бодянского со слов М.А.Максимовича, версия с клюквой принадлежит Н.И.Гречу. Эта и другие дуэли Пушкина рассмотрены Ходасевичем в специальной статье «Дуэльные истории» (Пушкин: 1837—1937: Приложение к газете «Возрождение». 1937. 6 февраля. № 4064; то же под названием «Дуэльные истории Пушкина» — Сегодня (Рига). 1937. 7 февраля).

Но милого утешителя Жанно Пущина за стеной уже не было. — Жанно — дружеское имя Пущина. В Лицее комнаты Пушкина и Пущина находились рядом, так что они могли разговаривать через тонкую перегородку.

В начале 1818 года он простудился... — Рассказ о болезни Пушкина, все следующие за ним цитаты и рассказ о разговоре с Карамзиным взяты из пушкинского фрагмента под условным названием «Из автобиографических записок» (1826), частично вошедшего в статью «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1827). Эпиграмма на Карамзина, «о которой Пушкин жалел впоследствии» — «В его “Истории” изящность, простота...» (1818). Сожаление по этому поводу Пушкин высказал в письме Вяземскому от 10 июля 1826 г. Впрочем, принадлежность эпиграммы Пушкину нельзя считать вполне доказанной, поскольку сам поэт сетовал на то, что эпиграмму ему «приписали» («Из автобиографических записок»). Обоснование пушкинского авторства дано в статье Б.В.Томашевского «Эпиграммы Пушкина на Карамзина» (Пушкин: Исследования и материалы. М.—Л., 1956. Т. 1. С. 208—215). Полемику по этому вопросу см. в статьях А.Гульги и Н.Я.Эйдельмана (Лит. газета. 1988. 20 июля. № 29; 26 октября. № 43).

В последней цитате из автобиографических записок Пушкина фамилия «Шаховской» является результатом традиционно неправильного прочтения рукописи, следует читать: «Шихматов». Имеется в виду кн. С.А.Ширинский-Шихматов — поэт, член «Беседы любителей русского слова», литературный противник Карамзина. Упомянутый Пушкиным Кутузов — П.И.Голенищев-Кутузов, поэт, переводчик, публично обвинявший Карамзина в безбожии и развращении нравов.

С. 84. *...более умеренные и осторожные, как Илья Долгоруков...* — Эта и некоторые другие характеристики декабристов основаны на частично сохранившихся XIV и XV строфах гл. 10 «Евгения Онегина».

На место Гракхов явились т и г р ы... — Прозвище «тигр» в среде декабристов имело политический характер (см.: Л о т м а н Ю.М. «Смесь обезьяны с тигром». С. 112).

...Вольховский (недаром — спартанец!)... — «Спартанцем» В.Д.Вольховский назван на основании пушкинской строфы из первоначальной редакции «19 октября» (1825):

Спартанскою душой пленяя нас,
Всегда храним суровою Минервой,
Пускай опять Вольховский будет первый...

С. 84—85. *...«спросами и расспросами». ...«но не было полного к нему доверия». ...«некоторого рода тень».* — Цитаты из «Записок о Пушкине» (1858) И.И.Пущина.

С. 85. *«На выпуск из Лицея молодого Пушкина... баловали маленького брата».* — Из «Записок» (1864—1865) Ф.Ф.Вигеля.

...«старые шутки — старые девки»: «Бойся же ты, Арзамас, чтоб не сделаться старою девкой». — Из стихотворного отчета В.А.Жуковского о двадцать первом заседании «Арзамаса» в июне 1817 г.

С. 86. *Тургенев с прискорбием писал Вяземскому...* — Письмо от 28 августа 1818 г.

...«тронутый, но вряд ли исправленный». ...«где он всю ночь не спал». — Из письма А.И.Тургенева П.А.Вяземскому от 4 сентября 1818 г.

...в набойковых платьях. — Т.е. в платьях из набойки — ткани с нанесенным на нее посредством особых печатных досок узором. Эту деталь Ходасевич взял из пушкинского послания «Мансурову» (1819), где сказано об ученице балетной школы: «Но скоро счастливой рукой // Набойку школы скинет...»

Сбитенщик — продавец сбитня, горячего напитка из воды, меда и пряностей.

...«да помолишься Господу Богу и насмотришься на госпожу Овошникову». — Из письма Пушкина Н.В.Всеволожскому в конце октября 1824 г.

С. 87. *...два раза в неделю.* — Собрания происходили раз в две недели (см.: Т о м а ш е в с к и й Б.В. Пушкин. М.—Л., 1956. Кн. 1: (1813—1824). С. 198—200).

С. 88. ...*«против государя и против правительства»*. — Из воспоминаний А.И.Михайловского-Данилевского со слов А.Г.Родзянки.

...*мрачный Михайловский Замок*... — Михайловский (Инженерный) замок — дворец в Петербурге, в котором провел конец своего царствования и был убит император Павел I. После этого опустевший и заброшенный Михайловский замок стал зловещим символом тирании. У Пушкина сказано о нем: «Пустынный памятник тирана, // Забвенью брошенный дворец...» («Вольность», 1817?).

...*Всеволожский был только амфитрионом «Зеленой Лампы»*. — Так назван Всеволожский в первоначальной редакции пушкинского послания «Горишь ли ты, лампада наша...» (1822). *Амфитрион* — гостеприимный, хлебосольный хозяин.

...*«долженствовавших только служить орудиями»*. — Из записки о тайных обществах, поданной А.Х.Бенкендорфом Александру I в 1821 г.

С. 89. ...*рыцарем не только любви и вина, но и свободы*... — Парафраза стихов из пушкинского послания «Юрьеву» (1819): «Здорово, рыцари лихие // Любви, Свободы и вина!»

...*«ненавидел деспотичество»*... — Из пушкинского письма П.Б.Мансурову от 27 октября 1819 г.

Цивические — гражданские (от *фр.* civique).

...*и против земного царя, и против Небесного*... — Парафраза концовки пушкинского послания «N.N. <В.В.Энгельгардту>» (1819): «...Насчет небесного царя // А иногда насчет земного».

Пушкин впоследствии говорил, что в те времена разделял чувства с толпой... — «Евгений Онегин», гл. 8, III.

Так точно в самые первые дни своего царствования поступил он с Державиным. — См. об этом в кн. Ходасевича «Державин» (в наст. томе).

С. 90. *«Без шума никто не выходил из толпы»*... — Эти слова приводит П.В.Анненков в кн. «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» (1873—1874).

Кто, враг или друг, сочинил о нем сплетню... — Сплетню распространил Ф.И.Толстой («Американец») — известный авантюрист, бреттер, карточный шулер.

Он жаждал Сибири как восстановления чести. — Об этом Пушкин писал в неотосланном письме Александру I в начале июля — сентябре (до 22) 1825 г.

С. 91. *«Холоп венчанного солдата...»* — Согласно свидетельству П.А.Вяземского, это эпиграмма не на Аракчеева, а на А.С.Стурдзу, автора ряда монархических сочинений. Последний стих, вероятно, принадлежит не Пушкину.

...*«Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами»*. — Эта фраза царя известна из «Записок о Пушкине» И.И.Пущина.

С. 92. ...*эпиграмму на Аракчеева*. — См. выше коммент. по поводу эпиграммы «Холоп венчанного солдата...»

...*прощение от имени государя*. — Согласно воспоминаниям

И.И.Пущина, события развивались в иной последовательности, чем это изложено у Ходасевича: сначала произошло объяснение Пушкина с Милорадовичем, а затем — разговор Александра I с Энгельгардтом.

...покаяние на Соловках. — Монастырское покаяние было одной из форм наказания по суду.

...«Пушкина простили, дозволили ему ехать в Крым. Я просил о нем из жалости к таланту и молодости: авось, будет рассудительнее». — Письмо Н.М.Карамзина И.И.Дмитриеву от 7 июня 1820 г.

...«Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе... ему дали рублей тысячу на дорогу». — Письмо Н.М.Карамзина П.А.Вяземскому от 17 мая 1820 г.

С. 93. *...ему чудилось, будто он сам, по доброй воле бежит прочь из Петербурга — в новые, невиданные края...* — Ходасевич использует здесь мотивы элегии «Погасло дневное светило...» (1820): «Искатель новых впечатлений, // Я вас бежал, отечески края...»

Жизнь Василия Травникова (с. 95). — *В*. 1936. 13, 20, 27 февраля. Вошло в кн.: Ходасевич В.Ф. Державин. М., 1988.

Рассказ был впервые прочитан Ходасевичем на литературном вечере в Париже 8 февраля 1936 г. как документальное биографическое произведение. (На том же вечере со своими рассказами выступал В.Набоков.) В кругах русской литературной эмиграции мистификация Ходасевича была принята за чистую монету. 13 февраля некто М. писал в *В*: «Читатели, знакомые с книгой Ходасевича о Державине, уже раньше знали, что ему принадлежит почетное место в ряду современных мастеров художественной биографии. В этом очень трудном жанре он удержался от излишнего романсирования и сумел сочетать умный, критический подход с чисто беллетристическим талантом построения и изобразительности. Все эти достоинства он проявил и в прочитанной на вечере "Жизни Василия Травникова"». В тот же день в *ПН* своими впечатлениями от чтения делился постоянный литературный противник Ходасевича Г.Адамович: «В.Ходасевич прочел жизнеописание некоего Травникова, человека, жившего в начале прошлого века. Имя неизвестное. В первые 10—15 минут чтения можно было подумать, что речь идет о каком-то чудаке, самодуре и оригинале, из рода тех, которых было так много в былые времена. Но чудак, оказывается, писал стихи, притом такие стихи, каких никто в России до Пушкина и Баратынского не писал: чистые, сухие, лишенные всякой сентиментальности, всяких стилистических украшений. Несомненно, Травников был одареннейшим поэтом, новатором, учителем: достаточно прослушать одно его стихотворение, чтобы в этом убедиться. К Ходасевичу архив Травникова, вернее, часть его архива попала случайно. Надо думать, что теперь историки нашей литературы приложат все усилия, чтобы разыскать, изучить и обнародовать рукописи этого необыкновенного человека».

Однако вскоре Ходасевич, к немалому смущению рецензен-

тов, выступил с авторазоблачением. Помимо историко-литературной мистификации, «Жизнь Василия Травникова» имеет и автобиографический план. Как установил Д.Б.Волчек, по крайней мере одно из ст-ний Травникова принадлежит другу юности Ходасевича С.В.Киссину (Муни), очерк о котором вошел в «Некрополь». Память о друге, почти бесследно прошедшем по жизни и литературе и окружавшем себя атмосферой мистификации, и воплотил Ходасевич в фигуре Василия Травникова.

С. 97. *...позднейший историк.* — В.О.Ключевский в статье «Евгений Онегин и его предки» (Соч. М., 1959. Т. VII).

С. 102. *...«Арфаксад, халдейская повесть...»* — Издание козловского однодворца Петра Захарьина. Иждивением издателя. М., 1793—1795. Ч. I—IV.

С. 103. *...частном пансионе Владимира Васильевича Измайлова...* — Он был открыт только в 1805 г.

С. 104. *...«поддевиченских» собраниях... «Дружеском литературном обществе».* — Речь идет о собраниях в доме А.Ф.Воейкова у Новодевичьего монастыря, перешедших потом в деятельность Дружеского литературного общества. В «поддевиченских» собраниях и в обществе участвовали Жуковский, А.Ф.Мерзляков, Воейков, братья Тургеневы и др.

...влюбилась в Михайлу Михайловича Хераскова... — В действительности Хераскова звали Михаил Матвеевич.

...кот и петух составляли все его общество. — Легенда создана К.Н.Батюшковым в статье «Нечто о поэте и поэзии». В действительности Богданович жил в это время в Курске.

С. 110. *Amor condusse noi...* — Данте. Божественная комедия. Ад, песня V, ст. 106.

С. 112. *Si fais à toutes gens...* — VII баллада французского поэта герцога Карла Орлеанского (1394—1485), касающаяся распространившихся слухов о его смерти.

С. 115. *«О сердце, колос пыльный!..»* — Как установил Д.Б.Волчек, фрагмент из ст-ния Муни (С.В.Киссина), опубликованного после его смерти в газ. «Понедельник» (1918. 3 июня. № 14): «Шмелей медовый голос // Гудит, гудит в полях. // О сердце, ты боролось, // Теперь ты спелый колос, // Зовет тебя земля. // Вдоль по дороге пыльной // Крутится зыбкий прах. // О сердце, колос пыльный, // К земле, костьми обильной, // Ты клонишься, дремля».

«Атлантида» (с. 116). — *АБ.* Ф. Карповича. Печатается впервые.

Фрагмент рассказа или повести записан в общей серой тетради с картонным переплетом. Записи велись сразу с двух сторон: с одной — черновик статьи «О символизме», начало статьи «Дон-Гуан» (апрель-июнь 1938 г.), с другой — «Атлантида», фрагмент, начатый 17 мая и оконченный 19 мая 1938 г.

«Камерфурьерский» журнал Ходасевича за 1935—1936 гг. пестрит записями об игре в бридж, которая происходит, как правило,

в кафе «Мюрат». Аккуратно заносит он в журнал имена партнеров: чаще всего это Вейдле и его жена, писатель Фельзен, Р.Н.Гринберг, иногда — молодой прозаик В.С.Яновский. Яновский вспоминал: «В тридцатые годы настоящего столетия его единственным утешением был бридж. Играл он много и серьезно, на деньги, для него подчас большие, — главным образом в кафе “Мюрат”. Но не брезговал засесть с нами и на Монпарнасе. К тому времени он уже разошелся с Берберовой, и новая жена его, погибшая впоследствии в лагере, тоже обожала карты» (*Яновский*. С.119).

Об этом кафе Ходасевич упоминал и в письмах, в частности к В.В.Вейдле, которому писал 22 июля 1935 г.: «Вы, впрочем, неверно представляете себе мое времяпровождение. Я не сижу в “Мюрате” — ни в подвале, ни наверху. Я уже четверо суток просто не выхожу из дому, и оброс бородой, и не вижу никого, кроме Ольги Борисовны (коея Вам кланяется). Делается это ради экономии, которая будет длиться очень долго» (см. т. 4 наст. изд.).

Яновский вспоминал, что в «Мюрат» после похорон пришли помянуть Ходасевича его партнеры.

К теме карточной игры, психологии игрока Ходасевич не раз обращался в статьях, очерках, прозаических набросках. Но «Атлантида», действие которой происходит в подвале парижского кафе, написана не столько об игре, сколько об эмиграции, о состоянии литератора в эмиграции, о русском мире, существующем в глубине, на дне парижской жизни во всей своей неповторимой цельности.

ДЕРЖАВИН

Державинская тема сопровождала Ходасевича всю жизнь. В анкете 1915 г. из писателей, оказавших на него наибольшее влияние, он назвал «прежде всего Пушкина и Державина» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп.1. Ед.хр. 169. Л.1). В 1916 г., к столетию со дня смерти Державина, Ходасевичем была написана специальная статья (см. т. 2 наст. изд.). В 1923 г., уже в эмиграции, Ходасевич планировал издание однотомника Державина (см.: *СЗ*. 1934. Кн. XIX. С. 260). Высочайшую оценку державинской поэзии и ее значения для XX столетия он дал в статьях 1929 г. «Слово о полку Игореве» и «О Чехове» (см. т. 2 наст. изд.). А в конце жизни в статье «Дмитриев» Ходасевич писал: «Державин <...> первый дерзнул изображать мир по-своему и первый если не понял, то почувствовал, что поэзия должна отвечать реальным запросам человеческого духа. Не только в “Фелице” и “Жизни Званской”, но и в “Оде на смерть Мещерского”, и в “Боге”, и в “Водопаде”, и даже в своем русифицированном анакреонтизме он объявился родоначальником русского реализма. С этим было связано и его обращение от книжного языка к народному» (Ходасевич В.Ф. Избранная проза. Нью-Йорк, 1982. С. 26).

К работе над романом Ходасевич приступил 21 января 1929 г.,

а завершил ее в январе 1931 г. Небольшие фрагменты книги печатались в 1929—1931 гг. в *В* (№ 1433, 1591, 1680, 1745, 1836, 1913, 1976, 1983, 2000, 2090) и *Р* (№ 3041), более крупные — в *СЗ* (кн. XXIX—XLII). Уже первые публикации отрывков вызвали восторженные отзывы в эмигрантской прессе — А.Савельева (С.Г.Шермана) (*Р*. 1930. 29 февраля. № 2807), А.Луганова (За свободу. 1930. 30 января. № 28; 25 мая. № 139), — удручавшие Ходасевича своей бессодержательностью. «Чушь какая-то, но восторженная вдрызг. <...> Стиль не блестящий, но чувства пылкие», — писал он по поводу этих рецензий Н.Н.Берберовой (*М-5*. С. 261—262). Полностью книга вышла в изд-ве «Современные записки» в 1931 г. и была встречена новым залпом положительных рецензий (М.Алданов — *СЗ*. 1931. Кн. XLVI. С. 496—497; П.П.Муратов — *В*. 1931. 4 апреля. № 2137; А.А.Кизеветтер — *Р*. 1931. 8 апреля. № 3150; П.М.Бицилли — Россия и славянство. 1931. 19 апреля; А.Левинсон — Jesuis partout. 1931. 30 мая).

«Это чисто пушкинская проза, — писал Алданов, приведя небольшой отрывок, — <...> одной звуковой своей формой вызывает в памяти читателя "Пиковую даму"». Как литератор, постоянно сталкивающийся с проблемами того же рода, Алданов не смог скрыть от читателей известных сомнений, которые вызывала у него такая тональность книги: «Об этом приеме, пожалуй, можно вести теоретический спор. Свои статьи о современных писателях В.Ф.Ходасевич пишет все же иначе — тогда есть ли основание пользоваться пушкинской фразой в книге о Державине? Но художественная прелесть приема вполне его оправдывает: победителей не судят». Существенно, однако, что обращение к пушкинскому слогу было у Ходасевича не следствием артистического произвола, случайной, пусть и счастливой находкой, но выражением давно продуманной историко-культурной концепции.

Дело здесь не только в том, что «нагая» пушкинская проза в высокой мере обладала столь ценимыми Ходасевичем достоинствами точности и лаконизма. Важнее, что для него Пушкин был фокусом, в котором сходились исток и исход российской словесности. Слог «Повестей Белкина» и «Пиковой дамы» создавал необходимый баланс: не выглядя архаичным в глазах современного Ходасевичу читателя, он в то же время не диссонировал и со строем языка описываемой эпохи.

Разумеется, Ходасевич не мог не дать читателям почувствовать и колорит времени, о котором он рассказывал. Голос XVIII века отчетливо звучит на страницах книги в обильных выдержках из державинских «Записок» и других документов, но каждый раз — это резко выделенный знак языковой экзотики, хорошо различимый на фоне авторского повествования.

Но главная трудность, которую должен был преодолеть Ходасевич, лежала, разумеется, не в стилистической сфере. Ему предстояло определить, что можно сказать нового о Державине, не располагая свежими материалами и не прибегая ни к приемам романизованной биографии à la Моруа, ни, тем более, к беллет-

ристическим украшениям типа сакраментального «поэт подошел к окну». «Биограф — не романист. Ему дано изъяснять и освещать, но отнюдь не выдумывать», — подчеркивал Ходасевич во вступительной заметке к книге. Избранный им принцип построения повествования можно с известной долей условности назвать принципом психологических расшифровок. Известные эпизоды биографии Державина последовательно излагаются в книге в проекции на внутреннее состояние участвующих в них персонажей, их побуждения, переживания и реакции. Принципиальный апсихологизм державинских «Записок», в которых мемуарист рассказывает о себе в третьем лице, и академическая осторожность Грота, не позволявшего себе «идти» за документ, оставляли здесь большой простор для писательской интуиции.

Но психологические расшифровки, о которых идет речь, составляют только внешний слой повествования, его, так сказать, фабульную основу. Сюжет же книги определяется более глубоким пластом авторской мысли — концепцией личности Державина, которую предложил Ходасевич.

Предреволюционная критика, заново оценившая творчество Державина, оставалась совершенно равнодушна к его государственной деятельности. Для Б.Грифцова грубая практичность державинской карьеры служила лишь эффектным контрастом к его «конкретной и вместе с тем до полного эстетизма отвлеченной поэзии» чистых красок, как бы свидетельствуя о взаимной чуждости и несопоставимости двух этих сфер бытия (см.: Грифцов Б. Державин // София. 1914. № 1). Ходасевич подошел к проблеме с другой стороны. «К началу восьмидесятых годов, — пишет он, — когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига».

В «Державине» совсем немного говорится о стихах. Ходасевич сколько-нибудь подробно разбирает всего пять-шесть произведений своего героя, и за единственным исключением, о котором речь ниже, не показывает его в работе. И все же книга в целом остается книгой о поэзии, ибо автору удается обнаружить поэтическую сторону державинской судьбы и служебной деятельности. (Возможно, именно вниманием к этой стороне его замысла тронула Ходасевича рец. П.Бицилли.) Но, чтобы сделать это, предстояло пересмотреть устоявшиеся представления о Державине как о ретивом, но ограниченном служаке, честном ретрограде, певце дворянской монархии. Важно отметить, что такой пересмотр Ходасевич провел, по существу, первым.

Как уже говорилось, лишь однажды в книге мы видим Державина за работой. Это и понятно, биограф был связан документальным материалом, а сам поэт только один раз — в «объяснении» к оде «Бог» — открыл дверь в свою мастерскую. «Не докончив последнего куплета сей оды, что было уже ночью, заснул перед светом, — писал Державин как всегда в третьем лице, — видит во сне, что блещет свет в глазах его, проснулся, и в самом деле

воображение так было разгорячено, что казалось ему — вокруг стен бегает свет, и с ним вместе полились потоки слез из глаз у него. Он встал и в ту же минуту, при освещающей лампаде, написал последнюю сию строфу, окончив тем, что в самом деле проливал он благодарные слезы за те понятия, которые ему вперены были».

У Ходасевича достало чутья почти не касаться этого, одного из самых выразительных в мировой литературе, описания творческого вдохновения. Всего два-три удара резца мастера: цитаты из оды, краткие психологические пояснения, легкая, почти незаметная модернизация слога, и заряд художественной энергии, дремавшей в державинском рассказе, высвобождается, чтобы воздействовать на читателя XX века, рождаются страницы, которые, по словам М.Алданова, «должны были бы войти в классическую хрестоматию».

Исследования последних лет, в том числе основанные на архивных текстах Державина, не известных Ходасевичу, в основном подтвердили его мысли о преклонении поэта перед идеей Закона, об ощущении им «самодержавства» как неизбежного зла, призванного обуздывать произвол сильных по отношению к слабым и черпающего свое право на существование в «позлащающих» его «железный скипетр» «щедротах», т.е. милостях, оказываемых народу. Интересно, что все свои заключения Ходасевич делает на основе державинской лирики, к которой он, кажется, впервые всерьез подошел как к источнику для реконструкции политических взглядов поэта.

Последнее обстоятельство особенно многозначительно. Сколь бы проницателен ни был Ходасевич в анализе психологии своего героя и его современников и сколь бы количественно малое место ни занимал в биографии рассказ о творчестве Державина, смысловые узлы книги завязаны именно на нем. По сути дела, только стихи и интересовали Ходасевича по-настоящему, а остальное было лишь подготовительной работой, необходимой для их правильного понимания.

Вопреки утверждению автора в предисловии к книге, круг источников, которым он пользовался, невелик. Это, прежде всего, «Записки» Державина (Д е р ж а в и н Г.Р. Соч. 2 изд. Пб., 1876. Т. VI; в дальнейшем — *Зап*) и монография Я.К.Грота «Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим документам» (Пб., 1880. Т. I; в дальнейшем — *Гр*). В меньшей степени были использованы им стихотворения Державина (Соч. 2 изд. Т. I—III), его «Объяснения» к собственным сочинениям (т. III), переписка (т. V—VI) и другие прозаические сочинения (т. VII), — в дальнейшем — *Соч.* Для характеристики отдельных эпизодов биографии поэта Ходасевич использовал также «Историю Пугачева» А.С.Пушкина, воспоминания И.И.Дмитриева «Взгляд на мою жизнь (М., 1866), С.П.Жихарева «Записки» (М., 1890), С.Т.Аксакова «Семейная хроника и воспоминания» (СПб., 1870), труды Н.К.Шильдера «Император Павел I» (СПб., 1901) и «Император Александр I» (СПб., 1897. Т. II—III).

«Мы <...> не делаем сносок, так как иначе пришлось бы их делать едва ли не в каждой строке», — писал Ходасевич. Во избежа-

ние этого эффекта мы оставляем без примечаний эпизоды и диалоги, приведенные близко к тексту, и многочисленные цитаты, состоящие из нескольких слов. Более крупные цитаты комментируются с указанием как первоисточника, так и источника, откуда они были заимствованы Ходасевичем. Исправляются также некоторые неточности, допущенные автором, и отдельные факты, им сообщаемые.

В 1975 г. репринт «Державина» был издан в Мюнхене с предисл. Дж.Малмстада; в СССР сначала появились небольшие отрывки в журн. «Наука и жизнь» (1987. № 5—7), затем роман был полностью напечатан в журн. «Нева» (1988. № 5—7) и вышел отдельными изданиями в изд-вах «Книга» и «Мысль» (М., 1988).

С. 126. *...«таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на его сердце».* — *Зап.* С. 405.

С. 127. *...«вере — без катехизиса, языкам — без грамматики, числам и измерению — без доказательств, музыке — без нот, и тому подобное».* — Из «Рассуждения о достоинстве государственного человека» (*Соч.* Т. VII. С. 635—636).

С. 129. *...прочел он перевод Фенелонова «Телемака»... затем — политический роман Джона Барклая «Аргенида» и «Приключения маркиза Глаголя», то есть «Mémoires du marquis*** ou Aventures d'un homme de qualité qui s'est rétiré du monde» — роман аббата Прево.* — Прозаический перевод «Приключений Телемака» Ф.Фенелона («Похождение Телемаково, сына Уллисова», т. I—II. СПб., 1747) был выполнен А.Ф.Хрущевым, «Аргениды» Дж.Барклая (СПб., 1751) — В.К.Тредьяковским, «Приключений маркиза Глаголя, или Жизни благородного человека, оставившего свет» А.Ф.Прево (ч. I—IV, СПб., 1756—1758) — И.П.Елагиным. Пятая и шестая части «Приключений...» были изданы в 1764—1765 гг. в переводе В.И.Лукина.

«Чего же мне желать? Пишу я и целую...» — Из ст-ния «Идиллия» (середина 1770-х годов). Опыты Державина 1760-х годов не сохранились.

С. 131. *...«то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу матушку Государыню, которой мы рады служить».* — *Зап.* С. 416.

С. 134. — *«Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены... что у кого случилось».* — *Зап.* С. 420.

...«мечтательным превозношением». — Там же.

...«обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим». — Цитируется Манифест Екатерины II от 7 июля 1762 г. (см.: Бильбасов В.А. История Екатерины II. СПб., 1891. Т. II. С. 118).

С. 135...*«снабдясь кибитченкой и купя одну лошадь».* — *Зап.* С. 423.

С. 136—137. *...изволил читать учиненный им перевод «Меропы» Вольтеровой.* — «Меропа» Вольтера в переводе В. И. Майкова вышла в свет только в 1775 г. «Записки» Державина не позволяют установить, какая именно трагедия читалась в тот вечер и кто был автором перевода — В.И.Майков или Ф.А.Козловский.

С. 137. ...*«дабы чему-нибудь там научиться»*. — *Зап.* С. 426.

...*«жестоким поражением»*... — *Зап.* С. 427.

...*«прекрасная, молодая благородная девица»*... — *Зап.* С. 428.

С. 138. *«Будучи непрестанно вместе... не мог воспретить соединению их пламени»*. — Там же.

«Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился искать перевозчиков». — Там же.

«Но, будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного хода к ней в покой». — *Зап.* С. 429.

С. 139. ...*«прекрасной солдатской дочери, в соседстве в казармах живишей»*. — *Зап.* С. 432. О размере, которым написаны несохранившиеся «Стансы», в «Записках» не говорится. По жанровым канонам XVIII в. они не могли быть написаны александрийским стихом.

...*«Примечание для приведения в лучшую доброту разных российских шерстей* и для умножения добротной шерсти в России также и в пользу фабрик служащия» (СПб., 1791) — книга И.П.Осокина. О знакомстве Державина с Тредьяковским в доме Осокина см.: Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь // Дмитриев И.И. Соч. М., 1986. С. 308. То, что Тредьяковский «угадал дарование» Державина, — домысел Ходасевича.

С. 140. ...*Радищев писал: «Кто не бывал в Валдаях... воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия»*. — «Путешествие из Петербурга в Москву», гл. «Валдай» (Радищев А.С. Полн. собр. соч. М.—Л., 1938. Т. 1. С. 300).

С. 140—141. ...*«ямбические экзаметры»*... — *Зап.* С. 56. Здесь, несомненно, имеется в виду александрийский стих.

С. 142. ...*«спознался с игроками... и всяким игрецким мошенничествам»*. — *Зап.* С. 438.

...*«слабого по уму, но довольно достаточного по имуществу»*. — *Зап.* С. 440.

С. 143. ...*«ел хлеб с водою и марал стихи»*. — *Зап.* С. 439.

С. 144. ...*«мучили плетью и, по научению полицейских, велели ей сказать, что была у сержанта Державина»*. — *Зап.* С. 440.

...*«и не объявя ничего, повезли через всю Москву в полицию... должны были со стыдом выпустить»*. — Там же.

С. 145. ...*в так называемой Уманьской резне 1768 года*... — В июне 1768 г. в г. Умань гайдамаки во главе с М.Железняком и И.Гонтой истребили большую часть еврейского и польского населения и провозгласили Железняка гетманом.

С. 149—150. ...*«за некоторое искусство в составлении всякого рода писем... когда он влюблен был в девицу Ивашеву, на которой после и женился»*. — *Зап.* С. 445.

С. 150. ...*«предпочитались блеск и богатства и знатность, нежели скромные достоинства и ревность к службе»*. — *Зап.* С. 447.

...*«носить звание гвардии офицера с пристойностию»*. — Там же.

С. 150—151. ...*вступил... в любовную связь «с одною хороших нравов и благородного поведения дамою» — некоей госпожой Удоло-*

вой... Вот у нее-то, «на Литейной, в доме господина Удолова», Державин и поселился... — *Зап.* С. 447. «Записки» сообщают, что Державин жил в доме господина Удолова. Фамилия его возлюбленной — домысел Ходасевича.

С. 152. *«Весь черный народ был за Пугачева... Множество из сих последних были в шайках Пугачева».* — Пушкин А.С. История Пугачева (Замечания о бунте) // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1949. Т. IX. С. 375.

...«повергался иногда в меланхолию». — *Зап.* С. 450.

С. 153. *...«не дали им при таком торжестве нижé по чарке вина»... «положат ружья пред тем царем, который, как слышно, появился в низовых краях, кто бы таков он ни был».* — *Зап.* С. 451.

С. 154. *...«весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за три рубля»...* — *Зап.* С. 452.

С. 156. *...«о движениях неприятельских и о колебании народном».* — *Зап.* С. 453.

...«надобно делать какие-нибудь движения»... «надобно действовать, ибо от бездействия город находится в унынии»... «есть ли войски или нет»... — Там же.

С. 157. *...«найтить того города жителей... и через кого отправлен благодарственный молебен». ...«для страху жестоко на площади наказать плетьми... должны пребывать в твердости». ...«Сей ордер объявить можете командующему в Самаре и требовать во всем его вспомоществования».* — Ордер А.И.Бибикова Державину от 29 декабря 1773 г. (*Соч.* Т. V. С. 2).

...«чтобы увидеть в прямом деле г-на подполковника Гринева, его офицеров и команду». — *Зап.* С. 458.

С. 158. *...«Признаем тебя своею помещицей. Принимаем тебя в свое товарищество. Когда угодно тебе, равняем тебя с собою»...* — «Речь благодарственная императрице Екатерине II» (*Соч.* Т. VII. С. 26).

С. 161—162. *«Вы отправляетесь отсюда в Саратов... Ал.Бибиков».* — «Тайное наставление г. подпоручику л.-гв. Преображенского полку Державину» А.И.Бибикова (*Соч.* Т. V. С. 10). Пропущенное слово в угловых скобках восстановлено Я.К.Гротом.

С. 164. *«Si j'avais un seul habile homme, il m'aurait sauvé, mais hélas, je me meurs sans vous voir».* — Бумаги Кара и Бибикова // Записки Академии наук. 1862. Вып. 1, прилож. 4. С. 65. Ходасевич цитирует их по: *Гр.* С. 123.

С. 165. *...«о увольнении себя с его поста, для того, что, по удалении в Башкирию Пугачева, во вверенной ему комиссии он ничем действовать не мог».* — *Зап.* С. 470.

С. 167. *«Люди зажиточные стали нищими, кто был скуден, очутился богат!»* — Пушкин А.С. История Пугачева (гл. VI) // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. IX. С. 67).

«Пугачев бежал... от провинции к провинции». — Там же, гл. VII (с. 69).

С. 168. *«Таковый помощник много облегчает меня... ежели*

злодей устремится в вашу сторону и найдет в сети, от вас приготовляемые». — Письмо И.С.Потемкина Державину от 26 июля 1774 г. (*Соч.* Т. V. С. 137—138).

С. 169. ...*«сие самое побудило его горячее вмешаться после в саратовские обстоятельства».* — *Зап.* С. 477.

«Приезжай, братец, поскорее и нагони на них страх». — Письмо Новосильцева и Свербеева Державину от 26 июля 1774 г. (*Соч.* Т. V. С. 137).

С. 169—170. *«Когда вам его превосходительство... и предписано по моим требованиям исполнять все».* — Письмо Державина Бошняку от 30 июля 1774 г. (*Соч.* Т. V. С. 141).

С. 170. ...*«несмотря на несогласие означенного коменданта».* — Определение офицерского собрания (см.: *Гр.* С. 160).

«Легкомысленный народ... и работа вовсе остановилась». — *Зап.* С. 480.

С. 172. ...*«нося имя офицера, за неприличное почел от опасностей отдаляться»... «чтобы не быть праздным, выпросил в команду себе одну находящуюся без капитана роту».* — *Зап.* С. 482.

С. 173. ...*«а как всякий из них жалел своего лба, то он и спасся».* — *Зап.* С. 484.

С. 173—174. *«Сего августа 9 дня... уехали обратно».* — Письмо И.А.Злобина Державину от 11 августа 1774 г. (*Соч.* Т. V. С. 165).

С. 174. ...*«едва спас живот свой»... «придти в совершенную память»... «Обыватели смотрят весьма немилосердным взглядом... за пролитую неповинно дворянскую кровь».* — Письмо Ф.Шишковского Державину от 13 августа 1774 г. (*Соч.* Т. V. С. 167—168).

С. 175—176. ...*«восемь человек и одну женку».* ...*«по данной ему от генералитета власти, определил на смерть».* ...*«Сие так сбившийся народ со всего села и из окружных деревень устрашило, что не смел никто рта раззинуть».* ...*«Сие все совершили, и самую должность палачей, не иные кто, как те же поселяне».* — *Зап.* С. 488.

С. 177. *«Что же касается до дерзкого известного вам болтуна... то чаю, что и он его уймет же».* — Письмо Екатерины II М.Н.Волконскому от 25 сентября 1773 г. (Осьмнадцатый век. М., 1869. Т. I. С. 96. Ср.: *Гр.* С. 193).

С. 180. ...*«наступило самое то время... наблюдению Державина вверены».* — *Зап.* С. 492.

«О усердии к службе ее императорского величества... ваших частных уведомлений». ...*«Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь».* — Письмо А.В.Суворова Державину от 10 сентября 1774 г. (*Соч.* Т. V. С. 208).

С. 181. ...*«ветреный человек гвардии поручик Державин»...* — Письмо Кречетникова П.И.Панину от 28 августа 1774 г. (*Гр.* С. 201).

С. 182. ...*«когда случай будет, пообъяснить... и искусство его словам».* — Письмо Екатерины II П.И.Панину от 2 сентября 1774 г. (Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1871. Т. VI. С. 120. Ср.: *Гр.* С. 199—200).

С. 183. ...*«насмехался, что не им, Державиным, Пугачев пойман»...* — *Зап.* С. 495.

Себя он считал «горячим»... Не смотрел ни на что, шел прямиком, делался «в правде черт», как однажды сам о себе сказал. — «Горяч и в правде черт» — автохарактеристика Державина из ст-ния «К самому себе» (1798).

С. 184. *На вид ему было лет тридцать пять или сорок.* — Пугачеву в 1774 г. было 32 или 34 года.

С. 187. *...«небольшое любовное соперничество, в котором, казалось, одною прекраснoю дамою офицер предпочитаем был генералу». — Зап.* С. 501.

С. 189. *...«Vermischte Gedichte».* — Сборник вышел в Берлине в 1760 г., сразу же вслед за французским оригиналом. Все «Читалагайские оды» Державина, о которых здесь идет речь, вышли отдельной книгой в 1776 г.

С. 190. *Мовтерпий* — об этом имени см. сноску на с. 213.

С. 190—191. *«Во всех наших участях беды с нами: я вижу Галилея в узах, Медицис в заточении и Карла на месте лобном... Чуждуся я Овидия: печален, грустен, боязлив и даже в самой бедности ползающий льстец своего тирана не имеет ничего мужественного в сердце своем... Блажен бы он был, когда бы в своем заключении, как Гораций, сказать мог: "Счастие мое со мною!"... Велизария я более чту в его презрении и в нищете, нежели на лоне его благополучия...»* — Итальянский астроном Галилео *Галилей* был в 1633 г. арестован за защиту учения Коперника, флорентийский приор Козимо Медичи (*Медицис)* старший был в 1433 г. заключен в крепость, английский король *Карл I* казнен в 1649 г. Сосланный в Причерноморье *Овидий* в своих «Письмах с Понта» молил императора Августа о возвращении в Рим. *Гораций,* уединившись в подаренном ему Меценатом имении в Сабинских горах, наоборот, старался держаться от двора как можно дальше и отказался от почетной должности секретаря, предложенной ему Августом. Византийский полководец *Велизарий* (490—565) в конце жизни подвергся опале и разорению.

С. 193. *А через девяносто лет почтенный ученый купил ее там же на рынке, совсем истрепанную. — Почтенный ученый* — профессор Казанского университета Н.Н.Булич, переславший этот раритет Я.К.Гроту.

«Когда будет проезжать мимо вас некто гвардии офицер Державин... когда приедет в Москву». — Из письма М.М.Щербатова А.И.Чирикову (*Зап.* С. 504).

С. 194. *«Сие наипаче поразило честолюбивую его душу». — Зап.* С. 505.

С. 196. *«Вот обстоятельства под командою вашего сиятельства служащего офицера... послушнейший слуга Гавриил Державин».* — Из письма Державина Г.А.Потемкину от 11 июля 1775 г. (*Соч.* Т. V. С. 257).

С. 199. *«Вот красно-розово вино...»* — Из ст-ния Державина «Разные вина» (1782).

С. 200. *...«большею частию романы, за которыми нередко и чтец, и слушатель дремали»... — Зап.* С. 520.

...*«хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу»*. — *Зап.* С. 520.

С. 203. *«Увидели знакомство степенное... Вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора»*. — *Зап.* С. 522.

С. 205. ...*«жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие»*... — *Зап.* С. 524.

С. 206. ...*«как скоро в силах будет»*. — Из письма Державина А.Б.Куракину от мая 1780 г. (*Соч.* Т. V. С. 342).

С. 206—207. *«Государыня моя Екатерина Яковлевна!.. охотная вам во услугах Ф е к л а Д е р ж а в и н а»*. — Письмо Ф.А.Державиной Е.Я.Державиной (Бастидон) от 16 апреля 1778 г. (*Соч.* Т. V. С.293).

...*«тихость и смирение суть первые достоинства женщин... Без них страстнейшая любовь — вздор»*. — Из письма Державина Е.Я.Державиной от лета 1793 г. (*Соч.* Т. V. С. 860).

С. 208. «*Noch Lange werden... eine Zeitlanghier aufgehalten habe*». — Из письма Ю.И. фон Каница Державину от 16 декабря 1778 г. (*Соч.* Т. V. С. 302).

С. 210. ...*«карманным ее величества стихотворцем»*... — Чуть переделанная автохарактеристика В.П.Петрова из письма жене от 1797 г. (Исторический вестник. 1885. № 11. С. 404). Ниже, при описании литературной обстановки, Ходасевич допускает мелкие неточности: первое произведение Петрова «Ода на великолепный карусель» появилось в 1766 г. после смерти Ломоносова; «Душенька» Богдановича вышла только в 1783 г.

С. 211. *Два стихотворения, напечатанные им перед самой пугачевщиной...* — Из первых публикаций Державина стихотворной была только «Ода на бракосочетание великого князя Павла Петровича» (1773). Героида Овидия «Вивлида к Кавну» в сб. «Старина и новизна» (1773) была переведена им с немецкого прозой.

С. 213. *Где только не искали источников, из которых почерпнуты будто бы отдельные частности и сама мысль этих стихов!* — Речь идет о примечаниях к «Оде на смерть князя Мещерского» Я.К.Грота в академическом издании Державина, где проведены все вышеперечисленные параллели (*Соч.* Т. I. С. 57—59).

С. 214. ...*«более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости»*. — Слова И.И.Дмитриева, переданные Пушкиным в «Замечаниях о бунте» в «Истории Пугачева» (П у ш к и н А.С. Полн. собр. соч. Т. IX. С. 373).

С. 216. *«Доложить вашему высокопревосходительству смею... пособствует злу, терзающему наше отечество»*. — Письмо см.: *Соч.* Т. V. С. 104.

«*Калигула, быть мнимый богом...*» — Из «Оды на великость» («Читалагайские оды», 1774).

С. 217. *«Пускай в подсолнечную трубит...»* — Из ст-ния «Петру Великому» (1776).

С. 219. *«Услышьте все земны владыки...»* — Из «Оды на знатность» («Читалагайские оды»).

«Я князь, коль мой сияет дух...» — Из «Оды на великость».

С. 220. ...*«стали отчасу более прикрывать правду в правительстве». — Зап.* С. 527.

«Поелику ему была дика и непонятна почти материя... без всякой посторонней помочи». — Зап. С. 529. Труд Державина, утвержденный 15 февраля 1781 г., получил название «Начертание должности учрежденных при правительственном сенате четырех экспедиций: о государственных доходах, расходах, счетах и недоимках».

С. 221. *«Но не мог и не должен был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрения во взятках: а для того подошел к нему, показал». — Зап.* С. 534.

С. 222. ...*«с крайним прискорбием».* — Цитата из «Объяснений» Державина к его собственным сочинениям (*Соч.* Т. III. С. 601).

«Как дура, плачу»... — Соч. Т. III. С. 602.

С. 225. ...*«равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог... стихотворцы не способны ни к какому делу». — Зап.* С. 535.

...*«будто особым своим изобретением и радением»... — Зап.* С. 537.

С. 226. *«Нельзя изобразить, какая фурия представилась на лице начальника». — Зап.* С. 536.

«Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет, а как надобно будет, то я его позову». — Зап. С. 537.

С. 227. ...*Челлини отливал некогда своего Персея.* — Об этом речь идет в автобиографии скульптора «Жизнь Бенвенуто Челлини» (ч. II, гл. XXII—XXVIII).

С. 230. ...*в начале октября, откланявшись государыне у нее в кабинете, тронулся в путь и Державин.* — Державин прибыл в Петрозаводск в середине сентября (см.: Эпштейн Е.М., Теплинский М.В. Обзор материалов о пребывании Державина в Карелии // Известия Карело-финского филиала АН СССР (Петрозаводск). 1951. № 2).

С. 232. ...*«не столь видное и дорогое, как Тверь»...* — Слова тверского наместника Я.Е.Сиверса (см.: *Гр.* С. 365).

С. 233. ...*«почти несносную гордость и превозношение»... — Зап.* С. 541.

С. 234. ...*«не делал от себя собственно никаких установлений, но всю власть звания своего ограничивал в охранении Наших постановлений».* — Указ Екатерины II от 26 сентября 1780 г. (Полное Собрание Законов, т. XX, № 15.068) цитируется Я.К.Гротом в примеч. к *Зап* (с.542).

«Чего, любезный друг, в законах нет, того исполнить неможно». — Зап. С. 542.

С. 237. ...*«От всех нелепых привязок у меня голова вскружилась... Изведите из темницы душу мою!»* — Письмо см.: *Соч.* Т. V. С. 415—416.

С. 238. ...*«Чернота гор и седина бьющей с шумом и пенящейся воды наводят некий приятный ужас...»* — «Поденная записка»

А.Грибовского и Н.Эмина цитируется по примеч. Я.К.Грота к ст-нию Державина «Водопад» (*Соч.* Т. I. С. 330). Создававшаяся под руководством и при участии Державина, она была полностью опубл. в кн.: Эпштейн Е.М. Державин в Карелии. Петрозаводск, 1987.

С. 239. ...*«о недопущении раскольников сжигать самих себя, как часто то они из бесноверия чинили»*. — *Зап.* С. 554.

С. 240. ...*«может только быть поводом к смеху целой империи»*. — Рапорт Державина сенату (*Гр.* С. 383). По словам самого Молчина, дело было затеяно «не для иной какой причины, как только для того, чтобы привязать имя губернатора» (Теплинский М., Эпштейн Е. Державин в Петрозаводске // На рубеже. 1951. № 5. С. 65).

С. 241. ...*«сначала взбесился, потом оробел и в крайнем замешательстве уехал домой»*. — *Зап.* С. 553.

С. 243. ...*«донкишотствовал собой»*... — Слова из оды Державина «Фелица» (1782).

С. 244. *«Восстал Всевышний Бог, да судит..»* — Из ст-ния «Властителям и судиям» (1780).

С. 245. *«В нем есть три улицы прямые...»* — Цитата из поэмы М.Ю.Лермонтова «Тамбовская казначейша» (1838). Последняя строка — конъектура, сделанная со слов А.П.Шан-Гирея П.А.Висковатовым на месте цензурной купюры в тексте поэмы. В современных изданиях в основном тексте не печатается.

...*«Начальник очень хорош... совершенный губернатор, а не пономарь»*. — Письмо Державиных Капнистам от 4 мая 1786 г. (*Соч.* Т. V. С. 478).

...*«Я здесь против Петрозаводска душевно и телесно воскрес»*. — Письмо Державина Поспелову от апреля 1786 г. (*Соч.* Т. V. С. 467).

С. 246. *«В здешней губернии великий недостаток в законах; безызвестно, были ли они когда здесь в употреблении»*. — Письмо М.В.Кострицкому от 5 августа 1786 г. (*Соч.* Т. V. С. 532).

С. 248. ...*«Милые наши Копиньки... Утешь, батюшка, приезжай к нам ради Бога»*. — Письмо от 4 мая 1786 г. (*Соч.* Т. V. С. 478).

...*«Не вытерплю, чтоб не сказать... так что у нас, матушка, страшно ездить и в церковь»*. — Письмо Т.И.Свистуновой Е.Я.Державиной от апреля 1789 г. (*Соч.* Т. V. С. 489).

С. 249. ...*«всю губернию привел в порядок»*. — См.: *Гр.* С. 480.

С. 250. ...*«беспокойство в делах и замешательство вместо должной по службе помощи»*. — Письмо И.А.Гудовича А.Р.Воронцову (*Гр.* С. 530).

С. 251. ...*«Иногда небезнужно иметь и врагов, чтобы лучше не сбиваться с пути законов»*. — Письмо А.И.Терскому от 11 декабря 1788 г. (*Соч.* Т.V. С. 760).

С. 253. *«Не знаю, куда ты ездишь... Сего желает твоя Катюха»*. — Письмо Е.Я.Державиной Державину от 25 января 1789 г. (*Соч.* Т. V. С. 781—782).

С. 253—254. ...*«Ежели бы не царствовала Екатерина Вторая...*

оставить мое отечество». — Письмо Державина Екатерине II от 13 октября 1790 г. (*Соч.* Т. V. С. 819).

С. 255. *«Возвращаясь в Петербург, размышлял он сам в себе, что он такое — виноват или не виноват? в службе или не в службе?»* — *Зап.* С. 583.

...«хотел доказать императрице и государству, что он способен к делам, неповинен руками, чист сердцем и верен в возложенных на него должностях». — *Зап.* С. 582.

С. 256. *...«Я ему сказала, что чин чина почитает... Il ne doit pas être trop content de ma conversation».* — Храповицкий А.В. Дневник. СПб., 1874. С. 201. Ср.: *Гр.* С. 580—581.

С. 256—257. *«Но как не было у него никакого предстателя... прибегнуть к своему таланту».* — *Зап.* С. 586.

С. 257. *...«прочетши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу».* — Там же.

С. 258. *...в сентябре 1790 года...* — Встреча Карамзина и Державина состоялась в конце июля — начале августа 1790 г. О ее обстоятельствах см. в кн.: Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 204—205. Ниже упоминаются некоторые эпизоды из «Писем русского путешественника» Н.М.Карамзина.

С. 259. *Марья Саввишна Перекусихина* — камер-юнгфера Екатерины II, одно из близких к ней лиц.

С. 260. *...«как человек со слабостями... против неискусного своего фельдмаршала».* — *Зап.* С. 592.

С. 261. *...«прямым путем протекавшей речке дали течение извилистое и вынудили из ней низвергающийся водопад, который упадал в мраморный водоем».* — Цит. статья «Потемкинский праздник из рукописи современника», приведенная Гротом в примеч. к «Описанию потемкинского праздника в Таврическом дворце» (*Соч.* Т. I. С. 293—294).

«Шляпа его была оными столько обременена... должен был сию шляпу за ним носить». — *Соч.* Т. I. С. 294.

С. 262. *...Васенька Жуковский...* — По воспоминаниям В.А.Жуковского, строка «Гром победы раздавайся!» стала выражением века Екатерины (Русский архив. 1866. С. 1635. Ср.: *Гр.* С. 594).

С. 263. *«Тут играет яркий и живый луч... тенистые радуги бегают по пространству...»* — Эта и следующие цитаты заимствованы из «Описания потемкинского праздника...» (*Соч.* Т. I).

С. 265. *...«с фурией выскочил из своей спальни... столы разобрали — и обед исчез».* — *Зап.* С. 594.

«Князю при дворе тогда очень было плохо»... — *Зап.* С. 595.

С. 265—266. *«Матушка, всемилостивейшая государыня!.. Вернейший и благодарнейший подданный».* — Эта и следующие цитаты — из донесений Попова; см.: Лебедев П. Материалы для истории Екатерины II. Ср. примеч. Грота к «Водопаду» (*Соч.* Т. I. С. 331—333).

С. 268. *...«Всемилостивейше повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия*

прошений». — Указ Екатерины II от 13 декабря 1791 г. приведен Гротом в примеч. к *Зап* (с. 604).

С. 271. *«Товарищи его... снес сей холодный, обидный ответ».* — *Зап.* С. 621.

С. 273. ...*«в публичных собраниях, в саду... — Неужто это правда?»* — *Зап.* С. 632.

С. 274. ...*«Хотя дал он ей в том свое слово, но не мог оного сдержать... у коих только слышны слова, а не мысли и чувства».* — *Зап.* С. 662.

С. 276. *«Сядь, милый гость, здесь на пуховом...»* — Из ст-ния Державина «Гостю» (1795).

С. 277. ...*«Мне очень скучно, друг мой Катинька... Приезжай в объятия верного твоего друга».* — *Соч.* Т. V. С. 859—860.

С. 278. *«Неизбежным уже роком...»* — Ст-ние «Разлука» было написано Державиным еще до женитьбы, в 1776 г., и лишь опубликовано в 1792 г. При одной из переработок ст-ния Державин собирался связать его с памятью первой жены, но потом отказался от этого намерения.

«Ты возвратило мне Плениру». — Из ст-ния «Провидение» (1794).

...*«Ну, мой друг Иван Иванович... сей свет совершенная пустыня...»* — Письмо И.И.Дмитриеву от 24 июля 1794 г. (*Соч.* Т. VI. С. 13).

С. 279. ...*никто не осудил его...* — Как свидетельствуют обнаруженные позднее документы, в львовском кружке второй брак Державина вызвал резкое осуждение (см.: Письма русских писателей XVIII в. Л., 1980. С. 390).

С. 279—280. ...*«Не зальют мне глотки вином... какую я отправлять в состоянии должность?»* — Письмо П.А.Зубову от 14 мая 1794 г. (*Соч.* Т. VI. С. 10—11).

С. 280. ...*«вышла из себя... хотя и были тут дежурные».* — *Зап.* С. 652.

...*«уехал потихоньку в Петербург»...* — Там же.

...*«чтоб от скуки не уклониться в какой разврат».* —Эта и следующие цитаты — *Зап.* С. 653—654.

С. 281. *«Извини меня, мой милый друг... целую тебя в мыслях»...* — Записки к Д.А.Дьяковой (*Соч.* Т. VI. С. 22—24).

С. 285. ...*«заперты в кабинете»...* — Из письма Державина к Д.Б.Мертваго от 31 мая 1795 г. (*Соч.* Т. VI. С. 26).

С. 286. ...*«приметил в императрице к себе холодность... не токмо говорить».* — *Зап.* С. 664.

С. 287. ...*и представил Екатерине «Анекдот»...* — См.: *Соч.* Т. I. С. 74—76.

С. 288. ...*«следователем жестокосердым»... «нарочито в неблагоприятном расположении».* — Цит.: Грибовский А.М. Записки о Екатерине Великой. М., 1847. С. 99. Ср.: *Гр.* С. 671.

С. 289. ...*«облобызав по обычаю тело, простился с нею, с пролитием источников слез».* — *Зап.* С. 670.

«Настал иной век... показалась мне как бы неприятельским

нашествием». — Цит. по: Шишков А.С. Записки. Берлин, 1870. Т. I. С. 9.

С. 289—290. ...*«Тотчас во дворце прияло все другой вид... военные люди с великим шумом».* — *Зап.* С. 670.

С. 290. ...*«Le palais eut en moment l'apparence d'une place enlevée d'assaut par des troupes étrangeres».* — Цит. по: Masson Ch. Mémoirs secrets sur la Russie. Paris, 1803. T. I. P. 197.

...*«срывали с проходящих круглые шляпы... в разодранном одеянии».* — Цит. по: Тургенев А.М. Записки // Русская старина. 1885. Т. 47. С. 381.

«Знаменитейшие особы... бегали, повелевали, учреждали». — Цит. по: Шишков А.С. Записки. Т. I. С. 10. Вышеприведенные цитаты заимствованы Ходасевичем из монографии Н.К.Шильдера «Император Павел I» (с. 293—297).

С. 292. *«Наговорив множество похвал... дозволив ему вход к себе во всякое время».* — *Зап.* С. 671.

С. 294. — *Ждите, будет от этого... толк!* — *Зап.* С. 674. Слово, по цензурным причинам замененное многоточием, — «царя» (см.: Державин Г.Р. Избранная проза. М., 1984. С. 185). Все домыслы относительно этой фразы — следствие недоразумения.

...*«Тайный советник Гаврило Державин... отсылается к прежнему его месту. 22 ноября 1796».* — Текст указа приведен А.Т.Болотовым в «Памятнике прошедших времян» (Русский архив. 1864. С. 784) и Гротом в примеч. к *Зап* (с. 674).

С. 295. ...*«осыпав его со всех сторон журьбою... преклонить на милость монарха».* — *Зап.* С. 674.

«По ропоту домашних был в крайнем огорчении... посредством своего таланта». — Там же.

...*«подпавшим под наказание, заточение и ссылку по случаю бывших в Польше замешательств».* — Указ Павла I от 29 ноября 1796 г. См.: Шильдер Н.К. Император Павел I. С. 321.

С. 297. *«К богам земным сближаться...»* — Ст-ние «Желание» (1797).

С. 298. ...*«в простоте солдатского сердца»...* — Из письма Суворова Державину от 21 декабря 1794 г. (*Соч.* Т. VI. С. 20).

С. 300. ...*вовсе не к Катеньке обращенную пьеску...* — Имеется в виду ст-ние «Невесте» (1778).

С. 303. *«Зрел ли ты, певец тииский...»* — Ст-ние «Русские девушки» (1799).

Обдумывая рисунки для будущей книги... — В бумагах Державина сохранились подготовленные для его собр. соч. эмблематические рисунки — заставки и виньетки к каждому ст-нию. Рисунки сопровождались пояснительными надписями-«программами». Впервые изданы в *Соч* (т. I—III). См. также: Державин Г.Р. Анакреонтические песни. М., 1986.

...*«многокрылатый Эрот привязан к простой русской пряслице, на коей видна кудель».* — *Соч.* Т. II. С. 245.

С. 304. *«Цари к себе его просили...»* — Из ст-ния «Венец бессмертия» (1798).

С. 306. ...*«Великий дух чтит похвалы достоинствам... уделяя ему свой блеск, великолепнее сияешь»*. — *Соч.* Т. II. С. 183.

«Что ты заводишь песню военну...» — Из ст-ния «Снигирь» (1800).

С. 307. ...*«с яростным взором, по обыкновению его... вышлет из города в деревню»*. — *Зап.* С. 712.

С. 309. ...*«Ты радуешься, но я не очень»*. — Письмо Д.А.Державиной от 10 сентября 1800 г. (*Соч.* Т. VI. С. 129).

С. 310. ...*«снисходя к Васильеву, самого себя вместо его не упрятать в крепость»*. — *Зап.* С. 703.

...*«балансировал на ту и другую сторону»*... — *Зап.* С. 705.

...*«Его Императорское Величество Государь Император Александр Павлович... на верность Его Императорскому Величеству»*. — Текст разосланной повестки см.: Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. II. С. 313.

С. 311. ...*«выходил даже из пределов благопристойности»*. — Там же. С. 7.

С. 312. ...*«доверенностью Нашею и общею почтенных»*... — Указ Александра I от 30 марта 1801 г. См.: Там же. С. 19.

С. 313. *«Самодержавства скиптр железный...»* — Из ст-ния «Изображение Фелицы» (1784).

С. 316. *«Народны вздохи, слезны токи...»* — Из оды «На восшествие на престол императора Александра I» (1801).

...*«день спасенья и утех»*. — Из оды «На восшествие на престол императора Александра I».

...*«Будь моим руководителем!»* — Фраза зафиксирована в дневнике Пушкина от 9 августа 1834 г. (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. XII. С. 322). Ср.: Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. II. С. 6.

С. 317. *«Будь на троне человек!»* — Из оды «На рождение на севере порфирородного отрока» (1777).

С. 318. ...*«охуждая правление императора Павла, зачали без разбора, так сказать, все коверкать, что им ни сделано»*. — *Зап.* С. 123.

С. 319. *«Ежели... генерал-прокурор будет так самовластно поступать, то нечего сенаторам делать, и всеподданнейше прошу меня из службы уволить»*. — *Зап.* С. 726.

С. 319—320. ...*«Уважая всегда Правительствующий Сенат... или ослабление оных доселе введено было...»* — Указ от 5 июня 1801 г. См.: Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. II. С. 20—21.

С. 320. ...*«охотно даровал бы свободу всему миру, при условии, чтобы все согласились подчиниться единственно его воле»*. — Цит. по: Чарторижский А. Мемуары. М., 1912. Т. I. С. 307. Ср.: Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. II. С. 164.

...*«обуздать деспотизм нашего правительства»*... — Из протоколов заседания Негласного комитета. См.: Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. II. С. 46.

С. 322. *«Состав сей организации был самый простой»*... — *Зап.* С. 727.

С. 323. ...*«не иначе были, как опекуны только и надзиратели... и ничего сами собою вновь постановляющего или решительного не делать».* — *Зап.* С. 728.

С. 324. *«Так: шепчут, будто саму власть...»* — Из ст-ния «К царевичу Хлору» (1801).

С. 326. ...*«по прихотливой воле каждого министра»...* — *Зап.* С. 744.

...*«приходить час от часу у Императора в остуду, а у министров во вражду».* — *Зап.* С. 749.

...*«C'est un dogue de Themis... pour le perdre».* — Цит. по: Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. II. С. 286. Этот анонимный агент также сообщает, что «Державин, как говорят, хороший поэт, но поэт-министр не может быть ни Сюлли, ни Шепталем» (Там же).

С. 327. ...*«не благоугодно ли будет повелеть министрам рассмотреть вновь столь важное решение?»* — Записку Потоцкого см.: *Гр.* С. 810.

С. 328. ...*«побледнел и не знал, что сказать». ...«от чрезвычайной чувствительности и потрясения всех нерв»...* — *Зап.* С. 751.

...*«сие как громом поразило сенаторов... Не показалось ли им, что Петр Великий встал из мертвых и ударил своим молотком?»* — *Зап.* С. 756.

С. 330. ...*«не токмо Его закон, но и Его славу».* — *Зап.* С. 772.

...*«в нынешнем состоянии народного просвещения не выдет из того никакого блага»...* — *Зап.* С. 778.

...*«пространное и довольно горячее со стороны Державина».* — *Зап.* С. 186.

С. 331. *«Мнение графа Потоцкого дошло в Москву... замарав их дерьмом для поругания».* — *Зап.* С. 773.

С. 331—332. ...*«Благодарю, любезный мой друг Василий Васильевич... только по сию пору боюсь, чтобы опять не запрягли».* — Письмо Капнисту от 3 января 1804 г. (*Соч.* Т. VI. С. 159—160).

С. 332. *«Мечтами быть иль зреть мечты».* — Из ст-ния «Фонарь» (1804).

С. 335. ...*«похвалы современников ненадежны и на хулу их смотреть много не для чего»...* — Письмо Д.И.Хвостову от 11 декабря 1805 г. (*Соч.* Т. VI. С. 190).

«Пой, Карамзин! И в прозе...» — Из ст-ния «Прогулка в Сарском Селе» (1791).

С. 336. ...*«из москвичей один И.И.Дмитриев здесь в почете... и стоит за него горою».* — Дневниковая запись С.П.Жихарева от 24 марта 1807 г. См.: Жихарев С.П. Записки современника. Л., 1989. Т. II. С. 199. Ср.: *Гр.* С. 863.

С. 338. ...*«Г.Р. уезжает завтра и что-то очень не весел...»* — Запись от 10 мая 1807 г. (Там же. С. 287. Ср.: *Гр.* С. 904).

С. 339. *«Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор...»* — Из ст-ния «Евгению. Жизнь Званская» (1807).

С. 340. ...*«на которой один человек более нежели на ста*

веретенах может прясть». — «Объяснения» Державина к ст-нию «Евгению. Жизнь Званская» (*Соч.* Т. III. С. 591).

С. 341. *...«заведен был окружающими его в весьма неприятные военные дела».* — *Соч.* Т. III. С. 527.

С. 344. *«Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут...»* — Из ст-ния «Евгению. Жизнь Званская».

С. 350. *«Воздух свежестью своею...»* — Из ст-ния «Водомет» (1808).

С. 350—351. *...«препроводил с отменным удовольствием время... такое в его сочинениях значит г р о х о ч е т э х о».* — Письмо Евг.Болховитинова Д.И.Хвостову от 22 августа 1805 г. (Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности. СПб., 1868. Вып. 5. С. 69. Ср.: *Гр.* С. 883).

С. 352. *«На сребро-розовых конях...»* — Из ст-ния «Водопад» (1791).

...он пояснял... — Далее цитируются «Объяснения» на ст-ние «Водопад» (*Соч.* Т. III. С. 523).

«Не заключит меня гробница...» — Из ст-ния «Лебедь» (1811).

...он спешил приписать: «Средь звезд, или орденов совсем не сгнию так, как другие». — Из «Объяснений» к ст-нию «Лебедь» (*Соч.* Т. III. С. 593).

С. 358. *...«если ж на это или не дадут согласия г.г. Члены... и лучшее о себе мнение и больший чин».* — Из письма Н.И.Гнедича Державину от 12 декабря 1810 г. (*Соч.* Т. VI. С.236).

С. 359. *«Душеньки часок не видя...»* — Ст-ние Н.П.Николева «Песня» (1798). Цит. по «Запискам сумасшедшего» (Г о г о л ь Н.В. Полн. собр. соч. М., 1938. Т. III. С. 197). У Николева вторая строка читается: «Думал, год уж не видал», а четвертая — «Жизнь, прости навек — сказал».

С. 359—360. *...«У нас заводится названное сначала Ликей... подлинное выражение одной статьи Устава Беседы...»* — Письмо Н.И.Гнедича В.В.Капнисту см.: *Соч.* Т. VI. С. 231. Ср.: *Гр.* С. 906.

С. 360. *«Каким средством может процветать и возвышаться словесность?»* — См.: Ш и ш к о в А.С. Речь при открытии Беседы // Чтения в Беседе любителей русского слова. 1811. Кн. I. С. 41. Ср.: *Гр.* С. 911.

С. 361. *...«без воли правительства возбуждать гордость народную»...* — Цит. по: Ш и ш к о в А.С. Записки. Т. I. С.117. Ср.: *Гр.* С. 915.

С. 362. *«Они действовали электрически на целую Русь», Шишков «двигал духом России».* — Цитируются «Воспоминания об Александре Семеновиче Шишкове» С.Т.Аксакова (А к с а к о в С.Т. Соч. М., 1955. Т. II. С. 305—306, 312).

С. 363. *«Бывший статс-секретарь... в 1743 году июля 3 числа...»* — *Зап.* С. 401.

С. 365. *...«сия мудрая и сильная Государыня в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя Великой».* — *Зап.* С.609.

...«Царю! Господь с тобою... яко с нами Бог!» — Цит. по:

Шильдер Н.К. Император Александр I. Т. III. С. 90. Имя митрополита было Августин.

...*«Вся Россия накануне всеобщего траура... Боже! Спаси!»* — Письмо И.С.Захарова Державину от 7 июля 1812 г. (*Соч.* Т. VI. С. 268—269).

С. 366. ...*«По неприятному от вас полученному известию... не действует и не сражается».* — Письмо Державина Л.Н.Львову от 12 августа 1812 г. (*Соч.* Т. VI. С. 275—276).

С. 367. ...*«привели государство в такое бедственное состояние, в котором оно ныне, то есть в 1812 году, находится».* — *Зап.* С. 727.

...*«за которые имел бы право быть вознагражденным, но напротив того претерпел разные несправедливости и гонения».* — *Зап.* С. 783.

С. 368. *«Кто весть, что галльский витязь, Риму...»* — Из ст-ния «На новый 1798 год».

С. 368—369. ...*«Любезный друг, Гаврила Романович!.. Да соединит оно их опять, прежде чем зароется в землю!..»* — Письмо В.В.Капниста Державину от 18 июля 1812 г. (*Соч.* Т. VII. С. 272).

С. 374. ...*«образования юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной и составленного из отличнейших воспитанников знатных фамилий».* — Из постановления о Лицее от 12 августа 1810 г. См.: Селезнев И. Исторический очерк императорского лицея. СПб., 1861. С. 9.

С. 376. ...*сделал много описок.* — Описание этого автографа см.: Грот Я.К. Пушкинский лицей. СПб., 1911. С. 321—327.

С. 377. *«Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы»... «Тут он оживился: глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной».* — Цитируется очерк А.С.Пушкина «Державин» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. XII. С. 158).

С. 378. ...*«Пушкин на лицейском экзамене».* — В действительности эта надпись на автографе, отосланном Державину на следующий день после издания, была сделана Я.К.Гротом (см.: Грот Я.К. Пушкинский лицей. С. 322).

С. 379. ...*Шаховской... вывел его в своей комедии.* — Имеется в виду комедия «Липецкие воды» (1815), где В.А.Жуковский выведен под именем поэта Фиалкина.

С. 381. ...*«совершенно обезумел»...* — Здесь и далее цитируется очерк С.Т.Аксакова «Знакомство с Державиным» (см.: Аксаков С.Т. Соч. Т. II. С. 315—328).

С. 386. *«Бьет семь часов — Карамзина нет... просит Гаврилу Романовича назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра».* — Там же. С. 332.

С. 388. ...*мастерски играла свою ролю...* — Этими словами Я.К.Грот заменил по цензурным соображениям подлинный отзыв Державина о Екатерине: «Была она большая комедиянка» (см.: Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1986. № 1. С. 64). Все описание «званской» жизни Державина последних лет

составлено по воспоминаниям Е.Н.Львовой, частично опубликованным: *Гр.* С. 986—1002.

С. 390. *«Пожалуй уведомь, братец Семен Васильевич... Впрочем, мы, слава Богу, находимся по-прежнему в хорошем состоянии».* — Предсмертное письмо С.В.Капнисту (*Соч.* Т. VI. С. 392—394).

С. 393. *«Не зря на колесо веселых, мрачных дней...»* — Из ст-ния «Евгению. Жизнь Званская».

«Врагов моих червь кости сгложет...» — Из ст-ния «На смерть графини Румянцевой» (1788).

...времени больше не будет... — Апокалипсис, 10, 6.

О ПУШКИНЕ

Книга «О Пушкине» была подготовлена Ходасевичем к юбилею 1937 г. взамен пушкинской биографии, на которую еще в 1935 г. была объявлена подписка (*В.* 1935. 17 января. № 3515) и которой он так и не написал. Вместо нее подписчики получили сокращенное и переработанное издание книги «Поэтическое хозяйство Пушкина» (отдельное издание — Л., 1924; журнальный вариант — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 165—216; Кн. 3. С. 183—248; 1924. Кн. 5. С. 218—244; 1925. Кн. 6/7. С. 272—299). По сравнению с *ПХП*, материал в книге «О Пушкине» строже систематизирован, некоторые главки значительно отредактированы и получили более стройный вид. При этом более 20 заметок Ходасевич исключил вовсе, другие сильно сократил — вероятно, не столько по творческим, сколько по материальным причинам. В книгу введено пять статей, не входивших ни в ленинградский, ни в берлинский вариант *ПХП*, но публиковавшихся в периодике. Но и в этом новом составе книга далеко не отражает всей полноты пушкиноведческих интересов Ходасевича — с 1913 по 1939 г. им было написано около полутораста статей, рецензий и заметок, так или иначе затрагивающих пушкинскую тему. Подробнее см. в кн.: Сурат И. Пушкинист Владислав Ходасевич. М., 1994.

Книга «О Пушкине» вышла в феврале 1937 г. в Берлине (изд-во «Петрополис», тираж 500 экземпляров, из них 50 — нумерованных и именных) и вызвала одобрительные отклики в эмигрантской печати: Мандельштам Ю. Ходасевич о Пушкине // *В.* 1937. 8 мая. № 4077; Адамович Г. Литературные заметки: В. Ходасевич. «О Пушкине» // *ПН.* 1937. 1 июля. № 5941; Бем А. Письма о литературе: Книга «О Пушкине» Вл.Ходасевича // Меч (Варшава). 1937. 8 августа. № 30 (166); Вейдле В. В.Ф.Ходасевич. «О Пушкине» // *СЗ.* 1937. Кн. 64. С. 467—468. Ю.Мандельштам писал с очевидным преувеличением, что книга Ходасевича «одна перевешивает всю пушкинскую литературу юбилейного года — по обе стороны рубе-

жа». Дружно сетуя на то, что Ходасевич так и не создал синтетической биографии Пушкина, А.Бем, В.Вейдле, Ю.Мандельштам и в разрозненных сюжетах этой книги увидели удачную попытку воссоздать живую личность Пушкина в единстве биографии и творчества. Отмечалась некоторая классификаторская сухость отдельных очерков, недостаток обобщений (Ю.Мандельштам). Резонные возражения вызвала идея статьи «О двух отрывках» (Г.Адамович, В.Вейдле).

В нашем комментарии указываются прижизненные публикации статей, вошедших в книгу, учитываются значимые разночтения публикаций, приводятся фрагменты, опущенные при перепечатке.

Редакции пушкинских текстов и датировки, на которые опирается Ходасевич, не всегда совпадают с принятыми в современной пушкинистике. Существенные несоответствия мы уточняем в комментарии.

С. 397. *...изданная без моего участия и в таком неслыханно искаженном виде, что я тогда же печатно снял с себя ответственность за ее содержание.* — Работая над *ПХП* и параллельно печатая готовые фрагменты в *Б*, Ходасевич поручил своей бывшей жене Анне Ивановне Ходасевич начать в Петрограде переговоры об отдельном издании книги (см. письмо к ней от 27 декабря 1923 г. в т. 4 наст. изд.). К этому времени Анна Ивановна располагала фрагментами, опубликованными в кн. 2 и 3 *Б* за 1923 г., а также текстом статьи «Русалка», посланной Ходасевичем А.Н.Тихонову для публикации в журн. «Русский современник». Эти тексты Анна Ивановна поспешила отдать в набор в петроградское изд-во «Мысль», о чем Ходасевич узнал не сразу, т.к. колесил по Европе и письма из Петрограда получал с большим опозданием. Повлиять на ситуацию он уже не смог, и в июне 1924 г. книга вышла в свет. По объему она составила около $^2/_3$ от написанной, текст из *Б* был набран без учета поправок и дополнений, но с сохранением журнальных опечаток. К тому же были внесены нелепые изменения в композиционное членение статьи о «Русалке», допущены пропуски, искажения и даже вставки отдельных слов и фраз. Ходасевич этой историей был страшно раздосадован, о чем можно судить по его письмам к А.И.Ходасевич от 28 апреля (*РГАЛИ*. Ф.537. Оп.1. Ед.хр.51. Л.24—25) и от 10 июля 1924 г. (Там же. Л. 27—28), а также к М.О.Гершензону от 6 августа и 3 сентября 1924 г. (см. в т. 4 наст. изд.). Он написал разъяснительное «Письмо в редакцию», которое переслал К.А.Федину для помещения в журн. «Книга и революция», предполагая вместе с тем напечатать его и в *Б*. Однако «Книга и революция» закрылась, и письмо появилось лишь в марте 1925 г. в кн. 6/7 *Б*. Перечислив допущенные издательством ошибки, Ходасевич заключил его словами: «Все эти безобразные искажения, пропуски и прибавления, которые не могу иначе назвать, как наглыми и умышленно издевательскими, заставляют меня отказаться от всякой ответственности за эту книгу в том виде, в каком она напечатана кн<игоиздательст>вом “Мысль”» (*Б*. 1925. Кн. 6/7. С. 479). Но

в Россию *Б* не поступала, и запоздалое отречение Ходасевича прошло незамеченным.

Кн. «Поэтическое хозяйство Пушкина» так и не была издана в авторском составе 1923—1924 гг. (реконструкцию этого состава см. в нашем коммент. к собранию пушкинистики Ходасевича, готовящемуся выйти в свет).

С тех пор мною написан ряд статей и заметок... — Все статьи, вошедшие в кн. «О Пушкине», были ранее опубликованы, некоторые из них — дважды и трижды.

Установить, к какой из этих категорий относится каждое данное самоповторение, не всегда возможно... — Этот вывод и предшествующая ему классификация являются ответом на критику М.Л.Гофмана, который в своей кн. «Пушкин. Психология творчества Пушкина» (Париж, 1928. С. 90), а затем в статье «Споры о Пушкине» (*ПН.* 1929. 3 января. № 2843) упрекал Ходасевича в том, что он в *ПХП* не разграничил различные виды самоповторений и «одним и тем же именем назвал совершенно разнородные явления» («Споры о Пушкине»).

С. 398. *...неисполнима по техническим причинам...* — На эти «технические причины», обусловленные эмиграцией, Ходасевич жаловался неоднократно — в частности, в 1923 г. в предисл. к *ПХП* он писал о том, что вынужден работать «в самых неблагоприятных условиях, без многих необходимейших книг, не имея под рукой даже хоть сколько-нибудь полного и компетентного издания Пушкина» (*Б.* 1923. Кн. 2. С. 165).

...«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». — «Арап Петра Великого», гл. III.

Явления Музы (с. 399). — *Б.* 1925. Кн. 6/7. С. 273—299.

Статья писалась осенью-зимой 1923—1924 гг. — в письме к А.И.Ходасевич от 26 января 1924 г. она упоминается среди материалов, подготовленных к печати в составе *ПХП* (*РГАЛИ.* Ф. 537. Оп.1. Ед.хр.51. Л.4). В ленинградскую книгу 1924 г. эта статья не вошла по не зависящим от автора обстоятельствам (см. выше коммент. к предисл.), и уже после публикации в *Б* Ходасевич безуспешно пытался напечатать ее в России (см. его письма к А.И.Ходасевич от 22 июня и 17 октября 1925 г. — Там же. Ед. хр. 52. Л. 7, 12 об.).

С. 399. *...указывающей хронологию пьес.* — Схема и дальнейшие рассуждения Ходасевича содержат неточности в датировках. Правильные даты: «Наперсница волшебной старины...» — 1821—1822, «Подруга дней моих суровых...» — 1826, «Городок» — 1815, «Фонтану Бахчисарайского дворца» — 1824, наброски вступления, или посвящения, «Гавриилиады» — 1821.

С. 400. *«19 октября 1825 г.»* — Здесь и далее стихи, посвященные лицейским годовщинам, Ходасевич вольно называет датой 19 октября соответствующего года.

С. 401. *...Мелецкого...* — Ю.А.Нелединский-Мелецкий (1752—1829) — русский поэт-сентименталист, разрабатывал жанр любовной песни в народном стиле.

С. 403. *Комментируя пьесу, Брюсов заявляет...* — В кн.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Со сводом вариантов, под ред., со вступ. ст. и объяснит. примеч. Валерия Брюсова. М., 1919 (на обл. — 1920). Т. 1, ч. 1. С. 184.

С. 405. *«Ни дура Английской породы...»* — Мотивы этого отрывка, а также «Наперсницы...» и «Сна» отразились в программном ст-нии Ходасевича «Не матерью, но тульскою крестьянкой...» (1917, 1922); пушкинская тема няни-музы имела важное значение для его поэтического самосознания.

...Пушкин писал Д.М.Княжевичу... — Цитируется черновое, по-видимому, неотправленное письмо от 9 декабря 1824 г., но не Д.М.Княжевичу, как считалось долгое время, а Д.М.Шварцу, одесскому знакомому Пушкина.

С. 406. *...А вечером при завываньи бури*
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет...

— Эти стихи не входят в беловую редакцию «Вновь я посетил...»

С. 407. *«Наперсница» не окончена.* — Ст-ние считается завершенным, что ставит под сомнение дальнейшие выводы Ходасевича.

С. 408. *Точная датировка «Наперсницы» неизвестна. Однако почти немыслимо предположить, чтоб она могла быть написана позже «Музы»...* — «Наперсница волшебной старины...» предположительно датируется 1821—1822 гг., ст-ние «Муза» помечено в рукописи 14 февраля 1821 г., а в печатном тексте — 5 апреля 1821 г. Рассуждая об относительной хронологии двух ст-ний, Ходасевич спорит с мнением писательницы Н.Кохановской, приведенным в коммент. к венгеровскому собр. соч. Пушкина. Она утверждает, что «Наперсница...» была написана после «Музы» и отражает движение Пушкина от литературности к народной самобытности (Пушкин А.С. Собр. соч. / Ред. С.А.Венгеров. СПб., 1908. Т. 2. С. 569).

С. 412. *...намек на собрания «Зеленой Лампы» и тем самым — на политические стихи вроде «Вольности».* — В 1819—1820 гг. Пушкин участвовал в собраниях «Зеленой лампы» — петербургского литературно-театрального общества, в котором свободолюбивые настроения сочетались с озорством и кутежами. Ходасевич связывает пушкинскую «Вольность» с собраниями «Зеленой лампы», основываясь на принятой тогда датировке стихотворения — 1819 г. В современных изданиях она датируется 1817 г., хотя вопрос о времени ее создания и сегодня остается спорным.

Истории «Зеленой лампы» Ходасевич посвятил речь на открытии одноименного парижского общества 5 февраля 1927 г. (см.: *Терапиано.* С. 42—47).

...намек на эту поэму заключен в словах: «Воспела... славу нашей старины». — Ходасевич ошибся, увидев в этих пушкинских словах намек на «Руслана и Людмилу»: в первой строфе восьмой главы «Евгения Онегина», откуда они взяты, речь идет о лицейских «явлениях Музы», а поэма «Руслан и Людмила» писалась позже, в 1818—1820 гг. (в Лицее могли быть сделаны лишь первые, не

дошедшие до нас наброски). «Слава нашей старины» относится прежде всего к «Воспоминаниям в Царском Селе» (1814).

...послужил эпиграфом к первой книге стихов, изданной в 1826 г. ... — Первый пушкинский поэтический сборник «Стихотворения Александра Пушкина» помечен 1826 г., но реально вышел в конце 1825 г. Эпиграф к нему, взятый из X элегии II книги римского поэта Секста Проперция («Aetas prima canat veneris, extrema tumultus»), приведен Ходасевичем с мелкой неточностью.

Но рок мне бросил взоры гнева
И в даль занес... она за мной.
Как часто ласковая дева...

— В современных изданиях принята другая редакция этих стихов:

Но я отстал от их союза
И в даль бежал... она за мной.
Как часто ласковая Муза...

С. 413. *...таврических вдохновений и впечатлений.* — Речь идет о поездке Пушкина с семьей Раевских по Крыму в августе-сентябре 1820 г.

С. 414. *...образы, почерпнутые в семье Раевских.* — Вопрос об автобиографической основе южных поэм — один из острых и запутанных вопросов пушкинистики, он связан с проблемой «утаенной любви», история которой прочитывается в пушкинской поэзии вплоть до 1828 г. Согласно свидетельству поэта В.И.Туманского, Пушкин сам говорил ему, что прототипом черкешенки из «Кавказского пленника» была Мария Раевская (Туманский В.И. Стихотворения и письма. СПб., 1912. С. 272). О вдохновительнице «Бахчисарайского фонтана» высказывалось множество разных, в том числе и невероятных, мнений: назывались имена М.А.Голицыной (М.О.Гершензон), Е.А.Карамзиной (Ю.Н.Тынянов), Елены Раевской (П.К.Губер), пленной татарки Анны Ивановны (Д.С.Дарский), С.С.Потоцкой (Л.П.Гроссман). Наиболее убедительным остается мнение П.Е.Щеголева, связавшего образ Марии, а также лирические строки эпилога поэмы с Марией Раевской (см.: Щеголев П.Е. Из жизни и творчества Пушкина. 3 изд., испр. и доп. М.—Л., 1931. С. 198—226). Ходасевич был, конечно, знаком с работой Щеголева, впервые опубликованной еще в 1910 г., но к тем же выводам он пришел не через биографические разыскания, как Щеголев, а другим путем — через «медленное чтение» текста «Евгения Онегина».

С. 415. *...13, 14 и 16 строфы «Путешествия Онегина»...* — Имеются в виду строфы «Воображенью край священный...», «Прекрасны вы, брега Тавриды...» и «Какие б чувства ни таились...» В издании Пушкина под ред. С.А.Венгерова, которым пользовался Ходасевич, строфы «Путешествия Онегина» пронумерованы и даны в другой редакции — не так, как в современных изданиях.

С. 416. *...затаенную смысловую связь...* — Эту перекличку Ходасевич рассмотрел подробнее в *ПХП* (*Б.* 1923. Кн. 2. С. 181).

...в XV строфе «Домика в Коломне»... — В VIII строфе по современным изданиям.

С. 417. *...с Ленорой...* — Ленора — героиня романтической баллады «Ленора» немецкого поэта Г.А.Бюргера (1747—1794). Баллада эта неоднократно переводилась на русский язык (В.А.Жуковским, П.А.Катениным) и стала знаком романтизма для русского читателя.

...в XXIII октаве «Домика в Коломне»... — В IX строфе по современным изданиям.

С. 418. *...с Ариной Родионовной, скончавшейся в конце 1828 года.* — Арина Родионовна скончалась не в конце 1828 г., а 31 июля. Разыскания о точной дате ее смерти были опубликованы А.И.Ульянским после выхода книги Ходасевича (см.: Ульянский А.И. О могиле Арины Родионовны: По новейшим материалам // Звезда. 1938. №1. С.169—176). Пушкинской няне Ходасевич посвятил статью «Арина Родионовна» (*В.* 1929. 7 января. № 1315) и заметку под тем же названием в «Литературной летописи» (*В.* 1938. 18 марта. № 4123).

Бережливость (с. 418). — Частично — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 170—171, 177—179; *ПХП.* С. 9—10, 16—17.

С. 419. *...через три года...* — Через два («Кто знает край...» — 1828, «Сонет» — 1830).

С. 420. *«...Покрыты пламенем и прахом».* — Сам Ходасевич воспользовался лексическим и ритмическим материалом третьего пушкинского «Подражания Корану» в ст-нии «Когда истерпится земля...» (1907; см. т. 1 наст. изд.).

«Гавриилиада» (с. 420). — *Б.* 1923. Кн. 3. С. 194—205; *ПХП.* С. 60—70.

Идейной интерпретации поэмы Ходасевич посвятил отдельную статью (см. т. 2 наст. изд.).

С. 422. *«Мои утраченные годы».* — Из рукописного продолжения, не вошедшего в печатный текст «Воспоминания».

«Но тяжело, прожив полвека...» — Варианты XI строфы восьмой главы.

«Я помышлял о юности моей...» — Из черновых вариантов «Вновь я посетил...», отброшенных в беловой редакции.

...в 1816 г., в послании к кн. А.М.Горчакову. — Послание датируется 1817 г.

С. 423. *Вдали штыков и барабанов,*
Так точно старый инвалид
Встречает молодых уланов
И им о битвах говорит.

— В современных изданиях эти четыре стиха не включаются в окончательный текст послания, а печатаются среди вариантов.

С. 426. *И девицы без блонд и жемчугов*
Прельщали взоры знатоков.

— Из вариантов «Домика в Коломне».

Пора! (с. 426). — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 182—184; *ПХП.* С. 20—21.

С. 426. *«Пора, мой друг, пора!..» (1836?)...* — В современных изданиях Пушкина это ст-ние предположительно датируется 1834 г. Подробнее см. в коммент. к статье «О двух отрывках».

«Пора в жилище теней!» («Жених»). — Этот стих взят из пушкинского «Мечтателя» (1815). В «Женихе» — «Пора гнездо устроить».

Они обнаруживают подсознательные душевные процессы... — Ср. о художественном приеме в статье «Памяти Гоголя» (1934): «Прием, не составляя сущности мировоззрения художника, в то же время есть несомненный и достоверный показатель такого мировоззрения. Искусство осуществляется не ради приема (как думали формалисты), но через него и в нем самом. Это не умаляет ни важности приема, ни необходимости его исследовать, ибо в конечном результате исследование приема есть исследование о мировоззрении художника. Прием выражает и изобличает художника, как лицо выражает и изобличает человека» (см. т. 2 наст. изд.).

Перечисления (с. 426). — *Б.* 1924. Кн. 5. С. 218—236.

С. 427. *...из приема единоначатия...* — Ср. у Пушкина: «Г.Федоров, в журнале, который начал было издавать, разбирая довольно благосклонно 4 и 5-ю главу, заметил, однако ж, мне, что в описании осени несколько стихов сряду начинаются у меня частицею *Уж*, что и называл он *ужами*, а что в риторике зовется *единоначатием*» («Опровержение на критики», 1830).

С. 428. *«У всякого своя охота...»... («Онегин», IV, 36).* — Черновая строфа.

С. 430. *«Альбом Онегина»* — в черновых рукописях седьмой главы романа сохранились наброски «Альбома Онегина», который, по первоначальному замыслу, должна была читать Татьяна в онегинском кабинете.

С. 433. *«Череп»* — под этим названием имеется в виду «Послание Дельвигу» (1827).

С. 434. *...в «Родословной моего героя»...* — Т.е. в отрывке из неоконченной поэмы под условным названием «Езерский» (1832—1833).

С. 434—435. *Я еду в даль. Простите, дамы,*
Артисты, франты, доктора,
Шумящи игры, вечера,
Где льются пунш и эпиграммы.

— Этих стихов нет в окончательной редакции послания.

С. 435. *...в «неоконченности» которого позволительно сомневаться.* — Это ст-ние завершено, о чем свидетельствует беловой автограф. Утвердившаяся мысль о его незавершенности идет от П.В.Анненкова, опубликовавшего первые четыре строки как отрывок, не заметив второго четверостишия и даты.

...«Начало сказки»... — С 1915 по 1936 г. в собраниях сочинений Пушкина печатались первые четыре стиха сказки П.П.Ершова «Конек-горбунок» — на основании свидетельства книгопродавца и издателя А.Ф.Смирдина о том, что они принадлежат Пушкину. В

недавнее время обнаружены факты, заставляющие с особым вниманием относиться к этому свидетельству (Толстяков А.П. Пушкин и «Конек-горбунок» Ершова // Временник Пушкинской комиссии: 1979. Л., 1982. С. 28—36).

...написанное вместе с Вяземским «Поминание»... — Ст-ние «Надо помянуть, непременно помянуть надо...», вписанное попеременно рукой Пушкина и П.А.Вяземского в письмо Вяземского В.А.Жуковскому от 26 марта 1833 г.

«Гауэншильд и Энгельгардт» — коллективное лицейское ст-ние, доля участия Пушкина в нем не ясна.

«Молитва лейб-гусарских офицеров» — ст-ние графа В.П.Завадовского, которое долгое время приписывалось Пушкину и печаталось в собраниях его сочинений.

С. 437. *«Треск, топот, грохот по порядку».* — Строка из печатных вариантов, не входит в современные издания.

Обилие перечислений у Пушкина вызвало интерес еще в прижизненной критике. Об этом, а также о смысловой роли перечислений см.: Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 346—352. См. также: Абрам Терц (Андрей Синявский). Прогулки с Пушкиным. СПб., 1993. С. 61—62.

Отъезды, отлеты, исчезновения (с. 437). — *Б.* 1924. Кн. 5. С. 239—244; *ПХП.* С. 21—22.

С. 440. *«Раздался дикий крик погони...»* — Видимо, опечатка: у Пушкина — «клик погони».

Прямой. Важный. Пожалуй (с. 441). — «Прямой» — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 193—194; «Важный» — *Б.* 1924. Кн. 5. С. 236—239; «Пожалуй» — *В.* 1933. 13 июля. № 2963 (в составе статьи «Мелочи»).

С. 441. *«Прямым Онегин Чильд-Гарольдом...»* — «Евгений Онегин», глава четвертая.

«Прямого просвещенья ради»... — «Езерский».

«Приехав, он прямым поэтом...» — «Отрывки из путешествия Онегина».

«Приятный голос, прямо женский»... — «Граф Нулин» (1825).

«Без разделенья унылы, грубы наслажденья: мы прямо счастливы вдвоем...» — «Руслан и Людмила» (1820).

У Пушкина оно всегда равняется словам: серьезный, строгий, вдумчивый. — Не всегда. В «Словаре языка Пушкина» различаются два значения слова «важный»: 1) имеющий большое значение (163 случая) и 2) величественный, надменный, полный достоинства (46 случаев) (см.: Словарь языка Пушкина. М., 1956. Т. I. С. 210). В целом Ходасевич прав: «важный» редко употребляется Пушкиным в значении «чванный, гордый, надменный», однако иногда в резко отрицательном контексте все же приобретает такой оттенок:

Ты там на шумных вечерах
Увидишь важное Безделье,
Жеманство в тонких кружевах
И Глупость в золотых очках...
(*«Всеволожскому», 1819*)

Как бы это изъяснить,
Чтоб совсем не рассердить
Богомольной важной дуры,
Слишком чопорной цензуры?

(*«Царь Никита и сорок его дочерей», 1822*)

«Молодая графиня К., кругленькая дурнушка, постаралась придать важное выраженье своему носу, похожему на луковицу, воткнутую в репу, и сказала:

— Есть и нынче женщины, которые ценят себя подороже...»

(*«Мы проводили вечер на даче...», 1835*)

Важные гимны внушаются поэту богами. — Парафраза стиха из «Музы» (1821): «И гимны важные, внушенные богами».

Важные гроба покоятся на родовом деревенском кладбище. — Парафраза последних стихов элегии «Когда за городом, задумчив, я брожу...» (1836).

С. 442. *...«Смотри, пожалуй».* — «Моя родословная» (1830).

«Пожалуй, будь себе татарин»... — «На Булгарина» (1830).

«Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи...» — «Б.М.Федорову» (1828).

«Пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру...» — «Из письма к Вяземскому» (1831).

История рифм (с. 443). — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 172—173, 194—198; *ПХП.* С. 11—12, 30—35.

С. 443. *...престарелу — поседелу — пределы.* — Рифма «поседелый — пределы» встречается также в «Воспоминаниях в Царском Селе» (1814):

Не здесь его сразил воитель поседелый;
О Бородинские кровавые поля!
Не вы неистовству и гордости пределы!

В стихах о Клеопатре... — Ходасевич говорит о второй редакции «Клеопатры» (1828).

С. 444. *Круговое движение рифмы закончено...* — «Поседелый» рифмуется со «смелый» в ст-нии «К вельможе» (1830):

Явился ты в Ферней — и циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый...

Пушкин срифмовал... — Приведенный ниже список может быть дополнен, см.: Shaw Y. Thomas. Pushkin's Rhymes. A Dictionary. Madison, 1974. P. 362.

«Свод неба мраком обложился...» — Начало неоконченной поэмы «Вадим» (1822).

С. 446. *Слова «вечная рифма» здесь говорят не столько об избитости словосочетания, сколько о том, что «младость» есть вечный источник «сладости».* — Дело не только в этой ассоциации или избитости звукосочетания: устойчивой рифме соответствует традиционный элегический мотив воздыханий об утраченной «младости», «сладости» и «радости». Демонстративно обнажая штамп, поэт выводит тему из литературного ряда, обнаруживает ее реальный,

жизненный смысл (см.: Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974. С. 98—99).

С. 447. *В 1829—1830 годах он срифмовал «радость — младость» в «Путешествии Онегина» при воспоминании об Одессе...* — Описание Одессы из «Путешествия Онегина» создано еще в 1825 г., т.е. до осмеяния рифмы. Это вносит корректив в дальнейшие подсчеты Ходасевича.

...28 мая, Пушкин начал «Евгения Онегина»... — Первая глава начата 9 мая 1823 г.

Излюбленные звуки (с. 447). — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 180; *ПХП.* С. 18.

С. 448. *«Она была нетороплива...»* — Здесь в издании 1937 г. пропущена следующая строка (видимо, типографский брак): «Не холодна, не говорлива...»

Художник (с. 448). — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 185—186; *ПХП.* С. 22—23.

С. 448. *«Художник-варвар кистью сонной...»* — Начало ст-ния «Возрождение», традиционно датируемого 1819 г. Эта датировка справедливо оспорена Б.А.Васильевым, но предложенная им новая дата — 1827 г. — столь же мало обоснована (см.: Васильев Б.А. О новой датировке стихотворения Пушкина «Возрождение» // Страницы истории русской литературы. М., 1971. С. 92—99).

Наполеон (с. 449). — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 186—190; *ПХП.* С. 23—26.

В тексте *Б* есть вступление к этой заметке:

«Об отношении Пушкина к Наполеону писано много. Вопрос это сложный. О нем всегда можно спорить, и это легко делать, потому что взгляд на Наполеона менялся у Пушкина в связи с изменениями его взглядов, политических и религиозных, в частности — на революцию и самодержавие. Но — как бы ни смотрел на “владыку Запада” Пушкин-историк или Пушкин-публицист, мы вправе поискать, нет ли у Пушкина-поэта чего-нибудь такого, что выражало бы его чисто художническое, непосредственное, не омрачаемое никакими теориями, влияниями, воздействиями “чувство Наполеона”. С какими представлениями, звуками, образами связан у Пушкина-поэта (только поэта) — образ Наполеона? Скинем со счетов политические и публицистические определения, к тому же часто извне навязанные, как “бич Европы”, “злодей”, “ужас мира” и прочее. (*Примечание:* С наличностью посторонних влияний и затверженных оценок в отношении Пушкина к Наполеону тем более необходимо считаться, что первые четыре стихотворения о Наполеоне писаны, когда поэту было всего 15—16—17 лет, в разгар всеобщего увлечения Александром I и его победой. К тому же ранние стихи вызывались отчасти официальными поводами, и официальная точка зрения была для них обязательна.) Отбросим и такие атрибуты, как троны, короны, цари, мечи: они были почти неизбежны,

навязывались сюжетом и подсказывались еще не остывшей политикой XVIII века. Посмотрим только на то, что при слове "Наполеон" подымалось у Пушкина из глубины художественного, не исторического сознания. Быть может — даже из подсознания» (с. 186—187).

«Владыка Запада» — из ст-ния «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» (1824).

«Бич Европы» — неточная цитата из ст-ния «Наполеон на Эльбе» (1815).

«Злодей», «ужас мира» — из ст-ния «Принцу Оранскому» (1816). «Ужас мира» также — в оде «Вольность» (1817).

С. 449. *...стихи о волшебном фонаре.* — «Фонарь» (1804).

Державинское влияние в «Воспоминаниях в Царском Селе» — факт общепризнанный. — Б.В.Томашевский считает, что в «Воспоминаниях в Царском Селе» «зависимость Пушкина от Державина вовсе не так уж разительна» и что гораздо более ощутима здесь зависимость от Батюшкова (см.: Томашевский Б.В. Пушкин. М.—Л., 1956. Книга первая: (1813—1824). С. 56—60).

С. 450. *...об ассоциациях, возникавших у Пушкина при слове «Наполеон».* — Ходасевич не учел, что в последней картине державинского «Фонаря» имеется в виду конкретно Наполеон («отважный, дерзкий вождь»), так что это не оригинальная пушкинская ассоциация, подсказанная образом «Фонаря», а прямое заимствование из Державина.

«...И ты, как сон, сокрылось от очей». — Пропущено слово «сладкий»: «И ты, как сладкий сон...»

С. 451. *«Угас в тюрьме Наполеон».* — Из вычеркнутой строфы ст-ния «Чем чаще празднует лицей» (1831).

Вольности (с. 451). — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 176—177; *ПХП.* С. 14—15.

«Евгений Онегин», V, 36 (с. 452). — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 210—213; *ПХП.* С. 45—47.

С. 455. *Этою мыслью весь ход и окончание строфы были подсказаны окончательно.* — Н.О.Лернер писал, что упоминание Гомера как «певца пиров» было Пушкину «подсказано старой поэтической практикой». Гомер появляется в гастрономическом контексте в X песни «Орлеанской девственницы» Вольтера, во 2-й и 15-й песни «Дон Жуана» Байрона, а также в первой книге «Душеньки» И.Ф.Богдановича. «Короче говоря, в эпоху появления "Евгения Онегина" такое обращение к Гомеру было уже давно использованным, неизбежным, обратившимся в трафарет и поэтому особенно комическим приемом» (Лернер Н.О. Пушкинологические этюды // Звенья. М.—Л., 1935. Вып. V. С. 73).

Кощунства (с. 455). — *СЗ.* 1924. Кн. XIX. С. 405—413; под названием «"Кощунства" Пушкина (из книги "Поэтическое хозяйство Пушкина")».

С. 455. *...лишь в 1917 году появилась полностью в легальном издании.* — В 1918 г. Речь идет об издании: Пушкин А.С. Гаврилиада. Полный текст / Вступ. ст. и примеч. Валерия Брюсова. М., 1918. Ходасевич откликнулся на это издание газетной статьей (см. в наст. изд., т. 2, в составе *СРП*).

...в изданиях заграничных... — Из них наиболее известны: Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861; Стихотворения А.С.Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Берлин, 1861. Последнее издание под названием «Собрание запрещенных стихотворений Пушкина» перепечатывалось 17 раз.

С. 456. *Специальная литература не могла ими заняться...* — Поверхностный обзор пушкинских «кощунств» содержится в статье Е.Г.Кислицыной «К вопросу об отношении Пушкина к религии», написанной в 1913 г., но опубликованной значительно позже. См.: Пушкинский сборник памяти проф. С.А.Венгерова: Пушкинист. Вып. IV. М.—Пг., 1922. С. 233—269.

С. 457. *В наброске послания к А.И.Тургеневу...* — Приведенные ниже три стиха — не набросок, а отрывок из не дошедшего до нас послания 1819 г., написанного по поводу получения А.И.Тургеневым придворного звания камергера. Эмблему этого звания — ключ — носили сзади на мундире. Ключи от Рая вручены Христом апостолу Петру как символ власти будущей Церкви (Мф, 16, 19).

В набросках сатиры на кишиневских дам (1821)... — Точнее — в завершенном ст-нии «Раззевавшись от обедни...»

Если верить Моисею,
Скотоложница умрет.

— Через Моисея Господь возвестил на Синае: «Всякий скотоложник да будет предан смерти» (Исх, 22, 19).

Профанационно применены библейские темы... — Конкретно — история Содома, истребленного огнем за тяжкие грехи его жителей (Быт, 13, 13; 18, 20—33; 19, 24—25).

С. 458. *Во имя Аполлона*
Тибуллом окрещен.

— Пародия крещальной формулы: «Крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святаго Духа».

В 1817 году послание к Жуковскому... — Послание «К Жуковскому» датируется 1816 г.

...пародийным возглашением:
Благослови, поэт!

— В варианте 1924 г. фраза имеет продолжение: «...пародирующим возглашение "Благослови, владыко!.."» (*СЗ*. 1924. Кн. XIX. С. 407). Этими словами начинается литургия Иоанна Златоуста, принятая в православном богослужении.

...бог садов... — Приап (*греч.*), бог сладострастия, чувственных наслаждений.

С. 459. *...«Креста, сиречь не Аннинского и не Владимирского...»* — Знаки орденов св. Анны и св. Владимира.

«...честнаго и животворящаго»... — Из молитвенной фор-

мулы: «Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста...»

...«La Pucelle» Вольтера... — Поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1735).

В черновых набросках стихов при посылке «Гавриилиады» (1821)... — «Вот Муза, резвая болтунья...»

...набросок стихов о современных поэтах... — Эти стихи, по-видимому, относятся к черновикам шестой главы «Евгения Онегина» (см.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.—Л., 1941. С. 43—47).

...профанацию догмата... — Католического догмата, согласно которому Папа Римский есть наместник Бога на земле.

...в стихах, предположительно относимых к кн. Хованской (1824)... — Приведенное ниже ст-ние предположительно датируется 1826 г. Впервые опубликованное под произвольным заглавием «К Х...», в дальнейшем необоснованно относилось к княжне Н.В.Хованской, с которой Пушкин был едва знаком. Н.О.Лернер справедливо усомнился в такой адресации, указав, в частности, что во время знакомства с Пушкиным Хованская давно уже была женой А.Я.Булгакова и носила его фамилию (см.: Пушкин А.С. Собр. соч. / Ред. С.А.Венгеров. Т. 4. С. XXXVI—XXXVII). Истинный адресат ст-ния неизвестен.

С. 460. *...распространение профанационного каламбура: мать бога Амура есть Богородица.* — Помимо каламбура, смешение Богородицы и Венеры у зрелого Пушкина имеет серьезную сторону и связано с особым восприятием Мадонны — сквозь призму образов Рафаэля («Кто знает край, где небо блещет...», 1828; «Мадона», 1830). Мадонна олицетворяла для Пушкина идеал обожествляемой женской красоты — отсюда появление этого образа в любовной лирике («Жил на свете рыцарь бедный...» 1829, 1835; «Мадона»).

...в лицейской пьесе, по памяти воспроизведенной Пущиным... — «От всенощной вечор идя домой...» (1814—1817). Ст-ние сохранилось не только в записи И.И.Пущина, но и еще в нескольких копиях.

...непристойную переделку евангельского текста... — Слов Христа из Нагорной проповеди: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Мф, 7, 3; то же: Лк, 6, 41).

И с Соломоном восклицаю:
«Мундир и сабля — суеты!»

— Пародия основного мотива библейской книги Екклезиаста, приписываемой царю Соломону.

С. 461. *За пределами намеченных групп...* — В классификации Ходасевича учтены не все случаи профанации сакральных тем у Пушкина. Когда писалась эта статья, еще неизвестна была неоконченная поэма «Монах» (1813), пародирующая житие св. Иоанна Новгородского из Четьих-Миней Димитрия Ростовского (7 сентября). Не упомянуто здесь и ст-ние 1821 г. «Десятая заповедь», построенное на профанации десятой заповеди из Декалога Моисея (Исх, 20,17). Ходасевич — видимо, сознательно — оставил в сто-

роне пушкинские письма, меж тем именно в них содержится наибольшее число пародийных парафраз Священного Писания, часто обыгрываются в снижающем контексте христианские обряды и молитвы.

С. 462. *Он сам признавался...* — В «Заметке о “Графе Нулине”» (1830).

«Домик в Коломне» есть пародия «Уединенного домика на Васильевском». — Эту мысль Ходасевич развивает в статье «Петербургские повести Пушкина» (1914) — см. т. 2 наст. изд.

Пародийная природа «Истории села Горюхина» несомненна. — «История села Горюхина» (1830) пародирует исторические сочинения пушкинского времени и главным образом — «Историю русского народа» (1829—1833) Н.А.Полевого.

Пушкин пародировал других авторов (Карамзина, Жуковского, Языкова, В.Л.Пушкина, Хвостова, Дмитриева)... — В строгом смысле слова Пушкин не пародировал ни Карамзина, ни Языкова. Но Ходасевич говорит здесь о пародиях в расширительном значении, имея в виду и собственно пародию как направленное высмеивание образца и — шутливый отклик на то или иное литературное явление. Под пародией на Карамзина, скорее всего, имеется в виду «История села Горюхина», что неверно. В некотором смысле можно считать пародией на Карамзина пушкинского «Станционного смотрителя», в котором переосмыслены сюжет «Бедной Лизы» и вся традиция сентиментальной повести. Под пародией на Языкова имеет в виду Ходасевич пушкинское послание «К Языкову» («Языков, кто тебе внушил...», 1826), написанное в ответ на языковское послание «А.С.Пушкину» («О ты, чья дружба мне дороже...», 1826), — см. об этом в *ПХП* (*Б.* 1923. Кн. 2. С. 202—205). Собственно пародии здесь нет, а есть лишь обычная для пушкинских посланий стилизация под адресата. Пародия на Жуковского содержится в четвертой песни «Руслана и Людмилы», где перелицован сюжет баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев» (1810—1817). Стихи В.Л.Пушкина пародированы у Пушкина дважды: в написанной совместно с Дельвигом «Элегии на смерть Анны Львовны» (1825), в которой осмеяны форма и тон ст-ния В.Л.Пушкина «К ней» (1824), и в послании к Вяземскому «Любезный Вяземский, поэт и камергер...» (1831) — ср. послание В.Л.Пушкина «К П.Н.Приклонскому» («Любезный родственник, поэт и камергер...», 1812). Пародия на стихи Д.И.Хвостова — «Ода его сият. гр. Дм.Ив.Хвостову» (1825), пародийные упоминания Хвостова есть и в других пушкинских произведениях. Пародия на И.И.Дмитриева — написанные совместно с Языковым «Нравоучительные четверостишия» (1826), в которых осмеяны переводные апологи Дмитриева, а вместе с ними — и вся традиция «поучительной» поэзии.

Мысли о пародийной природе многих пушкинских произведений почти дословно повторены Ходасевичем в статье «Нечаянная пародия» (*В.* 1928. 26 апреля. № 1059).

Говоря его собственными словами, пародия состоит из сочетания смешного с важным. — Из черновика 1821 г., связанного с «Гавриилиадой»:

Картины, думы и рассказы
Для вас я вновь перемешал,
Смешное с важным сочетал
И бешеной любви проказы
В архивах ада отыскал...

С. 463. *Что касается «Гавриилиады»... благоволение и умиление.* — Подробнее Ходасевич развернул эти мысли в статье «О “Гаврилиаде”» (т. 2 наст. изд.).

В рец. на кн. «О Пушкине» Г.В.Адамович возражал против выводов Ходасевича о пушкинских кощунствах. «Ссылка на влечение к пародии и на раздражительность “пародической жилки” — убедительна. Едва ли, однако, вопрос полностью разрешается так, и осторожному автору легче было бы вовсе не упоминать о “побуждениях атеистических”. Пушкин унаследовал эти побуждения от представителей французского XVIII века, но воспринял их как нечто родственное. Настоящее углубление в эту интересную тему потребовало бы сопоставления пушкинских “кощунств” с теми его строками, где он касается религиозных понятий, нисколько не кощунствуя, но и не выражая восторга... Едва ли иначе можно понять, почему он отважился быть “пародистом” — без всяких, кажется, колебаний или сомнений. Пушкин действительно не “боролся с религией”. Но был к ней холоден» (*ПН.* 1937. 1 июля. № 5941).

К мыслям Ходасевича о кощунственной поэзии Пушкина близки высказывания на эту тему А.А.Ахматовой (Огонек. 1987. № 6. С. 11) и С.Л.Франка (Религиозность Пушкина // Путь (Париж). 1933. № 40. С. 21). Мнение Ходасевича о литературной природе пушкинских кощунств поддержано и новейшим исследованием этой темы на более широком материале русской поэзии (см.: Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII — начала XIX века // Труды по знаковым системам. Т. 13 (Уч. зап. ТГУ. Вып. 546). Тарту, 1981. С. 88).

Ссора с отцом (с. 463). — *СЗ.* 1924. Кн. XX. С. 302—308; *ПХП.* С. 106—113.

Впервые Ходасевич обнародовал идеи этой статьи в 1915 г. в примеч. к подготовленному им изданию «маленьких трагедий» (Пушкин А.С. Драматические сцены: Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы / Ред. и примеч. Вл.Ходасевича. М., 1915. Универсальная Библиотека. № 1015).

С. 464. *«...Пещуров, назначенный за мною смотреть...»* — А.Н.Пещуров был в это время опочецким уездным предводителем дворянства и по долгу службы взял на себя надзор над ссыльным поэтом. Пещуров, по-видимому, неплохо относился к Пушкину и, по некоторым свидетельствам, даже ходатайствовал об облегчении его участи.

Дальнейшие подробности этой истории не выяснены. — Тогда же, в конце октября, Пушкин «в состоянии аффекта» написал письмо псковскому губернатору Б.А.Адеркасу, содержавшее язвительные выпады против отца и просьбу ходатайствовать перед императором

о переводе самого Пушкина «в одну из <...> крепостей». По счастью, письмо до губернатора не дошло (видимо, благодаря вмешательству П.А.Осиповой, друга Пушкина, владелицы соседнего Тригорского), и дело, которое могло кончиться большим скандалом, уладилось само собой. Пушкин на время переселился в Тригорское, а Сергей Львович отказался от надзора за сыном и уехал в Петербург (подробнее см.: Пушкин. Письма / Под ред. и с примеч. Б.Л.Модзалевского. М.—Л., 1926. Т. 1. С. 355—359).

Отношения Пушкина с отцом всегда были напряженные, а после этой ссоры они в течение четырех лет практически не общались. В 1826 г. Сергей Львович писал брату о сыне: «Как повелевает теперешнее Евангелие, я люблю в нем моего врага» (Модзалевский Б.Л. Пушкин под тайным надзором. Пг., 1922. С. 31; ориг. по-фр.). Только в последние годы пушкинской жизни отношения его с отцом несколько улучшились, однако и в это время бывали столкновения в денежных делах (см., например: *ЛН*. М., 1934. Т. 16/18. С. 796).

С. 465. *«...Я сослан за строчку глупова письма...»* — Поводом к высылке Пушкина из Одессы в Михайловское было письмо его, написанное в апреле-мае 1824 г. и адресованное, скорее всего, Вяземскому. Письмо содержало вольные суждения о религии и дошло до властей.

Он был начат еще в Михайловском. — К началу января 1826 г. относится лишь первая подготовительная запись к «Скупому рыцарю»: «Жид и сын. Граф».

Основной конфликт между Альбером и старым бароном... воспроизводит очень давние столкновения между Пушкиным и его отцом... Досада на скупость отца не проходила и позже, когда Пушкин жил на юге. — Сергей Львович не имел достаточного дохода: он нигде не служил с 1817 г., а хозяйственные дела в своих имениях запустил до предела. Сыну он материально совсем не помогал, и не столько по бедности, сколько по скупости. 25 августа 1823 г. Пушкин писал брату из Одессы: «Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. <...> На хлебах у Воронцова я не стану жить — не хочу и полно — крайность может довести до крайности — мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию — хоть письма его очень любезны. Это напоминает мне Петербург — когда, больной, в осеннюю грязь или в трескучие морозы я брал извощика от Аничкова моста, он вечно бранился за 80 коп. (которых верно б ни ты, ни я не пожалели для слуги)». Скупость Сергея Львовича была известна в пушкинском кругу. П.А.Вяземский писал: «Сергей Львович был в своем роде нежный отец, но нежность его черствела в виду выдачи денег. Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его Лев, за обедом у него, разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. “Можно ли, — сказал Лев, — так долго сетовать о рюмке, которая стоит 20 копеек?” — “Извините, сударь, — с чувством возразил отец, — не двадцать, а тридцать пять копеек”» (Русский архив. 1873. С. 1795). Н.И.Павлищев, муж пушкинской сестры Ольги, жаловался

своей матери: «...тесть мой скуп до крайности» (*ЛН*. Т. 16/18. С. 773). Свидетельства о скупости Сергея Львовича сохранились также в воспоминаниях А.П.Керн и ее мужа А.В.Маркова-Виноградского (Керн А.П. Воспоминания. М., 1989. С. 49, 88, 454).

С. 466. *...использовал михайловскую историю.* — Здесь по сравнению с вариантом 1924 г. выпущено интересное наблюдение: «Пушкин не хотел, чтобы эта история была известна соседям, знакомым и т.д. Он не хотел "выносить сор из Михайловской избы" — напоказ этим людям. Однако он думал, что правительство может помочь беде, расселив его с отцом. Его бумага к губернатору Адеркасу с просьбой к государю, "да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей", — является, как бы то ни было, апелляцией к царю. Правда, Пушкин поспешил ее взять обратно (ср. выше коммент. к с. 464. — *Коммент.*), — но это был жест благоразумия, которым обладал автор трагедии и которого лишен ее герой. Тяжба Пушкина с отцом до царя не дошла. Но психологически и сюжетно бумага, посланная Адеркасу, соответствует тому месту в "Скупом Рыцаре", когда Альбер является к герцогу с жалобой на отца» (*СЗ*. 1924. Кн. XX. С. 305).

С. 468. *«Это дело десятое»... «да он убил отца словами».* — Ср. возражение Ст.Рассадина, который полемизирует с Ходасевичем, не называя его (по условиям времени): «Неверно, будто Барон смягчил — подобно Сергею Львовичу — обвинение, брошенное Альберу. Не мог Альбер сказать "это дело десятое", услышав, что его обвиняют в воровских намерениях, еще более позорных, низких, презренных, чем даже убийство из-за угла. Да и не сказал: не зря он, слушая из соседней комнаты наветы отца, все стерпел, в том числе и клевету относительно отцеубийства, и не выдержал, взорвался, лишь услышав слово "обокрасть"» (Рассадин Ст. Драматург Пушкин. М., 1977. С. 81).

Автобиографический элемент в «Скупом Рыцаре» замечен давно. Я лишь хотел на конкретном примере показать, под каким углом порой отражал Пушкин действительные события своей жизни в своих творениях. — В варианте *СЗ* статья заканчивается фразой: «Если при этом напомню, что, отдавая в печать "Скупого Рыцаря", он сделал подзаголовок: "Сцены из Ченстоновой трагикомедии: The covetous knight", и что в действительности ни такой трагикомедии, ни даже самого Ченстона никогда не существовало, — то мы будем иметь перед глазами также и характерный прием маскировки, каким Пушкин любил прикрывать воспоминания, чувства и мысли, живущие в его творчестве» (*СЗ*. 1924. Кн. XX. С. 308).

Ченстоном в России называли английского поэта Вильяма Шенстона (1714—1763), однако и среди его произведений нет ни одного, хотя бы отдаленно напоминающего пушкинскую трагедию. Эту мистификацию разоблачил еще П.В.Анненков, показавший, что поиск какого бы то ни было источника здесь вообще не оправдан, поскольку пушкинский автограф зафиксировал сам процесс выдумывания ложного подзаголовка. Добавим к этому, что Пушкин долго не печатал «Скупого рыцаря», а при публикации трагедии в «Со-

временнике» в 1836 г. подписал ее латинским инициалом «Р». Анненков первый предположил, что отсылка к Ченстону имеет целью отвести биографические ассоциации: «Причину, понудившую Пушкина отстранить от себя честь первой идеи, должно искать, как мы слышали, в боязни применений и неосновательных толков...» (Анненков П.В. Материалы для биографии А.С.Пушкина. СПб., 1855. С. 286—287). Ссылка на устную традицию («как мы слышали») означает, что возможность биографического толкования ощущалась современниками Пушкина, с которыми общался Анненков. Указание на Ченстона — характерная для Пушкина уловка в таких случаях; впрочем, оно имеет и другие функции (см.: Аринштейн Л.М. Пушкин и Шенстон: (К интерпретации подзаголовка «Скупого рыцаря») // Болдинские чтения. Горький, 1980. С. 81—95).

После глухого намека Анненкова более отчетливо об автобиографизме «Скупого рыцаря» высказался А.И.Кирпичников: он сопоставил текст трагедии с двумя письмами Пушкина к Жуковскому, приведенными в статье Ходасевича, а также с указаниями на скупость Сергея Львовича (Русская Старина. 1899. № 2. С. 441). Кирпичникову возражали Н.Ф.Сумцов (Русская Старина. 1899. № 5. С. 334—335) и А.А.Чебышев (Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб., 1902. С. 489—490). Таким образом, вопрос об автобиографическом импульсе «Скупого рыцаря» имеет давнюю историю.

Текст трагедии хранит еще целый ряд не отмеченных Ходасевичем личных аллюзий. Укажем на некоторые. В начале первой сцены Альбер отчаянно сетует на скупость отца и на свою бедность, не позволяющую ему купить новый шлем взамен пробитого старого, платье для званых обедов и нового коня. Эта сцена перекликается с воспоминаниями приятеля Пушкина С.А.Соболевского в записи П.И.Бартенева: «Один современник, добрый приятель Пушкина, рассказывал, как Александру Сергеевичу приходилось упрашивать, чтобы ему купили бывшие в моде бальные башмаки с пряжками, и как Сергей Львович предлагал ему свои старые, времен Павловских» (Русский архив. 1866. С. 1094). Тут важны не столько факты и детали, сколько унижение, не раз испытанное Пушкиным в подобных ситуациях и переданное им герою («О, бедность, бедность! // Как унижает сердце нам она!»; ср. с наброском лирического перевода из Барри Корнуола: «О бедность! затвердил я наконец // Урок твой горький!», 1835 г.). Болдинской осенью 1830 г., когда писался «Скупой рыцарь», мысли о собственной бедности мучили Пушкина с особой силой, поскольку именно денежные проблемы оказались главным препятствием для свадьбы, которую приходилось все время откладывать, — из-за этих самых проблем он вынужден был поехать в Болдино, где и оказался заточенным на три месяца в холерных карантинах.

В уже цитированном монологе Альбер признается в своей скупости: «Да! заразиться здесь не трудно ею // Под кровлею одной с моим отцом». В параллель к этому вспоминается фраза из пушкинского письма П.В.Нащокину около 20 июня 1831 г., т.е. через год после завершения «Скупого рыцаря»: «Жду дороговизны, и скупость

наследственная и благоприобретенная во мне тревожится». О своей скупости Пушкин говорил и в других письмах (19 апреля и 8 июня 1834 г. к жене), но в приведенной фразе характерно слово «наследственная», сближающее ее с признанием Альбера.

Еще одна параллель отмечена Д.П.Якубовичем (Пушкин А.С. Собр. соч. М.—Л., 1935. Т. 7. С. 519): характеристика образа жизни Альбера словесно совпадает с рассказом Пушкина о его жизни в Михайловском в письме Д.М.Шварцу около 9 декабря 1924 г.: «Уединение мое совершенно — праздность торжественна». Ср. со словами Герцога об Альбере: «Это потому, // Барон, что он один. Уединенье // И праздность губят молодых людей». Письмо Шварцу написано вскоре после ссоры с отцом, и этим обстоятельством закрепляется связь «Скупого рыцаря» с михайловскими впечатлениями.

Ходасевич не претендовал на целостную интерпретацию «Скупого рыцаря», он лишь избирательно сосредоточился на «автобиографическом элементе» и наверняка согласился бы с утверждением современного исследователя, что в этой трагедии «первоначальный замысел <...> далеко вышел за узкобиографические пределы, приобрел характер громадного философско-исторического обобщения...» (Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина: (1826—1830). М., 1967. С. 580). Тем не менее, когда работа о «Скупом рыцаре» вышла в свет в составе *ПХП*, ее автор навлек на себя обвинения в ненаучном подходе, в подмене филологии психологией творчества (Винокур Г.О. Владислав Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина // Печать и революция. 1924. Кн. 6. С. 222—224; Вересаев В.В. Об автобиографичности Пушкина // Там же. 1925. Кн. 5/6. С. 29—57).

Двор — снег — колокольчик (с. 468). — *Д.* 1924. 8 июня. № 481; под названием «Приезд Пущина в поэзии Пушкина (глава из книги “Поэтическое хозяйство Пушкина”)»; *В.* 1930. 27 февраля. № 1731.

С. 469. *Вот что впоследствии рассказывал Пущин...* — В «Записках о Пушкине», впервые опубликованных в 1859 г.

...в том же 1825 году. — Эта ошибочная датировка почерпнута Ходасевичем из старых изданий Пушкина. На самом деле два черновых наброска ст-ния были сделаны Пушкиным во время поездки в Тверскую губернию 14 октября — 8 ноября 1829 г.

С. 470. *...«луч луны», а не «луч зари».* — И «луч луны», и «луч зари» в обоих автографах ст-ния отсутствуют. В первом картина, скорее, отнесена к вечеру: дважды повторяется стих «Ночка, ночка, стань темнее». Во втором автографе седьмой стих имеет два недоработанных варианта: «На заре... алой» и «<нрзб> луч сияет алый» (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.III. С. 180, 759—760).

Пушкин о нем сказал бы: «изысканно, а потому плохо». — Пушкин почти всегда употреблял слово «изысканный» в отрицательном смысле (Словарь языка Пушкина. М., 1957. Т. 2. С. 215).

Этот набросок иногда относят к 1826 году, что, конеч-

но, неверно. — Черновик, одну из реконструкций которого привел Ходасевич, датируется между 11 января и августом 1825 г. Возражения Ходасевича адресованы прежде всего В.Я.Брюсову: в первом варианте статьи дана отсылка к подготовленному им собранию стихотворений Пушкина, которое Ходасевич рецензировал в 1920 г. (Творчество. 1920. № 2/4. С. 36—37).

...о его судейской деятельности... — В 1823 г. Пущин неожиданно для всех оставил военную карьеру и пошел служить в Уголовную палату в непрестижной должности надворного судьи. О сложных мотивах этого поступка см.: Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979. С. 264—270.

С. 472. *...12—13 декабря...* — Точнее, 13—14 декабря.

...и о несостоявшемся приезде Кюхельбекера. — Догадка Ходасевича о том, что стих «Не друг ли едет запоздалый» содержит в себе намек на В.К.Кюхельбекера, подтверждается тем фактом, что за несколько дней до создания «Графа Нулина» Пушкин читал присланную ему комедию Кюхельбекера «Шекспировы духи» и писал о ней автору в письме от 1—6 декабря. О связи этих размышлений с замыслом «Графа Нулина» см.: Эйхенбаум Б.М. О замысле «Графа Нулина» // Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969. С. 169—180.

Если мы перечтем «Деревню», «Домовому», «Вновь я посетил...», то заметим, что Наталья Павловна со своего балкона видит михайловский пейзаж, открывающийся с того балкона, на который Пушкин выбежал встречать Пущина. — В названных ст-ниях, написанных в Михайловском, преломились черты реального михайловского пейзажа. В приведенном отрывке из «Графа Нулина» тоже присутствуют михайловские реалии — река, мельница и дорога, — однако расположение их отнюдь не скопировано с натуры: дорога не проходила за мельницей, и ее не было видно с балкона, обращенного к реке, и Пушкин выбежал встречать Пущина на крыльцо, а не на балкон (см.: Здесь жил Пушкин: Пушкинские места Советского Союза: Очерки. Л., 1963. С. 282—287).

С. 472—473. *Я отнюдь не хочу сказать, будто замысел «Графа Нулина» имеет хоть какое-нибудь отношение к пущинскому приезду...* — Имеет, и самое непосредственное: «Граф Нулин» рожден раздумьями о роли случая в истории и частной жизни человека. Поэма написана накануне и в самый день декабрьского восстания, которое Пушкин мог предвидеть, зная о междуцарствии и основываясь на разговорах с Пущиным 11 января 1825 г.

С. 473. *...в виде упоминания о сороках, взятых из первого наброска...* — Этого наброска еще не было. См. выше коммент. к с. 469 о датировке «Стрекотуньи-белобоки».

Стихи и письма (с. 474). — *Б.* 1923. Кн. 2. С. 178; Кн. 3. С. 215—228; *ПХП.* С. 16, 79—91.

С. 474. *...середина апреля 1825 года...* — Письмо датируется концом марта — началом апреля 1825 г.

...«так пел в Суворова влюблен Державин»... — У Кюхель-

бекера: «Так пел, в Суворова влюблен, // Бард дивный, исполин Державин...» («Ермолову», 1821).

С. 475. «*...даже для Голицыной...*» — С княгиней Евдокией Ивановной Голицыной, урожд. Измайловой (1780—1850), Пушкин общался в 1817—1820 гг. в Петербурге и, по свидетельствам Вяземского и Карамзина, был в нее влюблен. После ссылки, с 1827 г., их встречи возобновились.

В начале января 1824 года, в письме к брату... — Письмо датируется январем (после 12) — началом февраля 1824 г.

...о смерти секретаря Академии, «умершего на щите, то есть на последнем корректурном листе своего Словаря». — Имеется в виду П.И.Соколов (1764—1835), секретарь Российской Академии, умерший через три месяца после выхода в свет составленного им двухтомного «Общего церковно-славяно-российского словаря».

...из элегии 1820 года. — «Погасло дневное светило...»

С. 476. *...написанная еще в 1818 году...* — Эпиграмма «За ужином объелся я...» датируется 1819 г., но принадлежность ее Пушкину не доказана.

...«Кюхельбекерно мне на чужой стороне». — В этих словах, по наблюдению В.П.Гаевского (см.: Современник. 1863. Т. 97. С. 149), слышен еще отзвук лицейской песни:

Ах! тошно мне
На чужой скамье!
Все не мило,
Все постыло,
Кюхельбекера там нет! — и т. д.

...стих повторен в точности. — Еще пример — в письме В.А.Жуковскому от 17 августа 1825 г.: «Здесь мне Кюхельбекерно...»

В конце 1824 года, в стихотворении «Сказали раз царю...» — Набросок начальных стихов эпиграммы предположительно датируется концом мая 1824 г., основной текст, в том числе и цитируемые стихи, — январем 1825 г.

С. 477. *...25 января 1825 года...* — В письме к П.А.Вяземскому.

«Явись, возлюбленная тень!» — В раннем варианте статьи высказано предположение: «Возможно, что само выражение “возлюбленная тень” подсказано Пушкину тем же Дельвигом, который писал ему еще в июне 1826 г.: “Гнедичу лучше, он тоже живет на даче и тебе кланяется. В комнатах, в которых он живет, жил в последнее время Батюшков: до сих пор видна его рука на окошках. Между прочим на одном им написано: Есть жизнь и за могилой! а на другом: Ombra adorata! Гнедич в восторге меланхолическом по целым часам смотрит на эти строки”. Мне думается, что связь этих строк Дельвига с “Заклинанием” — несомненна» (*Б.* 1923. Кн. 3. С. 219).

...Буянова, героя дядиной поэмы... — Поэмы В.Л.Пушкина «Опасный сосед» (1811).

С. 478. *Пред ним Валдай, Торжок и Тверь.*
Тут у привязчивых крестьянок
Берет три связки он баранок...

— Из черновых строф, не предназначенных для публикации.

Через два месяца эти слова переложены в стихи... — «Клеветникам России» (2 августа 1831).

«...Эду Баратынскую.» — Поэму Е.А.Баратынского «Эда» (1824—1825).

«...милее моей Черкешенки...» — Поэмы «Кавказский пленник» и ее героини.

...неблагоприятный отзыв критика об «Эде»... — Рецензию Ф.В.Булгарина в «Северной пчеле» (1826. 16 февраля. № 20).

С. 479. *...в 37 строфе V главы «Евгения Онегина»...* — Этой строфы нет в окончательном тексте романа.

Варюшка — героиня поэмы В.Л.Пушкина «Опасный сосед».

В так называемых «Отрывках из разговоров» (1830)... — В современные собрания сочинений Пушкина входит под условным названием «Разговор о критике».

Отсюда — в «Египетские ночи» (1835)... — Приведенные ниже слова взяты из отрывка «Несмотря на великие преимущества...», который был использован в 1835 г. в работе над «Египетскими ночами», но написан значительно раньше — 26 сентября 1830 г.

Вдохновение и рукопись (с. 479). — *Б.* 1923. Кн. 3. С. 229—237; *ПХП.* С. 91—98; *В.* 1932. 3 ноября. № 2711.

Для публикации 1932 г. статья была несколько переработана. Расхождения между вариантами 1932 и 1937 гг. незначительны.

С. 479. *Года за полтора до смерти, в письме к В.Ф.Одоевскому...* — Письмо написано в декабре 1836 г., т.е. примерно за месяц до смерти.

С. 480. *«Деньгами нечего шутить; деньги вещь важная»...* — В этой фразе из письма от 9 сентября 1830 г. следует учитывать иронию контекста: «...деньги вещь важная — спроси у Канкрина и у Булгарина» (Канкрин — министр финансов, Булгарин здесь упомянут как делец от литературы).

...даром работать в журнале... — В журнале М.П.Погодина «Московский Вестник».

...в стихотворных набросках 1833 года... — Приводимые Ходасевичем наброски датируются сентябрем 1835 г.

С. 481. *...печатая «Историю Пугачевского бунта»...* — Название «История Пугачевского бунта» принадлежит Николаю I, пушкинское название — «История Пугачева».

...пишет Мордвинову... — А.Н.Мордвинов — в это время управляющий III отделением собственной Его Императорского Величества Канцелярии, ближайший сотрудник Бенкендорфа.

С. 482. *...писал Казначееву...* — А.И.Казначеев — правитель Канцелярии Новороссийского генерал-губернатора графа М.С.Воронцова, под началом которого Пушкин находился в Одессе в 1823—1824 гг.

«...ради Мамона». — Мамон, мамона (*арам.*) — богатство, деньги как идол.

...какому-нибудь В. Козлову... — Бесталанный сочинитель Василий Иванович Козлов смешил Пушкина своим тяготением к высшему обществу.

...на сей вопрос Ламартина отвечаю... — Пушкин вначале цитирует, а потом перефразирует строфу из ст-ния французского поэта Альфонса Ламартина «Умирающий поэт».

С. 483. *Эта формула и остается его заповедью на всю жизнь.* — В заметке «То, чего не читают» (1913) Ходасевич прокомментировал другую сторону этой формулы: «...Пушкин сказал: "Я пишу для себя, а печатаю для денег". Но в действительности и у него дело обстояло иначе. Неустанной литературной борьбой и всей своей поэтической деятельностью он показал вполне ясно, что никогда не примирился бы с ролью пророка, проповедующего в пустыне» (*СС*. Т. 2. С. 132).

В 1833 году он начал набрасывать стихотворение... — Предположительно в 1835 г.

...в «Египетских ночах»... — Точнее — в отрывке «Несмотря на великие преимущества...», использованном в работе над «Египетскими ночами».

С. 484. *«Я все беспокоюсь и ничего не пишу... видит Бог, не могу»*. — В публикациях 1923 и 1932 гг. этот пример разъяснен подробнее: «Итак, он остался при том же, с чего начинал: при невозможности писать для денег. А писать для себя уже не мог. Есть горькая ирония в его рассказе о том, как в лесу или в четырех стенах "живо работает воображение", о том, как "никто не мешает думать до того, что голова закружится". — Уже читатель ожидает "высоких дум", — а Пушкин тут-то и разбивает его надежды: "А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет?"» (*Б*. 1923. Кн. 3. С. 233).

В довершение темы приводим воспоминание С.Е.Раича — поэта, переводчика, издателя: «Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести, — сказал мне однажды Пушкин в откровенном со мною разговоре, — когда вспоминаю, что я, может быть, первый из русских начал торговать поэзией. Я, конечно, выгодно продал свой "Бахчисарайский Фонтан" и "Евгения Онегина", но к чему это поведет нашу поэзию, а может быть, и всю нашу литературу? Уж конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину: они бескорыстно и безукоризненно для совести подвизались на благородном своем поприще, на поприще словесности, а я? — Тут он тяжело вздохнул и замолчал» (цит. по: Вересаев В.В. Пушкин в жизни. М., 1984. С. 131—132). Правда, следует учесть, что Раич мог исказить позицию Пушкина и вложить в его уста собственные мысли (сам он отказывался от гонораров за стихи).

Проблема «Вдохновение и рукопись» была лично важной и для самого Ходасевича: всю жизнь он прожил в бедности и занимался литературной поденщиной. В этом отношении, как и во многом другом, он моделировал свою жизнь по Пушкину. В его тетради 1919—1921 гг. сохранился черновой набросок, в котором

варьируются мотивы пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824) и наброска «На это скажут мне с улыбкою неверной...» (1835):

— Послушай, сотвори нам чудо
Нет
Почему? Вот денег груда.
Мы щедро платим.

(*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 19 об.).

(Первую публикацию и интерпретацию этого фрагмента см. в статье: Ратгауз М.Г. 1921 год в творческой биографии Вл.Ходасевича // Блоковский сборник. X. Тарту, 1990 (Уч. зап. ТГУ. Вып. 881). С. 117—129.)

В условиях эмиграции, постоянно печатаясь в газете, Ходасевич вынужден был, как и герой его статьи, «искусственно возбуждать самое вдохновение», что сказывалось на характере и качестве его литературной работы.

Бури (с. 484). — *Б.* 1923. Кн. 3. С. 183—193; *ПХП*. С. 51—59; *В.* 1930. 25 сентября. № 1941; под названием «Дурная погода».

С. 484. «*На крыльях вымысла носимый...*» — Из эпилога «Руслана и Людмилы».

С. 485. *Одним из первых стихотворений, там написанных, был «Аквилон»...* — Дата написания «Аквилона» неизвестна. Окончательная редакция ст-ния помечена 7 сентября 1830 г., а напечатал его Пушкин с датой «1824». Аллегорическая образность «Аквилона» порождала различные догадки. Возобладало в пушкинистике малообоснованное мнение, что «Аквилон» — это аллегория декабристского восстания, а значит, пушкинская датировка его 1824 г. призвана замаскировать смысл. Проблема истолкования этого ст-ния изложена в кн.: Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина: (1826—1830). С. 481—482, 694—695.

С. 486. *В «Арионе» гроза и вихрь знаменуют катастрофический конец декабристского движения.* — По правдоподобной догадке А.Чернова, в «Арионе» рассказано не только о символической, но и о вполне реальной грозе. 15 июля 1827 г., когда в Петербурге была гроза, Пушкин, по-видимому, посетил предполагаемое место могилы декабристов, что отразилось и в «Арионе», написанном 16 июля, и в пушкинских рисунках острова Гоноропуло (см.: Чернов А.Ю. Скорбный остров Гоноропуло. М., 1990. С. 21—24, 28—30).

В 1828 году, когда неприятности по делу об «Андрее Шенье» сменились опасениями пострадать за «Гавриилиаду», Пушкин пишет «Предчувствие»... — Дело об отрывке из элегии «Андрей Шенье» тянулось с октября 1826 г. по 25 июля 1828 г., и буквально в этот же день началось дело о «Гавриилиаде»; в начале августа и 19 августа Пушкину пришлось уже давать письменные показания по поводу «Гавриилиады» петербургскому генерал-губернатору. Ст-ние «Предчувствие» принято связывать с этими августовскими событиями и, соответственно, датировать его августом 1828 г. Существует, одна-

ко, свидетельство, идущее от А.А.Олениной, адресата ст-ния, что оно написано 19 мая 1828 г., а значит, с делом о «Гавриилиаде» никак не связано. Т.Г.Цявловская считала, что «Предчувствие» следует относить к июню 1828 г. (см.: Цявловская Т.Г. Дневник А.А.Олениной // Пушкин: Исследования и материалы. М.—Л., 1958. Т. 2. С. 259).

С. 487. *...о неприятности, происшедшей между Пушкиным и Николаем I в июле 1834 года.* — «Неприятность» июля 1834 г. — это первая неудавшаяся попытка Пушкина выйти в отставку, которая вызвала такое недовольство Николая I, что Пушкин принужден был забрать свою просьбу обратно. Но вряд ли «Тучу» можно считать реакцией на эту историю, ведь между ними лежит целый период, характерный новым обострением конфликта с властью в лице С.С.Уварова, министра просвещения и председателя главного управления цензуры. С апреля 1834 г. Пушкин оказался во власти уваровского произвола и вынужден был, кроме личной цензуры императора, проходить еще и общую цензуру. В январе-феврале 1835 г. это отразилось на подготовке тома «Стихотворений», позже — тома «Поэм и повестей». Но наиболее опасное для Пушкина столкновение с Уваровым было вызвано выходом в свет «Истории Пугачева». В феврале 1835 г. Пушкин записывает в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров — большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении». Такое уваровское поведение могло обернуться для Пушкина большими неприятностями. О связи «Тучи» с уваровской историей говорит тот факт, что на обороте автографа «Тучи» Пушкиным была записана острая эпиграмма «В Академии наук...», намекающая на интимные отношения Уварова с князем А.А.Дондуковым-Корсаковым, который помогал Уварову в цензурной травле Пушкина. Не все звенья отношений Пушкина с Уваровым восстановлены, и не вполне ясно, почему 13 апреля 1835 г., когда была написана «Туча», Пушкину казалось, что уже «буря промчалась», — дальнейшие события этого не подтверждают, под знаком рискованной борьбы с Уваровым прошел весь 1835 год (подробнее см.: Гордин Я. Право на поединок: Роман в документах и рассуждениях. Л., 1989. С. 212—254).

«Певец, издревле меж собою...» — Из ст-ния «Графу Олизару» (1824).

...устами Андрея Шенье... — В ст-нии «Андрей Шенье» (1825).

В «19 октября 1836 г.»... — «Была пора: наш праздник молодой...»; у Пушкина эти стихи не имеют названия.

С. 488. *...выражали некое реально переживаемое соответствие.* — В первом варианте статьи эта мысль имеет другой поворот: «Какова природа этих иносказаний? Не являются ли они у Пушкина способом более “красиво”, более “поэтически” (в обывательском смысле этого слова) рассказать о событиях и обстоятельствах, называть которые настоящими именами поэт не решался по соображениям эстетическим?

На этот вопрос надо ответить отрицательно. Эти иносказа-

ния, то есть политические невзгоды, прикрытые именами бурь, гроз, туч и т. п., не являются специально *стихотворческим* приемом Пушкина. Он прибегает к ним не только в стихах, но и в письмах, то есть как бы в дружеском разговоре. Следовательно, психологическая природа этих иносказаний лежит глубже, нежели в плоскости поэтических условностей. Отношение Пушкина к политическим бедам как к стихийным явлениям органично и философично, а не метафорично» (*Б.* 1923. Кн. 3. С. 188).

Следует учитывать, что «буря», «гроза», «гром» входили в число устойчивых метафорических образов русской поэзии, так что пушкинская глубоко личная тайнопись опирается на поэтическую традицию. Наиболее устойчивое значение «бури» и «грозы» связано в русской поэзии с темой войны, битвы — к этой теме примыкает ряд приведенных Ходасевичем примеров (см.: Поэтическая фразеология Пушкина. М., 1969. С. 79—83 и др. по указателю).

...«О други, Августу мольбы мои несите!» — Из элегии «К Овидию» (1821). Римский поэт Овидий был сослан императором Августом в те места, недалеко от которых почти через два тысячелетия проходила и пушкинская ссылка. Овидий в «Скорбных элегиях» молил Августа об облегчении своей участи.

...письмо к одному из тамошних знакомых... — Д.М.Шварцу.

С. 490. *«Зависеть от царей, зависеть от народа...»* — «Из Пиндемонти» (1836). Автограф дает два варианта этого стиха: «Зависеть от властей» и «зависеть от царя», но не от «царей», как цитирует Ходасевич.

...«в обитель дальную трудов и чистых нег»; «труды поэтические, семья, любовь»... — Цитируется ст-ние «Пора, мой друг, пора!..» и прозаический план его продолжения (1835?).

О двух отрывках (с. 490). — Звено (Париж). 1926. 7 ноября. № 197. С. 2—3; под названием «О двух отрывках Пушкина».

С. 490. *В первом издании «Поэтического хозяйства Пушкина» была помещена заметка о стихотворении «Куда же ты? — В Москву...»* — *Б.* 1923. Кн. 3. С. 241—248; *ПХП.* С. 101—106.

С. 492. *Из данного противопоставления должен быть сделан вывод...* — Противопоставление городского и сельского кладбищ имело для Пушкина самостоятельное значение; ср. в письме жене около 28 июня 1834 г.: «Умри я сегодня, что с вами будет? мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и еще на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку».

...таких дат, отмечающих не окончание, а лишь пройденный этап работы, у Пушкина сколько угодно... — Промежуточные даты Пушкин ставил лишь в крупных произведениях, таких, как «Полтава» или «Евгений Онегин». В автографе лирического ст-ния дата неоспоримо свидетельствует о его завершенности. Еще одним доказательством завершенности «Когда за городом...» является тот факт, что Пушкин внес его — под названием «Кладбище» — в спи-

сок стихов, предназначенных для печатания в «Современнике» (Рукою Пушкина. М.—Л., 1935. С. 285).

Уже с начала 1833 года отношения Пушкина с петербургским обществом и с двором стали портиться. — 1833 год был в этом смысле еще относительно спокойным для Пушкина, неприятности начались с января 1834 г., после того, как поэт был, по его словам, «пожалован в камер-юнкеры». За этим последовал ряд унизительных для Пушкина эпизодов, связанных с соблюдением придворного этикета, — они зафиксированы в пушкинском дневнике в записях от 26 января, 16 апреля, 18 декабря 1834 г. К апрелю того же года относятся история с перлюстрацией пушкинского письма к жене и цензурные неприятности с «Анджело», а 25 июня Пушкин отправил Бенкендорфу первую просьбу об отставке, — так что серьезный конфликт с властью возник в 1834-м, а не в 1833 г.

«Свинский Петербург»... — Из письма Пушкина к жене около 29 мая 1834 г.

«Пора, мой друг, пора!..» — В старых изданиях это ст-ние публиковалось под 1836 г., что и послужило почвой для гипотезы Ходасевича. В современных изданиях оно датируется 1834 г., хотя автограф не дает для этого достаточных оснований. Наиболее вероятной на сегодня представляется дата 1835 г., аргументированная В.А.Сайтановым (см.: Сайтанов В.А. Неизвестный цикл Пушкина // Пути в незнаемое: Писатели рассказывают о науке. М., 1986. С. 369—374). При том, что этот вопрос нельзя считать решенным, вполне очевидно, что «Пора, мой друг, пора!..» написано раньше, чем «Когда за городом, задумчив, я брожу...», и не может быть его продолжением.

С. 493. *...с попытками перевода «Hymn to the Penats» Соути...* — Недоработанный отрывок «Еще одной высокой, важной песни...» (1829), перевод начала «Гимна к пенатам» английского поэта Роберта Саути.

«Два чувства дивно близки нам...» — Первая строфа недоработанного ст-ния 1830 г.

В рец. на кн. «О Пушкине» А.Л.Бем писал по поводу этой статьи: «...мне представляется сомнительной гипотеза Вл.Ходасевича о связи стихотворения “Пора, мой друг, пора!..” (1836?) с незаконченным стихотворением “Когда за городом, задумчив, я брожу...” Здесь трудно вдаваться в специальный спор по этому вопросу, но уже чисто интонационно “Пора, мой друг...” носит все черты начальной строфы, а никак не срединной, как думает Ходасевич» (Меч (Варшава). 1937. 8 августа. №30). Сходно высказался и Г.Адамович в своей рецензии: «...строка “Пора, мой друг, пора” как *начало* стихотворения, как *первое* вступительное восклицание так выразительна, что было бы жаль перенести ее в середину текста. В середине — исчезла бы ее сила» (*ПН*. 1937. 1 июля. №5941).

Прадед и правнук (с. 493). — *ПН*. 1924. 8 июня. №1265; под названием «Пушкин и Ганнибал»; *В*. 1930. 13 февраля. №1717; под названием «Женитьба Пушкина». Для второй публикации Ходасе-

вич сократил и стилистически переработал статью. Расхождения между второй и третьей публикациями незначительны.

С. 494. *Ныне это предание отчасти опровергнуто, но Пушкин в него верил.* — Предание зафиксировано в биографии А.П.Ганнибала, составленной по-немецки его зятем А.К.Роткирхом, — ее перевод сохранился в бумагах Пушкина (см.: Рукою Пушкина. С. 34—39). О белом ребенке, рожденном первой женой Ганнибала Евдокией Диопер, точных сведений не дошло, но косвенное подтверждение этой легенды найдено в исповедной росписи села Петровского (см.: Леец Г.А. Абрам Петрович Ганнибал. Таллин, 1984. С. 82). Евдокия Диопер заточена была не в Тихвинский, а в Староладожский монастырь по окончании возбужденного Ганнибалом бракоразводного дела, которое тянулось 22 года (см.: Модзалевский Б.Л. Пушкин. Л., 1929. С. 52).

15 сентября 1827 года он сказал своему приятелю А.Н.Вульфу... — См. запись в дневнике А.Н.Вульфа от 16 сентября 1827 г. (А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 450).

В те дни он воистину не льстил... ему предстоит «смело сеять просвещенье» в союзе с царем. — В этом пассаже попеременно цитируются пушкинские «Стансы» (1826), «Друзьям» (1828), «Моя родословная» (1830).

С. 495. *...ничем не замечательная.* — Софья Федоровна Пушкина, по воспоминаниям Е.П.Яньковой, «была стройна и высока ростом, с прекрасным греческим профилем и черными, как смоль, глазами, и была очень умная и милая девушка...» (Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д.Благово. Л., 1989. С. 339).

...пишучи VI главу «Арапа»... — По современным изданиям — V главу.

С. 496. *...с графиней Л. ...* — У Пушкина — графиня Д.

...«Буду у вас к 1-му — она велела». — Следует учитывать в этой фразе автоцитату из ст-ния «Сожженное письмо» (1825): «Прощай, письмо любви, прощай! Она велела...»

С. 498. *Почему в романе он сватается к Ржевской, мы не знаем.* — Со старинным боярским родом Ржевских Пушкин также находился в родстве: Сарра Юрьевна Ржевская была матерью его бабушки Марьи Алексеевны Пушкиной, которая вышла замуж за сына Ганнибала — Осипа Абрамовича. «Таким образом, в сюжете начатого романа Пушкин вольно сочетал данные о своих предках — Ганнибалах и Пушкиных» (Бочаров С.Г. Комментарии // Пушкин А.С. Проза. М., 1984. С. 400).

С. 499. *...по причинам, о которых мы можем только строить предположения.* — Увлечение Екатериной Николаевной Ушаковой относится к 1827 г. Пушкин и впоследствии любил бывать в доме Ушаковых, однако характер их отношений изменился: Екатерина и ее младшая сестра Елизавета стали подругами Пушкина и даже поверенными в его сердечных делах. О сватовстве Пушкина к Екатерине не сохранилось никаких достоверных сведений: обращенные к ней письма поэта она приказала уничтожить перед смертью. Слухи

о возможной женитьбе Пушкина на Ушаковой, прокатившиеся по Москве в марте 1830 г., не могли иметь оснований, так как в то время он активно добивался руки Натальи Гончаровой. П.И.Бартеневым записана легенда, согласно которой Ушакова отказала Пушкину после того, как узнала о предсказании гадалки, напророчившей ему смерть от жены (см.: Бартенев П.И. О Пушкине. М., 1992. С. 337—338). Об отношениях Пушкина и Ушаковой см.: Майков Л.Н. Знакомство Пушкина с семейством Ушаковых: (1826—1830) // Майков Л.Н. Пушкин. СПб., 1899. С. 355—377.

...Ушакову быстро сменила Оленина... Когда и это сватовство расстроилось, Пушкин снова обрадовался. — Анна Алексеевна Оленина привлекала внимание Пушкина весной-летом 1828 г., впоследствии его отношение к ней и к ее родителям резко переменилось, что отразилось в черновиках восьмой главы «Евгения Онегина». Ходасевич не совсем прав, говоря, что сердце Олениной было занято, когда Пушкин в нее влюбился. Дневник ее свидетельствует о том, что все ее помыслы в это время были направлены на поиски жениха (А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 79—92; полное издание дневника: Дневник Анны Алексеевны Олениной: (1828—1829). Париж, 1936). Мать Олениной с самого начала была против ее брака с Пушкиным, отец утвердился в таком же решении после того, как принял участие в заседании Государственного совета и в числе других подписал постановление об учреждении над Пушкиным секретного надзора. Есть и другая версия этого сватовства, согласно которой предложение Пушкина было принято, но он проигнорировал собственную помолвку (см.: Вересаев В.В. Пушкин в жизни. С. 145). Подробно об отношениях Пушкина с семьей Олениных см.: Цявловская Т.Г. Дневник А.А.Олениной // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 2. С. 247—292.

Сватовство длилось долго. — Пушкин впервые увидел Н.Н.Гончарову в конце декабря 1828 г., сватался и получил неопределенный ответ 1 мая 1829 г., вторично сватался в апреле 1830 г. 6 мая было объявлено о помолвке, но свадьба постоянно откладывалась (в основном из-за денежных проблем) и состоялась лишь 18 февраля 1831 г.

«Я женюсь, конечно, не по страсти, но по соображению». — Эти слова были вычеркнуты Пушкиным в беловой рукописи.

...«И то если она не имеет от меня решительного отвращения». — Слова, не вошедшие в окончательную редакцию.

С. 500. *...в «науке страсти»...* — Слова из первой главы «Евгения Онегина» (строфа VIII), повторяющие название эротической поэмы Овидия.

В «Арапе Петра Великого» он припомнил историю своего первого, неудачного сватовства... — Более широкую интерпретацию автобиографических мотивов «Арапа Петра Великого» см.: Цявловская Т.Г. «Храни меня, мой талисман...» // Прометей. М., 1974. Т. 10. С. 59—63.

Амур и Гименей (с. 500). — Воля России (Прага). 1924. № 1/2.

С. 103—114. Под названием «Молитва Иосифу (глава из книги "Поэтическое хозяйство Пушкина")» — Русский современник (М.— Л.). 1924. №2. С. 216—228; *В.* 1930. 7, 8 декабря. №2014, 2015. Публикации 1924 г. почти идентичны. В 1930 г. статья была переработана, незначительные изменения внесены были и при последней прижизненной публикации.

С. 501. *«Я вами, точно, был пленен...»* — Цитируется ст-ние «Кокетке», обращенное к Аглае Давыдовой, с которой Пушкин имел, по-видимому, недолгую связь в 1820—1821 гг. Их взаимоотношения и эти стихи подробно проанализированы Ходасевичем в статье «Аглая Давыдова и ее дочери» (*СЗ.* 1935. Кн. LVIII. С. 227—257).

С. 502. *Сидя под арестом...* — В 1822 г. в Кишиневе Пушкин побил своего знакомого Тодора Балша, за что и был посажен под домашний арест.

«И их мужей рогатых...» — Из ст-ния «Мой друг, уже три дня...» (1822).

С. 504—505. *...он известил А.И.Тургенева...* — В письме от 7 мая 1821 г.

С. 505. *Пушкин его не поздравил.* — Во-первых, столичные известия доходили до ссыльного Пушкина с опозданием, а во-вторых, в конце 1825 — начале 1826 г., после декабрьских событий, ему было не до свадеб, о чем свидетельствует вся его переписка этого времени.

С. 505—506. *...«ловласизма» и «вальмонизма»...* — От имен Ловлас и Вальмон. Ловлас — герой романа «Кларисса» английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1689—1761), Вальмон — герой романа «Опасные связи» французского писателя Шодерло де Лакло (1741—1803). Оба эти имени Пушкин употреблял как нарицательные — в значении «соблазнитель женщин».

С. 506. *Уже 14 марта 1830 года он сообщает Вяземскому...* — Уточним, что, когда писалось это письмо, Пушкин еще не был женихом Гончаровой, но именно в марте 1830 г. у него появилась надежда на брак, и он примчался в Москву, узнав через посредника, что Гончаровы сменили гнев на милость.

С. 508. *В начале мая 1834 года Пушкин пишет жене... через несколько дней — опять...* — Перепутан порядок писем: первое — от 12 мая, второе — от 5 мая.

С. 510. *В 1832 году Маша Троекурова...* — XVIII глава «Дубровского», содержащая этот эпизод, датирована в рукописи 15 января 1833 г.

Еще во время жениховства, в «Родословной Пушкиных и Ганнибалов»... — Этот текст у Пушкина названия не имеет, в современных собраниях сочинений печатается под заглавием «Начало автобиографии», датируется очень приблизительно, 1834—1836 гг., но никак не временем жениховства. Приведенные сведения о семейной жизни деда были получены Пушкиным, видимо, от дяди Василия Львовича. Сергей Львович возмущенно, но неубедительно

опровергал эти предания (см.: Эйдельман Н.Я. Пушкин: История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С. 8—18).

«Он кокю...» — От *фр.* cocu — рогач.

С. 511. *«...прочел я на днях целую диссертацию в Брантоме».* — Пушкин говорит о трактате, открывающем книгу «Любовная жизнь женщин» («La vie de dames galantes») французского писателя Пьера де Брантома (1527—1614).

«Мнимая или настоящая связь с французом» решила его судьбу. — Ходасевич смещает акценты в пушкинской предсмертной трагедии, неоправданно перенося центр тяжести на ревность. О сложном переплетении разного рода обстоятельств, приведших Пушкина к гибели, можно прочесть в кн.: Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / Коммент. Я.Л.Левкович. М., 1987; Абрамович С.Л. Предыстория последней дуэли Пушкина: Январь 1836 — январь 1837. СПб., 1994. Благодаря этим исследованиям детально восстановлена событийная и психологическая сторона дуэльной истории, однако глубинная внутренняя трагедия Пушкина все еще остается не раскрытой.

СОДЕРЖАНИЕ

Ходасевич В. Ф.

Х 69 Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3: Проза. Державин. О Пушкине. — М.: Согласие, 1997. — 592 с.

ISBN 5—86884—044—5 (Т.3)

ISBN 5—86884—041—0

Настоящее четырехтомное собрание сочинений Владислава Фелициановича Ходасевича (1886—1939) — первое столь представительное издание творческого наследия выдающегося поэта, прозаика, критика, мемуариста, литературоведа. В него вошли все книги, как поэтические, так и в прозе, изданные Ходасевичем при жизни, а также большой массив произведений, не собранных автором в книги, рассеянных по газетам и журналам русского зарубежья. Впервые в сочинения Ходасевича включены его письма, солидный объем которых завершает издание.

В третьем томе представлены прозаические произведения В.Ф.Ходасевича, а также его литературоведческая книга «О Пушкине».

Х $\frac{4603020101—018}{8Д1(03)—97}$ ББК 83.3Р7

На фронтисписе: В.Ф.Ходасевич. Фото. Сорренто, 1925.



ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ
ХОДАСЕВИЧ

Собрание сочинений в четырех томах

Том третий

Технический редактор *Е.Н.Волкова*
Корректоры *Г.В.Заславская, Л.М.Кочетова*

Сдано в набор 14.06.96. Подписано в печать 11.11.96.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 35,37.
Доп. тираж 3000 экз. Заказ № 3399.

АОЗТ «Согласие».
113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

ОАО «Типография «Новости».
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.